

Г. ЭМАР



Г. ЭМАР

Γ.ΘΜΑΡ

Г. ЭМАР

собрание сочинений
в двадцати пяти томах



МОСКВА
«ТЕРРА» - «TERRA»
1995

Г. ЭМАР

собрание сочинений
в двадцати пяти томах

том двадцать пятый

Вождь окасов

Дикая кошка

Периколя

Профиль
перуанского бандита



МОСКВА
«ТЕРРА» - «TERRA»
1995

Оформление художника
А. ЕВДОКИМОВА

- Э54 Эмар Г. Собрание сочинений: В 25 т. Т. 25: Вождь окасов: Роман. Дикая кошка; Периколя; Профиль перуанского бандита: Рассказы / Пер. с фр. — М.: ТЕРРА, 1995. — 672 с.
ISBN 5-300-00159-7 (т. 25)
ISBN 5-85255-092-2

В настоящий том Собрания сочинений известного французского писателя Гюстава Эмара (1818—1883) вошел роман «Вождь окасов», а также рассказы «Дикая кошка», «Периколя» и «Профиль перуанского бандита».

Э 4703010100-208 Подписное
А30(03)-95

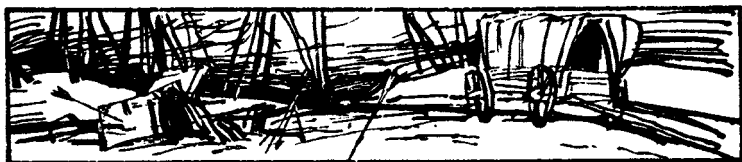
ББК 84.4 Фр.

ISBN 5-300-00159-7 (т.25)
ISBN 5-85255-092-2

© Издательский центр «ТЕРРА», 1995

Вождь окасов





ГЛАВА I

Просека

Во время моего последнего пребывания в Америке, случай или, лучше сказать, моя счастливая звезда заставила меня познакомиться с одним из тех охотников или лесных обитателей, которых обессмертил Купер в своем романтическом персонаже: *Кожаный Чулок*.

Вот при каких странных обстоятельствах Господь свел нас друг с другом.

В конце июля 1855 года я уехал из Гэльвестона, из-за боязни лихорадок, смертельных для европейцев, с намерением осмотреть северо-западную часть Техаса, которая была еще мне незнакома. Есть одна испанская пословица, которая говорит: *mas vale andarsoloque mal acompanado* — «лучше ехать одному, нежели с дурным товарищем». Как во всех пословицах, и в этой есть доля истины особенно если применить ее к Америке, где каждую минуту подвергаешься встрече с плутами всех мастей, которые, благодаря своей обольстительной наружности, очаровывают вас, овладевают вашим доверием и пользуются им без угрызений совести при первом случае, чтобы ограбить и убить вас.

Я воспользовался советом пословицы и, не видя около себя ни одного человека, который внушал бы мне настолько доверия, чтобы я мог выбрать его в мои спутники, храбро пустился в путь один. Я был в живописном костюме туземцев, вооружен с ног до головы и ехал на превосходной полудикой лошади, которую купил за двадцать

пять пиастров; цена огромная для той страны, где лошади стоят безделицу.

Я ехал беззаботно и вообще вел кочующую жизнь, столь исполненную привлекательности; по временам я останавливался в *tolderia*, иногда ночевал в степи, стрелял по дороге бакланов и все более и более углублялся в неизвестные мне области; таким образом я проехал беспрепятственно Фредериксбург, Лагано, Браунфельс и выехал из Кастровиля в Киги.

Подобно всем испано-американским селениям, Кастровиль представляет собой жалкую кучу разоренных хижин, перерезанную несколькими улицами, заросшими негодной травой и населенными бесчисленным множеством муравьев, разных пресмыкающихся и даже кроликов, очень мелких, которые нередко выскакивают из-под ног малочисленных прохожих. Пуэбло граничит к западу с Мединой, узкой речкой, почти совершенно пересыхающей в сильную жару, а к востоку с лесистыми холмами, темная зелень которых резко, но приятно отделяется на горизонте от бледной синевы небес.

Я взял в Гэльвестоне письмо к одному кастровильскому жителю. Достойный человек жил в этом селении как мышь Лафонтена в голландском сыре. Обрадованный приездом иностранца, который, без сомнения, мог сообщить ему несколько новостей, редко получаемых в таких уединенных местах, он принял меня самым дружеским образом, не зная что придумать, чтобы удержать меня. К несчастью, того немногого, что я видел в Кастровиле, было совершенно достаточно для того, чтобы внушить мне полное отвращение к этому селению, и я торопился только уехать как можно скорее. Хозяин мой приходил в отчаяние, видя, что вся его предупредительность несколько не помогает и, наконец, согласился отпустить меня продолжать путь.

— Прощайте, если уж вы так хотите ехать, — сказал он, пожимая мне руку со вздохом сожаления, — да поможет вам Бог! Напрасно вы едете так поздно; дорога опасна: индейцы поднялись, и они безжалостно убивают белых, которые попадают им в руки; берегитесь!..

Я улыбнулся этому предостережению, которое принял за последнее усилие доброго человека удержать меня.

— Ба! — отвечал я весело. — С индейцами я так давно знаком, что мне нечего их опасаться.

Хозяин мой печально покачал головой и возвратился в свою хижину, сделав мне рукой последний прощальный знак. Я уехал.

Действительно было очень поздно. Я пустил свою лошадь галопом, желая проехать до наступления ночи, просеку, которая простиралась в длину более чем на два километра и которой особенно предупреждал меня остерегаться мой хозяин. Это место, пользовавшееся дурной славой, имело зловещий вид. Мескиты, акации и кактусы составляли его скудную растительность. Повсюду побелевшие кости и кресты, воткнутые в землю, обозначали места, на которых совершены были убийства. За просекой расстилался обширный луг, называемый Львицей и населенный животными всякого рода; на этом лугу, поросшем травой, по крайней мере в два фута вышины, изредка росли группы деревьев, на которых щебетали тысячи скворцов с золотистым горлом, кардиналы и голубые птицы.

Я торопился добраться до Львицы, которую уже усматривал издали: но прежде мне надо было проехать просеку. Осмотрев свое оружие, бросив кругом внимательный взгляд и не приметив ничего подозрительного в окрестностях, я прищепил лошадь, решившись, если встретится опасность, продать мою жизнь как можно дороже. Между тем солнце быстро опускалось за горизонт; красноватое пламя окрашивало своими изменчивыми переживаниями вершины лесистых холмов: свежий ветерок колебал ветви деревьев с таинственным шелестом. В этой стране, где нет сумерек, ночь скоро должна была окружить меня своим густым мраком. Я проехал почти две трети просеки и уже надеялся достигнуть целым и невредимым Львицы, как вдруг лошадь моя отпрыгнула в сторону, подняв уши и сильно фыркая. Внезапный толчок чуть было не выбил меня из седла. Только с величайшим трудом удалось мне наконец управиться с моей лошастью. Как всегда случается в подобных обстоятельствах, я инстинктивно отыскивал вокруг себя причину панического страха животного.

Скоро мне открылась истина. Холодный пот выступил на моем лице и трепет ужаса пробежал по всему телу при страшном зрелище, представившемся моему взору. В десяти шагах от меня, под деревьями, лежали пять трупов. В числе их находились женщина и молодая девушка лет четырнадцати. Эти пять человек принадлежали к белой расе. По-видимому, они долго и упорно сражались,

прежде чем пали. Тела их были в буквальном смысле слова покрыты ранами: длинные стрелы, с извилистыми выемками, выкрашенные красной краской, торчали в убитых. Жертвы были скальпированы. Из груди молодой девушки, разрезанной накрест, было вырвано сердце. Это было дело индейцев, их кровавого бешенства, их закоренелой ненависти к белым. Форма и цвет стрел показывали, что это были *апачи*, самые жестокие грабители пустыни. Около трупов я заметил обломки повозок и мебели. Несчастные, убитые с этой ужасной утонченностью варварства, без сомнения, были бедные эмигранты, ехавшие в Кастровиль.

При виде этого раздирающего душу зрелища, сердце мое наполнилось состраданием и горестью. Ястребы и коршуны, привлеченные запахом крови, медленно кружили в воздухе над трупами со зловещим криком радости, а в глубине просеки начинали глухо рычать волки и ягуары.

Я осмотрелся. Все было спокойно. По всей вероятности, апачи напали на эмигрантов во время их отдыха. Распоротые тюки лежали еще в некотором порядке, а огонь, возле которого находилась гряда сухих сучьев, еще догорал поодаль.

«Нет, — сказал я сам себе, — чтобы ни случилось, я не оставлю христиан без погребения; не дам им сделаться в этой пустыне добычей диких зверей!»

Приняв это решение, я немедленно принялся за дело. Спрыгнув на землю, я спутал ноги моей лошади, дал ей корма и бросил охапку сучьев в костер, который скоро запылал так, что пламя столбом поднялось к небу.

Между вещами, оставленными индейцами, как не имеющими для них никакой цены, находились лопатки, заступы и другие земледельческие инструменты. Я схватил заступ и старательно осмотрев окрестности, чтобы удостовериться, не угрожает ли мне какая-нибудь опасность, начал рыть могилу. Настала ночь, ночь американская, спокойная, безмолвная, исполненная упоительных благоуханий и таинственных мелодий пустыни.

Странное дело! Все мои опасения исчезли разом, как бы по волшебству. Я не боялся ничего, хотя был совершенно один в этом зловещем месте, возле этих обезображенных трупов и не думал о том, что, без сомнения, невидимые глаза диких зверей и индейцев подстерегали

меня во мраке. Не знаю сам, но какое-то непонятное чувство поддерживало меня и придавало мне силы исполнить священную обязанность, которую я наложил на себя. Вместо того, чтобы думать об опасностях, угрожавших мне со всех сторон, я был погружен в мечтательную меланхолию. Я думал об этих бедных людях, ехавших издалека, с полной надеждой найти в Новом Свете то благосостояние, в котором им отказывала родина и павших в неизвестном уголке пустыни под ударами свирепых врагов. Без сомнения, они оставили в своем отечестве друзей, может стать-ся, родственников, для которых их участь останется навсегда неизвестной и которые долго, с унылым беспокойством, будут считать часы, ожидая невозможного возвращения!

Раза два или три ветер, шумевший в листьях деревьев, заставлял меня останавливаться, но, кроме этого, ничто не мешало мне. Менее чем в три четверти часа я вырыл могилу, довольно глубокую для того, чтобы в ней могли уместиться пять трупов. Вынув стрелы, пронзившие убитых, я отнес их одного за другим и положил рядом на дне могилы. Потом я поспешно закопал могилу и наложил на нее самых больших камней, какие только мог найти. Таким образом я надеялся не допустить диких зверей осквернить мертвых.

Исполнив свой долг христианина, я свободно вздохнул и обратился мысленно с молитвой к Тому, Кто может сделать все, за несчастных, которых я похоронил! Когда я поднял голову, я вскрикнул от изумления и испуга и поспешно схватился за револьвер. В четырех шагах от меня стоял человек, опираясь на винтовку, хотя ни малейший шорох не заставил меня подозревать его неожиданного прихода. Две великолепные ньюфаундлендские собаки спокойно лежали у его ног. Увидев мое движение, незнакомец улыбнулся и, протянув мне руку, сказал:

— Не бойтесь ничего: я друг. Вы похоронили этих бедных людей, а я отомстил за них. Убийцы их уже мертвы!

Я молча пожал руку, так доверчиво мне протянутую. Знакомство началось; мы скоро сделались друзьями и друзья до сих пор!

Через несколько минут, усевшись у огня, мы с аппетитом ужинали, между тем, как собаки охраняли нашу безопасность. Товарищ, которого я встретил таким странным образом, был человек лет сорока пяти, хотя на вид

ему казалось не более тридцати двух. Его стройный стан, широкие плечи, развитые мускулы рук, все показывало силу и проворство. На нем был живописный костюм охотника: широкий плащ или, скорее, нечто вроде одеяла, стянутого вокруг шеи и падавшего длинными складками сзади, полосатая бумажная фуфайка, широкие кожаные штаны, сшитые волосами, мокасины, украшенные бусами и иглами дикобраза, наконец пестрый шерстяной пояс, на котором висели нож, табачный кисет, пороховница, пистолеты и мешочек с лекарствами. На голове у него была шапка из бобровой шкуры с длинным хвостом. Этот человек напоминал мне тех смелых искателей приключений, которые проходят Америку вдоль и поперек. Это натуры первобытные, ищущие свободы, враждебные нашим понятиям о цивилизации, и по тому самому должны исчезнуть перед водворением трудолюбивых поселенцев, которые обладают такими могущественными средствами завоевания, каковы пар и механические изобретения всякого сорта.

Охотник этот был француз. Его благородное лицо, образная речь, открытое и располагающее обращение, все, несмотря на его продолжительное пребывание в Америке, сохраняло еще отблеск родины, возбуждавший сочувствие и участие. Все страны Нового Света были ему знакомы: он провел более двадцати лет в глубине лесов, в опасных и продолжительных странствованиях посреди лесов индейских племен. Поэтому-то, хотя я сам был неплохо знаком с обычаями краснокожих и хотя большая часть моей жизни протекла в пустыне, я много раз невольно трепетал, слушая рассказы о его приключениях. Во время поездки, предпринятой нами, мы часто сидели на берегу Рио-Джила, и тогда он нередко увлекался своими воспоминаниями, куря индейскую трубку и пересказывал мне увлекательную историю первых лет своего пребывания в Новом Свете.

Один из этих рассказов я передаю ныне. Не смею надеяться, чтобы читатель заинтересовался этим рассказом так же, как я, но пусть помнит он, что я слушал этот рассказ в пустыне, среди грандиозной и могучей природы, неизвестной жителям Старой Европы, и притом от того самого человека, который был его героем.

Молочные братья

31 декабря 1834 года, в одиннадцать часов вечера, человек лет двадцати пяти, с тонкими и благородными чертами, с аристократическими манерами, сидел или, скорее, полулежал в мягком кресле, стоявшем у камина, в котором трещал огонь, необходимый в это время года. Человек этот был граф Максим-Эдуард-Луи де Пребуа-Крансэ.

Лицо его, покрытое смертельной бледностью, резко отделялось от матовой черноты кудрявых волос, падавших в беспорядке на плечи, покрытые шелковым шлафроком с большими цветами. Брови его были нахмурены, а глаза устремлялись с лихорадочным нетерпением на великолепные стенные часы во вкусе Людовика XV, между тем как левая рука небрежно гладила шелковистые уши великолепной ньюфаундлендской собаки, лежавшей возле него.

Кабинет, в котором находился граф, был меблирован со всей возможной роскошью. Стоявший на столе канделябр с четырьмя подсвечниками, в которых горели розовые восковые свечи, проливал печальный и неясный свет. Дождь бил в стекла, ветер стонал, с таинственным ропотом, располагая душу к меланхолии.

Послышался негромкий звук: часы пробили половину. Граф выпрямился, как будто внезапно пробудился ото сна, провел белой и тонкой рукой по своему влажному лбу и сказал глухим голосом:

— Он не придет!..

Но вдруг собака, до сих пор остававшаяся неподвижной, вскочила и бросилась к двери, радостно махая хвостом. Дверь отворилась, и показался человек.

— Наконец-то! — вскричал граф, подходя к пришедшему. — О! Я боялся, что и ты также забыл меня!

— Я не понимаю тебя, брат; но я надеюсь, что ты объяснишься, — отвечал пришедший. — Полно! Полно! — прибавил он, обращаясь к собаке. — Ложись, Цезарь! Я знаю, что ты добрая собака... ложись же, ложись!

И пододвинув кресло к огню, он сел по другую сторону камина, напротив графа, который между тем уже вернулся на свое место. Собака улеглась между ними.

Человек этот, так нетерпеливо ожидаемый графом, представлял резкий контраст ему. Подобно тому, как граф де Пребуа-Крансэ сосредоточивал в себе все качества, отличающие физическое благородство породы, так гость его соединял в себе все живые и энергические силы простолюдина.

Это был человек лет двадцати шести, высокого роста, худощавый и стройный. Его лицо, загоревшее под солнцем, с резкими чертами, голубыми глазами, сверкавшими умом, имело выражение самой симпатичной храбрости, добродушия и благородства. На нем был щегольской костюм квартирмейстера спагов; крест Почетного Легиона блистал у него на груди.

Опершись на правую руку, он задумчиво и внимательно смотрел на своего друга, поглаживая левой свои длинные и шелковистые светло-русые усы. Граф вдруг прервал молчание:

— Как ты долго не являлся на мое приглашение, — сказал он.

— Вот уже два раза ты делаешь мне этот упрек, Луи! — отвечал унтер-офицер, вынимая из-за пазухи бумагу. — Ты, верно, забыл, что написано в записке, которую твой грум принес мне вчера.

И он приготовился читать.

— Не нужно, — сказал граф, печально улыбаясь, — сознаюсь, что я виноват.

— Что ж это за важное дело, для которого я тебе так нужен? — весело спросил спэг. — Объясни: женщину что ли надо похитить, или дуэль? Говори...

— Ты ни за что не угадаешь, — перебил граф с горечью, — а потому лучше избавь себя от бесполезных догадок.

— Что же это такое?

— Я хочу застрелиться.

Молодой человек произнес эту фразу с таким твердым и решительным выражением в голосе, что солдат невольно вздрогнул, устремив на него беспокойный взор.

— Ты думаешь, что я сошел с ума, не правда ли? — продолжал граф, угадавший мысль своего друга. — Нет, Валентин! Я еще не сошел с ума, а только упал на дно бездны, из которой могу выйти не иначе как посредством смерти или бесчестия. Я предпочитаю смерть!

Солдат не отвечал. Резким движением отодвинул он свое кресло и начал ходить большими шагами по кабинету. Граф опустил голову на грудь. Наступило продолжительное молчание. Буря неистовствовала за окнами. Наконец Валентин опять сел.

— Вероятно, очень важная причина заставила тебя принять такое решение, — сказал он холодно, — я не буду отговаривать тебя, однако требую, чтобы ты рассказал мне со всеми подробностями обстоятельства, принуждающие тебя посягать на жизнь. Я твой молочный брат, Луи; мы выросли вместе. Наша дружба слишком сильна и слишком искренна для того, чтобы ты отказался исполнить мое желание!

— К чему? — вскричал граф. — Мои горести из числа таких, которые могут быть понятны только тому, кто их испытывает.

— Плохая отговорка, брат, — возразил Валентин суровым голосом, — горести, в которых не смеют признаться, обыкновенно принадлежат к числу таких, которые принуждают краснеть.

— Валентин! — сказал граф с молнией во взоре. — Не хорошо, что ты так говоришь со мной!

— Напротив, очень хорошо! — с живостью возразил молодой человек. — Я люблю тебя и потому обязан говорить тебе правду. Зачем мне тебя обманывать? Ты знаешь мою откровенность, а потому и не надейся, чтобы я оправдал тебя, не зная, в чем дело. Если ты хочешь, чтобы тебе льстили при твоих последних минутах, зачем же ты призвал меня? Не затем ли, чтобы я одобрял тебя в принятом намерении? Если так, то прощай, брат! Я уйду... мне не-

чего здесь делать. Вам, знатным вельможам, стоило только родиться; вы вкушаете в жизни только радости, и при первой же тени, который случай набросит на ваше счастье, вы считаете себя погибшими и обращаетесь к этой высочайшей низости, самоубийству!

— Валентин! — вскричал граф с гневом.

— Да! — с энергией продолжал молодой человек. — Это именно высочайшая низость! Человек точно так же не имеет власти оставить жизнь когда ему вздумается, как солдат бежать со своего поста перед неприятелем! Я знаю твои горести!

— Знаешь?.. — спросил граф с удивлением.

— Да!.. Выслушай меня хорошенько, и потом, когда я выскажу тебе все, что думаю, убивай себя, если хочешь. Черт побери! Неужели ты думаешь, будто я не знал, зачем ты зовешь меня? Слишком слабый, чтобы поддерживать борьбу, ты не обороняясь, предался диким зверям того страшного цирка, который называется Парижем, и пал; это должно было случиться! Но подумай, — смерть, в которой ты ищешь избавление, окончательно обесславит тебя в глазах всех, вместо того, чтобы восстановить твою честь и окружить тебя ореолом той ложной славы, которой ты так добиваешься!

— Валентин! Валентин! — вскричал граф, с гневом ударив кулаком. — Кто дал тебе право говорить таким образом?

— Моя дружба, — энергически отвечал солдат, — и положение, в которое ты сам меня поставил, призвав меня к себе. Две причины приводят тебя в отчаяние. Во-первых, любовь твоя к кокетке, к креолке, которая играла твоим сердцем, как пантера ее лесов играет с жертвами, которых готовится растерзать... правда ли это?

Молодой человек не отвечал. Опираясь локтями на стол, поддерживая голову руками, он оставался неподвижен и по-видимому нечувствителен к упрекам своего молочного брата. Валентин продолжал:

— Потом, когда ты, желая блистать в ее глазах, промотал все состояние, которое оставил тебе отец, эта женщина уехала, радуясь злу, которое наделала, и жертвам, павшим на ее пути. Она уехала, оставив тебе и стольким другим отчаяние и стыд. Ты хочешь убить себя не из сожаления о потере твоего состояния, а потому что не

имеешь возможности следовать за этой женщиной, единственной причиной всех твоих несчастий. Осмелишься ты утверждать противное?

— Ну, да! Ты прав! Это единственная причина. Какое мне дело до моего состояния... я люблю эту женщину!.. я люблю ее до того, что готов перевернуть весь мир, чтобы обладать ей, — вскричал молодой человек. — О! Если бы я мог надеяться!.. но надежда бессмысленное слово, выдуманное малодушными!.. Ты видишь, мне остается только умереть!

Валентин посмотрел на него, вдруг взгляд его сверкнул как молния; он положил руку на плечо графа и спросил:

— Стало быть, ты действительно очень любишь эту женщину?

— Да!

— Что ж! — продолжал Валентин, пристально на него глядя. — Я могу вернуть тебе эту женщину!

— Ты?

— Да.

— О! Ты сошел с ума! Она уехала. Кто знает, в какую часть Америки она удалилась!

— Что за беда.

— Я разорен!

— Тем лучше!

— Валентин, остерегайся своих слов! — вскричал молодой человек с горестным выражением в голосе. — Невольно я начинаю тебе верить!

— Надейся, говорю я тебе.

— О! Нет! Нет! Это невозможно!

— Нет ничего невозможного. Это слово выдуманно слабаками и трусами. Повторяю тебе, что не только я возвращу тебе эту женщину, но еще она сама, слышишь ли ты, она сама будет бояться, чтобы ты не отверг ее любви!

— О!

— Кто знает, может быть, ты ее отвергнешь!..

— Валентин!

— Чтобы сделать это, я прошу у тебя только два года!

— Так долго?

— А, вот каковы люди! — вскричал солдат с иронической усмешкой. — Минуту назад, ты хотел умереть,

потому что слово *никогда* стояло перед тобою, а теперь ты не чувствуешь себя в силах подождать два года! Что такое два года? Несколько минут человеческой жизни!..

— Но...

— Будь спокоен, брат! Будь спокоен! Если через два года я не исполню обещания, я сам отдам тебе пистолет и тогда...

— Тогда?

— Ты убьешь себя не один, — сказал Валентин с холодностью.

Граф взглянул на него. Валентин преобразился, лицо его имело выражение неукротимой энергии, которой граф до сих пор еще никогда в нем не замечал. Молодой человек признал себя побежденным, взял руку своего молочного брата и крепко пожав ее, сказал:

— Согласен.

— Теперь ты принадлежишь мне?

— И телом и душою...

— Хорошо!

— Но что же ты намерен делать?

— Выслушай меня внимательно, — отвечал солдат, опускаясь на кресло и знаком приглашая своего друга сесть.

В эту минуту часы пробили полночь. Оба выслушали молча и задумчиво двенадцать ударов, раздавшихся в ровных промежутках. Когда отголосок последнего удара замолк, Валентин закурил сигару и обернувшись к Луи, который устремил на него тревожный взор, сказал, выпуская из рта синеватый дым, спиралью поднявшийся к потолку:

— Я начинаю.

Решимость

— Я слушаю! — проговорил Луи.

Валентин печально улыбнулся:

— Сегодня 1 января 1835 года, — начал он, — с последним ударом полночи твоя безоблачная жизнь кончилась. С нынешнего дня ты начнешь жизнь испытаний и борьбы, словом, ты сделаешься человеком!

Граф бросил на него вопросительный взгляд.

— Я объяснюсь, — продолжал Валентин, — но для этого ты должен позволить мне рассказать тебе в нескольких словах мою собственную историю.

— Но я ее знаю, — перебил граф с нетерпением.

— Может быть! Во всяком случае, позволь мне говорить; если я ошибусь, ты меня поправишь.

— Делай как хочешь, — отвечал Луи, откидываясь на спинку кресла как человек, которого приличия принуждают выслушать скучный рассказ.

Валентин сделал вид, будто не заметил этого. Он снова закурил погасшую сигару, погладил собаку, огромная голова которой лежала на его коленях, и начал так как будто был убежден, что Луи слушает его с самым серьезным вниманием.

— Твоя история похожа на историю всех людей твоей касты. Твои предки, первое упоминание о которых восходит к временам Крестовых Походов, завещали тебе, когда ты родился, прекрасный титул и сорок тысяч ливров годового дохода. Богатый, не имея нужды употреблять свои способности на приобретение состояния,

следовательно, не зная настоящей цены золоту, ты должен был тратить его не считая, в уверенности, что оно неисчерпаемо. Так и случилось; только в один день, в ту минуту, когда ты всего менее ожидал этого, отвратительный призрак разорения явился вдруг перед тобою; ты увидел бедность, то есть труд, и отступил с испугом, отыскивая прибежище в смерти.

— Все это правда, — перебил граф, — но ты забываешь сказать, что прежде чем я принял это намерение, я позаботился заплатить всем моим кредиторам. Стало быть, я имел право располагать своею жизнью.

— Нет! И вот этого-то твое дворянское воспитание никак не могло заставить тебя понять. Твоя жизнь не принадлежит тебе; это капитал, данный тебе Богом взаймы. Следовательно, она только ожидание, переход и по этой-то причине она коротка; но она все-таки должна принести пользу человечеству. Всякий человек, который в оргиях и разврате тратит способности, полученные им от Бога, обкрадывает великую человеческую семью. Вспомни, что мы все должники один другого и обязаны употребить наши способности на пользу общую.

— Пожалуйста, без нравоучений, брат! Эти теории, более или менее оригинальные, могут иметь успех только в известном кругу, но...

— Брат! — перебил Валентин. — Не говори таким образом. Против своей воли гордость твоего происхождения внушает тебе слова, о которых ты скоро пожалеешь. В известном кругу!.. Вот произнесено великое слово! Луи! Как многому должен ты еще научиться!.. Но перестанем говорить об этом... Скажи мне лучше, когда собрал ты свои средства, сколько у тебя осталось?

— Пустяки!.. Сущая безделица...

— Но все-таки?

— Э, Боже мой, тысяч сорок, не более, которые могут дойти до шестидесяти, если продать все эти безделицы, — небрежно сказал граф.

Валентин подпрыгнул на своем кресле.

— Шестьдесят тысяч франков! — вскричал он. — И ты еще отчаивался! И ты решился умереть! Но, несчастный безумец, эти шестьдесят тысяч франков, употребленные благоразумно, настоящее богатство! Они отыщут тебе ту, которую ты любишь. Как много есть бедняков,

которые считали бы себя счастливыми, если бы имели такую сумму!..

— Что же ты намерен делать?

— Узнаешь. Как зовут женщину, в которую ты влюблен?

— Дона Розарио дель-Валле.

— Очень хорошо! Ты говоришь, что она уехала в Америку?

— Десять дней тому назад... но я должен тебе признаться, что дона Розарио, которую ты не знаешь, девушка благородная и кроткая, никогда не обращавшая внимания на мою любезность, никогда не замечавшая разорительной роскоши, которую я выказывал, чтобы понравиться ей.

— Это может быть; притом, зачем стараться отнять у тебя твою сладостную мечту? Только я не понимаю, как при таких условиях, ты мог растратить свое состояние, которое было значительно?

— Вот прочти эту записку моего маклера.

— О! — вскричал Валентин, отталкивая записку. — Ты играл на бирже! Теперь все стало мне понятно... бедный голубок, тебя ощипали закулисные коршуны! Ну, брат, тебе надо отыграться.

— О! Я только этого-то и желаю, — сказал молодой человек, нахмутив брови.

— Мы одних лет; моя мать кормила нас обоих: перед Богом мы братья! Я сделаю из тебя человека! Я помогу тебе облечься в ту броню, которая сделает тебя непобедимым. В то время, как под защитой твоего имени и богатства, ты жил беззаботно, срывая в жизни только одни цветы, я, жалкий бедняк, заблудившийся в Париже, вел борьбу, борьбу ежечасную, ежесекундную, в которой победа была для меня куском хлеба и опытностью, дорого купленною, клянусь тебе; потому что, очень часто, когда я открывал дверцы экипажей, продавал контрамарки или служил паяцем в труппе акробатов, наконец когда исполнял тысячу невозможных ремесел бродяги, уныние и отчаяние душили меня; очень часто я чувствовал, как сжимают меня тиски нищеты. Но я сопротивлялся, я боролся с бедствиями и никогда не был побежден. Мужайся, Луи! Теперь мы будем сражаться вместе; ты будешь головой, которая придумывает, а я рукой, которая исполняет! Ты разум, я сила! Теперь борьба будет более эффективной, потому что мы будем

поддерживать друг друга. Поверь мне, брат, наступит день, когда успех увенчает наши усилия!

— Я понимаю твою преданность и принимаю ее. Разве я теперь не вещь, принадлежащая тебе? Не бойся, чтобы я стал перечить. Но сказать ли тебе? Я боюсь, что все попытки наши будут напрасны и что рано или поздно мы принуждены будем вернуться к последнему средству, которое ты не позволил мне употребить.

— Маловерный! — вскричал Валентин восторженно. — На том пути, по которому мы пойдем, фортуна будет нашей рабой!

Луи не мог удержаться от улыбки.

— Сначала надо еще иметь удачу в том, что принимаешь, — сказал он.

— Удача — утешение глупцов; человек сильный действует наверняка.

— Но что же ты хочешь делать?

— Женщина, которую ты любишь, в Америке, не правда ли?

— Я уж говорил тебе об этом несколько раз.

— Ну! В таком случае нам надо ехать туда...

— Но я не знаю даже, в какой части Америки живет она.

— Что за нужда! Новый Свет — страна золота, обитель искателей приключений! Мы составим себе состояние, отыскивая ее. Разве это так неприятно? Скажи мне... ведь эта женщина родилась же где-нибудь?

— Она родом из Чили.

— Хорошо! Стало быть, она возвратилась в Чили; там-то мы и найдем ее.

Луи взглянул на своего молочного брата с почтительным восторгом.

— Как! Ты серьезно сделаешь это, брат? — сказал он взволнованным голосом.

— Не колеблясь.

— Ты бросишь военную карьеру? Я знаю, что через полгода ты будешь произведен в офицеры...

— Я уже не солдат с нынешнего утра; я нашел человека, который заменит меня.

— О! Это невозможно!

— Однако это так.

— Но твоя старая мать, моя кормилица, которой ты единственная опора?

— Из того, что осталось у тебя, мы дадим ей несколько тысяч франков; в соединении с той пенсией, на которую дает мне право крест, этих денег ей будет достаточно на пропитание во время нашего отсутствия.

— О! — вскричал молодой человек. — Я не могу принять такой жертвы, честь запрещает мне это!

— К несчастью, брат, — возразил Валентин тоном, заставившим графа замолчать, — ты не вправе отказать: действуя таким образом, я исполняю священный долг.

— Я тебя не понимаю...

— К чему объяснять?

— Я требую!

— Хорошо! Впрочем, может, это к лучшему. Слушай же: когда, вскормив, мать моя возвратила тебя семье, мой отец вдруг занемог и умер после восьмимесячной болезни, оставив мою мать и меня в глубокой нищете. То немного, что у нас было, пошло на покупку лекарств и оплату докторов. Мы, конечно, могли бы обратиться к твоему семейству, которое наверно не оставило бы нас; но матушка никак не хотела решиться на это. «Граф де Пребуа-Крансэ сделал для нас более, нежели следовало, — повторяла она, — не надо беспокоить его».

— Напрасно, — сказал Луи.

— Знаю, — сказал Валентин. — Однако голод дал себя знать. Тогда-то ухватился я за разные ремесла, о которых говорил тебе. Однажды на Каирской площади, проглатывая сабли и зажженную паклю при шумных рукоплесканиях толпы, я собирал деньги, как вдруг очутился перед офицером африканских егерей, который глядел на меня с видом добродушия и сожаления, растрогавшим мое сердце. Он увел меня, заставил рассказать мою историю и потребовал, чтобы я сводил его на чердак, в котором жил вместе с матерью. При виде нашей нищеты, старый солдат заплакал; слезы, которые он и не думал удерживать, катились по его загорелым щекам. Луи, этот офицер был твой отец.

— Мой благородный и добрый отец! — вскричал граф, пожимая руку своего молочного брата.

— О! Да, именно благородный и добрый! Он назначил моей матери ежегодное содержание, достаточное для ее пропитания, а меня определил в свой полк. Два года тому назад отец твой был ранен пулею в грудь и умер через два часа, называя меня своим сыном.

— Да, — сказал молодой человек со слезами в голосе, — я это знаю!

— Но ты не знаешь, Луи, что отец твой, умирая, сказал мне. После раны, полученной им, я не оставлял его.

Луи молча пожал руку Валентина. Тот продолжал:

«Валентин, — сказал мне отец твой слабым голосом, прерывавшимся от предсмертного хрипения, потому что агония уже начиналась, — сын мой остается один, он очень молод; у него нет никого, кроме тебя, его молочного брата. Заботься о нем, не оставляй его никогда! Кто знает, что хранит для него будущее! Могу ли я положиться на твое обещание?» Я стал на колени возле твоего отца и, почтительно взяв руку, которую он протянул ко мне, сказал ему:

«Умирайте с миром... в час несчастья я всегда буду возле Луи». Две слезы выкатились из глаз твоего отца; это были слезы радости в последний час жизни. Растроганным голосом сказал он мне:

«Господь принял твою клятву» и тихо скончался, стараясь пожать мне руку в последний раз и прошептав твое имя. Луи! Я обязан твоему отцу благосостоянием, которым пользуется моя добрая матушка, я обязан твоему отцу чувствами, которые сделали из меня человека и этим крестом, который блестит на моей груди. Понимаешь ли ты теперь, зачем я говорил с тобою таким образом? Пока ты был еще в силе, я держался в стороне, но ныне, когда настал час исполнить мою клятву, никакое человеческое могущество не может помешать мне.

Наступила минута молчания между молодыми людьми. Наконец Луи спрятал свою голову на груди солдата и сказал, залившись слезами:

— Когда же мы едем, брат?

Тот взглянул на него и спросил:

— Точно ли без тайной мысли хочешь ты начать новую жизнь?

— Да, — отвечал Луи твердым голосом.

— Ты не оставляешь за собою никакого сожаления?

— Никакого.

— И готов мужественно переносить все испытания, которые тебя ожидают?

— Да.

— Хорошо, брат! Таким-то я и хочу тебя видеть. Мы поедем тотчас как только разочтемся с твоей прошлой

жизнью. Свободным от препятствий и горьких воспоминаний, должен ты вступить в новую жизнь, которая раскроется перед тобою.

2 февраля 1835 года пакетбот заатлантической компании выехал из Гавра в Вальпараисо. В числе пассажиров находились граф де Пребуа-Крансэ, Валентин Гиллуа, его молочный брат, и Цезарь, ньюфаундлендская собака, с которой они не хотели расстаться.

На пристани стояла женщина лет шестидесяти, с глазами, полными слез; она провожала корабль. Когда наконец он исчез на горизонте, старушка медленными шагами отправилась к дому, который находился неподалеку от берега.

— Делай что должно, а будет что можно!.. — прошептала она голосом, заглушаемым горестью.

Эта женщина была мать Валентина Гиллуа. Она была достойна сожаления: она оставалась одна...

Казнь

В 1450 году территория Чили была захвачена принцем Синхиροкой, впоследствии Инкой, овладевшим долиной Мапохо, называвшейся в то время Промокачесом, то есть *Местом плясок и веселья*. Однако перуанское правительство никогда не имело прочных позиций в этой стране по причине вооруженной оппозиции промочианов, тогда расположившихся станом между реками Ранелем и Маулэ.

Хотя историк Гарчилассо делла-Вега определяет границы области, завоеванной инками, на реке Маулэ, но все доказывает, что они были на Ранеле, потому что при слиянии рек Качапоаля и Тингиририки, из которых последняя в этом месте принимает название Ранеля, находятся развалины древней перуанской крепости, построенной совершенно одинаково с крепостями Каллой и Ассуайей, в провинции Квито. Эти крепости обозначают границы.

Испанский завоеватель дон-Педро Вальдивия, основал 24 февраля 1541 года город Сантьяго в очаровательном месте, на левом берегу реки Манохо, при входе в долину, простирающуюся до реки Пурагуэля и подножья горы Эль-Пардо, которая возвышается тысячи на четыре футов.

Сантьяго, сделавшийся впоследствии столицей Чили, один из прекраснейших городов испанской Америки. Улицы широки, прямы, дома, выстроенные только в один этаж по причине частых землетрясений, обширны и хорошо расположены. В Сантьяго есть очень много памятников, из которых самые замечательные — Камен-

ный мост на пяти арках и Тахама или плотина, сделанная из двух кирпичных стен, пространство между которыми заполнено землей, и служащая к защите жителей от наводнений. Кордильерские горы, с вершинами, увенчанными вечными снегами, хотя и отдалены от города на восемьдесят километров, но как будто парят над ним и представляют величественнейшее зрелище.

5 мая 1835 года, в десять часов вечера, удушливой тьмой тяготел над городом; в воздухе не было ни малейшего ветерка, на небе ни одного облачка. Сантьяго, город обыкновенно такой шумный и веселый, казалось, был погружен в мрачную печаль. На балконах и в окнах, правда, видны были мужские и женские лица, но выражение их было серьезно, взоры всех были задумчивы и тревожны.

Повсюду, на улицах или у дверей, стояли многочисленные группы, разговаривавшие шепотом и с живостью. Из дворца беспрестанно выходили ординарцы и скакали по различным направлениям. Отряды солдат выходили из казарм и с барабанным боем отправлялись на Большую Площадь, где становились в ряды, безмолвно проходя посреди смущенных жителей.

Большая Площадь в этот вечер представляла необыкновенное зрелище. Факелы в руках людей бросали красноватые отблески на собравшихся, ожидавших важного происшествия. Изредка поднимался какой-то странный ропот, как будто шум моря перед бурей, шепот целого встревоженного народа, выражение грозы, собиравшейся во всех этих стесненных сердцах.

Десять часов медленно пробило на соборной колокольне. Тотчас же в рядах солдат слышались голоса офицеров, отдававших приказание, и в одно мгновение толпа, раздвинутая во все стороны, с криками и ругательствами, сопровождаемыми ударами ружейных прикладов, разделилась на две почти равные части, оставив посреди площади обширное свободное пространство. В ту же минуту вдали раздалось погребальное пение, тихое и однообразное, и длинная процессия монахов потянулась по площади. Монахи эти принадлежали к ордену братьев милосердия. Они шли медленно, по два в ряд, с опущенными на лицо капюшонами, потупив головы, скрестив руки на груди и напевая *De profundis*. Посреди них десять кающихся несли каждый по открытому гробу.

Позади монахов ехал кавалерийский эскадрон, а за ним шел батальон милиции, посреди которого десять человек, с обнаженными головами, с руками связанными за спиной, ехали на ослах, лицом к хвосту. Каждого из ослов вел за узду монах; отряд копыеносцев замыкал эту печальную процессию.

При крике: «Стой!», произнесенном командиром войск, расположенных на площади, монахи раздались направо и налево, не прерывая своего погребального пения, и осужденные остались одни посреди площади на месте, приготовленном для них. Эти люди принадлежали к знатнейшим фамилиям страны. Занявшись некстати политикой, они должны были поплатиться за это жизнью. Жители Сантьяго с мрачным отчаянием смотрели на приговоренных к казни, которых считали мучениками. Вероятно, в их пользу произошло бы восстание, если бы генерал дон Панчо Бустаменте, военный министр, не послал на площадь войско, которое могло устрасить самых отважных и принудить их молча присутствовать при расстреле тех, кого они не могли спасти.

Осужденные сошли на землю, набожно стали на колени и исповедывались монахам, которые остались возле них, между тем как отряд из пятидесяти солдат занял позицию в десяти шагах. Когда исповедь была закончена, осужденные поднялись с колен и, взявшись за руки, мужественно стали в один ряд перед солдатами, которые должны были расстрелять их.

Между тем, несмотря на значительность войск, собранных на площади, в народе поднялся глухой ропот. Толпа волновалась; зловеший говор и проклятия, производимые вслух в адрес Бустаменте, заставляли агентов правительства поскорее кончить свое дело, из опасения, чтобы народ не вырвал у них несчастных жертв.

Генерал Бустаменте, спокойно и бесстрастно присутствовавший при страшной церемонии, презрительно улыбнулся этому выражению народного неодобрения. Он поднял шпагу над головой и скомандовал перемену фронта, которая была исполнена с быстротою молнии. Войска встали лицом к толпе; первые ряды прицелились в граждан, столпившихся перед ними, между тем как другие направили ружья на окна и балконы, откуда смотрели тесные группы любопытных. Тогда на площади вдруг воцарилась мертвая тишина, позволившая расслы-

шать каждое слово приговора, громко прочитанного экзекутором и присуждавшего патриотов к расстрелянию. Осужденные выслушали этот приговор с совершенным бесстрашием. Генерал сделал знак. Ружейный залп раздался как громовой удар, и десять человек упали на землю. Войска с распущенными знаменами и музыкой прошли мимо трупов и отправились в свои казармы.

Когда генерал исчез со своей свитой, и все войска оставили площадь, толпа тоже мало-помалу разошлась, последние факелы угасли и это место, на котором еще так недавно разыгралась ужасная драма, совершенно опустело.

Прошло довольно долгое время и ни малейший шум не нарушил торжественного безмолвия, царившего над Большой Площадью. Вдруг глубокий вздох вырвался из груди трупов и один из них, бледный, облитый кровью и запачканный грязью, медленно приподнялся, с усилием отодвигая тела, закрывавшие его. Несчастный, каким-то чудом оставшийся в живых, бросил вокруг себя беспокойный взгляд и проведя рукою по лбу, орошенному холодным потом, прошептал с тоской:

— Боже мой! Боже мой! Дай мне силу дожить до того, чтобы я мог отомстить!

Затем этот человек, слишком ослабевший от потери крови, которая и теперь еще лилась из его ран, не будучи в состоянии встать на ноги и убежать, пополз, оставляя позади себя длинный и влажный след. Едва отполз он на двадцать метров от середины площади, и то с невероятным затруднением, как вдруг из улицы, находившейся напротив него, вышли два человека, поспешно направлявшиеся прямо к нему.

— О! — вскричал несчастный с отчаянием. — Я погиб!

И он лишился чувств. Два незнакомца, подойдя к нему, наклонились над его телом и старательно его осмотрели.

— Ну?.. — спросил один через несколько секунд.

— Жив еще... — отвечал другой тоном убеждения.

Не произнеся ни слова более, они завернули раненого в плащ, взвалили его на плечи и исчезли в мрачной глубине улицы, по которой пришли и которая вела к предместью Канадилла.

Переезд

Продолжительно путешествие из Гавра в Чили! Для человека, привыкшего к суматохе и упоительному вихрю парижской атмосферы, жизнь на корабле, обыкновенно такая спокойная и регулярная, кажется очень скучной и однообразной! Грустно, тяжело ему оставаться целые месяцы заключенным в маленькой каюте, без солнца, почти без света; имея возможность прохаживаться только по узкой палубе, видя только бурное или спокойное море, всегда и везде одно море! Такой переход слишком резок. Парижанин, привыкший к шуму и движению большого города, не может понять чудной поэзии жизни на море, которая ему неизвестна; для него недоступны ее высокие наслаждения и ее едкое сладострастие, которыми упиваются моряки, эти люди с гранитным сердцем, беспрерывно ведущие борьбу со стихиями; насмехающиеся над бурей, пренебрегающие ураганом, эти герои, которые раз по двадцати в минуту видят смерть лицом к лицу и до того успевают освоиться с нею, что наконец презирают ее, даже перестают верить в ее существование. Для пассажира, стремящегося к земле, каждый час кажется днем, а день целым веком. Постоянно устремив глаза в бесконечную даль моря, несчастный невольно впадает в мрачную тоску, которую может рассеять только вид столь желанной гавани.

Граф де Пребуа-Крансэ и Валентин Гиллуа также испытали все разочарование и всю скуку жизни на корабле. В первые дни они питались еще смутными воспо-

минаниями о той, другой жизни, с которой они покончили навсегда. Они разговаривали об изумлении, какое причинит в высшем обществе внезапное исчезновение графа, который уехал, не предупредив никого и не оставив после себя никаких признаков, которые могли бы навести на его след. Мысленно они перелетали расстояние, отделявшее их от Америки, и долго разговаривали о неизвестных наслаждениях, ожидавших их на этой золотоносной почве, на этой обетованной земле искателей приключений, которая, увы! часто готовит для того, кто стремится к ней с надеждой легко разбогатеть, столько неприятностей и разочарований!

Так как всякий предмет разговора, как бы ни был он интересен, наконец надоедает, молодые люди, чтобы избавиться от утомительного однообразия, задумали устроить свою жизнь таким образом, чтобы скука овладевала ими менее, нежели другими пассажирами. Два раза в день, утром и вечером, граф, прекрасно говоривший по-испански, учил своего молочного брата, и тот так хорошо воспользовался этими уроками, что через два месяца мог поддерживать разговор. В последние недели переезда, молодые люди нарочно старались говорить не иначе как на этом языке и между собою, и с некоторыми пассажирами. Результатом этого было именно то, чего они ожидали, то есть Валентин в короткое время научился говорить по-испански так же бегло, как по-французски. Иногда Валентин становился учителем в свою очередь. Он заставлял Луи делать гимнастические упражнения, чтобы развить его мышцы, приучить тело к усталости и сделать его способным переносить тяжелые физические нагрузки.

Мы опишем здесь характер Валентина Гиллуа, так как судя по разговору и по поступкам молодого человека, читатель может составить себе о нем совершенно ложное понятие. Нравственно Валентин Гиллуа сам не знал себя; это был беззаботный весельчак и насмешник, натура которого, несколько испорченная чтением без разбора, в своем основании была чрезвычайно мягкая и добрая. Он сосредоточивал в себе привычки и мнения тех людей, которые, никогда не выезжая из родной страны, знают свет только по романам или драмам Тампльского бульвара. Он вырос как гриб на парижской мостовой и для поддержания своего жалкого существования хватался

за самые оригинальные ремесла. Сделавшись солдатом, он жил беспечно, был счастлив настоящим и нисколько не думал о будущем, зная, что оно не существует для него. Однако в сердце этого беззаботного малого скоро зародилось новое чувство, в несколько дней пустившее глубокие корни. Это чувство — преданность к человеку, который протянул ему руку, сжалился над его матерью, внушил ему сознание собственного достоинства и вытащил его из грязи, в которой бедный молодой человек находился.

Смерть благодетеля поразила его как удар грома. Он понял всю важность поручения, возложенного на него умершим полковником, и поклялся с твердой решимостью сдержать свое слово во что бы то ни стало, заботясь о сыне того, кто сделал из него человека.

Выдающимися чертами его характера были энергия, которую препятствия только увеличивали, а не уменьшали, и железная воля. С этими двумя качествами человек может совершить великие вещи и, если смерть не застанет его на пути, непременно достигнет своей цели, какова бы она ни была.

В нынешних обстоятельствах этот человек был настоящей находкой для графа де Пребуа Крансэ, натуры мечтательной и поэтической, совершенно незнакомой с трудностями самостоятельной жизни.

Как случается всегда, когда сходятся двое людей, одаренных такими различными характерами, Валентин скоро приобрел над своим молочным братом огромное влияние; и он пользовался этим влиянием с необыкновенным тактом, никогда не давая его чувствовать своему товарищу, волю которого он, казалось, исполнял, тогда как на самом деле заставлял его следовать своей воле. Таким образом, эти двое людей, чрезвычайно любившие друг друга, дополняли один другого.

Резкость, с которою Валентин говорил с графом в первых главах этого рассказа, вовсе не была ему присуща и поистине удивила его самого. Обсудив намерение молодого человека, которого он хотел спасти от отчаяния, Валентин понял, с той понятливостью сердца, которою он был наделен от природы, что не следует раstraиваться несчастием, так неожиданно поразившим его молочного брата, а напротив должно стараться возвратить ему утраченное мужество. Поэтому-то он нашел

в своем сердце такие убедительные доказательства, что граф согласился жить и следовать его советам.

Валентин не колебался. Отъезд донны Розарио доставил ему желаемый предлог вытащить своего молочного брата из парижской бездны, которая, потопив его состояние, угрожала поглотить и его самого. Сознав необходимость увезти Луи в другую страну, он убедил его поехать за любимой им женщиной в Америку. И вот они оба отправились в Новый Свет, без сожаления оставив отечество, которое оказалось в отношении их таким неблагоприятным.

Во время переезда мужество графа часто ослабевало и вера в будущее почти оставляла его, когда он начинал думать о тягостной, сопряженной с лишениями, жизни, ожидавшей его в Америке. Но Валентин, благодаря своей неисчерпаемой веселости, своему изумительному красноречию и непрерывным шуткам, всегда успевал подбодрить своего товарища, который подчинялся его влиянию и делался совсем другим человеком.

Вот в каком положении находились оба наших действующих лица, когда пакетбот бросил якорь в Вальпараисо. Валентин ни в чем не сомневался. Он был убежден, что люди, с которыми он будет иметь дело, гораздо ниже его по уму, и что ему нетрудно будет достигнуть двойной цели, к которой он стремился. Граф верил, что Валентин отыщет женщину, которую он любил и за которой приехал. О том же, чтобы обогатиться, он и не думал.

Вальпараисо — Райская Долина — назван этим именем как бы в насмешку, потому что это самый грязный и самый безобразный из всех городов испанской Америки, служит местом отдыха для иностранцев, которых торговые интересы не призывают в Чили.

Молодые люди пробыли в этом городе очень недолго, а именно столько времени, сколько понадобилось для того, чтобы одеться по тамошней моде, то есть купить панамские шляпы, *poncho* и *polenas*. Потом, вооружившись каждый парой дуствольных пистолетов, карабином и длинным ножом, они выехали на превосходных лошадях в Сантьяго, накануне того дня, в который происходила казнь, описанная нами в предыдущей главе. Погода была великолепная. От лучей солнца камешки на дороге сверкали как золотые блески.

— Ах! — вскричал Валентин со вздохом удовольствия, как только они выехали на прекрасную дорогу, которая ведет в Сантьяго. — Как отрадно дышать воздухом земли. Вот мы наконец и в этой хваленой Америке! Теперь нам остается только загребать золото двумя руками!

— А донна Розарио? — сказал граф меланхолическим голосом.

— Не пройдет и недели как мы найдем ее, — отвечал Валентин с изумительной самоуверенностью.

После этих слов он пришпорил лошадь, и молодые люди скоро исчезли в извилинах дороги.

Красавица

Ночь была темная. Ни одна звезда не сияла на небе; луна, полузакрытая облаками, проливала тусклый свет. Улицы были пусты, только время от времени раздавались шаги караульных, которые одни не спали в этот час.

Двое незнакомцев, которые, как мы сказали, подняли на Большой Площади раненого, долго шли со своей странной ношей, останавливаясь при малейшем подозрительном шуме и скрываясь в углублениях дверей или за углами улиц. После раскрытия заговора дан был приказ, чтобы с одиннадцати часов вечера все граждане оставались дома. После бесчисленных поворотов, незнакомцы остановились на улице Эль-Меркадо, одной из самых уединенных и узких в целом Сантьяго. Вдруг в одном из домов отворилась дверь и женщина в белом платье, со свечой, которую она прикрывала левой рукой, показалась на пороге. Незнакомцы остановились. Один из них тотчас же вынул из кармана огниво и кремьень и высек несколько искр. При этом сигнале, женщина погасила свою свечу, сказав громко:

— Да защитит Бог Чили!

— Бог защитил ее! — отвечал человек, высекавший огонь.

Женщина вскрикнула от радости, но тотчас же осмотрелась из осторожности и сказала вполголоса:

— Идите! Идите!

В одну минуту незнакомцы были возле нее.

— Он жив? — спросила женщина с беспокойством.

— Жив, — отвечал один из незнакомцев.

— Войдите же скорее, именем неба! — вскричала она.

Носильщики пошли за женщиной, которая опять зажгла свою свечу, и дверь дома немедленно затворилась за ними.

Все дома Сантьяго похожи между собою по внутреннему устройству. Обыкновенно широкие ворота, с двумя столбами по сторонам, ведут на большой двор, в глубине которого прямо против входа находится главная комната, почти всегда служащая столовой. По сторонам расположены спальная, гостиная и кабинет. Позади этих комнат находится сад, украшенный фонтанами и засаженный померанцевыми, лимонными и гранатовыми деревьями, липами, кедрами и пальмами, которые разрастаются с неимоверной быстротой. За садом выстроена обширная загородка для лошадей и экипажей.

Дом, в который мы ввели читателя, отличался от других только роскошным убранством, которое доказывало, что хозяин человек важный.

Незнакомцы, следуя за женщиной, которая указывала им дорогу, вошли в гостиную, окна которой выходили в сад. Они положили раненого на диван и ушли, не говоря ни слова, только почтительно поклонившись. Женщина оставалась с минуту неподвижной и как будто прислушивалась к шуму удалявшихся шагов. Когда все смолкло, она бросилась к двери и заперла ее с лихорадочным трепетом; потом встала перед раненым, который не обнаруживал никаких признаков жизни, и устремила на него долгий и печальный взор.

Этой женщине было тридцать пять лет, но на вид казалось ей не более двадцати. Она была одарена красотой изумительной, но странной, производившей отталкивающее впечатление. Несмотря на ее прекрасную фигуру, на изящество ее походки, на роскошь ее движений, исполненных сладострастия; несмотря на чистоту линий ее лица, отличавшегося матовой белизной, слегка позлащенной жгучими лучами американского солнца, лица восхитительно обрамленного великолепными косами черных волос с синеватым отливом; несмотря на ее большие голубые глаза с бархатистыми длинными ресницами и бровями, проведенными совершеннейшей дугою; несмотря на ее прямой нос, с подвижными розовыми ноздрями, крошечный рот, коралловые губы которого чудно отделялись от

белого жемчуга зубов, в этом великолепном создании было что-то страшное, холодное. Глубина ее взгляда, ее ироническая улыбка, едва заметная морщинка на лбу, все в ней, даже ее мелодический голос, несколько резкий, внушало какое-то инстинктивное подозрение.

Одна в этой комнате, едва освещенной мерцающим светом свечи, в эту спокойную и безмолвную ночь, перед этим бледным и окровавленным человеком, на которого она смотрела, нахмутив брови, эта женщина походила на одну из фессалийских прорицательниц, приготовляющую совершать какое-нибудь таинственное и ужасное колдовство.

Раненый был мужчина лет сорока пяти, высокого роста. Черты его были прекрасны, лоб благородный, а выражение лица гордое, решительное и прямодушное.

Женщина долго оставалась погруженной в безмолвное созерцание. Грудь ее высоко вздымалась, брови нахмурились все более и более; она, казалось, подстрекала медленное возвращение к жизни человека, лежащего перед ней.

Наконец она прошептала голосом тихим и прерывистым:

— Вот он!.. На этот раз он в моей власти!.. Согласится ли он отвечать мне? О! Может быть, я сделала бы лучше, если б дала ему умереть!

Она остановилась и вздохнула, но почти сразу же продолжала:

— Дочь моя!.. Этот человек овладел моей дочерью!.. Дочь моя!.. Он должен возвратить мне ее! Я этого хочу! И он должен сделать по-моему, хотя бы мне пришлось снова предать его палачам, у которых я похитила их добычу! Эти раны ничего не значат: потеря крови причина его обморока!.. Но время идет! Могут заметить мое отсутствие. Узнаем, чего я могу ждать от него. Может быть, мои слезы и мольбы тронут его, хотя скорее можно умолить самого неумолимого индейца!.. А он!.. Он будет смеяться над моим горем; он будет отвечать сарказмом на мои отчаянные крики! О! Горе, горе ему тогда!

Она смотрела еще с минуту на раненого, все так же неподвижного, потом прибавила решительно:

— Попробуем!

Она взяла со столика хрустальный флакон, приподняла голову раненого и дала ему понюхать. Наступила

минута ожидания. Женщина жадно следила за судорожными движениями раненого, которые были предвестниками возвращения жизни. Наконец он глубоко вздохнул и медленно раскрыл глаза.

— Где я? — прошептал он слабым голосом и снова закрыл глаза.

— В безопасном месте, — отвечала женщина.

При звуке этого голоса раненый встрепенулся. Он с усилием приподнялся и, осмотревшись вокруг с отвращением, к которому примешивались ужас и гнев, сказал глухим голосом:

— Кто это говорил?

— Я! — гордо отвечала женщина, становясь перед ним.

— А! — возразил он, опять опускаясь на диван. — Опять она!

— Да, опять я! Опять я, дон Тадео! Я, воля которой, несмотря на ваше презрение и вашу ненависть, никогда не ослабевала! Я, помощь которой вы всегда упорно отвергали и которая наконец насильно спасла вас!

— О! Для вас это было легко! — отвечал раненый презрительно. — Ведь вы находитесь в самых коротких отношениях с моими палачами!

При этом оскорбительном ответе, женщина не могла удержаться от гневного движения. Внезапный румянец покрыл ее лицо.

— Пожалуйста, без оскорблений, дон Тадео де Лео-он! — сказала она, топнув ногою. — Я спасла вас, я женщина и вы у меня в доме!

— Это правда! — отвечал дон Тадео, приподнимаясь и кланяясь с насмешкой. — Я и не подумал о том, что я у вас в доме; будьте же так добры, укажите мне дорогу, чтобы я мог выйти отсюда как можно скорее.

— Не торопитесь, дон Тадео. Ваши силы еще не достаточно окрепли. Вы не в состоянии идти и, пожалуй, упадете в нескольких шагах отсюда... может быть, вас поднимут агенты правительства, которые, поверьте мне, теперь уж не выпустят вас из своих рук.

— Быть может, для меня легче подвергнуться еще раз казни, нежели оставаться с вами.

Наступила минута молчания, во время которой собеседники внимательно наблюдали друг за другом. Наконец женщина сказала:

— Выслушайте меня, дон Тадео! Несмотря на все ваши усилия, судьба снова свела нас. Если вы еще живы, если вы получили только легкие раны, так это потому, что я подкупила солдат, которым поручено было расстрелять вас; я хотела принудить вас к объяснению, которого давно прошу у вас и в котором вы всегда мне отказывали... но теперь... теперь вы уже не можете избежать этого объяснения. Не изъясняя прав на вашу признательность, я все-таки скажу, что вы обязаны мне жизнью... Хотя бы за эту услугу вы должны выслушать меня.

— Неужели вы думаете, что я считаю услугой то, что вы сделали? По какому праву вы спасли мне жизнь? Вы плохо меня знаете, если думаете, что меня тронут ваши слезы. О, нет!.. Слишком долго был я вашим рабом, вашей игрушкой! Слава Богу, теперь я вас знаю, и *Красавица*, любовница генерала Бустаменте, тирана моей родины, палача моего и моих братьев, ничего не должна ждать от меня. Все что вы скажете, все что вы сделаете, будет бесполезно. Я не стану вам отвечать. Не трудитесь принимать на себя вид этой притворной кротости, которая вовсе вам несвойственна. Я безумно любил вас, целомудренную и добродетельную молодую девушку, когда в доме вашего достойного отца, которого вы впоследствии убили своим развратным поведением, вас еще звали Марией. В то время, я с радостью пожертвовал бы для вас жизнью и моим счастьем, вы это знаете не хуже меня, но *Красавицу*, бесстыдную куртизанку, женщину, отмеченную клеймом бесчестия, презренную тварь — я не знаю. Прочь! Между вами и мной нет ничего общего!

И повелительным жестом дон Тадео принудил ее отойти.

Женщина слушала его со сверкающим взором, задыхаясь и трепеща от бешенства и стыда. Когда он замолчал, она крепко сжала его руку и, наклонившись к нему, сказала прерывающимся голосом:

— Все ли вы сказали? Достаточно ли осыпали меня оскорблениями? Довольно ли грязи бросили мне в лицо? Не имеете ли еще чего прибавить?

— Ничего, — отвечал дон Тадео с холодным презрением. — Вы можете, если хотите, позвать ваших убийц...

И опустившись на диван, он стал ждать с самым дерзко-равнодушным видом.

Муж и жена

Донна Мария, несмотря на неудачу, не отказалась еще от надежды растрогать дона Тадео. Когда, размышляя о первых годах любви своей к нему, она вспоминала о том, с какой покорностью этот человек исполнял ее малейшие капризы, с какой готовностью он, по одному ее взгляду или улыбке, подчинялся ей, с каким самоотвержением отказывался от своей воли, чтобы жить ею и для нее, — она, несмотря на все то, что с тех пор произошло между ними, не могла поверить, чтобы эта сильная и глубокая страсть угасла совершенно. Гордость ее возмущалась при мысли о том, что она лишилась всей своей безграничной власти над этой избранной натурой. Она воображала, что подобно большей части мужчин, дон Тадео, уязвленный в своем самолюбии, еще любил ее, и что упреки, которые он делал ей, были искрами того не совсем потухшего огня, который тлел еще в глубине его сердца.

К несчастью, донна Мария не дала себе труда изучить человека, красота которого ее так долго держала в плену. Она не сумела увидеть и оценить могучую энергию и железную волю, составлявшие основание его характера.

Между тем самая история их любви могла бы послужить ей свидетельством.

Донне Марии было тогда четырнадцать лет. Она жила со своим отцом в окрестностях Сантьяго. Лишившись матери при самом рождении, она была воспитана старой

теткой, которая была неподкупным Аргусом и не позволяла ни одному обожателю приближаться к племяннице. Молодая девушка, несведущая, как все дети, воспитанные в деревне, но по своему характеру уже стремившаяся узнать свет и броситься в вихрь удовольствий, с нетерпением ждала человека, который должен был ей доставить все эти радости.

Дон Тадео был только проводником, на которого возложена была обязанность привести Марию к удовольствиям, волновавшим ее сердце. Никогда она не любила его; но увидев его в первый раз и узнав, что он принадлежит к знатной фамилии, сказала себе:

— Вот тот, кого я жду!

Подобный эгоистический расчет свойствен многим молодым девушкам.

Дон Тадео был красив, и самолюбию Марии льстила победа над ним; но если бы даже он был и безобразен, это не остановило бы ее. В этой чудовищной натуре, странном смешении самых гнусных страстей, среди которых изредка сверкали, как бриллианты, в грязи, некоторые высокие чувства, сочетались качества двух куртизанок древнего Рима: Локусты и Мессалины. Пылкая, страстная, честолюбивая, скупая и расточительная, Мария была демоном под личиной ангела; она не знала других законов кроме своих прихотей, и потому все средства были для нее хороши, лишь бы только они могли помочь достигнуть цели.

Долго дон Тадео, ослепленный любовью, был под властью этого адского гения; но однажды повязка спала у него с глаз, он с ужасом измерил глубину бездны, в которую увлекла его эта женщина. Невероятно беспорядочная жизнь, в которую она погрузилась под прикрытием его имени, запечатлела на его челе клеймо бесславия: свет считал его ее сообщником.

Дон Тадео имел от Марии одну дочь, родившуюся в первые годы их супружества. Теперь этой девушке было пятнадцать лет, и отец любил ее со всей силой страданий, которые причиняла ему ее мать. Он содрогался при одной мысли об ужасной будущности, открывавшейся перед этим невинным созданием. Через четыре года после того, как он расстался со своей женой, которая уже не обуздывала своего разврата, дон Тадео однажды неожиданно явился к ней и увез дочь, не предупредив ни

одним словом о своем намерении. С того времени минуло уже десять лет — никогда Мария не видала своей дочери. Тогда странный переворот совершился в этой женщине. Словно новое чувство зародилось в ее душе. Какое же было это чувство? Она сама этого не знала. Она непременно хотела увидеть свою дочь. Пять лет боролась она с доном Тадео, упрасывая его об этом. Отец был неумолим. Она ничего не могла узнать. С тех пор как дон Тадео перестал любить свою жену и сделался ее непримиримым врагом, он принял всевозможные предосторожности, так что все поиски Марии были безуспешны. Она вообразила себе, что муж наконец сдастся, увидевшись с ней, и решилась во что бы то ни стало принудить его к свиданию.

Вот в каких отношениях находились в настоящую минуту дон Тадео и его жена. Очевидно, что это была борьба, борьба неравная между мужчиной, раненым и гонимым, и женщиной пылкой, оскорбленной, которая, подобно львице, у которой похитили ее детенышей, яростно стремилась к своей цели.

Дон Тадео обернулся к ней и сказал:

— Я жду...

— Вы ждете? — спросила она с очаровательной улыбкой. — Чего же вы ждете?

— Убийц, которых вы, без сомнения, оставили недалеко отсюда, на тот случай, если я не захочу отвечать вам на вопросы о вашей дочери.

— О! — сказала донна Мария с отвращением. — Возможно ли, дон Тадео, чтобы вы имели обо мне такое дурное мнение? Зачем я, которая спасла вам жизнь, теперь выдам вас тем, которые вас осудили?

— Почему знать? — сказал дон Тадео насмешливым тоном. — Сердце женщин вашего сорта — бездна, которую никакой мужчина не может измерить. Возможно, вы найдете неведомое очарование в моей вторичной казни, которая, впрочем, не может вас компрометировать, потому что по закону я уже умер для всех.

— Дон Тадео, я знаю как мое поведение с вами было недостойно и как я мало заслуживаю вашего сострадания! Но вы дворянин! Неужели вы думаете, что благородно осыпать оскорблениями, как бы ни были они заслуженны, вашу жену, которая спасла вам жизнь и хочет если не оправдаться в ваших глазах, то, по край-

ней мере, приобрести права, если не на уважение ваше, то по крайней мере на сострадание?

— Очень хорошо! Ваше замечание как нельзя более справедливо и я соглашаюсь с ним от всего сердца. Прошу вас, простите, что я позволил себе увлечься и произнести некоторые обидные слова; но в первую минуту я не мог совладеть с собой и мне невозможно было скрыть в глубине души теснившее меня чувство. Теперь примите мою искреннейшую признательность за огромную услугу, оказанную мне вами, и позвольте мне удалиться. Более продолжительное пребывание в этом доме будет с моей стороны кражей, в которой я окажусь виновным перед вашими многочисленными обожателями.

И поклонившись с иронической вежливостью своей жене, трепетавшей от гнева, дон Тадео хотел идти.

— Еще одно слово, — сказала Мария.

— Говорите!

— Вы решились оставить меня в неведении на счет участи моей дочери?

— Она умерла...

— Умерла? — вскричала донна Мария с испугом.

— Да... для вас... — отвечал Тадео с холодной улыбкой.

— О! Вы неумолимы! — вскричала Мария, с бешенством топнув ногой.

Тадео поклонился и ничего не отвечал.

— Ну! — продолжала донна Мария. — Теперь я уже не стану просить милости, а предложу условия.

— Условия?

— Да.

— Идея кажется мне оригинальна...

— Может быть, судите сами.

— Слушаю, но время проходит, а я...

— Я объяснюсь вкратце... — перебила Мария.

— К вашим услугам.

Дон Тадео сел, улыбаясь совсем как друг, пришедший в гости. Мария следила за всеми его движениями, не показывая вида, что приписывает им какую-либо важность.

— Дон Тадео, — сказала она, — в эти десять лет, как мы расстались, случилось много перемен...

— Да, — отвечал дворянин с жестом вежливого согласия.

— Я не буду говорить вам о себе... моя жизнь вам известна.

— Очень мало.

Донна Мария бросила на мужа косой взгляд и сказала:

— Я буду говорить вам о вас.

— Обо мне?

— Да, о вас. Патриотизм и политические идеи не до того поглощают ваши минуты, чтобы вам не оставалось времени для радостей, более задушевных, для волнений сердечных...

— Что хотите вы сказать?

— Зачем выказывать притворное неведение? — возразила Мария с коварной улыбкой. — Вы очень хорошо понимаете меня.

— Милостивая государыня!

— Не возражайте, дон Тадео! Утомившись мимолетной любовью женщин моего сорта, как вы называли меня сейчас, вы ищете в наивном сердце молодой девушки волнений, которых не пробудили в вас другие ваши любовницы; словом, вы влюблены в прелестного ребенка, достойного во всех отношениях быть вашей избранной супругой, если бы, к несчастью, не существовала я.

Дон Тадео устремил на жену глубокий взгляд, когда она произносила эти слова. Когда же она замолчала, вздох вырвался из его груди.

— Как? Вы знаете? — воскликнул он с изумлением, искусно разыгранным. — Вы знаете?..

— Что ее зовут донной Розарио дель-Валле, — возразила Мария, довольная эффектом, который произвела на мужа, — это важная новость в Сантьяго; все об этом говорят! Как же этого не знать мне, так интересующейся вами.

Красавица замолчала и положила руку на плечо мужа:

— Мне это все равно, — продолжала она, — возвратите только мне мою дочь, дон Тадео, и ваша любовь будет для меня священна... иначе...

— Вы ошибаетесь, говорю я вам.

— Берегитесь, дон Тадео! — возразила куртизанка, бросив взор на часы. — Теперь женщина, о которой мы говорим, уже должна быть в руках моих агентов.

— Что это значит?.. — вскричал дон Тадео с волнением.

— Да, — продолжала Мария резким и отрывистым голосом, — я велела ее похитить. Через несколько минут она будет здесь. Повторяю, берегитесь, дон Тадео! Если вы мне не признаетесь, где моя дочь и откажетесь возвратить мне ее...

— Ну! — перебил Тадео, скрестив руки и гордо смотря жене в лицо. — Что же вы тогда сделаете?

— Я убью эту женщину, — отвечала Мария глухим голосом.

Дон Тадео смотрел на нее с минуту, а потом захохотал сухим и нервным смехом, который привел в ужас куртизанку.

— Вы ее убьете! — вскричал он. — Ну!.. Убейте это невинное создание!.. Зовите ваших палачей!.. Я буду нем.

Мария прыгнула как раненая львица. Бросившись к двери и растворив ее настежь, она закричала с бешенством:

— Это уже слишком! Войдите...

Два человека, которые принесли дону Тадео, вошли с кинжалами в руках.

— А! — сказал дворянин с улыбкой презрения. — Я узнаю вас наконец, донна Мария!

По знаку его жены, убийцы бросились на него.

Мрачные Сердца

Мы видели, что народ разошелся почти тотчас после казни. Каждый уносил в глубине сердца надежду отомстить за патриотов. Между тем площадь, казавшаяся пустой, не была пуста. Несколько человек, в плотных плащах, в шляпах с широкими полями, надвинутых на глаза, стояли в углублении ворот: они с живостью разговаривали шепотом между собой, бросая вокруг тревожные взгляды.

Это были друзья казненных. Несмотря на страх, царивший в городе, они выпросили у архиепископа сантьягского, истинного священнослужителя по Евангелию, чтобы их несчастным братьям был отдан последний долг.

Они видели всю печальную драму. Они заметили, как дон Тадео поднялся из груды трупов, слышали слова, произнесенные им и уже хотели подойти к нему, когда незнакомцы, вдруг явившись, схватили его и унесли. Это похищение полумертвого человека чрезвычайно их удивило. Обменявшись несколькими словами, двое из них бросились в погоню за незнакомцами, чтобы узнать, по какой причине похитили они раненого, между тем как остальные двенадцать вышли на середину площади, где лежали трупы расстрелянных. Они наклонились над этими трупами, распростертыми у их ног, надеясь, что, может быть, еще одна какая-нибудь жертва избегнула гнусного убийства.

К несчастью, дон Тадео был один спасен каким-то чудом. Девять других жертв были мертвы. После продолжительного и подробного осмотра, друзья убитых поднялись

со вздохом сожаления и горести. Один из них отделился от группы и постучался в одну из нижних дверей собора.

— Кто там? — спросил голос изнутри.

— *Тот, для кого ночь не имеет мрака,* — отвечал постучавший человек.

— Чего ты хочешь? — продолжал голос.

— *Написано: стучись и тебе отворят!* — сказал опять незнакомец.

— *Отечество!* — произнес голос.

— *Или мщение!* — отвечал незнакомец.

Дверь отворилась и появился монах. Капюшон, опущенный на лицо, не позволял различить его черты.

— Хорошо, — сказал он, — чего требуют *Мрачные Сердца?*

— Молитвы за умерших братьев!

— Возвращайся к тем, которые послали тебя; они будут удовлетворены.

— Благодарю за всех нас! — отвечал незнакомец и, поклонившись монаху, вернулся к своим товарищам.

Во время его отсутствия те не теряли времени; трупы были положены на носилки и спрятаны под аркадами площади. Через несколько минут яркий свет осветил площадь. Двери собора растворились. Внутренность его была великолепно освещена, и в главную дверь входил длинный ряд монахов. Каждый держал в руке зажженную свечу; они пели панихиду.

В ту же минуту, как бы по волшебству, распахнулись и ворота дворца, и эскадрон черосов, во главе которого находился генерал Бустаменте, подъехал рысью к процессии. Монахи и солдаты вдруг остановились, как бы по взаимному уговору. Двенадцать незнакомцев, завернувшись в плащи и столпившись вокруг фонтана, занимающего середину площади, с беспокойством ожидали, чем кончится эта встреча.

— Что значит эта процессия в такое время? — спросил генерал.

— Мы идем поднять тела жертв, которых вы поразили и помолиться за них, — отвечал монах, шедший впереди.

— Кто вы? — сухо возразил генерал.

— Я архиепископ сантьягский, примас Чили, облеченный папой властью связывать и разрешать на земле! — отвечал монах твердым голосом, сбрасывая капюшон с головы.

В Испанской Америке духовенство пользуется могущественной властью. Никто, какое бы высокое место не занимал он, не пытается бороться против него; он знает заранее, что будет побежден. Бустаменте нахмурился, но был вынужден отступить.

— Ваше высокопреосвященство, — сказал он поклонившись, — извините меня. В эти времена смуты и междоусобных раздоров, часто невольно путаешь друзей с врагами; я не знал, что ваше высокопреосвященство желает помолиться за казненных и сами удостоиваете исполнить это. Я удаляюсь.

Во время этой сцены, незнакомцы укрывались за столбами фонтана. Благодаря темноте, Бустаменте их не видел. Как только солдаты исчезли, по знаку архиепископа, монахи отнесли убитых в собор.

— Берегитесь этого человека, — прошептал один из незнакомцев на ухо архиепископу, — удаляясь, он бросил на вас взгляд тигра.

— Брат, — просто отвечал священнослужитель, — я готов принять мученический венец.

Служба началась. По окончании ее патриоты удалились, с жаром поблагодарив архиепископа за его благородное поведение по отношению к их умершим братьям. Едва сделали они несколько шагов по узкой лестнице, обставленной жалкими лачугами, два человека вдруг поднялись из-за опрокинутой телеги, которая скрывала их, и подошли к ним, говоря тихим голосом:

— Отечество!

— Мщение! — отвечал один из незнакомцев. — Подойдите!

Те подошли.

— Ну? — спросил один из незнакомцев, который, казалось, был начальником. — Что вы узнали?

— Все, что только можно было узнать...

— В какое место отнесли доната Тадео?

— К Красавице.

— К его жене! К любовнице Бустаменте! — с живостью сказал начальник. — О боже, он погиб: она смертельно его ненавидит. Неужели мы позволим убить его, не постаравшись спасти?

— Это было бы низостью! — вскричали все с энергией.

— Но как попасть в дом?

— Ничего нет легче; стены сада очень низки.

— В таком случае, пойдемте скорее... нельзя терять ни минуты!..

Не говоря больше ни слова, незнакомцы побежали к дому донны Марии.

Как мы сказали, этот дом находился в предместьи Канадилла, самом красивом в Сантьяго. Окна, выходявшие на улицу, были герметически закрыты и не пропускали ни малейшего луча света; не слышно было никакого шума; дом казался совершенно пустым. Незнакомцы молча обошли вокруг дома и, воткнув свои кинжалы в щели стен, с их помощью перелезли в сад. Там, осмотревшись с минуту, они пошли по направлению бледных лучей света, слабо мерцающего в одном из окон. Они были уже в нескольких шагах от этого окна, когда шум борьбы долетел до них; раздался ужасный крик, смешанный с грохотом разбиваемой мебели и с гневными проклятиями. Незнакомцы, закрыв себе лица черными бархатными масками, выбили окно, которое разлетелось вдребезги и вскочили в гостиную, как нельзя более кстати.

Дон Тадео табуретом раздробил череп одному из разбойников, который тяжело хрипел, растянувшись на полу; но зато другой опрокинул на пол изнеможенного от потери крови дворянина, уперся коленом ему в грудь и поднял кинжал, чтобы пронзить его. В эту самую минуту один из незнакомцев выстрелил в голову злодею, и он упал умирать возле своего сообщника, который испускал уже последний вздох.

Дон Тадео проворно приподнялся.

— О! — сказал он. — Я думал, что погиб! Благодаря, — прибавил он, обращаясь к людям в масках, — благодарю за вашу помощь! Еще минута, и меня не было бы на свете! Красавица действует быстро!

Между тем, донна Мария, с чертами, обезображенными бешенством, со сжатыми губами, оставалась неподвижна, пораженная внезапным появлением незнакомцев, которые в несколько секунд лишили ее возможности отомстить; тогда как на этот раз она считала свое мщение верным.

— Не печпльтесь! — сказал ей дон Тадео насмешливым тоном. — Партия отложена только на время, и ваше плодовитое воображение, без сомнения, скоро доставит вам средство отыгаться!

— Надеюсь! — сказала она с сардонической улыбкой.

— Схватите эту женщину, — вскричал вождь незнакомцев, — завяжите ей рот и привяжите ее крепче к этому дивану.

— Меня! Меня! — вскричала донна Мария в пароксизме гнева. — Знаете ли вы, кто я?

— Как нельзя лучше! — отвечал сухо незнакомец. — Для честных людей вы женщина без имени. Развратники называли вас Красавицей и генерал Бустаменте ваш любовник. Вы видите, что мы знаем вас хорошо!

— Берегитесь, господа! Меня нельзя оскорблять безнаказанно.

— Мы вас не оскорбляем, — возразил бесстрастный незнакомец, — мы только хотим на время поставить вас в невозможность вредить; а через несколько дней, — прибавил он, — мы будем вас судить.

— Судить меня!.. Меня!.. Но кто же вы, скрывающие свои лица? Кто вы, осмеливающиеся говорить со мною таким образом?

— Кто мы? Узнайте!.. Мы *Мрачные Сердца*!

При этих словах судорожный трепет пробежал по телу донны Марии; она отскочила к стене в глубоком ужасе и вскричала задыхающимся голосом:

— О! Боже мой!.. Боже мой!.. Я погибла!

И упала в обморок.

По знаку вождя, один из незнакомцев крепко связал руки донны Марии, заткнул ей рот и привязал ее к дивану. Потом, взяв с собой дону Тадео, незванные гости вышли, как пришли, не заботясь о двух злодеях, лежащих на полу.

Уходя, вождь пригвоздил к столу своим кинжалом пергаментный лист, на котором были написаны слова:

«Изменник Панчо Бустаменте призывается к суду через девяносто три дня!

Мрачные Сердца!»

На улице

Выйдя из дома, *Мрачные Сердца* разошлись по разным направлениям. Как только они исчезли за углами самых близких улиц, вождь подошел к дону Тадео. Тот, едва оправившийся от стольких волнений, испытанных им в последнее время одно за другим, ослабев от потери крови и от чрезмерных усилий, к каким принудила его последняя борьба, бледный и полубесчувственный, стоял, прислонившись к стене дома, из которого только что вышел и в котором был так близок к смерти.

Незнакомец несколько минут смотрел на него с глубоким вниманием, потом положил руку на его плечо. При этом внезапном прикосновении, дон Тадео вздрогнул как будто почувствовал удар электрического тока.

— Как? — сказал незнакомец тоном упрека. — Едва вступили вы в борьбу и уже отчаиваетесь, дон Тадео?

Раненый печально покачал головой.

— Вы ли это? — продолжал незнакомец. — Я помню, в самые ужасные моменты междоусобной брани, в самых критических обстоятельствах вы оставались тверды, а теперь бледны и унылы, не верите настоящему, не надеетесь на будущее, не имеете ни силы, ни мужества перед пустыми угрозами женщины!

— Эта женщина, — отвечал дон Тадео глухо, — всегда была моим злым гением... Это демон!

— Так что ж! — энергически вскричал незнакомец. — Если бы даже эта женщина и успела снова опутать вас теми гнусными сетями, которые она привыкла

расставлять, человек возвеличивается в борьбе! Забудьте эту бессильную ненависть, которая не может вас настигнуть; помните, кто вы, и возвысьтесь до высоты возложенного на вас поручения!

— Что хотите вы сказать?

— Разве вы меня не понимаете? Неужели вы думаете, что господь, чудом избавивший вас от смерти в эту ночь, не готовит для вас великую миссию?.. Брат! — прибавил он повелительно. — Жизнь, возвращенная вам, вам уже не принадлежит... Она принадлежит отечеству!

Наступила минута молчания. Дон Тадео, казалось, был в глубоком отчаянии. Наконец он взглянул на незнакомца и сказал ему с горькой безнадежностью:

— Что делать? Бог мне свидетель, что более всего на свете я желаю видеть счастливой мою родину. Но в двадцать лет нашей борьбы, мы ничего не могли сделать. Вы знаете по опыту, что из невольников нельзя вдруг сделать граждан. Много еще поколений сменят друг друга в этой несчастной стране, прежде чем ее обитатели будут способны составить из себя народ!

— По какому праву испытываете вы Промысел Господний? — возразил незнакомец повелительным голосом. — Разве вы знаете, что оно определено для нас? Кто может сказать, что мимолетное торжество наших врагов не затем даровано им Богом, чтобы сделать более ужасным их падение?

Дон Тадео, приведенный в себя мужественными звуками этого голоса, гордо выпрямился и внимательно взглянул на говорившего.

— Кто вы? — сказал он. — Ваши слова задели самые чувствительные струны моего сердца! Но кто дал вам право говорить со мной таким образом? Отвечайте, кто вы?

— Какое вам дело до того, кто я, — отвечал бесстрастно незнакомец, — если мне удастся убедить вас, что не все еще погибло?

— Но все-таки я желаю знать, кто вы? — настаивал раненый.

— Я тот, кто спас вам жизнь несколько минут тому назад. Этого должно быть для вас достаточно.

— Нет, — с твердостью сказал дон Тадео, — потому что вы скрываете ваши черты под маской, а я имею право видеть их!

— Может быть! — отвечал незнакомец, медленно снимая бархатную маску и показывая дону Тадео, при бледных лучах луны, лицо с мужественными и резкими одушевленными чертами.

— О! Сердце мое не обмануло меня! — вскричал раненый: — Дон Грегорио Перальта!

— Да, это я, дон Тадео! — отвечал молодой человек (ему было не более тридцати лет), — я не могу понять уныния того, кого мстители избрали своим вождем!

— Как? Вы знаете это? Однако ж, несмотря на нашу дружбу, я всегда скрывал от вас...

— Вы были осуждены на смерть, — перебил дон Грегорио, — товарищи меня выбрали на ваше место королем мрака; в мои руки вложили они власть, которою, так же как прежде вы, я могу располагать по своей воле. Смерть освобождает от клятвы молчания, наложенной на братьев. Ваше имя сделалось известно всем; я не знал, что вы были тем вождем, который довел наше общество до такого могущества, так же как вы, самый драгоценный друг мой, не знали, что я один из ваших воинов. Но слава Богу, вы спасены, дон Тадео! Займите опять ваше место. В настоящих обстоятельствах, вы один можете достойно занимать это место, отданное вам нашим доверием. Сделайтесь опять королем мрака! Но, — прибавил он суровым голосом, — помните, что мы мстители, что мы должны быть безжалостны и к себе и к другим, что одно чувство должно остаться живым в нашей душе: любовь к отечеству!

Наступило молчание. Оба, казалось, глубоко размышляли. Наконец дон Тадео гордо поднял голову.

— Благодарю вас, дон Грегорио! — сказал он твердым голосом, пожимая ему руку. — Благодарю за ваши жесткие слова: они заставили меня опомниться! Я буду достоин вас. Дон Тадео де Леон уже не существует... его расстреляли нынешней ночью на Большой Площади. Остался только король мрака, неумолимый вождь Мрачных Сердец. Горе тем, кого Господь поставит на моем пути! Я раздавлю их безжалостно! Мы победим, дон Грегорио... Начиная с нынешнего дня, я уже не человек, я разящий меч, ангел-истребитель!

Говоря эти слова, дон Тадео выпрямился. Прекрасные и благородные черты его лица оживились; сверкающие глаза бросали молнии.

— О! — вскричал с радостью дон Грегорио. — Наконец я нашел вас, друг мой! О! Благодарю, благодарю Тебя, Боже мой!

— Да, брат! — продолжал дон Тадео. — С этой минуты начинается настоящая борьба между нами и нашими врагами, борьба безжалостная, беспощадная, которая кончится только полным истреблением наших врагов! Горе им! Горе!..

— Не будем терять ни минуты; пойдем! — сказал дон Грегорио.

— Куда идти? — сказал дон Тадео с горькой усмешкой. — Разве я не умер для всех? Мой дом уже не принадлежит мне.

— Это правда! — прошептал дон Грегорио. — Но все равно, завтра известие о вашем чудесном воскресении поразит наших врагов как громовой удар! Пробуждение их будет ужасно! Они узнают, что непобедимый атлет, которого они считают погибшим, снова готов продолжать борьбу.

— И на этот раз, — вскричал дон Тадео, — клянусь Богом, эта борьба кончится только с падением наших врагов!

— Однако ж, мы не можем долее оставаться здесь, — сказал дон Грегорио, — пойдемте ко мне; на некоторое время вы будете у меня в безопасности... Впрочем, — прибавил он с улыбкой, — может быть, вы предпочитаете попросить убежища у донны Розарио?

Дон Тадео, взявший было за руку дон Грегорио, вдруг остановился при этом вопросе, ужасного значения которого друг его не подозревал. Судорожный трепет пробежал по всем его членам, холодный пот выступил на его лице.

— О! — вскричал он с отчаянием. — Боже мой! Я забыл!..

Дон Грегорио испугался отчаяния, изобразившегося на лице его друга.

— Что с вами? Ради Бога, отвечайте... — спросил он.

— Что со мной? — проговорил дон Тадео отрывистым голосом. — Эта женщина, эта змея, которую мы не раздавили...

— Ну, что ж?

— О! Я теперь помню — она сказала мне ужасную вещь!.. Боже мой! Боже мой!..

— Объяснитесь, друг мой; вы меня пугаете!

— По ее приказанию, донна Розарио нынешней ночью похищена!.. Почему знать, может быть, взбешенная тем, что я избегнул ее убийц, эта женщина велела убить несчастную девушку...

— О! Это ужасно! — вскричал дон Грегорио. — Что же теперь нам делать?

— О! — продолжал раненый. — Как мучительно не быть в состоянии действовать, не знать, как расстроить ужасные планы этой ядовитой змеи!

— Побежим к донне Розарио! — закричал дон Грегорио.

— Увы! Вы видите, что я ранен и едва могу держаться на ногах!

— Если вы не будете в состоянии идти, я понесу вас! — решительно сказал его друг.

— Благодарю, брат! Да поможет нам Бог!

И опираясь на руку друга, дон Тадео поспешно отправился с ним к дому той, которую они хотели спасти.

Несмотря на свою волю и мужество, дон Тадео чувствовал, что силы его оставляют; он с чрезвычайным трудом держался на ногах. В эту минуту, в некотором расстоянии от них вдруг послышался лошадиный топот. Заблестали факелы и вдали показались всадники.

— О! О! — сказал дон Грегорио, остановившись и стараясь узнать, что это были за люди. — Кто это, вопреки распоряжениям полиции, смеет разъезжать по улицам в такое время?

— Остановимся! — прошептал дон Тадео. — Я вижу блеск мундиров... Это шпионы Бустаменте.

— Великий Боже! — вскричал дон Грегорио. — Это сам Бустаменте! Два сообщника будут объясняться между собой!

— Да, — сказал раненый задыхающимся голосом, — он едет к Красавице.

Всадники находились уже недалеко. Друзья стремительно бросились в боковую улицу. Бустаменте со своей свитой проехал мимо, не заметив их.

— Уйдем как можно скорее, — сказал дон Грегорио.

Товарищ его, понимавший как необходимо было им скрыться, сделал крайнее усилие. Они шли минут десять, как вдруг вдали снова послышался лошадиный топот.

— Что это значит? — прошептал раненый. — Верно, все сантьягские жители вздумали нынешнюю ночь рыскать по улицам.

— Гм! — сказал дон Грегорио. — На этот раз я хочу хорошенько разузнать, в чем дело.

Вдруг раздался женский голос, жалобно просивший о помощи.

— Заставь ее замолчать! — сказал какой-то человек с грубым жестом.

Однако голос несчастной долетел до слуха дона Тадео и его друга. Трепет гнева пробежал по их членам; они молча пожали друг другу руки... Они решились умереть или спасти ту, которая молила о помощи.

— Э! Э! Это что такое? — сказал другой человек, удерживая свою лошадь, которая бросилась в сторону.

Дон Грегорио и друг его, остановившись посреди улицы, казалось, хотели преградить путь всадникам, которых было пятеро. Один из этих последних держал женщину, лежавшую поперек его седла.

— Прочь с дороги! — закричал он друзьям. — Иначе будет плохо!

— Вы не проедете, — отвечали два друга, — если не отдадите нам женщину, похищенную вами!

— Вы думаете? — с насмешкой возразил всадник.

— Попробуйте! — отвечал дон Грегорио, заряжая пистолет.

Дон Тадео, которому дон Грегорио дал оружие, молча сделал то же.

— В последний раз говорю вам, удалитесь! — закричал всадник.

— Нет!

— Хорошо же, мы проедем по вашим трупам... Вперед!.. — с гневом закричал он, обернувшись к тем, которые сопровождали его.

Пять всадников с обнаженными саблями бросились на двух человек, которые, встав посреди улицы, не отступили ни на один шаг, чтобы избежать этого нападения.

ГЛАВА X

Битва

Для объяснения последующих происшествий, мы принуждены на время оставить дона Тадео и его друга в их критическом положении и вернуться к двум главным действующим лицам этой истории, о которых мы уже очень давно не говорили ни слова.

В одной из предыдущих глав мы сказали, что молочные братья выехали из Вальпараисо в столицу Чили, везя с собою все свое богатство и в особенности — огромный запас надежд и мечтаний, которые слишком часто одно и то же. После довольно продолжительной езды, молодые люди остановились ночевать на жалком rancho, слепленном из глины с примесью сухих ветвей и находившемся на самом краю дороги. Обитатель этого печального жилища, бедняк, всю свою жизнь пасший тощий скот, принял путешественников с чистосердечным и дружелюбным гостеприимством. Радуясь, что может предложить им что-нибудь, он разделил с ними говядину, засушенную на солнце, поджаренную муку и прескверный chicha.

Французы, умиравшие с голода, с аппетитом съели эти доселе незнакомые им блюда, хотя и нашли их не очень вкусными. Удостоверившись, что лошади их имеют достаточный запас alfalfa, они завернулись в плащи и улеглись на куче сухих листьев.

На рассвете наши два искателя приключений оседлали лошадей, простились со своим хозяином, которому дали несколько реалов за его гостеприимство, и отправи-

лись в путь в сопровождении верного Цезаря. Молодые люди с любопытством рассматривали окрестности и наивно замечали, что не находят большой разницы между Новым и Старым Светом. Жизнь, которую они начинали, столь не похожая на ту, которую они вели до сих пор, была для них полна неимоверного очарования. Они были счастливы как школьники на каникулах. Все принимало в глазах их веселый оборот; словом, они чувствовали, что живут.

От Вальпараисо до Чили, как называют этот город туземцы, около тридцати пяти миль. Дорога, очень хорошая, широкая и в прекрасном состоянии, довольно однообразна и совершенно лишена интереса для туриста. Растительность редкая и тощая; тонкая, почти не осязаемая, пыль поднимается при малейшем дуновении воздуха. Редкие деревья не высоки, высушены солнцем и ветром; своей печальной наружностью они как будто протестуют против опытов культивации этой земли, сделавшейся бесплодной от сильного морского ветра и холодных ветров с Кордильерских гор. Иногда, на огромной высоте видны, как черные точки, огромные чилийские кондоры, андские орлы или дикие коршуны, отыскивающие добычу. Порой, какой-нибудь huaso, возвращающийся в свою ферму, гордо пролетит мимо вас как вихрь на своей полудикой лошади и прокричит мимоездом вечное:

— Santas tardes, Caballero!

Кроме того, что мы описали, путник ничего не встретит на этой дороге, печальной, пустой, пыльной. Нет, как у нас, гостиниц — они были бы аномалией в стране, где чужестранец повсюду входит как к себе. Везде пустыня; надо переносить голод, жажду и усталость.

Но молодые люди ничего не замечали. Энтузиазм заменял то, чего им недоставало; дорога казалась им очаровательной, путешествие восхитительным. Они были в Америке. Наконец ступили они на землю Нового Света, землю, о которой рассказывают столько чудес, о которой говорят столь многие и которая между тем знакома единицам. Расставшись с морем только несколько дней, под впечатлением нескончаемого переезда, скука которого как свинец тяготила их души, они смотрели на Чили сквозь розовые очки своих надежд.

Итак, молодые люди уже находились не более как в миле от Сантьяго, в одиннадцать часов вечера, имен-

но в ту самую минуту, когда десять жертв падали на Большой Площади под пулями солдат генерала Бустаменте.

— Остановимся здесь, — бодро сказал Валентин, — лошади наши немножко переведут дух.

— Зачит останавливаться? — возразил Луи. — Уже поздно и мы, пожалуй, не найдем ни одной гостиницы отпертой.

— Любезный друг, — заметил Валентин смеясь, — ты все еще чертовски парижанин! Ты забываешь, что мы в Америке. В этом городе, высокие колокольни которого обрисовываются на горизонте, все уже давно спят, все двери заперты.

— Что же нам делать?

— Остановимся на обочине, черт побери! Ночь великопная, небо усыпано бесчисленным множеством звезд, воздух тепл и ароматен... чего еще нам желать?

— Нечего, это правда! — отвечал Луи смеясь.

— Стало быть, как ты видишь, мы имеем еще время поговорить.

— Поговорить! Но, брат, мы только и занимались этим с самого утра!

— Я не согласен с тобой. Мы много говорили о разных разностях, о стране, в которой мы находимся, о нравах ее жителей, мало ли еще о чем? Но мы все-таки не разговаривали так, как следует по-моему.

— Видишь ли, брат, мне пришла в голову одна мысль. Мы не знаем, какие приключения ожидают нас в этом городе; прежде чем мы въедем в него, я желал бы иметь с тобой последний разговор.

Молодые люди разнуздали лошадей, чтобы они могли поесть травы. Они растянулись на земле и закурили сигары.

— Мы в Америке, — продолжал Валентин, — в стране золота, на этой земле, где с умом и мужеством человек нашего возраста может в несколько лет приобрести огромное состояние...

— Ты знаешь, друг мой... — заметил Луи.

— Как нельзя лучше! — перебил Валентин. — Ты влюблен, ты ищешь ту, которую любишь; это решено; но это несколько не может помешать нашим планам... напротив!

— Как это?

— Очень просто: ты понимаешь, не правда ли, что донна Розарио... кажется, так зовут эту девушку?

— Да.

— Очень хорошо! Ты понимаешь, говорю я, что она богата?

— Это не подлежит никакому сомнению.

— Да. Но пойми хорошенько: она не так богата, как бывают богаты у нас, то есть имеют какие-нибудь пять-десять тысяч ежегодного дохода... безделицу!.. Нет, она богата так, как богаты здесь... то есть имеет десять или двадцать миллионов!

— Очень может быть! — сказал молодой человек с нетерпением.

— Прекрасно! Пойми же теперь, что когда мы ее найдем, а мы найдем ее скоро, — это неоспоримо, — ты не будешь иметь права просить ее руки, пока не приобретешь состояния, равняющегося ее богатству?

— Ах, да! Я об этом я не подумал! — вскричал молодой человек.

— Знаю. Ты влюблен, и как все люди, страдающие этой болезнью, думаешь только о той, которую любишь, но, к счастью, я вижу ясно за нас обоих. Вот почему каждый раз, когда ты говорил мне о любви, я говорил тебе о богатстве.

— Справедливо. Но каким образом можно быстро разбогатеть?

— А! А! Наконец-то ты дошел до этого! — сказал Валентин смеясь.

— Я не знаю никакого ремесла... — продолжал Луи.

— И я также; но не пугайся... успевают только в том, чего не знают.

— Как же быть?

— Я подумаю, будь спокоен; только убеди себя хорошенько в одном: мы приехали в такую землю, где понятия совсем непохожи на понятия той страны, которую мы оставили, где нравы и обычаи диаметрально противоположны...

— Ты хочешь сказать...

— Я хочу сказать, — перебил Валентин, — что надо забыть все, чему мы учились, и помнить только одно, что мы хотим быстро приобрести колоссальное богатство!

— Честными средствами?..

— Других я не знаю, — заметил Валентин. — Но помни, брат, что в стране, в которой мы находимся теперь, понятия о чести не таковы как во Франции, что многое, считающееся у нас дурным, здесь принято. Ты меня понимаешь, не правда ли?

— Почти...

— Очень хорошо! Вообрази себе, что мы в неприязненной стране и действуй, соображаясь с этим.

— Но...

— Ты хочешь жениться на той, которую любишь?

— Ты спрашиваешь?..

— Предоставь же мне все! Особенно каждый раз как нам представится случай, не будем упускать его!

— Делай как знаешь.

— Вот все, что я хотел тебе сказать.

Молодые люди сели на лошадей и поехали в город шагом, разговаривая между собой.

Пробило полночь на часах Cabildo в ту минуту, когда они въезжали в Сантьяго. Улицы были мрачны и пусты, город безмолвен.

— Все спит, — сказал Луи.

— Я думаю, — отвечал Валентин, — все-таки посмотрим. Если мы не найдем ни одной отпертой двери, мы расположимся на бивуак, как я уже тебе предлагал.

В эту минуту два пистолетных выстрела раздались неподалеку от них, смешавшись с галопом лошадей.

— Это что такое? — сказал Луи. — Кажется, здесь убивают кого-то!

— Вперед! — вскричал Валентин.

Они прищепорили лошадей и во весь опор пустились по тому направлению, откуда слышались выстрелы. Они въехали в узкую улицу, посреди которой двое пешеходов неустрашимо сражались с пятью всадниками.

— Нападем на конных, Валентин, будем защищать слабейших. Держитесь, господа! — закричал Луи. — К вам подоспела помощь.

Эта помощь была как нельзя более кстати для дон Грегорио и его друга. Через минуту они пали бы под ударами врагов. Вовремя подоспевшие французы дали другой оборот сражению. В одно мгновение два всадника упали мертвые от выстрелов молодых людей, третий, опрокинутый доном Грегорио, был загрызнен Цезарем. Двое остальных ускакали во всю прыть, бросив свою пленницу.

Она была без чувств. Дон Тадео, прислонившись к стене дома, также готов был лишиться чувств. Валентин с удивительным присутствием духа, приобретенным в звании спага, захватил лошадей убитых разбойников.

— Садитесь на седла, господа! — сказал он, обращаясь к двум чилийцам.

Луи сошел уже на землю и ухаживал за молодой женщиной.

— Не оставляйте нас, — сказал дон Грегорио, — мы окружены врагами!

— Не беспокойтесь, — отвечал Валентин, — мы в полном вашем распоряжении!

— Благодарю! Помогите, пожалуйста, посадить на лошадь моего друга: он ранен.

Сев на седло, дон Тадео объявил, что силы его вернулись настолько, что он может сидеть на лошади без помощи. Дон Грегорио положил к нему на седло молодую женщину, все еще находившуюся без чувств.

— Теперь, господа, — сказал он, — мне остается только дружески поблагодарить вас, если ваши дела не позволят вам долее оставаться с нами.

— Повторяю вам, — сказал Валентин, — мы в полном вашем распоряжении.

— Нам некуда торопиться, мы вас не оставим прежде, чем вы будете в безопасности, — прибавил с благородством граф.

Дон Грегорио поклонился, говоря:

— Следуйте же за нами и не жалейте лошадей. Дело идет о жизни и смерти.

Четверо всадников пустили лошадей бешеным галопом.

— Э! Э! — сказал Валентин. — Вот приключение, начинающееся недурно. Мы не теряем времени в Сантьяго...

Нигде не заблестел огонь, ни одно окно не растворилось во время стычки. Улицы оставались угрюмы и мрачны; город, казалось, был пуст.

Три часа пробило в соборе в ту минуту, когда всадники проезжали по Большой Площади. Дон Тадео не мог сдержать возгласа при виде места, на котором несколько часов назад чудесным образом избавился от смерти.

Дон Панчо Бустаменте

Видя как проехал Бустаменте, дон Тадео предположил, что он отправляется к своей любовнице. Действительно, генерал ехал к Красавице.

Когда он подъехал к двери, один из людей его свиты сошел с лошади и постучался. Никто не отвечал на этот стук; по знаку генерала, солдат постучал снова. Все то же безмолвие. Беспокойство начинало овладевать приехавшими. Это безмолвие было тем необыкновеннее, что о визите генерала было дано знать заранее, следовательно, его должны были ждать.

— О! О! — произнес Бустаменте. — Что здесь происходит? Посмотрим... Диего, — прибавил он, обращаясь к солдату, — постучись еще раз, да так, чтобы тебя услышали.

Солдат забарабанил изо всех сил, но напрасно. Дон Панчо нахмурил брови. Он предчувствовал несчастье.

— Выбейте ворота! — закричал он.

Приказание было мгновенно исполнено. Бустаменте въехал во двор; за ним последовала вся свита. На дворе все спешили.

— Осторожнее! — сказал вполголоса Бустаменте бригадиру, командовавшему отрядом. — Поставьте везде часовых и караульте хорошенько, пока я обыщу дом.

Отдав эти приказания, Бустаменте взял в каждую руку по пистолету из седельных чушек и вошел в дом с несколькими копьеносцами. Везде царствовала мертвая тишина. Бустаменте осмотрел несколько комнат и дошел

до одной двери, за которой слышались приглушенные стоны. Один из копыеносцев ударом ноги выбил дверь. Бустаменте вошел.

Странное зрелище представилось ему: донна Мария, крепко связанная и с заткнутым ртом, была привязана к дивану, запачканному кровью. Мебель была опрокинута и разбросана; два трупа, распростертые в луже крови, ясно показывали, что эта комната была сценой жестокой борьбы.

Бустаменте велел унести трупы и оставить его одного. Как только копыеносцы удалились, он затворил дверь гостиной и поспешил развязать Красавицу. Она была без чувств.

Обернувшись, чтобы положить на стол свои пистолеты, которые до сих пор он держал в руке, Бустаменте отступил с удивлением, почти с испугом. Он заметил кинжал, воткнутый в стол. Но это инстинктивное движение страха было мимолетно как молния. Бустаменте стремительно подошел к столу, осторожно вынул кинжал и схватил бумагу, в которую он был воткнут.

«Изменник Панчо Бустаменте призывается к суду через девяносто три дня.

«Мрачные Сердца!» — прочел он громким и отрывистым голосом, с бешенством смяв бумагу в руках.

— Неужели эти демоны вечно будут насмехаться надо мной? — вскричал он. — О! Они знают, что я не щаю и что те, которые попадутся мне в руки...

— Умирают! — подсказал мрачный голос, заставивший его невольно вздрогнуть.

Генерал обернулся. Красавица устремила на него свой взор. Он быстро подошел к ней и сказал с чувством:

— Слава Богу! Вы наконец очнулись; но в состоянии ли вы объяснить мне сцену, которая происходила здесь?

— О, это было ужасно, дон Панчо! — отвечала донна Мария трепещущим голосом. — Одно воспоминание о ней бросает меня в дрожь.

— Что же произошло?

— Выслушайте меня с вниманием, дон Панчо... То, что я скажу вам, касается вас, может быть, еще более, нежели меня.

— Вы говорите об этом дерзком вызове? — спросил генерал, указывая на бумагу.

Красавица пробежала ее глазами.

— Я не знала, что вам была написана эта бумага, — сказала она. — Выслушайте меня внимательно.

И Красавица рассказала генералу с величайшими подробностями о том, что произошло между нею и доном Тадео; как Мрачные Сердца освободили его из ее рук и какие угрозы они сделали ей, уходя. С изумительным талантом, которым одарены все женщины и которым донна Мария обладала в высокой степени, — талантом представляться невинной во всем, она приписала халатности солдат, расстреливавших донна Тадео, то обстоятельство, что он остался жив. Она сказала, что надеясь надеждой отомстить ей и, вероятно, подозревая, что она имеет отношение к его осуждению, дон Тадео силой ворвался к ней в дом, в котором она оставалась одна, позволив своим слугам уйти в этот вечер на праздник, откуда они не должны были возвращаться раньше трех часов утра.

Бустаменте ни минуты не сомневался в правдивости рассказа своей любовницы. Положение, в котором он ее нашел, невероятное известие о воскресении его смертельного врага, все это до того спутало его мысли, что он даже не усомнился в словах Красавицы.

Он ходил большими шагами по комнате, лихорадочно отыскивая способ схватить донна Тадео. Он понимал, в какой степени известие о воскресении этого человека должно было придать силы Мрачным Сердцам и еще более усилить его политические затруднения, поставив во главе его врагов решительного и безжалостного человека, которому терять нечего. Он находился в крайнем замешательстве. Он не знал, на что решиться и какие принять меры, чтобы разрушить планы неприятеля.

Красавица не теряла его из вида. Она следила за лицом генерала, точно пытаясь угадать его мысли.

Мы в двух словах познакомим читателя с этим человеком, который будет играть важную роль в нашем повествовании*.

Генерал дон Панчо Бустаменте, прославившийся в Чили такой ужасной жестокостью, что обыкновенно его называли не иначе как *El Verdugo* — палач — был человек лет тридцати шести, хотя ему казалось около пя-

* Причины заставили нас переменить имена и портреты действующих лиц этой истории, которые по большей части еще живы. Но мы ругаемся за реальность описываемых нами событий.

тидесяти, роста несколько выше среднего, сложения стройного, обнаруживавшего большую силу. Черты лица его были в общем правильны, но выпуклый лоб, серые глубоко посаженные глаза, брови, сросшиеся на переносице, широкий рот и выступающие скулы придавали ему сходство с хищной птицей. Четырехугольный подбородок его был верным признаком упрямого характера, а волосы с проседью, обстриженные по-военному, под гребенку, делали его физиономию грубой и отталкивающей. На нем был великолепный генеральский мундир с золотым шитьем.

Дон Панчо Бустаменте сам сделал. Он начал службу простым солдатом, но примерным поведением и выдающимися способностями постепенно достиг первых чинов в армии и наконец был назначен военным министром.

Тогда зависть, дремавшая в нем подняла свою змеиную голову. Вместо того, чтобы презирать клевету, которая прекратилась бы сама собой, Бустаменте оправдал ее, введя систему строгости и неумолимой жестокости. Пожираемый честолюбием, которого ничто не могло насытить, он находил все средства годными для того, чтобы достигнуть цели, к которой тайно стремился, то есть уничтожить Чилийскую республику, потом, соединив Боливию и Араканию, составить одно государство и объявить себя его протектором; но эта цель, кроме затруднений, почти непреодолимых, благодаря всеобщей ненависти, которую Бустаменте возбудил против себя, еще более удалялась от него каждый раз, когда он думал, что уже достигает ее.

В ту минуту, когда мы выводим его на сцену, он находился в самых критических обстоятельствах своей политической карьеры. Напрасно он расстреливал своих врагов, — заговоры против него беспрерывно возобновлялись. Образовались тайные общества. Одно из них, самое могущественное общество, Мрачных Сердец обвиняло его невидимыми сетями, из которых он напрасно старался выпутаться. Он предчувствовал, что если не ускорит развязку замышляемого им кризиса, то погибнет безвозвратно.

После довольно продолжительного молчания, Бустаменте сел возле Красавицы.

— Мы отомстим за вас, — сказал он ей мрачным голосом, — будьте терпеливы!

— О! — отвечала донна Мария с горечью. — Мое мщение уже началось.

— Каким же образом?

— Я велела похитить донну Розарио дель-Валле, женщину, которую дон Тадео любил!

— Вы сделали это? — спросил Бустаменте.

— Да, через десять минут она будет здесь!

— О! — сказал он. — Вы намерены оставить ее у себя?

— Я? — вскричала донна Мария. — Нет! Нет! Генерал, говорят, что Пегуэнчи очень любят белых женщин: я хочу подарить ее им.

— Да! — прошептал дон Панчо. — Женщины всегда будут выше нас! Они одни умеют мстить! Но, — прибавил он громко, — вы не бойтесь, что человек, которому вы дали это поручение, изменит вам?

Красавица улыбнулась с ужасной иронией и сказала:

— Нет; этот человек ненавидит дона Тадео более, чем я. Он трудится для собственного своего мщения!

В эту минуту в комнате перед гостиной раздались шаги.

— Вот мой союзник, генерал! — продолжала Красавица. — Войдите! — закричала она.

Вошел человек, бледный, расстроенный; платье его было разорвано и запачкано кровью в разных местах.

— Ну? — спросила с беспокойством Красавица.

— Все пропало! — отвечал пришедший задыхающимся голосом.

— Что? — вскричала донна Мария.

— Нас было пятеро, — продолжал вошедший, — мы похитили сеньориту. Все шло прекрасно, как вдруг, в нескольких шагах отсюда, на нас напали четыре демона, выскочившие неизвестно откуда.

— И вы не защищались, подлецы? — запальчиво перебил генерал.

Разбойник бросил на него холодный взгляд и продолжал бесстрастно:

— Трое мертвы. Вождь и я ранены.

— А молодая девушка? — спросила Красавица с гневом.

— Молодую девушку у нас отняли. Англичанин прислал меня к вам узнать, согласны ли вы еще, чтобы он похитил донну Розарио?

— Он еще хочет попытаться?

— Да. И на этот раз, он говорит, что наверняка сможет, если условия останутся те же.

Улыбка презрения проскользнула на губах куртизанки.

— Передайте ему, — отвечала она, — что он не только получит сто обещанных унций, если сможет, но получит еще сто вдобавок... Скажите ему, чтобы он не сомневался в моем обещании, — прибавила она, вставая и вынув из комода довольно тяжелый кошелек, который подала разбойнику, — отдайте ему это, здесь половина суммы, но пусть он поспешит.

Человек поклонился.

— А вы, Хуанито, — продолжала донна Мария, — как только исполните поручение, которое я вам даю, вернитесь сюда; может быть, вы будете мне нужны. Ступайте!

Разбойник быстро удалился.

— Кто такой этот человек? — спросил генерал.

— Бедняга, которого я спасла несколько лет тому назад от верной смерти. Он мне предан телом и душой.

— Гм! — сказал Бустаменте. — У него взгляд проходимца.

Красавица пожала плечами.

— Вы всех подозреваете, — сказала она.

— Это лучшее средство не быть обманутым.

— Или обмануться еще более.

— Может быть! Но, вы видите, что похищение, так хорошо продуманное, успех которого был так близок, не удалось.

— Я вам повторяю то же, что вы сами сказали мне.

— Что такое?

— Терпение!.. Теперь, скажите же мне, что вы намерены делать?

Бустаменте встал.

— Между тем, как вы ведете с вашими врагами войну засад и измен, — сказал он сухим и отрывистым голосом, — я буду сражаться с ними при дневном свете, открыто и безжалостно. Кровь их зальет землю республики. Мрачные Сердца требуют меня на суд через девяносто три дня. Я поднимаю перчатку, которую они мне бросили!

— Хорошо, — отвечала Красавица. — Теперь сговоримся, чтобы и на этот раз не получить неудачи как

прежде. Надо покончить с этими негодьями и, в особенности, надо им примерно отомстить!

— Это будет сделано. На карту поставлена моя жизнь. О! — прибавил он. — Я нашел средство захватить их в мои руки!.. Пусть они заснут на время в обманчивой безопасности... пробуждение их будет тем ужаснее!

Поклонившись Красавице с изящной вежливостью, генерал удалился, но уходя сказал:

— Оставляю вам несколько солдат для безопасности, до возвращения ваших слуг.

— Благодарю, — отвечала донна Мария с улыбкой.

Оставшись одна, Красавица погрузилась в серьезные размышления.

Когда рассвело, она все еще сидела на том же самом месте, в том же самом положении; она все еще размышляла. Вдруг черты ее оживились; зловещая улыбка сжала губы. Она встала и, проведя рукой по лбу, вскричала с торжеством:

— О! И я также успею!..

Шпион

Освободив молодую девушку, четверо мужчин поскакали во весь опор. Через десять минут они выехали из города. По широкой дороге, которая вела в Тальку, они помчались еще быстрее.

— Э! Э! — сказал Валентин своему молочному брату. — Мы въехали в одни ворота только затем, чтобы выехать в другие. Кажется, на этот раз мы не увидим столицу Чили.

Кроме этих слов, на которые Луи отвечал только легким пожатием плеч, ни одно слово не было сказано во время целого часа, который продолжалась эта бешеная скачка. В бледном свете луны деревья, стоявшие по обеим сторонам дороги, казались легионом зловещих призраков. Скоро белые стены большой фермы обрисовались на горизонте.

— Сюда! — сказал дон Грегорио, указывая на строение пальцем.

Ворота были раскрыты и около них стоял человек, неподвижно, как часовой. Беглецы как ураган влетели во двор. Ворота немедленно затворились за ними.

— Что нового, Пепито? — спросил дон Грегорио, сходя с лошади, у человека, который, казалось, ждал его приезда.

— Ничего! Ничего очень важного, — отвечал Пепито, низенький, коренастый человечек, с круглым лицом и серыми глазами, исполненными лукавства.

— Те, кого я ждал, разве еще не приехали?

— Уже час как они здесь. Они говорят, что им надо сейчас вернуться назад и ожидают вас с нетерпением.

— Очень хорошо! Скажите им, что я приехал и что сейчас же буду готов к их услугам.

Управляющий пошел в дом. Дон Тадео, казалось, хорошо знавший это место, также исчез, унеся на руках бесчувственную девушку. Французы остались одни с донем Грегорио, который подошел к ним.

— Теперь, когда, по нашему мнению, вы находитесь в безопасности, — сказал ему Валентин, — нам остается только проститься с вами.

— Нет! — вскричал дон Грегорио. — Случай не так часто доставляет нам таких надежных друзей, чтобы мы не старались удержать их. Оставайтесь здесь! Наше знакомство не должно ограничиться этим.

— Если наше содействие может еще быть вам полезно, — с благородством сказал граф, — мы к вашим услугам.

— Благодарю! — отвечал дон Грегорио взволнованным голосом и с жаром пожимая братьям руки. — Я никогда не забуду, что обязан вам жизнью своей и моего друга. Чем могу я быть вам полезен?

— Ни в чем или во всем, смотря по обстоятельствам! — отвечал Валентин смеясь.

— Объяснитесь, — сказал дон Грегорио.

— Вы понимаете: мы иностранцы.

Дон Грегорио внимательно посмотрел на молодых людей и спросил:

— Когда вы приехали?

— Сию минуту. Вы первые, с кем мы имели дело.

— Хорошо! — медленно сказал дон Грегорио. — Я вам уже говорил, что готов быть вам полезным.

— Мы искренно благодарим вас, хотя думаем, что никогда не будем иметь нужды напоминать вам об этом предложении.

— Я понимаю вашу деликатность; но такая услуга как та, которую вы оказали моему другу и мне, связывает вечно. Не заботьтесь о вашей будущности... она устроена...

— Извините! Извините! — возразил Валентин. — Мы совсем не понимаем друг друга; вы ошибаетесь на наш счет; мы не из таких людей, которые берут плату

за то, что поступили по внушению своего сердца; вы ничего нам не должны.

— Я не намерен платить вам, господа; я хочу только предложить вам разделить со мной удачи и неудачи, словом, я предлагаю вам быть вашим братом.

— В этом смысле мы принимаем ваше предложение, — отвечал Луи, — и сумеем выказать себя достойными такой драгоценной милости.

— Не сомневаюсь в этом; только не обманитесь в смысле моих слов; жизнь, которую я веду, исполнена опасности.

— Я думаю! — сказал Валентин смеясь. — Сцена, при которой мы присутствовали и которой развязку, может быть, немножко ускорили, заставляет нас предполагать, что ваша жизнь не из самых спокойных.

— То, что вы видели, еще ничего. Вы не знаете здесь никого?

— Никого.

— И не имеете вовсе политических мнений?

— С точки зрения чилийской, решительно никаких.

— Bravo! — вскричал дон Грегорио с восторгом. — Пожмите мою руку; мы связаны на жизнь и на смерть!

Трое мужчин обменялись дружеским пожатием рук; дон Грегорио велел управителю отвести гостей в комнату, где все уже было приготовлено для их приема.

— Спокойной ночи и до завтра! — сказал он, оставляя их.

— Ну! — сказал Валентин, потирая себе руки. — Начинается! Скучать нам по-моему не придется.

— Гм! — отвечал Луи с некоторым беспокойством. — Замешаться в политику, Бог знает какую!..

— Что ж такого? — возразил Валентин. — Чего ты боишься? Вспомни, любезный друг, что в мутной воде и ловят рыбу.

— В таком случае, — отвечал Луи, смеясь, — если меня не обманывает интуиция, улов будет немалый.

— Надеюсь, — сказал Валентин, пожелав доброй ночи управляющему, который ушел, низко поклонившись.

Комната, в которой находились молодые люди, была выбелена и вся мебель ее заключалась в кровати, массивном столе и четырех стульях, обитых кожей. В углу

этой комнаты зеленая восковая свеча горела перед эстампом с изображением Мадонны.

— Кажется, чилийцы не слишком-то любят комфорт, — заметил Луи, осматриваясь кругом.

— Ба! — отвечал Валентин. — Мы имеем все, что нам нужно. Когда устанешь, спишь хорошо везде. Эта комната все-таки лучше бивуака, который предстоял нам.

— Ты прав. Давай спать, завтра может быть трудный день.

Через четверть часа молодые люди крепко спали. В то время, как французы вошли в дом за управляющим, дон Тадео вышел оттуда в другую дверь.

— Ну? — спросил дон Грегорио.

— Она отдыхает, — отвечал дон Тадео. — Страх прошел; радость, которую она почувствовала, узнав меня — ведь она считала меня мертвым — была для нее спасительна.

— Тем лучше! Стало быть, с этой стороны мы можем быть спокойны.

— Совершенно.

— Чувствуете ли вы в себе довольно силы присутствовать при важной встрече?

— Разве это необходимо?

— Мне хотелось бы, чтобы вы узнали, какие известия принесет мне один из наших лазутчиков.

— Вы поступаете неосторожно, — заметил дон Тадео, — принимая такого человека в своем доме!

— О! Не бойтесь ничего! Он давно мне известен. Притом, бедняга не знает, у кого он; его привели сюда с завязанными глазами двое из наших братьев. Впрочем, мы будем в масках.

— Ну! Если вы желаете, я буду с вами.

Друзья, закрыв лица черными бархатными масками, вошли в комнату, где находились ожидавшие их. Эта комната служила столовой и была довольно большая; в ней находился грубо сколоченный стол, на нем стояли два подсвечника, в которых горели сальные свечи, проливавшие тусклый свет, не позволявший различать предметы в полумраке.

Трое человек, в пестрых плащах и в шляпах с широкими полями, надвинутых на глаза, курили, греясь вокруг медной жаровни. При входе вождей Мрачных Сердец, люди эти встали.

— Зачем не подождали вы, дон Педро, — спросил дон Тадео, тотчас узнавший лазутчика, — завтрашнего собрания в Куинта-Верде? Вы там могли бы сообщить совету собранные вами сведения.

Человек, которого называли дон Педро, почтительно поклонился. Это был мужчина лет тридцати пяти, высокого роста. Лицо его, узкое и длинное выражало хитрость и лукавство.

— То, что я имею сказать, не касается непосредственно Мрачных Сердец, — сказал он.

— Так как же нам дело до этого? — перебил дон Грегорио.

— Но это очень интересно для вождей и особенно для Короля Мрака.

— Объяснитесь, — сказал дон Тадео, делая шаг вперед.

Дон Педро украдкой бросил на него внимательный взгляд, как будто надеясь сквозь маску рассмотреть его черты.

— То, что я вам скажу, должно интересовать вас, — отвечал он, — но предоставляю вам самим судить, важно ли мое известие. Генерал дон Панчо Бустаменте будет завтра присутствовать на вашем собрании.

— Вы знаете это наверно? — воскликнули оба вождя с удивлением, очень похожим на недоверие.

— Я сам его уговорил.

— Вы?

— Я!

— Разве вы не знаете, — с горячностью вскричал дон Тадео, — каким образом наказываем мы изменников?

— Я не изменник, потому что, напротив, предаю в ваши руки самого неумолимого вашего врага.

Дон Тадео бросил на шпиона подозрительный взгляд.

— Итак, Бустаменте не знает?..

— Ничего.

— С какой же целью хочет он попасть к нам?

— Неужели вы не угадываете? С целью узнать ваши тайны.

— Но он рискует своей головой.

— Почему? Всякий адепт должен быть представлен тем человеком, который его знает. Никто не должен видеть его лица. Вот я и представляю его, — прибавил он с улыбкой, имевшей странное выражение.

— Справедливо. Но если он разоблачит вашу измену?

— У меня будут большие неприятности; но, я уверен, он не будет подозревать.

— Почему же? — спросил дон Грегорио.

— Потому, — отвечал шпион, — что я уже десять лет служу генералу.

Наступило молчание.

— На этот раз вы получите не десять, а двадцать унций, — сказал дон Грегорио после довольно продолжительного молчания. — Продолжайте оставаться нам верным.

И он подал шпиону тяжелый кошелек. Тот схватил его и проворно спрятал в карман.

— Вам не в чем будет упрекнуть меня, — отвечал он, кланяясь.

— Ну что ж! — отвечал дон Тадео, с трудом удержавшись от жеста отвращения. — Помните, что мы будем безжалостны!

— Знаю!

— Прощайте!

— До завтра!

Люди, которые привели шпиона и во время этого разговора оставались неподвижны, подошли к нему по знаку дона Грегорио, снова завязали ему глаза и увели.

— Изменник это или нет? — сказал дон Грегорио, прислушиваясь к топоту удалявшихся лошадей.

— Мы обязаны предполагать это, — ответил Король Мрака.

Друзья вместо того чтобы отдохнуть, долго разговаривали между собой о том, какие им нужно было принять меры предосторожности.

Между тем, дона Педро отвезли до Сантьяго. У ворот проводники оставили его и исчезли, каждый в противоположную сторону. Как только шпион остался один, он снял платок, закрывавший ему глаза.

— Гм! — сказал он со зловещей улыбкой, ощупывая правой рукой кошелек, данный ему доном Грегорио. — Очень недурно получить двадцать золотых унций! Посмотрим теперь, будет ли генерал Бустаменте щедр так же, как его враги, а известия, которые я везу ему, важны; постараемся, чтобы он хорошо заплатил за них!

Осмотревшись вокруг, чтобы найти дорогу, он рысью направился к дворцу Бустаменте, бормоча:

— Ба! Времена нынче тяжелые! Если не употреблять некоторой ловкости, право, не было бы средств прилично воспитать свое семейство!

Это размышление сопровождалось гримасой, выражение которой заставило бы дону Тадео призадуматься, увидь он ее.

ГЛАВА XIII

Любовь

На другой день на рассвете французы проснулись. День обещал быть великолепным. На небе не было ни облачка. Утренний ветерок освежал воздух и приглашал к прогулке.

Молодые люди, совершенно оправившись от усталости, наскоро оделись.

Ферма, которую они еще не успели рассмотреть накануне, поражала своей огромностью; обширные строения были окружены обработанными полями. Работники на полудиких лошадях выгоняли скот на искусственные луга; другие вели лошадей на водопой. На дворе управляющий наблюдал, как женщины и дети доили коров. Словом, это жилище, показавшееся им таким печальным и мрачным ночью, приняло при дневном свете совершенно другой вид, на который приятно было смотреть. Крики работников смешивались с мычанием скота, лаем собак, пением петухов и составляли тот мелодический шум, который слышится только в деревне и радует сердце.

Мы хотим здесь отдать справедливость Чилийской республике; она одна из всех стран Южной Америки, в которой поняли, что богатство страны состоит не в количестве ее рудников, а в развитии земледелия. Впрочем, эта страна обладает богатыми месторождениями, золотыми, серебряными и драгоценных камней, которые разрабатывает, но ставит их на второй план, сосредотачивая всю свою деятельность на земледелии. Чили — государство еще очень молодое. Промышленность и искусства

находятся здесь еще в зародыше; но фермы многочисленны, поля хорошо обработаны, и мы не сомневаемся, что эта страна, благодаря системе труда, скоро делается житницей других американских государств, которых уже снабжает вином и пшеницей, начиная от мыса Горна вплоть до Калифорнии.

За фермой простирался ухоженный сад, в котором померанцевые, гранатовые и лимонные деревья росли между лип, яблонь, слив и разных других деревьев Европы.

Луи был приятно изумлен при виде этого сада с тенистыми аллеями, в котором тысячи птиц с ярким опереньем весело щебетали под густыми боскетами из жасминов и жимолости.

Пока Валентин вместе с Цезарем смотрел на работников и курил сигару на дворе, Луи, привлеченный сладостным ароматом, наполнявшим воздух, незаметно проскользнул в сад, осматриваясь вокруг себя со странным любопытством.

Молодой человек ходил задумчиво по аллеям, машинально обрывая лепестки розы, которую сорвал. Луи провел таким образом более часа, как вдруг между деревьями, в нескольких шагах от него послышался легкий шорох. Он поднял голову и успел заметить конец белого газового платья, мелькнувшего между деревьями, но не мог рассмотреть женщину, которая быстро скользила по траве, омоченной росой, как белый призрак. При этом таинственном видении сердце молодого человека забилось сильнее; он остановился задрожав; он был так поражен, что прислонился к дереву, чтобы не упасть.

«Что происходит со мной, — спрашивал он себя, отирая лоб, на котором выступил холодный пот. — Я помещался! Везде она представляется мне! Боже мой! Я люблю ее так сильно, что против моей воли, воображение рисует мне ее беспрестанно! Эта молодая девушка, вероятно, та самая, которую мы освободили таким чудесным образом нынешней ночью. Бедное дитя!.. К счастью, она меня не видела, я испугал бы ее... Лучше уйти из сада... В таком состоянии, в каком я нахожусь, я испугаю ее!»

И как всегда случается в подобных обстоятельствах, граф напротив бросился по следам той, которую увидел.

Молодая девушка, приютившись в боскете, как колибри на своем ложе из мха, с бледным лицом и потупив

глаза в землю, печально и задумчиво слушала веселое пение птичек.

Вдруг легкий шум заставил ее вздрогнуть и поднять голову. Граф стоял перед ней. Молодая девушка вскрикнула и хотела бежать.

— Дон Луи! — прошептала она.

Она узнала его. Молодой человек упал перед ней на колени.

— О! — вскричал он голосом, дрожащим от волнения и с выражением горячей мольбы. — Из жалости останьтесь, сеньорита.

— Дон Луи! — повторила она, уже оправившись и выказывая самое полное равнодушие.

Молодые девушки, даже самые невинные, обладают в высочайшей степени дарованием скрывать свои чувства и не обнаруживать испытываемого ими волнения.

— Да, это я, сеньорита, — отвечал Луи тоном самой почтительной страсти, — чтобы вас увидеть, я бросил все!

Донна Розарио сделала движение.

— Ради Бога! — продолжал граф. — Позвольте мне еще с минуту полюбоваться вами. О! — прибавил он с нежностью. — Сердце мое угадало вас, прежде чем приметили глаза.

— Кабальеро, — сказала молодая девушка прерывающимся голосом, — я вас не понимаю.

— О! Не бойтесь меня, сеньорита, — перебил он с пылкостью, — мое уважение к вам так же глубоко, как и...

— Но, кабальеро, — сказала она с живостью, — встаньте... что если вас застанут...

— Сеньорита, — возразил Луи, — признание, которое я вам сделаю, требует, чтобы я оставался в этом умоляющем положении.

— Но!..

— Я вас люблю, — сказал он прерывающимся голосом. — Эти слова, которых во Франции я не смел прошептать вам, эти слова, которые всегда звучали в моем сердце... О я не знаю сам, почему сегодня я имею смелость произнести их!

Донна Розарио печально глядела на Луи, слезы выступили у нее на глазах; она сделала к нему шаг и протянув руку, которую он прижал к своим губам, сказала кротко:

— Встаньте!

Граф повиновался. Молодая девушка опустилась на скамейку и погрузилась в глубокое и горестное размышление. Долго длилось молчание.

— Кабальеро! — наконец сказала донна Розарио тихо. — Если Господь позволил нам увидаться еще раз, так это потому, что в своем божественном милосердии Он определил, что между нами должно быть последнее объяснение.

Луи сделал движение.

— Не прерывайте меня, — продолжала молодая девушка, — я не буду иметь мужества окончить то, что имею вам сказать. Вы меня любите, Луи, и я этому верю; ваше присутствие здесь служит для меня неопровержимым доказательством; вы любите меня, а между тем сколько раз, во время моего краткого пребывания во Франции, вы проклинали меня, тайно обвиняя в кокетстве, или, по крайней мере, в непонятной ветрености!

— Сеньорита!

— О! — сказала донна Розарио с печальной улыбкой. — Так как вы признались мне в вашей любви, я буду откровенна с вами, Луи; если уже я должна отнять у вас всякую надежду, то, по крайней мере, хочу оправдать перед вами мою прошедшую жизнь и оставить вам обо мне воспоминание, которого ничто не должно омрачить.

— О! Зачем говорить это...

— Зачем? — повторила молодая девушка. — Затем, что я верю этой любви, юной, пламенной, истинной, которую ни ежедневное пренебрежение, ни огромное расстояние между нами не могли победить! Верю ей потому, что и я также люблю вас... разве вы не понимаете этого, Луи!

Граф был поражен. Шатаясь, вне себя, он смотрел на молодую девушку пристальным и отчаянным взором человека, осужденного на смерть и слушающего чтение своего приговора.

— Да, — продолжала донна Розарио с лихорадочной пылкостью, — да, я люблю вас, Луи! Я всегда буду вас любить! Но никогда, никогда не будем мы принадлежать друг другу!

— О! это невозможно! — вскричал граф с горячностью, подняв голову.

— Выслушайте меня, Луи, — сказала она повелительно, — я не могу приказать вам забыть меня... такая любовь, как ваша, вечна; увы! я чувствую, что и моя любовь продолжится столько же, как моя жизнь!.. Вы видите, друг мой, что я чистосердечна, что я говорю с вами не так, как следовало бы говорить молодой девушке; я открываю перед вами мое сердце, вы читаете в нем как в вашем. Но эту любовь, которая была бы для нас верхом блаженства, это сообщение двух душ, сливающихся одна с другою, это неслыханное счастье... все это надо разрушить навсегда, безвозвратно, не колеблясь.

— О! Я не могу, — вскричал граф прерывающимся голосом.

— Так должно, говорю я вам! — возразила донна Розарио, точно обезумев от горя. — Боже мой! Боже мой! Чего еще вы требуете от меня? Должна ли я во всем признаться вам? Ну! Так знайте же, что я жалкое существо, осужденное с самого моего рождения! Преследуемое ужасной ненавистью, которая гонится за мною по пятам, которая непрерывно подстерегает меня во мраке и когда-нибудь, завтра, сегодня, может быть, безжалостно меня уничтожит!.. Я принуждена непрерывно менять имена, бежать из города в город, из страны в страну и повсюду этот неумолимый враг, которого я не знаю, против которого не могу защищаться, преследует меня безостановочно!

— Но я защищу вас! — вскричал молодой человек с энергией.

— Я не хочу, чтобы вы умерли! — возразила донна Розарио с невыразимой нежностью. — Привязаться ко мне значить стремиться к своей гибели! Я ездила во Францию искать в ней убежища, и что же? Я должна была внезапно оставить эту гостеприимную землю. Приехав сюда только несколько недель, я погибла бы без вас нынешнюю ночь!.. Нет!.. Нет!.. Я осуждена! Я это знаю и покоряюсь, но не хочу увлечь вас с собою в моем падении! Увы! Может быть, мне суждено вытерпеть муки еще ужаснее тех, которые я переносила до сих пор!.. О! Луи, именем любви, которую разделяю, оставьте мне хоть одно утешение в моей горести: знать, что вы не подвержены преследующим меня мучениям.

В эту минуту послышался голос Валентина и Цезарь, вертя хвостом, подбежал ласкаться к своему господину.

Донна Розарио сорвала цветок, понюхала его нежный запах и, подавая его молодому человеку, сказала:

— Друг мой, примите этот цветок, единственное воспоминание, которое вам останется обо мне.

Граф спрятал цветок на груди.

— Я уйду... — продолжала молодая девушка прерывающимся голосом, — поклянитесь мне, Луи, поклянитесь как можно скорее оставить этот край и не стараться видаться со мною!

Граф колебался.

— О! — сказал он. — Может быть, когда-нибудь...

— Никогда на земле. Разве я вам не сказала, что я осуждена? Клянитесь, Луи, чтобы я, по крайней мере, могла сказать вам — до свидания на небе!

Донна Розарио произнесла эти слова с таким отчаянием, что молодой человек, побежденный против воли, сделал знак согласия и почти невнятным голосом произнес:

— Клянусь!

— Благодарю! — вскричала она и, быстро запечатлев поцелуй на лбу своего возлюбленного, исчезла с легкостью лани в чаще розовых гранатников в ту самую минуту, когда Валентин показался при входе в боскет.

— Ну, брат! — весело сказал он. — Что ты делаешь этом саду? Нас ждут завтракать... вот уже час, как я тебя ищу и без Цезаря, вероятно, не нашел бы...

Граф обернулся к Валентину с лицом, омоченным слезами, и, бросившись к нему на шею, вскричал с отчаянием:

— Брат! Брат! Я несчастнейший из людей!

Валентин взглянул на него с испугом. Луи упал без чувств.

— Что здесь могло случиться? — прошептал Валентин, бросив вокруг себя подозрительный взгляд и положив на дерновую скамейку своего молочного брата, бледного и неподвижного как труп.

Quinta Verde

Неподалеку от Рио-Кларо, городка, выстроенного в очаровательном месте, между Сантьяго и Талкой, в то время существовала и вероятно существует еще и теперь, на высоком холме, хорошенькая quinta с белыми стенами, с зелеными ставнями, кокетливо спрятавшаяся от нескромных глаз между деревьями разных пород: дубами, акажу, кленом, пальмами, алоем, кактусами и многими другими, которые так густо разрослись вокруг нее, что составляли род укрепления, почти неприступного.

Странное дело! В то время войн и переворотов, это восхитительное жилище по обстоятельствам, совершенно необъяснимым, избегло каким-то чудом опустошений и грабежа, которые беспрестанно угрожали ему, окружая его руинами, но никогда не возмущая его спокойствия.

Это жилище называлось Quinta Verde.

По какому чуду этот дом, столь простой по наружности, столь похожий на все другие, избег общей участи и оставался один, может быть, между всеми загородными чилийскими домами, нетронутым, уважаемый обеими партиями, оспаривавшими власть. Многие несколько раз старались угадать эту тайну, но не могли успеть в том. Никто, по-видимому, не жил в этой quinta, хотя в ней по временам слышался шум, наполнявший суеверным страхом достойных huasos, обитавших в ее окрестностях.

На другой день происшествий, которыми начинается наш рассказ, был зной изнурительный, солнце закати-

лось в пурпуровом тумане, что предвещало грозу, действительно разразившуюся с неистовством при наступлении ночи. Ветер свистел между деревьями, ветви которых бились одна о другую. Небо было темное, без звезд; огромные серые тучи быстро мчались по горизонту. Вдали слышался рев диких зверей, к которому при-мешивался, время от времени, хриплый и отрывистый лай бродячих собак.

Девять часов медленно пробило на отдаленных часах, и звуки колокола, повторенные угрюмым эхом, жалобно прозвучали на пустой поляне. Луна, выйдя из-за скрывавших ее облаков, тускло осветила пейзаж и снова скрылась.

Однако как ни быстро исчезли ее лучи, они позволили небольшой группе всадников, с трудом взбиравшихся по извилистой тропинке в гору, различить в нескольких шагах перед ними черный силуэт дома, в самом верхнем окне которого блестел как маяк красноватый свет. Дом этот был Quinta Verde.

В четырех или пяти шагах впереди группы ехали двое, старательно завернувшись в плащи и надвинув поля своих шляп на глаза. Во мраке подобная предосторожность была бесполезна и только показывала, что эти люди не хотели быть узванными.

— Слава Богу! — сказал один из всадников своему товарищу, останавливая лошадь, чтобы осмотреться насколько позволяла темнота. — Кажется, мы скоро приедем.

— Точно, генерал, — отвечал второй, — не позже как через четверть часа мы кончим наше путешествие.

— Не будем останавливаться, — отвечал тот, которого называли генералом, — мне хочется поскорее проникнуть в это логово.

— Позвольте, — сказал первый настойчиво, — я обязан предупредить ваше превосходительство, что есть еще время вернуться назад: может быть, это было бы благоразумнее.

— Помните хорошенько, Диего, — сказал генерал, устремив на своего спутника взгляд засверкавший в ночной темноте подобно взору дикой кошки, — в тех обстоятельствах, в каких я нахожусь, благоразумие как вы его понимаете, было бы трусостью; я знаю, чем обязывает меня звание, в которое я облечен доверенностью

моих сограждан; это положение самое критическое для нас: наши враги поднимают головы со всех сторон; надо кончить с этой гидрой, беспрерывно возрождающейся. Известие, что дон Тадео избавился от смерти, распространилось с быстротою молнии. Если я не нанесу теперь сильного удара и не раздавлю голову змеи, может быть, завтра будет уже поздно; государственных людей всегда губило промедление в решительные минуты.

— Однако ж, генерал, если человек, доставивший вам эти сведения...

— Вы хотите сказать: изменник, не правда ли? Боже мой, это очень может быть... Это даже вероятно, и потому-то я ничем не пренебрег, чтобы уничтожить последствия измены, которую я предвижу.

— Право, генерал, я на вашем месте...

— Благодарю, мой старый товарищ, благодарю за вашу заботливость обо мне; но оставим этот разговор. Вы должны знать меня настолько, чтобы не сомневаться, что я никогда не изменю своему долгу.

— Мне остается только пожелать успеха вашему превосходительству; вы знаете, что вам следует одному приехать в Quinta Verde и что я не могу провожать вас далее.

— Очень хорошо, останьтесь здесь и пока велите всем вашим солдатам сойти с лошадей; в особенности, внимательно наблюдайте за окрестностями и в точности исполните данные мною приказания... Прощайте...

Диего печально поклонился и отнял руку, которая до сих пор лежала на поводьях лошади генерала. Тот завернулся в свой плащ, прищелкнул языком как обыкновенно делают *ginetes*, чтобы подстегнуть своих лошадей. При этом знакомом сигнале, лошадь наострила уши и так как принадлежала к породе чистокровной, то несмотря на усталость, поскакала галопом.

Через несколько минут быстрой скачки генерал остановился. На этот раз он, видимо, доехал до цели своего путешествия, потому что сошел с лошади, бросил поводья на ее шею и не заботясь что с нею будет, как будто это была жалкая почтовая кляча, смело пошел к дому, который находился от него в десяти шагах. Он скоро прошел это расстояние и, остановившись на секунду у дверей, осмотрелся вокруг, как бы желая проникнуть во мрак.

Все было спокойно и безмолвно. Генерал против воли почувствовал страх перед неизвестностью, который овладевает самым мужественным человеком. Впрочем, генерал Бустаменте, которого читатель уже, без сомнения, узнал, был слишком старый солдат, чтобы надолго поддаться чувству страха, как бы ни было оно сильно, и действительно это чувство промелькнуло как молния, и хладнокровие почти тотчас же возвратилось к нему.

— Неужели я боюсь? — прошептал Бустаменте с иронической улыбкой.

И решительно подойдя к двери, он три раза постучался в нее эфесом своей шпаги.

Вдруг невидимые руки схватили его за руки, завязали ему глаза, и тихий голос прошептал ему на ухо:

— Не пытайся сопротивляться; двадцать кинжалов приставлены к твоей груди; при первом крике, при малейшем движении ты умрешь; отвечай категорически на мои вопросы.

— Эти угрозы излишни, — отвечал Бустаменте спокойным голосом, — если я пришел добровольно, стало быть, я не имею намерения сопротивляться; спрашивайте, я буду отвечать.

— К кому ты пришел сюда, — начал голос.

— К Мрачным Сердцам.

— И ты готов явиться перед ними?

— Готов, — отвечал генерал по-прежнему бесстрастный.

— Ты ничего не опасешься?

— Ничего.

— Брось свою шпагу.

Бустаменте выпустил свою шпагу и почувствовал в то же время, что у него отобрали пистолеты.

— Теперь ступай и ничего не бойся, — сказал голос.

Пленник вдруг очутился свободен.

— Мрачные Сердца, примите меня в число своих собратий, — сказал тогда Бустаменте громким и твердым голосом.

Дверь отворилась настежь. Двое в масках мужчин, каждый с обнаженной шпагой в руке и с глухим фонарем, свет которого был направлен прямо в лицо Бустаменте, показались на пороге.

— Еще есть время, — сказал один из незнакомцев, — если сердце твое не твердо, ты можешь удалиться.

— Сердце мое твердо.

— Пойдем же, если ты считаешь себя достойным разделить наш достославный труд; но трепещи, если ты намерен изменить нам, — продолжал человек в маске мрачным голосом.

Генерал почувствовал, как при этих словах трепет ужаса невольно пробежал по всем его членам; но преодолев то невольное волнение, он отвечал:

— Трепетать должны только изменники... мне же нечего бояться.

И он с решительностью вошел в дом, дверь которого затворилась со зловещим стуком. Повязка, закрывавшая ему глаза и не допускавшая тех, которые его расспрашивали, узнать его, несмотря на все их усилия, была снята с него.

Четверть часа шел Бустаменте по кругообразному коридору, освещенному только красноватым и тусклым светом факела, который нес один из незнакомцев, провожавших его по этому лабиринту, и был вдруг остановлен дверью. Он в нерешительности обернулся к своим замаскированным провожатым.

— Чего ты ждешь? — сказал один из них, отвечая на его немой вопрос. — Разве ты не знаешь, что *кто стучит, тому отворяют*.

Бустаменте поклонился в знак согласия, потом сильно постучался в дверь. Обе половинки двери вдруг раздвинулись, и Бустаменте очутился на пороге обширной залы, стены которой были обтянуты красной материей и мрачно освещены бронзовой лампой, спускавшейся с потолка. Эта лампа проливала неясный свет на сотню человек, из которых каждый держал в правой руке обнаженную шпагу и смотрел на Бустаменте пламенными глазами сквозь отверстия черной маски, скрывавшей лицо.

В глубине залы стоял стол, покрытый зеленым сукном. За этим столом сидело трое мужчин. Не только они были замаскированы, но еще для большей предосторожности перед каждым из них был воткнут в стол факел, не позволявший рассмотреть их. На стене между двумя песочными часами висело распятие. Над ними были прибиты два черепа, пронзенные кинжалами.

Бустаменте не обнаружил никакого волнения при виде этой зловещей обстановки; только презрительная

улыбка сжала его губы, и он сделал шаг, чтобы войти в залу. В эту минуту он почувствовал, что до плеча его слегка дотронулись. Он обернулся. Один из проводников подал ему маску. Несмотря на предосторожности, принятые им, чтобы скрыть свои черты, он радостно схватил ее, надел, завернулся в плащ и вошел в залу.

— Зачем ты пришел сюда? — спросил тот, который до сих пор говорил один.

— Я желаю вступить в общество избранных.

Насупило минутное молчание.

— Есть ли между нами человек, который мог бы или захотел бы служить за тебя порукою? — продолжал замаскированный.

— Не знаю: мне неизвестны люди, среди которых я нахожусь.

— Почему ты это знаешь?

— Я так полагаю, так как здесь у всех на лицах маски.

— Мрачные Сердца, — возразил спрашивавший выразительным тоном, — смотрят не на лицо, а изведывают души.

Бустаменте поклонился при этой фразе, которая показалась ему порядочно запутанной. Спрашивавший продолжал.

— Ты знаешь условия?

— Знаю.

— Какие они?

— Пожертвовать матерью, отцом, братьями, родными, друзьями и собой самим, не колеблясь, для дела, которое я клянусь защищать.

— Потом?

— При первом сигнале, днем ли, ночью ли, в каких бы обстоятельствах я ни находился, я обязан все оставить, чтобы исполнить тотчас приказание, данное мне каким бы то ни было образом и какого бы оно ни было рода.

— Ты согласен на эти условия?

— Согласен.

— Готов ты поклясться, что покоряешься им?

— Готов.

— Повторяй же за мною, положив руку на библию, слова, которые я буду тебе говорить.

— Говорите...

Трое человек, сидевших за столом, встали; принесена была библия; Бустаменте с твердостью положил руку на книгу. Ропот пробежал по рядам собрания. Президент ударил по столу кинжалом, и молчание тотчас восстановилось. Тогда этот человек произнес медленным и глубоко выразительным голосом следующие слова, которые Бустаменте повторял за ним не колеблясь:

«Клянусь пожертвовать моим семейством, моим имуществом и всем, на что я могу надеяться на этом свете, для дела защищаемого Мрачными Сердцами; клянусь поразить всякого человека, которого мне назначат, будь это мой отец, будь это мой брат; если я изменю моей клятве, если я изменю тем, которые принимают меня в братья, я сознаю себя достойным смерти, и заранее прощаю Мрачным Сердцам, если они нанесут мне ее».

— Хорошо! — прибавил президент, когда Бустаменте произнес клятву. — Вы наш брат.

Потом он встал, сделал несколько шагов по зале и остановился против генерала.

— Теперь, — сказал он мрачным и угрожающим голосом, — отвечайте, дон Панчо Бустаменте, вы, добровольно произнесший ложную клятву при ста человеках; как вы думаете, совершим ли мы преступление, если осудим вас, так как вы сами имели смелость отдаться в наши руки?

Несмотря на всю свою уверенность, Бустаменте не мог удержаться от жеста ужаса.

— Снимите с этого человека маску, закрывающую его лицо, чтобы все знали, что это он! Бустаменте, вы вошли в логово льва; он вас растерзает.

Послышался отдаленный шум.

— Ваши солдаты идут к вам на помощь, — продолжал президент, — но они придут слишком поздно. Бустаменте, приготовьтесь; вы умрете!

Это последнее слово как громовой удар поразило того, который увидел себя разоблаченным; однако он не потерял еще мужества. Шум заметно приближался: было очевидно, что его солдаты окружают Quinta Verde со всех сторон и не замедлят овладеть домом; надо было во что бы то ни стало выиграть время.

— По какому праву, — сказал он гордо, — делаетесь вы судьями и исполнителями ваших собственных приговоров?

— Вы из наших, и потому должны покоряться нашему суду, — отвечал президент сардоническим тоном.

— Берегитесь того, что вы хотите делать, господа, — возразил генерал надменным голосом, — я военный министр!

— А я Король Мрака, — вскричал президент таким громким голосом, который привел в ужас Бустаменте. — Мой кинжал вернее ружей ваших солдат. Братья, какое наказание заслужил этот человек?

— Смерть! — отвечали все единогласно.

Бустаменте понял, что он погиб.

Отъезд

Сержант Диего, оставленный генералом Бустаменте в нескольких шагах от Quinta Verde, очень беспокоился об участии своего начальника; у него было дурное предчувствие. Это был старый солдат, хорошо знавший все хитрости и все измены, используемые в его отечестве враждующими сторонами. Он вовсе не одобрял поступка генерала. Лучше чем кто-нибудь он знал, как мало можно доверять шпионам. Вынужденный повиноваться полученному приказанию, он решился все же не оставлять без помощи своего начальника в засаде, в которую тот бросился очертя голову. Диего питал к Бустаменте, под начальством которого служил уже более десяти лет, глубокую привязанность, что давало старому солдату право обращаться со своим генералом с некоторой свободой и пользоваться его полным доверием.

Диего немедленно посоветовался с двумя другими начальниками отряда, которым так же как и ему было поручено охранять таинственный дом, который они окружили.

Он прохаживался взад и вперед, крутя свои усы и ругаясь про себя. Он решился, в случае, если Бустаменте не выйдет через полчаса, ворваться в дом силою, как вдруг тяжелая рука ударила его по плечу. Диего с живостью обернулся, с трудом удержав брань, которая замерла на губах его. Перед ним стоял человек: этот человек был дон Педро.

— Это вы? — вскричал Диего, узнав его.

— Я! — отвечал шпион.
— Откуда вы?
— Это все равно... хотите спасти генерала?
— Разве он в опасности?
— В смертельной.
— Спасем его! — заревел сержант.
— Я нарочно пришел за этим, но говорите тише.
— Я буду говорить как вы хотите; однако скажите мне...

— Ничего не скажу! — перебил дон Педро. — Нельзя терять ни минуты.

— Что же надо делать?

— Слушайте хорошенько.

— Я весь превратился в слух.

— Один отряд должен сделать ложное нападение на дверь, в которую вошел генерал, тогда как другой будет охранять окрестности. У Мрачных Сердец есть дороги, известные только им одним. С третьим отрядом вы пойдете за мною... я берусь ввести вас в дом... это решено?

— Я думаю!

— В таком случае поспешите предупредить ваших товарищей; время не терпит.

— Бегу... где я найду вас?

— Здесь.

— Хорошо! Прошу у вас только пять минут.

И Диего удалился большими шагами.

«Гм! — подумал дон Педро, оставшись один, — надо быть осторожным, когда хочешь, чтобы дела приносили выгоды; судя по их словам, они хотят судить генерала... не допустим их до этого, а то мои интересы слишком пострадают; я так искусно поступал, что никакое подозрение не может пасть на меня; если я успею, я более прежнего попаду в милость к Бустаменте и не лишусь доверия, которое оказывают ко мне Мрачные Сердца».

Диего возвратился.

— Ну что? — спросил его дон Педро.

— Все сделано, — отвечал сержант запыхавшись, — я вас жду.

— Пойдемте же, и дай Бог, чтобы не было слишком поздно!

Маневр был исполнен совершенно так, как посоветовал шпион: между тем как один из отрядов начал ломиться в дверь Quinta Verde, дон Педро повел сол-

дат, находившихся под командою Диего, к противоположной стороне дома, где было открыто одно из окон. Это окно защищалось железной решеткой, но несколько перекладин ее заранее были выбиты, так что образовался весьма удобный проход. Педро велел солдатам молчать, и они один за другим пробрались в дом. Под руководством шпиона они шли тихо, не встречая никаких препятствий. Через несколько минут они дошли до запертой двери.

— Здесь, — сказал Педро шепотом.

По знаку сержанта, дверь была выбита ружейными прикладами, и солдаты бросились в залу.

Она была пуста. На полу лежал без движения человек. Сержант бросился к нему и вдруг отступил с криком ужаса. Он узнал своего начальника. В груди Бустаменте торчал кинжал, с привязанным к нему длинным черным ярлыком, на котором красными чернилами были написаны следующие слова:

«Правосудие Мрачных Сердец».

— О! — вскричал Диего. — Мщение! Мщение!

— Мщение! — повторили за ним солдаты с яростью, смешанной с ужасом...

Сержант обернулся к дону Педро, думая, что тот все еще стоит возле него, но шпион, который один мог руководить солдатами при розыске, счет благоразумным ускользнуть. Как только он увидел, что случилось то, чего он опасался, он исчез так, что никто не приметил этого.

— Все равно, — сказал Диего, — если бы мне пришлось разрушить до основания этот разбойничий вертеп и не оставить камня на камне, клянусь, что я отыщу этих демонов, хотя бы они скрылись в недра земли.

Старый солдат начал осматривать повсюду, между тем как хирург, последовавший за отрядом, старался возратить к жизни раненого.

Как сказал шпион, Мрачные Сердца действительно имели тайные проходы, известные только им одним. Совершив свое ужасное мщение, они преспокойно ушли через эти проходы и были уже далеко и вне всякой опасности, когда солдаты искали их в доме.

Дон Тадео и дон Грегорио одни вернулись на ферму и очень удивились, когда Валентин, которого они считали давно спящим, подошел к ним и в такое позднее

ночное время просил их уделить ему несколько минут. Несмотря на весьма естественное удивление, какое вызвала у них эта просьба, дон Тадео и дон Грегорио, предполагавшие, что француз имел важные причины действовать таким образом, исполнили его желание, не сделав ни малейшего замечания. Разговор был продолжителен; но мы считаем бесполезным передавать его здесь, а перескажем только его конец, из которого читатель поймет в чем было дело.

— Я не стану настаивать, — говорил дон Тадео, — хотя вы и не хотите объясниться вполне: я считаю вас слишком серьезным человеком, дон Валентин, и потому совершенно убежден, что причины, побуждающие вас оставить нас, важны.

— Чрезвычайно важны, — подтвердил молодой человек.

— Очень хорошо, но скажите мне, в какую сторону намерены вы отправиться, уехав отсюда?

— Признаюсь вам откровенно, впрочем вы уже это знаете, друг мой и я отыскиваем богатства и потому все дороги для нас хороши, тем более, что мы по преимуществу должны рассчитывать на случайность.

— Я с вами согласен, — отвечал дон Тадео, улыбаясь, — но послушайте: в Вальдивии у меня есть большое имение, куда я сам намерен скоро поехать. Что вам мешает отправиться в эту сторону, а не в другую?

— Ничего решительно.

— Мне теперь нужен надежный человек, которому я мог бы дать поручение в Ароканию, к главному вождю народа той страны. Если вы поедете в Вальдивию, вам придется проехать Ароканию во всю длину; хотите взять на себя это поручение?

— Почему же, — отвечал Валентин, — я еще никогда не видал дикарей и не прочь узнать о них что-нибудь.

— И прекрасно... стало быть, это решено... вы завтра едете, не правда ли?

— Завтра? Нет, позвольте сегодня, через несколько часов: солнце скоро взойдет.

— Справедливо. В таком случае в минуту вашего отъезда, мой управляющий вручит вам от меня письменную инструкцию.

— Ну вот я превратился в посланника! — сказал Валентин смеясь.

— Не шутите, друг мой, — заметил серьезно дон Тадео, — поручение, которое я вам даю, щекотливо, да же не безопасно, не скрываю этого... если у вас отнимут бумаги, которые вы будете везти, вы подвергнетесь большому риску... Что вы на это скажете?

— Где опасность, там и удовольствие... а как зовут того, кому я должен вручить эти бумаги?

— Видите ли, эти бумаги двух сортов: одни касаются только вас; дорогой вы прочтете их и узнаете некоторые вещи, которые вам необходимо знать для успеха данного вам поручения.

— Понимаю, а другие?

— Другие должны быть отданы в собственные руки *Антинагюэлю*, то есть Тигру-Солнцу.

— Забавное имя! — сказал Валентин смеясь. — Но где же я встречу этого господина, с таким грозным именем?

— Я и сам этого не знаю, — отвечал дон Тадео.

— Ароканские индейцы, — перебил дон Грегорио, — народ кочевой, и потому у них часто трудно найти тех, кого ищешь.

— Ба! Я его найду, будьте покойны.

— Мы совершенно в вас уверены.

— Через несколько дней, как я уже вам сказал, я сам еду в Вальдивию, потому что имею намерение поместить в тамошнем монастыре молодую даму, которую вы так храбро спасли. Я буду ждать вашего ответа в Вальдивии.

— Извините; но я совсем не знаю, где Вальдивия, — заметил Валентин.

— Не беспокойтесь, вам всякий укажет дорогу, — отвечал дон Грегорио.

— Благодарю.

— Теперь послушайте, если вы вдруг вздумаете переменить ваши намерения и согласитесь остаться с нами, то помните, что мы братья и без всякого опасения сообщите мне о ваших новых планах.

— Не могу сказать вам ни да ни нет; я со своей стороны буду очень рад видаться с вами как можно чаще.

Обменявшись еще несколькими словами, они расстались.

Через несколько часов, когда взошло солнце, Луи и Валентин, получивший от управляющего бумаги, выеха-

ли, в сопровождении Цезаря, из фермы на великолепных лошадях, которых заставил их принять дон Тадео. В ту минуту, когда они выезжали из ворот, Луи повернул голову, как бы затем, чтобы бросить последний взгляд на те места, которые он оставлял навсегда и которые сделались для него так памятли. Одно окно тихо отворилось и показалось очаровательное заплаканное личико молодой девушки. Друзья почтительно поклонились, окно затворилось, и Луи глубоко вздохнул.

— Прощай навсегда! — прошептал он.

— Может быть и не навсегда! — заметил ему Валентин.

Молодые люди прищипорили лошадей и скоро исчезли за поворотом дороги.

Дня через четыре дон Тадео и дон Грегорио также уехали в Вальдивию, куда повезли донну Розарио. Между тем враг, от которого они считали себя избавленными, не умер. Кинжал Мрачных Сердец поразил не вернее пуль Бустаменте. Несмотря на ужасную рану, полученную генералом, он, благодаря правильному лечению, а в особенности своему крепкому сложению, скоро начал выздоравливать.

Дон Панчо и Красавица, объединенные личной ненавистью к своему врагу, готовились отомстить дону Тадео самым жестоким образом. Бустаменте ознаменовал свое выздоровление регрессиями против всех подозреваемых в связях с доном Тадео, имение которого было конфисковано, многие были брошены в тюрьму. Потом, когда Бустаменте вообразил, что все эти жестокости должны были отнять последние силы у его врага и что ему нечего уже бояться ни дона Тадео, ни его партизан, он оставил Сантьяго под предлогом поездки в провинции республики, и вместе со своей любовницей отправился в Вальдивию.

Встреча

Так как главные события этой истории будут происходить в Арокании, мы считаем необходимым представить читателю некоторые сведения о том народе, который один из всех народов, встреченных испанцами в Америке, сумел сохранить неприкосновенной свою свободу и территорию.

Ароканы или молучосы живут в прекрасной стране, находящейся между реками Биобио и Вальдивией и защищаемой с одной стороны морем, а с другой высокими Кордильерскими горами. Таким образом они занимают территорию Чилийской республики, от которой остались независимыми, как мы уже сказали.

Тот, кто вообразит, что эти индейцы — дикари, грубо ошибется. Ароканы заимствовали из европейской цивилизации все что могло быть полезно их образу жизни, не заботясь об остальном. С самых отдаленных времен, этот народ составлял нацию сильную, тесно соединенную, управляемую законами мудрыми и строго исполняемыми. Первые испанские завоеватели очень удивились, встретив в отдаленном уголке Америки могущественную аристократическую республику и феодализм, организованный почти по одному образцу с тем, который тяготел над всей Европой в XIII столетии.

Мы приведем здесь некоторые подробности правления ароканов, которые сами величают себя *окасами* — свободными людьми. Эти подробности о народе, слишком мало известном до сих пор, должны, мы убеждены в этом, заинтересовать читателя.

Благоразумие ароканов превосходно обнаруживается в правильности политического деления их страны. Арокания разделена от севера к югу на четыре области, называемые: *Languem-Marus* — край приморский, *Telbun-Marus* — край плоский, *Inarige-Marus* — край под Андами и *Rige-Marus* — край в Андах. Каждая *Utal-Marus* — область — разделяется в свою очередь на пять *Allagegues* — провинций, составляющих девять *Regues* — уездов.

В приморском краю заключаются страны: Ароко, Туканель, Илликура, Бароя и Нагтолтен; в плоском — Пурен, Анкот, Магеквай, Максиквина и Репокура; в крае под Андами — Хакайко, Марбен, Колгоя, Кехерегвай и Кванангвай. Наконец край в Андах заключает все Кордильерские долины, в которых живут пуэльчесы, воинственные горцы, прежде составлявшие племя, союзное с ароканами, но теперь управляемое собственными законами.

Главные вожди ароканов — токи, апо-ульмены и ульмены. В каждой области есть четыре токи; под их начальством находятся апо-ульмены, а затем следуют ульмены. Титулы эти наследуются и переходят по мужской линии от отца к сыну. Мозотоны, то есть вассалы, свободны; только в военное время они обязаны явиться по первому призыву вождя; впрочем, в этой стране — и это составляет ее силу — все мужчины, которые в состоянии носить оружие, воины.

Читатель легко поймет что значат в Арокании вожди, если мы скажем, что народ считает их первыми лицами страны. Впрочем, когда случалось, что некоторые токи хотели распространить свою власть, народ всегда умел удержать их в границах, предписанных древними обычаями.

Общество, нравы которого так просты, которое управляется мудрыми законами, непобедимо: испанцы испытали это несколько раз. Несколько раз пытаясь завоевать этот маленький уголок земли, они наконец сознались в бесполезности своих усилий и безмолвно признали себя побежденными, отказавшись навсегда от намерения завоевать ароканов, с которыми, по необходимости, заключили союз и теперь спокойно проезжают через их земли в Сантьяго или Вальдивию.

Карампанья, что на ароканском наречии значит *Убежище львов*, очаровательный источник, полуводопад, полурека, спускающийся с неприступной вершины Андов

и прихотливыми изворотами теряющийся в море, в двух милях к северу от Ароко. Ничто не может быть прекраснее берегов *Убежища львов*, покрытых лесом, яблонями, обремененными плодами, и богатыми пастбищами, где пасутся на свободе животные всякого рода. Наконец высокие горы, покрытые зеленью, у подножий которых построены хижины с выбеленными стенами, ярко блистающими на солнце, очень оживляют этот очаровательный пейзаж.

В одно прекрасное утро, в июле, прозванном индейцами аэн-антой — месяцем солнца, два всадника, сопровождаемые великолепной нью-фаундлендской собакой, черной с белым, ехали рысью по берегу реки по тропинке, едва проложенной между высокой травой. Эти люди, в чилийских костюмах, вдруг явившиеся посреди дикой природы, описанной нами, составляли своей наружностью и одеждой контраст со всем их окружающим, контраст, которого они, вероятно, не подозревали, потому что ехали так же беззаботно по этой варварской стране, усеянной опасностями и бесчисленными засадами, как будто бы проезжали по дороге из Парижа в Сен-Клу.

Эти два человека, которых, без сомнения, читатель уже узнал, были граф Луи де Пребуа-Крансэ и Валентин Гиллуа, его молочный брат. Они постепенно проехали Молэ, Талку, Кончепчйон. Почти целых два месяца они были в дороге, в тот день 14 июля 1837 года в одиннадцать часов утра мы встречаем их в Арокании, путешествующих философически, с их собакой Цезарем, по берегу *Убежища львов*.

Молодые люди провели ночь в брошенном замке, который попался им на пути, и на восходе солнца снова пустились в путь. Поэтому они начали чувствовать аппетит. Осмотрев то место, где они находились, они приметили группу яблонь, пересекавших жгучие солнечные лучи и представлявших им приличное убежище, в котором они могли отдохнуть и пообедать.

Они соскочили с седел и сели под яблоней, пустив лошадей щипать молодые ветви. Валентин палкой сбил несколько яблок, развязал большие холстинные карманы, которые привязывают за седлами, и вынул из них сухари, кусок соленого сала и козий сыр. Потом молодые люди начали весело есть, братски разделяя свою прови-

зию с Цезарем, с важностью сидевшим перед ними и следовавшим глазами за каждым куском, который они подносили ко рту.

— Приятно отдохнуть, — сказал Валентин, — когда с четырех часов утра скачешь верхом!

— Я немножко устал, — заметил Луи.

— Мой бедный друг, ты не привык так, как например я, к продолжительным поездкам; дурак я, что не подумал об этом.

— Ба! — отвечал Луи. — Уверяю тебя, что я начинаю свыкаться с нашей жизнью... Притом, — прибавил он со вздохом, — физическая усталость заставляет меня забывать...

— Справедливо, — перебил Валентин, — я рад слышать от тебя это... я вижу, что ты становишься мужчиной. Луи печально покачал головой.

— Нет! — сказал он. — Ты ошибаешься; только так как против болезни, терзающей меня, нет лекарства, я стараюсь покориться необходимости.

— Да! Надежда — основа основ любви; когда надежда существовать не может, любовь умирает.

— А с нею умирает и тот, кто ею живет, — заметил молодой человек с меланхолической улыбкой.

Наступило молчание; Валентин первый заговорил:

— Какой прекрасный край! — вскричал он с энтузиазмом, проглатывая огромный кусок сала.

— Да, но дороги трудные.

— Кто знает? — сказал Валентин. — Может быть, эти дороги ведут в рай! А ты, Цезарь, — прибавил он, обращаясь к собаке, — что ты думаешь о нашем путешествии, мой милый?

Собака замахала хвостом, устремив на хозяина свои умные глаза. Но вдруг она перестала жевать, подняла голову, наострила уши и глухо заворчала.

— Молчать, Цезарь! — сказал Валентин. — Ты знаешь, что мы в пустыне, а в пустынях не бывает никого! Цезарь однако не унимался.

— Гм! — сказал Луи. — Я не разделяю твоего мнения, Валентин, и думаю, что американские пустыни обитаемы.

— Может быть, ты и прав.

— Во всяком случае нам следовало бы принять некоторые предосторожности.

— Сейчас узнаем, — сказал Валентин и, обратившись к собаке, прибавил: — А! Ты не хочешь замолчать, Цезарь... Это становится невыносимо; посмотрим, что рассердило тебя? Ты почуял оленя что ли? Это было бы кстати для нас.

Он встал, бросил вокруг себя вопросительный взгляд и тотчас же наклонился схватить свою винтовку, сделав знак Луи, чтобы и он сделал то же самое.

— Черт побери! — сказал он. — Цезарь был прав... Посмотри, Луи!

Граф устремил взор в ту сторону, куда указывал Валентин.

— О! — сказал он. — Это что такое?

— Гм! Кажется нам придется подраться.

— Пожалуй! — отвечал Луи, заряжая винтовку.

Десять индейцев, вооруженных с ног до головы, верхом на великолепных лошадях, остановились в двадцати пяти шагах от путешественников, хотя те не могли понять, как они успели подъехать так близко, не будучи примеченными.

Ароканские воины, неподвижные и бесстрастные, не делали ни малейшего движения, но смотрели на обоих французов с таким вниманием, которое Валентин, не весьма терпеливый по характеру, начал находить чрезвычайно неуместным.

Пуэльчесы

— Э! Э! — сказал Валентин, свистнув своей собаке, которая немедленно стала возле него. — Эти молодцы, кажется, вовсе не имеют дружелюбных намерений; неизвестно, что может случиться.

— Это ароканы, — сказал Луи.

— Ты думаешь? Как же они безобразны!

— А мне напротив они кажутся очень красивыми.

— Во всяком случае пусть начнут они.

Опираясь на ружье, он ждал. Индейцы разговаривали между собою, все продолжая смотреть на молодых людей.

— Они вероятно совещаются, под каким соусом съесть нас, — сказал Валентин.

— Совсем нет.

— Ба!

— Они не людоеды.

— А! Тем хуже. В Париже все дикари, которых показывают на площадях, людоеды.

— Сумасшедший! Ты даже сейчас шутишь.

— А тебе хочется, чтобы я плакал? Мне кажется, что наше положение и без того невесело, чтобы мы старались еще омрачить его.

Индейцы были по большей части люди не молодые, а лет сорока и сорока пяти в костюме пуэльчесов, самой воинственной нации в Верхней Арокании. Они были одеты в пестрые плащи; их головы были обнажены: волосы, длинные, прямые и жирные, были перевязаны красными лентами, а лица расписаны красками. Оружие каждого

состояло из длинного копыя, ножа, заткнутого в ножны из невыделанной бычьей кожи, ружья, висевшего на седле, и из круглого щита, обтянутого кожей и украшенного лошадиными и человеческими волосами.

Тот, который казался вождем, был человеком высокого роста, с выразительными жесткими и надменными чертами лица, от товарищей его отличало только длинное перо, прямо воткнутое на левой стороне головы в ярко красную ленту, стягивающую волосы.

Посоветовавшись с товарищами, вождь подъехал к путешественникам, управляя лошадью с неподражаемой грацией и опустив копьё в знак мира. В трех шагах от Валентина он остановился и сделал ему, по индейскому обычаю, церемонный поклон, то есть приложив правую руку к груди и медленно наклонив два раза голову.

— Братья мои иностранцы, — сказал он по-испански, — но не презренные испанцы. Зачем находятся они так далеко от людей своей нации?

Этот вопрос, сделанный горловым акцентом и выразительным тоном, свойственным индейцам, был совершенно понят молодыми людьми, которые, как мы уже заметили прежде, бегло говорили по-испански.

— Гм! — заметил Валентин своему товарищу. — Как любопытен этот дикарь, не правда ли?

— Все-таки отвечай ему, — сказал Луи, — это ни к чему нас не обязывает.

— Это правда, мы уже не рискуем подвергнуться большей опасности.

Валентин обернулся к вождю, который бесстрастно ожидал ответа, и лаконически сказал ему:

— Мы путешествуем...

— Одни? — спросил вождь.

— Это вас удивляет, друг мой?

— Разве мои братья ничего не боятся?

— Чего мы можем бояться? — сказал парижанин, приосанившись. — Нам нечего терять.

— А волосы?

Луи расхохотался, глядя на Валентина.

— Уж не насмехается ли над цветом моих волос это гадкое чучело? — заворчал Валентин, раздосадованный замечанием индейца и не поняв смысла его слов. — Подожди немножко! Будьте так добры, поезжайте своей дорогой, господа дикари, — прибавил он

вслух, — то, что вы говорите, совсем мне не нравится, знаете ли вы это?

Молодой человек приподнял винтовку и прицелился в вождя. Луи внимательно следил за этим разговором, не говоря ни слова; он впрочем поспешил сделать то же, что и его друг, то есть направил дуло винтовки на индейцев.

Вождь, без сомнения, не совсем понял речь Валентина; однако ж, вместо того, чтобы испугаться угрожающего движения французов, он с минуту смотрел с видом удовольствия на их воинственную и решительную позу, а потом, тихо опустив дуло ружья, направленного против его груди, сказал примирительным тоном:

— Друг мой ошибается: я не имею намерения оскорбить его; я брат его и его товарища; бледнолицые, кажется, ели в то время, как я приехал с моими молодыми воинами?

— Да, вождь, вы говорите правду, — весело перебил Луи, — ваше внезапное появление помешало нам окончить наш умеренный обед.

— Который к вашим услугам, — прибавил Валентин, указывая рукою на провизию, разбросанную на траве.

— Принимаю приглашение, — добродушно сказал индеец.

— Bravo! — вскричал Валентин, бросив на землю свою винтовку, и располагаясь сесть. — За стол!

— Да, — возразил вождь, — но с условием!

— С каким? — спросили молодые люди.

— Я дам свою долю.

— Согласны, — отвечал Луи.

— Это будет справедливо, — подтвердил Валентин, — тем более, что мы небогаты и можем предложить вам пищу весьма умеренную.

— Хлеб друга всегда вкусен, — заметил вождь.

— Превосходный ответ! К несчастью, в настоящую минуту наш хлеб заключается в одних испорченных сухарях.

— Я дам своего.

Индеец сказал несколько слов своим товарищам, и тотчас же каждый из них, пошарив в своем мешке, вынул оттуда маисовую лепешку, вяленое мясо и несколько тыквенных бутылок, наполненных хихой, напитком в

роде сидра, сделанного из яблок и маиса. Все это было положено на траву перед французами, которые как нельзя более были довольны изобильной провизией, вдруг заменившей их скудную пищу. Индейцы сошли с лошадей и сели в кружок возле путешественников. Вождь их тотчас же обратился к французам и сказал с кроткой улыбкой.

— Пусть кушают мои братья...

Молодые люди не заставили повторить это любезное приглашение. В первые минуты глубокое молчание царствовало между собеседниками; но как только аппетит был несколько удовлетворен, разговор возобновился. Индейцы, может быть, лучше всех людей на свете понимают законы гостеприимства. Они понимают общественные приличия, так сказать, по инстинкту, который заставляет их угадывать с первого раза с неизменной верностью, какие вопросы могут они сделать своим гостям и на какой точке должны остановиться, чтобы не показаться нескромными.

Французы еще в первый раз по приезде в Америку находились в сношениях с ароканами и не могли опомниться от удивления при виде общительности и благородства этих детей природы, которых по рассказам, более или менее вымышленным, они привыкли, также как и все европейцы, считать грубыми дикарями.

— Братья мои не испанцы? — сказал вождь.

— Это правда, — отвечал Луи, — но как вы это заметили?

— О! — возразил индеец с презрительной улыбкой. — Мы хорошо знаем этих злых солдат; это наши враги и враги слишком давние для того, чтобы мы могли ошибиться на их счет... С какого острова мои братья?

— Наш край не остров, — заметил Валентин.

— Брат мой ошибается, — выразительно сказал индеец, — только один край не остров, это великая земля *окасов* — людей свободных.

Молодые люди склонили головы; перед мнением, так решительно высказанным, спор становился невозможен.

— Мы французы, — отвечал Луи.

— Французы нация хорошая, храбрая; у нас было много французских воинов во время великой войны.

— А! — с любопытством спросил Луи. — Французские воины сражались вместе с вами?

— Да, — отвечал вождь с гордостью, — воины с седой бородой, грудь которых была покрыта ранами — почетными, полученными на войнах их острова, когда они сражались под командой своего великого вождя *Залеона*.

— Наполеона? — сказал с удивлением Валентин.

— Да, кажется так бледнолицые произносят его имя; брат мой его знал? — спросил индеец с любопытством, плохо сдержанным.

— Нет, — отвечал молодой человек, — хотя я и родился в его царствование, но никогда его не видал, а теперь он умер.

— Брат мой ошибается, — возразил индеец с некоторой торжественностью, — такие воины не умирают. Когда они исполняют свою обязанность на земле, они идут в рай, охотиться возле Властелина мира.

Молодые люди наклонили головы с видом согласия.

— Как странно, — сказал Луи, — что слава этого могущественного гения распространилась до самых отдаленных и неведомых мест земного шара и сохранилась чистою и блестящею среди племен диких и грубых, тогда как в той самой Франции, для которой он сделал так много, постоянно старались омрачить, даже уничтожить ее.

— Вероятно, подобно своим соотечественникам, которые время от времени объезжают наши охотничьи земли, мои братья имеют намерение торговать с нами? Где их товары? — продолжал вождь.

— Мы не купцы, — отвечал Валентин. — Мы приехали в гости к нашим братьям ароканам, мудрость и гостеприимство которых нам очень хвалили.

— Ароканы любят французов, — сказал вождь, польщенный этим комплиментом, — мои братья хорошо будут приняты в деревнях.

— К какому племени принадлежит брат мой? — спросил Валентин, внутренне восхищенный добрым мнением индейцев о его соотечественниках.

— Я один из главных ульменов священного племени *Большого Зайца*, — отвечал вождь с гордостью.

— Благодарю; еще один вопрос...

— Брат мой может говорить: уши мои открыты.

— Мы отыскиваем одного вождя, которому рекомендовали нас наши друзья, с которыми он часто торговал.

— Как зовут этого вождя?

— Антинагюэль.

— А!..

— Брат мой, стало быть, его знает?

— Да. Если братья мои пожелают, после отдыха я сам провожу их к Антинагюэлю, самому могущественному токи из всех четырех областей ароканского союза.

— Какой областью управляет Антинагюэль?

— Краем в Андах.

— Благодарю.

— Мои братья примут мое предложение?

— Почему же нам не принять его, вождь, если, как я полагаю, оно серьезно?

— Пусть же едут мои братья, — продолжал индеец, улыбаясь, — моя деревня недалеко.

Завтрак давно был кончен; индейцы сели на лошадей.

— Поедем! — сказал Валентин, обращаясь к Луи. — Этот индеец, как кажется, говорит с нами чистосердечно; притом подобная поездка доставит нам новые впечатления.. Как ты думаешь, Луи?

— Я не вижу, почему бы нам не принять предложения индейца.

— С Богом, когда так.

И Валентин вскочил на лошадь; Луи сделал то же самое.

— В путь! — скомандовал вождь.

Воины индейские поскакали в галоп.

— Как бы то ни было, — заметил Валентин, — надо признаться, что эти дикари добрые малые; я чувствую к ним живейшее участие... Это настоящие шотландские горцы по гостеприимству. Что подумали бы мои полковые товарищи, а в особенности мои старые бульварные друзья, если бы знали что случилось со мною?

Луи улыбнулся, и молодые люди, не заботясь более ни о чем, поскакали за своими проводниками, которые, оставив берега реки, сдвигались по направлению к горам.

Черный Шакал

Для того, чтобы сделать понятнее следующие происшествия, мы должны рассказать здесь об одном приключении, случившемся за двадцать лет до того времени, в которое происходит наша история.

В конце декабря 1816 года, в холодную дождливую ночь, путешественник, верхом на превосходной лошади и старательно закутанный в широкий плащ, ехал крупной рысью по дороге, или скорее по тропинке, проложенной в горах, которая ведет от Кручеса к Сан-Хазэ. Человек этот был богатый землевладелец, объезжавший Ароканию для закупки у индейцев небольшого количества быков и баранов.

Выехав из Кручеса в два часа пополудни, он запоздал в дороге, устраивая различные дела с huasos и торопился на свою ферму, находившуюся в нескольких милях от того места, где он был теперь. В страна было неспокойно. Несколько дней уже пуэльчесы переходили с оружием границы Чили и совершали набеги на земли республики, сжигая фермы, похищая семейства, под командой вождя, называвшегося *Черным Шакалом*, жестокость которого приводила в ужас обитателей стран, подвергавшихся его нападениям.

Поэтому человек, о котором мы говорили, с тайным беспокойством ехал по пустынной дороге, ведущей на его ферму. С каждой минутой тревога его увеличивалась. Гроза, собиравшаяся весь день, разразилась наконец с яростью, неизвестной в наших краях; ветер колебал де-

ревья; дождь лил ливнем; молния ослепляла лошадь, которая поднималась на дыбы и не хотела идти вперед. Всадник пришпоривал непослушное животное и внимательно рассматривал дорогу, насколько позволяла темнота. С неслыханными затруднениями победил он наконец главные препятствия; уже он различал сквозь мрак стены своей фермы, как вдруг лошадь его отпрыгнула в сторону так неожиданно, что чуть было не выбросила его из седла.

Когда после невероятных усилий ему наконец удалось справиться с животным, он с ужасом увидел несколько человек со зловещими лицами, которые неподвижно стояли перед ним. Первым движением всадника было схватить пистолеты, чтобы дорого продать свою жизнь: он понял, что попал в засаду к разбойникам.

— Оставьте ваши пистолеты, дон Антонио Квинтано, — сказал ему грубый голос, — ни ваша жизнь, ни ваши деньги нам не нужны.

— Чего же вы хотите? — спросил всадник, несколько успокоенный этим откровенным объяснением.

— Прежде всего мы просим у вас гостеприимства на эту ночь, — отвечал тот, который уже говорил.

Дон Антонио старался узнать этого человека, но не мог рассмотреть его черты, потому что было слишком темно.

— Двери моего жилища всегда открыты для чужестранца, — сказал он, — зачем вы не постучались в них?

— Зная, что вы должны проезжать здесь, я предпочел дожидаться вас.

— Чего же вы хотите от меня?

— Я скажу вам об этом в вашем доме; на большой дороге нельзя говорить откровенно.

— Если вам нечего более сказать мне, и если вы торопитесь, так же как я, укрыться от непогоды, то будем продолжать наш путь.

— Поезжайте, мы последуем за вами.

Не говоря более ни слова, всадник и незнакомцы отправились на ферму.

Дон Антонио Квинтано был человек решительный, что вполне доказывалось тем, как он встретил людей, так внезапно преградивших ему путь. Несмотря на легкость, с какою выражался по-испански говоривший, дон Антонио с первого слова узнал в нем индейца по его

произношению. Беспокойство его немедленно сменилось любопытством, и он без колебаний согласился оказать гостеприимство, зная, что ароканы из племени пуэльчесов, гэйличесов или молучесов никогда не оскорбляют кровли, под которою были приняты, и что человек, укрывавший их, считается у них лицом священным.

Когда прибыли на ферму, дон Антонио увидал, что не ошибся в своем мнении: люди, встретившиеся с ним таким странным образом, были действительно индейцы. Их было четверо; между ними находилась молодая женщина, кормившая грудью ребенка. Дон Антонио ввел гостей в свое жилище со всеми формами самой утонченной кастильянской вежливости. Он приказал слугам, испугавшимся дикой наружности индейцев, подать все, чего они пожелают.

— Кушайте и пейте, — сказал он им, — вы здесь у себя дома.

— Благодарю, — отвечал человек, до сих пор говоривший от имени всех, — мы принимаем ваше предложение так же искренно, как вы его делаете, но только относительно пищи, в которой мы очень нуждаемся.

— Не хотите ли отдохнуть до утра? — спросил дон Антонио. — Ночь темна, а погода ужасная для путешествия.

— Мы желаем именно темной ночи и, притом, должны оставить эту страну, не теряя времени. Теперь позвольте мне обратиться к вам с моей второй просьбой.

— Объяснитесь, — сказал испанец, внимательно рассматривая говорившего.

Это был человек лет сорока, высокого роста и очень стройный; энергические черты его лица и властный взгляд выдавали вождя.

— Это я, — сказал он без предисловий, — руководил последним набегом на жилища бледнолицых; мои воины все убиты вчера в засаде вашими копьями, так что из двухсот у меня осталось их только трое, которых вы видите здесь; сам я ранен; меня преследуют как лютого зверя, а между тем у меня нет лошадей, чтобы доехать до моего племени, нет оружия, чтобы защищаться, если на меня нападут. Поэтому я пришел просить у вас помощи. Я не хочу обманывать вас, а откровенно скажу вам имя человека, спасение которого вы держите в ваших руках. Я величайший враг испан-

цев; жизнь моя прошла в битвах с ними, словом, я Черный Шакал, апо-ульмен Черных Змей.

При этом страшном имени, дон Антонио не мог на минуту удержаться от движения ужаса, но немедленно оправившись, он отвечал спокойным и дружеским голосом:

— Вы мой гость и несчастны — две вещи священные для меня; я ничего не хочу знать более, вы получите лошадей и оружие.

Улыбка невыразимо кроткая засияла на лице индейца.

— Вот еще одна просьба, — сказал он, — и это уже последняя.

— Говорите.

Вождь взял за руку молодую индианку, которая до сих пор безмолвно плакала, убаюкивая своего ребенка, и представив ее дону Антонио, сказал:

— Это моя жена, это мой ребенок; поручаю вам обоих.

— Я буду о них заботиться, — отвечал дон Антонио с искренностью, — ваша жена будет моей сестрой, ваш ребенок моим сыном.

— Апо-ульмен будет это помнить, — сказал вождь индейцев голосом, прерывавшимся от волнения.

Он поцеловал в лоб крошечное существо, улыбавшееся ему, обратил на жену свою взор, исполненный нежности, и бросился из комнаты вместе со своими товарищами. Дон Антонио велел привести лошадей, роздал оружие, и четверо индейцев исчезли в темноте.

Прошло много лет, а дон Антонио ничего не слышал о Черном Шакале; ребенок и индианка все еще находились на его ферме, и с ними все обращались так, как будто бы они принадлежали к его семейству. Дон Антонио женился; к несчастью, через год после союза, не возмущаемого ни малейшим облачком, жена его умерла, произведя на свет прелестную девочку, которую отец называл Марией. Дети росли друг возле друга под заботливым присмотром индианки и любили друг друга как брат и сестра.

В один день многочисленный отряд индейских всадников, великолепно одетых, явился в Рио-Кларо, город, в котором жил дон Антонио. Вождь этих индейцев Черный Шакал; он приехал взять жену и сына у того, кто спас их.

Свидание было самое трогательное. Вождь забыл свое индейское бесстрашие и простодушно предался порыву чувств, волновавших его; он наслаждался счастьем увидеться после такой продолжительной разлуки с двумя существами, которые были для него дороже всего на свете. Когда надо было уезжать, когда дети узнали, что их разлучают, они пролили обильные слезы. С самого рождения они привыкли жить вместе и не понимали, почему такое положение не может продолжаться всегда.

Дон Антонио распространил свою торговлю и имел сношения со многими пограничными индейцами; у него было несколько ферм, на которых скотоводство развивалось в обширных размерах. Черный Шакал, обещавший дону Антонио неограниченную признательность и самую преданную дружбу, очень был ему полезен для этой торговли; часто устраивал он ему превосходные сделки со своими соотечественниками и охранял его земли от набегов грабителей. Дон Антонио каждый год осматривал свои фермы, поэтому должен был проезжать почти через всю Ароканию. Таким образом он обыкновенно проводил месяца по два в стане Черных Змей, у своего друга Черного Шакала; дочь всегда ездила с ним, по причине дружбы, связывающей обоих детей.

Так дела шли несколько лет. В то время, как начинается наша история, Черного Шакала уже не было в живых; он умер как храбрый воин с оружием в руках в битве на границе. Сын его, Антинагюэль в возрасте двадцати пяти лет был избран на его место апо-ульменом, а потом и токи всей области, что делало его одним из главных вождей в Арокании. Дон Антонио также умер вскоре после свадьбы Марии с доном Тадео де Леоном, убитый поведением своей дочери, распущенность которой наделала много шума в высшем обществе Сантьяго.

Донна Мария редко виделась с Антинагюэлем; хотя дружба их оставалась не только так же сильна, как в их детстве, но дошла до такой степени фанатизма, что Антинагюэль считал приказанием малейшую прихоть молодой девушки.

Велико было удивление воинов племени Черных Змей, когда в один вечер в их селение приехала донна Мария верхом, в сопровождении только двоих слуг, и прямо направилась к жилищу токи. Когда молодой вождь увидал ее, лицо его, обыкновенно мрачное, просияло.

— Лесная роза! — вскричал он с радостью. — Сестра моя, стало быть, еще помнит о бедном индейце?

— Я приехала посетить моего брата, — сказала донна Мария, подставив Антинагюэлю свой лоб, который тот поцеловал, — сердце мое печально, горесть пожирает меня, я вспомнила о моем брате.

Вождь бросил на молодую женщину взгляд, исполненный беспокойства и огорчения.

— Да, — продолжала она, — когда страдаешь, тогда вспомнишь о своих друзьях.

— Сестра моя хорошо сделала, что подумала обо мне... что могу я сделать для нее?

— Брат мой может оказать мне большую услугу.

— Жизнь моя принадлежит моей сестре; она знает, что может располагать ею.

— Благодарю! Я была уверена, что могу положиться на моего брата.

— Везде и всегда.

Почтительно поклонившись донне Марии, Антинагюэль повел ее в свой дом, где мать все приготовила, чтобы достойно принять ту, которую она столько лет любила как дочь.

Два старых друга, умеющие понимать один другого

Антинагюэль — Тигр-Солнце — был мужчина лет тридцати пяти, высокого роста и величественного вида; все в его наружности показывало человека, привыкшего повелевать. Слава его как воина была огромна, и подчиненные питали к нему какое-то суеверное уважение. Таков был человек, к которому приехала в гости донна Мария.

Стол был накрыт. Мы употребляем это выражение потому, что вожди ароканские знают как нельзя лучше европейские обычаи; почти у каждого из них есть блюда, тарелки, ложки, вилки из массивного серебра, которые, сказать правду, употребляются ими только в важных случаях, когда они хотят показать свое богатство; в своем же кругу они доводят воздержанность до крайней степени и у себя дома едят попросту руками.

Донна Мария села за стол и сделала знак Антинагюэлю, который стоял возле нее, сесть напротив. Обед был безмолвен; оба собеседника наблюдали друг за другом.

Для индейского вождя было очевидно, что сестра его, — как он называл донну Марию, — несколько лет вовсе не вспоминая о нем, приехала к нему в селение по какой-нибудь важной причине; но он не понимал, какая причина могла принудить женщину, привыкшую к роскоши, предпринять продолжительное и опасное путешествие, чтобы беседовать с индейцем в жалком селении посреди пустыни.

Со своей стороны молодая женщина находилась в сильном беспокойстве: она старалась угадать, сохранила ли еще, несмотря на редкие встречи с Антинагюэлем, ту неограниченную власть, которую прежде имела над этой дикой натурой, которую цивилизация только смягчила, но не укротила; она боялась, чтобы продолжительная разлука не сказалась губительно на их дружбе.

Когда окончился обед, слуга принес *матэ*^{*}, этот душистый настой парагвайской травы, которая заменяет чилийцам чай и которую они пьют с таким наслаждением. Две серебряные чашки на филигранном подносе были поданы Марии и вождю; они зажгли маисовые сигары и принялись курить, всасывая трубочкой душистый напиток.

После нескольких минут молчания, которое начинало становиться затруднительным для обоих собеседников, донна Мария, видя, что Антинагюэль занял выжидательную позицию, наконец начала с улыбкой:

— Брат мой вероятно удивился моему внезапному приезду.

— Да, действительно, — отвечал индеец, — Лесная Роза приехала к нам неожиданно, но она всегда у нас дорогая гостья.

И он поклонился.

— Я вижу, — заметила донна Мария, — что брат мой любезен по-прежнему.

— Нет, я люблю мою сестру и рад ее видеть тем более, что так долго был лишен ее присутствия... вот и все.

* Чилийцы заимствовали *матэ* у ароканов, которые очень до него лакомы и делают его с особенным искусством.

Вот как он готовится:

Кладут в чашку чайную ложку парагвайской травы и кусок сахара, немного подожженный на огне; выжимают несколько капель лимонного сока, прибавляют корицы и гвоздики, заливают все это кипятком и вкладывают в чашку серебряную трубочку, толщиной с перо, с маленькими дырочками в нижней части. Через эту-то трубочку всасывают *матэ*, рискуя, разумеется, обжечь рот, что непременно и случается с иностранцами в первые два-три раза, к великой радости туземцев.

Чилийцы так привыкли к *матэ*, что он в этой стране составляет то же, что кофе на Востоке, то есть его не только пьют после завтрака, обеда и ужина, но каждый раз как придет гость, или лучше сказать целый день. В церемониальных случаях одна трубочка служит для всех.

— Я знаю ваше отношение ко мне; мы вместе провели наше детство; но это было уже давно; вы теперь один из великих вождей, один из самых знаменитых воинов вашей нации, а я по-прежнему осталась бедной женщиной.

— Лесная Роза моя сестра; ее малейшие желания всегда будут священны для меня.

— Благодарю, но оставим этот разговор и поговорим лучше о наших первых годах, так скоро прошедших, увы!

— Вчера не существует более, — сказал вождь.

— Это правда, — отвечала донна Мария со вздохом, — зачем говорить о том времени, которое уже не возвратится?

— Сестра моя возвращается в Чили?

— Нет, я выехала из Сантьяго и намерена несколько времени прожить в Вальдивии; я оставила моих друзей продолжать путь, а сама свернула с пути, чтобы навещать моего брата.

— Да, я знаю, что тот, кого бледнолицые называют генералом Бустаменте, едва излечившись от ужасной раны, отправился в путь месяц тому назад и теперь осматривает провинцию Вальдивию. Я сам намерен скоро побывать в этом городе.

— Там теперь много бледнолицых с юга.

— Между ними нет ли кого-нибудь известного мне?

— Не думаю; впрочем, да! Есть один — дон Тадео, мой муж.

Антинагюэль с удивлением поднял голову.

— Я думал, что он расстрелян? — сказал он.

— Он действительно был расстрелян.

— Каким же это образом он еще жив?

— Он чудом избежал смерти, хотя был опасно ранен.

Донна Мария старалась прочесть на бесстрастном лице индейца, какое впечатление произвело на него это известие.

— Пусть сестра моя слушает, — сказал он через минуту, — дон Тадео еще враг ей, не так ли?

— Более чем прежде.

— Хорошо.

— Мало того, что муж мой низким образом бросил меня и отнял у меня мое дитя, это невинное существо, которое служило мне единственным утешением и помо-

гало мне переносить горести, которые он причинял мне, злодей нанес мне величайшее оскорбление, заведя публично связь с другой женщиной, которую повсюду таскает с собою... она и теперь с ним в Вальдивии.

— А! — сказал вождь с некоторым равнодушием.

Привыкнув к ароканским нравам, позволявшим каждому мужчине иметь столько жен, сколько он может прокормить, Антинагюэль находил поступок дона Тадео весьма естественным. Это не укрылось от донны Марии, и ироническая улыбка сжала ее губы. Она продолжала небрежным тоном, но пристально смотря на индейца:

— Кажется, эту женщину зовут донной Розарио де Мендоз... говорят, что это очаровательное создание...

Это имя, произнесенное донной Марией по-видимому совершенно равнодушно, произвело на Антинагюэля действие громового удара; он вскочил и с пылающим лицом, со сверкающими глазами вскричал:

— Розарио де Мендоз, говорите вы, сестра моя?

— Боже мой, я ее не знаю, — отвечала донна Мария, — я слышала только ее имя; кажется, что действительно так зовут эту женщину... но, — прибавила она, — какое участие принимает в ней брат мой?..

— Никакого, — перебил индеец и опять сел на свое место. — Зачем сестра моя не мстит человеку, который ее бросил?

— К чему? Притом на какое мщение могу я надеяться? Я женщина слабая и боязливая, без друзей, без поддержки, одна.

— А я, — вскричал вождь, — я-то что же?

— О! — сказала донна Мария с живостью. — Я не хочу, чтобы брат мой мстил за мою личную обиду.

— Сестра моя ошибается; напав на этого человека, я отомщу ему в то же время и за свою собственную...

— Пусть брат мой объяснится; я его не понимаю.

— Сейчас объяснюсь.

— Я слушаю.

В эту минуту вошла мать Антинагюэля и, подойдя к сыну, сказала печально:

— Напрасно сын мой вспоминает старое и бережит прежние раны.

— Женщина, удались! — возразил индеец. — Я воин, отец мой завещал мне мщение; я поклялся отомстить и исполню мою клятву.

Бедная индианка вышла со вздохом. Красавица, любопытство которой было возбуждено в высшей степени, с нетерпением ждала, чтобы вождь объяснился.

Дождь падал с шумом на листья деревьев; по временам порывы ночного ветра со свистом врывались в щели хижины и колебали пламя факела, освещавшего ее. Оба собеседника, погружившись в размышления, невольно прислушивались к звукам бури и чувствовали, как ими овладевала тоска.

Антинагюэль наконец поднял голову и, выпустив сразу несколько клубов дыма, бросил свою сигару и начал тихим голосом:

— Хотя сестра моя почти дитя нашего народа, потому что ее воспитала моя мать, но она никогда не знала истории моего семейства. Эта история, которую я расскажу ей, вполне покажет, что я ненавижу дон Тадео, и если до сих пор я делал вид, будто забыл обо всем, так это потому, что дон Тадео был мужем моей сестры... Теперь же поведение его с моей сестрой избавляет меня от обещания, которое я дал себе самому, и возвращает мне свободу действия.

Донна Мария сделала знак согласия.

— Когда презренные испанцы, — продолжал вождь, — завоевали Чили и поработили его трусливых жителей, они вздумали завоевать также и Ароканию, пошли на окасов и ворвались в их владения. Сестра моя видит, что я начал рассказ издалека. Кадегуальский токи первый собрал на Карамнанской долине большой совет. Назначенный предводителем воинов всех четырех областей, он дал сражение бледнолицым; битва была ужасная, продолжавшаяся от восхода до заката солнца; много ароканских воинов отправились в блаженные долины рая; но Всемогущий не оставил окасов: они остались победителями, а испанцы бежали как трусливые зайцы от страшных ароканских копий. Много бледнолицых попало в наши руки. Между ними находился могущественный вождь, по имени дон Эстеван де Леон. Кадегуальский токи мог бы воспользоваться своим правом и убить его, но он не сделал этого, а напротив привел его в свое селение и обращался с ним, как с братом. Но когда испанцы умели быть признательными за благодеяние? Дон Эстеван, забыв священные обязанности гостеприимства, обольстил дочь того, кому был обязан жизнью, и

убежал с нею. При этой недостойной и гнусной измене, горесть благородного токи была неизмерима: он поклялся тогда безжалостно воевать с бледнолицыми и сдержал клятву: все испанцы, захваченные им, несмотря на их лета и пол, были убиты. Это ужасное возмездие было справедливо, не правда ли?

— Да, — лаконически отвечала Красавица.

— В один день Кадегуаль, застигнутый своими лютыми врагами, попал, покрытый ранами, в их руки после геройского сопротивления, во время которого все его воины мужественно пали возле него. В свою очередь Кадегуаль находился во власти дона Эстевана. Испанский вождь узнал того, кто несколько лет тому назад спас его жизнь, и вот как милосердно поступил с ним. Отрезав обе руки и выколов глаза своему пленнику, он возвратил несчастному его дочь, которую уже успел пресытиться, и отпустил его. Молодая девушка, которую отец простил, отвела слепого домой. Дойдя до своего стана, Кадегуаль созвал всех своих родных, рассказал им все, что он вытерпел, показал свои кровавые раны и изувеченные руки и, заставив сыновей своих и всех родных дать клятву отомстить за него, уморил себя голодом.

— О! Это ужасно! — вскричала донна Мария, расстроганная против воли.

— Это еще ничего, — продолжал Антинагюэль с горькой улыбкой, — пусть сестра моя дослушает до конца. С того времени неумолимая судьба постоянно тяготела над двумя фамилиями и постоянно противопоставляла потомков токи Кадегуаля потомкам дона Эстевана. Три столетия уже длится эта жаркая, ожесточенная борьба между двумя фамилиями и окончится только уничтожением одной из них или, может быть, обеих. До сих пор преимущество почти всегда оставалось за Леонами; потомки токи Кадегуаля часто бывали побеждаемы, но не упали духом, готовые снова начать борьбу при первом сигнале. Ныне в фамилии дона Эстевана остался только один представитель дон Тадео, представитель выдающийся по своему мужеству, богатству и огромному влиянию, которым он пользуется над своими соотечественниками. Он лично никогда не вредил окасам; он, кажется, даже не знает закоренелой ненависти, существующей между его фамилией и фамилией токи; но потомки Кадегуаля помнят об этом; они тоже сильны, многочисленны и мо-

гущественны. Час мщения пробил, и они его не пропустят. Сестра моя, — прибавил Антинагюэль страшным голосом, — токи Кадегуаль был мой прадед... Благодарю вас за уведомление о том, что враг мой не только не умер, но что он еще находится так близко от меня!

— Мать ваша уже сказала вам: зачем пробуждать старую ненависть? Ныне мир царствует между чилийцами и окасами; пусть брат мой остерегается... Белые многочисленны, у них много опытных солдат.

— О! — возразил индеец со зловещей улыбкой. — Я уверен в успехе... у меня есть моя нимфа.

Индейцы высшего звания все твердо верят, что у каждого из них есть домашний гений, принужденный им повиноваться. Донна Мария притворилась, будто поверила словам Антинагюэля. Ей удалось направить охотника на дичь, до которой она так желала добраться сама, и теперь ей было мало нужды до того, какая причина заставляла индейца повиноваться ей. Красавица знала, что эта ненависть, которую Антинагюэль выставял вперед, была только предлогом, а настоящая причина была запрятана в глубине его сердца. Хотя она и угадывала эту причину, но делала вид, будто ничего не понимает.

Долго еще разговаривала донна Мария с Антинагюэлем о посторонних вещах, а затем удалилась в комнату, приготовленную для нее. Было уже поздно, а Красавица хотела на рассвете ехать в Вальдивию. Она слишком хорошо знала товарища своего детства, и потому была вполне убеждена, что теперь, когда тигр пробудился, он не замедлит отыскать добычу, указанную ему.

Колдун

В тот же самый день, в селении, находившемся в ста двадцати километрах от Ароко, посреди гор, на берегах Карампаньи, царствовало величайшее смятение. Женщины и воины, собравшись перед дверями одной хижины, на пороге которой лежал труп на парадной постели из ветвей, голосили по умершему. К крикам их примешивались оглушительные звуки барабанов, флейт и громкий лай собак.

Посреди толпы возле трупа стоял пожилой мужчина высокого роста, одетый в женское платье и делавший какие-то странные жесты, которые сопровождал диким воем. Человек этот, отличавшийся безобразной и свирепой наружностью, был колдун. Крики и кривлянья его имели целью защищать труп от злого духа, который хотел овладеть им.

По знаку колдуна музыка и стоны прекратились. Злой дух, побежденный заклинаниями, отказался бороться более и бросил труп, которым не мог овладеть. Тогда колдун обернулся к человеку с надменными чертами и повелительным взглядом, который стоял возле него, опираясь на длинное копьё.

— Ульмен могущественного племени Большого Зайца, — сказал он мрачным голосом, — твой отец, доблестный ульмен, похищенный у нас, уже не опасается более влияния злого духа, которого я принудил удалиться. Он теперь охотится в блаженных долинах с праведными воинами; все обряды совершены и час возвратить тело покойника земле настал!

— Остановитесь, — с живостью отвечал вождь, — отец мой умер, но кто убил его? Воин не может умереть в несколько часов, без того, чтобы чье-нибудь тайное влияние не тяготело над ним и не иссушило источников жизни в его сердце. Отвечай мне, колдун, вдохновленный Пиллианом, скажи мне имя убийцы! Сердце мое печально; оно почувствует облегчение только тогда, когда отец мой будет отомщен.

При этих словах, произнесенных твердым голосом, трепет пробежал по рядам народа, собравшегося вокруг трупа. Колдун сначала окинул взглядом присутствующих, потом, потупив глаза, скрестил руки и как будто собирался с мыслями.

Ароканы допускают только один род смерти, а именно смерть на поле битвы. Они не предполагают, чтобы можно было лишиться жизни от болезни или от какого-нибудь случая; а потому смерть человека, умершего не на сражении, всегда приписывают чьему-нибудь влиянию; они убеждены, что враг покойника убил его. В этом убеждении, на похоронах родственники и друзья умершего всегда обращаются к колдуну, чтобы он указал им убийцу. Колдун необходимо должен указать на кого-нибудь; напрасно стал бы он растолковывать огорченным родственникам, что смерть покойника совершенно естественна: бешенство их немедленно обратилось бы против него, и он сам сделался бы их жертвой. Следовательно, колдун не может колебаться; на убийцу тем легче указать, что он не существует и что колдун не боится ошибиться. Впрочем, чтобы согласовать свои интересы с интересами родственников, которые требуют жертвы, он всегда выдает одного из своих врагов; если же, что бывает редко, у колдуна врагов нет, он выбирает наудачу. Мнимого убийцу, несмотря ни на какие уверения в невинности, безжалостно умерщвляют. Понятно, как опасен подобный обычай и какое влияние должен иметь колдун, и мы принуждены признаться, что он без малейшей совестливости употребляет это влияние во зло во всех обстоятельствах.

Новые лица, в числе которых находились Валентин Гиллуа и его друг, въехали в селение. Привлеченные любопытством, они приблизились к толпе, стоявшей перед трупом. Французы ничего не понимали в этой сцене, но когда проводник их объяснил им ее вкратце, они

стали наблюдать с величайшим интересом за различными движениями дикарей.

— Ну, — продолжал ульмен через минуту, — разве отец мой не знает имени человека, от которого мы должны потребовать отчета в убийстве?

— Знаю, — отвечал колдун мрачным голосом.

— Так зачем же он хранит молчание, когда труп вопиет о мщении?

— Оттого, — отвечал колдун, смотря на этот раз прямо в лицо только что приехавшему вождю, — что есть могущественные люди, которые насмеются над человеческим правосудием.

Глаза толпы тотчас обратились на того, на которого колдун по-видимому указывал косвенно.

— Виновный, — вскричал громко ульмен, — какого бы ни было его звание, не избавится от моего справедливого мщения; говори без опасения; клянусь тебе, что тот, чье имя ты произнесешь, будет убит.

Колдун выпрямился, медленно поднял руку и, посреди всеобщего молчания, указал пальцем на вождя, который предложил так дружески гостеприимство иностранцам.

— Исполни же свою клятву, ульмен, — сказал он громким голосом, — вот убийца твоего отца! *Трангуаль Ланек — Глубокий Овраг* — посредством порчи умертвил его.

Сказав это, колдун закрыл себе лицо, как будто был угнетаем горестью сделанного им указания. При страшных словах его совершенное безмолвие воцарилось в народе. Трангуаль Ланек был последний, кого осмелились бы подозревать; он был любим и уважаем всеми за свое мужество, чистосердечие и великодушие.

Когда прошла первая минута удивления, в толпе сделалось большое движение; каждый спешил отодвинуться от мнимого убийцы, который остался один, лицом к лицу с тем, в чьей смерти его обвиняли. Трангуаль Ланек однако ж был по-прежнему бесстрастен; презрительная улыбка скользнула по губам его; он сошел с лошади и ждал. Ульмен медленно подошел к нему и сказал печальным голосом:

— Зачем ты убил моего отца, Трангуаль Ланек? Он тебя любил, а я разве не был твоим другом?

— Я не убивал твоего отца, Курумилла — Черное Золото, — отвечал вождь тоном чистосердечия, который

убедил бы каждого, предубежденного менее, чем тот, к которому он обращался.

— Это сказал колдун.

— Он лжет.

— Нет, колдун не может лгать; он вдохновлен Пиллианом; ты, твоя жена и твои дети умрете... так предписывает закон.

Не устаивая ответом, Трангуаль Ланек бросил оружие и стал возле кровавого столба, врытого перед той хижинкой, в которой заключается священный кумир.

Толпа тотчас образовала круг, центром которого сделался столб. Жена и дети мнимого преступника были приведены. Немедленно начали делать приготовления к казни, так как похороны убитого не могли быть совершены прежде казни убийцы. Колдун торжествовал. Единственный человек, несколько раз осмеливавшийся восставать против его плутней, должен был умереть, и он делался отныне неограниченным властелином племени.

По знаку Курумиллы, два индейца схватили Трангуаль Ланека и, несмотря на слезы и рыдания его жены и детей, начали привязывать несчастного к столбу.

Французы присутствовали при этом ужасном зрелище. Луи был возмущен лукавством колдуна и легковерием индейцев.

— О! — сказал он своему другу. — Мы не должны допускать этого убийства.

— Гм! — прошептал Валентин, крутя свои белокурые усы и осматриваясь вокруг. — Они многочисленны.

— Так что ж теперь, — возразил Луи с жаром, — я не хочу быть свидетелем подобного беззакония... и если бы мне пришлось погибнуть, я все-таки намерен постараться спасти этого несчастного, который так чистосердечно предложил нам свою дружбу.

— Дело в том, — сказал Валентин задумчиво, — что Трангуаль Ланек, как они его называют, честный человек, к которому я чувствую сильную симпатию; но что можем мы сделать?

— Броситься между ним и его врагами, — вскричал Луи, схватив пистолеты, — мы все-таки убьем каждый пять или шесть человек.

— Да, а другие убьют нас и мы все-таки не успеем спасти того, для которого принесем себя в жертву. Нет, это плохое средство, придумаем другое...

— Поспешим, казнь начинается.

Валентин ударил себя по лбу.

— А! — сказал он вдруг с плутовской улыбкой. — Я придумал славную штуку... предоставь все дело мне; мое прежнее ремесло фигляра, кажется, поможет нам; но ради Бога, обещай мне оставаться спокойным.

— Клянусь, если ты его спасешь.

— Будь спокоен — нашла коса на камень; я докажу этим дикарям, что я похитрее их.

Валентин пришпорил лошадь и въехал в середину круга.

— Остановитесь на минуту, — сказал он громким голосом.

При неожиданном появлении молодого француза, которого до сих пор никто из индейцев не замечал, они все обернулись и взглянули на него с удивлением. Луи, положив руку на свою шпагу, с беспокойством следил за движениями своего друга, готовый прийти к нему на помощь.

— Прекратим шутки, — продолжал Валентин, — мы не имеем времени забавляться; вы дураки и ваш колдун насмехается над вами. Как вы торопитесь! Ни с того ни с сего хотите убить человека! Но нет, я не позволю вам сделать глупость...

Подбодившись, Валентин неустрашимо окинул взором все собрание. Индейцы, по своему обыкновению, выслушали эту странную речь совершенно бесстрастно, ни одним жестом не выказав своего удивления. Курумилла подошел к молодому человеку и холодно сказал ему:

— Пусть удалится мой бледный брат; он не знает законов пуэльчесов; этот человек осужден и должен умереть: его назначил колдун.

— Вы дураки, — сказал Валентин, пожимая плечами, — ваш колдун такой же колдун, как я окас; повторяю вам, что он насмехается над вами, и я вам это докажу, если хотите.

— Что говорит отец мой? — спросил Курумилла колдуна, который безмолвно и неподвижно стоял возле труп.

Колдун улыбнулся презрительно.

— Когда же белые говорили правду? — отвечал он с насмешкой. — Пусть этот чужестранец докажет свои слова, если может.

— Хорошо! — возразил улымен. — Бледнолицый может говорить.

— Несмотря на непоколебимую уверенность этого человека, — вскричал Валентин, — мне нетрудно доказать вам, что он обманщик.

— Мы ждем, — сказал Курумилла.

Индейцы приблизились с любопытством. Луи не понимал намерений своего друга; он угадывал, что какая-либо забавная идея пришла ему в голову, и с таким же нетерпением как и другие желал знать, как он выпутается из затруднения.

— Позвольте, — с уверенностью сказал колдун, — что сделают мои братья, если я докажу, что мое обвинение справедливо.

— Чужестранец умрет, — холодно сказал Курумилла.

— Я согласен, — смело отвечал Валентин.

Поставленный таким образом в необходимость объясниться, француз выпрямился, нахмурил брови и сказал громким голосом:

— И я также великий колдун!

Индейцы посмотрели на него с уважением. Ученость европейцев доказана между ними и они уважают ее бесспорно...

— Не Трангуаль Ланек убил вождя, — продолжал француз с уверенностью, — а сам колдун.

Трепет удивления и боязни пробежал по собранию.

— Я? — вскричал колдун с удивлением.

— И ты сам это знаешь, — отвечал Валентин, бросив на него взор, который заставил его задрожать.

— Чужестранец, — сказал Трангуаль Ланек, — напрасно хлопчете вы за меня; мои братья считают меня виновным, а потому я, хотя и невинен, но должен умереть.

— Велико ваше самоотвержение, но нелепо, — отвечал ему Валентин.

— Этот человек виновен, — подтвердил колдун.

— Кончим, — продолжал Трангуаль Ланек, — убейте меня.

— Что говорят мои братья? — обратился Курумилла к народу, тревожно толпившемуся вокруг него.

— Пусть бледнолицый колдун докажет истину своих слов, — повторили воины в один голос.

Они любили Трангуаля Ланека и внутренне не желали его смерти. С другой стороны, к колдуну они питали глубокую ненависть, которую скрывали только из страха, внушаемого им.

— Очень хорошо, — продолжал Валентин, сойдя с лошади, — вот что я предлагаю.

Все замолчали. Парижанин обнажил саблю и замахал ею перед глазами толпы.

— Вы видите эту саблю, — сказал он с вызывающим видом, — я засуну ее в рот до эфеса; если Трангуаль Ланек виновен, я умру; если он невинен, как я утверждаю, Пиллиан поможет мне, и я вытащу саблю из моего тела, не получив ни малейшей раны.

— Брат мой говорит как мужественный воин, — сказал Курумилла, — мы готовы.

— Я этого не допущу, — вскричал Трангуаль Ланек, — разве брат мой хочет убить себя?

— Пиллиан — судья, — отвечал Валентин с улыбкой неизъяснимого выражения и с видом убеждения, прекрасно разыгранным.

Французы обменялись взглядом. Индейцы — взрослые дети, для которых всякое зрелище праздник. Необыкновенное предложение парижанина показалось им неопровержимым.

— Испытание! Испытание! — кричали они.

— Хорошо, — сказал Валентин, — пусть смотрят мои братья.

Он встал тогда в классическую позицию, принятую фокусниками, когда они на площадях показывают подобные штуки; потом сунул в рот саблю и через несколько секунд она исчезла до эфеса. Во время этого фокуса, который для индейцев был чудом, они смотрели на отважного француза с ужасом, не смея даже дышать; они никак не могли понять, чтобы человек мог совершить подобную операцию, не убивши себя немедленно. Валентин поворачивался во все стороны, чтобы каждый уверился в действительности этого факта, потом, не торопясь, вынул саблю изо рта такую же блестящую, как она была прежде. Крик восторга вырвался у всех. Чудо было очевидно.

— Позвольте, — сказал он, — я еще имею к вам одну просьбу.

Восстановилось молчание.

— Я вам доказал уже самым неопровержимым образом, что вождь не виновен, не правда ли?

— Да! Да! — закричали все. — Бледнолицый великий колдун; он любим Пиллианом.

— Очень хорошо! — сказал Валентин, с лукавой улыбкой глядя на колдуна. — Теперь этот человек должен в свою очередь доказать, что я его оклеветал и что не он убил апо-ульмена. Умерший вождь был знаменитый воин, он должен быть отомщен!

— Да! — повторили индейцы. — Он должен быть отомщен!

— Брат мой говорит хорошо, — заметил Курумилла, — пусть колдун сделает испытание.

Несчастный колдун понял, что он погиб; холодный пот оросил виски его, судорожный трепет пробежал по его телу.

— Этот человек обманщик, — пробормотал он едва внятным голосом, — он обманывает вас.

— Может быть! — возразил Валентин. — Но чтобы доказать это, сделай то же, что сделал я...

— Если отец мой невинен, — сказал Курумилла, обращаясь к колдуну и подавая ему саблю, — Пиллиан защитит его так же, как защитил моего брата.

— Да, конечно... Пиллиан защищает всех невинных, вы видели этому доказательство, — сказал парижанин, в котором дух парижского уличного мальчишки одержал верх.

Колдун бросил вокруг себя отчаянный взор. Глаза всех выражали нетерпение и любопытство. Несчастный понял, что ему невозможно было ожидать помощи ни от кого и решился в одну секунду. Он хотел умереть как жил, обманывая толпу до последнего вздоха.

— Я ничего не боюсь, — сказал он твердым голосом, — это железо будет для меня безвредно. Вы хотите, чтобы я сделал испытание; хорошо, я буду повиноваться; но берегитесь, Пиллиан раздражен вашим поведением со мною; унижение, которое вы налагаете на меня, будет отомщено страшными бедствиями, которые постигнут вас.

При этих словах своего предсказателя, индейцы задрожали; они колебались; много лет уже привыкли они верить его предсказаниям и теперь со страхом осмеливались обвинять его в обмане. Валентин угадал, что происходило в сердце индейцев.

— Славно сыграно, — прошептал он, подмигнув в ответ на торжествующую улыбку колдуна, — теперь моя очередь. Пусть братья мои успокоятся, — сказал он громким и твердым голосом, — никакое несчастье не угрожает им; этот человек говорит таким образом, потому что боится умереть; он знает, что он виновен и что Пиллиан не защитит его.

Колдун бросил на молодого человека взгляд полный ненависти, схватил саблю и движением, быстрым как мысль, засунул ее в горло. Поток черной крови хлынул из его рта; он широко раскрыл глаза, судорожно замахал руками, сделал два шага вперед и упал ничком. Индейцы подбежали к нему: он уже был мертв.

— Пусть бросят живую собаку коршунам, — сказал Курумилла, с презрением оттолкнув ногой труп колдуна.

— Мы братья на жизнь и на смерть, — вскричал Трангуаль Ланек, обнимая Валентина.

— Ну! — улыбаясь сказал молодой человек своему другу. — Я недурно выпутался. Ты видишь, что в некоторых обстоятельствах недурно знать все ремесла, даже ремесло фокусника может пригодиться при случае.

— Не клевети на твое сердце, — возразил с жаром Луи, пожимая ему руку, — ты спас жизнь человеку.

— Да, но зато убил другого.

— Тот был виновен!

Похороны апо-ульмена

Мало-помалу волнение, причиненное смертью колдуна, утихло, и порядок восстановился. Курумилла и Трангуаль Ланек, изгнав всякое чувство ненависти, братски поцеловались при неистовых криках воинов, которые любили обоих вождей.

— Теперь отец мой отмщен, и мы может предать тело его земле, — заметил Курумилла. — Бледнолицые будут присутствовать при похоронах? — прибавил он, обращаясь к французам, и поклонился им.

— Будем, — отвечал Луи.

— Мое жилище велико, — продолжал вождь, — и мои братья сделают мне честь, согласившись пожить у меня, пока останутся в нашем селении.

Луи хотел было отвечать, но Трангуаль Ланек перебил его, сказав:

— Мои братья бледнолицые уже удостоили принять мое бедное гостеприимство.

Молодые люди молча поклонились.

— Хорошо! — сказал ульмен. — Что до этого за дело? Какое бы жилище не выбрали чужестранцы, я все-таки буду считать их моими гостями.

— Благодарю, вождь, — отвечал Валентин, — поверьте, что мы очень признательны вам за ваше доброжелательство.

Ульмен простился с французами и возвратился к телу отца. Обряд тотчас начался. Ароканы народ, не лишенный верований, хотя некоторые путешественники думали ина-

че; даже можно сказать, что вера их сильна и опирается на основания, исполненные некоторого величия. Они признают два начала: добро и зло. Первое называется *Пиллианом* и есть божество творящее, второе — *Гекубу*, божество разрушающее. Гекубу находится в постоянной борьбе с Пиллианом; он старается нарушить гармонию мира и уничтожить все существующее. Из этого легко понять, что основой верований варварских народов Старого и Нового Света служит Манихейство. Не будучи способны понять причин добра и зла, они обожествовали их.

Кроме этих главных божеств, ароканы считают значительное множество второстепенных духов, которые помогают Пиллиану в его борьбе с Гекубу. Эти второстепенные божества разделяются на гениев мужского и женского пола; последние все девственницы, что доказывает, до какой степени для самих варваров понятна великая идея о том, что в духовном мире не бывает перерождения. Божества мужского пола называются *Жеру*, женского — *Амей-Мальген*.

Ароканы верят в бессмертие души и следовательно в будущую жизнь, в которой воины, отличившиеся на земле, охотятся на лугах, полных дичи, окруженные всем, что они любили. Как все дикие американские племена, ароканы чрезвычайно суеверны. Религиозный обряд их состоит в том, что они собираются в хижине, в которой поставлен безобразный идол, представляющий Пиллиана, плачут и выпускают перед ним громкие крики, сопровождая все это разными кривляньями, а потом приносят ему в жертву барана, корову, лошадь, что что может.

По знаку Курумиллы, воины удалились, уступив место женщинам, которые тотчас окружили труп и начали ходить кругом, воспевая тихим и жалобным голосом подвиги умершего.

Через час длинная процессия потянулась вслед за телом, которое несли четыре воина, самые знаменитые, к холму, где была приготовлена могила. Позади шли женщины, рассыпавшие по следам пригоршнями горячий пепел, чтобы в случае, если б душе покойника вздумалось войти опять в тело, она уже не могла бы найти дороги к своему жилищу и таким образом не имела бы возможности тревожить своих родственников.

Когда труп опустили в могилу, Курумилла зарезал собак и лошадей своего отца и положил их возле покой-

ника, для того чтобы он мог охотиться в блаженных долинах. Возле него положили также провизию для него и для лодочницы, которая повезет его в другой мир, к Пиллиану, где он будет судим за свои добрые и дурные дела; потом на труп набросали земли; и так как покойник был знаменитый воин, то над могилой сделали из камней пирамиду; наконец каждый из индейцев обошел могилу кругом, обливая ее хихою.

Родственники и друзья вернулись с плясками и с пением в селение, где их ждал один из таких ароканских похоронных обедов, которые длятся до тех пор, пока все собеседники не перепьются в стельку.

Путешественникам не слишком хотелось присутствовать на этом пиру; они устали и предпочитали отдохнуть. Трангуаль Ланек угадал их мысль, и потому как только провожавшие покойника вернулись в селение, он отделился от своих товарищей и предложил молодым людям отвести их в свой дом. Они с радостью приняли это предложение.

Как все ароканские хижины, хижина Трангуаля Ланека представляла собой обширное деревянное здание, обмазанное глиной и выбеленное, в форме продолговатого четырехугольника, с кровлей в виде террасы. Это простое, но удобное жилище отличалось внутри голландской опрятностью. Мы уже знаем, что Трангуаль Ланек был одним из самых уважаемых и богатых вождей своего племени; он имел восемь жен. У молучосов многоженство допускается.

Когда индеец желает жениться на какой-нибудь девушке, он делает предложение ее родителям, назначает число скота, которое хочет дать в качестве выкупа, и если условия его примут, приезжает со своими друзьями, похищает молодую девушку, сажает ее на лошадь позади себя и скрывается с нею три дня в лесу. На четвертый день он возвращается, зарезает кобылу перед хижинной отца невесты и тогда уже начинаются брачные празднества. Похищение и жертвоприношение кобылы заменяют гражданский обряд. Таким образом окас волен жениться на стольких женах, скольких может прокормить. Однако первая жена одна носит название законной и уважается более других; она распоряжается хозяйством и, так сказать, начальствует над другими женами. Все живут в доме мужа, но в отдельных комнатах, где воспитывают

своих детей, ткнут из шерсти плащи и готовят кушанье, которое каждый день одна из жен должна подать мужу за обедом.

Брак священен, и потому прелюбодеяние считается величайшим из преступлений! Женщина и мужчина, совершившие его, неминуемо убиваются мужем или родными, если не искупят своей жизни, заплатив штраф, назначенный оскорбленным супругом. Когда окас отлучается из дому, он поручает жен своим родным, и если по возвращении может доказать, что они были ему неверны, имеет право потребовать от этих родных чего захочет; поэтому собственные выгоды родных заставляют их хорошенько наблюдать за женами отсутствующего. Впрочем, эта строгость нравов касается только замужних женщин: девушки наслаждаются величайшей свободой и пользуются ею так, что никто не смеет им ничего сказать.

Французы, брошенные судьбою среди этих странных племен, вовсе не понимали жизни индейцев. Валентин особенно находился в беспрерывном удивлении, которое впрочем остерегался показывать и в разговоре, и в поступках. Приключение с колдуном поставило его так высоко в уважении жителей селения, что он по справедливости опасался, чтобы малейший нескромный вопрос не свергнул его с того пьедестала, на котором он пока держался.

В один вечер, когда Луи готовился, по принятой привычке, обходить хижины, в которых находились больные, чтобы облегчить их страдания насколько позволяли его ограниченные познания в медицине, Курумилла вдруг явился к французам и пригласил их участвовать на пиру, который давал новый колдун, выбранный на место умершего. Валентин обещал быть вместе со своим другом.

Из того, что мы рассказали выше, легко понять, какое огромное влияние имеет колдун на всех членов своего племени; стало быть, выбор сделать трудно и редко бывает он хорош. Колдуном обыкновенно выбирают женщину; ежели же мужчину, то он надевает женское платье, которое носит всю жизнь. Впрочем, большею частью, это звание переходит по наследству.

После значительного количества выкуренных трубок и нескончаемых речей, вместо прежнего колдуна выбран был старик с кротким и услужливым характером, за всю

свою продолжительную жизнь не имевший ни одного врага. Обед был, как и следовало предполагать, обильный, с любимым блюдом ароканов — ульпой и орошенный бесчисленным количеством хихи. В числе различных блюд находилась между прочим огромная корзина круто сваренных яиц; индейцы набросились на них с особенной жадностью.

— Почему не кушаете вы яиц? — спросил Курумилла Валентина. — Разве вы их не любите?

— Извините, вождь, — отвечал тот, — я очень люблю яйца, но приготовленные не таким образом... этими легко подавиться!

— А! Понимаю! — отвечал Ульмен. — Вы предпочитаете их сырые.

Валентин расхохотался.

— Вовсе нет, — сказал он, опять сделавшись серьезным, — я очень люблю яичницу или яйца, сваренные всмятку, но не ем ни крутых, ни сырых.

— Что хотите вы сказать? Яиц нельзя иначе сварить как вкрутую.

Молодой человек с изумлением посмотрел на индейца, потом сказал тоном глубокого сострадания:

— Как, вождь, вы знаете только этот способ варить яйца?

— Наши отцы так ели их, — отвечал ульмен.

— Несчастные! Как же я о них сожалею; они не знали одного из величайших наслаждений в жизни! Хорошо же... — прибавил он с забавным энтузиазмом, — я хочу, чтобы вы меня обожали как благодетеля человечества; словом, я хочу научить вас, как надо варить яйца всмятку и делать яичницу. По крайней мере, воспоминание обо мне не погибнет между вами; когда я уеду, и вы будете есть одно из этих кушаний, вы не перестанете думать обо мне.

Несмотря на свою печаль, Луи улыбался шуткам и неисчерпаемой веселости своего молочного брата, в характере которого каждую минуту парижский уличный мальчишка одерживал верх над серьезным мужчиной. Вожди с радостью приняли предложение француза и с громкими криками спрашивали его, какой день назначит он для исполнения своего обещания.

— Я не хочу заставлять вас долго ждать, — отвечал он, — завтра на площади, перед всеми воинами племени

Большого Зайца, я покажу вам, как надо готовить яйца всмятку и яичницу.

При этом обещании удовольствие вождей дошло до высочайшей степени; хиха полилась еще сильнее и скоро ульмены так напились, что начали петь во все горло. Музыка эта произвела на французов такое действие, что они убежали опрометью, заткнув себе уши.

Пир еще долго продолжался после их ухода.

Объяснения

Однако нам пора возвратиться к дону Грегорио Перальта, на ферму которого была отвезена донна Розарио после своего чудесного избавления. В первые дни после отъезда французов не случилось ничего особенного. Донна Розарио обыкновенно запиралась в своей спальне и оставалась почти постоянно одна. Молодая девушка, как все уязвленные души, старалась забыть действительность и предавалась мечтаниям, желая соединить и сохранить благоговейно в глубине сердца то счастливое воспоминание, которое иногда позлащало солнечным лучом ее печальную участь.

Дон Тадео, занятый политикой, виделся с молодой девушкой очень редко и очень непродолжительно. Перед ним донна Розарио старалась казаться веселой, но страдала еще более от необходимости скрывать в глубине сердца свое несчастье. Иногда она выходила в сад, задумчиво останавливалась в боскете, где происходила ее встреча с Луи, и по целым часам думала о том, кого она любила и кого сама принуждена была удалить от себя навсегда.

Эта прелестная девушка, кроткая, невинная, столь достойная любви, была осуждена неумолимым роком вести постоянно жизнь одинокую и страдальческую; она не имела ни одного родственника, ни одного друга, которому могла бы верить тайну своей горести. Ей было едва шестнадцать лет, а уже душа ее была разбита: цвет лица ее увядал, большие голубые глаза, полные слез, все чаще устремлялись к небу, как к единственному прибежищу,

остававшемся у нее; казалось, она была соединена с землею самой тонкой нитью, которая могла разорваться при малейшем усилии.

История этой молодой девушки была очень странна. Никогда она не знала своих родителей; она не сохранила ни малейшего воспоминания ни о поцелуях матери, ни о нежных ласках юности. Она всегда была одна и жила в семье чужой и равнодушной. Наивные радости детства были ей чужды. Она знала только скуку и печаль, была лишена всяких дружеских связей юных лет, которые незаметно приготавливают душу к сладостным излияниям, вызывают смех сквозь слезы и утешают поцелуем.

Дон Тадео был ее единственным другом; никогда он не оставлял ее, с величайшей заботливостью пекся о ее материальном благосостоянии, улыбался ей, всегда говорил с ней ласково; но дон Тадео был человек слишком серьезный, чтобы понять тысячи мелочных забот, которых требует воспитание молодых девушек. Донна Розарио испытывала к нему только глубокую, почтительную дружбу, отдаляющую всякие наивные признания, которые в ранней молодости девушка осмеливается делать матери или подруге одного с нею возраста.

Посещения дона Тадео были окружены непонятной тайной. Иногда, без всякой видимой причины, он вдруг заставлял молодую девушку бросать людей, которым поручил ее, увозил ее с собою, заставив переменить имя, и принуждал к продолжительным путешествиям — таким образом ездила она во Францию, потом вдруг он привозил ее опять в Чили и переезжал с нею из одного города в другой, никогда не объясняя, по каким причинам несчастная должна была вести такую странствующую жизнь. Привыкшая полагаться только на себя с самого раннего детства, эта молодая девушка, столь слабая и деликатная по наружности, была одарена энергией и твердостью характера, которых сама в себе и не подозревала, но которые, без ее ведома, поддерживали ее и должны были во время опасности оказать ей большую услугу.

Часто донна Розарио, побуждаемая инстинктом любопытства, столь свойственного ее возрасту, старалась искусными вопросами уловить какой-нибудь луч света, который мог бы служить ей путеводной нитью в мрачном лабиринте, окружавшем ее; но все было бесполезно, дон Тадео оставался нем. Только однажды, он долго смотрел

на нее с грустью, потом прижал ее к груди и сказал прерывающимся голосом:

— Бедное дитя! Я сумею защитить тебя от твоих врагов.

Кто могли быть эти страшные враги? Зачем преследовали они невинного, простодушного ребенка, незнакомого со светом и никогда никому не вредившего?

Эти вопросы донна Розарио задавала себе беспрестанно, но они всегда оставались без ответа.

В один вечер, когда печальная и задумчивая как всегда, она лежала в кресле в своей спальне, перелистывая книгу, которую не читала, дон Тадео пришел к ней, по обыкновению поцеловал ее в лоб, стал напротив нее и, посмотрев на нее с грустью, кротко сказал:

— Мне надо поговорить с вами, Розарио.

— Я слушаю вас, друг мой, — отвечала она, стараясь улыбнуться.

Но прежде чем мы приведем этот разговор, мы должны дать читателям некоторые необходимые объяснения.

Подобно всем другим странам Южной Америки, Чили долго находившийся под испанским игом, получил независимость скорее по слабости своих прежних властителей, нежели своими собственными силами. Мы говорили в прежнем нашем рассказе*, что южные американцы не сохранили ни одной из добродетелей своих предков; зато они обладают всеми их пороками. Лишенные самых первых начал образования, без которого невозможно не только исполнить, но даже замыслить что-нибудь великое, чилийская нация, став свободною, естественным образом сделалась игрушкой интриганов, которые прикрывали лозунгами патриотизма необузданное честолюбие; напрасно она боролась; врожденная беспечность ее жителей и легкомыслие их характера были непреодолимым препятствием для всякого истинного улучшения.

В то время, в которое происходила наша история, Чилийская республика страдала под игом генерала Бустаменте. Этот человек, не довольствуясь тем, что был ее министром, мечтал сделаться протектором. Осуществление этой идеи не было невозможно. По своему географическому положению, Чили почти независим от тех

* *Арканзаские Охотники*. Собрание иностранных романов, ноябрь 1876 года.

беспокойных соседей, которые в государствах Старого Света наблюдают за всеми поступками других наций, готовые произнести свое veto тотчас, как только что-нибудь угрожает их интересам.

С одной стороны Чили отделен от Верхнего Перу обширной пустыней Амакама, почти непроходимой, так что одна Боливия могла отважиться на несколько робких замечаний, но Бустаменте намеревался включить эту республику в свою новую конфедерацию; с другой стороны огромные пустыни и Кордильерские горы отделяли его от Буэнос-Айреса, который не имел ни воли, ни силы противиться честолюбивым планам генерала. Только один народ мог вести с ним жестокую войну: ароканы. Эта маленькая неукротимая нация, земля которой вошла, так сказать, железным углом в самую середину Чили, сильно тревожила Бустаменте. Он решился вести переговоры с токи ароканским, намереваясь, если планы его удадутся, соединить все свои силы, чтобы завоевать этот край, который выстоял в борьбе с испанскими завоевателями. Словом, Бустаменте мечтал создать в Южной Америке, объединив Чили, Ароканию и Боливию. К несчастью для Бустаменте, в нем не было качеств великого человека. Он был просто солдат, выскочка, несведущий, жестокий и слишком самоуверенный.

Когда Америка затеяла войну с Англией, образовались многочисленные тайные общества. Самым могущественным из них было общество Мрачных Сердец. Люди, стоявшие во главе его, были люди умные, образованные, по большей части воспитанные в Европе. После провозглашения чилийской независимости тайные общества, не имея более цели, исчезли. Осталось только одно: общество Мрачных Сердец. Оно хотело образовать народ, сделать его достойным занять место между народами цивилизованными и в особенности освободить его от притеснений честолюбцев. Эту обязанность общество Мрачных Сердец выполняло неукоснительно.

Выздоровление Бустаменте опечалило Мрачные Сердца, но дон Тадео, распространивший повсюду известие о том, каким чудом пережил он свою казнь, и снова став во главе их, возвратил им если не мужество, которое им не изменяло, то надежду.

Как ни искусны были проделки, которые употреблял Бустаменте для того, чтобы прикрыть свои планы, Мрач-

ные Сердца, повсюду имевшие приверженцев, угадали его намерения. Они старательно наблюдали за всеми его поступками, предвидя, что близка та минута, в которую враг их сбросит с себя личину.

Таким образом они узнали об отъезде выздоравливающего Бустаменте в Вальдивию. По какой причине, когда здоровье его было еще слабо и покой был так для него необходим, отправлялся он в эту отдаленную провинцию? Надо было узнать это во что бы то ни стало и приготовиться на всякий случай. Мрачные Сердца приняли для того всевозможные меры и сверх того решили, что Король Мрака сам отправится в Вальдивию, чтобы, в случае необходимости, быть готовым тотчас же начать сопротивление.

Дон Тадео не хотел оставить донну Розарио, подверженную преследованиям Красавицы; он один мог защитить молодую девушку. Как только Мрачные Сердца разошлись, дон Тадео вернулся на ферму к донне Розарио.

— Милое дитя, — сказал он, — я принес вам дурное известие.

— Говорите, друг мой! — прошептала молодая девушка.

— Дела, не терпящие отлагательств, требуют моего присутствия в Вальдивии.

— О! — вскричала она с ужасом. — Вы не оставите меня здесь?

— Я действительно имел сначала такое намерение, — возразил дон Тадео, — мне казалось, что это убежище представляет все гарантии безопасности: но успокойтесь, — прибавил он, — я переменяю мои планы на ваш счет; я подумал, что, может быть, вы предпочтете поехать со мной.

— О да! — сказала донна Розарио с живостью. — Как вы добры! Когда же мы едем?

— Завтра, милое дитя, на рассвете.

— Я готова, — отвечала она, подставив своему другу лоб, на котором он запечатлел поцелуй.

Дон Тадео ушел. Молодая девушка немедленно занялась приготовлениями к путешествию.

Почем знать? Может быть, бедное дитя, не смея признаться самой себе, надеялась увидеть того, кого любила! Любовь — луч божественного солнца, освещающий самые темные ночи!

Чингана

Вальдивия, основанная в 1551 году испанским завоевателем доном Педро де Вальдивией, город, лежащий в плодородной Гвадалланквенской долине, в двух милях от моря, на левом берегу глубокой реки, по которой могут свободно плавать большие корабли.

Город этот очарователен; улицы его широки и прямые, дома выбелены, только выстроены в один этаж по причине частых землетрясений. Все они кончаются террасами. Повсюду высокие колокольни многочисленных церквей и монастырей, которые занимают более трети всего города. Число монастырей в Америке огромно; можно с уверенностью сказать, что Новый Свет — Обетованная Земля монахов; в Америке вы встретите их на каждом шагу.

Благодаря своим обширным торговым связям и своей гавани, которая служит местом стоянки для многочисленных китобойных судов и кораблей, заходящих в Вальдивию для починки после или прежде обхода мыса Горн, этот город отличается кипучей деятельностью, которая вообще довольно редко встречается в американских городах.

Дон Тадео приехал в Вальдивию с доном Грегорио и с донной Розарио вечером, на шестнадцатый день после отъезда из фермы своего друга. Они очевидно очень торопились, потому что в этой стране, где путешествовать возможно только верхом, длинный переезд, совершенный ими в такой короткий срок, может считаться изумительным.

Если бы дон Тадео и дон Грегорио захотели, им было бы легко въехать в город в два или в три часа пополудни, но они нарочно выбрали для этого ночь. Им хотелось, чтобы в Вальдивии, где они многим были известны, никто не подозревал об их присутствии, во-первых, потому, что причины, заставившие их приехать, требовали полной конфиденциальности, а во-вторых, и потому, что дон Тадео был принужден скрываться от полицейских агентов, которые получили приказание арестовать его повсюду, где бы он ни встретился им.

К счастью, в этом краю без какого-нибудь совершенно особенного случая или стечения непредвиденных обстоятельств, полиция никогда никого не арестует, если те, кого она преследует, сами добровольно не отдадутся ей в руки, а это, мы должны признаться, случается редко.

Так как дон Тадео во время своего пребывания в Вальдивии должен был вести жизнь сообразно с делами, которые привели его туда, он не мог иметь постоянного, хорошо устроенного жилища, чтобы не быть известным никому из городских жителей. Поэтому дон Тадео прямо отправился в монастырь Урсулинок и поручил донну Розарио настоятельнице этого монастыря, своей родственнице, достойной женщине, которой он полностью доверял.

Донна Розарио охотно приняла предложенное ей убежище, где она надеялась быть в безопасности от преследований своих невидимых врагов.

Как только дон Тадео простился со своей питомицей и с почтенной настоятельницей Урсулинок, он поспешно отправился к дону Грегорио, с которым расстался при въезде в город, чтобы их не заметили вместе.

— Ну что? — спросил дон Грегорио, увидев своего друга.

— Она в безопасности, по крайней мере я так думаю, — отвечал дон Тадео со вздохом.

— Тем лучше, потому что нам надо удвоить предосторожности.

— Почему?

— С тех пор как я с вами расстался, я расспрашивал, осведомлялся, прохаживаясь по пристани!

— Ну что ж?

— Как мы и предполагали, Бустаменте здесь.

— Уже?

— Приехал два дня тому назад.

— Какая важная причина могла привести его сюда? — сказал дон Тадео с задумчивым видом. — О! Я это узнаю.

— А знаете ли вы, кто приехал с ним?

— Палач! — сказал дон Тадео с иронической улыбкой.

— Почти, — отвечал дон Грегорио.

— Кто же?

— *Красавица!*

Начальник Мрачных Сердец страшно побледнел.

— Боже мой! — сказал он. — Эта женщина везде и всюду! Но нет! Вы ошибаетесь, друг мой, это невозможно.

— Я ее видел.

Дон Тадео с волнением ходил несколько секунд по комнате, потом, остановившись перед своим другом, сказал ему задыхающимся голосом:

— Дон Грегорио, уверены ли вы, что вас не обмануло сходство; точно ли ее видели вы?

— Послушайте — в то время, как вы меня оставили и я поехал сюда, лошадиный топот заставил меня повернуть голову и я увидел, повторяю вам, я увидел Красавицу; она, как кажется, тоже только что приехала в Вальдивию, ее провожали два копыеносца; а слуга вел мулов с поклажей.

— О! — вскричал дон Тадео. — Неужели этот демон постоянно будет преследовать меня?

— Друг, — сказал ему дон Грегорио, — на пути, по которому мы идем, всякое препятствие должно быть уничтожено.

— Убить женщину? — с ужасом воскликнул дворянин.

— Я этого не говорю, но, по крайней мере, надо ее обезвредить. Вспомните, что мы Мрачные Сердца и должны быть безжалостны.

— Молчите! — прошептал дон Тадео.

В эту минуту слышались два удара в дверь.

— Войдите! — сказал дон Грегорио.

Дверь отворилась, и показался дон Педро. Он не узнал двух дворян, которые в своих различных встречах с ним, всегда были в масках.

— Да сохранит вас Господь, сеньоры, — сказал он, низко кланяясь.

— Чего вы желаете, сеньор? — спросил дон Грегорио тоном холодно-вежливым, отвечая на его поклон.

— Сеньор, — сказал дон Педро, отыскивая глазами стул, которого ему не предлагали, — я приехал из Сантьяго.

Дон Грегорио поклонился.

— Уезжая из Сантьяго, — продолжал шпион, — я обменял у одного банкира некоторую сумму денег на векселя... Вот один из этих векселей на имя дона Грегорио Перальта.

— Это я, — сказал дон Грегорио, — благоволите вручить.

— Этот вексель в двадцать три унции.

— Очень хорошо, — отвечал дон Грегорио, — позвольте мне рассмотреть его.

Дон Педро поклонился в свою очередь. Дон Грегорио подошел к огню, внимательно взглянул на вексель, положил его в карман и вынул деньги из конторки.

— Вот ваши двадцать три унции, — сказал он, подавая деньги.

Шпион взял золотые монеты, пересчитал их, рассматривая одну за другой, и положил в карман.

— Это странно! — сказал он в ту минуту, когда два дворянина думали, что наконец избавятся от его присутствия.

— Что такое? — спросил дон Грегорио. — Разве счет неверен?

— О! Извините, счет совершенно верен, но, — прибавил он колеблясь, — я думал, что вы негоциант?

— А!

— Да.

— Что же заставляет вас предполагать противное?

— Я не вижу конторы.

— Контора в другой части дома, — отвечал дон Грегорио, — я арматор.

— О! Очень хорошо.

— И если бы я не думал, — продолжал дон Грегорио, — что вам очень нужны эти деньги...

— Точно, очень нужны, — перебил шпион.

— Я попросил бы вас прийти завтра, потому что в такое позднее время касса моя всегда бывает закрыта.

Сказав это, дон Грегорио простился со шпионом, пожимая плечами. Дон Педро удалился, очевидно обманутый в своем ожидании.

— Этот человек гоняется за двумя зайцами, — сказал дон Грегорио, — это шпион Бустаменте.

— Знаю! — отвечал дон Тадео. — У меня есть доказательства его измены; но прежде он был нам нужен, теперь же он может нам повредить, и мы должны его уничтожить.

Дон Грегорио вынул из кармана только что полученный вексель и подал его дону Тадео, говоря:

— Посмотрите!

Вексель этот с первого взгляда казался совершенно таким же как и все другие; но в двух или трех местах на нем было несколько крошечных чернильных пятен, происшедших как будто оттого, что он был писан слишком упругим пером: некоторые из этих пятен были почти не приметны. Вероятно, они имели какое-либо значение для двух дворян; потому что как только дон Тадео бросил глаза на вексель, он тотчас схватил свой плащ и завернулся в него.

— Да защитит нас Бог! — сказал он. — Надо идти туда немедленно.

— Я тоже так думаю, — отвечал дон Грегорио, сжигая вексель.

Оба дворянина взяли каждый по длинному кинжалу и по два пистолета, которые спрятали под свою одежду; они оба знали свой край слишком хорошо для того, чтобы пренебречь этой предосторожностью. Надвинув на глаза поля шляп и закутавшись с ног до головы, как влюбленные или искатели приключений, они вышли на улицу.

Была одна из великолепных южноамериканских ночей; небо, темно-голубое, было усыпано бесчисленными звездами, посреди которых сияло созвездие Южного Креста; воздух был пропитан благоуханием и легкий ветерок с моря освежал атмосферу, нагретую в течение дня жгучими лучами солнца.

Два дворянина безмолвно и быстро шли мимо веселых групп, во все стороны расхаживавших по улицам. Американцы гуляют по ночам, чтобы насладиться прохладой. Дон Тадео и дон Грегорио не слышали ни звуков *viñuela*, ни напевов *sambasuejas*, ни свежего и серебристого смеха молодых девушек с черными глазками и розовыми губками, которые толкали их мимоходом, бросая им кокетливые взгляды. Они шли таким образом довольно долго, оборачиваясь время от времени, чтобы посмотреть, не преследуют ли их, и все более и более приближаясь к нижним кварталам города.

Наконец они остановились перед домом довольно бедной наружности, из которого доносились звуки национальной музыки. Дом этот был *чингана*.

Чилийский чингана низшего разряда представляет вид чрезвычайно забавный, ускользящий от всякого описания.

Пусть читатель представит себе низкую залу с закопченными стенами, с глиняным полом, который сделался неровным от ног многочисленных посетителей. Посреди нее — дымящая лампа, называемая *candil* и позволяющая видеть только одни силуэты посетителей, на табуретах сидят четверо мужчин; двое из них бренчат на плохих гитарах с оборванными струнами, третий барабанит кулаками по изломанному столу; последний дудит в бамбуковую трубку, дюймов в десять длины, с несколькими небольшими отверстиями, издающую самый нестройный звук, какой только можно вообразить. Эти четыре *музыканта*, вероятно, не довольствуясь огромным шумом, который они производят, режут во все горло. Все это делается с целью подбодрить танцовщиков, принимающих самые непристойные позы при громких рукоплесканиях зрителей, которые топают ногами от удовольствия и иногда, увлеченные этим концертом, подтягивают музыкантам.

Посреди этой кутерьмы, этих криков и топанья, ходят хозяин заведения и слуги с бутылками и стаканами для посетителей, которые, надо отдать им справедливость, чем более пьют, тем более хотят пить.

Два или три раза в вечер случается, что посетители, разгоряченные более других или подстрекаемые демоном ревности, затевают ссоры. Тогда обнажаются ножи, левая рука обвертывается плащом вместо щита; музыка умолкает, вокруг сражающихся образуется круг, и потом, когда один из противников падает, его выносят на улицу, а музыка и танцы возобновляются.

Перед одним из таких заведений остановились вождь Мрачных Сердец и его друг. Завернувшись в плащи, так чтобы совершенно закрыть свои лица, они, не колеблясь, вошли в чингану и пробрались посреди пирующих в глубину залы.

Погреб был не заперт на замок; они тихо отворили дверь и, пройдя ступеней десять по лестнице, очутились в нем, где прислужник, наклонявшийся над бочонками,

которые, казалось, он приводил в порядок, сказал им, не оставляя своей работы:

— Чего вы хотите: *aguardiente de pisco*, мескаля или хихи?

— Ни того ни другого, — отвечал дон Тадео, — дайте нам вина французского.

Прислужник выпрямился, будто его дернули за пружину. Дон Тадео и дон Грегорио надели маски.

— Белого или красного? — спросил прислужник.

— Красного как кровь, — сказал дон Тадео.

— Которого года?

— 5 апреля 1817 года, — отвечал дон Тадео.

— Так пожалуйста сюда, господа, — отвечал прислужник, почтительно кланяясь, — вино, которое вы благоволите спрашивать у меня, чрезвычайно драгоценно; его запирают в особый погреб.

— Чтобы выпить в праздник святого Мартина, — отвечал дон Тадео.

Прислужник, по-видимому ожидавший только этого последнего ответа на свои вопросы, улыбнулся и слегка тронул едва заметную пружинку в стене. Камень медленно повернулся без малейшего шума; дон Тадео и друг его вошли, и камень снова занял свое место.

Между тем в чингане крики, пение и музыка достигли крайней степени; веселье пьющих не знало границ.

Два ульмена

Если бы вместо того, чтобы рассказывать происшествия *истинные*, мы писали роман, то, разумеется, пропустили бы некоторые сцены. По этой причине мы не стали бы рассказывать и той сцены, которую хотим описать теперь. Впрочем мы делаем это единственно для того, чтобы показать, как велико влияние первых привычек жалкой жизни на натуры, даже высоко организованные, и как трудно впоследствии освободиться от этих привычек.

Говоря о Валентине, мы должны к чести его рассказать, что его шутливость была скорее притворною, нежели истинной, и что целью его было вызвать улыбку на губах своего молочного брата и таким образом рассеять горечь, которая терзала несчастного молодого человека.

После этого необходимого предисловия, мы будем продолжать наш рассказ и, оставив на время дону Тадео и его друга, попросим читателя последовать за нами в селение племени Большого Зайца.

Настал день, с нетерпением ожидаемый всеми индейцами и в особенности индианками, так как последние должны были в этот день научиться готовить новое блюдо для своих мужей. С рассвета мужчины, женщины и дети собрались на большой сельской площади, составив многочисленные группы, в которых рассуждали о достоинстве неизвестного блюда, секрет которого они должны были узнать.

Луи, которого опыт, предпринимаемый его другом, мало интересовал, хотел остаться дома; но Валентин на-

стоял на том, чтобы и он присутствовал при его торжестве, и молодой человек наконец согласился.

Парижанин стоял уже на своем месте, на свободном пространстве, посреди площади; он лукаво поглядывал на индейцев, смотревших на него с тревожным и недоверчивым выражением, которое попеременно обнаруживалось на их лицах. Стол, разведенный огонь, на котором грелась железная кастрюля наполненная водой, кухонный нож, деревянная ложка, петрушка, кусок свиного сала, соль, перец и корзинка со свежими яйцами были приготовлены по распоряжению Валентина Трангуалем Ланekom. Ждали только апо-ульмена, чтобы начать опыт. Для него была приготовлена особая эстрада, как раз напротив Валентина. Наконец апо-ульмен явился и уселся на своем месте. Взяв из рук слуги зажженную трубку, он шепнул что-то Курумилле, который почтительно стоял возле него. Курумилла поклонился, сошел с эстрады и пошел сказать парижанину, что он может приняться за дело. Валентин, отдав низкий поклон апо-ульмену, старательно сложил свой плащ у ног, грациозно засучив рукава до локтя, слегка наклонился вперед, оперся правой рукой о стол и, приняв тон купца, расхваливающего свой товар зевакам, начал свою речь:

— Знаменитые ульмены и вы, великие воины благородного и священного племени Большого Зайца, — сказал он громким и ясным голосом, — выслушайте внимательно то, что я буду иметь честь объяснить вам. В начале времен мир не существовал; вода и облака, сталкивавшиеся в неизмеримом пространстве, составляли тогда Вселенную. Когда Пиллиан создал мир, как только по его слову человек вышел из недр красной горы, он взял его за руку и, указывая на все произведения земли, воздуха и волн, сказал:

«Ты царь мироздания; следовательно животные, растения и рыбы принадлежат тебе; они должны, по мере своих сил и своего инстинкта, способствовать твоему благосостоянию и счастью в этом мире, таким образом, лошади и верблюды будут возить тебя по пустыням, тонкорунные бараны будут одевать тебя и кормить своим сочным мясом. Когда Пиллиан таким образом исчислял, одни за другими, качества, свойственные разным животным, прежде чем дошел до растений и рыб, он вдруг увидел курицу, беззаботно клевавшую зерна, разбросан-

ные по земле. Пиллиан взял ее за крылья и, указывая на нее человеку, сказал:

— Посмотри, вот одна из самых полезных птиц, которых я создал для твоего употребления: сваренная в кастрюле курица даст тебе превосходный бульон, весьма полезный во время болезни; изжаренное белое мясо ее отличается чудесным вкусом; из ее яиц ты будешь делать себе яичницы с шампиньонами, с ветчиной и особенно со свиным салом; но если тебе случится быть нездоровым и крепкая пища будет слишком тяжела для твоего ослабевшего желудка, то вели только сварить яйца всмятку и тогда проглотишь себе язык!»

— Вот, — продолжал Валентин, все более и более красуясь перед индейцами, которые, разинув рты и вытаращив глаза, не видели никакой насмешки в словах его, между тем как Луи помирал со смеха, — вот как Пиллиан говорил с первым человеком в начале веков; вы там не были, воины окаские, стало быть, не удивительно, что это вам неизвестно; я сам тоже не был, это правда, но благодаря хорошо известному нам, белым, искусству передавать из века в век случившиеся события посредством письма, слова Великого Духа были записаны старательно и дошли до нас. Теперь без дальних предисловий, я буду иметь честь сварить яйцо всмятку. Послушайте, это просто, как здравствуйте, и понятно для самых тупоумных. Чтобы сварить яйцо всмятку, надо две вещи: во-первых, яйцо, потом кипяток; возьмите яйцо таким образом, откройте кастрюлю, положите яйцо на ложку, опустите его в кастрюлю и дайте ему прокипеть три минуты, ни больше, ни меньше; обратите внимание на эту важную подробность: более продолжительное время испортит успех вашей операции. Смотрите...

Действие последовало за словами. Когда прошло три минуты, Валентин вынул яйцо, разбил его, посолил и подал апо-ульмену с маисовой лепешкой. Все это было исполнено с невозмутимой серьезностью, среди глубочайшего безмолвия внимательной толпы.

Апо-ульмен попробовал яйцо. На секунду сомнение обнаружилось на лице его, но мало-помалу черты его просияли удовольствия, и он вскричал наконец с восторгом:

— Вкусно, очень вкусно!

Валентин со скромной улыбкой немедленно сварил другие яйца, которые и роздал ульменам и главным во-

инам. Те скоро присоединили свои поздравления к поздравлениям апо-ульмена. Безумная радость овладела бедными индейцами; чуть было не сбили они с ног самого Валентина, так старались они подойти к нему поближе, чтобы получить от него яйцо и рассмотреть, каким образом он варит эти яйца.

Наконец спокойствие восстановилось; любопытство было удовлетворено, и апо-ульмен, голос которого до сих пор нельзя было расслышать посреди шума, мог восстановить порядок в толпе и заставить молчать. Валентин взглянул на свою публику с видом удовольствия. Теперь индейцы находились под влиянием чар; самые недоверчивые из них были побеждены. Все ждали с нетерпением, чтобы он продолжал свои опыты.

— Теперь, — сказал Валентин, ударив по столу ножом, — в особенности замечайте все то, что я буду делать. Сварить яйцо всмятку для меня игрушка, но приготовление яичницы требует старательного изучения, если хочешь достигнуть в этом случае той оконченности, той мягкости и того совершенства, которые так ценятся истинными знатоками; я сделаю вам яичницу со свиным салом, то есть блюдо самое изысканное во всей Вселенной. Объясняя вам, как готовится это блюдо, я в то же время буду показывать на деле. Слушайте же меня и смотрите как я буду обращаться с различными снадобьями, которые входят в состав приготовления этого блюда. Чтобы сделать яичницу со свиным салом, требуется: свиное сало, яйца, соль, перец, петрушка и коровье масло; все эти вещи лежат на столе, как вы видите; теперь я их смешаю.

Говоря это, Валентин с неимоверной ловкостью и чрезвычайной быстротой начал готовить чудовищную яичницу, по крайней мере из шестидесяти яиц. Все это делал он с удивительной непринужденностью. Интерес индейцев был живо возбужден; энтузиазм их обнаруживался прыжками и хохотом, и наконец решительно дошел до крайней степени, так что топанье ногами, крики и вой сделались страшны, когда они увидали, что Валентин схватил сковороду рукой и подбросил четыре раза яичницу на воздух, по-видимому, без всякого усилия и с непринужденностью опытного повара.

Как только яичница была готова, француз положил ее на деревянное блюдо и уже хотел отнести ее к апо-уль-

мену, но тот, разлакомившись от яйца всмятку, избавил молодого человека от излишнего труда; забыв всякое приличие, дикарь бросился к столу, а за ним и все ульмены.

Успех парижанина был огромный; никогда никакой повар не имел такого триумфа. Валентин, скромный как все люди с истинным дарованием, уклонился от почестей, которые хотели ему воздать, и поспешил укрыться со своим другом в жилище Трангуаля Ланека.

На другой день после этого достопамятного события, в ту минуту, когда молодые люди приготавливались выйти из хижины, в которой жили вместе, хозяин явился к ним в сопровождении Курумиллы. Оба вождя поклонились, сели на землю, заменявшую пол, и закурили трубки. Луи, привыкший к церемонному обращению ароканов и убежденный в том, что индейцы пришли к ним с каким-нибудь серьезным известием, сел так же как и его молочный брат и терпеливо ждал, чтобы они заблагорассудили объясниться. Когда трубки были добросовестно выкурены до конца, вожди вытряхнули пепел на ноготь, вытерли трубки о кушаки, обменялись взглядами, и Трангуаль Ланек сказал:

— Мои бледнолицые братья еще намерены ехать?

— Да, — отвечал Луи.

— Разве они не довольны индейским гостеприимством?

— Напротив, вождь, — отвечали молодые люди, дружески пожимая ему руку, — вы обращались с нами как с детьми племени.

— Зачем же вы нас оставляете? — возразил Трангуаль Ланек. — Человек знает что теряет, но знает ли он что найдет?

— Вы правы, вождь, но вам известно, что мы приехали сюда с целью посетить Антинагюэля, — сказал Луи.

— Брат мой с золотистыми волосами, — сказал вождь, так называвший Валентина, — решительно имеет необходимость его видеть?

— Решительно, — отвечал молодой человек.

Вожди снова разменялись взглядами.

— Он его увидит, — продолжал Трангуаль Ланек. — Антинагюэль теперь в своем селении.

— Хорошо! — сказал Валентин. — Завтра мы пустимся в путь.

— Мои братья уедут не одни.

— Что хотите вы сказать? — спросил Валентин.

— Индейская земля не безопасна для бледнолицых; брат мой спас мне жизнь, и потому я поеду с ним.

— Брат мой сохранил мне друга, — сказал Курумилла, молчавший до сих пор, — поэтому я тоже поеду с ним.

— Что вы это, вождь, — возразил Валентин, — мы путешественники, которыми случай играет по своей воле; мы не знаем, что готовит нам судьба и куда она поведет нас, после того как мы увидимся с человеком, к которому мы посланы.

— Что за нужда, — отвечал Курумилла, — мы поедем туда, куда поедете вы.

Молодые люди растрогались этой чистосердечной и наивной преданностью.

— О! — вскричал Луи восторженно. — Это невозможно, друзья мои... подумали ли вы о ваших женах, о ваших детях?

— Жен и детей будут беречь наши родственники пока мы не вернемся.

— Мои друзья, мои добрые друзья, — сказал Валентин с волнением, — мы не согласимся на это для вашей же собственной пользы; я уже вам сказал, что мы сами не знаем, что ожидает нас и что мы будем делать; позвольте нам ехать одним.

— Мы поедем с нашими бледнолицыми братьями, — отвечал Трангуаль Ланек тоном, не допускавшим возражений, — братья мои не знают в пустыне четыре человека составляют силу; двое же легко могут погибнуть.

Французы не старались сопротивляться долее и приняли предложение ульменов, тем более, что понимали как нельзя лучше, до какой степени могут быть им полезны эти люди, привыкшие к лесной жизни, знавшие все ее тайны и изучившие ее досконально.

Вожди простились со своими гостями, чтобы приготовиться к отъезду, который был назначен на следующий день.

На восходе солнца Луи, Валентин, Трангуаль Ланек и Курумилла выехали из селения верхом на превосходных лошадях той арабо-андалузской породы, которую испанцы ввезли в Америку. Верный Цезарь бежал ря-

дом со всадниками. Все члены племени вышли из своих хижин провожать их и беспрестанно кричали им вслед:

— До свидания! До свидания! Добрый путь! Добрый путь!

Простившись с этими добрыми людьми, четверо путешественников поехали к селению Черных Змей и скоро исчезли в бесчисленных горных ущельях.

Антинагюэль — Тигр-Солнце

В том состоянии анархии, в которое была погружена Чили в то время, когда происходила описываемая нами история, в стране было много разнородных партий; каждая действовала в тайне, стараясь всеми мерами захватить власть.

Бустаменте, как мы уже объяснили это выше, мечтал ни больше ни меньше как о протекторате конфедерации, основанной по образцу Соединенных Штатов. Мрачные Сердца, единственные истинные патриоты этой несчастной страны, стремились только к одной цели: они хотели, чтобы правительство приняло более человеколюбивые законы, но нисколько не желали уничтожить его, убежденные в том, что революция может повредить общему благосостоянию нации.

В одно время с Бустаменте и обществом Мрачных Сердец тайно действовала третья партия, едва ли не более сильная, чем две первые. Представителем этой партии был Антинагюэль, самый могущественный токи Уталь-Мапуса ароканской конфедерации.

Мы уже говорили, что по своему географическому положению, эта маленькая неукротимая область расположена треугольником на земле Чилийской республики и таким образом разделяет ее надвое. Такое выгодное положение давало Антинагюэлю огромные возможности. Все ароканы воины; по первому знаку своих вождей, они берутся за оружие и могут в несколько дней собрать грозную армию, составленную из людей опытных в войне. И Мрач-

ные Сердца, и Бустаменте хорошо понимали, как выгодно было бы привлечь ароканов на свою сторону, — в союзе с этими свирепыми воинами победа была бы несомненна.

Бустаменте и Король Мрака тайно друг от друга делали Антинагюэлю предложения о взаимном содействии. Грозный токи выслушал эти предложения, но отвечал на них уклончиво, и вот почему:

Антинагюэль, кроме наследственной ненависти, которую предки завещали ему по отношению к белой расе, или может быть именно по причине этой ненависти, мечтал, с тех пор как племя избрало его главным вождем Уталь-Мапуса, не только о полной независимости своей страны, но еще хотел завоевать всю землю, которую отняли испанцы, отбросить их по другую сторону Андских Кордильеров и возратить своей нации могущество, которое она имела до прибытия белых в Чили. Антинагюэль был человек, способный привести в исполнение такое намерение. Одаренный обширным умом, характером смелым и хитрым, он никогда не терял мужества, не падал духом ни от какой неудачи. Воспитанный по преимуществу в Чили, он прекрасно говорил по-испански, основательно знал нравы своих врагов и посредством многочисленных шпионов, внедренных повсюду, получал точные сведения о чилийской политике и о безнадёжном положении тех, которых он хотел победить. Обыкновенно он пользовался разделявшими их противоречиями, притворяясь будто слушает предложения, которые делали ему разные партии именно затем, чтобы при первом удобном случае погубить своих врагов и остаться одному.

Ему нужен был благовидный предлог для того, чтобы держать на военном положении свой Уталь-Мапус, не внушая недоверия чилийцам. Этот предлог Бустаменте и Мрачные Сердца сами предоставили ему своими предложениями, вследствие которых никто не мог удивляться, что в мирное время токи собирает многочисленную армию на чилийских границах: каждая партия льстила себя надеждою, что эта армия предназначена служить ей. Политика токи была искусна; он не только не внушал никому недоверия, но напротив подавал надежду каждому.

Положение становилось критическим, час действия приближался. Антинагюэль, который принял уже все необходимые меры, нетерпеливо ждал минуты начать борьбу.

Вот в каком положении были дела в то время, когда донна Мария приехала в селение Черных Змей навестить друга своего детства. Проснувшись, Красавица отдала приказание готовиться к отъезду.

— Сестра моя уже оставляет меня? — сказал ей Антинагюэль тоном кроткого упрека.

— Да, — отвечала донна Мария, — брат мой знает, что я должна приехать как можно скорее в Вальдивию.

Вождь не удерживал ее; беглая улыбка мелькнула на его лице. Когда донна Мария села на лошадь, она обернулась к токи.

— Брат мой, кажется, сказал мне, что скоро будет в Вальдивии? — спросила она тоном равнодушия, прекрасно разыгранного.

— Я буду там в одно время с моей сестрой, — отвечал индеец.

— Стало быть, мы увидимся?

— Может быть.

— Это необходимо!

— Хорошо, — отвечал вождь, — сестра моя может ехать; она увидит меня.

— До свидания же, — сказала донна Мария и прищипнула свою лошадь.

Она скоро исчезла в облаке дыма. Вождь задумчиво вернулся домой.

— Я еду в большое селение бледнолицых, — сказал он матери.

— Я все слышала нынешней ночью, — печально отвечала индианка, — сын мой напрасно делает это.

— Напрасно, почему? — спросил Антинагюэль запальчиво.

— Сын мой великий вождь, сестра обманывает его и пользуется им для своего мщения.

— Или для моего, — сказал индеец странным тоном.

— Молодая белая девушка имеет право на покровительство моего сына.

— Я буду покровительствовать *Дикой Розе*.

— Сын мой забывает, что та, о которой он говорит, спасла ему жизнь.

— Молчи, женщина, — закричал он с гневом.

Индианка замолчала со вздохом.

Антинагюэль собрал своих воинов, выбрал из них человек двадцать, на которых мог вполне положиться, и прика-

зал им приготовиться следовать за ним через час, потом погрузился в глубокие размышления. Вдруг послышался большой шум. Антинагюэль вышел на порог своего дома.

Два чужестранца на прекрасных лошадях подъезжали к нему. Впереди них ехал индеец. Эти чужестранцы были Валентин и граф де Пребуа Крансэ. Они оставили своих друзей в нескольких шагах за селением.

Выехав из селения племени Большого Зайца, Валентин распечатал письмо, которое дон Тадео прислал ему со своим управителем, прося распечатать в последнюю минуту. Молодой человек вовсе не подозревал того, что заключалось в этом странном послании. Прочтя письмо с величайшим вниманием, он подал его своему другу, говоря:

— Прочти, Луи. Гм! Почем знать, может быть в этом странном послании заключается для нас богатство.

Как все влюбленные, Луи был большой скептик относительно тех вещей, которые не касались его любви; он возвратил бумагу, качая головой.

— Политика обжигает пальцы, — сказал он.

— Да, неловким, — отвечал Валентин, пожимая плечами, — я же, напротив, думаю, что в той стране, где мы находимся, главнейшее основание богатства заключается для нас именно в этой политике, которую ты так презираешь.

— Признаюсь тебе, друг мой, что я мало забочусь об этих Мрачных Сердцах, которых не знаю.

— Я не разделяю твоего мнения; я считаю их людьми решительными и убежден, что когда-нибудь они непременно одержат верх.

— Желаю им успеха; но какое дело до этого нам, французам?

— Гораздо большее нежели ты думаешь, и я имею твердое намерение, тотчас после моего свидания с Антинагюэлем, отправиться прямо в Вальдивию на свидание, которое наши новые друзья мне назначили.

— Пожалуй, — сказал граф, — поедем, если ты хочешь. Только предупреждаю тебя, что мы рискуем головой... заранее умываю руки.

— Я буду осторожен! Моя голова — единственная вещь, принадлежащая мне, — отвечал Валентин смеясь, — но будь спокоен, я рискую ею только тогда, когда нужно; притом, неужели тебе не любопытно, так же как и мне, посмотреть как эти люди делают политику?

— В самом деле, это может быть довольно интересно. Мы путешествуем, чтобы чему-нибудь научиться; будем же учиться, если представляется случай.

— Bravo! Вот это я люблю... Поедем к этому грозному вождю и отвезем ему письмо.

Трангуаль Ланек и Курумилла были люди слишком осторожные для того, чтобы обнаружить перед Антинагюэлем дружбу, связывавшую их с французами. Поэтому, подъехав к селению Черных Змей, с которыми в последнее время они находились в весьма хороших отношениях, Трангуаль Ланек и Курумилла спрятались за пригорком, оставив с собой Цезаря, а французы продолжали путь вдвоем.

Прием, сделанный нашим друзьям, был самый дружелюбный. В мирное время ароканы чрезвычайно гостеприимны. Едва приметив чужестранцев, они тотчас столпились вокруг них. Все индейцы говорят по-испански с удивительной легкостью; поэтому Валентин мог объясниться с ними как нельзя лучше. Один воин вызвался служить проводником французам, которые не знали, в какую сторону ехать, и довел их до дома вождя, перед которым собралось человек двадцать всадников, вооруженных с головы до ног.

— Вот Антинагюэль, великий токи страны под Андами, — напыщенно сказал проводник, указывая пальцем на вождя, который в эту минуту выходил из своего дома, привлеченный шумом.

— Благодарю, — сказал Валентин.

Французы быстро подъехали к токи, который, со своей стороны, тоже сделал несколько шагов к ним навстречу.

— Э! Э! — шепнул Валентин своему товарищу. — У этого человека прекрасная осанка и вид очень умный для индейца.

— Да, — отвечал Луи тем же тоном, — но у него узкий лоб, косой взгляд и сжатые губы; он внушает мне мало доверия.

— Ба! — возразил Валентин. — Ты слишком разборчив; уж не ожидал ли ты, чтобы этот дикарь был Антиноом или Аполлоном Бельведерским?

— Нет, но я хотел бы, чтобы в его зоре было более искренности.

— Мы его разгадаем.

— Не знаю почему, но этот человек производит на меня такое же действие, как пресмыкающееся; он внушает мне непреодолимое отвращение.

— Ты слишком впечатлителен, друг мой; я хотя уверен, что этот индеец и в самом деле несколько похож на мошенника, но в сущности добрейший человек на свете.

— Дай Бог, чтобы я ошибался, но я чувствую при виде его какое-то неприятное ощущение, в котором не могу дать себе отчета; какое-то тайное предчувствие говорит мне, что я должен остерегаться этого человека и что он будет для меня опасен.

— Что за пустяки? Какие сношения можешь ты иметь когда-нибудь с этим человеком? Нам дано к нему поручение, и только. Почем знать, увидимся ли мы с ним еще раз, и притом какие интересы могут связывать нас с ним в будущем?

— Ты прав; я сам не знаю что говорю; впрочем мы скоро узнаем, какое мнение можем иметь о нем; но вот мы подъехали к нему.

Действительно в эту минуту друзья наши находились перед домом Антинагюэля.

Антинагюэль стоял перед ними и внимательно их рассматривал, а между тем делал вид, будто совершенно поглощен приказаниями, которые отдавал своим воинам. Поспешно подойдя к молодым людям, он поклонился им с чрезвычайной вежливостью и произнес:

— Добро пожаловать, чужестранцы! Ваше присутствие радует мое сердце; удостойте перейти через порог этой бедной хижины, которая принадлежит вам на все время, пока вы удостоите остаться с нами.

— Благодарю за ваши любезные слова, могущественный вождь, — отвечал Валентин, — те, от которых мы приехали к вам, предупредили нас о добром приеме, который нас ожидал.

— Если чужестранцы приехали от моих друзей, тем больше причин, чтобы я старался быть для них приятным насколько это от меня зависит.

Французы церемонно поклонились и сошли с лошадей. По знаку токи слуги отвели их лошадей в обширные конюшни, находившиеся позади дома.

Матереубийство

Мы говорили уже несколько раз, что в мирное время ароканы чрезвычайно гостеприимны. Это гостеприимство со стороны воина оказывается просто и дружелюбно; со стороны же вождя оно часто сопровождается необыкновенной пышностью.

Антинагюэль вовсе не был грубым индейцем, привязанным, несмотря ни на что, к обычаям своих отцов, хотя в глубине сердца он ненавидел не только испанцев, но и все другие народы, принадлежащие к белой расе. Полуцивилизованное воспитание, полученное им, развило в нем вкус к удобствам. Многие из чилийских фермеров, даже очень богатых, не могли бы выказать такой роскоши, какую выказывал Антинагюэль, когда прихоти или выгоды побуждали его к тому. В настоящих обстоятельствах он рад был доказать иностранцам, что ароканы вовсе не такие варвары, какими хотели их представить надменные соседи, и что они могли, когда это было необходимо, соперничать с европейцами.

С первого взгляда Антинагюэль узнал, что его гости не испанцы; но с тою осторожностью, которая составляет основание индейского характера, он заключил свои замечания в глубине своего сердца. С самым любезным видом и самым кротким голосом попросил он их войти в его жилище.

Французы последовали за ним. Вождь пригласил их садиться. Слуги положили на стол множество сигар возле прелестного филигранного *brasero*. Через минуту другие

слуги вошли с матэ, которое почтительно подали хозяину и гостям. Тогда каждый молча начал всасывать паргвайскую траву, куря сигару. Законы ароканского гостеприимства требуют, чтобы хозяин не делал гостям никаких вопросов до тех пор, пока те сами не заблагорассудят заговорить. По окончании этой первоначальной операции, Валентин встал.

— Благодарю вас, вождь, — сказал он, — и от себя и от имени своего друга, за ваше радушное гостеприимство.

— Гостеприимство такая обязанность, которую каждый ароканец всегда рад исполнить.

— Но так как я заметил, — продолжал Валентин, — что токи готовится к отъезду, то я постараюсь не удерживать его долее.

— Я готов к услугам моих гостей и могу отложить мою поездку на несколько часов.

— Я благодарю вождя за его вежливость, но думаю, что чем скорее он будет свободен, тем лучше для него.

Антинагюэль поклонился.

— Один испанец поручил мне отвезти к вам письмо, вождь, — продолжал Валентин.

— А! — сказал токи странным тоном, устремив внимательный взгляд на молодого человека.

— Это письмо я буду иметь честь вручить вам, — продолжал француз.

И он хотел было вынуть из кармана бумагу, но Антинагюэль остановил его руку, говоря:

— Подождите! — потом, выслав вон слугителей, он сказал. — Теперь вы можете дать мне это письмо.

Валентин подал ему письмо. Вождь взял его, внимательно рассмотрел адрес, нерешительно повертел бумагу в руках и подал ее опять молодому человеку.

— Пусть прочтет брат мой, — сказал он, — белые учение нас, бедных индейцев... они знают все.

Валентин придал своей физиономии самое глупое выражение, какое только было для него возможно.

— Я не могу этого прочесть, — сказал он с замешательством, прекрасно разыгранным.

— Стало быть, брат мой отказывается оказать мне эту услугу? — настаивал Антинагюэль.

— Я не отказываю, вождь, но не могу исполнить вашей просьбы по очень простой причине.

— По какой?

— Я и товарищ мой французы.

— Ну так что ж?

— Мы говорим немножко по-испански, но не умеем читать на этом языке.

— А! — сказал вождь тоном сомнения.

Он сделал несколько шагов, как будто размышляя о чем-то, и прошептал про себя:

— Может быть.

Потом он обратился к французам, которые внешне оставались бесстрастны и равнодушны, и сказал:

— Пусть мои братья подождут с минуту... в моем племени есть человек, понимающий знаки, которые белые чертят на бумаге; я прикажу ему перевести это письмо.

Молодые люди поклонились. Вождь вышел.

— Зачем, — спросил тогда Луи у Валентина, — ты отказался прочесть письмо?

— Право, — отвечал Валентин, — я не сумею тебе объяснить этого; по то, что ты мне сказал о впечатлении, какое этот человек произвел на тебя, произвело и на меня некоторое действие; он не внушает мне никакого доверия, и притом я вовсе не забочусь узнать те тайны, которые впоследствии, может быть, он захотел бы отнять у меня.

— Да, ты прав; кто знает, может быть, когда-нибудь мы будем радоваться этой осторожности.

— Шш, я слышу шаги.

Вождь вернулся.

— Теперь я знаю содержание письма, — сказал он, — если мои братья увидятся с тем, кто поручил им это письмо, пусть они уведомят его, что я сегодня же еду в Вальдивию.

— Мы с удовольствием исполнили бы ваше поручение, — отвечал Валентин, — но мы не знаем того, кто вручил нам это письмо, и вероятно никогда больше его не увидим.

Вождь бросил на них украдкой подозрительный взгляд и сказал:

— Хорошо! Мои братья остаются здесь?

— С величайшим удовольствием провели бы мы несколько часов в приятном обществе вождя, но время не ждет; если он нам позволит, мы немедленно простимся с ним.

— Братья мои свободны; жилище мое открыто для входа и для выхода.

Молодые люди встали.

— В какую сторону едут мои братья?

— Мы отправляемся в Кончепчйон.

— Пусть братья мои идут с миром! Если бы они ехали в Вальдивию, я предложил бы им ехать со мной.

— Мы чрезвычайно благодарны за ваше любезное предложение, но, к несчастью, не можем им воспользоваться, потому что наш путь совершенно противоположен.

Разменявшись еще несколькими вежливыми словами, хозяин и гости вышли из хижины. Лошади французов были приведены, и в последний раз поклонившись вождю, молодые люди уехали.

Выехав из селения, Луи обратился к Валентину и сказал:

— Мы не можем терять ни минуты, если хотим приехать в Вальдивию прежде этого человека.

— Да, надо скакать во весь опор, — отвечал Валентин, — кто знает, может быть, дон Тадео с нетерпением ожидает нашего возвращения?

Они скоро возвратились к своим друзьям, индейцам, которые поджидали их, спрятавшись в лесу, и все четверо пустились вскачь по направлению к Вальдивии, не будучи в состоянии отдать себе отчета, какая причина заставляла их так торопиться.

Антинагюэль проводил гостей за несколько шагов от своего жилища; когда молодые люди с ним простились, он следовал за ними глазами так долго, как только мог их приметить; потом, когда они наконец исчезли из вида, он вернулся медленными шагами и задумчиво говоря сам себе:

«Для меня очевидно, что эти люди меня обманывали; отказ прочесть это письмо был только предлогом. С какой целью действуют они таким образом? Разве это враги? Я буду наблюдать за ними».

Между тем перед хижинкой Антинагюэля воины его, готовые к отъезду, на лошадях ожидали его приказаний.

— Надо ехать, — сказал токи, — там я узнаю все... и может быть, — прибавил он голосом таким тихим, что его невозможно было расслышать, — может быть, я найду там ее? Если донна Мария не исполнит своего обещания и не выдаст ее мне, горе ей!

Антинагюэль поднял голову; перед ним стояла его мать.

— Чего хочешь ты, женщина? — сказал он. — Твое место не здесь.

— Мое место возле тебя, сын мой, — отвечала она кротким голосом, — особенно, когда ты страдаешь...

— Я страдаю? Ты с ума сошла! Ты помешалась от старости... вернись домой и, во время моего отсутствия, старательно береги все, что принадлежит мне.

— Так ты непременно хочешь уехать, сын мой?

— Я еду сейчас.

И Антинагюэль вскочил на седло.

— Куда ты едешь? — сказала мать, схватив за узду его лошадь.

— Какое тебе дело? — возразил токи, бросив на мать яростный взгляд.

— Берегись, сын мой, ты вступаешь на дурной путь; Гекубу, злой дух, овладел твоим сердцем.

— Я один судья своих поступков.

— Ты не уедешь, — возразила она, решительно став перед ним.

Индейцы, окружив мать и сына, с безмолвным ужасом присутствовали при этой сцене. Они хорошо знали вспыльчивый и властный характер Антинагюэля и опасались, чтобы не случилось какого-либо несчастья, если мать станет продолжать сопротивляться его отъезду. Брови вождя нахмурились, глаза его метали молнии; с чрезвычайным трудом удерживал он гнев, кипевший в его груди.

— Я поеду, — сказал он с яростью отрывистым голосом, — если бы даже мне пришлось раздавить тебя под ногами моей лошади.

Индианка судорожно схватилась за поводья и, глядя прямо на сына, вскричала:

— Сделай же это, потому что, клянусь душой твоего отца, который теперь охотится в блаженных лугах возле Пиллиана, клянусь тебе, что я не тронусь с места, даже если ты переедешь через мое тело.

Лицо индейца страшно искривилось; он окинул вокруг себя взором, от которого затрепетали сердца самых храбрых, и закричал, скрежеща зубами:

— Женщина! Женщина! Удались, или я сломаю тебя как тростник.

— Говорю тебе, что я не тронусь с места, — возразила индианка с лихорадочной энергией.

— Берегись! Берегись! — сказал Антинагюэль. — Я забуду, что ты мне мать.

— Я не тронусь с места.

Лихорадочный трепет пробежал по телу вождя, дошедшего до последней степени бешенства.

— Хорошо! Ты сама этого хотела! — закричал он задыхающимся голосом. — Пусть же твоя кровь падет на твою голову!..

Антинагюэль вонзил шпоры в бока своей лошади, которая поднялась на дыбы от боли и полетела как стрела, потащив за собою бедную женщину, все тело которой скоро превратилось в одну огромную рану.

Крики ужаса раздались среди испуганных индейцев. После нескольких минут этой бешеной скачки, во время которой индианка при каждом повороте между деревьями оставляла куски своего тела, силы наконец ей изменили; она выпустила поводья и упала умирающая.

— О! — прошептала она едва слышным голосом, следуя угасающим взором за своим сыном, исчезавшим как вихрь. — Несчастный!.. Несчастный!..

Она подняла глаза к небу, с усилием сложила разбитые руки для последней молитвы и умерла, жалея о матереубийце и прощая ему. Женщины племени почтиительно подняли ее тело и со слезами унесли в дом. При виде трупа один старый индеец несколько раз покачал головой, прошептав пророческим голосом зловещее предсказание:

— Антинагюэль убил свою мать; Пиллиан отомстит за нее!

Индейцы печально склонили головы; гнусное преступление вождя заставляло их опасаться страшных несчастий в будущем.

Правосудие Мрачных Сердец

Дон Тадео и друг его дон Грегорио вошли в подземную залу, дверь которой была скрыта в стене и тотчас же затворилась за ними. Они оба с живостью обернулись; на стене ничего не было видно. Не заботясь об этом, они бросили вокруг себя внимательный взгляд, чтобы осмотреться.

Они находились в огромной зале, которая вероятно служила долго погребом; это легко было определить по запаху, еще стоявшему в воздухе. Стены были низки и толсты; лампа, спускавшаяся с потолка, не уменьшала, а напротив как будто делала заметнее темноту. В углублении стоял стол, за которым сидел человек в маске, возле двух пустых стульев. В темноте безмолвно скользили как призраки люди, завернувшиеся в плащи и так же в масках. Дон Тадео и друг его переглянулись и, не говоря ни слова, сели на пустые стулья. Слабый шепот, слышавшийся до той минуты, прекратился как бы по волшебству. Все соединились в одну группу напротив стола и, скрестив руки на груди, ждали.

Человек, который до прихода дона Тадео, казалось, был президентом собрания, встал и, обведя уверенным взглядом внимательную толпу, сказал:

— Сегодня семьдесят два представителя Мрачных Сердец от всех областей Чили находятся здесь. Повсюду люди благородные, истинные друзья чести, приготовляются начать борьбу против Бустаменте, сигнал которой подадим мы, представители Вальдивии. Товарищи, здесь

присутствующие, когда пробьет час, все ли вы без колебания вступите в борьбу? Пожертвуете ли вы, без тайной мысли, вашим семейством, вашим состоянием и даже вашей жизнью, если нужно, для спасения отечества?

Он остановился. Мрачное безмолвие царствовало в собрании.

— Отвечайте! — продолжал оратор. — Что вы делаете?

— Мы умрем! — единодушно ответила толпа.

— Хорошо, братья мои, — сказал, вставая, дон Тадео, — я ждал этого слова и благодарю вас; мне давно уже известно, что я могу положиться на вас, потому что я знаю всех, хотя никто не знает меня; эти маски, скрывающие вас друг от друга, прозрачны для вождя Мрачных Сердец, а Король Мрака — это я!.. Я поклялся довести до конца наше дело или умереть. Прежде чем пройдут сутки, вы услышите сигнал, которого вы так долго ждете, и тогда начнется та страшная борьба, которая должна кончиться только смертью изменника. Война засад, неожиданных нападений, тайных измен кончена; теперь начнется война открытая, благородная, при солнечном свете. Покажем же себя тем, чем мы всегда были, непоколебимыми в нашей вере и готовыми умереть за нее!.. Пусть начальники отрядов выйдут вперед.

Десять человек вышли из толпы и молча стали в двух шагах от стола.

— Пусть начальник первого отряда отвечает за всех, — продолжал дон Тадео.

— Это я, — сказал избранный доном Тадео, — приказания, посланные из Quinta Verde, исполнены; всем отрядам дано знать; они готовы и ждут первого сигнала.

— Хорошо. Сколькими людьми располагаете вы?

— Семью тысячами триста семьдесятю семью.

— Можете вы положиться на всех?

— Нет.

— Сколько людей нерешительных?

— Четыре тысячи.

— Сильных и убежденных?

— Почти три тысячи; но за этих я уже вполне ручаюсь.

— Хорошо, у нас более людей нежели нужно; храбрые увлекут других; возвратитесь на свои места. Теперь, — продолжал дон Тадео, — когда вожди отрядов

отошли, — я должен требовать от вас правосудия в отношении одного из наших братьев, который завладев нашими тайнами, изменял нам несколько раз за золото; у меня доказательства в руках. Обстоятельства так важны, что одно слово может нас погубить: какого наказания заслуживает этот человек?

— Смерти, — холодно отвечали все.

— Я знаю этого человека, — продолжал Дон Тадео, — пусть он выйдет из рядов и не принуждает меня сорвать с него маску.

Никто не пошевелился:

— Человек этот здесь; я его вижу; в последний раз говорю я, пусть он подойдет ко мне и не довершает своей низости, стараясь избежать заслуженного наказания.

Члены общества бросали друг на друга подозрительные взгляды; чрезвычайное беспокойство овладело всеми; однако тот, кого вызвал Король Мрака, упорно оставался между товарищами.

Дон Тадео подождал с минуту. Видя наконец, что тот, к кому он обращался, воображал, что под маской его никто не узнает, дон Тадео сделал знак. Дон Грегорио встал, медленно подошел к группе замаскированных, которая расступилась при его приближении, и положил руку на плечо человека, инстинктивно отступавшего перед ним шаг за шагом, до тех пор пока наконец стена не принудила его остановиться.

— Пойдемте, дон Педро, — сказал он.

Он скорее притащил, нежели привел шпиона к столу, за которым сидел дон Тадео, спокойный и неумолимый. Дон Педро судорожно затрепетал, зубы его застучали; он упал на колени и закричал с ужасом:

— Пощадите! Пощадите!

Дон Грегорио сорвал с него маску и все увидали лицо шпиона, черты которого искаженные ужасом были отвратительны.

— Дон Педро, — сказал дон Тадео резким голосом, — вы несколько раз старались продать ваших братьев; вы были причиной смерти десяти наших членов, расстрелянных на площади Сантьяго; вы выдали солдатам Бустаменте тайну Quinta Verde; сегодня два часа тому назад, вы имели с генералом продолжительный разговор, в котором обязались выдать завтра главных начальников Мрачных Сердец. Правда ли это?

Негодяй не нашел ни слова в свою защиту; пораженный неопровержимыми доказательствами, собранными против него, он с унынием потупил голову.

— Правда ли это? — повторил дон Тадео.

— Правда, — прошептал шпион слабым голосом.

— Вы признаете себя виновным?

— Да, — отвечал несчастный с рыданием, — но оставьте мне жизнь, благородные вельможи, и, клянусь вам...

— Молчать!

Шпион замолчал, пораженный ужасом.

— Вы слышали, товарищи, что этот человек сам признается в своих преступлениях; в последний раз спрашиваю вас, какого наказания заслуживает он за то, что предал своих братьев?

— Смерти, — отвечали, не колеблясь, Мрачные Сердца.

— Именем Мрачных Сердец я, их Король, осуждаю вас, дон Педро Сальдильйо, на смерть за измену и вероломство. Вам остается пять минут, чтобы поручить душу вашу Богу, — сказал дон Тадео суровым голосом.

Он положил на стол часы, вынул из-за пояса пистолет и хладнокровно взвел курок. Глубокое молчание царствовало в зале, так что можно было услышать бие-ние сердец всех этих неумолимых людей. Шпион бросал вокруг себя умоляющие взоры, но встречал только маски, из отверстий которых мрачно сверкали глаза, устремленные на него.

Между тем над погребом, в чингане, танцевали, и слабые звуки музыки, смешанные с веселым хохотом, по временам доносились до того места, в котором находились Мрачные Сердца. Станный контраст этой безумной радости снеумолимым правосудием имел что-то ужасное.

— Пять минут прошло, — сказал дон Тадео твердым голосом.

— О, дайте мне еще несколько минут, — вскричал шпион, ломая руки с отчаянием, — я еще не приготовился; вы не можете убить меня таким образом; умоляю вас именем всего, что для вас дорого, оставьте мне жизнь.

Не слушая этих слов, дон Тадео направил на несчастного дуло своего пистолета, и шпион упал с раздробленным черепом.

— О! — пробормотал он, падая. — Будьте прокляты, убийцы!

И он умер. Мрачные Сердца с минуту оставались холодны и бесстрастны.

Потом, по знаку начальника, несколько человек раскрыли опускающую дверь, находившуюся в полу. Под этой опускающей дверью была яма, до половины наполненная негашеной известью. Труп был брошен туда и дверь закрыта.

— Правосудие совершено, братья мои, — сказал дон Тадео отрывистым голосом, — ступайте с миром; Король Мрака бодрствует над вами.

Мрачные Сердца почтительно поклонились и исчезли один за другим, не произнеся ни слова. Через десять минут зала опустела; остались только дон Тадео и дон Грегорио.

— О! — сказал дон Тадео. — Неужели мы всегда будем сталкиваться с изменниками?

— Мужайтесь, друг мой! Вы сами сказали, что через несколько часов начнется война открыто, при солнечном свете.

— Дай Бог, чтобы я не ошибся! Эта борьба во мраке налагает ужасные обязанности, исполнение которых слишком тягостно; я чувствую, что у меня недостает духа.

Оба друга возвратились в чингану, в которой все еще танцевали и смеялись; они медленно вышли на улицу. Едва сделали они несколько шагов, как перед ними предстал Валентин Гиллуа.

— Слава Богу, что вы возвратились так кстати! — вскричал дон Тадео.

— Надеюсь, что я аккуратен? — отвечал, смеясь, парижанин.

Дон Тадео пожал ему руку и потащил к своему дому.

Мирный договор

Бустаменте приехал в Вальдивию под предлогом возобновления мирного договора между республикой Чили и ароканской конфедерацией. Предлог этот был превосходен в том отношении, что позволял ему сосредоточить значительные силы в провинции и кроме того доставлял ему благоприятный случай принять самых значительных ульменов, которые должны были приехать на церемонию в сопровождении великого множества воинов.

Каждый раз, как только новый президент выбирался в Чили, военный министр от его имени возобновлял договор; но Бустаменте до сих пор не хотел этого сделать, имея на то свои собственные причины. Эта церемония, в которой нарочно выказывается особенная пышность, обыкновенно происходит в большой долине на ароканской земле, в двадцати километрах от Вальдивии.

По странной случайности предлог, выбранный генералом Бустаменте, как нельзя более был выгоден для интересов всех трех партий, разделявших в то время эту несчастную страну. Мрачные Сердца искусно воспользовались этим случаем, чтобы приготовиться к замышляемому ими сопротивлению, а Антинагюэль, притворившись, будто хочет воздать военному министру президента Чилийской республики величайшие почести, собрал в окрестностях места, выбранного для торжества, целую армию отборных воинов.

Вот в каком положении находились дела республики и различные партии на другой день после происшествий, описанных нами в предыдущей главе.

Итак, враги должны были сойтись; было очевидно, что каждый из них, приготовившись заранее, постарается воспользоваться случаем и что, стало быть, столкновение неизбежно; но как оно произойдет? Кто первый начнет его и обнаружит гнев и честолюбие, столь долго сдерживаемые? Этого никто не знал!

Долина, где должна была происходить церемония, была обширна, покрыта высокой травой и окружена горами, покрытыми лесом. Эта долина разделялась надвое причудливой, медленной рекой, по серебристым волнам которой плавали многочисленные стаи лебедей с черными головами.

Солнце величественно восходило на горизонте, когда раздался мелодичный звон колокольчиков, и десять мулов под надзором служителя показались в долине. Эти лошаки были навьючены провизией и тюками с одеждой и бельем. Позади них, шагов на двадцать, ехал довольно многочисленный отряд всадников.

Доехав до берега реки, о которой мы говорили, служитель остановил мулов, и всадники сошли с лошадей. В одну минуту тюки были сняты с животных и старательно расставлены, так что образовали круг, посреди которого развели огонь. Потом в самом центре этого импровизированного стана разбили палатку и спутали лошадей и мулов.

Эти всадники, которых наши читатели, без сомнения, уже узнали, были дон Тадео, его друг, французы, индейские ульмены, донна Розарио и трое слуг.

По странной случайности, в это же самое время, на противоположном берегу реки, как раз напротив наших друзей, другой караван, почти столь же многочисленный, тоже располагался станом. Он принадлежал донне Марии. Как случается почти всегда, судьбе вздумалось и на этот раз свести непримиримых врагов, которых разделяло пространство только метров в пятнадцать. Но случай ли сделал это?

Дон Тадео не подозревал этого опасного соседства, а то, вероятно, он постарался бы избежать его. Бросив мимолетный взор на караван, расположившийся напротив, он тотчас погрузился в мысли гораздо более важные.

Донна Мария, напротив, знала что делала и намеренно выбрала это место.

Между тем число путешественников в долине все более и более увеличивалось, так что к девяти часам утра она в полном смысле слова покрылась палатками. Свободное пространство осталось только возле древней полуразрушенной капеллы, в которой должны были отслужить обедню перед началом церемонии.

Индейцы, спустившиеся в великом множестве со своих гор, провели ночь пируя вокруг своих костров; многие из них теперь спали совершенно пьяные; однако как только возвестили о прибытии министра Чилийской республики, все они шумно встали и начали танцевать с радостными криками.

С одной стороны ехал крупной рысью генерал Бустаменте, окруженный блистательным штабом и сопровождаемый многочисленным отрядом копьеносцев, между тем как со стороны противоположной подъезжали галопом четыре ароканских токи в сопровождении главных ульменов своей нации и великого множества воинов.

Эти два отряда, ехавшие навстречу друг к другу, среди приветственных криков толпы, поднимали густые облака пыли, в которых почти совершенно исчезали. Ароканы, превосходные всадники, предавались верховым упражнениям, о которых одни только арабские эволюции, надевавшие столько шума, могут дать некоторое отдаленное представление, потому что они ничего не значат в сравнении с невероятными трюками, какие исполняют эти люди, как будто родившиеся затем, чтобы управлять лошадью.

Чилийцы ехали с большой торжественностью, впрочем им несвойственной.

Как только оба отряда подъехали один к другому, вожди сошли с лошадей и встали: ульмены, вооруженные длинными палками с серебряными набалдашниками, позади Антинагюэля, а трое других токи и чилийцы позади генерала Бустаменте. В первый раз Антинагюэль и Бустаменте сошлись лицом к лицу. Два человека, оба хорошие политики, оба лукавые и честлюбивые и с первого взгляда понявшие один другого, рассматривали друг друга с чрезвычайным вниманием.

Обменявшись поклонами, оба отряда отступили на несколько шагов, чтобы пропустить генерального комиссара и четырех капитанов. Эти офицеры служат арока-

нам переводчиками, агентами в их торговых делах и во всем, что касается их сношений с чилийцами.

Примечательно, что все индейцы хорошо говорят по-испански, но не хотят употреблять этого языка в церемониальных случаях; поэтому переводчики, которые по большей части принадлежат к смешанной расе, очень ими любимы и уважаемы. Они привели с собой двадцать мулов, навьюченных разными товарами, предназначенными президентом республики в подарок главным ульменам. Здесь мы находим нужным заметить, что когда индейцы заключают какой-либо договор с христианами, они не признают его вступившим в силу до тех пор, пока не получат подарков. Подарки служат им доказательством, что их не хотят обмануть; это задаток, которого они требуют, чтобы упрочить договоренность и убедиться в искренности договаривающихся. Чилийцы, давно уже привыкшие к ароканским обычаям, не забыли это важное условие.

В то время как генеральный комиссар раздавал подарки, Бустаменте отправился со своим штабом в капеллу, где священник, специально приехавший из Вальдивии, служил обедню. После обедни министр республики и четыре токи перецеловались, и тотчас же начались речи. Эти речи, продолжавшиеся очень долго, заключались во взаимных уверениях в том, что обе стороны довольны миром, царствовавшим между двумя народами, и что и на этот раз сделают все необходимое, чтобы поддержать его как можно долес.

Мы должны здесь заметить, что ни одна из договаривавшихся сторон не была искренна и думала вовсе не то, что говорила; обе они втайне намеревались изменить своему слову как можно скорее. Однако ж та и другая, казалось, были очень довольны разыгрываемой комедией.

— Теперь, — сказал Бустаменте, — если братья мои, великие вожди, согласятся пойти со мной в капеллу, мы водрузим крест.

— Нет, — отвечал Антинагюэль со сладчайшей улыбкой, — креста не должно водружать в каменном строении.

— Почему? — спросил генерал с удивлением.

— Потому, — возразил индеец тоном убеждения, — что слова, которыми мы разменялись, обязательно должны остаться зарытыми в том самом месте, где они были произнесены.

— Это справедливо, — сказал Бустаменте, наклонив голову в знак согласия, — да будет так, как желает мой брат.

Антинагюэль улыбнулся с гордостью.

— Хорошо ли я говорил, могущественные воины? — сказал он, обращаясь к окружающим его ульменам.

— Отец наш, токи Инапире-Мануса, хорошо говорил, — отвечали ульмены.

Индийские слуги пошли тогда в капеллу за крестом, который лежал там на полу, и принесли его к тому месту, где происходили совещания. Крест этот был длиною по крайней мере футов в тридцать. Все вожди и офицеры чилийские стали вокруг него на почтительном расстоянии; войска образовали огромный круг. После минутного молчания, в продолжении которого священник прочел молитву благословения с той живостью и небрежностью, которые отличают испанское духовенство в Америке, крест был водружен в землю. В ту минуту, когда индейцы, вооруженные лопатами, хотели засыпать его подножие, Антинагюэль остановил их.

— Подождите... — сказал он и, обращаясь к Бустаменте, прибавил. — Мир упрочен между нами, не так ли?

— Да, — отвечал генерал.

— Все наши слова зарыты под этим крестом?

— Все.

— Засыпьте же его землей, — приказал он индейцам, — чтобы слова наши не улетели оттуда, и чтобы война не разгорелась между нами.

Когда приказание это было исполнено, Антинагюэль велел принести ягненка, которого колдун тотчас зарезал у подножия креста. Все индейские вожди омочили руки в еще горячей крови трепещущего животного и провели на кресте иероглифические знаки для того, чтобы удалить *Гекубу*, злого духа, и для того, чтобы слова, зарытые под землей, не улетели из-под нее. Наконец ароканы и чилийцы выстрелили в воздух и церемония кончилась.

Тогда Бустаменте подошел к токи Инапире-Мануса и, взяв его под руку, сказал дружеским голосом:

— Брат мой Антинагюэль не хочет ли войти на минуту в мою палатку выпить со мной стакан вина или матэ? Он сделает друга счастливым.

— Почему мне не пойти? — отвечал вождь, весело улыбаясь.

— Пусть же брат мой идет со мной!

— Пойдемте!

И они оба удалились, разговаривая между собой о посторонних предметах, к палатке Бустаменте, которая была разбита на ружейный выстрел от того места, где происходила церемония. Бустаменте распорядился заранее и потому в палатке его все было приготовлено для великолепного приема гостя, которому он сильно желал угодить для успеха своих планов.

Похищение

В то время как между ароканами и чилийцами происходила описанная нами церемония, ужасное событие произошло на берегу реки, в лагере дона Тадео.

Опасаясь Красавицы и шпионов Бустаменте, дон Тадео с сожалением согласился взять с собой донну Розарио в долину на церемонию, хотя, с другой стороны, он был рад, что она не будет в Вальдивии в то время, как там готовились важные события.

Донна Розарио советовалась только со своей любовью, когда обратилась к опекуну с этой просьбой; одно желание увидеть того, кого она любила, побудило ее к этому. Так как дон Тадео вынужден был скрываться, то он, разумеется, никак не мог присутствовать на церемонии.

Как только слуги его раскинули палатки, он отвел французов в сторону. Тогда было около семи часов утра; долина была уже наполнена народом. Король Мрака бросил подозрительный взгляд на окрестности, но успокоенный уединением, царствовавшим вокруг него, решил наконец объясниться с молодыми людьми.

— С тех пор, как я имею честь знать вас, — начал он, — я ничего от вас не скрывал; вы знаете все мои тайны: ныне борьба, которой я отдал все силы вступила в решающую фазу. Я еду сию минуту обратно в Вальдивию: в этом городе будет нанесен, через несколько часов, первый удар; борьба будет ужасна. Я не хотел бы подвергать опасности молодую девушку, которую вы знаете и которой вы уже спасли жизнь; я вверяю ее одному из

вас, а другой поедет со мной в Вальдивию. Если в борьбе со мною случится несчастье, я вручу ему бумагу, из которой вы оба узнаете мои намерения относительно этого бедного ребенка, который для меня дороже всего на свете и с которым я расстаюсь с безмерной печалью. Кто из вас, господа, соглашается на время моего отсутствия взять на себя обязанность защищать донну Розарио?

— Поезжайте спокойно, дон Тадео, куда призывает вас долг, — отвечал Луи взволнованным голосом, — клянусь вам, что пока я жив никакая опасность, ни издалека, ни вблизи, не будет угрожать донне Розарио; добраться до нее могут только через мой труп.

— Благодарю вас, дон Луи, — отвечал Мрачное Сердце, тронутый выражением голоса француза, — верю вашему слову. Я знаю, что вы сдержите клятву, несмотря ни на что; впрочем, через несколько часов я надеюсь возвратиться, и притом здесь, по-видимому, ей нечего опасаться.

— Я буду осторожен, — просто отвечал молодой человек.

— Благодарю еще раз.

Дон Тадео оставил молодых людей и вошел в палатку донны Розарио. Она с живостью встала.

— Сядьте, умоляю вас, милое дитя, — сказал дон Тадео, — я должен сказать вам только два слова.

— Я вас слушаю, друг мой.

— Я пришел с вами проститься.

— Проститься, дон Тадео? — вскричала донна Розарио с испугом.

— О! Успокойтесь, трусиха, только на несколько часов.

— А! — произнесла донна Розарио с улыбкой удовольствия.

— Вообразите, здесь в окрестностях есть очень любопытный грот. Утром я имел неловкость сказать об этом несколько слов дону Валентину и этот демон француз, — прибавил дон Тадео с улыбкой, — непременно хочет, чтобы я свозил его туда; чтобы отвязаться от него, я должен был согласиться.

— И прекрасно сделали, — сказала молодая девушка с живостью, — мы очень обязаны этим двум французам, а просьба дона Валентина так ничтожна.

— Что я разумеется не мог ему отказать, — перебил дон Тадео, — итак, мы сейчас поедem, чтобы скорее воз-

вратиться; не слишком скучайте во время нашего отсутствия, милое дитя.

— Постараюсь, — сказала донна Розарио с рассеянным видом.

— Впрочем, я оставляю вам дону Луи; вы будете разговаривать с ним и время пролетит быстро.

Молодая девушка покраснела.

— Возвращайтесь скорее, друг мой, — сказала она.

— Да, да, я возвращусь скоро... прощайте, милое дитя.

Дон Тадео вышел из палатки и подошел к молодым людям.

— Прощайте, дон Луи, — сказал он, — едете вы со мной, дон Валентин?

— Еду ли? — отвечал, смеясь, парижанин. — А то как же! Да я был бы в отчаянии, если б не воспользовался вашим предложением. До свидания, Луи, — сказал Валентин, пожимая руку своему молочному брату и, наклонившись к его уху, он прибавил:

— Благодари небо; ты видишь, что оно покровительствует твоей любви.

Молодой человек отвечал только вздохом и уныло кивнул головой. Слуга индеец привел лошадей дона Тадео, его друга и француза. Трое всадников вскочили на лошадей, вонзили шпоры в их бока и скоро исчезли.

Луи вернулся в лагерь. Он был один с донной Розарио. Два индейские вождя пошли к капелле, чтобы, смешавшись с толпой, присутствовать при церемонии. Прислуга не замедлила последовать за ними.

Молодая девушка села на грудь крашенных бараньих кож перед палаткой и стала смотреть, как облака, гонимые сильным ветром, быстро мчались по небу. Донна Розарио была очаровательная шестнадцатилетняя девушка, невысокая, тоненькая, хорошо сложенная и чрезвычайно миловидной наружности; ее малейшие движения имели неизъяснимую прелесть. Она была блондинка, ее волосы, длинные и шелковистые, имели цвет спелых колосьев; голубые глаза отличались тем меланхолически-задумчивым выражением, которое свойственно только ангелам и молодым девушкам, начинающим любить; нос с маленькой горбинкой и розовыми ноздрями, красивый рот, зубы ослепительной белизны, матово-белая кожа, чрезвычайно тонкая, окончательно делали из нее существо в высшей степени восхитительное.

Звук шагов молодого человека вывел ее из задумчивости: она обернула голову в ту сторону и посмотрела на Луи с неизъяснимой нежностью. Граф почтительно поклонился молодой девушке.

— Это я, — сказал он тихо.

— Я знала, что вы приехали, — отвечала донна Розарио. — О! Зачем вы вернулись?

— Не сердитесь, что я опять рядом; я хотел вам повиноваться, уехал, без надежды, увы, увидеть вас когда-нибудь; но судьба решила иначе.

Донна Розарио улыбнулась, опустив глаза.

— К несчастью, — продолжал граф, — вы осуждены несколько часов терпеть мое присутствие.

— Покоряюсь, — отвечала она, протянув ему руку.

Молодой человек запечатлел пламенный поцелуй на ручке прелестной девушки.

— Итак, мы одни, — сказала она весело, отнимая свою руку.

— Боже мой, да, почти, — отвечал граф таким же тоном, — индейские вожди ушли к капелле, и это доставило нам свидание наедине.

— Наедине посреди десяти тысяч человек, — сказала донна Розарио, улыбаясь.

— Это лучше всего; каждый занимается своими делами, не думая о других, и мы можем говорить без опасения, что нам помешают.

— Да, — сказала донна Розарио задумчиво, — часто человек особенно одинок среди толпы.

— Разве сердце не обладает великой способностью уединяться, когда ему угодно, с самим собою?

— Разве иногда эта способность не делает нас несчастными?

— Может быть! — отвечал Луи со вздохом.

— Кстати, скажите мне, пожалуйста, — проговорила девушка, стараясь переменить разговор, который становился слишком серьезен, — как это случилось, что в то время, когда я видела вас в Париже, вы находились тогда, если я не ошибаюсь, в блестящем положении, а теперь я встречаю вас так далеко от вашей родины?..

— Увы! Моя история похожа на историю многих молодых людей и может уместиться в двух словах: слабость и неопытность

— Да, это слишком справедливо; ваша история похожа на историю почти всех молодых людей и в Европе, и в Америке.

В эту минуту слышался сильный шум. Донна Розарио и граф разговаривали при входе в палатку; они стояли таким образом, что не могли видеть того, что происходило в долине.

— Что это? — спросила молодая девушка.

— Вероятно, до нас долетают отголоски торжества; угодно вам присутствовать при церемонии?

— К чему? Эти крики и этот шум меня пугают.

— Однако мне показалось, что вы просили дона Тадео...

— Это была моя прихоть, — отвечала донна Розарио, — зато она так же скоро прошла, как была задумана.

— Но намерением дона Тадео не было ли...

— Кто может знать намерения дона Тадео? — перебила донна Розарио с заглушаемым вздохом.

— Он кажется очень вас любит, — отважился заметить Луи.

— Иногда я сама так думаю. В другое же время мне кажется, что он с трудом может выносить мое присутствие; он отталкивает меня, мои ласки надоедают ему.

— Странное поведение, — заметил граф, — этот дворянин ваш родственник, конечно?

— Не знаю, — отвечала молодая девушка просто-душно, — когда я вспоминаю мои детские годы, я вижу смутный образ молодой и прекрасной женщины, черные глаза которой беспрестанно улыбаются мне, а губы покрывают меня жаркими поцелуями; потом вдруг память отказывается мне служить, память совсем мне изменяет, и тогда, как ни стараюсь я проникнуть в прошлое, вспоминаю только дону Тадео, заботящегося обо мне всегда и везде так, как отец заботится о дочери.

— Но, может быть, он в самом деле ваш отец? — заметил граф.

— О! Нет, нет, он мне не отец.

— Почему вы в этом уверены?

— Послушайте, как в сердцах всех молодых девушек, и в моем сердце потребность любить какое-нибудь существо, которое связывало бы меня с жизнью, сильно дает себя чувствовать... Однажды я вдруг заболела тяжелой болезнью, в продолжение которой дон Тадео целый

месяц день и ночь не отходил от моего изголовья, ни на минуту не отдыхая. Когда я стала поправляться, дон Тадео, обрадовавшись, что я возвратилась к жизни, потому что он уже опасался потерять меня, улыбался мне с нежностью, целовал мои руки и лоб, словом, обнаруживал сильнейший восторг.

«О! — сказала я ему, когда в голове моей вдруг промелькнула внезапная мысль. — О! Вы мой отец! Один отец может показывать такую преданность к своему ребенку». И бросившись к нему на шею, я спрятала голову на груди его и залилась слезами. Дон Тадео встал; лицо его покрылось смертельной бледностью, черты страшно исказились; он грубо оттолкнул меня и начал ходить большими шагами по комнате.

«Ваш отец, я? — вскричал он отрывистым голосом. — Донна Розарио, вы с ума сошли! Бедное дитя, не повторяйте никогда этих слов; ваш отец умер, мать также умерла, давно, очень давно; я не отец ваш, слышите ли? Не повторяйте никогда этого слова! Я только ваш друг. Да, отец ваш, умирая, поручил вас мне, вот почему я вас воспитываю... я даже вам не родня!» Волнение донна Тадео было чрезвычайно; он говорил еще многое другое, чего я не припомню, потом вышел... Увы! С этого дня я уже ни разу не смела спрашивать его о моих родных.

Наступило молчание. Молодые люди размышляли. Простой и трогательный рассказ донны Розарио сильно взволновал графа. Наконец он заговорил трепещущим голосом:

— Позвольте мне любить вас, донна Розарио.

Молодая девушка вздохнула.

— К чему нас приведет эта любовь, дон Луи? — отвечала она с горечью. — К смерти, может быть!

— О! — вскричал Луи с жаром. — Смерть была бы для меня дорогой гостьей, если бы я мог умереть за вас...

В эту минуту несколько человек ворвались в палатку с громкими криками. Движением, быстрым как мысль, граф бросился перед молодой девушкой, с пистолетом в каждой руке. Но точно будто небо хотело исполнить желание, только что им произнесенное: прежде чем Луи имел время оборониться, он упал на землю, пораженный несколькими ударами кинжала. Падая, он заметил как сквозь сон, что два человека схватили донну Розарио и убежали вместе с ней.

Тогда с неслыханными усилиями Луи приподнялся на колено, а потом успел наконец встать на ноги. Он заметил похитителей, бежавших к лошадям, которых недалеко от палатки держал за поводья индеец. Граф прицелился в бежавших злодеев, закричав слабым голосом:

— Убийцы! Убийцы!

И выстрелил. Один из похитителей упал с яростным проклятием. Истощенный сверхъестественным усилием, граф зашатался как пьяный; кровь зашумела в его ушах, зрение помутилось и он без чувств упал на землю.

Протестация

Три всадника прискакали в Вальдивию с такой быстротой, что едва прошло полтора часа, как они уже проехали пространство, отделявшее их от города. Они встретили на дороге дона Панчо Бустаменте, который отправлялся на церемонию с отрядом копьеносцев и с многочисленным штабом. Мрачные Сердца проехали, не обратив на себя внимания встретившихся с ними. Дон Тадео бросил иронический взгляд на своего врага.

— Посмотрите, — сказал он с насмешливой улыбкой дону Грегорио, — Бустаменте воображает уже себя протектором; какую величественную позу он принимает!

— Э! — возразил дон Грегорио, смеясь. — Он однако ж должен знать, что между чашей и губами довольно места для несчастья.

Десять часов пробило в ту минуту, когда два чилийца и француз въезжали в Вальдивию. Город был почти пуст; все, кого неотложные дела не удерживали дома, отправились в долину, где возобновлялся договор между чилийцами и ароканами. Эта церемония очень интересовала жителей провинции; она была для них гарантией будущего спокойствия, то есть доставляла им возможность безопасно вести торговлю с индейцами. Более чем все другие провинции Чили, Вальдивия опасается своих страшных соседей, будучи совершенно отделена от республики и предоставлена своим собственным силам: малейшее недовольство индейцев уничтожает ее торговлю.

Впрочем, если жители по большей части ушли из города, зато многочисленный гарнизон, — какого никогда еще не бывало в мирное время, — состоящий из полутора тысяч человек, в последние два дня, а особенно в прошлую ночь, был усилен двумя кавалерийскими полками и артиллерийским батальоном.

К чему было собирать такую сильную армию? Немногие жители, остававшиеся в городе, чувствовали неопределенное беспокойство, в котором не могли дать себе отчета.

Есть одно странное обстоятельство, которое мы хотим привести здесь, хотя не беремся объяснить его, потому что оно всегда казалось нам необъяснимым. Когда какое-нибудь важное событие должно совершиться в стране, смутное предчувствие как будто предостерегает жителей; магнетический ток пробегает по жилам у всех, тягостное стеснение сжимает грудь каждого, атмосфера становится тяжелее, солнце теряет свой блеск и не иначе как шепотом испуганные жители сообщают один другому свои впечатления. Словом, в воздухе разлито что-то угрожающее. И это роковое предчувствие так всеобщее, что когда событие совершится, когда кризис пройдет, каждый восклицает инстинктивно: «Я это чувствовал!»

Никто однако же не мог бы сказать, почему он предвидел катастрофу. Не потому ли, что чувство самосохранения, которое Господь вложил в сердце человека, это чувство до того сильно, что когда приближается опасность, оно немедленно предупреждает его: «Берегись!»

Вальдивия в эту минуту находилась под гнетом неизвестного опасения. Немногие граждане, оставшиеся в городе, спешили возвратиться в свои жилища. Многочисленные кавалерийские и пехотные патрули обходили улицы. Пушки катились с грохотом проезжали по улицам и занимали позицию на углах главных площадей. Около ратуши толпилось множество офицеров и солдат, другие выходили из нее с озабоченным видом. Посыльные беспрестанно скакали взад и вперед с различными приказаниями.

Между тем на углах улиц люди в широких плащах, в шляпах, надвинутых на глаза, разговаривали с работниками и матросами и составляли вооруженные группы, которые с каждой минутой увеличивались. В этих группах блистало оружие, ружья, штыки и копья. Эти таинственные люди беспрестанно переходили с одного места

на другое и позади их, как бы по волшебству, тотчас образовывались баррикады.

Въехав в город, дон Тадео и его товарищи, все в масках, добрались сквозь толпы народа до Большой Площади. Во всех городах испанской Америки, в середине главных площадей обыкновенно бывают фонтаны. К такому-то фонтану дон Тадео подъехал со своими товарищами. Человек сто, по-видимому ожидавшие их приезда, тотчас подошли к ним.

— Ну, — спросил дон Тадео Валентина, — как вы находите вашу прогулку?

— Восхитительной! — отвечал молодой человек. — Только мне кажется, что здесь скоро загремят выстрелы и засвистят пули.

— Надеюсь, — холодно отвечал дон Тадео.

— О! Все равно; я очень рад, что не пропустил этого случая.

— Неужели?

— Право так!.. Это удивительно, как много узнаешь в путешествии! — прибавил он в заключение.

Люди, собравшиеся около фонтана, окружили дона Тадео и его товарищей. Это были Мрачные Сердца, на которых можно было совершенно положиться.

— Сеньоры, — сказал дон Тадео, — борьба скоро начнется; я хочу наконец, чтобы вы узнали человека, который повелевает вами.

Говоря это, он сбросил маску. Трепет восторга пробежал по рядам Мрачных Сердец.

— Дон Тадео де Леон! — закричали они с удивлением, смешанным с уважением к человеку, который пострадал за общее дело.

— Да, сеньоры, — отвечал дон Тадео, — перед вами тот, кого тиран осудил на смерть, а Бог чудесно спас для того, чтобы он сделался ныне орудием его мщения.

Все Мрачные Сердца шумно столпились вокруг дона Тадео. Эти люди, в высшей степени впечатлительные, чрезвычайно суеверные, не сомневались более в победе, потому что во главе их стоял тот, кого Господь спас таким чудным образом. Дон Тадео внутренне рассчитывал на этот восторг, чтобы увеличить жар Мрачных Сердец и влияние, которым он пользовался; результат был именно таков, какого он ожидал.

— Все ли на своих местах? — спросил он.

- Все.
- Розданы ли оружие и снаряды?
- Розданы.
- Все ли баррикады сделаны? У всех ли городских ворот поставлены караулы?
- У всех.
- Хорошо. Теперь, братья мои, ждите.

Тишина восстановилась. Все эти люди давно знали дона Тадео, ценили его и питали к нему безграничную дружбу; теперь же, когда они узнали, что Король Мрака и дон Тадео было одно и то же лицо, они готовы были умереть за него.

В то время, когда дон Тадео разговаривал таким образом с Мрачными Сердцами, пехотный полк встал перед ратушей, по правую и левую стороны которой разместились два эскадрона копьеносцев.

— Внимание, — тихо сказал дон Тадео.

Трепет нетерпения пробежал по рядам людей, собравшихся вокруг него.

— Э! Э! — прошептал Валентин с той насмешливой улыбкой, которая была ему свойственна. — Начинается! Кажется, мы скоро позабудемся!

Двери ратуши с шумом растворились. Генерал, сопровождаемый блестящим штабом, занял место на верхних ступенях большой лестницы; потом показалось несколько сенаторов в парадных мундирах; все они столпились вокруг него. По знаку генерала раздался барабанный бой. Когда восстановилась тишина, один из сенаторов, державший в руке сверток бумаги, сделал несколько шагов вперед и приготовился читать.

— Ба! — сказал генерал, останавливая его за руку. — Зачем терять время на чтение этого вздора? Предоставьте все мне...

Сенатор, внутренне обрадовавшийся, что избавили его от обязанности довольно щекотливой, свернул бумагу и отошел назад. Генерал гордо подбоченился, оперся кончиком шпаги о землю и сказал голосом резким и громким, который слышен был на всей площади:

— Граждане и народ Вальдивийской провинции, сенат, соединившийся в конгрессе Сантьяго, принял единогласно следующие решения:

1. Различные провинции Чилийской республики отныне будут составлять независимые штаты, соединенные

под названием Конфедерации Соединенных Штатов Южной Америки.

2. Доблестный и мужественный дон Панчо Бустаменте избран протектором чилийской конфедерации: граждане и народ! Кричите вместе со мной «Да здравствует протектор дон Панчо!»

Офицеры, столпившиеся вокруг генерала, и солдаты, расставленные на площади, закричали во все горло:

— Да здравствует протектор!

Народ оставался безмолвен.

— Гм! — прошептал генерал. — Восторг не велик.

Вдруг из группы, собравшихся около фонтана, вышел человек и с решимостью подошел шагов на двадцать к солдатам. Этот человек был дон Тадео; лицо его было спокойно, походка тверда. Он поднял руку.

— Чего вы хотите? — закричал ему генерал.

— Я хочу опротестовать вашу декларацию, — неустрашимо отвечал вождь Мрачных Сердец.

— Говорите, я вас слушаю.

Дон Тадео поклонился, улыбаясь.

— Именем чилийского народа, — сказал он ясным и звучным голосом, — сенат Сантьяго, составленный из негодяев, подкупленных генералом Бустаменте, объявлен изменником республики!

— Что осмеливаетесь вы говорить, презренный? — вскричал генерал с гневом.

— Удержитесь от оскорблений и позвольте мне окончить мой протест, — холодно отвечал дон Тадео.

Невольно подчиняясь героическому мужеству человека, который один, без оружия, перед стройным рядом ружей, направленных на него, осмеливался говорить таким громким и твердым голосом, генерал молчал; побежденный тем влиянием, которое всегда производят великие характеры.

— Именем народа, — продолжал дон Тадео, спокойный и бесстрастный, — дон Панчо Бустаменте объявлен изменником республики и как изменник лишен своей власти. Да здравствует Чили!

— Да здравствует Чили! — вскричал весь народ, собравшийся на площади.

— О! Какая дерзость! — вскричал генерал. — Солдаты, схватите его.

Но быстрее мысли, дон Грегорио и Валентин бросились к дону Тадео и увлекли его в середину группы.

— Какой же вы храбрец! — вскричал Валентин, пожимая руку дону Тадео. — Я люблю вас!

Между тем генерал, взбешенный в высшей степени тем, что дон Тадео ускользнул от него, скомандовал солдатам стрелять: страшный залп раздался как громовый удар, несколько человек упало убитых и раненых.

— Да здравствует Чили! Долой протектора! — закричал народ.

Раздался другой залп, потом третий. Земля в минуту была усыпана мертвыми и умирающими.

Мрачные Сердца не рассеялись, а напротив приготовились выдержать начинающуюся борьбу и отвечать выстрелами на выстрелы войска.

— Гм! — печально прошептал генерал. — Я взялся за неприятное поручение.

Однако ж, как солдат по характеру одаренный в высшей степени тем бесстрастным повиновением, которое отличает всех военных, он приготовился или победить, или храбро умереть на своем посту.

Испанец и индеец

Не из боязни, как могут подумать, Бустаменте отлучился из Вальдивии в ту критическую минуту, когда один из его подчиненных с высоты ступеней ратуши так смело провозглашал его протектором перед остолбеневшей толпой. Бустаменте был один из тех искателей приключений, образцы которых часто встречаются в Америке; привыкшие ставить на карту свою жизнь, не боясь ничего на свете, эти люди жертвуют всем для того, чтобы достичь своих целей. Бустаменте надеялся, что с помощью войск, сосредоточенных им в этой отдаленной провинции, жители ее, захваченные врасплох, окажут лишь незначительное сопротивление. Он думал, что после этой первой победы, ему стоит только соединить свои войска с войском Антинагюэля, и тогда он легко овладеет провинцией Кончепчйон, а оттуда явится в Сантьяго совершенно вовремя, чтобы предупредить всякое волнение со стороны жителей столицы и заставить их признать смену правительства, уже совершенную им в отдаленных провинциях республики.

В плане генерала не было недостатка в смелости и изобретательности; шансы на успех были велики. К несчастью для Бустаменте, Мрачные Сердца, осведомители которых находились всюду, узнали об этом плане и воспрепятствовали его осуществлению, воспользовавшись случаем, который враг их сам доставил им.

Мы видели, как началась борьба в Вальдивии между двумя партиями. Генерал, еще не знавший что

случилось, был совершенно уверен в успехе. Оставшись один в своей палатке с Антинагюэлем, он опустил за собой закрывавший ее полог и пригласил токи садиться.

— Садитесь, вождь, — сказал он, — и поговорим.

— Я готов к услугам моего белого отца, — отвечал индеец, кланяясь.

Бустаменте внимательно рассматривал человека, находившегося перед ним, и старался прочесть на его лице различные чувства, волновавшие его; но черты индейца были неподвижны: на них не отражалось ничего.

— Будем говорить откровенно и честно, как друзья, — сказал Бустаменте.

Антинагюэль наклонил голову в знак согласия. Бустаменте продолжал:

— В эту минуту народ Вальдивии провозглашает меня протектором новой конфедерации, составленной из всех штатов.

— Хорошо! — сказал вождь, кротко качая головой. — Отец мой в этом уверен?

— Конечно; чилийцы утомились от постоянных волнений, возмущающих край; они принудили меня взять на себя тяжелую ношу; но я обязан служить моей стране и не обману надежды, которую мои соотечественники возлагают на меня.

Эти слова были произнесены тоном лицемерного самоотвержения, которое нисколько не обмануло индейца. Улыбка скользнула по губам вождя; Бустаменте сделал вид, что не заметил этого.

— Короче, — продолжал он, оставив доверительный тон, которым говорил до сих пор, и принимая тон сухой и отрывистый, — готовы ли вы выполнить ваши обещания?

— Почему бы нет? — отвечал арокан.

— Так вы пойдете со мною и будете содействовать успеху моего предприятия?

— Пусть отец мой приказывает, я буду повиноваться.

Эта сговорчивость вождя не понравилась Бустаменте.

— Кончим, — продолжал он с гневом, — я не имею времени бороться в хитрости с вами и следовать за вами во всех ваших индейских вывертах.

— Я не понимаю моего отца, — бесстрастно отвечал Антинагюэль.

— Мы никогда не кончим, вождь, — сказал Бустаменте, топая ногой, — если вы не будете отвечать мне категорически.

— Я слушаю моего отца, пусть он спрашивает, я буду отвечать.

— Сколько можете вы выставить войска через двадцать четыре часа?

— Десять тысяч, — с гордостью отвечал Антинагюэль.

— Все воины опытные?

— Все до одного.

— Чего вы требуете от меня за эту помощь?

— Отец мой это знает.

— Я принимаю все ваши условия, кроме одного.

— Какого?

— Отдать вам Вальдивию.

— А разве отец мой не получит вместо этой провинции другую?

— Каким образом?

— Не должен ли я помочь моему отцу завоевать Боливию?

— Да.

— Ну вот видите...

— Вы ошибаетесь, вождь, это не одно и то же; я могу увеличивать Чилийскую Область, но честь запрещает мне уменьшать ее.

— Пусть отец мой вспомнит, провинция Вальдивия была прежде ароканским уталь манусом.

— Может быть, вождь; но если так, то и весь Чили был ароканским до открытия Америки.

— Отец мой ошибается.

— Я ошибаюсь?

— Сто лет назад, Синхирока завоевал чилийскую землю до Рио-Маулэ.

— Вы, как видно, хорошо знаете историю вашей страны, вождь, — заметил Бустаменте.

— Разве отец мой не знает истории своей страны?

— Не об этом идет дело; отвечайте мне прямо — принимаете ли вы мои предложения, да или нет?

Вождь размышлял с минуту.

— Говорите же, — продолжал Бустаменте, — время не ждет.

— Справедливо; я сейчас соберу совет, составленный из апо-ульменов и ульменов моей нации и передам им слова моего отца.

Бустаменте с трудом обуздал в себе движение гнева.

— Вы, без сомнения, шутите, вождь? — сказал он. — Ваши слова не могут быть серьезны.

— Антинагюэль первый токи своей нации, — отвечал индеец надменно, — он никогда не шутит.

— Но вы должны дать мне ответ сейчас, через несколько минут, — вскричал Бустаменте, — почему знать, может быть, мы принуждены будем выступить через час?

— Моя обязанность, так же, как и отца моего, увеличивать землю моего народа.

Послышался галоп приближавшейся лошади; Бустаменте бросился ко входу в палатку, где уже показался его адъютант. Лицо этого офицера было покрыто потом; на мундире его темнели пятна крови.

— Генерал!.. — сказал он задышавшимся голосом.

— Молчать! — закричал Бустаменте, указывая ему на вождя, равнодушного по наружности, но следовавшего со вниманием за всеми его движениями. — Вождь, — обратился Бустаменте к Антинагюэлю, — я должен отдать приказание этому офицеру, приказание, не терпящее отлагательства; если вы мне позволите, мы через минуту будем продолжать наш разговор.

— Хорошо, — отвечал вождь, — пусть отец мой не беспокоится, я имею время ждать.

И, поклонившись, он медленно вышел из палатки.

— О! — прошептал Бустаменте. — Демон! Если когда-нибудь ты попадешься мне в руки!..

Но заметив, что гнев увлек его слишком далеко, он закусил губы и обернулся к офицеру, который оставался неподвижен:

— Ну! Диего, какие известия? Мы победители?

Офицер покачал головой.

— Нет, — отвечал он, — Мрачные Сердца помешали.

— О! — вскричал Бустаменте. — Неужели я никогда не смогу раздавить их? Как это было?

— Враги построили баррикады, дон Тадео всем распоряжался.

— Дон Тадео! — вскричал Бустаменте.

— Да, тот, кого так неудачно расстреляли.

— О! Это война насмерть.

— Часть войска, увлеченная офицерами, подкупленными Мрачными Сердцами, перешла на их сторону. Теперь дерутся во всех улицах города с неслыханным ожесточением. Я должен был проехать сквозь град пуль, чтобы предупредить вас.

— Мы не можем терять ни минуты. Проклятие! — вскричал Бустаменте. — Я не оставлю камня на камне в этом проклятом городе!

— Да; но сначала нам надо завоевать его, а это дело трудное, генерал, клянусь вам, — отвечал старый солдат, всегда говоривший откровенно.

— Хорошо! Хорошо! — отвечал Бустаменте. — Прикажете бить тревогу. Пусть каждый кавалерист возьмет на лошадь пехотинца.

Дон Панчо Бустаменте был в ярости. Несколько минут он бегал по палатке как лютый зверь в клетке; это неожиданное сопротивление после принятых им мер предосторожности, взъярило его до крайности. Вдруг подняли полог палатки.

— Кто там? — закричал он. — А! Это вы, вождь... Ну! Что скажете вы, наконец?

— Я видел, как ушел ваш офицер и подумал, что, может быть, отец мой не прочь меня видеть, — отвечал индеец своим льстивым голосом.

— Это справедливо, вы правы, я в самом деле рад вас видеть; забудьте, что мы говорили, вождь; я принимаю все ваши условия — довольны вы на этот раз?

— Да. Стало быть, вы согласны и на то условие, которое касается Вальдивии?

— Совершенно! — сказал Бустаменте с глухой яростью.

— А!

— Но так как эта провинция возмутилась, то для того, чтобы отдать вам ее, я должен навести в ней порядок, не правда ли?

— Да, конечно.

— Я желаю честно исполнить все обязательства, которые принимаю по отношению к вам; поэтому я немедленно иду против мятежников. Хотите помочь мне усмирить их?

— Это справедливо, тем более, что я буду трудиться для самого себя.

— Сколько у вас всадников под рукой?

— Тысяча двести.

— Хорошо! — сказал Бустаменте. — Более нам не нужно.

Явился Диего.

— Войска готовы, они ждут только приказаний вашего превосходительства, — сказал он.

— На лошадей. Едем! Едем! А вы, вождь, едете со мной?

— Пусть едет отец мой; мои воины и я пойдем за ним.

Через десять минут Бустаменте со всеми своими солдатами поскакал во весь опор к Вальдивии, Антинагюэль следил за ним некоторое время глазами со вниманием, потом вернулся к своим ульменам, говоря сквозь зубы.

— Оставим бледнолицых истреблять друг друга... для нас всегда будет время принять участие в этом деле!

На горе

Когда граф де Пребуа Крансэ пал под ударами неизвестных убийц, донна Розарио так испугалась, что потеряла сознание.

Когда она пришла в себя, была ночь. Несколько минут она пыталась сосредоточиться. Наконец это удалось ей, она глубоко вздохнула и прошептала голосом тихим и полным ужаса:

— Боже мой! Боже мой! Что случилось?

Потом, открыв глаза, она посмотрела вокруг себя.

Но ей не удалось что-нибудь увидеть: тяжелое одеяло лежало на ней и закрывало ей лицо. С тем упорством, которое отличает всех пленников и есть ни что иное, как инстинкт свободы, бедная девушка старалась отдать себе отчет в своем положении. Насколько могла она судить, она лежала на лошаке, между двумя тюками; веревка, обвязанная вокруг ее пояса, мешала ей встать, но руки ее были свободны. У лошака была неровная, тряская походка, свойственная этой породе: она заставляла молодую девушку на каждом шагу ужасно страдать. На донну Розарио набросили, вместо одеяла, лошадиную попону, без сомнения, затем, чтобы предохранить ее от обильной ночной росы, или, может быть, для того, чтобы не дать ей узнать дорогу, по которой ее везли.

Пленница потихоньку и с величайшими предосторожностями сняла попону с лица и осмотрелась. Ночь была темная. Луна проливала сквозь тучи слабый и тусклый свет.

Приподняв голову, молодая девушка успела рассмотреть нескольких всадников, ехавших позади и впереди лошака, который ее вез. Эти всадники были индейцы. Караван, довольно многочисленный — он, казалось, состоял из двадцати человек — ехал по узкой тропинке, проходившей между двумя крутыми горами. Тропинка эта шла довольно покато; лошади и лошаки, вероятно, утомленные продолжительной ездой, шли шагом. Молодая девушка, едва оправившись от недавнего обморока, не знала, сколько времени протекло после ее похищения; однако сосредоточившись и припомнив в котором часу она стала жертвой гнусного похищения, она рассчитала, что с тех пор, как она была в плену, прошло около двенадцати часов.

Вконец обессиленная бедняжка опустила голову, подавив вздох отчаяния и закрыв глаза, погрузилась в глубокое раздумье. Донна Розарио не знала, с кем она находилась. Много раз, это правда, дон Тадео говорил ей об ужасном враге, с ожесточением стремившемся погубить ее, об одной женщине, ненависть которой беспрестанно бодрствовала, готовая принести ее в жертву при первом благоприятном случае.

Но кто была эта женщина? Какова была причина этой ненависти. Не в руках ли этой женщины находилась она теперь? И если так, то зачем она не принесла уже ее в жертву своему мщению? По какой причине сохранена ее жизнь? Какая мука предназначается ей?

Эти мысли и еще многие другие проносились в уме молодой девушки. Незвестность была для нее ужасной мукой, так что даже самая суровая правда была бы для нее почти утешением. Человек так создан, что более всего боится неизвестного. Воображение создает страшные призраки, которые превосходят действительную опасность, как бы ни была она ужасна. Словом, осужденный, идущий на казнь, страдает более от опасений, которые причиняет ему страх смерти, ожидающей его, нежели будет он страдать от физической боли самой этой смерти.

Таково было положение донны Розарио; ум ее, отягченный беспокойством и мрачным предчувствием, заставлял ее опасаться страданий, о которых одна мысль леденила кровь в ее жилах.

Караван между тем продолжал путь. Он выехал из оврага и взбирался по тропинке, идущей по краю пропасти, в глубине которой шумели невидимые волны. Иногда

камень, выбитый копытом лошака, со зловещим шумом катился с горы и падал в бездну, которая оглашалась на минуту печальным звуком. Ветер свистел сквозь сосны и лиственницы, с ветвей которых частый дождь сухих иголок падал на путешественников. Иногда сова, спрятавшись во впадине скалы, издавала в темноте свои жалобные звуки, которые печально нарушали молчание. Неистовый лай слышался вдали; мало-помалу он делался слышнее и слышнее, прерываемый пронзительными голосами женщин и детей, старавшихся унять собак; вдали засверкали огни, и караван скоро остановился. Очевидно, путники приехали на место, где предполагалось провести остаток ночи. Молодая девушка осторожно осмотрелась; но пламя от факелов, колеблемое ветром, позволило ей различить только мрачные силуэты нескольких хижин и тени людей, суетившихся около нее с криками и хохотом. Ничего более. Похитители с криками и ругательствами разнуздывали лошадей, снимали тюки с мулов, вовсе не думая о молодой девушке.

Прошло довольно много времени. Донна Розарио не знала, как объяснить то, что о ней как будто забыли. Наконец она почувствовала, что какой-то человек взял за узду ее лошака и услышала хриплый голос, заставлявший его идти далее. Стало быть, она ошиблась? Она не тут должна остановиться? Но зачем же эта остановка? Зачем ее оставляет часть конвоя?

Однако на этот раз неизвестность недолго продолжалась: через десять минут лошака снова остановился. Человек, который вел его, подошел к молодой девушке. Он был в одежде чилийских поселян; на голове его была надета старая соломенная шляпа, широкие поля которой, надвинутые на лицо, не позволяли различить его черты. При виде этого человека молодая девушка задрожала.

Крестьянин, не говоря ни слова, снял попону, покрывавшую несчастную пленницу, развязал веревки и, взяв ее на руки легко, как ребенка, отнес в хижину, стоявшую в нескольких шагах. Растворенная настежь дверь, казалось, приглашала путников войти.

Внутри хижины было темно. Поселянин положил молодую девушку на землю с предосторожностью и заботливостью, которых она вовсе не ожидала. В ту минуту, когда этот человек таким образом наклонился к бедной девушке, он чуть слышным голосом шепнул ей:

— Мужайтесь и надейтесь!

Поспешно приподнявшись, незнакомец стремительно вышел из хижины, дверь которой затворил за собой. Донна Розарио осталась одна и тотчас встала на ноги. Двух слов, сказанных незнакомцем, было достаточно для того, чтобы возвратить ей присутствие духа.

Надежда, это высокое благо, которое Господь дал несчастным, чтобы помочь им переносить страдания, возродилась в ее сердце; молодая девушка почувствовала в себе силы для борьбы. Она знала теперь, что друг был рядом, что, в случае надобности, его помощь не заставит себя ждать; поэтому не с опасением, но почти с нетерпением ожидала она, чтобы ее похитители дали ей знать о себе.

Помещение, в котором находилась девушка, было очень темным, но мало-помалу глаза ее привыкли к темноте и напротив себя она заметила слабый свет, пробивавшийся сквозь щели дверей.

Тогда осторожно, чтобы не привлечь внимания невидимых караульных, которые, может быть, наблюдали за нею, молодая девушка протянула руки вперед, чтобы не наткнуться на что-нибудь и, прислушиваясь к малейшему шуму, подошла к тому месту, откуда брезжил свет. Чем ближе она подходила, тем ярче становился свет, и до нее начали долетать звуки голосов. Наконец ее протянутые руки дотронулись до двери; она наклонилась вперед и приложила ухо к щели. Она удержалась от крика удивления, и так как в эту минуту разговор, прерванный на секунду, возобновился, стала слушать.

Настороже

То, что она услышала, в особенности же то, что увидела, должно было в самом деле сильно заинтересовать донну Розарио.

В довольно большой комнате, слабо освещенной сальной свечкой, женщина, еще молодая и очень красивая, в костюме амазонки, чрезвычайно богатом, сидела в кресле из черного дерева, обитом кожей. В правой руке она держала хлыст с резным золотым набалдашником и с живостью говорила с человеком, который почтительно стоял перед ней со шляпой в руке.

Этот человек, как показалось донне Розарио, был тот самый, который запер ее в той комнате, где она находилась. Женщина, которой донна Розарио никогда не видала, была не кто иная, как донна Мария, бесстыдная куртизанка, пользовавшаяся, под именем Красавицы такой скандальной известностью.

Лицо донны Марии было освещено. Донна Розарио с жадностью устремила на нее глаза: она инстинктивно чувствовала, что это была та самая женщина, которая с самого ее рождения преследовала ее. Она понимала, что незнакомец и его повелительница совещаются и что через несколько минут участь ее решится. Однако донна Розарио чувствовала не страх, не ненависть, напротив, ею невольно овладела неизъяснимая грусть, какое-то сострадание влекло ее к той, которую она должна была ненавидеть

Собеседники, не знаящие, что их подслушивают, продолжали разговаривать довольно громко. Донна Розарио не пропускала ни одного слова.

— Почему, — спросила Красавица человека, стоявшего перед нею, — не приехал Жоан? Я ждала его.

Человек, к которому она обращалась, отвечал с плохо скрываемым замешательством:

— Жоан послал меня вместо себя.

— А по какому праву, — сказала Красавица надменным тоном, — этот негодяй позволяет себе поручать другим исполнение приказаний, которые я даю ему?

— Жоан мой друг, — возразил незнакомец.

— Какое мне дело, — возразила донна Мария с презрительной улыбкой, — до вашей дружбы?

— Поручение, которое вы ему дали, исполнено.

— Правда?

— Эта женщина там, — сказал поселянин, указывая пальцем на комнату, в которой находилась донна Розарио, — дорогой она не разговаривала ни с кем, и я могу уверить вас, что она не знает, в какое место привезли ее.

При этом известии взгляд донны Марии несколько смягчился, и она отвечала голосом менее резким и не столь надменным:

— Но почему же Жоан уступил вам свое место?

— О! — отвечал незнакомец с притворным добродушием, которое опровергалось его хитрым взглядом, — по очень простой причине: в настоящую минуту Жоан привлечен в долину черными глазами бледнолицей женщины, которые блестят как светлячки ночью; дом этой женщины выстроен в поле, в окрестностях деревни, которую вы называете, кажется, Кончепчйон. Хотя такое поведение и недостойно воина, но сердце Жоана беспрестанно летит к этой женщине совершенно против его воли, и пока он не успеет овладеть ею, он не образумится...

— Если так, — перебила Красавица, с досадой топая ногой, — то почему же он не похитил ее? Дурак!

— Я ему предлагал.

— Что же он сказал?

— Отказался.

Донна Мария пожала плечами.

— Все это, однако, не объясняет мне кто вы? — сказала донна Мария.

— Я ульмен в моем племени, великий воин между пузльчесами, — отвечал незнакомец с гордостью.

— А! — сказала Красавица с удовольствием. — Вы ульмен, хорошо! Могу я положиться на вашу верность?

— Я друг Жоана, — отвечал ульмен просто и кланяясь с уважением.

— Знаете вы эту женщину, которую вы привезли? — спросила донна Мария, бросив на него недоверчивый взгляд.

— Как я могу знать ее?

— Готовы вы повиноваться мне во всем?

— Мое повиновение будет зависеть от моей сестры... пусть она говорит, я буду отвечать.

— Эта женщина мне враг, — сказала Красавица.

— Стало быть, она должна умереть? — спросил ульмен грубо, глядя прямо в глаза Красавице.

— Нет! — вскричала она с живостью. — Индейцы звери, они ничего не понимают в мщении! Зачем мне ее смерть? Я хочу ее жизни!

— Пусть сестра моя объяснится, я ее не понимаю.

— Смерть — это только несколько минут страдания... потом все кончится.

— Смерть белых, может быть, но смерть индейскую надо ждать много часов... она не скоро является.

— Я хочу, чтобы она жила, говорю я вам!

— Она будет жить... Ах! — прибавил ульмен со вздохом. — Дом одного вождя пуст, очаг его погас.

— О! О! — перебила Красавица. — Так у вас нет жен?

— Они умерли.

— А в каком месте находится ваше племя в настоящую минуту?

— О! — отвечал индеец. — Очень далеко отсюда, в десяти днях ходьбы, по крайней мере.

Наступило молчание. Красавица размышляла. Донна Розарио удвоила внимание: она поняла, что узнает свою участь.

— А какой интерес удерживал вас в долинах? — спросила донна Мария, устремив вопросительный взгляд на индейца.

— Никакого. Я приехал с другими ульменами для возобновления договора.

— У вас не было других причин?

— Не было.

— Послушайте, вождь, вы, без сомнения, любовались четверкой лошадей, которая привязана к двери этой хижины?

— Благородные животные, — отвечал индеец, взгляд которого засверкал алчностью.

— Ну, от вас зависит, чтобы я подарила их вам.

— О! О! — вскричал ульмен с радостью. — Что надо сделать для этого?

Красавица улыбнулась.

— Повиноваться мне.

— Я буду повиноваться...

— Что бы я ни приказала?

— Что бы сестра моя ни приказала.

— Прекрасно; но помните хорошенько то, что я скажу вам: если вы меня обманете, я найду вас и отомщу.

— К чему мне вас обманывать?

— О, я знаю вашу индейскую породу: вы хитры и лукавы, всегда готовы изменить.

Зловещая молния сверкнула из глаз пуэльческого воина; однако ж он отвечал спокойным голосом:

— Сестра моя ошибается: ароканы честны.

— Посмотрим, — возразила донна Мария. — Как вас зовут?

— Канадский Бобрик.

— Хорошо. Слушайте же, Канадский Бобрик, что я вам скажу.

— Уши мои открыты.

— Эта женщина, которую вы привезли сюда по моему приказанию, не должна более видеть долин.

— Она их не увидит.

— Я не хочу, чтобы она умерла — слышите ли; она должна страдать, — сказала Красавица таким голосом, который заставил несчастную молодую девушку задрожать от страха.

— Она будет страдать.

— Да, — продолжала донна Мария, глаза которой засверкали, — я хочу, чтобы много лет терпела она ежеминутную муку; она молода, она будет иметь время напрасно призывать смерть, чтобы освободиться от своих бедствий, прежде чем смерть исполнит ее желание. За горами, далеко в пустыне, подле девственных лесов Гру-Хако, говорят, существуют орды свирепых и кровожад-

ных индейцев, которые смертельно ненавидят всех, принадлежащих к белой породе?

— Да, — меланхолически отвечал индеец, — я часто слышал об этих людях от старейшин; они живут только для убийства.

— Именно, — сказала Красавица со зловещей радостью. — Ну, вождь, считаете ли вы себя способным проехать эти обширные пустыни до Гру-Хако?

— Почему же бы мне этого не сделать? — отвечал индеец, с гордостью подняв голову. — Существуют ли довольно сильные препятствия, которые могли бы остановить ароканского воина? Лев царь лесов, орел царь неба, но окас царь льва и орла; пустыня принадлежит ему; лошадь и копье сделают его непобедимым властелином неизмеримого пространства!

— Итак, брат мой совершит это путешествие, считающееся невозможным?

Презрительная улыбка заиграла на минуту на губах дикого воина.

— Совершу, — сказал он.

— Хорошо! Брат мой вождь, я узнаю его теперь.

Индеец скромно поклонился.

— Итак, брат мой поедет и, приехав в Хако, продаст бледнолицую девушку гваякурорам.

Индеец не выказал никакого удивления на лице.

— Я продам ее, — отвечал воин.

— Хорошо! Брат мой будет верен?

— Я вождь; у меня только одно слово; язык мой не двойной. Но зачем отвозить так далеко эту бледнолицую женщину?

Донна Мария бросила на него пронизательный взгляд. Подозрение промелькнуло в ее мыслях; индеец заметил это.

— Я сделал только простое замечание сестре моей; а впрочем, мне до этого мало нужды; она будет отвечать мне только в таком случае, если захочет, — сказал он равнодушно.

Лоб Красавицы разгладился.

— Ваше замечание справедливо, вождь, и я буду отвечать вам. Зачем отвозить ее так далеко, спрашиваете вы меня?.. Затем, что Антинагюэль любит эту женщину; сердце его смягчилось к ней и потому, может быть, он растрогается ее просьбами, возвратит ее родным, а я не

хочу этого; она должна плакать кровавыми слезами, чтобы сердце ее разорвалось от непрерывного напора горечи, чтобы она наконец лишилась всего, даже надежды!

Произнеся эти последние слова, донна Мария встала, высоко подняв голову, со сверкавшим взором и подняв руку; в ее наружности было что-то роковое и страшное, испугавшее даже индейца, столь недоступного душевным движениям.

— Ступайте! — прибавила Красавица повелительным тоном. — Прежде чем эта женщина уедет, я хочу увидеть ее один только раз и поговорить с нею несколько минут. По крайней мере, она должна узнать меня... Приведите ее ко мне.

Индеец вышел, не отвечая. Столь прелестная и столь жестокая, донна Мария пугала его, внушала ему ужас. Донна Розарио, услышав страшный приговор, так холодно произнесенный против нее, упала почти без чувств на пол.

Лицом к лицу

Дверь той комнаты, в которой была заперта донна Розарио, вдруг растворилась, и индейский вождь показался при входе; он держал в руке грубую глиняную лампу, пламя которой, хотя очень слабое, позволяло различить предметы. Этот человек опять надел шляпу, и ее широкие поля скрывали черты его.

— Пойдемте, — грубо сказал он молодой девушке.

Донна Розарио, видя бесполезность сопротивления, которое могло быть опасно для нее среди окружавших ее разбойников, покорно склонила голову и молча последовала за своим проводником.

Донна Мария снова уселась в кресло; скрестив руки и опустив голову на грудь, она погрузилась в мрачные размышления. При легком шуме шагов молодой девушки она выпрямилась; молния ненависти сверкнула в ее глазах, движением руки приказала она индейцу удалиться.

Обе женщины с жадностью рассматривали друг друга; взгляды их встретились. Мертвое безмолвие царствовало в комнате; время от времени ветер врывается со зловещим стоном в щели дверей, потрясал старую хижину до самого основания и колебал пламя единственной свечки.

После довольно продолжительного времени, Красавица с тем умением, которым обладают женщины в такой высокой степени, разобрала одну по одной неисчислимые красоты восхитительного создания, которое, трепеща, стояло перед нею, и, побежденная очевидностью, заговорила глухим голосом, как бы говоря сама с собою:

— Да, она хороша; она имеет все, что может сделать ее восхитительной; ее достаточно увидеть раз, чтобы полюбить... Ну, эта красота, которая до сих пор составляла ее радость и гордость, скоро поблекнет от горя... Я хочу, чтобы, прежде чем пройдет год, она сделалась предметом презрения и жалости для всех. О! — прибавила она громким голосом. — Наконец-то мщение в моих руках.

— Что я вам сделала? За что вы меня так ненавидите? — сказала молодая девушка голосом, звук которого растрогал бы и тигра.

— Что ты мне сделала, бессмысленная тварь? — вскричала донна Мария. — Что ты мне сделала? Правда, ты ничего мне не сделала! — прибавила она с хриплым смехом.

— Увы! Я вас не знаю, и сегодня в первый раз вижу вас; я бедная девушка; жизнь моя до сих пор протекала в уединении; могла ли я оскорбить вас?

Донна Мария смотрела на нее с минуту с неизъяснимым выражением.

— Да, признаюсь, — отвечала она, — ты ничего мне не сделала! И лично, как ты сейчас сказала, мне не в чем упрекать тебя; но разве ты не понимаешь, что, заставляя тебя страдать, я мщу ему?

— Я не понимаю, что вы хотите сказать? — возразила молодая девушка простодушно.

— Безумная, ты играешь с львицей, готовой растерзать тебя; не выказывай более неведения, которым меня не обманешь; если ты еще не угадала моего имени, я скажу тебе его: я донна Мария... меня прозвали Красавицей, понимаешь ли теперь?

— Совсем не понимаю, — отвечала донна Розарио чистосердечным тоном, который невольно поколебал ее мучительницу, — я никогда не слышала вашего имени.

— Неужели это правда? — спросила донна Мария с сомнением.

— Клянусь вам.

Красавица начала ходить большими шагами по комнате. Донна Розарио, все более и более удивляясь, украдкой смотрела на эту женщину, не будучи в состоянии отдать себе отчета в волнении, которое она испытывала в ее присутствии и при звуках ее голоса; это была не боязнь, еще менее радость, но какая-то непонятная смесь грусти, жалости и ужаса. Какое-то необъяснимое чувство привлека-

ло ее к той, гнусные намерения которой не были уже для нее тайной и которой она по всему должна была опасаться.

Странная симпатия! То, что донна Розарио чувствовала к Красавице, Красавица чувствовала к донне Розарио; напрасно призывала она на помощь все оскорбления, в каких могла упрекнуть человека, которого хотела поразить; в самых тайных изгибах ее сердца, голос, все более и более сильный, говорил ей в пользу той, которую она приготовлялась принести в жертву своей ненависти; чем более старалась она преодолеть чувство, в котором не могла дать себе отчета, тем более чувствовала, что ее усилия были бесполезны; словом, она готова была растрогаться.

— О! — шептала она с бешенством. — Что происходит со мной, неужели я растрогалась?

Подобно тому, как индейские воины, привязанные к пыточному столбу, воспевают свои подвиги, чтобы придать себе бодрости мужественно перенести муки, безмолвно приготовляемые их палачами, Красавица припомнила все оскорбления, которыми осыпал ее дон Тадео, и со сверкающими глазами она вдруг остановилась перед донной Розарио.

— Послушай, молодая девушка, — сказала она голосом, дрожавшим от гнева, — в первый и последний раз видимся мы с тобой; я хочу, чтобы ты знала, почему я так тебя ненавижу. То, что ты узнаешь, может быть впоследствии послужит тебе утешением и поможет переносить мужественно горести, которые я тебе приготовляю!

— Я слушаю вас, — отвечала донна Розарио с ангельской кротостью, — хотя заранее уверена, что все вами сказанное не может ни в каком случае сделать меня виновной перед вами.

— Ты думаешь? — воскликнула Красавица тоном иронически-согласительным. — Ну, так выслушай меня... нам еще есть время поговорить; ты должна ехать через час.

Этот намек на скорый отъезд заставил молодую девушку задрожать и напомнил ей о том, сколько в этом отъезде заключалось для нее несчастий.

— Женщина, — продолжала Красавица, — молодая и прекрасная, даже прекраснее тебя, слабое дитя городов, которое малейшая гроза сгибает как тростник, женщина, говорю я, по любви вышла за человека также

молодого и прекрасного, как злой дух до падения. Этот человек вероломными, сладкими речами открыл перед ней неизмеримый и неведомый горизонт и так оболестил бедную сельскую девушку, что в несколько дней уговорил ее украдкой оставить дом, дом ее детства, в котором старик отец напрасно призывал дочь до самой своей смерти, чтобы благословить ее и простить.

— О! Это ужасно! — вскричала донна Розарио.

— Почему же? Он женился на ней; нравственность была удовлетворена в глазах света; эта женщина могла ходить, подняв голову перед толпой, которая присутствовала с хохотом и презрением при ее падении. Но все проходит на этом свете, а скорее всего любовь самого страстного мужчины. Через год после ее замужества, эта женщина одна, в самой отдаленной комнате своего жилища, оплакивала свое счастье, исчезнувшее навсегда; муж бросил ее. От этого союза родился ребенок, белокурая девочка, херувим с розовыми губками, в глазах которой отсвечивалась небесная лазурь; эта девочка служила единственным утешением в несчастье для бедной брошенной матери. В одну ночь, в то время как несчастная женщина была погружена в сон, муж ее как вор проник в ее жилище, схватил ребенка, несмотря на крики матери, ползавшей со слезами у его ног и умолявшей его всем святым на свете, и, грубо оттолкнув отчаявшуюся мать, которая без чувств упала на холодные плиты комнаты, этот человек без сердца и без жалости исчез с ребенком.

— А мать? — с беспокойством спросила донна Розарио, сильно тронутая этим рассказом, который Красавица приукрасила в свою пользу.

— Мать, — отвечала донна Мария тихим и прерывистым голосом, — никогда более не должна была видеть своего ребенка! Она никогда его не видела! Просьбы, угрозы, все было употреблено, но напрасно... Тогда эта мать, обожающая свое дитя, которая отдала бы за него всю жизнь, эта мать поклялась в ненависти к человеку, которого она так любила и который был так безжалостен к ней, в ненависти страшной, которая никогда не насытится! Теперь знаешь ли ты имя этой матери? Говори, знаешь ли? Нет, не правда ли? Ну! Эта мать я!.. Человек, похитивший у нее все ее счастье, человек, которого она ненавидит наравне с демоном, на которого он похож, этот человек дон Тадео!

— Дон Тадео!.. — вскричала донна Розарио, отступив от удивления.

— Да, — подтвердила Красавица с бешенством, — дон Тадео, твой любовник!

Молодая девушка бросилась к донне Марии и схватила ее руку так крепко, как будто хотела раздавить ее. Она приблизила свое лицо, пылавшее гневом, к лицу куртизанки, остолбеневшей от этой энергии, почти сверхъестественной в таком слабом ребенке, и вскричала с негодованием:

— Что вы осмелились сказать? Дон Тадео — мой любовник? Он?.. Вы лжете!

— Неужели это правда? — с живостью спросила Красавица. — Неужели я так грубо ошиблась? Но в таком случае, — прибавила она с недоверчивостью, — кто же вы? По какому праву держит он вас у себя?

— Кто я? — отвечала благородно молодая девушка. — Я вам скажу.

Вдруг послышался галоп нескольких лошадей, смешанный с криками и ругательствами.

— Что случилось? — вскричала донна Мария, побледнев.

— О! — проговорила донна Розарио, набожно сложив руки. — Боже мой! Не посылаешь ли ты мне освободителей?

— Ты еще не свободна, — сказала ей Красавица с жестокой улыбкой.

Шум между тем увеличивался, дверь сильно толкнули снаружи и несколько человек ворвались в комнату.

Битва

Множество сцен, которые мы должны еще рассказать, и требования нашего рассказа заставляют нас оставить донну Розарио и Красавицу и возвратиться в Вальдивию.

Вдохновленные героическим поступком Короля Мрака, Мрачные Сердца сражались с неслыханным ожесточением. Город покрылся баррикадами, против которых войска, оставшиеся верными Бустаменте, боролись напрасно.

Теснимые неприятелями, которые со всех сторон нападали на них, при криках, повторяемых тысячу раз: «Да здравствует Чили!», солдаты отступали шаг за шагом, оставляя один за другим различные посты, которые захватили в начале дела. Они укрепились на Большой Площади, которую, в свою очередь, также заставили баррикадами.

Город находился во власти Мрачных Сердец; битва сосредоточилась только на одном пункте и нетрудно было предвидеть за кем останется победа, потому что солдаты, подавленные безуспешностью своих нападений, сражались только затем, чтобы сдаться на почетных условиях.

Офицеры Бустаменте и сенаторы, которых он подкупил, чтобы сделать их своими сообщниками, содрогались при мысли об угрожавшей им участи, если они попадут в руки врагов. Успех оправдывает все: так как они не победили, они были изменниками Чили и как таковые не имели никакого права на капитуляцию.

Командовавший гарнизоном генерал, тот самый, который так самонадеянно объявил о смещении правитель-

ства, кусал себе губы от бешенства и проявлял чудеса храбрости, чтобы дать дону Панчо Бустаменте время приехать. Увидев, какой печальный оборот принимают дела, он наскоро послал нарочного. Этот нарочный был Диего, старый солдат, преданный Бустаменте.

— Вы видите, в каком мы положении, — сказал ему генерал в заключение, — вы должны приехать во что бы то ни стало...

— Я приеду, генерал, будьте спокойны, — отвечал неустрашимо дон Диего.

— А я постараюсь держаться до вашего возвращения.

Диего ворвался, очертя голову, в середину неприятельских рядов, вертя над головою своей саблей. Мрачные Сердца, изумленные вторжением одного человека, в первую минуту расступились перед ним, будучи не в состоянии сопротивляться натиску этого демона, который казался неуязвимым и при каждом ударе безжалостно поражал своих врагов.

Диего искусно воспользовался беспорядком, произведенным им в рядах неприятеля и, после гигантских усилий, сумел наконец выехать из города. Как только храбрый солдат очутился в безопасности, лихорадочное напряжение, до тех пор поддерживавшее его, вдруг спало, и он был вынужден остановиться, чтобы перевести дух и привести в порядок свои мысли.

Старый солдат вымыл водкой бока и ноздри своей лошади, потом, исполнив эту обязанность и поняв наконец, что участь его товарища зависит от быстроты, с какою он исполнит данное ему поручение, опять прыгнул в седло и полетел с быстротою стрелы.

Бустаменте не колебался ниминутой. Он слишком хорошо знал, какую огромную выгоду получит от успеха и какой неизгладимый урон ждет его, если он будет побежден. Если победа останется за ним, путь его до Сантьяго будет триумфальным шествием; между тем в том случае, когда ему придется бежать из Вальдивии, его будут преследовать как лютого зверя, и он будет вынужден искать спасения или в Боливии, или в Буэнос-Айресе. Поэтому генералом овладело одно из тех холодных бешенств, которые тем страшнее, что не могут вылиться наружу.

Всадники ехали в облаке пыли, поднимаемым копытами их лошадей; они летели как вихрь с громовым шу-

мом. На расстоянии двух-трех саженей, впереди солдат, дон Панчо, склонясь на шею лошади, с лицом бледным и сжатыми губами, скакал во всю прыть, устремив глаза на высокие колокольни Вальдивии, мрачные силуэты которых все более и более увеличивались на горизонте.

За полмили от города, Бустаменте остановил свое войско. Был слышен звук ружейных и орудийных выстрелов. Битва продолжалась.

Бустаменте поспешил сделать последние приготовления. Пехотинцы сошли на землю и образовали отряды. Оружие было заряжено. С нашей европейской точки зрения, так как мы привыкли видеть столкновение больших масс, войско, приведенное генералом Бустаменте, было немногочисленно; оно состояло только из восьмисот человек.

Мы хотим сказать, что победа преимущественно остается за более многочисленными батальонами; но в Америке, где самые значительные армии часто состоят только из двух-трех тысяч человек, обыкновенно самый искусный или самый смелый остается властелином поля битвы.

Дон Панчо Бустаменте был грубый солдат, привыкший к междоусобным войнам, которые, по большей части, состоят только из смелых вылазок. Одаренный беспримерным мужеством, чрезвычайной смелостью и огромным честолюбием, он приготовился хладнокровно поправить яростной атакой свои дела.

Окрестности Вальдивии — настоящий английский парк, с боскетами, фруктовыми садами и быстрыми источниками, которые впадают в реку. Бустаменте легко было скрыть свое появление. Два солдата были посланы на разведку. Они вернулись через несколько минут; окрестности города были пусты; Мрачные Сердца сконцентрировались внутри и, по словам разведчиков, с неосторожностью граждан, превратившихся вдруг в воинов, не оставили резервов и даже не выставили часовых, чтобы оградить себя от неожиданного нападения.

Эти известия, вместо того, чтобы возвратить генералу Бустаменте спокойствие, заставили его нахмурить брови. Старый солдат предчувствовал засаду, и между тем как его офицеры насмехались над ученой тактикой Мрачных Сердец, он счел необходимым удвоить предосторожности.

Войско было разделено на два корпуса, которые должны были в случае необходимости поддерживать друг

друга. Так как надлежало атаковать город, весь перегороженный баррикадами, копыеносцы получили приказание спешиться, чтобы поддержать пехоту; только эскадрон в сто человек остался верхом, спрятавшись не-подалеку, чтобы прикрывать отступление или рубить беглецов, если нападение удастся.

Сделав эти распоряжения, Бустаменте произнес перед солдатами пламенную речь, в которой обещал, в случае успеха, дать позволение грабить город; потом стал во главе первого отряда и отдал приказ двинуться.

Войско пошло тогда по-индейски, укрываясь за каждой возвышенностью и за каждым деревом, находившимся перед ними. Таким образом оно дошло, не возбудив тревоги, на пистолетный выстрел от города. Мрачное безмолвие, царствовавшее вокруг него, совершенная тишина в окрестностях составляли печальный контраст с ружейными и пушечными выстрелами, которые внутри его с каждой минутой становились все сильнее и сильнее, и удваивали беспокойство Бустаменте. Мрачное предчувствие предупреждало его, что ему угрожает большая опасность, которой он не знал как избежать, потому что ему не было известно, какого она рода.

Всякая нерешимость в эту минуту могла повлечь за собою незагладимое несчастье. Бустаменте сильно сжал эфес шпаги в своей руке и, обратившись к солдатам, закричал громким голосом:

— Вперед!

Отряд, ожидавший только этого приказа, бросился с криком и быстро преодолел пространство, разделявшее его от города. Окна, двери, все было закрыто; если бы не отдаленный звук ружейной перестрелки, слышавшейся в центре города, его можно было бы счесть пустым. Первый отряд, не находя препятствий перед собою, продолжал путь; второй немедленно вошел вслед за ним.

Тогда вдруг спереди, сзади и по бокам обоих отрядов раздались грозные крики, и в каждом из окон показались люди с ружьями. Дон Панчо Бустаменте был окружен: он попал, да простят нам пошлость этого сравнения, как крыса в ловушку. Солдаты, удивленные на секунду, тотчас оправились и с бешенством ринулись на двойной барьер, окружавший их. Но напрасно бросались храбрые, они не могли разорвать его. Они поняли тогда, что

погибли, что им нечего ждать пощады и приготовились умереть мужественно.

Бустаменте бросал вокруг себя свирепые и отчаянные взоры, отыскивая, но без успеха, выхода из этой толпы, грозно уставившей против него штыки и окружившей его.

Некоторые авторы часто забавлялись на счет американских сражений, в которых, по их словам, две армии всегда стараются встать друг от друга далее пушечного выстрела, так что у них никогда не бывает ни одного убитого. Эта шутка очень дурного вкуса приняла теперь размеры клеветы, которую следует опровергнуть, потому что она касается чести южных американцев, которые одарены неустрашимым мужеством, блистательно проявившимся во время войны за независимость против испанцев. К несчастью, ныне это мужество истребляется в междоусобных войнах и совершенно бессознательно.

Три раза солдаты Бустаменте бросались на неприятеля и три раза были отражаемы с огромным уроном. Сражение было ужасно, беспощадно; дрались холодным оружием, грудь против груди, до последнего дыхания, и падали только мертвые. Число их в этой страшной резне мало-помалу убавлялось; остальные отступали. Пространство, занимаемое ими, все уменьшалось, и недалеко была минута, когда они должны были исчезнуть под приливом новых сил неприятеля, все подвигавшихся и угрожавших подавить их под своей неотразимой массой.

Бустаменте собрал человек пятьдесят, решившихся умереть или проложить себе дорогу, и сделал последнее усилие. Это была вылазка героев. Несколько минут две массы, устремившиеся одна на одну, оставались почти неподвижны, от самой силы натиска. Дон Панчо вертел своею шпагою вокруг себя и, приподнявшись на стременах, уничтожал все, что ему сопротивлялось.

Вдруг перед ним явился человек, совершенно неожиданно, как твердая скала, изверженная из глубины моря. При виде его Бустаменте невольно отступил, заглушив в себе крик удивления и бешенства. Этот человек был дон Тадео, его смертельный враг, тот, которого он уже осудил на смерть и который каким-то непонятным образом пережил свою казнь. Ныне Господь поставил этого врага перед ним для того, чтобы он был орудием своего мщения и причиной его гибели и стыда!

Лев при последнем издыхании

— Боже мой, — сказал Бустаменте, — не призрак ли вижу я?

— А! А! — отвечал Король Мрака с иронической улыбкой. — Вы меня узнаете, генерал?

— Дон Тадео де Леон! — вскричал дон Панчо с ужасом. — Неужели мертвецы выходят из могилы? О! Я надеялся, что известие, переданное мне, было ложно... это вы!

— Да, — возразил дон Тадео мрачным голосом, — вы не ошибаетесь, дон Панчо, я действительно дон Тадео де Леон, тот, кого вы велели расстрелять на Большой Площади Сантьяго! Ваши шпионы сделали вам справедливое донесение.

— Человек или демон! — вскричал Бустаменте с яростью. — Я буду сражаться с тобою и заставлю тебя провалиться в ад, из которого ты выбрался!

Враг его улыбнулся с презрением.

— Час ваш настал, дон Панчо, — сказал он, — вы принадлежите правосудию Мрачных Сердец.

— Ты еще не захватил меня, негодяй! Если я не в состоянии победить, я сумею умереть с оружием в руках!

— Нет, ваш час пробил, говорю я вам; вы принадлежите нам, вы умрете, но не смертью воина, вы будете казнены нашим правосудием!

— Ну! — заревел Бустаменте, махая шпагой. — Возьмите же меня, когда так!

Дон Тадео не удостоил отвечать. Он сделал знак, и аркан, брошенный невидимой рукой, со свистом опустился на плечи Бустаменте. Прежде чем генерал, удивленный этим неожиданным нападением, мог решиться на невозможное сопротивление, он был уже вырван из седла, увлечен в толпу неприятелей.

Бустаменте был вне себя; обезумев от горя и стыда, он делал напрасные усилия: аркан давил ему горло, лицо его побагровело, глаза, налившиеся кровью, казалось, хотели выскочить из своих орбит, белая пена выступила на бесцветных губах. Дон Тадео смотрел на него с минуту с выражением сострадания и вместе с тем торжества.

— Снимите с генерала этот аркан, — сказал он, — и стерегите его, но с величайшим уважением.

Солдаты, испуганные этой ужасной развязкой, которой они вовсе не ожидали, оставались мрачны, унылы и в своем остоленении даже не подумали продолжать битву.

Дон Тадео обратился к ним, говоря:

— Сдайтесь, сдайтесь; человек, сбивший вас с настоящего пути, в нашей власти; вам будет оставлена жизнь.

Солдаты совещались с минуту глазами, потом все бросили ружья, закричав с порывом:

— Да здравствует Чили!

— Хорошо, — ответил дон Тадео, — теперь выйдите из города, станьте за милю от него и ожидайте приказаний, которые скоро будут даны вам.

Побежденные, потупив головы, отправились по той же дороге, по которой пришли; они прошли безмолвные ряды Мрачных Сердец, которые расступались, чтобы пропустить их.

Не теряя времени, дон Тадео с толпою партизан направился к Большой Площади, где битва все еще продолжалась. Укрепившись на площади, солдаты сражались храбро, еще надеясь на помощь, которую должен был подать им Бустаменте. Участь генерала была им еще неизвестна. Хотя число их значительно уменьшалось, они все еще занимали грозную позицию, из которой их почти невозможно было выбить, не решившись на огромный урон. В том убеждении, что им стоило только выиграть время, солдаты сражались с энергией и отчаянием, защищая шаг за шагом баррикады, за которыми они укрывались.

Между тем день близился к концу, заряды солдат истощались, большая часть товарищей их лежала у их ног, и ничто еще не предвещало, чтобы помощь, так нетерпеливо ожидаемая, была близка. В пылу схватки, храбрецы не слышали шума битвы дон-Панчо у городских ворот, тем более, что ружейных выстрелов было немного, а потом дело продолжалось холодным оружием. Мало-помалу отчаяние начало овладевать самыми мужественными. Генерал, командовавший ими, сам чувствовал, что энергия его уменьшается, и бросал вокруг себя тревожные взоры.

Угрюмый сенатор, читавший декларацию, потупив глаза, дрожал всеми членами; он жалел, но слишком поздно, что необдуманно попал в этот капкан, и давал обеты многочисленным праведникам испанской церкви, если ему удастся выйти здоровым и невредимым из той опасности, в которой он находился. Достойный человек вовсе не был воинственным, и мы можем смело уверить, без опасения быть опровергнутыми, что если бы он имел хоть малейшее подозрение, что дело повернется таким образом, он преспокойно остался бы себе на своей очаровательной ферме *Sergo-Azul*, в окрестностях Сантьяго, где жизнь его протекла так приятно, так счастливо и в особенности так безопасно.

К несчастью, как это часто случается на белом свете, где не все идет к лучшему, дон Рамон Сандиас — так назывался сенатор — не умел ценить прелестей приятной сельской жизни; честолюбие ужалило его в сердце, тогда как ему не оставалось ничего желать, и несчастный, как мы сказали, застрял в капкане, из которого теперь не знал как вырваться.

При каждом ружейном выстреле бедный сенатор вскакивал с места, таращил глаза и если иногда, несмотря на принятые им предосторожности, зловещий свист пули раздавался в его ушах, он бросался ничком на землю, бормоча все молитвы, какие только мог припомнить в своем положении.

В первые минуты, кривлянья и крики дон-Рамона Сандиаса очень забавляли офицеров и солдат; они даже нарочно увеличивали его страх; но наконец, — что случается в подобных обстоятельствах гораздо чаще нежели думают, — шутки прекратились; мало-помалу страх дон-Рамона сообщился насмешникам, которые с ужасом

видели, что их положение становилось с каждой минутой безвыходнее.

— Черт побери труса! — сказал наконец генерал сенатору. — Неужели вы не можете дрожать не так сильно? Утешьтесь, ведь вас убьют только один раз.

— Легко вам говорить, — отвечал сенатор прерывающимся голосом, — я не военный; это ваше ремесло такое, что вас должны убить, для вас это все равно.

— Гм! — возразил генерал. — Не столько как вы думаете! Но успокойтесь, если это продолжится еще, нам всем придет конец.

— Э! Что вы говорите? — прошептал бедняга с удвоенным ужасом.

— Ясно как день, что если дон Панчо не поторопится придти к нам на помощь, мы все здесь погибнем.

— Но я не хочу умирать, — вскричал сенатор, залившись слезами, — я не солдат. О! Умоляю вас, мой добрый, мой почтенный дон Тибурчио Корнейо, позвольте мне уйти!

Генерал пожал плечами.

— Какое вам дело до этого? — продолжал сенатор умоляющим голосом. — Спасите мне жизнь, научите меня, как я должен выбраться из этой проклятой сумятицы?

— Откуда я знаю? — отвечал генерал с нетерпением.

— Послушайте, — сказал сенатор, — вы мне должны две тысячи пиастров, которые я выиграл у вас в monte, неправда ли?

— Ну что ж далее? — спросил генерал, раздосадованный этим неприятным воспоминанием.

— Дайте мне средство выбраться отсюда, и я не возьму с вас этих денег.

— Вы дуралей, дон Рамон; неужели вы думаете, что если бы я мог выбраться отсюда, я остался бы здесь?

— Вы мне не друг, — сказал сенатор с унынием, — вы хотите моей смерти, вы жаждете моей крови.

Словом, бедняга почти помешался; он сам не знал что говорил; страх лишил его и того небольшого здравого смысла, который оставался в нем. Впрочем, положение генерала Корнейо становилось все более и более критическим: резня была страшная; солдаты падали один за другим под ударами Мрачных Сердец, засевших во всех углах площади.

Две или три вылазки, которые предпринял дон Тибурчио, были отражены; не пытаясь более, солдаты увидели себя вынужденными заботиться только о том, чтобы их укрепления не были разрушены.

Вдруг сенатор подпрыгнул как ужаленный, бросился к генералу и, схватив его за руку, закричал:

— Мы спасены! Слава Богу, мы спасены!

— Что хотите вы сказать, дон Рамон! Что с вами сделалось? Вы окончательно помешались?

— Я не помешался, — отвечал сенатор, — мы спасены, я говорю вам, что мы спасены!

— Что? Что случилось? Не дон ли Панчо идет наконец к нам на помощь.

— Какой дон Панчо! Я хотел бы, чтобы он провалился в ад!

— Что же такое?

— Как? Разве вы не видите ничего? Посмотрите, за баррикадами, вон на том углу?

— Ну?

— Парламентерский флаг, белый флаг!

— Посмотрим, посмотрим! — вскричал генерал. — Точно, правда! — прибавил он через минуту. — Да здравствуют трусы.

— То-то? А я так увидел! — сказал дон Рамон, потирая руки, развеселившись и начиная ходить с нетерпением.

В эту минуту пуля пролетела мимо него, засвистев над самым ухом.

— Милосердный Боже! — закричал он, упав на землю, где остался неподвижен словно мертвый, хотя не получил ни одной царапины.

Между тем генерал тоже велел выкинуть парламентерский флаг на окопах и приказал прекратить перестрелку. Сражение кончилось. Не слыша более ничего, сенатор как кролик, украдкой выглядывающий из норы, осторожно поднял голову. Успокоившись царствовавшей тишиной, он боязливо приподнялся и начал осматриваться во все стороны. Убедившись наконец, что опасность прошла, он встал на ноги, которые однако еще дрожали и с трудом поддерживали его.

Парламентер

Как только парламентерский флаг был выкинут, перестрелка прекратилась с обеих сторон; солдаты дона Тибурчио, уже не надеявшиеся получить помощь, обрадовались, что неприятель спас их военную честь, прислав первый парламентера. В особенности сам генерал утомился безуспешной борьбой, которую храбро вел с утра.

— Э! Дон Рамон, — сказал он, обращаясь к сенатору тоном более дружеским, нежели каким говорил до сих пор, — кажется, я наконец нашел средство избавить вас от смерти; стало быть, наше условие остается во всей силе, не так ли?

Сенатор взглянул на него с изумлением; достойный человек вовсе не помнил того, что страх заставил его сказать в то время, как пули свистели в ушах его.

— Я совсем вас не понимаю, генерал, — отвечал он.

— Притворяйтесь-ка невинным, — отвечал дон Тибурчио, со смехом ударив его по плечу.

— Клянусь вам честью, дон Тибурчио, — настаивал сенатор, — я вовсе не помню, обещал ли я вам что-нибудь.

— А!.. Впрочем, это может быть, потому что вы очень боялись; но подождите, я освежу вам память.

— Вы сделаете мне удовольствие.

— Сомневаюсь, но все равно. Не прошло еще и часа, как вы мне сказали на этом самом месте, где мы стоим, что если я найду средства избавить вас от опасности, вы не возьмете с меня двух тысяч пиастров, которые я вам проиграл.

— Вы думаете? — спросил сенатор, в котором пробудилась жадность.

— Я это знаю наверно, — отвечал генерал. — Спросите этих господ, — прибавил он, указывая на офицеров, стоявших возле.

— Это правда, — подтвердили они, смеясь.

— А!

— Да, и так как я не хотел вас слушать, вы еще прибавили...

— Как? — вскричал, подпрыгнув, дон Рамон, который хорошо знал с кем имел дело. — Разве и еще прибавил что-нибудь?

— Как же, — сказал генерал, — вот ваши собственные слова. Вы сказали: я прибавляю еще тысячу.

— О! Не может быть, — вскричал сенатор вне себя.

— Может быть, я дурно расслышал?

— Именно!

— Мне даже кажется, — бесстрастно продолжал генерал, — что вы обещали две тысячи...

— Нет!.. Нет!.. — вскричал дон Рамон, смутившись от смеха присутствующих.

— Вы думаете, что больше? Очень хорошо. Не будем спорить...

— Я не говорил ни слова! — вскричал сенатор, раздраженный до крайности.

— Стало быть, я солгал! — сказал генерал строгим тоном, нахмурив брови и пристально смотря на старика.

Дон Рамон понял, что сбился с пути и одумался.

— Извините, любезный генерал, — сказал он с самым любезным видом, какой только был для него возможен, — вы совершенно правы; да, в самом деле, я теперь помню, я точно обещал вам прибавить две тысячи.

Пришла очередь генерала изумиться: подобная щедрость сенатора, скупость которого вошла в пословицу, заставила его остоленеть; он почуял ловушку.

— Но, — прибавил дон Рамон с торжествующим видом, — вы меня не спасли!

— Как это?

— Мы парламентируем; вы тут ни в чем не причинной и наше условие уничтожено.

— А! — сказал дон Тибурчио с насмешливой улыбкой. — Вы думаете?

— Я в этом уверен!

— Ну, так вы ошиблись, любезный друг, и я сейчас докажу вам это... пойдете со мной; вот неприятельский

парламентер переходит через баррикады; через минуту вы узнаете, что, напротив, вы никогда не были так близки к смерти, как теперь.

— Вы смеетесь?

— Я никогда не шучу в серьезных обстоятельствах.

— Объясните же, ради Бога! — вскричал бедный сенатор, весь страх которого вернулся.

— О! Боже мой, это очень просто, — небрежно сказал генерал, — мне стоит только сказать вождю неприятелей — и поверьте, я непременно это сделаю, — что я действовал по вашему приказанию.

— Но это неправда, — перебил дон Рамон с ужасом.

— Я знаю, — отвечал генерал с самоуверенностью, — но так как вы сенатор, мне поверят; вас расстреляют, а мне будет очень жалко.

Дон Рамон был поражен, как громом, страшной логикой генерала и понял, что попал в безвыходное положение, из которого не мог выбраться без выкупа; он взглянул на *своего друга*, который устремил на него взор безжалостно-иронический, между тем как другие офицеры кусали себе губы, чтобы не расхохотаться. Старик подавил вздох и решился, мысленно проклиная того, кто грабил его таким циническим образом.

— Ну, дон Тибурцио, — сказал он, — это решено, я должен вам две тысячи пиастров и уж конечно заплачу их вам.

Это была единственная дерзость, которую он позволил себе относительно генерала. Но тот был великодушен; он пропустил это слово, оскорбительное для него, и обрадовавшись заключенному договору, приготовился слушать предложения парламентаря, которого к нему привели с завязанными глазами.

Этот парламентер был сам дон Тадео.

— Зачем вы пришли сюда? — резко спросил его генерал.

— Предложить вам хорошие условия, если вы захотите сдаться, — отвечал дон Тадео твердым голосом.

— Сдаться! — вскричал генерал насмешливым тоном. — Вы с ума сошли, сеньор!

Он обернулся тогда к солдатам, которые привели парламентаря, и сказал:

— Снимите повязку с глаз этого господина...

Повязка была снята.

— Видите, — гордо продолжал генерал, — похожи ли мы на людей, просящих помилования?

— Нет, генерал, вы твердый солдат, и войско ваше храбро; вы не просите у нас помилования; мы сами предлагаем вам положить оружие и прекратить эту братоубийственную битву, — благородно возразил дон Тадео.

— Кто вы такой? — спросил генерал, пораженный тоном человека, говорившего с ними.

— Я дон Тадео де Леон, которого ваш начальник велел расстрелять.

— Вы? — закричал генерал. — Вы здесь?

— Да! У меня есть еще и другое имя.

— Жду, чтобы вы мне его сказали.

— Меня зовут Король Мрака.

— Вождь Мрачных Сердец, — прошептал генерал, взглянув на дону Тадео с тревожным любопытством.

— Да, генерал, я вождь Мрачных Сердец, но это еще не все.

— Объяснитесь, сеньор, — спросил генерал, не знавший уже как себя держать перед страшным человеком, который говорил с ним.

— Я вождь тех, которые взялись за оружие для того, чтобы защищать законы, которые вы нарушили таким недостойным образом.

— Сеньор! — сказал генерал. — Ваши слова...

— Строги, но справедливы, — перебил дон Тадео, — спросите ваше благородное солдатское сердце, генерал, потом отвечайте, на чьей стороне право.

— Я не адвокат, сеньор, — отвечал дон Тибурчио с нетерпением, — вы сами сказали, что я солдат и следовательно должен, не рассуждая, повиноваться приказаниям, которые получаю от моих начальников.

— Не будем терять времени на напрасные слова, сеньор; хотите вы положить оружие, да или нет?

— По какому праву делаете вы мне подобное предложение? — сказал генерал, гордость которого возмущалась тем, что он должен вести переговоры не с военным.

— Я мог бы вам отвечать на это, — сухо возразил дон Тадео, — что действую так по праву сильного, что вы, конечно, знаете так же хорошо, как и я; кроме того, я мог бы сказать вам, что вы сражаетесь за проигранное дело и продолжаете без пользы безумную борьбу, но, — прибавил он грустно, — я предпочитаю обратиться к вашему сердцу и

сказать вам: зачем резаться соотечественникам, братьям, зачем долее проливать драгоценную кровь? Объявите мне ваши условия, генерал, и поверьте, чтобы спасти вашу солдатскую честь, эту честь, которая принадлежит также и нам, потому что в войске, против которого мы сражаемся, находятся наши родные и друзья, мы согласимся на такие условия, какие вы сами предложите.

Генерал растрогался; этот благородный язык нашел отголосок в его сердце; он склонил голову и размышлял несколько минут, потом отвечал:

— Поверьте, что мне тяжело отвечать не так, как я бы хотел, на то, что вы удостоили сказать мне, но у меня есть начальник выше меня.

— В свою очередь объяснитесь, — сказал дон Тадео.

— Я поклялся дону Панчо Бустаменте защищать его дело до самой смерти. Итак, пока дон Панчо Бустаменте не убит и не в плену, в каковых случаях я буду считать себя разрешенным от данной мною клятвы, я буду сражаться до самой смерти.

— И это единственная причина, останавливающая вас, генерал?

— Единственная.

— Если же генерал Бустаменте убит или в плену, вы сдадитесь?

— Сию же минуту, повторяю вам.

— Ну! — продолжал дон Тадео, протянув руку по направлению той баррикады, через которую он пришел, — так взгляните сюда, генерал.

Дон Тибурчио последовал глазами по указанному направлению и вскрикнул от удивления и горести. Генерал дон Панчо Бустаменте появился наверху баррикады с обнаженной головой; два вооруженных человека наблюдали за всеми его движениями.

— Вы видели? — спросил дон Тадео.

— Да, — грустно отвечал генерал, — мы все сдаемся. И он хотел сломать свою шпагу.

Дон Тадео остановил его, взял шпагу и тотчас же отдал ее назад.

— Генерал, — сказал он, — сохраните это оружие; оно послужит вам против врагов нашей милой отчизны.

Генерал не отвечал, он молча пожал руку, протянутую ему Королем Мрака, и, отвернувшись скрыть волнение, теснившее ему грудь, отер слезу, упавшую на его седые усы.

Два мошенника

Город был спокоен. Битва кончилась, или лучше сказать, переворот совершился. Солдаты, сложив оружие, оставили Вальдивию, которая находилась совершенно во власти Мрачных Сердец. Король Мрака дал приказание, чтобы баррикады были уничтожены и чтобы следы битвы, покрывшей кровью город, исчезли как можно скорее.

Единственно силою совершившихся событий, дон Тадео очутился главным начальником провинции с диктаторской властью.

— Ну? — спросил он Валентина. — Что вы думаете о тех событиях, которые совершились перед вашими глазами?

— Я думаю, — отвечал парижанин с бесцеремонностью, отличавшей его, — что надо приехать в Америку для того, чтобы видеть, что людей ловят на удочку как окуней.

Дон Тадео не мог удержаться от улыбки.

— Не оставляйте меня, — сказал он Валентину, — еще не все кончено.

— Я очень рад. Но как вы думаете, не должно ли наше продолжительное отсутствие беспокоить наших друзей?

— Неужели вы думаете, что я забыл о них? Нет, нет, друг мой, через час вы будете свободны. Пойдемте со мною, я вам покажу лица, которым наша победа придала выражение совсем не похожее на то, которое бывало у них обыкновенно.

— Это будет любопытно, — сказал Валентин, смеясь.

— Да любопытно, или отвратительно, если хотите, — отвечал дон Тадео, задумавшись.

— Гм! Человек еще не вполне совершен, — философски заметил Валентин.

— К счастью, тогда он был бы гнусен, — возразил дон Тадео.

Они вошли в ратушу, ворота которой охранял отряд Мрачных Сердец. Обширные залы ее были загромождены толпой, которая пришла поклониться восходящему солнцу, то есть представить зрелище своей низости счастливому человеку, которого она, без сомнения, закидала бы камнями, если бы успех не увенчал его смелость.

Дон Тадео прошел сквозь ряды просителей без чести и без стыда, обладающих только одним дарованием — сгибать спину так, что казалось бы невозможным для спинного хребта человека, как бы ни был он гибок.

Валентин, шаг за шагом следовавший за своим другом, притворялся будто принимает на свой счет поклоны, расточаемые дону Тадео, и кланялся направо и налево с непоколебимым хладнокровием и самоуверенностью. Медленно продвигаясь в толпе, все прибывавшей, дон Тадео и Валентин достигли наконец уединенной залы, в которой находилось только два человека.

Эти два человека были дон Тибурчио Корнейо и сенатор дон Рамон Сандиас, физиономия этих двух человек составляла поразительный контраст.

Генерал с печальным лицом, с нахмуренными бровями, задумчиво ходил по зале, между тем как сенатор, небрежно развалившись на креслах, с улыбкой на губах, с сияющим лицом, положив одну ногу на другую, обмахивался тонким батистовым платком.

При виде дона Тадео генерал быстро подошел к нему, сенатор выпрямился на кресле, принял строгий вид и ждал.

— Два слова, сеньор, — сказал генерал шепотом.

— Говорите, генерал, — отвечал дон Тадео, — я совершенно к вашим услугам.

— Я желаю задать вам несколько вопросов.

— Поверьте, что если я могу вам отвечать, генерал, я не замедлю удовлетворить ваше желание.

— Я в этом убежден, потому-то и беру смелость обратиться к вам.

— Я вас слушаю.

Генерал колебался с минуту. Наконец он решился.

— Боже мой, — сказал он, — я старый солдат, ничего не понимаю в политике; у меня был друг, почти брат, меня пожирает смертельное беспокойство о нем.

— Кто же этот друг?

— Генерал Бустаменте, вы понимаете, — прибавил он с живостью, — мы были вместе солдатами; я знаю его тридцать лет и желал бы...

Он остановился и взглянул на дона Тадео.

— Вы желали бы чего? — бесстрастно повторил дон Тадео.

— Узнать предназначенную для него участь.

Дон Тадео бросил печальный взгляд на генерала.

— К чему? — прошептал он.

— Прошу вас.

— Вы требуете?

— Да.

— Генерал Бустаменте великий преступник; он хотел изменить форму правления, вопреки законам, которые он бесстыдно растоптал ногами.

— Это правда, — сказал дон Тибурчио, лицо которого покрылось внезапной краской.

— Бустаменте был неумолим во время своей слишком продолжительной карьеры, а вы конечно знаете, что тот, кто сеет ветер, может пожать только бурю.

— Итак?

— Закон будет неумолим к нему, как он был неумолим к другим.

— То есть?

— То есть он вероятно будет приговорен к смертной казни.

— Увы! Я этого ожидал, но когда же будет произнесен этот приговор?

— Дня через два; комиссия, которая должна судить его, будет собрана сегодня же.

— Бедный друг! — жалобно сказал генерал. — Можете ли вы сделать мне одно одолжение?

— Говорите.

— Если генерал должен умереть, для него было бы утешением иметь возле себя друга.

— Без сомнения.

— Позвольте же мне охранять его, я уверен, что он будет рад, когда узнает, что мне поручено вести его на смерть; притом, я, по крайней мере, не оставлю его до последней минуты.

— Хорошо, просьба ваша будет исполнена; я рад, что могу сделать вам приятное. Имеете вы еще что-нибудь сказать мне?

— Нет, благодарю вас; это все, чего я желал. Позвольте, еще одно слово...

— Говорите.

— Скоро могу я приступить?

— Сейчас же, если вам угодно.

— Благодарю.

Низко поклонившись дону Тадео, генерал вышел торопливыми шагами.

— Бедняжка! — сказал Валентин.

— Что вы говорите? — спросил дон Тадео.

— Я говорю — бедняжка!

— Я очень хорошо слышал, но о ком вы говорите?

— О том несчастном, который вышел отсюда.

Дон Тадео пожал плечами. Валентин бросил на него удивленный взгляд.

— Знаете ли вы, откуда происходит в бедном человеке, как вы его назвали, эта заботливость о друге?

— От его дружбы, это ясно.

— Вы думаете?

— Конечно.

— Ну, так вы очень ошибаетесь, друг мой; этот бедный генерал желает быть возле своего бывшего товарища по оружию только для того, чтобы иметь возможность уничтожить доказательства своего сообщничества, доказательства, которые дон Панчо, вероятно, носит при себе. Генерал Корнейо хочет уничтожить их во что бы то ни стало.

— Возможно ли?

— Боже мой, да; он хочет быть при пленнике ежедневно, чтобы не допустить его общения с кем бы то ни было... он убьет его в случае надобности.

— Но это ужасно!

— Однако ж это так.

— Это отвратительно... я уйду отсюда.

— Подождите еще немножко.

— Зачем?

— Затем, что здесь есть еще кто-то, — продолжал дон Тадео, указывая на сенатора.

Как только дон Рамон увидел, что генерал вышел из комнаты, он встал с кресла, подошел к дону Тадео и поклонился ему:

— С кем имею я честь говорить? — спросил его Король Мрака с изящной вежливостью.

— Сенатор дон Рамон Сандиас, — отвечал тот с непринужденностью дворянина.

— В чем я могу быть вам полезен? — спросил он.

— О! — отвечал дон Рамон с самонадеянностью. — Для себя лично я не прошу ничего.

— А!

— Право нет; я богат, чего же могу я желать более. Но я чилиец, добрый патриот и сверх того сенатор. Поставленный в исключительное положение, я должен дать моим согражданам доказательство моей преданности пользам отечества. Не такого ли вы мнения, сеньор?

— Совершенно.

— Я слышу, что злодей, бывший причиной движения, которое чуть было не погубило Чили, находится в ваших руках.

— Точно так, сеньор, — отвечал дон Тадео с непоколебимым хладнокровием, — нам удалось захватить его.

— Вы, без сомнения, будете судить этого человека? — спросил дон Рамон с важностью.

— Через сорок восемь часов.

— Хорошо; именно таким образом должно чинить расправу над такими бесстыдными честолюбцами, которые пренебрегая священными законами человечности, стараются погрузить нашу прекрасную страну в пучину бедствий.

— Сеньор...

— Позвольте мне высказаться, — перебил дон Рамон с притворным энтузиазмом, — я чувствую, что моя откровенность, может быть, заходит слишком далеко, но негодование увлекает меня. Необходимо, чтобы эти люди, по милости которых остается столько вдов и сирот, получили примерное наказание, которого они заслуживают; я не могу подумать без трепета о бесчисленных бедствиях, которые пали бы на нас, если бы этот злодей имел успех.

— Этот человек еще не осужден.

— Вот именно это-то и заставило меня обратиться к вам; как сенатор, как преданный патриот, я прошу вас не отказывать мне в праве войти в состав в комиссии, которая будет судить его.

— Соглашаюсь на вашу просьбу, — отвечал дон Тадео, который не мог удержаться от презрительной улыбки.

— Благодарю, — сказал сенатор с радостным движением, — как ни тягостна эта обязанность, я сумею ее исполнить.

Низко поклонившись дону Тадео, сенатор с радостью вышел из залы.

— Видите ли, — сказал дон Тадео, обернувшись к Валентину, — дон Панчо имел двух друзей и полагал, что мог вполне на них положиться: один из них взялся провозгласить его как диктатора, другой защищать. Что же вышло? В одном он нашел тюремщика, в другом палача.

— Это чудовищные гнусности! — вскричал Валентин с отвращением.

— Нет, — отвечал дон Тадео, — это логический вывод: ему не удалось, вот и все...

— Однако мне надоела ваша политика, — заметил Валентин, — позвольте мне возвратиться к нашим друзьям.

— Поезжайте, если хотите.

— Благодарю.

— Вы немедленно возвратитесь в Вальдивию, не правда ли?

— Разумеется.

— Хотите провожатых?

— Для чего?

— Это правда! Простите, я все забываю, что вы не боитесь никакой опасности.

— Я опасаясь только за моих друзей, и потому-то оставляю вас.

— Имеете вы какую-нибудь серьезную причину опасаться?

— Никакой, одно смутное беспокойство, которого не могу определить, заставляет меня оставить вас.

— Поезжайте скорее, когда так, друг мой; в особенности, берегите донну Розарио.

— Будьте спокойны; через три часа она будет здесь...

— Счастливого пути; помните же, что я жду вас с нетерпением.

— Только съездить и возвратиться...

— До свидания!

Валентин вышел из комнаты, отправился в конюшню, сам оседлал свою лошадь и поскакал галопом. Он сказал дону Тадео правду: его мучило смутное беспокойство, он предчувствовал несчастье.

Раненый

Воротимся теперь к графу де Пребуа-Крансэ.

Когда похищение было совершено, та часть долины, в которой дон Тадео раскинул свои палатки, была пуста. Толпа, увлеченная любопытством, бросилась в ту сторону, где происходило возобновление договора. Впрочем, меры похитителей были так хорошо приняты, все сделалось так скоро без всякого сопротивления, без криков и без шума, что тревоги не было, никто даже и не подозревал, что случилось.

Крики молодого человека не были никем услышаны, а пистолетные выстрелы его смешались с шумом праздника. Итак, Луи довольно долго лежал без чувств перед палаткой; из двух ран его струилась кровь.

По странной случайности, все служители и даже два индейских вождя удалились, как мы сказали, чтобы присутствовать при церемонии.

Когда крест был водружен, когда генерал и токи, взявшись за руки, оба вошли в палатку, толпа разделилась на маленькие группы и скоро разошлась; каждый поспешил вернуться на то место, где был раскинут временный лагерь его партии.

Индейские вожди первые возвратились к Луи; когда любопытство их удовлетворилось, они начали упрекать себя, зачем так надолго оставили они своего друга. Приближаясь к лагерю, они удивились, что не видят Луи, и некоторый беспорядок наполнил души их беспокойством. Они ускорили шаги. Чем более они приближались, тем

более этот беспорядок становился очевидным для их глаз, привыкших замечать признаки, неприметные для глаз белого.

В самом деле, пространство, оставленное свободным в ограде, составленной из тюков, казалось, было театром борьбы; на сырой земле оставались следы нескольких лошадей; некоторые тюки даже были отодвинуты как бы затем, чтобы расширить ходы. Эти признаки были достаточны для индейцев; они разменялись тревожным взором и вошли в стан поспешными шагами.

Луи находился еще в том самом положении, в каком оставили его индейцы: он лежал поперек входа в палатку, с разряженными пистолетами в руках, с головою, опрокинутою назад, с полуоткрытыми губами и сжатыми зубами. Кровь уже не текла. Индейцы смотрели на него с минуту с остоуплением. Лицо молодого человека было покрыто смертельной бледностью.

— Он умер! — сказал Курумилла голосом, прерывавшимся от волнения.

— Может быть, — отвечал Трангуаль Ланек, становясь на колена возле тела.

Он поднял безжизненную голову Луи, развязал ему галстук и открыл грудь, тогда он увидел две раскрытые раны.

— Это мщение, — прошептал он.

Курумилла покачал головой с унынием.

— Что делать? — сказал он.

— Мне кажется, что он не умер.

Тогда с чрезвычайной ловкостью и невероятным проворством оба индейских вождя окружили раненого самыми разумными и дружескими попечениями.

Долго все было бесполезно. Наконец слабый вздох мучительно вырвался из стесненной груди молодого человека; легкий румянец покрыл его щеки, и он раскрыл глаза.

Омыв рану свежей водой, Курумилла приложил к ней листья огегапо и сказал:

— Он лишился чувств от потери крови, раны его широки, но не глубоки и нисколько не опасны.

— Но что такое случилось здесь? — вскричал Трангуаль Ланек.

— Послушай! — сказал Курумилла, взяв его за руку. — Он что-то говорит...

В самом деле, губы молодого человека зашевелились; наконец он произнес с усилием и таким тихим голосом, что оба индейца с трудом услышали это единственное слово, в котором для него сосредоточивалось все:

— Розарио!

— А! — вскричал Курумилла, как бы озаренный внезапным светом. — Где же бледнолицая девушка?

И он бросился в палатку.

— Теперь я понимаю все, — сказал он своему другу.

Индейцы осторожно приподняли раненого, перенесли его в палатку и положили в пустую койку донны Розарио. Луи пришел в сознание, но почти тотчас же впал в глубокую дремоту.

Устроив его как можно удобнее, индейцы вышли из палатки и начали с инстинктом, им свойственным, искать на земле признаки, которых не могли спросить ни у кого, но которые должны были указать им след. Теперь, когда покушение на убийство и похищение сделались очевидны, надо было напасть на след похитителей и постараться, если возможно, спасти молодую девушку.

После детального осмотра, который продолжался не менее двух часов, индейцы вернулись к палатке, сели друг против друга и несколько минут курили молча.

Слуги пришли с празднеств и испугались, узнав, что случилось во время их отсутствия. Бедные люди не знали на что решиться; они дрожали при мысли об ответственности, которая лежала на них и о страшном отчете, которого от них потребует дон Тадео.

Между тем вожди выкурили трубки, погасили их, и Трангуаль Ланек заговорил.

— Брат мой мудрый вождь, пусть он скажет что он видел?

— Я буду говорить, если того желает брат мой, — отвечал Курумилла, кланяясь, — бледнолицая девушка с лазоревыми глазами была похищена пятью всадниками.

Трангуаль Ланек сделал знак согласия.

— Эти пять всадников приехали с другой стороны реки; следы их ясно видны на земле, которую они замочили в тех местах, где лошади ступали мокрыми копытами. Четверо из всадников индейцы, пятый бледнолицый; у входа в стан они остановились, разговаривали с минутой, и четверо сошли с лошадей; следы их видны.

— Хорошо! — отвечал Трангуаль Ланек. — У брата моего зрение прекрасное, ничто от него не укрывается.

— Из четырех всадников, сошедших на землю, трое индейцы, что легко узнать по следам их голых ног, большой палец которых, привыкший держать стремя, очень отдален от других пальцев; четвертый всадник белый; его шпоры оставили везде глубокие следы; трое первых ползком добрались до дона Луи, который разговаривал у входа в палатку с молодой девушкой с лазоревыми глазами и стоял спиною к тем, которые подошли к нему; на него напали неожиданно, и он упал, не имея времени защищаться; тогда четвертый всадник прыгнул и схватил молодую девушку на руки и перепрыгнув через тело дона Луи, побежал к своей лошади, а за ним бросились и три индейца; дон Луи видимо сначала приподнялся на колени, потом успел стать на ноги и выстрелил из своих пистолетов в одного из похитителей; тот упал раненый; это был бледнолицый. Лужа крови указывает место его падения; умирая, он рвал траву руками; тогда его товарищи сошли с лошадей, подняли его и ускакали с ним. Дон Луи, выстрелив из своих пистолетов, лишился чувств и упал, вот что я знаю.

— Хорошо, — отвечал Трангуаль Ланек, — брат мой знает все; подняв тело своего товарища, похитители опять переехали через реку и немедленно отправились к горам... Ну, теперь что же сделает брат мой?

— Трангуаль Ланек опытный вождь, он подождет дону Валентина, а Курумилла молод и потому отправится по следам похитителей.

— Брат мой говорил хорошо, он мудр и благоразумен, он найдет их.

— Да, Курумилла найдет похитителей, — лаконически отвечал индеец.

Сказав эти слова, Курумилла встал, оседлал свою лошадь и уехал. Трангуаль Ланек скоро потерял его из виду и вернулся к раненому.

День прошел таким образом. Испанцы все оставили долину; индейцы по большей части последовали их примеру; осталось только несколько запоздалых арокан, которые, впрочем, также приготавливались к отъезду.

Между тем к вечеру Луи сделалось лучше, он мог наконец в нескольких словах рассказать индейскому

вождю все, что случилось, но не сказал ему ничего нового; Трангуаль Ланек сам угадал все.

— О! — сказал в заключение молодой человек. — Розарио, бедная Розарио! Она погибла!

— Брат мой не должен предаваться горести, — кротко отвечал Трангуаль Ланек, — Курумилла следует за похитителями, молодая бледнолицая девушка будет спасена!

— Вы серьезно говорите это, вождь? Курумилла точно погнался за ними? — спросил молодой человек, устремив на индейца пылкий взор. — Могу я надеяться?

— Трангуаль Ланек — ульмен, — благородно отвечал арокан, — никогда ложь не оскверняла его губ; повторяю моему брату, что Курумилла следует за похитителями. Пусть брат мой надеется, он увидит птичку, которая поет такие приятные песни его сердцу.

При этих словах внезапная краска покрыла лицо молодого человека; печальная улыбка мелькнула на его бледных губах; он тихо пожал руку вождя и опять упал в койку, закрыв глаза.

Вдруг послышался бешеный галоп лошади.

— Ему лучше, — прошептал Трангуаль Ланек, смотря на раненого, правильное дыхание которого показывало, что он спокойно спит, — что-то скажет дон Валентин?

Он вышел и очутился лицом к лицу с Валентином.

— Вождь, — вскричал он задыхающимся голосом, — правду ли говорят слуги?

— Да, — холодно отвечал Трангуаль Ланек.

Молодой человек упал как бы пораженный громом. Индеец посадил его на тюк и, сев возле него, взял его за руку и сказал с кротостью:

— Брат мой должен быть мужествен...

— Увы! — вскричал молодой человек с горестью. — Луи, мой бедный Луи, умер, убит! О, — прибавил он с ужасным жестом, — я отомщу за него! Только для того, чтобы исполнить эту священную обязанность, соглашаюсь я жить еще несколько дней.

Вождь посмотрел на него со вниманием.

— Что говорит брат мой? — возразил он. — Друг его не умер.

— О! Зачем обманывать меня, вождь.

— Я говорю правду; дон Луи не умер, — возразил ульмен торжественным голосом, который вложил убеждение в разбитое сердце молодого человека.

— О! — вскричал он, вскочив с горячностью. — Так Луи жив, правда ли это?

— Да, однако ж он получил две раны.

— Две раны?

— Да, но пусть брат мой успокоится; они не опасны, закроются через неделю.

Валентин с минуту почти не верил этому радостному известию.

— О! — вскричал он, бросившись на шею к Трангуалю Ланеку и с неистовством прижимая его к груди. — Это правда, не так ли? Жизнь его не в опасности?

— Нет, пусть успокоится брат мой; одна потеря крови причина оцепенения, в котором он находится; я ручаюсь за него.

— Благодарю! Благодарю, вождь, я могу его видеть, не правда ли?

— Он спит.

— О! Я его не разбужу, будьте спокойны; только я хочу его видеть.

— Ступайте же, — отвечал, улыбаясь, Трангуаль Ланек.

Валентин вошел в палатку. Он взглянул на своего друга, погруженного в спокойный сон, тихо наклонился к нему и запечатлел поцелуй на лбу его, говоря шепотом:

— Спи, брат, я бодрствую.

Губы раненого зашевелились, он прошептал:

— Валентин!.. Спаси ее!..

Парижанин нахмурил брови и, выпрямившись, сказал Трангуалю Ланеку:

— Пойдемте, вождь, и расскажите мне подробно что случилось, чтобы я мог отомстить за моего брата и спасти ту, которую он любит!

Оба вышли из палатки.

Ароканская дипломатия

Антинагюэль недолго оставался в бездействии. Как только Бустаменте со своим войском исчез в облаке пыли, он сел на лошадь и в сопровождении всех ароканских вождей переехал через реку. На другом берегу он воткнул копье свое в землю и, обернувшись к индейцу, находившемуся возле него и готовому исполнить его приказание, сказал ему:

— Пусть три токи, ульмены и апо-ульмены соберутся сюда через час; огонь совета будет зажжен на этом самом месте: должно произойти великое совещание. Поезжайте.

Воин пригнулся к шее лошади и поскакал во весь опор.

Антинагюэль осмотрелся вокруг; все вожди вошли в свои палатки, остался только один воин; когда токи приметил его, на губах его обрисовалась улыбка.

Он был высокого роста, с гордой осанкой, с надменным лицом, с пронзительным взглядом, который имел выражение свирепое и жестокое. Ему, казалось, было около сорока лет; на нем был плащ из верблюжьей шерсти, чрезвычайно тонкий, испещренный яркими цветами; длинная трость с серебряным набалдашником, которую он держал в руке, заставляла узнавать в нем апо-ульмена. Он отвечал на улыбку токи многозначительной гримасой и, наклонившись к его уху, сказал с выражением радостной ненависти:

— Когда ягуары дерутся между собой, они готовят богатую поживу для андских орлов.

— Пуэльчесы — орлы, — отвечал Антинагюэль, — они властелины другой страны гор и предоставляют гуллическим женщинам заботу ткать плащи.

При этом сарказме против гулличей, раздробленного племени ароканского народа, которое более занимается земледелием и скотоводством, апо-ульмен нахмурил брови.

— Отец мой слишком строг в отношении своих сыновей, — сказал он хриплым голосом.

— *Черный Олень* — вождь страшный в своей нации, — отвечал Антинагюэль примирительным тоном, — это первый из апо-ульменов морской области. У него сердце пуэльчеса и душа моя радуется, когда он возле меня; зачем же его ульмены находятся не в одинаковом расположении с ним?

— Вынужденные жить в постоянных торговых сношениях с презренными испанцами, племя плоских стран оставило копье и взялось за заступ; оно сделалось земледельческим; но пусть отец мой не ошибается: древний дух их породы все еще покоится в них, и в тот день, когда нужно будет сражаться за независимость, они все восстанут, чтобы наказать тех, которые вздумают поработить их.

— Неужели это правда? — с живостью вскричал Антинагюэль, остановив свою лошадь и смотря в лицо своему собеседнику. — Точно ли можно рассчитывать на них?

— К чему говорить об этом теперь? — сказал апо-ульмен с насмешливой улыбкой. — Когда отец мой только что возобновил договор с бледнолицыми?

— Это справедливо, — отвечал токи, пристально посмотрев на индейского воина, — мир упрочен надолго.

— Отец мой мудрый вождь, он все делает хорошо, — ответил тот, потупив глаза.

Антинагюэль приготовился отвечать, как вдруг один индеец прискакал во всю прыть и с изумительной ловкостью, которой отличаются только эти отличные наездники, в одно мгновение остановился перед вождями совершенно неподвижно, как бронзовая статуя. Запыхавшаяся лошадь, из ноздрей которой выходил густой пар и бока которой покрыты были белой пеной, доказывала, что он долго скакал во всю прыть. Антинагюэль смотрел на него с минуту и потом сказал:

— Сын мой Тег-тег-Громобой сделал быструю поездку?

— Я исполнил приказания моего отца, — отвечал индеец.

При этих словах апо-ульмен из скромности хотел было отъехать в сторону; но Антинагюэль положил свою руку на его плечо, говоря:

— Черный Олень может остаться; разве он мне не друг?

— Я останусь, если отец мой этого желает, — кротко отвечал вождь.

— Пусть же он остается. Пусть сын мой говорит, — продолжал Антинагюэль, обращаясь к воину, все еще стоявшему неподвижно.

— Испанцы дерутся, — отвечал тот, — они вырыли топор и повернули его против своей собственной груди.

— О! — вскричал токи с притворным удивлением. — Сын мой ошибается, бледнолицые не ягуары, чтобы пожирать друг друга.

Говоря это, он обернулся к Черному Оленю и поглядел на него с улыбкой неизъяснимого выражения.

— Тег-тег не ошибается, — с важностью заметил Черный Олень, — глаза его видели хорошо: каменная деревня, которую бледнолицые называют Вальдивией, в эту минуту пылает жарче нежели вулкан Отаки, который служит убежищем Гекубу, духу зла.

— Хорошо, — холодно сказал токи, — сын мой видел хорошо; это воин очень храбрый в битве, но он точно также и благоразумен; он остался в стороне, чтобы радоваться, не стараясь узнать, кто одержит верх!

— Тег-тег благоразумен, но когда он смотрит, он хочет видеть; поэтому он знает все, отец мой может расспросить его.

— Хорошо, великий воин бледнолицых уехал отсюда, чтобы лететь на помощь к своим солдатам... Конечно, выгода осталась за ним?..

Индеец улыбнулся и не отвечал.

— Пусть брат мой говорит, — продолжал Антинагюэль, — его расспрашивает токи его народа.

— Тот, кого отец мой называет великим воином бледнолицых, теперь в плену у своих врагов; солдаты его рассеялись как зерна пшеницы, рассыпанные по долине.

— У сына моего лживый язык! — закричал Антинагюэль с притворным гневом. — Он говорит то, чего не может быть; неужели орел сделался добычею филина? У

великого воина рука твердая как гром Пиллиана; ему ничто не сопротивляется.

— Эта могущественная рука не могла спасти его; орел в плену; он был захвачен хитрыми лисицами; он попал вероломно побежденный в сети, которые были раскинуты под его ногами.

— Но его солдаты? Великий токи белых имел многочисленную армию.

— Я уже говорил моему отцу, что вождь в плену и что Гекубу поразил солдат ужасом: они пали под ударами врагов.

— Вожди, победители, вероятно преследуют их?

— К чему? Бледнолицые трусливые бабы: как только враги их расплачутся и попросят пощады, они прощают.

При этом известии токи не мог удержаться от движения нетерпения, которое впрочем тотчас обуздал.

— Братья не должны быть неумолимы, — сказал он, — когда они поднимают топор друг против друга, они могут невольно ранить кого-либо из своих друзей. Бледнолицые воины хорошо сделали.

Индеец поклонился в знак согласия.

— Что теперь делают бледнолицые воины? — продолжал начальник.

— Они собрались на совет.

— Хорошо, это мудрые люди, — заметил Антинагюэль с любезной улыбкой. — Я доволен моим сыном; это воин столь же ловкий, сколько и храбрый; он может удалиться, чтобы вкушать покой, который ему необходим после такой продолжительной поездки.

— Тег-тег не устал, жизнь его принадлежит моему отцу, — отвечал воин, кланяясь, — он может располагать ею по своей воле.

— Антинагюэль вспомнит о своем сыне, — сказал токи, движением руки отпуская его.

Индеец почтительно поклонился своему начальнику, повернул лошадь, приподнял ее с земли огромным прыжком и удалился. Токи следовал за ним с минуту рассеянным взором и, обратившись к апо-ульмену, спросил:

— Что думает брат мой о том, что сказал этот человек?

— Отец мой самый мудрый из токи нашего народа, самый уважаемый вождь ароканских племен; Пиллиан вдохновит его ум словами, которые выйдут на его уста и

которые мы будем слушать с уважением, — уклончиво отвечал Черный Олень, который боялся компрометировать слишком откровенным ответом.

— Брат мой прав, — произнес токи с гордым видом, — у меня есть моя нимфа.

Апо-ульмен поклонился с убежденным видом. Здесь мы должны заметить читателю, что в ароканской мифологии, кроме бесчисленного множества богов и богинь, есть нимфы, исполняющие возле людей обязанность домашних гениев. Между ароканами нет ни одного знаменитого вождя, который не тщеславился бы тем, что у него есть нимфа. Поэтому слова Антинагюэля внушили Черному Оленю большое к нему уважение. Апо-ульмен тайно льстил себя мыслью, что и у него также есть своя нимфа, но не смел громко утверждать этого.

В эту минуту раздались громкие звуки ароканских труб и грохот их барабанов. Они звали вождя на совет.

— Что сделает отец мой? — спросил апо-ульмен.

— Человек слаб, — отвечал Антинагюэль, — но Пиллиан вдохновит меня и внушит мне слова, которые я должен буду произнести; мое единственное желание — счастье ароканского народа.

— Отец мой созвал великий совет; разве он подозревал полученное известие?

— Антинагюэль знает все, — отвечал токи с притворной улыбкой.

— Хорошо же, теперь я знаю, что думает мой отец.

— Может быть.

— Пусть отец мой вспомнит, какие слова я произнес.

— Уши мои открыты, пусть сын мой повторит мне их.

— Когда ягуары дерутся между собою, они готовят богатую добычу андским орлам.

— Хорошо, — сказал Антинагюэль, смеясь, — сын мой великий вождь; пусть он следует за мною на совет, воины ждут нас.

Оба арокана обменялись понимающим взглядом. Эти два человека, такие хитрые и скрытные, Могли разговаривать молча.

Они поскакали галопом к тому месту, где их ждали главные вожди, собравшиеся вокруг костра, дым которого клубами поднимался к небу.

Ароканы, которых многие путешественники, несведущие или недобросовестные, упорно представляли дикаря-

ми, погруженными в ужасное варварство, напротив народ относительно цивилизованный. Правление их, начало которого теряется во мраке времен, и в эпоху испанского завоевания было так же хорошо устроено, как и теперь. Арокания нечто вроде аристократической республики с обычаями феодальными. Правление ее имеет все достоинства и все недостатки феодализма.

Кроме военного времени, токи имеют только тень власти, которая сосредоточивается в целом составе вождей, решающих в общем совете все важные дела. Эти советы обыкновенно происходят на глазах всех, на обширном лугу.

Антинагюэль с поспешностью воспользовался предложением возобновления договора, чтобы получить от вождя позволение исполнить планы, которые он так давно замышлял. Ароканское уложение, в котором заключаются все законы нации, обязывало его прибегнуть к собранию совета, от чего ни слава, ни популярность не могли избавить его. Притом, он надеялся победить сопротивление вождей или нежелание их подчиниться его воле, благодаря своему красноречию и влиянию, которые во многих обстоятельствах заставили покоряться ульменов, наиболее к нему не расположенных.

Ароканы с успехом занимаются усовершенствованием красноречия, которое у них ведет к общественным почестям. Они стараются говорить хорошо и чисто на своем языке и в особенности остерегаются вводить в него иностранные слова. Эта страсть доходит у них до того, что когда белый поселится между ними, они принуждают его переменить имя и взять одно из их имен.

Язык их полон метафор. Замечательно, что речи их содержат в себе все главные части настоящей риторики и состоят почти всегда из трех частей. Этих слов достаточно, чтобы доказать, что ароканы не такие дикари, как иные предполагают.

Словом, этот немногочисленный народ, не имеющий союзников и уединившийся на самом краю континента, со времени высадки испанцев на его берега, то есть почти триста лет, постоянно сопротивлялся один европейским армиям, составленным из опытных солдат и жадных искателей приключений, которых никакие затруднения, по-видимому, не могли бы остановить. Ароканы сохранили неприкосновенными и свою независимость, и свою на-

циональность. По нашему мнению, они заслуживают уважения во всех отношениях и не должны быть безосновательно клеймены именем варваров. Для нас забавно это жалкое, презренное мнение гордых и бессильных испанцев, которые никогда не могли победить их и выродившиеся потомки которых платят им ныне дань под благовидным предлогом ежегодных подарков.

Мы жили с ароканами долгое время и потому можем объективно судить об этом народе. Мы могли оценить все, что в его характере есть простого, великого и благородного.

Оканчивая здесь это несколько длинное отступление, дань признательности старинным и очень дорогим для нас друзьям, мы продолжаем наш рассказ.

Антинагюэль и Черный Олень приехали на то место, где собрались вожди. Они сошли с лошадей и приблизились к группам ульменов. При их появлении ульмены, спокойно разговаривавшие между собою, замолчали, и несколько минут величайшее безмолвие парило над собранием.

Наконец Катикара, токи страны в Андах, сделал несколько шагов к центру круга и заговорил.

Катикара был старик лет семидесяти, с величественной походкой и благородными чертами. Знаменитый воин в молодости, теперь, когда лета уже сторбили его и посебрили длинные волосы, он по справедливости пользовался в народе репутацией одного из мудрейших старцев. Происходя от старинного рода ульменов, постоянно сопротивлявшихся белым, он был ожесточенным врагом чилийцев, с которыми сам долго вел войну. Он знал тайные виды Антинагюэля, которому был самым преданным другом.

— Токи, апо-ульмены и ульмены доблестной нации Окасов, обширные охотничьи области которых покрывают поверхность земли, — сказал он, — сердце мое печально, тучи покрывают мои мысли, глаза мои, наполненные слезами, беспрестанно устремляются в землю; откуда происходит горе, пожирающее меня! Почему веселая песня жаворонка невесело раздастся в ушах моих? Зачем солнечные лучи кажутся мне не столь теплыми как прежде? Зачем, наконец, природа кажется мне менее прекрасной? Отвечайте мне, братья! Вы храните молчание, стыд покрывает ваши лица; ваши пристыженные глаза потупляются, вы не смеете отвечать? Это потому,

что мы теперь не что иное, как выродившийся народ! Воины ваши бабы; вместо копья они берут прялку! Это потому, что вы трусливо сгибаетесь под игом чужеземцев, которые насмеются над вами, зная хорошо, что в вас не достанет крови сражаться с ними! Воины окасские, совы и филины вьют гнезда в орлиных гнездах? К чему мне служит теперь этот каменный топор, символ силы, который вы мне дали для того, чтобы защищать вас, если он должен оставаться в бездействии в руках моих, и если мне нужно сойти в могилу, к которой я уже склоняюсь, не сделав ничего для вашего избавления? Возьмите его назад, воины, если он более ничего как суетное почетное украшение; долгая жизнь моя начинает тяготить меня... позвольте же мне удалиться в мое жилище, где до последнего дня я буду оплакивать нашу независимость, потерянную вашей слабостью, и нашу славу, помраченную навсегда вашей трусостью!

Произнося эти слова, старик сделал несколько шагов назад, шатаясь, как будто бы был уничтожен горестью. Антинагюэль бросился к нему и казалось шепотом расточал ему утешения.

Эта речь сильно взволновала собрание; токи был любим и уважаем всеми. Ульмены оставались безмолвны, бесстрастны по наружности, но души их были сильно взволнованы: ненависть и гнев начинали сверкать в глазах их мрачным огнем. Подошел Черный Олень.

— Отец, — сказал он медовым голосом с важной осанкой, — ваши слова жестоки, они погрузили сердца наши в печаль; может быть, вам не следовало бы быть таким строгим к вашим детям. Пиллиан один знает намерения людей. В чем вы нас упрекаете? Не в том ли, что мы делали ныне тоже самое, что отцы наши делали до нас, пока считали себя не в силах победоносно бороться со своими врагами? Нет, совы и филины не вьют гнезд в орлиных гнездах! Нет, окасы не бабы! Это доблестные и непобедимые воины, такие же, какими были их отцы! Слушайте! Слушайте, что дух открывает мне: мирный договор с испанцами ныне уничтожен, потому что он происходил не так как следует: токи не подал вождю бледнолицых ветви коричневого дерева, символа мира, трости апо-ульменов не были связаны вместе со шпагой вождя бледнолицых; клятвы и речи были произнесены над крестом бледнолицых, а не над этим пуком, как

требует наш закон. Итак, я повторяю — договор уничтожен; это была одна пустая и смешная церемония, которой мы не должны придавать никакой важности! Хорошо ли я говорил, могущественные люди?

— Да, да! — закричали вожди, потрясая своим оружием. — Договор уничтожен!

Антинагюэль сделал тогда несколько шагов в круг, склонив голову вперед, устремив глаза в пространство и протянув руки, как будто бы слышал и видел то, что только он один мог видеть и слышать.

— Молчать! — вскричал Черный Олень, указывая на него пальцем. — Великий токи беседует со своей нимфой.

Вожди с ужасом глядели на Антинагюэля. Торжественное молчание царствовало в собрании. Антинагюэль не шевелился. Черный Олень тихо подошел и, наклонившись к его уху, спросил:

— Что видит мой отец?

— Я вижу воинов бледнолицых; они вырыли воинственный топор и дерутся друг против друга.

— Что видит еще отец мой? — продолжал Черный Олень.

— Я вижу потоки крови, обогряющие землю; запах этой крови радует мое сердце; это кровь бледнолицых, пролитая их братьями.

— Отец мой видит ли еще что-нибудь?

— Я вижу великого вождя белых; он храбро сражается во главе своих солдат; вот он окружен, но все сражается; вот он падает, он пал, он побежден! Враги овладели им!

Ульмены в испуге присутствовали при этой сцене, которая была для них непонятна. Презрительная улыбка сжала губы Черного Оленя. Он опять спросил Антинагюэля:

— Отец мой слышит что-нибудь?

— Я слышу крики умирающих, требующих мщения у своих братьев.

— Отец мой слышит ли еще что-нибудь?

— Да, я слышу воинов окасских, давно умерших; крики их леденят меня ужасом.

— Что говорят они? — вскричали на этот раз все вожди с живейшим беспокойством. — Что говорят воины окасские?

— Они говорят: «Братья, час настал! К оружию! К оружию!»

— К оружию! — закричали вожди все в один голос. — К оружию! Смерть бледнолицым.

Толчок был дан, энтузиазм овладел всеми сердцами. Отныне Антинагюэль мог по своей воле управлять страстями этой толпы. Улыбка удовольствия осветила его надменное лицо, он выпрямился.

— Вожди окасов, — сказал он, — что приказываете вы мне?

— Антинагюэль, — отвечал Катикара, бросая свой каменный топор в жаровню, чему последовали немедленно и другие токи, — в нашей нации остался только один топор; он в вашей руке; пусть же он обагрится до рукоятки кровью подлых испанцев; ведите наши уталь-манусы на битву; вы имеете верховную власть! Мы даем вам право жизни и смерти; начиная с этого часа, один вы в целом народе имеете право повелевать, и каковы бы ни были ваши приказания, мы будем исполнять их.

Антинагюэль выступил вперед с сияющим лицом, высоко подняв голову и потрясая в своей сильной руке могущественным воинским топором, символом диктаторской неограниченной власти, которая была ему вверена.

— Окасы, — сказал он гордым голосом, — я принимаю честь, которую вы делаете мне; я сумею сделаться достойным доверия, которое вы возлагаете на меня; этот топор будет зарыт только тогда, когда мой труп послужит пищей андским ястребам или когда подлые бледнолицые, против которых мы будем сражаться, будут на коленях просить нас прощения!

Вожди отвечали на эти слова радостными криками и свирепым воем. Совет кончился. Накрыли столы, и пир соединил всех воинов, присутствовавших на совете!

В ту минуту, когда Антинагюэль садился на свое место, индеец, покрытый потом и пылью, приблизился к нему и сказал несколько слов шепотом. Вождь вздрогнул, трепет пробежал по всему его телу, он встал в сильнейшем волнении.

— О! — закричал он с гневом. — Мне одному должна принадлежать эта женщина! Пусть мои воины садятся на лошадей и будут готовы следовать за мной сию же минуту! — обратился он к индейцу.

Ночная поездка

Антинагюэль знаком подозвал к себе Черного Оленя. Апо-ульмен не заставил себя ждать; несмотря на многочисленные возлияния, ароканский вождь имел такое же бесстрастное лицо, такую же спокойную походку как если бы пил только одну воду.

Подойдя к токи, он почтительно ему поклонился и молча ждал, чтобы тот заговорил с ним. Антинагюэль, устремив глаза в землю и погрузившись в серьезное размышление, долго не замечал его присутствия. Наконец он поднял глаза. Лицо его было мрачно, глаза сверкали.

— Отец мой страдает? — спросил Черный Олень кротким и дружеским голосом.

— Да, я страдаю, — отвечал вождь.

— Гекубу вдохнул печаль в сердце моего отца, но пусть он не теряет мужества, Пиллиан его поддержит.

— Нет, — отвечал Антинагюэль, — дыхание, которое сушит мою грудь, дыхание боязни.

— Боязни?

— Да, испанцы могущественны; я опасаюсь силы их оружия для моих молодых воинов.

Черный Олень глядел на него с удивлением.

— Какое дело до могущества бледнолицых, — сказал он, — когда отец мой во главе четырех уталь-мапусов?

— Эта война будет ужасна; я хочу победить.

— Мой отец победит; разве не все воины слушают его голос?

— Нет, — печально отвечал Антинагюэль. — Ульмены пуэльчесские не присутствовали на совете.

— Это правда, — прошептал Черный Олень.

— Пуэльчесы первые между воинами окасскими.

— Это правда, — сказал опять Черный Олень.

— Я страдаю, — повторил Антинагюэль.

Черный Олень положил ему руку на плечо.

— Отец мой, — сказал он вкрадчивым голосом, — вождь великого народа; для него нет ничего невозможного.

— Что хочет сказать сын мой?

— Война объявлена, и между тем как мы будем делать набеги на чилийскую землю, чтобы держать неприятеля в беспокойстве на счет наших планов, пусть отец мой сядет со своими воинами на лошадей и полетит на крыльях бури к пуэльчесам; слова его убедят их, воины оставят все, чтобы последовать за ним и сражаться под его начальством; с их помощью мы победим испанцев, и сердце моего отца наполнится радостью и гордостью.

— Сын мой мудр, я последую его совету, — отвечал токи с улыбкой неопisanного выражения, — но он сказал, что война дело решенное; выгоды моего народа не должны страдать от краткого отсутствия, которое я принужден сделать.

— Отец мой позаботится об этом.

— Я уже позаботился, — возразил Антинагюэль со сладкой улыбкой, — пусть сын мой слушает меня.

— Уши мои открыты, чтобы внимать словам моего отца.

— На восходе солнца, когда пары огненной воды рассеются, вожди спросят Антинагюэля.

Черный Олень сделал знак согласия.

— Я вручаю моему сыну, — продолжал вождь, — каменный топор, знак моего достоинства; Черный Олень часть души моей, сердце его мне предано; я назначаю его моим помощником, он заменит меня.

Апо-ульмен почтительно поклонился Антинагюэлю и поцеловал у него руку.

— То, что прикажет мой отец, будет исполнено, — сказал он.

— Вожди имеют надменный характер, мужество их мимолетно; сын мой не даст им времени охладеть; между

ними есть такие, которых надо занять делом сейчас же, чтобы они не могли после отступить.

— Как зовут этих вождей? Я должен сохранить имена их в моей памяти.

— Это самые могущественные ульмены. Пусть сын мой помнит, их восемь, каждый из них сделает набег на границу, чтобы доказать чилийцам, что неприязненные действия начались; четверо главных между ними пусть немедленно отправятся в Вальдивию, чтобы объявить войну бледнолицым.

— Хорошо.

— Вот имена ульменов: Манкепан, Танголь, Аучангуэр, Кудпаль, Кольфунгуин, Трумау, Куюмиль и Пайлапан. Сын мой хорошо слышал эти имена?

— Я их слышал.

— Понял ли, сын мой, смысл моих слов? Вошли ли они в его мозг?

— Слова моего отца здесь, — сказал Черный Олень, поднося руку ко лбу, — он может оставить всякое беспокойство и лететь к той, которая овладела его сердцем.

— Хорошо, — отвечал Антинагюэль, — сын мой меня любит, он будет помнить; через два солнца он найдет меня в деревне Черных Змей.

— Черный Олень будет там в сопровождении своих доблестных воинов, — пусть Пиллиан руководит стонами моего отца, а Эпананум — бог войны — пошлет ему успех.

— До свиданья, брат, — прошептал Антинагюэль, прощаясь со своим помощником.

Черный Олень поклонился токи и ушел. Оставшись один, Антинагюэль сделал знак индейцу, который принес ему известие, заставившее его ехать. Во время совещания начальников, этот человек стоял неподвижно в нескольких шагах, так что не мог ничего слышать, но был наготове немедленно исполнить приказания, какие могли быть даны ему. Он подошел.

— Сын мой устал? — спросил его токи.

— Нет, но моя лошадь нуждается в отдыхе.

— Хорошо, сыну моему дадут другую лошадь; он нас проводит.

Не говоря более ни слова, Антинагюэль, в сопровождении лазутчика, подошел к группе всадников, ко-

торые, опираясь на свои длинные копыта, стояли чуть поодаль. Эти всадники, числом тридцать человек, были воины токи. Антинагюэль одним прыжком вскочил на великолепную лошадь, которую держали за узду двое индейцев.

— В путь, — закричал он, вонзив шпоры в бока лошади, которая полетела с быстротою стрелы. Воины последовали за ним. Эта группа мрачных всадников скользила в темноте, как легион зловещих призраков. Перед ними скакал проводник.

Кто может выразить очарование ночной поездки в американских пустынях! Полночный ветер очистил небо, свод которого, темно-голубой и усыпанный, как царская мантия, бесчисленным множеством звезд, был полон торжественного величия. Ночь отличалась бархатистой прозрачностью, свойственной южноамериканскому климату. По временам ветер с какими-то неопределенными звуками кружил сухие листья в пространстве и потом терпелся вдали, как вздох.

Ароканы, пригнувшись к шеям своих лошадей, ноздри которых дымились, скакали, не осматриваясь вокруг. Между тем пустыня, через которую они проезжали быстро и безмолвно, разливалась в пространстве тысячи гармонических звуков. Это было журчание воды между лианами, свист ветра в листьях или тихое жужжанье миллиона невидимых насекомых; время от времени между листьев пробивался на траву свет как блуждающий огонек; изредка старые деревья вставали на краях пропастей; тысячи звуков носились в воздухе, рычание доносилось из берлог, вырытых под корнями деревьев, заглушаемые вздохи словно спускались с вершин гор: пустыня представляла собою неведомый, таинственный и чудесный мир. Повсюду — на земле, в воздухе слышался гул великого потока жизни, исходящего от Бога!

Лошади ароканов продолжали свой неистовый бег, перескакивая через овраги и потоки, дробя своими копытами камни, с шумом скатывавшиеся в пропасти.

На два копыта длины впереди, возле проводника, скакал Антинагюэль; устремив глаза вперед, он беспрестанно пришпоривал свою задыхающуюся лошадь, глухо хрипевшую. Вдруг мрачное скопление показалось на некотором расстоянии, потом донесся шум голосов.

— Мы приехали, — сказал проводник.

— Наконец! — закричал Антинагюэль, остановив свою лошадь, тут же повалившуюся.

Они находились в жалкой деревушке, состоящей из пяти или шести развалившихся лачуг, которые при каждом порыве ветра угрожали разрушиться. Антинагюэль, по-видимому ожидавший падения лошади, поспешно высвободился из стремян и, обратившись к проводнику, который также сошел на землю, спросил его:

— В какой хижине находится она?

— Пойдемте, — лаконически отвечал индеец.

Антинагюэль пошел за ним. Они сделали несколько шагов, не произнеся ни слова. Вождь прижимал руку к груди, как бы затем, чтобы удержать биение своего сердца.

Через десять минут ходьбы токи и проводник очутились перед уединенной хижинкой, внутри которой виднелся слабый свет. Индеец остановился и, протянув руку по направлению к хижине, сказал:

— Там.

Токи обернулся посмотреть, едут ли его воины, которых в быстроте своего бега он оставил далеко за собой; потом, после минутного замешательства, подошел к двери и надавил на нее, говоря тихим, но решительным голосом:

— Надо кончить!

Дверь поддалась; он вошел.

Две ненависти

Антинагюэль очутился лицом к лицу с донной Марией. От неожиданности каждый из них сделал шаг назад, подавив крик. Это было ошеломенение со стороны Антинагюэля и удивление со стороны донны Марии.

— О! — прошептала со вздохом донна Розарио, склонив голову под пламенным взглядом индейского вождя. — О! Боже! Теперь я точно погибла!

Донна Мария в минуту заглушила чувство, кипевшее в ее сердце. Голосом кротким, с веселым лицом обратилась она к Антинагюэлю.

— Брат мой, дорогой гость; какой счастливой случайности обязана я вашим присутствием?

— Случайности именно счастливой, в особенности для меня, — отвечал Антинагюэль с насмешливой улыбкой.

Токи слишком хорошо знал подругу своего детства и понимал, что имеет в ней опасного противника, с которым ему надобно вести скрытую игру, чтобы заставить его исполнить свою волю.

— Неужели брат мой не доставит мне удовольствие и не объяснит причину этого внезапного появления, которое, впрочем, несказанно меня радует, — продолжала Красавица.

— О! Причина очень простая; о ней не стоит упоминать; я никаким образом не надеялся встретить здесь мою сестру и даже должен смиренно признаться, что вовсе не отыскивал ее.

— А! — сказала донна Мария, притворившись будто верит. — Если так, я счастлива вдвойне.

Вождь поклонился.

— Вот в чем дело, — сказал он.

«Хорошо, — подумала Красавица, — он будет лгать; посмотрим, какую ложь выдумает этот демон».

И она прибавила громко с обольстительной улыбкой, белоснежные зубы.

— Я вся обратилась в слух; брат мой может говорить.

— Как известно моей сестре, это селение находится на дороге, которая ведет к моему; я должен был проехать мимо него, возвращаясь домой; уже поздно, воины мои нуждаются в отдыхе; я решился остановиться здесь, вошел в первую хижину, представившуюся глазам моим, а это именно та, в которой находитесь вы, и я благодарю случай, который, как вы сказали, один всему виною.

«Выдумка недурна для индейца», — подумала Красавица.

— Э! — сказал Антинагюэль, притворившись будто в первый раз заметил донну Розарио и подходя к ней. — Кто эта прелестная молодая девушка?

— Невольница, о которой вы не должны думать, — отвечала донна Мария грубо.

— Невольница! — вскричал Антинагюэль.

— Да.

Красавица захлопала в ладоши. Индеец, с которым она уже говорила, тотчас вошел.

— Уведите эту женщину, — сказала она ему.

— О! — вскричала донна Розарио, падая на колени. — Неужели вы будете неумолимы к несчастной, которая не сделала вам никакого зла?

Красавица бросила на молодую девушку гневный взор и, холодно оттолкнув ее ногой, продолжала грубым голосом:

— Я приказала увести эту девчонку...

При этом оскорблении кровь прилила к сердцу бедного ребенка; бледный лоб донны Розарио покрылся лихорадочным румянцем; выпрямившись величественно и гордо, она сказала звучным голосом, пророческое выражение которого поразило Красавицу в самое сердце:

— Берегитесь, Бог вас накажет! Так, как вы теперь безжалостны ко мне, настанет день, когда будут безжалостны к вам!

Сказав это, донна Розарио вышла, высоко подняв голову и бросив на свою неумолимую неприятельницу взгляд, поразивший.

Антинагюэль и Красавица остались одни. Наступило продолжительное молчание. Последние слова донны Розарио были для Красавицы как будто ударом кинжала; напрасно старалась она преодолеть свое волнение, она была побеждена этим слабым ребенком. Однако мало-помалу сумела она подавить непонятное волнение, охватившее ее; проведя рукою по лбу как бы за тем, чтобы прогнать неприятную мысль она обернулась к Антинагюэлю и сказала:

— Между нами не нужно дипломатии, брат мой; мы слишком хорошо знаем друг друга, чтобы терять время на хитрости.

— Сестра моя права, будем говорить откровенно.

— История вашего возвращения домой придумана искусно, Антинагюэль, но я не верю ни одному слову.

— Хорошо, сестра моя знает, какая причина привела меня сюда.

— Знаю, — сказала она с хитрой улыбкой.

Антинагюэль не отвечал. Он начал ходить с волнением по комнате, время от времени бросая взгляд, исполненный гнева и досады, на дверь, в которую вышла донна Розарио. Красавица внимательно следовала за ним лукавым и насмешливым взором.

— Что же, брат мой не будет говорить? — сказала она через минуту.

— Зачем мне не говорить? — вскричал токи запальчиво. — Антинагюэль самый страшный вождь своего народа: самые гордые воины покорно преклоняют перед ним свои надменные головы.

— Я жду, — возразила донна Мария спокойным голосом.

— Антинагюэль объясняется прямо; его никто не испугает. Сестра моя знает мою ненависть к вождю бледнолицых, на которого она сама столько жалуется.

— Да, я знаю, что этот человек личный враг моего брата.

— Хорошо, сестра моя держит в своих руках девушку с лазоревыми глазами; она мне отдаст ее, чтобы, заставив ее страдать, я мог отомстить моему врагу.

— Брат мой мужчина, он не сумеет хорошо отомстить; зачем я отдам ему мою пленницу? Одни женщины обладают способностью мучить тех, кого они ненавидят; пусть брат мой положится на меня, — прибавила Красавица с жестокой улыбкой, — мучения, которые я изобрету, клянусь, достаточно насытят ненависть даже сильнее той, которую он может испытывать.

Хотя лицо токи осталось бесстрастным, но он внутренне задрожал при этих гнусных словах.

— Сестра моя хвастается, — отвечал он, — кожа у нее белая, сердце ее не умеет ненавидеть; пусть она предоставит мщение индейскому вождю.

— Нет, — возразила донна Мария запальчиво, — я распорядилась уже на счет участи этой женщины, я не отдам ее моему брату.

— Итак, сестра моя забывает свои обещания и нарушает свои клятвы?

— О каких обещаниях и о каких клятвах говорите вы, вождь?

— О тех, — отвечал индеец надменно, — которые сестра моя произнесла в жилище Антинагюэля, когда она приезжала к нему просить помощи.

Красавица улыбнулась.

— Женщина насмешливая птица, — возразила она, — кто обращает внимание на ее слова...

— Хорошо, — перебил Антинагюэль, — пусть сестра моя оставит у себя свою пленницу; пусть она делает как хочет; я буду продолжать мою дорогу и возвращусь в свою деревню.

Красавица поглядела на индейца с удивлением; легкость, с какою Антинагюэль по-видимому отказался от своих планов, казалась ей тем непонятнее, что она знала с каким упорством он продолжал всегда свои предприятия, когда думал, что имеет возможность на успех; она решилась положительно узнать в чем дело. В ту минуту, когда вождь удалялся, она сказала ему:

— Брат мой едет?

— Еду, — отвечал токи.

— Разве он уже окончил дела, для которых генерал Бустаменте просил его приехать уговориться с ним?

— Генерал Бустаменте не имеет уже нужды ни в Антинагюэле, ни в ком-то другом.

— Разве ему удалось так скоро?

— Да, — отвечал он двусмысленным тоном.

— Итак, — вскричала Красавица с радостью, — он овладел городом, он торжествует наконец!

Антинагюэль колебался минуты две; ироническая улыбка блуждала на его губах.

— Брат мой не хочет отвечать? — продолжала Красавица с нетерпением, к которому примешивалось начало беспокойства.

— Тот, кого сестра моя называет генералом Бустаменте, — отвечал индеец резко, — не имеет уже нужды ни в ком... он в плену.

Красавица прыгнула как раненая львица.

— В плену! — закричала она. — О! Брат мой ошибается!

— Он в плену, и через три дня умрет.

Красавица была поражена. Эта ужасная новость уничтожила ее.

— О! — прошептала она. — Несмотря ни на что, я добьюсь своей цели!

Взгляд ее сверкал, губы дрожали, а кулаки сжимались от ярости.

— О! Я не хочу, чтобы он умер! — вскричала она.

— Он умрет! — отвечал Антинагюэль. — Кто может его спасти?

— Вы, вождь! — сказала донна Мария решительно, крепко сжав руку токи.

— Зачем я это сделаю? — отвечал он беззаботно. — Какое мне дело до жизни этого человека? Бледнолицые мне не братья!

— Нет, но жизнь его драгоценна для меня, для моего мщения! Он один может выдать мне моего врага! Я хочу, чтобы он жил, говорю я вам!

— Хорошо, пусть же сестра моя освободит его, если так хочет спасти его!

— Вы один можете сделать это, вождь, если захотите, — возразила донна Мария.

Антинагюэль пристально взглянул на нее и сказал:

— Кто заставляет вас предполагать, что я захочу этого?

— Послушайте, вождь, — закричала Красавица с горячностью, — вы любите эту женщину, эту подлую собаку бледнолицых!

Индеец задрожал, но не отвечал.

— О! Не старайтесь обмануть меня; глаза женщины нельзя обмануть: ненависть ваша к дону Тадео, при виде этой твари, заменилась в вашем сердце любовью.

— А если бы и так? — сказал он с волнением.

— Хорошо же... Услуга за услугу... Освободите генерала Бустаменте, — сказала донна Мария решительно, — я выдам вам эту женщину.

— О! — сказал Антинагюэль с насмешливой улыбкой. — Женщина насмешливая птица; кто обращает внимание на ее слова...

Услыхав, что вождь бросает ей в лицо те самые слова, какие она сказала ему за несколько минут перед этим, Красавица топнула ногой с нетерпением.

— Э! — закричала она с гневом. — Возьмите эту женщину и да будет она проклята.

Антинагюэль заревел как тигр и бросился вон из комнаты.

— О! — закричала Красавица хриплым голосом и тоном, который невозможно передать. — Я думаю, что любовь этого негодяя отомстит за меня лучше всех мучений, какие я могла бы придумать!

Вдруг вождь поспешно вернулся; черты его были расстроены бешенством и обманутым ожиданием.

— Она убежала! — вскричал он.

В самом деле, донна Розарио и индеец, которому Красавица поручила стеречь ее, исчезли. Никто не знал, куда они девались. Антинагюэль немедленно разослал своих воинов в погоню по всем направлениям. Красавица находилась в неопisanном бешенстве. Мщение ускользнуло из рук ее! Она была подавлена.

Возвращение в Вальдивию

Настала ночь. Наклонившись над изголовьем друга, все еще погруженного в тот глубокий сон, который обыкновенно следует за большой потерей крови, Валентин с тревожной нежностью смотрел на бледное лицо своего друга.

— О! — говорил он вполголоса, с гневом сжимая кулаки. — Кто бы ни были твои убийцы, брат, они дорого поплатятся за свое преступление!

Полог палатки приподнялся; чья-то рука дотронулась до плеча молодого человека. Он обернулся. Перед ним стоял Трангуаль Ланек. Лицо ульмена было мрачно как туча. Он, казалось, был в сильном волнении.

— Что с вами, вождь? — спросил Валентин, испугавшись состояния, в каком он его видел. — Что случилось, ради Бога? Уж не новое ли несчастье пришли вы объявить мне?

— Несчастье беспрерывно подстерегает человека, — заметил индеец, — он должен быть готов ежечасно принять его, как ожидаемого гостя.

— Говорите, — отвечал молодой человек твердым голосом, — что бы ни случилось, я не дрогну.

— Хорошо, брат мой тверд; это великий воин, он не позволит себе прийти в уныние: пусть брат мой поспешит, надо ехать.

— Ехать! — вскричал Валентин, вздрогнув. — А друг мой?

— Наш брат Луи поедет с нами.

— Возможно ли перевезти его?

— Надо, — решительно сказал индеец, — топор войны поднят против бледнолицых; вожди окасские пили огненную воду, дух зла овладел их сердцами; надо ехать прежде чем они подумают о нас; через час будет слишком поздно.

— Поедем же, — отвечал молодой человек, убедившись, что Трангуаль Ланек знал более нежели хотел сказать, и что большая опасность действительно угрожает им. Он заметил, что вождь, человек непоколебимого мужества, лишился того бесстрастия, которое почти никогда не оставляет индейцев.

Приготовления к отъезду были сделаны с удивительной быстротой. Койка, в которой лежал Луи, была крепко привязана к двум деревянным шестам, к которым припрягли двух лошаков, так что раненый даже не проснулся. Всадники отправились в путь с величайшими предосторожностями.

Таким образом ехали они более часа, не говоря ни слова; огни индейского лагеря мало-помалу исчезли вдаль и, путники были вне опасности, по крайней мере, на время. Валентин подскакал к Трангуалю Ланеку, который ехал впереди конвоя, и спросил:

— Куда мы едем?

— В Вальдивию, — отвечал вождь, — там только дон Луи будет в безопасности.

— Вы правы, — сказал Валентин, — но разве мы останемся в бездействии?

— Я сделаю все, чего захочет мой бледнолицый брат; разве я не друг его? Я пойду, куда пойдет он, его воля будет моей волей.

— Благодарю, вождь, — отвечал француз с волнением, — у вас благородное и достойное сердце.

— Брат мой спас мне жизнь, — сказал ульмен с простотою, — эта жизнь уже не моя, она принадлежит ему.

Или вожди ароканские не заметили отъезда чужестранцев, или, что гораздо вероятнее, не захотели преследовать их.

Валентин и его провожатые ехали тихо, задерживаемые раненым, который не мог бы, при такой слабости, в какой он находился, перенести толчки быстрой скачки. К трем часам утра слабые огни, дрожавшие на горизонте и с трудом пробивавшиеся сквозь туман, кото-

рый в этот час ночи покрывает землю как будто холодным саваном, возвестили каравану, что он приближается к городу.

Через три четверти часа доехали они до садов, окружающих Вальдивию наподобие огромного букета цветов. Караван остановился на несколько минут, чтобы дать вздохнуть лошадям. Теперь уже нечего было опасаться.

— Брат мой знает этот город? — спросил Трангуаль Ланек Валентина.

— К чему этот вопрос? — спросил тот.

— По причине очень простой, — отвечал вождь, — в пустыне я могу и днем и ночью служить проводником моему брату, но здесь в этой деревне белых, глаза мои закрываются; я слеп, брат мой поведет нас.

— Черт побери! — сказал Валентин, смутившись. — В этом случае и я так же слеп как и вы, вождь; вчера я в первый раз въехал в этот город, но, — прибавил он, улыбаясь, — в ту минуту пули свистали в воздухе так назойливо, что я не имел времени осведомляться и спрашивать, куда идти.

— Не беспокойтесь, сенор, — сказал один из слуг, услышавший этот разговор, — сообщите мне только куда вы хотите ехать, я вас провожу.

— Гм! — отвечал Валентин. — Куда я хочу ехать? Я и сам этого не знаю; все места хороши для меня, только бы друг мой находился в безопасности.

— Извините, сенор, — продолжал слуга, — если бы я осмелился...

— Осмелюсь, осмелюсь, друг мой! Ваша мысль, без сомнения, превосходна, признаюсь, что в эту минуту у меня голова пуста как барабан.

— Зачем, сенор, не пойдете вы к дону Тадео де Лелону, моему господину?

— Черт побери! — сказал Валентин с досадой. — Как вы милы, честное слово! Я не еду к дону Тадео по той простой причине, что не знаю где его найти, вот и все!

— Я знаю, сеньор; дон Тадео должен быть в ратуше.

— Справедливо, я об этом и не подумал; но как найти дорогу в ратушу.

— Я провожу вас, сеньор.

— Прекрасный ответ; этот малый преумный; когда же едем мы, друг мой?

— Когда будет угодно сеньору.

— Сейчас! Сейчас!

— В таком случае отправимся, — отвечал служитель.

И караван двинулся в путь. Через несколько минут он въехал на Большую Площадь, прямо напротив ратуши.

Город был мрачен и безмолвен; всюду виднелись следы ожесточенной борьбы: груды разбитой мебели, широкие траншеи, вырытые в земле, выломанные из мостовой камни. Перед ратушей прохаживался медленными шагами часовой; при виде каравана, подъезжающего к нему, он остановился и прицелился.

— Кто идет? — закричал он грубым голосом.

— *La patria!* — отвечал Валентин.

— Проходите мимо! — отвечал часовой.

— Гм! — прошептал молодой человек. — Кажется, сюда не так легко войти, как я думал; все равно, — прибавил он, — все-таки попробуем. Друг мой, — сказал он вкрадчивым голосом часовому, который стоял бесстрастно перед ним, — у нас есть дело во дворце.

— Вы знаете пароль? — спросил солдат.

— Нет! — откровенно отвечал Валентин.

— В таком случае вы не войдете.

— Мне однако ж нужно войти.

— Может быть, но так как вы не знаете пароля, я советую вам убираться с Богом, а то, клянусь, будь вы сам черт, я не пропущу вас.

— Друг мой, — отвечал парижанин лукавым тоном, — в том, что вы говорите, нет логики; если бы я был черт, мне не нужен бы был пароль, я вошел бы против вашей воли.

— Берегитесь, сеньор, — прошептал слуга, — этот солдат способен выстрелить в вас.

— Черт побери! Я этого и жду! — сказал Валентин, смеясь.

Слуга взглянул на молодого человека с изумлением и подумал, что он сошел с ума. Часовой, думая, что над ним насмехаются, прицелился и закричал раздраженным голосом:

— В последний раз говорю вам — уйдите или я выстрелю.

— Я хочу войти, — решительно отвечал Валентин.

— К оружию! — закричал солдат и выстрелил.

Валентин, внимательно следовавший за движениями солдата, быстро соскочил с лошади; пуля просвистела над его головой. При крике часового и при звуке выстрела несколько вооруженных солдат в сопровождении офицера, державшего зажженный фонарь, выскочили из дворца.

— Что случилось? — спросил офицер громко.

— Э! — вскричал Валентин, которому этот голос был знаком. — Это вы, дон Грегорио?

— Кто меня зовет? — сказал тот.

— Я! Дон Валентин.

— Как, это вы, любезный друг, причиною всего этого шума? — возразил дон Грегорио, подходя. — А я думал, что на нас напал неприятель.

— Что же мне было делать? — сказал, смеясь, молодой человек. — Я не знал пароля, а хотел войти.

— Только в головы французов могут приходиться подобные идеи.

— Не правда ли, что моя довольно оригинальна?

— Да, но вы рисковали быть убитым.

— Ба! Нередко рискуешь быть убитым, но все-таки остаешься жив, — беззаботно заметил Валентин. — Советую вам воспользоваться этой идеей при случае.

— Очень обязан за совет, но сомневаюсь, воспользуюсь ли я им когда-нибудь.

— Напрасно.

— Войдите же, войдите!

— Я ничего более и не желаю, мне непременно нужно видеть дона Тадео сию же минуту.

— Кажется, он спит.

— Он проснется.

— Разве вы принесли интересные известия?

— Да, — отвечал молодой человек, вдруг сделавшись печальным: известия ужасные.

Дон Грегорио, пораженный тоном, каким француз произнес эти слова, предчувствовал несчастье и не спрашивал более. Слуги отнесли во дворец носилки, в которых спал дон Луи. По распоряжению дона Грегорио, раненый был положен на кровать, которую приготовили наскоро.

— Что случилось? Дон Луи ранен? — спросил с удивлением дон Грегорио.

— Да, — отвечал Валентин глухим голосом: он получил два удара кинжалом.

— Каким образом?

— Узнаете, — отвечал Валентин, — но прошу вас, отведите меня сию же минуту к дону Тадео.

— Пойдемте же, ради Бога! Ваши слова заставляют меня дрожать.

И в сопровождении Валентина и Трангуаля Ланека дон Грегорио пошел большими шагами по лабиринту многочисленных коридоров дворца, расположение которого, казалось, он знал превосходно.

Отец

Дон Тадео провел большую часть ночи, отдавая приказания уничтожить следы сражения. Он назначил чиновников смотреть за городской полицией. Обеспечив насколько было возможно спокойствие и безопасность граждан, отправив несколько депеш в Сантьяго и в другие центры известие о том, что случилось, разбитый усталостью, он бросился одетый на походную постель, чтобы отдохнуть.

Он спал около часа беспокойным сном, когда дверь комнаты его с шумом растворилась; яркий свет ударил ему в лицо, вошло несколько человек. Дон Тадео вдруг проснулся.

— Кто там? — закричал он, стараясь, не смотря на свет, ослепивший ему глаза, рассмотреть тех, которые разбудили его так некстати.

— Это я, — отвечал дон Грегорио.

— Но вы не один, мне кажется?

— Нет, со мною дон Валентин.

— Дон Валентин! — вскричал дон Тадео, проводя рукою по лбу, как бы затем, чтобы прогнать последние тучи, затемнявшие его мысли. — Но я ждал дона Валентина утром; что заставило его ехать ночью?

— Причина серьезная, дон Тадео, — отвечал молодой человек мрачным голосом.

— Ради Бога, говорите! — вскричал дон Тадео.

— Будьте тверды! Соберитесь с мужеством, чтобы перенести удар.

Дон Тадео раза прошелся по комнате., потупив голову, нахмутив брови, потом остановился перед Валентином с бледным, но бесстрастным лицом. Этот железный человек преодолел себя, предчувствуя тяжесть удара, он приказал своему сердцу не разрываться от горя, своим мускулам не трепетать.

— Говорите, — сказал он, — я готов вас слушать.

Когда он произносил эти слова, голос его был тверд, черты лица спокойны, Валентин, сам человек мужественный, был поражен.

— Несчастье, которое вы пришли объявить мне, не касается ли меня одного? — спросил дон Тадео.

— Да, — сказал молодой человек трепещущим голосом.

— Слава Богу! Говорите, я вас слушаю.

Валентин понял, что не следовало подвергать душу этого человека более жестокому испытанию и решился сказать:

— Донна Розарио исчезла: ее похитили во время нашего отсутствия. Луи, мой молочный брат, желая защитить ее, упал пораженный двумя ударами кинжала.

Король Мрака походил на мраморную статую; никакое волнение не обнаруживалось на его суровом лице.

— Дон Луи умер? — спросил он.

— Нет, — ответил Валентин, все более и более удивляясь, — я надеюсь даже, что через несколько дней он выздоровеет.

— Тем лучше! — сказал с чувством дон Тадео. — Это для меня приятное известие.

И скрестив руки на своей широкой груди, он начал ходить по комнате большими шагами. Трое человек смотрели на него, удивляясь его высокому стоицизму, которого они не понимали.

— Неужели вы оставите донну Розарию у ее похитителей? — спросил его дон Грегорио тоном упрека.

Дон Тадео бросил на него взор, исполненный такой горькой иронии, что дон Грегорио невольно потупил глаза.

— Если бы ее похитители укрылись в недрах земли, я и тогда отыскал бы их, кто бы они ни были, — отвечал дон Тадео.

К нему подошел Трангуаль Ланек.

— Их преследует Курумилла, — сказал он, — он их найдет.

Молния радости осветила на секунду черные глаза Короля Мрака.

— О! — прошептал он. — Берегитесь, донна Мария!

Дон Тадео тотчас угадал, кто был виновником похищения.

— Что намерены вы делать? — спросил дон Гриорио.

— Ничего, — отвечал он холодно, — пока наш лазутчик не вернется; друг, — обратился он к Валентину, — не имеете ли вы еще чего-нибудь сказать мне?

— Почему вы предполагаете, что я не все сказал вам? — спросил молодой человек.

— А! — возразил дон Тадео с меланхолической улыбкой. — Вы еще не знаете, друг, что мы испано-американцы как ни стараемся выказаться цивилизованными, но все-таки остаемся еще полуварварами... мы ужасно суеверны...

— Так что ж?

— Между другими глупостями в таком же роде, мы верим пословицам, а не говорит ли одна из них, что «несчастье никогда не приходит одно»?

— Вы правы: да, действительно, я привез вам еще одно известие, хорошее ли, дурное ли, вы одни можете судить о том...

— Ну вот видите, я знал, что есть еще что-то, — сказал дон Тадео с печальной улыбкой, — сообщите же мне это известие, друг мой; я вас слушаю.

— Вы конечно знаете, что вчера Бустаменте возобновил мирный договор с ароканским вождем.

— Точно.

— Не знаю, какой лазутчик или перебежчик уведомил их о том, что произошло здесь; дело в том, что к вечеру они узнали о поражении и взятии в плен генерала Бустаменте.

— Что ж далее?

— Тогда ими овладело какое-то неистовое безумие, они держали большой совет.

— Словом, они нарушили договор, не так ли, друг мой?

— Да.

— И вероятно решились вести с нами борьбу?

— Я полагаю; четыре токи вырыли топор войны; вместо них был выбран один верховный токи.

— А! — сказал дон Тадео. — А знаете ли вы, как зовут этого верховного токи?

— Знаю.

— Кто же это?

— Антинагюэль.

— Я это подозревал! — вскричал дон Тадео с гневом. — Этот человек обманул нас; это лицемер, живущий только хитростью; безграничное честолюбие заставляет его при случае жертвовать самыми важными интересами и нарушать самые священные клятвы. Этот человек играл в двойную игру: он притворно выказывал себя союзником Бустаменте и нашим, основывая на нашей взаимной вражде свое будущее возвышение; но он слишком поторопился сбросить маску, и клянусь, я накажу его так, что его соотечественники будут это помнить и через столетие еще будут трепетать от ужаса.

— Берегитесь ушей, слушающих вас, — сказал дон Грегорио, указывая ему взором на ульмена, который бесстрастно стоял против него.

— Какое мне дело, — возразил дон Тадео запальчиво, — если я говорю таким образом, я хочу, чтобы меня слышали; я благородный испанец, язык мой произносит то, что я думаю. Ульмен может, если хочет, передать мои слова своему вождю.

— Великий Орел белых несправедлив к своему сыну, — отвечал Трангуаль Ланек печальным голосом, — не у всех арокан одинаковое сердце; Антинагюэль один отвечает за свои поступки; Трангуаль Ланек ульмен в своем племени; он знает как он должен присутствовать при советах вождей; что глаза его видят, что уши его слышат, сердце забывает, а язык не повторяет: зачем отец мой говорит мне эти оскорбительные слова, когда я готов употребить все свои силы, чтобы возвратить ему ту, которую он потерял?

— Это правда! Я несправедлив, вождь; напрасно говорил я таким образом; сердце у вас прямое, а язык не знает лжи; простите меня и позвольте мне пожать вашу благородную руку.

Трангуаль Ланек горячо пожал руку, искренно протянутую ему доном Тадео.

— Отец мой добр, — сказал он, — сердце его помрачено в эту минуту великим несчастьем, поразившим его; пусть отец мой утешится: Трангуаль Ланек возвратит ему молодую девушку с лазоревыми глазами.

— Благодарю, вождь, я принимаю ваше предложение; можете положиться на мою признательность.

— Трангуаль Ланек не продает своих услуг; он вознагражден, когда друзья его счастливы.

— Вы достойный человек, Трангуаль Ланек! — вскричал Валентин, пожимая руку вождя. — Я счастлив быть вашим другом. Я расстанусь с вами на некоторое время, — прибавил он, обращаясь к дону Тадео, — поручаю вам моего брата Луи.

— Вы меня оставляете? — с живостью спросил дон Тадео.

— Да, так надо; я вижу, что ваше сердце страдает, несмотря на неслыханные усилия, которые вы делаете, чтобы выглядеть бесстрастным; я не знаю, какие узы связывают вас с несчастным ребенком, который сделался жертвою такого гнусного покушения; но чувствую, что потеря его вас убивает; о клянусь Богом, я возвращу ее вам, дон Тадео, или умру.

— Дон Валентин! — вскричал дон Тадео с волнением. — Что хотите вы делать? Ваше намерение безумно; никогда не приму я такой преданности.

— Позвольте мне действовать как я считаю нужным. Я парижанин, то есть упрям как лошак, и когда мне засела в голову мысль, дурная или хорошая, она уже не выйдет оттуда, клянусь вам; я только обниму моего бедного брата и тотчас уеду; вождь, отправимся отыскивать похитителей.

— Поедем, — сказал ульмен.

Дон Тадео оставался с минуту неподвижен: он глядел на молодого человека со странным выражением; в нем происходила сильная борьба; наконец человек одержал верх над государственным деятелем, он зарыдал и упал в объятия француза, произнеся голосом, полным горя:

— Валентин! Валентин! Возвратите мне мою дочь!..

Наконец высказался отец. Стоицизм разбился навсегда об отцовскую любовь. Но человеческая натура имеет границы, за которые не может переступить; нравственное потрясение, полученное доном Тадео, невероятные

усилия, какие он делал, чтобы скрывать его, совершенно лишили его сил; он упал на плиты залы, как горделивый дуб, пораженный молнией. Он был без чувств. Валентин с минуту смотрел на него с выражением горести и сострадания, потом сказал:

— Бедный отец, вооружись мужеством; твоя дочь будет возвращена тебе!

И он вышел большими шагами вместе с Трангуалем Ланеком, между тем как дон Грегорио, став на колени возле своего друга, хлопотал над ним.

Курумилла

Чтобы объяснить читателям удивительное исчезновение донны Розарио, мы вынуждены вернуться к Курумилле в ту минуту, когда он, после разговора с Трангуалем Ланеком, отправился по следам похитителей молодой девушки.

Курумилла был воин столь же известный своей мудростью и осторожностью в советах, как и своим мужеством в битвах. Переехав реку, он оставил в руках слуги, сопровождавшего его, свою лошадь, которая теперь становилась ему не только бесполезной, но еще могла и повредить, обнаружив стуком своих копыт его присутствие.

Индейцы отличные наездники, но и прекрасные ходоки. Природа одарила их необыкновенной силою в ногах; они обладают в высшей степени искусством того гимнастического размеренного шага, который несколько лет назад ввели в Европе, и особенно во Франции для подготовки войск. С невероятной быстротою совершают они переходы, которые едва могут сделать всадники, скачущие во весь опор; они идут всегда прямо, не обращая внимания на бесчисленные препятствия, встречающиеся им на пути; ничто не может остановить их.

Это качество, которым обладают они одни, делает их в особенности опасными для испано-американцев, которые не могут достигнуть такой легкости в переходах. Таким образом во время войны они постоянно находят индейцев перед собою именно в ту минуту, когда наиме-

нее этого ждали, и почти всегда на значительном расстоянии от тех мест, где дикари должны были находиться.

Старательно изучив следы, оставленные похитителями, Курумилла угадал с первого раза дорогу, по которой они отправились, и место, куда они ехали. Он не поехал за ними: это заставило бы его потерять много времени; напротив, он решился перерезать им путь и ждать их в одном месте, которое он знал и где легко было сосчитать их и, может быть, спасти молодую девушку.

Приняв это намерение, ульмен шел несколько часов без отдыха, держа глаза и уши настороже, проникая во мрак, терпеливо прислушиваясь к шуму пустыни. Этот шум для нас белых совершенно непонятен, но для индейцев каждый отголосок в воздухе имеет особенное значение, в котором они никогда не ошибаются; они анализируют их, разлагают и часто узнают этим способом вещи, которые их враги более всего желают скрыть.

Как ни необъясним подобный факт с первого взгляда, но в сущности дело очень просто. В пустыне не существует шума без причины. Полет птиц, бег хищного зверя, шелест листьев, падение камня в овраг, качание высокой травы — все для индейца служит драгоценным признаком.

В одном месте, которое Курумилла знал, он лег ничком на землю позади груды камней и как будто слился с травой и кустарником, которые окружали дорогу.

Он оставался в таком положении более часа, не делая ни малейшего движения. Если бы кто-нибудь и заметил его, то конечно принял бы за мертвеца. Изобранный слух индейца уловил наконец вдали глухой шум лошадиных копыт. Этот шум приближался, скоро на расстоянии двух копий от места, где затаился ульмен, он заметил двадцать всадников, медленно ехавших во мраке.

Похитители, вероятно надеясь на свою многочисленность и потому считая себя вне всякой опасности, ехали совершенно спокойно. Индеец медленно поднял голову, подперся руками и, жадно следуя взором за всадниками, ждал. Они проехали, не заметив его.

В нескольких шагах позади группы беззаботно ехал один всадник. Голова его склонялась иногда на грудь, рука слабо держала поводья. Очевидно было, что этот человек дремал на лошади.

Внезапная мысль пришла в голову Курумиллы. Он приподнялся на своих железных ногах и, прыгнув как

тигр, вскочил на лошадь всадника. Прежде чем тот, застигнутый врасплох этим неожиданным нападением, успел вскрикнуть, Курумилла сжал ему горло так, что тому решительно было невозможно звать на помощь. В один миг Курумилла связал всадника, заткнул ему рот и сбросил на землю; потом, схватив его лошадь, он привязал ее к кусту и возвратился к своему пленнику.

Тот со стоическим мужеством, свойственным туземцам Америки, видя себя побежденным, и не пытался оказать бесполезное сопротивление; он взглянул на своего победителя с презрительной улыбкой и ждал, чтобы он заговорил с ним.

— О! — сказал Курумилла, который, наклонившись к нему, узнал его. — Жоан!

— Курумилла! — отвечал тот.

— Гм! — пробормотал ульмен про себя. — Я предпочел бы, чтобы это был не он. Что делает брат мой на этой дороге? — спросил он вслух.

— Какое дело до этого моему брату? — сказал индеец, отвечая на вопрос тоже вопросом.

— Не будем терять драгоценного времени, — возразил ульмен, обнажая свой нож, — пусть брат мой говорит.

Жоан вздрогнул, трепет ужаса пробежал по его членам при синеватом блеске длинного и острого ножа.

— Пусть вождь спрашивает! — сказал он задыхающимся голосом.

— Куда едет мой брат?

— В деревню Сан-Мигуэль.

— Хорошо! А зачем брат мой едет туда?

— Чтобы передать сестре великого токи женщину, которую утром мы захватили.

— Кто вам велел захватить ее?

— Та, к которой мы едем.

— Кто распоряжался похищением?

— Я.

— Хорошо! Где эта женщина ожидает пленницу?

— Я уже сказал вождю: в деревне Сан-Мигуэль.

— В которой хижине?

— В последней, в той, которая стоит немножко поодаль от других.

— Хорошо! Пусть мой брат поменяется со мною шляпой и плащом.

Индеец повиновался без возражений. Когда обмен был сделан, Курумилла продолжал:

— Я мог бы убить моего брата; благоразумие даже требовало бы, чтобы я сделал это, но сострадание вошло в мое сердце; у Жоана есть жены и дети; это один из храбрых воинов его племени; но если оставлю ему жизнь, будет ли он мне признателен?

Индеец думал, что он умрет. Эти слова возвратили ему надежду. Жоан был не злой человек, ульмен знал это хорошо; он знал также, что может положиться на его обещание.

— Отец мой держит мою жизнь в своих руках, — отвечал Жоан, — если он не возьмет ее сегодня, я останусь должником его и позволю убить себя по одному его знаку.

— Очень хорошо! — сказал Курумилла, воткнув нож за пояс. — Брат мой может встать; вождь взял с него слово.

Индеец вскочил на ноги и горячо поцеловал руку человека, пощадившего его жизнь.

— Что приказывает отец мой? — спросил он.

— Пусть брат мой как можно скорее поедет в большую деревню, которую инки называют Вальдивией. Он найдет там дона Тадео, Великого Орла белых, и перескажет ему что произошло между нами, прибавив, что я спасу пленницу или умру.

— Это все?

— Да; если Великий Орел будет иметь нужду в услугах моего брата, он не колеблясь должен послушаться его распоряжений. Прощай! Пусть Пиллиан руководит моим братом и пусть брат мой помнит, что я не хотел взять его жизни, которая принадлежала мне!

— Жоан будет помнить! — отвечал индеец.

По знаку Курумиллы он спрятался в высокую траву, пополз как змея и исчез по направлению к Вальдивии.

Ульмен, не теряя ни минуты, сел в седло, прищпорил лошадь и скоро догнал похитителей, которые продолжали спокойно ехать, не подозревая совершившейся подмены.

Это Курумилла, переноса девушку в хижину, прошептал ей на ухо:

— Надежда и мужество!

Эти два слова, предупредив донну Розарио о том, что друг бодрствует над ней, придали ей необходимые силы. После неожиданного приезда Антинагюэля, когда донна

Розарио приказала Курумилле вывести пленницу, он вместо того, чтобы отвести ее в комнату, где она ждала прежде, набросил ей на плечи плащ, чтобы ее нельзя было рассмотреть, и сказал ей тихим голосом:

— Ступайте за мной, идите смело: я постараюсь спасти вас.

Молодая девушка колебалась. Она боялась засады. Ульмен понял ее.

— Я Курумилла, — продолжал он быстро, — один из ульменов, преданных двум французам, друзьям дона Тадео.

Донна Розарио вздрогнула.

— Ступайте! — отвечала она твердым голосом. — Что бы ни случилось, я последую за вами!

Они вышли из хижины. Индейцы разговаривали между собою о событиях этого дня и не заметили их. Беглецы шли минут десять, не перекинувшись ни одним словом. Скоро деревня растворилась во мраке. Курумилла остановился. Две оседланные и взнузданные лошади были привязаны за кустом кактуса.

— Сестра моя чувствует ли себя в силах сесть на лошадь и проехать большое пространство? — сказал он.

— Чтобы избавиться от моих гонителей, — отвечала она прерывающимся голосом, — я способна на все.

— Хорошо! — отвечал Курумилла. — Сестра моя мужественна. Ее Бог поможет ей!

— На Него одного возлагаю я мою надежду, — воскликнула молодая девушка с печальным вздохом.

— Сядем же на лошадей и поедem! Каждая минута дорога для нас!

Они сели на седла и поскакали с чрезвычайной быстротой; стук копыт слышно не было, потому что Курумилла обернул ноги лошадей бараньей кожей.

Донна Розарио вздохнула с облегчением, почувствовав себя свободной и под покровительством преданного друга. Беглецы скакали по направлению, диаметрально противоположному тому, по которому им надлежало бы следовать, чтобы возвратиться в Вальдивию. Благоразумие требовало, чтобы они не ехали по той дороге, на которой, по всей вероятности, их будут отыскивать прежде всего.

Во дворце

После отъезда Валентина и Трангуаля Ланека, дон Грегорио Перальта окружил своего друга всеми возможными попечениями. Дон Тадео был человек характера чрезвычайно твердого, и потому побежденный на минуту ужасным волнением, выше всех человеческих сил, он скоро опомнился.

Раскрыв глаза, он бросил вокруг себя отчаянный взгляд, и воспоминания прояснились в голове его; он с унынием опустил голову на руки и предался горести на несколько минут. Как только дон Грегорио увидел, что заботы его не были уже необходимы, с тактом, присущим всем избранным натурам, он понял, что другу его необходимо полное уединение, и удалился так тихо, что тот не приметил его ухода.

Говорят и повторяют до бесконечности, что слезы облегчают, что они полезны; это может быть справедливо в отношении женщин, натур нервных и впечатлительных, горесть которых чаще всего изливается слезами и которые, когда слезы иссякнут, сами удивляются тому, что утешились. Но если мы соглашаемся, что слезы полезны женщинам, зато мы утверждаем, что они заставляют глубоко страдать мужчин. Слез у мужчин выражение бессилия.

Мужчина сильный, доведенный до слез, признает себя побежденным; он изнемогает под тяжестью несчастья: борьба становится для него более невозможной; поэтому слезы, которые он проливает, падают, капля за каплей,

на его сердце и обжигают его как раскаленное железо. Плакать — самая ужасная мука, на какую только может быть осужден мужчина с сердцем и умом!

Дон Тадео плакал. Дон Тадео, Король Мрака, который улыбаясь глядел в лицо смерти, который остался жив по какому-то чуду, железная воля которого разбивала все, что противилось исполнению его намерений; он, который одним словом, одним движением управлял тысячами людей, склонявшихся перед его прихотью, он плакал.

Этот человек плакал! Слабый, растерянный, он плакал как ребенок! Испуская подобно хищному зверю страшный рев, от которого грудь его готова была разорваться, он был принужден сознаться наконец, что существует только одна высшая воля на свете, одна единственная сила, сила Божия!

Но дон Тадео не принадлежал к числу людей, которых долго может приводить в уныние горечь, как бы велика ни была она; с яростью в глазах, сжигаемых горячкой, он встал гордый и ужасный.

— О! Еще не все кончено! — закричал он.

Проводя рукою по лбу, орошенному холодным потом, он прибавил:

— Надо собраться с мужеством! Я должен спасти народ, прежде чем думать о моей дочери! Семейные привязанности должны идти после обязанностей государственного человека; будем продолжать наше дело.

Он позвонил, явился дон Грегорио. С одного взгляда он увидел опустошение, которое горечь произвела в душе его друга, но он заметил также, что Король Мрака победил в себе чувства отца.

Было около семи часов утра. Просители наполняли уже все залы дворца.

— Каковы ваши намерения на счет генерала Бустаменте? — спросил дон Грегорио.

Дон Тадео был спокоен, холоден, бесстрашен; всякий след волнений исчез с его лица, которое имело в эту минуту белизну и твердость мрамора. Сидя за столом, по которому он небрежно стучал костяным ножом, дон Тадео выслушал этот вопрос с озабоченным видом человека, погруженного в серьезные размышления.

— Друг мой, — отвечал он, — вчера мы свалили дона Панчо Бустаменте и развеяли его честолюбивые

иллюзии; к несчастью, мы достигли этого такими средствами, о которых я сожалею, потому что победа наша стоила жизни многим. Поверьте мне, что я сделал это не затем, чтобы захватить место дон Панчо. Если бы я покусился на это, я был бы в свою очередь изменником, и страна, избегнув одной опасности, только попала бы в другую, не менее важную.

— Но вы единственный человек, который...

— Не говорите этого, — перебил дон Тадео, — я не признаю за собою права заставлять моих сограждан разделять со мною идеи и планы, которые могут быть очень хороши, по крайней мере я считаю их такими, но с которыми, может быть, они не согласны. Дон Панчо, хотевший поработить нас, уничтожен; стало быть, моя миссия завершена. Я должен предоставить народу право свободно избрать человека, который отныне будет заботиться об его интересах и управлять им.

— Но кто же говорит вам, друг мой, что этот человек не вы?

— Я! — отвечал дон Тадео твердым голосом.

Дон Грегорио сделал движение удивления.

— Это вас удивляет, не правда ли, друг мой? Но как вы хотите, а это так... Вчера я разослал нарочных по всем направлениям, чтобы никто не обманулся на счет моих намерений; я забочусь только о том, чтобы сложить с себя власть, эту ношу, слишком тяжелую для моих плеч; я хочу сделаться честным человеком и снова начать жизнь, из которой, — прибавил он с улыбкой сожаления, — я, может быть, не должен был бы выходить.

— О! Не говорите таким образом, дон Тадео! — с живостью вскричал дон Грегорио. — Вы навсегда заслужили признательность народа.

— Все это дым, друг мой, — отвечал дон Тадео с иронией, — почему вы знаете, доволен ли народ тем, что я сделал? Кто нам докажет, что он не предпочитает рабства? Народ — взрослый ребенок, который требует, чтобы его всегда водили на помочах... Не восхвалял ли он своих притеснителей, не воздвигал ли памятников своим тиранам?.. Но кончим этот разговор, мое решение принято, ничто не может поколебать его.

— Но... — хотел прибавить дон Грегорио.

Дон Тадео остановил его жестом.

— Еще одно слово, — сказал он, — для того, чтобы быть государственным человеком, надо идти по предпринятому пути одному, не иметь ни детей, ни родных, ни друзей, считать людей пешками шахматной игры, — словом, не чувствовать порывов своего сердца; иначе может прийти такая минута, когда, или из усталости, или по другой причине, властитель против воли поддается эмоциям и тогда погибнет; тот, кто имеет власть, должен походить на человека только по наружности.

— Что же хотите вы делать?

— Прежде всего я намерен отослать Бустаменте в Сантьяго. Хотя этот человек и заслужил смерть, но я не хочу взять на себя ответственность за его осуждение: довольно крови было пролито по моим приказаниям... Бустаменте поедет завтра с генералом Корнейо и сенатором Сандиасом; эти два человека не выпустят его; их выгоды требуют, чтобы он молчал; впрочем, у него будет довольно многочисленный конвой на тот случай, чтобы, чего я впрочем не ожидаю, сообщники преступника не вздумали освободить его.

— Ваши приказания будут в точности исполнены.

— Это последние, которые вы получите от меня, друг мой.

— Отчего же?

— Оттого, что сегодня же я передам вам власть.

— Но... друг мой...

— Ни слова, прошу вас, я так решил; теперь проводите меня к этому бедному французу, который так благородно, с опасностью для жизни, защищал мою несчастную дочь.

Дон Грегорио безмолвно пошел провожать своего друга.

По приказанию дона Грегорио, граф де Пребуа-Крансэ был помещен в удобной комнате, где его окружили самым заботливым уходом. Состояние его здоровья было весьма удовлетворительно; он чувствовал себя гораздо лучше.

Посещение дона Тадео принесло Луи большое удовольствие. Трангуаль Ланек не ошибся; по счастливой случайности, кинжалы только скользнули по телу; лишь потеря крови причинила слабость, которую чувствовал молодой человек; раны его начали уже затягиваться, и через два-три дня он снова мог начать свой прежний образ жизни.

Луи был одет, лежал в большом кресле и читал, когда дон Тадео и дон Грегорио вошли в его комнату. Дон Тадео с живостью подошел к нему и сжал его руку.

— Друг мой, — сказал он ему с жаром, — сам Бог поставил вас и вашего товарища на моем пути.

При этих дружеских словах, глаза молодого человека засверкали, и легкая краска выступила на бледных щеках.

— Зачем приписывать такую высокую цену тому немногому, что я мог сделать, дон Тадео? — сказал он. — Увы! Я отдал бы всю мою жизнь, чтобы сохранить вам донну Розарио.

— Мы найдем ее, — энергически возразил дон Тадео.

— О! Если бы я мог сесть на лошадь, — вскричал молодой человек, — я уже давно летел бы по следам ее!

В эту минуту дверь отворилась, и слуга сказал дону Тадео несколько слов шепотом.

— Пусть он придет! Пусть он придет! — вскричал Король Мрака с волнением и, обратившись к Луи, который с удивлением глядел на него, прибавил. — Мы узнаем новости.

Вошел индеец. Это был Жоан, человек, которого Курумилла не захотел убить.

Жоан

Одежда, покрывавшая индейца, была запачкана грязью, разодрана колючими растениями. Видно было, что он бежал быстро и по ужасным дорогам.

Жоан поклонился скрестил руки на груди и бесстрастно ждал вопроса.

— Брат мой принадлежит к храброму племени Черных Змей? — спросил дон Тадео.

Воин сделал головою утвердительный знак. Дон Тадео знал индейцев; он долго жил между ними, ему было известно, что они говорят только в случае крайней необходимости; поэтому безмолвие индейца не удивило его.

— Как зовут моего брата? — продолжал он.

Индеец гордо поднял голову и отвечал:

— Жоан; я ношу это имя в память вождя бледнолицых, которого я убил в битве.

— Хорошо! — возразил дон Тадео с печальной улыбкой. — Брат мой вождь знаменитый в своем племени.

Жоан улыбнулся с гордостью.

— Брат мой, без сомнения, пришел из своей деревни; у него, конечно, есть дела с бледнолицыми и он меня просит, чтобы я сделал справедливую расправу между ним и теми, с кем он имел дело.

— Отец мой ошибается, — отвечал индеец резко, — Жоан не требует помощи ни от кого: когда он оскорблен, копье отомстит за него.

Дон Грегорио и Луи с любопытством следили за этим разговором, в котором не понимали ни слова, потому что еще не угадывали, чего хочет дон Тадео.

— Пусть извинит меня брат мой, — сказал он, — однако он должен же иметь какую-нибудь причину, чтобы явиться ко мне?

— Есть причина, — сказал индеец.

— Пусть же брат мой объяснится.

— Я отвечаю на вопросы моего отца, — сказал Жоан, кланяясь.

Бесстрастие ароканов изумительно. Как бы ни было важно поручение, возложенное на них, если бы даже замедление должно было причинить смерть человека, они никогда не соизволят говорить ясно и тотчас отдать отчет в этом поручении, если тот, кто их спрашивает, не сумеет искусно заставить их объясниться. Конечно, Жоан хотел сказать все; он чрезвычайно торопился, чтобы придти скорее; но не смотря на это, произносил слова одно по одному и как бы с нежеланием.

Для многих это обстоятельство может показаться необыкновенным и непонятным. Однако во время пребывания нашего в Арокании, отчасти невольного, мы сами не раз бывали жертвой невозмутимого флегматизма ароканов.

Дон Тадео знал, с кем имеет дело. Тайное предчувствие говорило ему, что этот человек принес важное известие. Он продолжал вопросы:

— Откуда пришел брат мой?

— Из деревни Сан-Мигуэль.

— Это далеко отсюда; брат мой давно вышел из Сан-Мигуэля?

— Луна исчезала за вершиной высоких гор, и только одно созвездие Южного Креста распространяло свой свет на землю в ту минуту, когда Жоан начал свой путь, чтобы прийти к моему отцу.

От деревни Сан-Мигуэль до Вальдивии около восемнадцати миль. Дон Тадео удивился такой скорости. Это еще более утвердило его в том мнении, что индеец принес чрезвычайно важное известие. Он взял со стола стакан, наполнил его вином и подал посланному, говоря дружеским тоном:

— Пусть брат мой выпьет этот напиток; вероятно, пыль дороги прилипла к его горлу и мешает ему гово-

рять так свободно, как бы он хотел. Когда он выпьет, язык его развяжется.

Индеец улыбнулся; взор его сверкнул, он взял стакан и опорожнил его залпом.

— Хорошо! — сказал он, прищелкнув языком и поставив стакан на стол. — Отец мой гостеприимен; он действительно Великий Орел белых.

— Брат мой, конечно, пришел от вождя его племени? — продолжал дон Тадео, не терявший из вида цели, к которой стремился.

— Нет, — отвечал Жоан, — меня прислал Курумилла.

— Курумилла! — закричали Луи и дон Грегорио, невольно вздрогнув.

Дон Тадео вздохнул свободно; он попал на путь.

— Курумилла друг мой, — сказал он, — надеюсь, что с ним не случилось ничего неприятного?

— Вот его плащ и его шляпа, — возразил Жоан.

— Боже! — закричал Луи. — Он умер?

Сердце дона Тадео сжалось.

— Нет, — сказал индеец, — Курумилла — ульмен; он храбр и мудр. Жоан похитил бледнолицую девушку с лазурными глазами; Курумилла мог убить Жоана, но не захотел этого; он предпочел сделать из него друга.

Белые тревожно прислушивались к словам индейца; несмотря на их туманность, они однако довольно ясно объясняли, что ульмен напал на след похитителей.

— Курумилла добр, — отвечал дон Тадео, — сердце его благородно, а душа не жестока.

— Жоан был вождь тех, которые похитили белую девушку, — продолжал индеец, — Курумилла переменился с ним одеждой и сказал Жоану: ступай к Великому Орлу белых и скажи ему, «что Курумилла спасет молодую девушку или погибнет». Жоан пришел не оставиваясь, хотя путь был длинен.

— Брат мой хорошо поступил, — сказал дон Тадео, крепко пожимая руку индейца, лицо которого засияло.

— Отец мой доволен? — сказал он. — Тем лучше.

— Так брат мой, — продолжал дон Тадео, — похитил бледнолицую девушку... хорошо ли ему заплатили за это?

Индеец улыбнулся.

— Бледнолицая женщина с черными глазами очень щедра, — сказал он.

— А! Я так и думал! — вскричал дон Тадео. — Вновь эта женщина! Вновь этот демон! О! Донна Мария! Мы должны свести с вами страшные счета!

Он узнал наконец, что ему нужно было узнать. Луи с трудом встал с кресла, на котором лежал, и, приблизившись к дону Тадео, сказал ему голосом, дрожавшим от волнения:

— Друг, надо спасти донну Розарио.

— Благодарю, — отвечал дон Тадео, — благодарю за вашу преданность, друг мой; но увы, вы слабы, ранены, почти при смерти!

— Что за беда! — вскричал с жаром молодой человек. — Если бы даже мне суждено было погибнуть, то клянусь вам, дон Тадео, честью моего имени, что и тогда я не успокоюсь до тех пор, пока донна Розарио не будет свободна и с вами.

Дон Тадео принудил его сесть.

— Друг мой, — сказал он, — трое преданных людей уже гонятся за похитителями моей дочери.

— Вашей дочери? — вскричал Луи с удивлением, смешанным с удовольствием.

— Увы, да, друг мой, моей дочери! Зачем мне иметь тайны от вас? Этот ангел с голубыми глазами, которого два раза вы спасали, дочь моя, единственное счастье, единственная радость, которые остаются мне на свете!

— О! Мы ее найдем! — воскликнул Луи с энергией.

В своем волнении дон Тадео не заметил страстного выражения в глазах графа. Тот встал; несмотря на горе, которое он чувствовал, ему казалось, что к нему вдруг возвратились все его силы.

— Друг мой, — продолжал дон Тадео, — трое людей, о которых я вам говорил, стараются в эту минуту освободить бедного ребенка; не будем же мешать их планам; может быть, мы им повредим. Чего бы мне это не стоило, я должен ждать.

Луи сделал нетерпеливое движение.

— Да, я вас понимаю; это бездействие тяготит вас, но увы, неужели вы думаете, что оно не разбивает моего отцовского сердца? Дон Луи, я терплю ужасные мучения, все содрогается во мне при мысли об ужасном положении, в котором находится та, которая так дорога мне; но я чувствую, что действия, которые я мог бы предпринять ныне для ее спасения, будут скорее вредны,

нежели полезны, и потому решаюсь, проливая кровавые слезы, бездействовать.

— Это правда! — признался раненый. — Надо ждать! Ждать, Боже мой! Тогда как она страдает, зовет нас, может быть! О! Это ужасно! Бедный отец!

— Да, — тихо сказал дон Тадео, — вспомните обо мне, друг мой, вспомните обо мне!

— Однако, — возразил француз, — это бездействие не может продолжаться; вы видите, я силен, я могу ходить, я убежден, что без труда могу держаться на лошади.

Дон Тадео улыбнулся.

— Вы великодушны и преданны, друг мой, и я не знаю как благодарить вас; вы возвращаете мне мужество и делаете из меня человека, почти такого же решительного как и вы!

— О! Тем лучше, если к вам возвращается надежда, — отвечал Луи, покраснев при словах своего друга.

Дон Тадео обратился к Жоану и сказал:

— Брат мой остается?

— Я к услугам моего отца, — отвечал индеец.

— Могу я положиться на моего брата?

— У меня одно сердце и одна жизнь и оба принадлежат друзьям Курумиллы.

— Брат мой говорил хорошо; я буду ему признателен.

Индеец поклонился.

— Пусть брат мой вернется сюда при третьем солнце; он проводит нас по следам Курумиллы.

— При третьем солнце Жоан будет готов.

Поклонившись с благодарством, индеец ушел, чтобы несколько часов насладиться отдыхом, который после долгого и утомительного пути был очень необходим для него.

— Дон Грегорио, — сказал Король Мрака, — отправьте Бустаменте в Сантьяго не прежде как через три дня. Я присоединюсь к конвою в том месте, где начинается дорога в Сан-Мигуэль. Эти три дня необходимы вам, — прибавил дон Тадео, обращаясь с улыбкой к Луи, — мы не знаем, какие опасности и утомления ждут нас в предпринимаемом нами путешествии; вы, друг мой, должны быть в состоянии перенести их.

— Еще ждать три века! — прошептал с унынием молодой человек.

Дупло

Воротимся однако к Курумилле.

Ночь была мрачная, темная. Курумилла и донна Розарио, пригнувшись к шеям своих лошадей и понукая их движениями и голосом, скакали во весь опор к лесу, неясные контуры которого уже обрисовывались на горизонте. Но запутанные извилины тропинки, по которой они ехали, как будто удаляли их от желанной цели. Достигни они леса, спасение их было бы несомненно!

Страшное безмолвие тяготело над пустыней. Время от времени осенний ветер печально выл между деревьями и при каждом порыве осыпал путешественников дождем сухих листьев. Беглецы скакали, не говоря ни слова, не оглядываясь назад, неподвижно устремив глаза на лес, первые планы которого все более и более приближались, но однако были еще далеки.

Вдруг звучное ржание лошади пролетело по пространству, как зловещий призыв военной трубы.

— Мы погибли! — вскричал с отчаянием Курумилла. — Они гонятся за нами.

— Что делать? — с испугом спросила донна Розарио.

Курумилла не отвечал, он размышлял. Лошади все скакали.

— Остановитесь! — сказал ульмен.

И он остановил обоих лошадей. Молодая девушка позволяла ему действовать как он хочет; несколько часов уже она жила как в ужасном сне. Индеец велел ей сойти с лошади.

— Положитесь на меня, — сказал он ей, — все, что человек может сделать, я сделаю, чтобы спасти вас.

— Я это знаю, — отвечала донна Розарио дружелюбно, — что бы не случилось, друг мой, я благодарю вас.

Курумилла взял молодую девушку на руки и понес ее легко, как ребенка.

— Зачем вы несете меня? — спросила она.

— Я хочу, чтобы не осталось следов от ваших ног, — отвечал Курумилла.

Он осторожно поставил ее на землю под деревом, возле которого рос кактус.

— В этом дереве есть дупло; сестра моя должна спрятаться в него и не шевелиться до моего возвращения.

— Вы меня оставляете? — вскричала донна Розарио с испугом.

— Я сделаю фальшивый след, — возразил Курумилла, — потом ворочусь к вам.

Молодая девушка колебалась, она боялась очутиться таким образом одной, брошенной в пустыне ночью; одна мысль об этом приводила ее в ужас, которого она не могла преодолеть. Курумилла угадал, что происходило в ее мыслях.

— Это наше единственное спасение, — сказал он печально, — если сестра моя не хочет, я останусь, но тогда она погибнет, и в этом не будет виноват Курумилла.

Борьба изоощряет волю, заставляет быстрее течь кровь. Донна Розарио не принадлежала к числу слабых европейских девушек, этих нежных растений, часто увядающих прежде, нежели им удастся расцвести; она была воспитана на индейских границах, и жизнь в пустыне не была для нее новостью. Часто на охоте она находилась в подобном положении, и потому была одарена душою твердою, характером энергическим; она поняла, что должна помогать, насколько возможно, великодушному человеку, который подвергал себя опасности для нее, и не препятствовать ему в деле, и без того уже трудном. Намерение ее было принято с быстротою молнии; она прогнала страх, овладевший ее умом, преодолела свою слабость и отвечала твердым голосом:

— Я сделаю все, чего желает брат мой.

— Хорошо! — отвечал индеец. — Пусть же сестра моя спрячется.

Говоря это, Курумилла осторожно раздвинул кактусы и лианы, закрывавшие нижнюю часть дерева, и открыл

впадину, в которую молодая девушка опустилась с трепетом, как бедная птичка в орлиное гнездо.

Увидав, что донна Розарио устроилась довольно удобно, ульмен по-прежнему расправил ветви и совершенно скрыл убежище этой прозрачной занавеской. Он бросил на дерево последний взгляд и уверившись, что все было в порядке и что самый опытный глаз не может заподозрить, что кустарники были раздвинуты, вернулся к лошадям. Сев на свою лошадь и взяв другую за узду, он поскакал во весь опор, перерезывая прямо дорогу, по которой должны были ехать их преследователи.

Таким образом Курумилла скакал минут двадцать без остановки. Потом, рассудив, что достаточно удалился от того места, где была спрятана донна Розарио, он остановился, несколько минут прислушивался, наконец снял с лошадей баранью кожу, заглушавшую шум копыт, и опять поскакал как стрела.

Скоро лошадиный галоп послышался позади него; этот галоп, сначала отдаленный, приближался мало-помалу и наконец сделался совершенно ясен.

Курумилла почувствовал некоторую надежду: хитрость его, казалось, удалась. Он поскакал еще скорее и воткнув, на всем скаку, копьё свое в землю, оперся на него, приподнялся на седле и тихо спрыгнул на землю, между тем как обе лошади, предоставленные самим себе, продолжали свой неистовый бег.

Курумилла проскользнул в кусты и поспешил возвратиться к донне Розарио в том убеждении, что всадники, сбитые с толку фальшивыми следами, которые он оставил им как приманку, узнают свою ошибку тогда уже, когда будет слишком поздно.

Ульмен ошибался. Антинагюэль разослал своих воинов по всем направлениям для отыскания следов беглецов, а сам он остался в деревне с донной Марией. Антинагюэль был слишком опытный воин, чтобы попасть таким образом впросак.

Скоро его лазутчики начали возвращаться один за другим, не найдя ничего. Последние из них привели с собою двух лошадей, обливавшихся потом. Это были лошади, брошенные Курумиллой.

— Неужели она от нас убежит, — прошептала Красавица, с бешенством разрывая перчатки.

— Сестра моя, — холодно отвечал токи со зловещей улыбкой, — когда я преследую врага, никогда он не убежит от меня.

— Однако ж?..

— Терпение! — возразил токи. — Беглецы имели ту выгоду, что далеко опередили моих лазутчиков; но, благодаря принятым мною предосторожностям, у них уже нет и этой выгоды; я принудил их оставить лошадей, которые одни могли спасти их; понимает ли меня сестра моя? — прибавил он. — Через час они будут в наших руках.

— Когда так, сядем проворнее на лошадей и поедем нимало не медля, — вскричала донна Мария.

— Поедем! — отвечал вождь.

Индейцы собрались в одно мгновение. На этот раз они попали на настоящую дорогу, поехали прямо в ту сторону, где находились беглецы. Антиагюэль сам предводительствовал своими воинами, донна Мария ехала возле него.

Между тем Курумилла возвратился к донне Розарио.

— Ну что? — спросила молодая девушка голосом, прерывавшимся от страха.

— Через несколько минут нас возьмут, — печально отвечал вождь.

— Как? Неужели нам не остается никакой надежды?

— Никакой! Их более пятидесяти; мы окружены со всех сторон.

— О! Что же такое я сделала, Боже мой, что принуждена я подвергаться таким несчастьям?

Курумилла беспечно растянулся на земле, положил возле себя оружие, которое было заткнуто у него за пояс, и со стоическим фатализмом индейцев, когда они знают, что не могут уже избежать угрожающей им участи, ждал бесстрастно, скрестив руки на груди, прибытия врагов, от которых, не смотря на все свои усилия, он не мог избавить молодую девушку.

Вдали уже слышался глухой лошадиный топот, приближавшийся все более и более. Еще четверть часа и все могло быть кончено.

— Пусть сестра моя приготовится, — холодно сказал Курумилла, — Антиагюэль приближается.

При этих словах улымена, молодая девушка задрожала и взглянула на него с состраданием.

— Бедняжка! — воскликнула она. — Зачем вы старались спасти меня?

— Молодая девушка с лазурными глазами друг моих бледнолицых братьев; я готов отдать за нее свою жизнь. Донна Розарио встала и подошла к улымену.

— Вы не должны умирать, вождь, — сказала она ему своим кротким и выразительным голосом, — я этого не хочу.

— Отчего? Я не боюсь пыток; сестра моя увидит, как умирает вождь.

— Послушайте, вы слышали угрозы этой женщины? Она назначает меня в невольницы; стало быть, моя жизнь не подвергается никакой опасности!

Курумилла сделал знак согласия.

— Если же, — продолжала она, — вы останетесь со мною, вас возьмут и убьют?

— Да, — отвечал Курумилла холодно.

— В таком случае, кто же уведомит о моей участи друзей моих? Если вы умрете, вождь, каким образом узнают они, куда увели меня? Будут ли они тогда в состоянии освободить меня?

— Это правда, они не узнают ни о чем...

— Стало быть, вы должны остаться в живых, вождь, если не для себя, то для меня... бегите же, спешите к ним.

— Сестра моя хочет этого?

— Я требую.

— Хорошо! — воскликнул индеец. — Я уйду, но пусть сестра моя не унывает; скоро она увидит меня.

В эту минуту топот лошадей сделался еще громче; ясно было видно, что преследователи находились только в нескольких шагах от беглецов. Курумилла поднял оружие, заткнул его за пояс и, сделав последний знак ободрения донне Розарио, проскользнул в высокую траву и исчез. Молодая девушка оставалась с минуту задумчивой, но скоро, неустрашимо подняв голову и прошептав твердым голосом одно слово: «Пойду!» вышла из чащи, скрывавшей ее от взоров, и с решимостью встала посреди дороги. Антинагюэль и Красавица были в десяти шагах от нее.

— Вот я, — сказала донна Розарио твердым голосом, — делайте со мной что хотите.

Ее гонители, пораженные таким необычайным мужеством, остановились в изумлении. Мужественная девушка спасла Курумиллу.

Змея и ехидна

Донна Розарио стояла посреди дороги, скрестив руки на груди, и гордо подняв голову. Красавица быстро оправилась от волнения, которое причинило ей неожиданное появление ее невольницы; соскочив с лошади, она схватила руку молодой девушки и крепко сжала ее.

— О, о! — сказала она насмешливым тоном. — Мое прелестное дитя, так-то вы заставляете нас бегать за вами? Но не беспокойтесь, мы сумеем помешать вам рыскать где попало.

Донна Розарио отвечала на эти слова только улыбкой холодного презрения.

— А! — вскричала куртизанка, крепко сжимая ей руку. — Я сумею укротить ваш надменный характер.

— Сеньора, — с кротостью заметила молодая девушка, — вы больно жмете мне руку.

— Змея! — возразила Красавица, грубо ее отталкивая. — Зачем не могу я раздавить тебя под моими ногами!

Донна Розарио зашаталась, запнулась о корень дерева и упала. Ударившись лбом об острый камень, она слабо вскрикнула и лишилась чувств.

Антинагюэль стремительно бросился к ней, чтобы поднять ее. Кровь сильно текла из глубокой раны, при виде которой индеец зарычал как хищный зверь. Он наклонился к молодой девушке, поднял ее с чрезвычайными предосторожностями и старался остановить текущую кровь.

— Фи! — сказала ему Красавица с насмешливой улыбкой. — Вы хотите исполнять ремесло старухи, вы,

верховный вождь вашего народа? Оставьте эту жеманницу, ваши попечения будут для нее бесполезны; кровь, напротив, принесет ей пользу.

Антинагюэль молчал: ему хотелось заколоть эту фурию. Он бросил на нее взгляд, до того исполненный гнева и ненависти, что донна Мария испугалась. Невольно она отскочила, чтобы стать в оборонительное положение, и поднесла руку к груди, чтобы вынуть кинжал, который всегда носила при себе.

Между тем заботы Антинагюэля оставались без последствий; молодая девушка все была без чувств. Через минуту Красавица увидела, что в свирепом вожде ароканов любовь превозмогала ненависть, и к ней возвратилась вся ее смелость.

— Пусть привяжут эту тварь к лошади, — сказала она, — и вернемся в деревню.

— Эта женщина принадлежит мне, — вскричал Антинагюэль, — я один имею право распоряжаться ею как вздумаю.

— Нет еще, вождь; когда вы освободите Бустаменте, тогда я отдам вам ее.

Антинагюэль пожал плечами.

— Сестра моя забывает, что со мною тридцать воинов, а она почти одна.

— Что значат эти слова? — спросила донна Мария надменным тоном.

— Они значат, — возразил индеец холодно, — что сила на моей стороне и что я поступлю как мне вздумается.

— Так-то держите вы ваши обещания? — заметила Красавица с насмешкой.

— Я люблю эту женщину! — возразил Антинагюэль глубоко выразительным голосом.

— Знаю! — вскричала она запальчиво. — Поэтому-то я и отдаю вам ее.

— Я не хочу, чтобы она страдала.

— Хорошо же мы понимаем друг друга, — воскликнула Красавица с насмешкой, — я отдаю вам эту женщину нарочно затем, чтобы вы заставили ее страдать.

— Если так думает моя сестра, она ошибается.

— Вождь, вы сами не знаете что говорите, вам незнакомо сердце белых женщин.

— Я не понимаю моей сестры.

— Вы не понимаете, что эта женщина никогда не будет вас любить, что она будет чувствовать к вам только презрение и что чем более вы будете унижаться перед нею, тем более она будет презирать вас.

— О! — отвечал Антинагюэль. — Я вождь слишком знаменитый, чтобы заслужить презрение женщины.

— После увидите; а пока я требую моей пленницы.

— Сестра моя не получит ее.

— Вы серьезно говорите это?

— Антинагюэль никогда не шутит.

— Ну, так попробуйте же взять ее от меня, — вскричала донна Мария.

Прыгнув как тигрица, она оттолкнула индейца и схватила молодую девушку, приложив свой кинжал к ее горлу так сильно, что из него брызнула кровь.

— Клянусь вам, вождь, — сказала она задыхающимся голосом, со сверкающим взглядом и с лицом, искривленным гневом, — что если вы не исполните честно обязательства, принятого вами, и не предоставите мне свободу действовать в отношении этой женщины как мне угодно, я убью ее как собаку.

Антинагюэль страшно вскрикнул.

— Остановитесь! — проговорил он с ужасом. — Я согласен на все.

— А! — закричала Красавица с торжествующей улыбкой. — Я знала, что будет по-моему.

Индеец с яростью кусал кулаки, досадуя на свое бессилие, но он слишком хорошо знал эту женщину, чтобы продолжать борьбу, которая непременно кончилась бы смертью молодой девушки; он знал, что в таком состоянии Красавица, не колеблясь, убила бы ее. Силою того изумительного самообладания, к которому способны только одни индейцы, он заключил в своем сердце волновавшие его чувства, заставил себя улыбнуться и сказал кротким голосом:

— Как вспыльчива моя сестра! Какое ей дело, теперь или через несколько часов будет принадлежать мне эта женщина, если сестра обещала мне отдать ее?

— Да, я отдам ее, но только тогда, когда Бустаменте будет освобожден из рук врагов, вождь, не прежде.

— Хорошо, — сказал Антинагюэль со вздохом сожаления, — если уж сестра моя требует, пусть она действует как хочет: Антинагюэль удаляется.

— И прекрасно, но пусть брат мой обеспечит меня против себя самого; он любит эту женщину и может вмешаться в дела мои еще раз.

— Какое обещание могу я дать моей сестре, чтобы совершенно успокоить ее? — сказал он с горькой улыбкой.

— А вот какое, — отвечала насмешливо донна Мария, — пусть брат мой поклянется Пиллианом, над прахом своих предков, что он не станет пытаться похитить эту женщину и противиться тому, что вздумаю я сделать с нею до тех пор, пока Бустаменте не будет свободен.

Вождь колебался; клятва, которую Красавица требовала от него, священна для индейцев; и потому ароканы в высшей степени опасаются нарушить ее, такое они имеют уважение к праху своих предков. Между тем Антинагюэль попал в ловушку, из которой ему невозможно было выйти; он понял, что гораздо лучше тотчас же покориться необходимости, но внутренне поклялся в неумолимой ненависти к той, которая принуждала его подвергаться такому унижению, и обещал себе отомстить ей самым ужасным образом, как только представится случай.

— Хорошо, — сказал он, улыбаясь, — пусть сестра моя успокоится; я клянусь над костями своих отцов, что не буду противиться ничему, что бы она ни вздумала сделать.

— Благодарю, — отвечала Красавица, — брат мой великий воин.

Куртизанка, точно так же как и Антинагюэль, не была обманута миролюбивым окончанием спора, происшедшего между ними; она поняла, что отныне приобрела себе неумолимого врага и сочла благоразумным остерегаться.

— Сестра моя намерена отправиться сейчас? — спросил вождь.

— Я велю вести эту женщину как можно осторожнее, — отвечала донна Мария, — пусть брат мой едет вперед; я последую за ним.

У Антинагюэля не было предлога остаться; поэтому он медленно, как бы с сожалением, присоединился к своим воинам, сел на седло и поехал, бросив на Красавицу последний взгляд, который оледенил бы ее ужасом, если бы она видела его.

Но куртизанка не занималась им в эту минуту. Она была вся предана своему мщению и смотрела с выраже-

нием жестокой иронии на молодую девушку, распростертую у ее ног.

— Жалкая тварь, — пробормотала она, — от бездельицы падаешь ты в обморок, между тем как твои горести только начинаются. Дон Тадео, тебя терзаю я, когда мучаю эту женщину; добьюсь ли я наконец, чтобы ты возвратил мою дочь? О! — прибавила она с диким выражением. — Я достигну своей цели, хотя бы мне пришлось разорвать ногтями эту женщину!

Индийские служители остались возле донны Марии. В жару погони и спора, лошади, брошенные Курумиллой и приведенные лазутчиками, все время находились на одном месте, и никто не думал присвоить их себе.

— Приведите одну из этих лошадей, — сказала донна Мария.

Один из слуг тотчас исполнил это приказание. Куртизанка велела бросить молодую девушку поперек седла и привязать так, чтобы лицо несчастной жертвы было обращено к небу, а ноги и руки ее связаны под животом лошади.

— Эта женщина не крепка на ногах, — сказала она с сухим и нервным хохотом, — она уже ушиблась когда упала, и потому я не хочу, чтобы она подверглась опасности упасть еще раз.

Как всегда случается в подобных обстоятельствах, слуги, с целью угодить госпоже, с веселым хохотом встретили ее жестокие слова, как превосходную шутку.

Бедная донна Розарио не оказывала никакого признака жизни; лицо ее приняло мертвенный оттенок, кровь текла из раны на землю. Тело ее, страшно согнутое тем неудобным положением, в котором ее привязали, вздрагивало, и от того веревки еще сильнее терли ее руки и ноги. Глухое хрипенье вырывалось из ее стесненной груди.

Когда приказания Красавицы были исполнены, она села на седло, взяла за поводья лошадь, к которой была привязана ее жертва, и поскакала в галоп.

Любовь индейца

Красавица скоро догнала Антинагюэля, который, зная как она собиралась мучить молодую девушку, остановился в нескольких шагах от того места, на котором оставил ее, чтобы принудить ее ехать тише.

Это и случилось: как ни желала донна Мария ускорить бег лошадей, вождь с упрямством человека, который ничего не хочет понять, притворился, будто вовсе не примечает ее нетерпения, и продолжал ехать почти шагом до самого Сан-Мигуэля. Это сострадательное внимание, столь несогласовавшееся с характером и привычками ароканского токи, спасло жизнь донны Розарио; бедняжка, без сомнения, умерла бы от галопа лошади, к которой она была привязана.

Доехав до деревни, всадники сошли с лошадей, сняли молодую девушку и полумертвую перенесли в ту самую комнату, в которой два-три часа тому назад она в первый раз увидела куртизанку.

Индейцы, которые несли несчастную, грубо бросили ее в угол и ушли. Голова донны Розарио стукнулась об пол с глухим звуком; вид ее был поистине ужасен и, конечно, растрогала бы всякого, кроме кровожадной тигрицы, которой нравилось так жестоко обращаться с нею.

Длинные распутившиеся волосы молодой девушки в беспорядке падали на ее обнаженные плечи и прилипали к лицу вместе с кровью, которая текла из раны; лицо несчастной, запачканное кровью и грязью, имело зеленоватый цвет, а из полуоткрытых губ ее виднелись сжатые

зубы. Руки и ноги, на которых еще висели концы грубых веревок, были испещрены кровоподтеками. Все ее тело дрожало от нервного трепета, а из тяжело поднимавшейся груди вырывалось свистящее дыхание.

Она все еще была без чувств. Красавица и Антинагюэль вошли в комнату.

— Бедная девушка! — прошептал индеец.

Красавица взглянула на него с притворным удивлением.

— Я не узнаю вас, вождь, — сказала она с сардонической улыбкой, — Боже мой! До какой степени любовь изменяет человека! Как? Антинагюэль, самый неустрашимый воин четырех уталь-манусов Арокании, жалеет об участии этой дрянной девчонки! Прости, Господи! Вы кажется готовы расплакаться как баба!

Вождь печально покачал головой.

— Да, — сказал он, смотря на молодую девушку с мрачным видом, — сестра моя права; я сам не узнаю себя! О! — прибавил он тоном, исполненным горечи. — Точно, возможно ли, чтобы я, Антинагюэль, которому инки сделали столько зла, был таков? Какова же сила этого непонятного чувства, которого я до сих пор не знал, если она заставляет меня сделать низость? Эта женщина из проклятой породы: она принадлежит человеку, предки которого несколько веков были палачами моих предков; эта женщина здесь передо мной, в моей власти; я могу отомстить ей, насытить ненависть, которая меня пожирает, заставить ее терпеть самые жестокие мучения!.. И я не смею!.. Нет, я не смею!..

Эти последние слова токи произнес таким страстным и вместе ужасным голосом, что они походили на рев пантеры, попавшейся в капкан; в них было что-то, приводившее в ужас и леденившее сердце.

Красавица смотрела на Антинагюэля со страхом и восторгом; страсть его, походившая на страсть хищного зверя, трогала ее и интересовала, если можно так выразиться; она понимала все, что было свирепого и сладострастного в любви дикаря, который до сих пор считал единственными своими радостями битву, пролитую кровь и хрипенье своих жертв.

Красавица с любопытством смотрела на этого побежденного Титана, который стыдился своего унижения, напрасно боролся со всемогущей силой чувства, овладевшие

го им, и наконец с яростью принужден был признаться в своем поражении. Это зрелище было для нее исполнено прелести и неожиданности.

— Брат мой, верно, очень любит эту женщину? — спросила она кротким и вкрадчивым голосом.

Антинагюэль взглянул на нее, как бы пробудившись ото сна и сжав ей руку, так что чуть было не раздавил ее, вскричал запальчиво:

— Люблю ли я ее! Люблю ли я ее... пусть слушает моя сестра: когда отец мой умирал и ежеминутно готов был отправиться в блаженные долины охотиться со справедливыми воинами, он призвал меня и, приложив губы к моему уху, потому что жизнь уже угасала в нем (он едва мог говорить), открыл мне прерывающимся голосом несчастья нашего рода:

«Сын мой, — говорил он, — ты последний из нашего рода; дон Тадео де Леон последний из своего; после прибытия бледнолицых в наш край, фамилия этого человека находилась везде, во всех обстоятельствах, в борьбе с нашей; дон Тадео должен умереть, чтобы его проклятый род исчез с поверхности земли, а наш опять возвратил свою силу и блеск. Клянись мне убить этого человека, которого я никогда не мог настигнуть! Хорошо! — прибавил он, когда я дал клятву исполнить его волю. — Пиллиан любит детей, повинующихся отцу; пусть сын мой сядет на свою лучшую лошадь и отправится отыскивать врага; пусть он убьет этого врага и сожжет труп его на моей могиле, чтобы я мог радоваться в другой жизни».

— По знаку моего отца, приказавшего мне ехать, я, не возражая, оседлал мою лучшую лошадь и приехал в город, называемый Сантьяго; я имел намерение убить моего врага, все равно где бы он мне ни попался; я хотел исполнить волю моего отца.

— Что ж далее? — спросила Красавица, видя, что Антинагюэль вдруг остановился.

— Далее, — отвечал токи глухим голосом, — неожиданно я увидел эту женщину, забыл все, клятвы, ненависть, мщение, чтобы думать только о любви к ней, и враг мой еще жив до сих пор.

Красавица бросила на него презрительный взгляд; Антинагюэль не приметил его и продолжал:

— В один день эта женщина нашла меня обливающимся кровью, умирающим, валяющимся во рву на до-

роге; она велела своим слугам поднять меня и перенести в ее каменное жилище; три луны просидела она у моего изголовья, принуждая удалиться смерть, которая готова была взять меня.

— А когда брат мой выздоровел, что же он сделал? — сказала Красавица.

— Когда я выздоровел, — отвечал Антинагюэль восторженно, — я убежал как раненый тигр, унося в своем сердце неизлечимую рану. Долго я боролся с самим собою, чтобы победить эту безумную страсть, все было бесполезно; два солнца тому назад, когда я уезжал из моей деревни, мать моя, которую я любил и уважал, хотела воспротивиться моему отъезду; она знала, что любовь влекла меня от нее, что я оставляю ее для того, чтобы увидеть эту женщину... моя мать...

— Ваша мать? — перебила куртизанка, едва переводя дух.

— Она упорно не хотела отпустить меня, и я безжалостно растоптал ее под копытами моей лошади! — вскричал токи задыхающимся голосом.

— О! — вскричала Красавица с ужасом, невольно отступив.

— Да, это ужасно, не правда ли? — сказал токи. — Убить свою мать!.. Убить ее из-за женщины проклятого рода! О! — прибавил он с ужасным хохотом. — Будет ли теперь сестра моя спрашивать меня, люблю ли я эту женщину?.. Для нее... для того, чтобы видеть или слышать одно из тех ласковых слов, которые она, ухаживая за мною, говорила мне своим голосом, сладостным и гармоническим как пение птицы, или только видеть ее улыбку, ту, которой она улыбалась прежде, я с радостью пожертвую самыми священными интересами моей родины, погружусь в кровь самых дорогих моих друзей... ничто не остановит меня...

Пока токи говорил таким образом, Красавица, слушая его, глубоко размышляла; когда он замолчал, она сказала ему:

— Я вижу, что брат мой действительно любит эту женщину; пусть же он простит меня; я думала, что он чувствует к ней одну из тех мимолетных прихотей, которые рождаются при восходе и умирают при закате солнца; я ошиблась, но сумею загладить мою вину.

— Что хочет сказать моя сестра?

— Я хочу сказать, что если бы я знала страсть моего брата, я не заставила бы эту девушку так страдать.

— Бедное дитя! — прошептал индеец со вздохом.

Красавица иронически улыбнулась.

— О! Брат мой еще не знает бледнолицых женщин, — сказала она, — это ехидны: сколько ни дави их, они все-таки приподнимутся, чтобы ужалить в пятку того, кто поставил на них свою ногу. Впрочем, со страстью не рассуждают, а то я сказала бы моему брату: благодарите меня, потому что, убив эту женщину, я избавила бы вас от ужасных горестей; эта женщина никогда не полюбит вас! Чем более вы будете смиряться перед нею, тем более она будет холодна, надменна и презрительна перед вами.

Антинагюэль сделал нетерпеливое движение.

— Но, — продолжала донна Мария, — брат мой любит, и я отдам ему эту женщину; через час я отдам ее, если не совсем выздоровевшую, то, по крайней мере, вне всякой опасности, отдам, не ожидая исполнения обещания, которое он дал мне; я предоставлю ему свободу располагать ею как ему вздумается.

— О! Если моя сестра сделает это, — вскричал Антинагюэль, упоенный радостью, — я буду ее невольником!

Донна Мария улыбнулась с неописанным выражением; она достигла своей цели.

— Я это сделаю, — сказала она, — только время уходит, мы не можем оставаться здесь долее; нас ждет важное дело, брат мой, верно, позабыл о ней.

Антинагюэль бросил на Красавицу подозрительный взгляд.

— Я ничего не забыл, — сказал он, — друг моей сестры будет освобожден, если бы мне пришлось для этого потерять тысячи воинов.

— Хорошо! Брат мой успеет.

— Только я поеду не прежде, как девушка с лазоревыми глазами опомнится.

— Пусть мой брат поторопится дать приказание к отъезду, потому что через десять минут этот слабый ребенок будет в таком состоянии, как он желает.

— Хорошо, — сказал Антинагюэль, — через десять минут я буду здесь.

Он вышел из комнаты торопливыми шагами. Оставшись одна, Красавица встала на колени перед молодой девушкой, освободила ее от веревок, вымыла лицо све-

жей водой, приподняла волосы и старательно перевязала рану на лбу.

«О! — подумала она. — Посредством этой женщины я держу тебя в моих руках, демон! Поступай как хочешь, я уверена, что теперь всегда заставлю тебя исполнять мою волю».

Она тихо подняла молодую девушку, посадила ее в кресло, находившееся в комнате, привела в порядок одежду своей жертвы и дала ей понюхать спирт чрезвычайно крепкий.

Этот спирт вскоре произвел желаемое действие: хрипенье в горле прекратилось, дыхание донны Розарио сделалось свободнее; молодая девушка глубоко вздохнула, раскрыла глаза и бросила вокруг себя мутный взгляд. Но вдруг взгляд этот случайно упал на женщину, которая расточала ей попечения, и новая бледность покрыла ее черты, на которых появился было легкий румянец. Донна Розарио закрыла глаза и чуть было опять не лишилась чувств.

Красавица пожала плечами, вынула из кармана другой пузырек и, раскрыв рот бедной девушки, влила в ее посиневшие губы несколько капель. Действие снадобья было быстро как молния. Донна Розарио вдруг выпрямилась и обернула голову к Красавице. В эту минуту вошел Антинагюэль.

— Все готово, — сказал он, — мы можем ехать.

— Когда хотите, — отвечала донна Мария.

Вождь взглянул на молодую девушку и улыбнулся с радостью.

— Видите, я сдержала мое обещание, — сказала Красавица.

— Я тоже сдержу свое, — возразил Антинагюэль.

— Что хотите вы делать с этой женщиной?

— Она остается здесь: я уже распорядился насчет ее.

— Поедем же. До свидания, сеньорита, — прибавила донна Мария со злой улыбкой.

Донна Розарио встала и, схватив ее за руку, сказала печальным голосом:

— Сеньора, я вас не проклинаяю; если у вас есть дети, дай Бог, чтобы они никогда не подвергались таким мучениям, к каким вы осудили меня!

При этих словах, которые обожгли ей сердце как раскаленное железо, Красавица вскрикнула от ужаса;

холодный пот выступил на ее побледневшем лбу, и она, шатаясь, вышла из комнаты.

Антинагюэль пошел за нею. Скоро лошадиный топот уведомил молодую девушку, что враги ее удалились и что наконец она осталась одна. Получив свободу предаться своей горести, несчастная залилась слезами, опустила голову на руки и вскричала с отчаянием:

— Матушка! Матушка! Если ты еще жива, где же ты? Зачем ты не спешишь на помощь своей дочери?

Приготовления к освобождению

Мы говорили уже несколько раз и если опять повторяем, то не без намерения, что Ароканская республика была область прекрасно организованная, а не собрание диких племен, как многие авторы вздумали представлять этот народ. В этой главе мы опишем ее военное устройство, которое фактически подтвердит наше мнение.

Повторяем: судить об этом народе с европейской точки зрения было бы странно; но для лучшего понятия о нем следует сделать сравнение между ним и народами, его окружающими.

Известно, что в эпоху открытия Америки и завоевания Мексики и Перу, мексиканцы и перуанцы нисколько не уступали в цивилизации своим завоевателям: искусства и науки находились у них на довольно высокой степени развития, которое было остановлено системой варварства, введенной испанцами, и если эти народы впали опять в дикое состояние, то в этом конечно виноваты их победители, которые всеми силами старались погрузить их во мрак невежества, в котором они находятся теперь.

Ароканы, род американских спартанцев, всегда храбро сражались, чтобы сохранить свою независимость, это великое благо, которое они ставят выше всех других.

Следствием этого было то, что ароканы, постоянно старавшиеся сохранить неприкосновенность своих границ и не допустить белых ворваться к ним, всем пожертвовали этому долгу, который один обеспечивает их нацио-

нальный суверенитет. Все другие интересы, после появления белых, сделались для них второстепенными, так что науки и искусства остались у них *in statu quo*; единственные успехи были сделаны ими только в военном искусстве, которое служило им средством сопротивляться испанцам, непрерывно угрожавшим их свободе.

Ароканская армия состоит из пехоты и кавалерии. Они начали употреблять в дело кавалерию после того как оценили ее преимущества в первых битвах с испанцами; с ловкостью, свойственной индейской породе, они легко привыкли к экзерцициям и скоро превзошли в верховой езде своих учителей. Они достали превосходные породы лошадей и так хорошо их воспитали, что в 1568 году, то есть спустя едва семнадцать лет после первых сражений с испанцами, в их войске было уже несколько кавалерийских эскадронов.

Токи Кадегуаль, прадед Антинагуэля, первый в 1585 году организовал регулярную кавалерию, легкость и быстрота которой в короткое время сделались чрезвычайно опасны для европейцев.

Пехота ароканская разделяется на полки и роты: в каждом полку тысяча, в каждой роте сто человек. Устройство кавалерии точно такое же. Только число лошадей не определено и изменяется до бесконечности.

Каждый отдельный корпус ароканской армии имеет свое знамя со звездой — национальный герб. Странно, что такой герб находится почти на границах обитаемой земли, у народа, который считается варварским или диким, а это, не во гневе будь сказано многим ученым, совсем не одно и то же.

Не так как у европейцев, ароканские воины не имеют форменных мундиров, а только надевают на свое обыкновенное платье кожаные кирасы, которым придают удивительную твердость посредством особого приготовления.

Кавалерия ароканов вооружена очень длинными копьями с железными наконечниками в несколько дюймов, которые они выковывают сами, и кроме того широкими короткими шпагами; эти шпаги с треугольными клинками имеют сходство с кинжалами наших пехотинцев.

В первые войны они употребляли пращи и стрелы, но скоро почти вовсе оставили их, узнав из опыта, что лучше сначала прибегнуть к холодному оружию, чтобы не допустить неприятеля употребить оружие огнестрельное.

До сих пор эти храбрые воины не сумели научиться искусству делать порох, как ни старались в этом.

Мы расскажем один анекдот, который слышали в Тукапеле и за справедливость которого ручаемся, несмотря на то, что он походит на басню.

В испанском войске было много негров; ароканы вообразили, что порох делается из экстракта, добытого из тела этих несчастных, и потому, желая положительно знать, правда ли это, употребили все старания, чтобы захватить негра. Это было нетрудно; они скоро поймали одного из этих бедняг и, не теряя времени, сожгли его живьем; как только тело несчастного превратилось в уголь, они истолкли его в порошок, чтобы получить столь желанный результат. Однако ж они скоро увидали, что обманулись в своих химических знаниях и должны были отказаться от надежды доставать порох таким способом.

Впоследствии они ограничивались употреблением только того огнестрельного оружия, которое отнимали у неприятеля. Мы должны прибавить, что они действуют ружьем с такою же ловкостью, как самый опытный европейский солдат.

Ароканская армия выступает в поход при барабанном бое; впереди идут разведчики. И пехота, и кавалерия во все время похода остаются на лошадях, что придает чрезвычайную быстроту движениям; но в ту минуту, как начинается битва, пехота сходит с лошадей и становится в ряды.

Так как в этой стране всякий, кто только в состоянии носить оружие, считается воином, власти не заботятся о содержании армии; каждый солдат обязан иметь при себе собственную провизию и собственное оружие. Провизия состоит из мешка жареной муки, висящего у седла, так что войска, не имеющие при себе никакого багажа, маневрируют с беспримерным проворством и, отличаясь необыкновенной бдительностью, очень часто нападают на неприятеля врасплох.

Подобно всем воинственным породам, ароканы знают и употребляют все хитрости, употребляемые в кампаниях. Останавливаясь для ночлега, они окружают свою позицию широкими траншеями и строят укрепления, очень замысловатые. Каждый солдат обязан поддерживать перед своей палаткой бивуачный огонь, так что если армия

довольно значительна, число этих огней ослепляет глаза неприятеля и предохраняет ароканов от неожиданных нападений. Кроме того, лагерь их окружен тремя рядами часовых, которые при малейшем подозрительном движении соединяются друг с другом и таким образом дают армии время занять оборону.

Из этого видно, что Король Мрака и Бустаменте, каждый со своей точки зрения, имели величайший интерес желать союза с этой воинственной нацией. Они старались привлечь на свою сторону вождя ее Антинагюэля, потому что ароканы, по первому сигналу, без затруднения могут в несколько дней мобилизовать двадцать тысяч человек.

К несчастью для обоих чилийских вождей, тот, с которым они хотели соединиться, был сам человек, мы не скажем честолубивый — он не мог надеяться получить звание выше того, которого достиг — но чрезвычайно привязанный к своей родине и пожираемый желанием возвратить своим соотечественникам земли, которые, в различное время, были отняты у них испанцами и присоединены к Чилийской республике. Антинагюэль хотел того, что было почти невозможно, хотел расширить границы Арокании с одной стороны до Rio Concepcion, а с другой до пролива Magallaës.

Как большая часть мечтаний завоевателей, и эта мечта была почти неосуществима. Как ни были слабы чилийцы числом, но, в сравнении со своими свирепыми противниками, это были очень храбрые солдаты, хорошо обученные и находившиеся под командой превосходных офицеров. Вожди их имели глубокие познания в тактике и военной стратегии и потому могли сопротивляться всем усилиям ароканов.

Небольшая группа всадников, впереди которых находились Антинагюэль и Красавица, ехала быстро и безмолвно по дороге, ведущей из Сан-Мигуэля в ту долину, на которой происходило возобновление договоров.

На восходе солнца Антинагюэль и его воины выехали на долину и, едва успев сделать несколько шагов в высокой траве, окружавшей берега речки, о которой мы уже говорили, увидели человека, скакавшего во весь опор к ним навстречу.

Это был Черный Олень. Антинагюэль приказал своей свите остановиться и ждать его.

— К чему останавливаться? — заметила донна Мария. — Напротив, поедем вперед.

Антинагюэль взглянул на нее с иронией.

— Сестра моя — воин? — сказал он.

Красавица закусил губы и не отвечала. Она поняла, что сделала ошибку, вмешавшись в дело, которое ее не касалось.

В Арокании, так же как и во всякой стране, обитаемой чилийцами, женщина осуждена на самые тягостные работы и не должна ни под каким предлогом вмешиваться в дела, касающиеся мужчин.

Особенно вожди необыкновенно строги на этот счет; поэтому хотя донна Мария была испанка и почти сестра Антинагюэля, он, несмотря на свою осторожность и желание не лишиться ее благосклонности, по причине своей любви к донне Розарио, не мог удержаться, чтобы не сделать ей замечания. Он напомнил ей, что она женщина и следовательно должна предоставить мужчинам свободу действовать как им угодно.

Раздосадованная этим грубым замечанием, Красавица дернула за узду свою лошадь и отодвинулась назад, так что Антинагюэль остался один впереди всех.

Через пять минут Черный Олень с чрезвычайной ловкостью на всем скаку остановил свою лошадь возле токи.

— Отец мой возвратился к своим делам? — сказал он, кланяясь своему вождю.

— Да, — отвечал Антинагюэль.

— Отец мой доволен своей поездкой?

— Доволен.

— Тем лучше, если отец мой имел успех.

— Что делал сын мой во время моего отсутствия?

— Я исполнил приказания моего отца.

— Все?

— Все.

— Хорошо! Сын мой не получил известий от бледнолицых?

— Получил.

— Какие?

— Много испанцев приготавливаются ехать из Вальдивии в Сантьяго.

— Зачем? Сын мой знает это?

— Знаю.

— Пусть сын мой скажет.

— Они везут в Сантьяго пленника, которого называют генералом Бустаменте.

Антинагюэль обернулся к Красавице и разменялся с ней взглядом.

— В какой день токи назначили свой отъезд из Вальдивии?

— Они отправятся послезавтра на восходе солнца.

Антинагюэль размышлял несколько минут.

— Вот что сделает сын мой, — сказал он, — через два дня он снимет стан с долины и со всеми воинами, каких только может собрать, отправится к месту, которое он знает, где я буду его ждать. Сын мой понял?

— Да, — отвечал Черный Олень, утвердительно кивнув головой.

— Хорошо! Сын мой опытный воин; он разумно исполнит мои приказания.

Вице-токи улыбнулся с удовольствием при похвалах своего вождя, который не имел привычки расточать их; почтительно поклонившись ему, он грациозно повернул лошадь и уехал.

Вместо того, чтобы ехать по прежнему направлению, Антинагюэль повернул несколько вправо и крупной рысью поскакал к горам.

Нескоторое время он ехал молча возле донны Марии, которая после его замечания остерегалась заговаривать с ним. Наконец, любезно обратившись к ней, он спросил:

— Сестра моя поняла отданные мной приказания?

— Нет, — отвечала Красавица с легким оттенком иронии, — брат мой справедливо заметил, что я не воин и следовательно не способна судить о военных приготовлениях.

Вождь улыбнулся с гордостью.

— Эти приказания очень просты, — сказал он с каким-то надменным снисхождением, — место, о котором мы условились, узкое ущелье, по которому бледнолицые должны проехать, отправляясь в Сантьяго, и в котором пятьдесят избранных воинов могут с выгодой сражаться против неприятеля, в двадцать раз многочисленнейшего. В этом-то месте я решился ждать инков. Ароканы завладеют высотами, и когда бледнолицые въедут в этот проход, ничего не подозревая, я нападу на них со всех сторон внезапно, и они будут убиты все до одного, если отважатся на безумное сопротивление.

— Разве нет другой дороги в Сантьяго?

— Нет; чилийцы должны непременно проехать это ущелье.

— В таком случае они погибли! — вскричала Красавица с радостью.

— Несомненно! — подтвердил Антинагюэль с гордостью. — Это ущелье знаменито в нашей истории; в нем прадед мой Кадегуаль, великий токи ароканов, с восемьюстами индейцев истребил всю испанскую армию в то самое время, когда эти хвастуны бледнолицые убаюкивали себя надеждой победить окасов!

— Итак, брат мой ручается, что спасет дону Панчо Бустаменте?

— Да! Если только не обрушится небо! — сказал Антинагюэль с улыбкой.

Через четыре часа Антинагюэль и его воины подъехали к ущелью.

Подкоп

Согласно предсказанию Трангуаля Ланека, Луи де Пребуа Крансэ выздоравливал с изумительной быстротой. Из желания ли ранее начать поиски, или по своему крепкому сложению, накануне дня, назначенного к отъезду, Луи выздоровел совсем и объявил дону Тадео, что в состоянии отправляться в путь когда угодно.

В романах люди, тяжело раненные, обыкновенно на другой же день как ни в чем ни бывало принимаются за свои любовные похождения, но в настоящей жизни бывает не так. Природа имеет свои неоспоримые права, перед которыми самый сильный человек должен преклоняться. Если молодой француз через пять дней после получения ран и мог встать на ноги, так это потому, что раны эти были неопасны; они только ослабили его несколько потерей крови и зажили от компрессов из *oregano*, растения, обладающего драгоценным качеством залечивать раны почти немедленно.

Однако все заставляет нас предполагать, что молодой человек, ослепленный любовью, ошибался, утверждая, что силы его возвратились. Он думал так от нетерпения, которое пожирало его. Впрочем, движения, которые он делал, могли служить доказательством, что он говорил правду и что действительно он выздоровел.

Еще другое беспокойство терзало графа: Валентин и Трангуаль Ланек уехали уже три дня, и никто не знал, что сделалось с ними.

Курумилла, о скором прибытии которого объявил Жоан, также не подавал о себе вестей. Все эти обстоятельства в огромных размерах увеличивали нетерпение молодого человека.

Дон Тадео со своей стороны тоже не был спокоен. Бедный отец, устремив взгляд на ароканские горы, беспрестанно дрожал от горести при мысли о страданиях, которым подвергалась его возлюбленная дочь среди ее похитителей.

Однако, по странной непоследовательности человеческой натуры, дон Тадео, несмотря на безмерную горечь, которая сжимала его сердце, ощущал неизъяснимое чувство радости при мысли о том, какое страшное мучение причинит он донне Марии, когда откроет ей, что жертва ее злобы была ее собственная дочь, то есть единственное существо, которое она истинно любила, невинная причина ее ненависти к дону Тадео, та наконец, каждую слезу которой она готова была в своей неистовой любви испить своей кровью.

Дон Тадео, одаренный душой избранной, чувствами благородными и возвышенными, отталкивал эту мысль, внушаемую ему ненавистью, но она возвращалась все сильнее и упорнее, до того желание мщения врождено в сердце человека.

Дон Грегорио, получив от своего друга власть, торопился с приготовлениями к завтрашнему отъезду, подготавливаемый Луи, который не оставлял его ни на минуту.

Было около восьми часов вечера. Дон Грегорио только что отпустил генерала Корнейо и сенатора Сандиаса, которые должны были везти Бустаменте в Сантьяго, и разговаривал с доном Тадео и графом о завтрашнем путешествии, единственном предмете, который в эту минуту мог интересовать этих троих людей. Вдруг дверь отворилась, и вошел Курумилла.

Увидев его, все вскрикнули от радости и удивления.

— Наконец! — вскричали в один голос дон Тадео и Луи.

— Вот и я! — печально отвечал ульмен.

Бедный индеец, казалось, был изнурен усталостью и голодом; его посадили и поскорее предложили закуску. Несмотря на все бесстрастие, к которому индейцы приучены с детства, Курумилла бросился на кушанья, поданные ему, и с жадностью начал глотать их. Этот поступок,

нисколько не согласовывавшийся с ароканскими обычаями, заставил друзей наших призадуматься. Они предположили, что если ульмен до такой степени позабыл обычаи своего народа, то, верно, он очень страдал.

Когда наконец аппетит его удовлетворился, Курумилла, не заставляя просить себя, рассказал с величайшими подробностями все, что с ним случилось, то есть каким образом он освободил молодую девушку и как через час принужден был оставить ее во власти врагов.

Расставшись с донной Розарио, храбрый индеец удалился на столько, чтобы не попасться в руки похитителей; невидимый для них, он следовал за ними, не теряя их из вида, и подстерегал все их движения, это было для него тем легче, что враги не думали искать его.

Король Мрака и граф поблагодарили Курумиллу за такую бескорыстную и верную преданность.

— Я еще ничего не сделал, — сказал он, — надо все начинать сызнова; но теперь, — прибавил он, с видом сомнения качая головой, — это будет труднее, потому что враги остерегаются.

— Завтра, — с живостью возразил дон Тадео, — мы все вместе пустимся на поиски.

— Да, — сказал вождь, — я знаю, что вы завтра должны ехать.

Луи и испанцы взглянули на него с удивлением: они не понимали, каким образом известие об их отъезде могло распространиться, несмотря на все предосторожности, с которыми они его скрывали. Курумилла улыбнулся.

— Для окасов тайны не существуют, — сказал он, — когда они хотят узнать их. Антинагюэль знает все, что происходит здесь.

— Но это невозможно! — вскричал запальчиво дон Грегорио.

— Пусть брат мой выслушает, — спокойно возразил вождь, — завтра при восходе солнца отряд в тысячу солдат белых повезет из Вальдивии в Сантьяго пленника, которого бледнолицые называют генералом Бустаменте... Так ли?

— Да, — отвечал дон Грегорио, — все, что вы говорите, совершенно справедливо; но как вы это узнали, вот что сбивает меня с толку.

— Я должен признаться, — отвечал ульмен, улыбаясь, — что тот, от кого я узнал эти подробности, сооб-

шил их не мне, а другому, нисколько не подозревая, что я слышал их.

— Объяснитесь, вождь, умоляю вас, — вскричал дон Тадео, — мы теперь как на горячих угольях... мы желаем знать, каким образом враги так хорошо узнали о наших намерениях?

— Я вам уже сказал, что следовал за воинами Антинагюэля и должен признаться, что иногда опережал их; третьего дня на восходе солнца токи и его воины, все вместе с той бледнолицей женщиной, которая, без сомнения, должна быть *Гекубу*, злым духом, приехали в долину, где происходило возобновление договоров. Ползя как змея в высокой траве, я притаился в двадцати шагах от них. Как только Черный Олень заметил великого токи ароканов, он поскакал к нему. Подозревая, что во время своего совещания эти два человека скажут что-нибудь такое, что после пригодится нам, я приблизился как можно ближе, чтобы не потерять ни слова из их разговора; таким образом они, не подозревая ничего, сообщили мне свои планы.

— Какие планы? — с живостью спросил дон Грегорио. — Разве они намерены напасть на нас?

— Бледнолицая женщина заставила Антинагюэля поклясться, что он освободит ее друга.

— О! О! — сказал дон Грегорио. — Это намерение не так легко выполнить, как они думают.

— Брат мой ошибается.

— Как?

— Солдаты должны проходить ущелье.

— Без сомнения.

— Там-то Антинагюэль нападет на бледнолицых со своими воинами.

— Что же нам делать? — вскричал дон Грегорио.

— Конвой будет истреблен, — с унынием прибавил дон Тадео.

Курумилла молчал.

— Я знаю вождя, — сказал граф, — он не оставит друзей своих в затруднительных обстоятельствах, не придумав средства избавить их от опасности, о которой сам объявил им.

— Но, — возразил дон Тадео, — к несчастью, эта опасность неизбежна, в Сантьяго нет другой дороги кроме этого проклятого ущелья; его непременно придется

проезжать, а в нем пятьсот решительных человек могут изрубить в куски целую армию.

— Все равно, — продолжал настойчиво молодой человек: — я опять повторю то же, что сказал вождь воин искусный, у него ум находчивый, и я уверен, что он знает, как избавить нас от этой опасности.

Курумилла улыбнулся французу и сделал ему утвердительный знак.

— Ну, видите, не прав ли я? — вскричал Луи: — говорите, вождь, не правда ли, вы знаете средство избавить нас от этого опасного прохода?

— Я этого не утверждаю, — отвечал ульмен: — но если мои бледнолицые братья согласятся позволить мне действовать, я берусь расстроить планы Антинагюэля и, может быть, вместе с этим найду средство освободить молодую девушку с лазоревыми глазами.

— Говорите, говорите, вождь! — с живостью вскричал граф. — Объясните нам, какой план вы придумали; эти кабальеры совершенно полагаются на вас; не так ли, господа?

— Да, — отвечал дон Тадео, — мы вас слушаем, вождь.

— Но пусть братья мои прежде подумают, — возразил Курумилла, — они должны предоставить мне право руководить экспедицией.

— Даю вам слово, ульмен, — сказал дон Грегорио, — что мы будем делать только то, что вы велите нам.

— Хорошо! — сказал Курумилла. — Пусть же мои братья слушают.

И нимало не медля, он описал составленный им план, который, как и надо было ожидать, получил всеобщее одобрение. Особенно граф и дон Тадео пришли в восторг и обещали себе прекраснейшие результаты.

Когда собеседники приняли последние меры и во всем условились, было уже очень поздно. Все они имели нужду в отдыхе для того, чтобы приготовиться к отважной экспедиции, сопряженной со столькими опасностями. Особенно Курумилла, не спавший несколько дней, буквально падал от усталости.

Один Луи как будто не чувствовал потребности собраться с силами; он готов был тотчас же отправиться в путь. Но благоразумие требовало посвятить несколько

часов сну и потому, несмотря на протесты графа, все разошлись.

Молодой человек, принужденный против воли повиноваться увещаниям своих опытных друзей, удалился с досадой, обещая себе мысленно не позволить им забыть час, назначенный для отъезда.

Как все влюбленные, не будучи в состоянии видеть свою возлюбленную, Луи утащил с собой Курумиллу, чтобы по крайней мере иметь утешение поговорить с ним о ней. Но бедный ульмен был так утомлен, что едва успев улечься на циновке, служившей ему постелью, погрузился в такой глубокий сон, что молодой человек потерял всякую надежду разбудить его.

Мы должны сказать к чести Луи, что он легко примирился с этой неприятностью, рассудив, что от Курумиллы зависит успех дела и что ему необходимо быть бодрым. Он вздохнул с сожалением и дал возможность ульмену спать сколько он хочет.

Бедный Луи никак не мог заснуть, потому что нетерпение и любовь, эти два тирана молодости, сжигали ему сердце. Не зная что делать, он влез на крышу дворца и, устремив взор на великие горы, мрачные контуры которых обрисовывались на горизонте, начал думать о донне Розарио.

Ничего не может быть спокойнее, целомудреннее и вместе сладострастнее американской ночи. Темно-синее небо, усеянное бесчисленными звездами, посреди которых сияет великолепное созвездие Южного Креста, душистый запах в воздухе, морской ветерок, все располагает душу к задумчивости.

Луи надолго забылся в своих одиноких мечтаниях. Когда он вернулся во дворец, звезды уже начинали постепенно угасать, и одна сторона неба подернулась перламутровым оттенком. Скоро должен был начаться рассвет.

— Пора, — сказал молодой человек и быстро сошел с террасы, чтобы разбудить своих товарищей.

Но он нашел их уже готовыми к отъезду. Он один опоздал. Это легко было понять. Луи мечтал, другие просто спали.

Ущелье

Американские пейзажи имеют грандиозный и торжественный вид, о котором ничто в Европе не может дать верного и полного понятия.

Топор пионера давно срубил наши старинные чилийские и скандинавские леса, так что в местах самых диких всегда можно видеть или по крайней мере угадывать следы человеческой деятельности.

Тысячи поколений сменились на территории старой Европы, тысячи государств вышли, подобно вулканам, из недр этой плодородной земли, чтобы снова погрузиться в нее, так что на нашей теперешней почве, состоящей почти из человеческого праха, невозможно узнать печать Бога — этот таинственный знак, который в Америке встречается на каждом шагу и внушает человеку, в первый раз созерцающему его, благоговейное чувство.

В Новом Свете нет атеистов и не может быть. Это земля живой веры, потому что в ней Бог зримо явлен в своем творении глазам всякого, кто осмелился бы сомневаться в бытии Его.

Ученые старались доказать, что Америка страна совершенно новая сравнительно со Старым Светом; это предположение так же нелепо, как и то, что она заселена выходцами из Азии через Берингов пролив.

Краснокожая раса не имеет никакого отношения к белой, черной или желтой расам и точно так же, как и они, первобытна и исконна.

Чилийская земля, особенно часть ароканская, одна из самых странных в Новом Свете. В Чили более двадцати вулканов и некоторые из них, как например Отако, достигают огромной высоты; поэтому в Чили очень часто случаются землетрясения. Не проходит года, чтобы один или несколько городов не были превращены в руины этим ужасным стихийным бедствием.

Арокания разделяется, как мы уже сказали, на четыре области, совершенно отдельные.

Та, которая идет вдоль моря и которую называют областью морской, плоская, но однако беспрерывно даст себя знать те неровности почвы, которые, поднимаясь мало-помалу, доходят до Кордильерских гор и в некоторых местах представляют значительные возвышенности.

Миль за десять от Сан-Мигуэля, жалкого селения, населенного тремя десятками пастухов, по дороге к Ароко, земля быстро возвышается и вдруг образует гранитную стену, вершина которой покрыта девственным лесом, соснами и дубами, непроницаемыми даже для лучей солнца.

В этой стене сама природа проложила проход не шире десяти метров. Длина его простирается на пять километров; он состоит из множества прихотливых и запутанных изворотов. С каждой стороны этого грозного ущелья земля покрыта деревьями и кустарниками, которые возвышаются уступами и могут в случае нужды служить неприступными окопами для людей, которые вздумали бы защищать этот проход. Антинагюэль не преувеличил выгод этой позиции, когда говорил, что пятьсот решительных человек могут смело защищаться на ней против целой армии.

Это место называется *el cañon del río seco*, название довольно обыкновенное в Америке. Начало его очень понятно, потому что хотя растительность и давно покрыла бока этой стены изумрудным ковром, но ясно видно, что во времена отдаленные, вследствие ли землетрясения или какого-либо другого переворота природы, этот проход образовался насильственно от сильного напора воды, стекающей с высот Андов в море.

Солнце начинало показываться на горизонте; предметы были еще полузакрыты тенью ночи, которые быстро уменьшались, придавая всему самый фантастический вид; величественный пейзаж, о котором мы старались

дать читателю понятие, незаметно выходил из густого тумана, который скрывал его и делался реже на острых оконечностях скал и на высоких ветвях деревьев. Совершенная тишина царствовала в ущелье.

В верхних слоях воздуха, над ущельем, медленно кружились стаи огромных коршунов. По временам из чащи выбегала лань и, остановясь на вершине скалы, поднимала вверх свою умную голову, с беспокойством обнюхивала воздух и исчезала.

Если бы в эту минуту какой-нибудь человек нашел возможность парить около коршунов, он наслаждался бы странным и необыкновенно интересным зрелищем. Он понял бы с первого взгляда, что в этом обманчивом безмолвии, в этом мнимом уединении таилась страшная гроза.

Это уединенное место было наполнено людьми. Антинагюэль, как и сказал Черному Оленю, приехал в ущелье, не желая пропустить через него испанцев. Токи, как опытный вождь, расположился бивуаком около стены, несколько выше иссохшего ложа реки.

К вечеру явился и Черный Олень с полутора тысячью воинов. Антинагюэль расставил их на высотах по обеим сторонам дороги, так чтобы они были невидимы. Он ограничил их деятельность только тем, что приказал им бросать с высокого места, которое они занимали, камни, на неприятеля; в особенности он запретил им сходить вниз и прибегать к холодному оружию.

Эти распоряжения заняли довольно мало времени. Было два часа утра, когда все воины были размещены. Антинагюэль, за которым шаг за шагом следовала Красавица, хотевшая все видеть лично, осмотрел посты, дал ясные и точные инструкции ульменам и вернулся к бивуаку, который составлял авангард засады.

— Что же мы будем делать теперь? — спросила донна Мария.

— Ждать, — отвечал Антинагюэль.

И, завернувшись в плащ, он растянулся на земле и закрыл глаза. Красавица, для которой построили из ветвей род хижины, удалилась в это убежище, чтобы отдохнуть несколько часов, что было для нее необходимо после утомлений этого дня.

Между тем, вот что происходило у испанцев. Они пустились в путь незадолго до восхода солнца, составляя

отряд в пятьсот всадников. Посреди их шел обезоруженный Бустаменте. За ним наблюдали два копьеносца, которым было приказано прострелить ему голову при малейшем подозрительном движении. Генерал шел с лицом бледным, с нахмуренными бровями и с задумчивым видом.

Впереди этого отряда шел другой почти равной силы; его составляли по-видимому индейцы. Мы говорим по-видимому, потому что эти люди были чилийцы, но их ароканский костюм, их вооружение и даже убранство лошадей, все в их переодевании было так верно, что даже проницательный глаз индейца не мог бы не ошибиться на близком расстоянии. Этими мнимыми индейцами командовал Жоан, который шел впереди и осматривал пытливым взором высокую траву, чтобы удостовериться, не подсматривает ли за ними какой-нибудь шпион.

В двадцати пяти километрах от Вальдивии, на половине дороги от ущелья, второй отряд остановился, между тем как тот, который был под командой Жоана, продолжал двигаться вперед. Так как мнимые индейцы ехали крупной рысью, они скоро значительно обогнали второй отряд и совершенно исчезли в извилинах дороги.

Оказалось, что второй отряд только этого и ждал, потому что он тотчас опять двинулся вперед. Только он шел медленно и удваивал предосторожности.

Четыре всадника остались позади. Эти всадники, оживленно разговаривавшие между собой, были дон Тадео де Леон, дон Грегорио Перальта, Курумилла и граф Луи.

— Итак, — сказал дон Грегорио, — вы никого не хотите брать с собой?

— Никого; довольно нас двоих, — отвечал Курумилла, указывая на француза.

— Почему вы не берете меня? — спросил дон Тадео.

— Я не отказываюсь от этого, — возразил вождь, — и если сам не пригласил вас, то потому, что думал, что вы предпочитаете остаться с вашими солдатами.

— Я хочу как можно скорее увидеть мою дочь.

— Отправимся же, — вскричал Курумилла и, обратившись к дону Грегорио, прибавил: — Помните, вождь, что вы не должны входить в ущелье прежде чем на вершине горбатой горы засверкает огонь.

— Понимаю; теперь, прощайте и счастливого успеха.

— Счастливого успеха! — отвечал граф.

Четверо мужчин расстались, горячо пожимая руки друг другу. Дон Грегорио догнал солдат, между тем как дон Тадео и граф под предводительством Курумиллы начали взбираться на гору.

Они поднимались около часа по довольно крутой возвышенности, обрамленной глубокими пропастями; доехав до небольшой платформы, Курумилла остановился.

— Сойдите с лошадей, — сказал он, подавая пример.

Спутники его повиновались.

— Теперь разнуздаем лошадей, — продолжал ульмен, — бедные животные не могут долго быть нам полезны. Я знаю неподалеку отсюда место, где они будут укрыты превосходно; мы возьмем их по возвращении, если только вернемся, — прибавил он с двусмысленной улыбкой.

— Разве вы имеете такое дурное мнение о нашем предприятии? — спросил Луи.

— Брат мой молод, — возразил ульмен, — кровь его очень горяча; Курумилла же стар и благоразумен.

— Благодарю, вождь, — заметил молодой человек веселым тоном, — невозможно более вежливым образом назвать своего друга сумасшедшим.

Разговаривая таким образом между собой, трое друзей продолжали подвигаться вперед, ведя своих лошадей; дорога представляла немало затруднений, потому что путники принуждены были идти по узкой тропинке; лошади их спотыкались на каждом шагу, фыркали и стригли ушами.

Наконец с величайшим трудом достигли они входа в устроенный самой природой грот, в который успели ввести благородных животных. Оставив им достаточное количество корма, друзья заложили вход в грот камнями, между которыми оставили только небольшое отверстие для воздуха и света. Исполнив это, Курумилла обратился к своим товарищам и сказал:

— Пойдем!

Путники набросили ружья на плечи и мужественно отправились в путь. У грота проложенная тропинка оканчивалась, и потому они принуждены были карабкаться по скользкой покатости, цепляясь за корни и ветви деревьев или за траву.

Ходьба подобного рода была не только чрезвычайно утомительна, но еще и очень опасна. Малейшего неверного положения, дурно рассчитанного движения было достаточно, чтобы повергнуть путников в пропасть неизмеримой глубины, потому что они карабкались почти отвесно по утесистым склонам горы.

Курумилла однако ж всходил с легкостью, которая приводила его товарищей в восторг и которой они не могли не завидовать в глубине сердца. Тогда он оборачивался, чтобы ободрить их или помочь им. После часа с четвертью этого трудного восхождения, ульмен остановился.

— Здесь, — сказал он.

Трое товарищей достигли вершины высокого пика, откуда глазам их открылась великолепная панорама.

Перед битвой

Ступив на площадку, которой оканчивалась гора, дон Тадео и граф упали от усталости. Курумилла дал им перевести дух, потом, рассудив, что они несколько оправились от утомления, пригласил их осмотреться кругом. Они обернулись.

Зрелище, представившееся их взорам, вызвало у них изумление и восторг. У ног их расстиралось целое ущелье со своими величественными гранитными массами и густой чащей зелени.

Ничто не показывало в ущелье присутствия человека: повсюду, казалось, царствовало спокойное и величественное уединение пустыни. Несколько налево два вихря пыли, из которой иногда показывались черные и оживленные массы, обозначали два отряда, которые на значительном расстоянии один от другого продолжали путь; а в синеватой дали горизонта блистала широкая желтоватая полоса, смешивающаяся с окраинами неба: это было море.

— О! Как это прекрасно! — вскричал Луи.

Дон Тадео, пресытившийся с детства видами подобных чудес природы, бросал рассеянные и равнодушные взоры на великолепную перспективу; лицо его оставалось задумчиво, в глазах светилась печаль. Король Мрака думал о своей дочери, о своей возлюбленной дочери, которую надеялся скоро освободить. Он считал с тоской минуты, которые должны были пройти прежде, чем ему удастся сжать в своих объятьях ту, которая для него составляла все.

О! Что бы ни говорили хулители семейной жизни, родительская любовь истинно божественное чувство, которого зародыш Высшее Существо вложило в сердце человека затем, чтобы составить цель его жизни. Господь даровал ему необходимое мужество к непрерывной и ежедневной борьбе, борьбе, предпринятой единственно для счастья детей, без которых, впрочем, жизнь была бы только жалкой погоней за физическими наслаждениями, без интереса и без важности. Родительская любовь облагораживает борьбу, а поцелуй невинного существа, для которого ее ведут упорно, вознаграждает за нее с лихвой, заставляет забывать все неудачи.

— Разве мы остаемся здесь? — спросил дон Тадео.

— Да, на несколько минут, — отвечал Курумилла.

— Как вы называете это место? — спросил граф с любопытством.

— Этот пик бледнолицые называют *Корковадо*, — отвечал ульмен.

— Это, конечно, тот самый пик, на котором вы условились подать сигнал?

— Да, но поспешим все приготовить...

Трое товарищей тотчас набрали сухих ветвей и на самом высоком месте горы приготовили огромный костер.

— Теперь отдохните немножко, — сказал Курумилла, — и не трогайтесь с места до моего возвращения.

— Куда вы идете, вождь? — спросил граф.

— Окончить план атаки.

И не входя в дальнейшие подробности, Курумилла бросился вниз с крутого склона и тотчас исчез между деревьями. Дон Тадео и Луи сели около костра и, мечтая, ждали возвращения ульмена.

Между тем отряд чилийцев под командой Жоана приближался к ущелью, старательно подражая во всем индейским всадникам. Скоро этот отряд подошел к ущелью на расстояние ружейного выстрела. Антинагюэль приметил его. Давно уже он наблюдал за его движениями; но несмотря на свою проницательность, не подозревал засады. Он был уверен, что испанцы не знали о его намерении. Кто мог уведомить их?

Присутствие в отряде Жоана, которого токи тотчас узнал, окончательно успокоило его и внушил ему полное доверие. Он предположил, что эти индейцы запоздали по

причине отдаленности их лагеря; что посланные вице-токи не предупредили их вовремя, и потому они теперь спешили присоединиться к своим товарищам.

Со своей стороны, Черный Олень полагал, что Антинагюэль, отправившись к ущелью после их свидания, велел предупредить этих индейцев. Итак, все соединилось, чтобы ввести в обман обоих вождей.

Жоан подвигался вперед с удивительной самоуверенностью, по мере приближения к ущелью вдруг начал так сильно погонять свою лошадь, что при въезде в него опередил свой отряд шагов на шестьдесят.

Он въехал в ущелье без малейшего колебания. Едва сделал он десять шагов, как из густой чащи вышел индеец и стал прямо перед ним. Этот индеец был сам Антинагюэль. Жоан внутренне задрожал при виде грозного вождя, но лицо его однако ж осталось бесстрастно.

— Сын мой приехал очень поздно, — сказал токи, бросая на Жоана косой взгляд.

— Отец мой простит меня, — почтительно отвечал Жоан, — я узнал о его приказании только ночью, а моя деревня далеко.

— Хорошо, — возразил вождь, — я знаю, что сын мой благоразумен; сколько копий привел он с собой?

— Тысячу!

Жоан смело увеличил число своих воинов, но он следовал в этом случае приказаниям Курумиллы.

— О! О! — сказал токи с радостью. — Простительно прийти поздно, когда приводишь такой многочисленный отряд.

— Отец мой знает, что я ему предан, — лицемерно отвечал индеец.

— Знаю... сын мой храбрый воин; видел он инков?..

— Видел...

— Далеко они?

— Нет, едут; через час они будут здесь.

— Стало быть, нам нельзя терять ни минуты; пусть сын мой расположит своих воинов по обеим сторонам ущелья возле сожженного кактуса.

— Хорошо, это будет сделано; пусть отец мой положится на меня.

В эту минуту отряд мнимых индейцев показался при входе в ущелье и по примеру своего вождя въехал в него с совершенной самоуверенностью. Обстоятельства были

критические. Малейшая оплошность со стороны испанцев могла, открыв обман, погубить всех.

— Пусть сын мой торопится, — сказал Антинагюэль.

И он вернулся на свое место. Жоан и испанцы поскакали галопом: за ними наблюдали тогда тысячи невидимых шпионов, которые при первом подозрительном движении с их стороны изрубили бы их без пощады. Нужна была чрезвычайная осторожность.

Приказав своим людям сойти с лошадей и спрятать их в углублении, образуемым ложем реки, Жоан расставил их с величайшим спокойствием, которое могло изгнать навсегда все подозрения из головы вождя, если бы он возымел их.

Через десять минут в ущелье воцарилось такое же безмолвие, как и прежде. Едва Жоан сделал несколько шагов в кустах, чтобы рассмотреть окрестности занимаемого им поста, он вдруг почувствовал, что кто-то положил ему руку на плечо. Он вздрогнул и обернулся. Перед ним стоял Курумилла.

— Хорошо, — прошептал улымен голосом тихим как дыхание, — сын мой благороден; пусть он идет за мной со своими людьми.

Жоан сделал знак согласия. Тогда с чрезвычайными предосторожностями и в величайшем безмолвии триста человек начали взбираться на скалы вслед за улыменом. Курумилла расставил их в различных местах, так что они составили двойную линию, которая широким кругом облежала пост, выбранный Антинагюэлем для бивуака своих лучших воинов.

Этот маневр было тем легче исполнить, что, повторяем, токи не мог иметь никакого подозрения и вместо того, чтобы наблюдать за тем, что происходило вокруг него, он внимательно следовал глазами за отрядом дона Грегорио, который уже был виден вдали.

Триста солдат Жоана, взобравшиеся на стену с противоположной стороны ущелья, разделились на два отряда. Первый занял позицию над Черным Оленем, а второй из ста человек сгруппировался в арьергарде, готовый в случае надобности напасть на неприятеля с тыла.

Как только Курумилла сделал описанные нами распоряжения, он оставил Жоана и вернулся к своим товарищам, которые ждали его на вершине Корковадо.

— Наконец! — вскричали они, увидев его.

— Я начинал бояться, не случилось ли с вами какого-либо несчастья, вождь, — сказал ему граф.

Курумилла улыбнулся.

— Все готово, — сказал он, — и если бледнолицые желают, они могут войти в ущелье.

— Вы думаете, что план ваш будет иметь успех? — спросил дон Тадео с беспокойством.

— Я надеюсь, — отвечал индеец, — но впрочем один Пиллиан может знать что случится.

— Справедливо. Что мы будем теперь делать?

— Зажжем огонь и уедем.

— Как уедем? А наши друзья?

— Мы им не нужны; как только огонь будет зажжен, мы поедем отыскивать бледнолицую девушку.

— Дай Бог, чтобы мы могли спасти ее!

— Пиллиан всемогущ, — отвечал Курумилла, высекая огонь.

— О! Мы ее спасем! — вскричал восторженно молодой человек.

Курумилла зажег трут, находившийся в роговом ящичке, смел в кучу ногами сухие листья, положил на них трут и начал дуть изо всех сил. Листья, высушенные солнечными лучами, скоро вспыхнули; Курумилла набросал на них других листьев, прибавил к ним несколько сухих ветвей, почти тотчас же загоревшихся, и положил эти ветви на костер. Огонь, раздуваемый ветром, который на высотах обыкновенно бывает гораздо сильнее, быстро разгорался, и скоро столб пламени поднялся к небу.

— Хорошо! — сказал Курумилла своим товарищам, которые так же как и он жадно глядели в долину. — Друзья наши увидели сигнал, мы можем ехать.

— Поедем же, не теряя времени, — вскричал граф с нетерпением.

— Поедем, — сказал дон Тадео.

Через минуту Курумилла и его товарищи углубились в огромный девственный лес, покрывавший вершину горы, оставив позади себя зажженный костер, этот злоежкий сигнал убийства и разрушения.

Между тем вот что происходило в долине. Дон Грегорио Перальта, боясь слишком зайти вперед прежде чем узнает положительно в чем дело, приказал отряду остановиться. Он не скрывал от себя страшной опасности своего положения и потому хотел воспользоваться всем

для достижения успеха, чтобы в случае неудачи в битве, которую приготавлился дать, честь его осталась невредима, а память о нем безупречна.

— Генерал, — обратился он к Корнейо, который так же как и сенатор, находился возле него, — вы воин храбрый, солдат неустрашимый; я не скрою от вас, что мы находимся в положении крайне опасном.

— О! О! — сказал генерал, вертя усы и бросая насмешливые взгляды на дона Рамона, который при этом известии, сделанном так неожиданно, побледнел. — Объясните нам это, дон Грегорио!

— О! Боже мой! — отвечал тот. — Дело очень просто: индейцы в значительной силе находятся в засаде в ущелье, чтобы не допустить нас пройти.

— Вот какие молодцы! Эдак, пожалуй, они перебьют нас по одиночке, — сказал генерал спокойным голосом.

— Да это страшная засада! — вскричал испуганный сенатор.

— Разумеется засада! — согласился генерал. — Впрочем, любезный друг, — прибавил он с лукавой улыбкой, — сейчас вы сами будете в состоянии судить об этом; скажите мне после ваше мнение, если, что впрочем невероятно, вы избавитесь от смерти...

— Но я не хочу соваться в эту страшную западню! — закричал дон Рамон, вне себя от страха. — Я не солдат, черт побери!

— Ба! Вы будете драться как любитель; с вашей стороны это будет прекрасный подвиг, тем более, что вы не привыкли к сражениям...

— Милостивый государь, — холодно сказал дон Грегорио, — вы сами виноваты во всем: если бы вы спокойно оставались в Сантьяго, как этого требовал ваш долг, вы не подвергались бы подобной опасности.

— Это правда, любезный друг, — смеясь, подтвердил генерал, — если уж вы так трусливы как заяц, то зачем суетесь в военную политику?

Сенатор не отвечал на этот грубый вопрос; он обезумел от страха и почти считал себя мертвым.

— Что бы ни случилось, генерал, могу ли я положить на вас? — спросил дон Грегорио.

— Я могу вам обещать только одно, — благородно отвечал старый солдат, — что не буду торговать моей жизнью, и если понадобится, храбро умру. Что касается

до этого труса, — прибавил он, указывая на дона Рамона, — о нем не беспокойтесь; я берусь заставить его показать чудеса храбрости.

При этой угрозе несчастный сенатор почувствовал, как на всем теле у него выступил холодный пот. Длинный столб пламени засверкал на вершине Корковадо.

— Нечего долее колебаться, — вскричал решительно дон Грегорио, — вперед! И да покровительствует Господь Чили!

— Вперед! — повторил генерал, обнажая шпагу.

Отряд двинулся по направлению к ущелью.

Проход через ущелье

Несколько слов, которыми разменялись Антинагюэль и Красавица, наполнили токи беспокойством, заставив его смутно опасаться измены. Узнав прибывших индейцев, или по крайней мере разговаривая с их вождем, Антинагюэль возвратился к своему посту.

— Что случилось? — спросила донна Мария, внимательно следовавшая за всеми его движениями.

— Ничего необыкновенного, — небрежно отвечал токи, — мы получили помощь, которая немножко опоздала и на которую я уже не рассчитывал; конечно, мы легко могли бы обойтись и без нее, но все-таки она явилась кстати.

— Боже мой! — сказала донна Мария. — Вероятно я обманулась фальшивым сходством... право, если бы человек, о котором я хочу говорить, не находился в сорока милях отсюда, я стала бы спорить, что это именно он командует новоприбывшим отрядом.

— Пусть сестра моя объяснится, — сказал Антинагюэль.

— Скажите мне прежде, вождь, — возразила Красавица с волнением, — как зовут воина, с которым вы сейчас говорили?

— Это храбрый окас, — с гордостью отвечал токи, — его зовут Жоан.

— Это невозможно! Жоан теперь в сорока милях отсюда, удерживаемый любовью к белой женщине, — вскричала с горячностью Красавица.

— Сестра моя ошибается; я сейчас разговаривал с ним.

— В таком случае это изменник! — прибавила донна Мария с живостью. — Я поручила ему похитить бледнолицую девушку и индеец, которого он прислал вместо себя, рассказал мне эту историю, которой я поверила.

Лоб Антинагюэля нахмурился.

— В самом деле, — сказал он глухим голосом, — это что-то странно... неужели мне изменяют?

И токи хотел удалиться.

— Что хотите вы делать? — спросила Красавица, останавливая его.

— Спросить у Жоана отчета в его двусмысленном поведении.

— Слишком поздно! — возразила Красавица, указывая пальцем на чилийцев, первые ряды которых показались при входе в ущелье.

— О! — вскричал Антинагюэль с сосредоточенной яростью. — Горе ему, если он изменник!

— Нечего разглагольствовать, надо сражаться, — перебила Красавица.

На лице куртизанки было в эту минуту такое выражение, которое прогнало из сердца ароканского вождя всякую другую мысль кроме борьбы, которую он должен был выдержать.

— Да, — отвечал он с энергией, — будем сражаться! После победы мы накажем изменников!

Антинагюэль испустил громким голосом воинственный клич. Индейцы отвечали ему яростным воем, который заставил похолодеть от удаса сенатора дона Рамона Сандиаса. План ароканов был самый простой: дать испанцам въехать в ущелье, потом напасть на них внезапно и спереди и сзади, между тем как индейские воины, спрятавшиеся на возвышениях, будут бросать на неприятеля огромные камни.

Часть индейцев храбро бросилась спереди и сзади испанцев, с намерением преградить им путь. Антинагюэль ободрял своих воинов движениями и голосом, и сам бросал на врагов огромные камни.

Вдруг частый град пуль посыпался на его отряд и вокруг занимаемого им поста показались, как зловещие призраки, мнимые индейцы Жоана; они мужественно напали на ароканов с криками:

— Чили! Чили!

— Нам изменили! — заревел Антинагюэль.

В овраге и на склонах обеих гор, окружавших его, началась ужасная схватка, целый час битва представляла совершенный хаос; дым покрывал все. Ущелье было наполнено массой сражающихся, которые сталкивались друг с другом с криками ярости и боли или победы.

Всадники скакали, сломя голову, между испуганными пехотинцами. Огромные камни, бросаемые с горы, падали между сражающимися, раздавливая и друзей, и врагов. Индейцы и чилийцы, сваливаясь с высокого поста, занимаемого ими, разбивались о камни на дороге. Ароканы не отступали ни на шаг, чилийцы не подвигались вперед, но не уступали. Сражающиеся волновались как морские волны в бурю. Земля была покрыта ранеными, залита кровью. Солдаты, рассвирепев от ожесточенной борьбы, были упоены яростью и рубили, кололи с криками вызова и гнева.

Антинагюэль прыгал как тигр в самой середине схватки, считая все препятствия и беспрерывно ободряя своих воинов, которые теряли бодрость, видя отчаянное сопротивление врагов. Чилийцы и индейцы были попеременно победителями и побежденными, осаждающими и осажденными.

Битва приняла грандиозные размеры, это не было уже правильное сражение, в котором искусство полководцев часто заменяет число войска; нет, это был всеобщий бой, в котором каждый искал своего противника, чтобы драться один на один.

Антинагюэль бесился; он употреблял тщетные усилия разорвать железную сеть, которой неприятель опутал его. Круг беспрерывно уменьшался и с каждой минутой угрожал ему все более и более. Принужденный защищаться против чилийских солдат, стоявших над ним, он находился в крайне затруднительном положении.

Испанские всадники спереди и сзади страшно теснили индейцев. Наконец почти со сверхъестественным усилием Антинагюэль успел разорвать тесные ряды неприятеля и бросился в ущелье со всеми своими воинами, вертя над головой своим тяжелым топором.

Черный Олень успел сделать такое же движение. Но часть чилийских всадников Жоана, бывшая в засаде,

бросилась из-за возвышения, за которым скрывалась, с громкими криками и рубя все перед собой, еще более увеличивая всеобщее замешательство.

Красавица следовала за Антинагюэлем шаг за шагом, со сверкающими глазами, со сжатыми губами, вдыхая как лютый зверь запах крови.

Дон Грегорио и генерал Корнейо делали чудеса храбрости; под их саблями индейцы падали как спелые фрукты под палкой, сбивающей их. Эта страшная резня не могла долго продолжаться; мертвые валялись под ногами лошадей и заставляли их спотыкаться; руки сражающихся ослабевали от ударов.

— Вперед! Вперед! — кричал дон Грегорио громовым голосом.

— Чили! Чили! — повторял генерал, при каждом ударе убивая человека.

Дон Рамон, ни жив ни мертв, почти обезумев от вида крови, сражался как демон: он вертел вокруг себя саблей, давил своей лошадью всех приближавшихся к нему, выпускал какие-то непонятные крики и метался во все стороны как беснующийся.

Между тем виновник всей этой резни — дон Панчо Бустаменте, до сих пор остававшийся бесстрастным зрителем всего, что происходило перед ним, вдруг выхватил саблю у одного из солдат, карауливших его, и поскакал вперед, крича громовым голосом:

— Ко мне! Ко мне!

На этот призыв ароканы отвечали радостным воем и бросились к Бустаменте.

— О! О! — вскричал вдруг чей-то насмешливый голос. — Вы еще не свободны, дон Панчо.

Бустаменте обернулся, он был лицом к лицу с генералом Корнейо, который заставил свою лошадь перепрыгнуть через груды трупов. Противники, разменявшись взглядом ненависти, бросились друг на друга с поднятыми саблями.

Толчок был ужасный: обе лошади упали; дон Панчо получил легкую рану в голову, у генерала Корнейо рука была проткнута оружием его противника. Одним прыжком дон Панчо встал на ноги; генерал Корнейо хотел сделать то же, но вдруг чье-то колено тяжело опустилось на его грудь и принудило его опять упасть на землю.

— Панчо! Панчо! — вскричала с демонским хохотом донна Мария — это была она. — Посмотри, как я убиваю твоих врагов.

И движением быстрее мысли, она воткнула свой кинжал в сердце генерала. Тот бросил на нее презрительный взгляд, вздохнул и не пошевелился. Он умер.

Дон Панчо не слышал слов куртизанки; он с величайшим трудом защищался против многочисленных врагов, которые нападали на него с разных сторон.

Дон Рамон в самой силе своего страха как будто почерпнул мужество. Случайности битвы привели его к тому месту, где была донна Мария, в ту самую минуту, когда она хладнокровно закалывала генерала Корнейо. По одной из тех странностей характера, которых нельзя объяснить, но которые часто заставляют нас любить тех, кто больше нас мучит, достойный сенатор глубоко уважал генерала, который всегда поднимал его на смех. При виде гнусного убийства, совершенного куртизанкой, дон Рамон пришел в ярость; подняв свою саблю, он закричал:

— Ехидна! Я не хочу тебя убить, потому что ты женщина, но по крайней мере я поставлю тебя в невозможность вредить.

Красавица упала с болезненным криком: дон Рамон рассек ей лицо сверху донизу!

Этот крик раненой гиены был до того ужасен, что многие из сражающихся вздрогнули. Бустаменте тоже услышал этот крик; одним прыжком очутился он возле своей любовницы, которая сделалась отвратительна от полученной раны. Он наклонился к ней и, схватив ее за длинные волосы, бросил поперек своего седла; потом, вонзив шпоры в бока лошади, поскакал, очертя голову, в самую середину схватки.

Несмотря на неслыханные усилия чилийцев захватить беглеца, он, благодаря счастливому случаю, успел ускакать от них, прежде чем им удалось окружить его.

Индейцы добились желанного результата — освобождения Бустаменте. С этих пор битва не имела уже для них никакой цели, тем более что испанцы, принудив их оставить занимаемую ими позицию, страшно умерщвляли их.

По знаку Антинагюэля воины его вдруг бросились из ущелья и под градом пуль взобрались на скалы с невероятным проворством.

Битва кончилась. Ароканы исчезли. Чилийцы пересчитали оставшихся. Потери их были велики. У них было семьдесят человек убитых и сто сорок три раненых. Несколько офицеров, в числе которых находился и генерал Корнейо, были убиты.

Напрасно отыскивали Жоана, неустрашимый индеец исчез как невидимка.

Потери ароканов были еще значительнее: у них было убито триста человек; раненых они успели унести, но все заставляло предполагать, что число их было очень велико.

Дон Грегорио был в отчаянии от побега Бустаменте. Этот побег мог иметь для безопасности страны чрезвычайно дурные последствия. Надлежало немедленно принять самые строгие меры.

Само собой разумеется, что теперь дон Грегорио не зачем было отправляться в Сантьяго; напротив, необходимость требовала, чтобы он возвратился в Вальдивию для обеспечения спокойствия этой провинции, которую известие о побеге Бустаменте легко могло возмутить. С другой стороны, было также важно, чтобы власти столицы были предупреждены обо всем и успели принять меры предосторожности.

Дон Грегорио находился в чрезвычайном недоумении; он не знал, кому дать эти поручения, как вдруг сенатор вывел его из затруднения. Достойный дон Рамон наконец серьезно поверил своему мужеству; он от всей души считал себя первым храбрецом в Чили и уже принимал такой победоносный вид, что нельзя было удержаться от смеха. Более чем прежде, его мучило желание возвратиться в Сантьяго, не потому, чтобы он боялся... Как? Ему бояться? О, нет!.. Но он горел желанием удивить своих друзей и знакомых рассказами о своих невероятных подвигах. Это была единственная причина, заставлявшая его удалиться, по крайней мере единственная, которую он называл.

Узнав, что войска возвращались в Вальдивию, он явился к дону Грегорио и просил у него позволения продолжать дорогу в столицу.

Дон Грегорио был рад этой просьбе, которую принял с любезной улыбкой. Он тотчас согласился исполнить желание сенатора и сверх того поручил ему отвезти двойное известие: во-первых о сражении, выигранном у

индейцев, сражении, в котором дон Рамон обрел такую огромную долю славы; во-вторых, о неожиданном побеге Бустаменте.

Дон Рамон принял с улыбкой горделивого самодовольствия такое почетное поручение. Как только депеши, которые посылал дон Грегорио, были приготовлены, достойный сенатор сел на лошадь и в сопровождении пятидесяти копьеносцев поехал в Сантьяго.

С этой минуты индейцев нечего было опасаться: они получили слишком жестокий урок и, без сомнения, не скоро могли решиться на подобную попытку. Дон Грегорио оставил ущелье, похоронив своих мертвых, и вернулся в Вальдивию, предоставив трупы ароканов в добычу коршунам.

Путешествие

Теперь нам пора вернуться к двум другим героям этой истории, которых мы вынуждены были оставить на такое долгое время.

После своего свидания с доном Тадео, Валентин, едва успев проститься с молодым графом, немедленно отправился в путь с Трангуалем Ланеком и со своей неразлучной ньюфаундлендской собакой.

Оставляя Францию, Валентин принял для себя план поведения: он выбрал священную цель своей жизни, которая до тех пор шла день за днем, без воспоминаний о прошедшем, без забот о будущем. В то время вся будущность заключалась для него в более или менее осуществимой мечте получить после продолжительной службы, если только он не будет убит арабами, эполеты поручика, а может быть и капитана. Этим ограничивались все его честолюбивые замыслы, но даже и в этом он едва смел сознаваться себе, до того подобное честолюбие казалось ему неизмеримо высоким, когда он вспоминал о том, что некогда был нищим парижским мальчишкой.

Но когда молочный брат призвал его к себе, чтобы ввести ему тайну своего ужасного положения, в которое он попал, потеряв все свое состояние, и которое заставляло его искать выход в самоубийстве, тогда Валентин, без сомнения первый раз в жизни, начал размышлять серьезно.

Высоким завещанием воина, полковник де Пребуа-Крансэ, умирая, некоторым образом поручал ему своего сына. Валентин понял, что настала минута принять на-

следство, оставленное ему его благодетелем. Он не колебался.

Хотя с самого детства Валентин почти потерял из вида своего молочного брата, который по своему аристократическому происхождению и богатству жил в высшем парижском обществе и только тайно принимал у себя бедного солдата, он с первого раза угадал эту исключительную организацию, почти женскую, необыкновенно чувствительную, нервную, и между тем сильную, могущественную даже в самой своей слабости. Валентин понял, что этот молодой человек, воспитанный в правилах аристократизма и привыкший с помощью денег жить чужой деятельностью, погибнет, если он не протянет ему своей грубой руки простолюдина и не поддержит его в жизни, которая начиналась для него.

Как большая часть молодых людей, рожденных в богатстве, Луи не знал первых правил в жизни. Чтобы победить затруднения или преодолеть препятствия, он всегда прибегал к деньгам; но этот золотой ключ, открывающий все двери, вдруг был для него потерян. Тогда Луи, после зрелых размышлений, дошел до печального убеждения в том, что он ничего не может сделать без помощи других и решился наконец убить себя.

Напротив, Валентин, с рождения привыкший жить своим собственным умом и самостоятельно находить средства к существованию, почувствовал, что его молочного брата надо совершенно переделать. Он не отступил перед этой трудной обязанностью, почти невозможной для того, кто подобно ему не носил в сердце своем зародыша способности к самоотвержению. Валентин решился сделать из Луи, как он красноречиво выражался, *человека*.

С этого дня цель всей его жизни сосредоточилась в одном желании посвятить себя исключительно заботам о своем молочном брате, которого он хотел сделать счастливым во что бы то ни стало. Валентин заставил Луи вдруг переменить образ жизни. Чтобы принудить молодого человека оставить Францию, он нашел прекрасный предлог: его любовь к донне Розарио.

Мы говорим, что Валентин в любви своего молочного брата нашел предлог, потому что решительно не предполагал, чтобы Луи мог когда-либо отыскать в Америке ту женщину, которая подобно блестящему метеору блиста-

ла несколько месяцев на парижском горизонте и потом вдруг исчезла.

Ступив ногою на землю Нового Света, Валентин хотел заставить Луи забыть романтическую страсть и повести его по новому пути, надеясь, что непрерывные, вечно неожиданные перемены странствующей жизни не дадут ему времени подумать о любви, этой странной болезни, — как называл ее Валентин.

Случай, который всегда любит расстраивать наши планы, расстроил и планы Валентина, нечаянно сведя молодых людей с самого приезда их в Чили с молодой девушкой, которую Луи любил так страстно.

Вынужденный признать себя побежденным, Валентин благоразумно склонил голову, с терпением ожидая часа взять свое; он надеялся на слабость Луи и был убежден, что время излечит его от любви, которую донна Розарио, хотя и разделяла, однако первая признавала невозможной.

Признание, вырвавшееся у дона Тадео в пароксизме его горести, еще раз разрушило все намерения Валентина. Но вдруг светлая мысль, как молния, промелькнула в голове его. Мужественный молодой человек с жаром ухватился за представлявшуюся ему возможность отыскать донну Розарио, которую он горячо желал спасти и возвратить ее отцу.

Мы считаем бесполезным говорить, что Валентин составил новый план, который ему нравился чрезвычайно, потому что в случае удачи он мог доставить ему средство возвратить Луи счастье, дав ему вместе и богатство, и ту, которую он любил.

Утром в этот день, когда в ущелье происходила кровавая битва, описанная нами в предыдущей главе, Валентин и Трангуаль Ланек шли по дороге к Сан-Мигуэлю; за ними бежал Цезарь. Они разговаривали между собой, закусывая сухарем, который орошали время от времени смилаксовым настоем из кожаной бутылки, которая висела у Трангуаля Ланека за поясом.

День был великолепный, небо сияло прозрачным голубым цветом, и от лучей теплого осеннего солнца сверкали искры на камнях дороги. Тысячи птиц, притаившись в изумрудной зелени деревьев, весело щебетали, а вдали виднелось несколько хижин, в беспорядке разбросанных по краям дороги.

— Послушайте, вождь, — сказал, смеясь, Валентин, — вы меня приводите в отчаяние вашей флегмой и вашим равнодушием.

— Что хочет сказать брат мой? — спросил с удивлением индеец.

— Как! Мы проходим мимо самых восхитительных пейзажей на свете, перед нами прекраснейшее местоположение, а между тем все эти красоты оставляют вас холодным как вон та гранитная масса, высящаяся на горизонте.

— Брат мой молод, — кротко заметил Трангуаль Ланек, — он впечатлителен.

— Не знаю, впечатлителен ли я, — с живостью отвечал молодой человек, — но только я вижу и чувствую, что эта природа великолепна и говорю это, вот и все.

— Да, — сказал улымен глубоко выразительным голосом, — Пиллиан велик! Все это сделал он.

— Вы хотите сказать: Бог, вождь? Но это все равно; наша мысль одинакова и мы не будем спорить об имени. Ах! В моей стране, — прибавил Валентин со вздохом сожаления об отсутствующей родине, — дорого заплатили бы за то, чтобы полюбоваться тем, что я вижу каждый день даром. Правду говорят, что путешествие образует молодых людей.

— Разве на острове моего брата, — с любопытством спросил индеец, — нет гор и деревьев так как здесь?

— Я уже заметил вам, вождь, что моя страна не остров, а земля такая же большая, как и ваша; у нас, слава Богу, нет недостатка в деревьях, их даже много; и горы у нас есть очень высокие, между прочим Монмартр.

— Гм! — сказал индеец, который не понимал шутки молодого человека.

— Да, — подтвердил Валентин, — у нас есть горы, но в сравнении с этими они не более как крошечные холмы.

— Моя земля самая прекрасная на свете, — отвечал индеец с гордостью, — Пиллиан создал ее для своих детей, вот почему бледнолицые хотят отнять ее у нас.

— В ваших словах есть правда, вождь, и я не буду оспаривать этого мнения; спор завел бы нас слишком далеко, а между тем теперь мы должны заниматься более важными предметами.

— Хорошо! — сказал вождь снисходительно. — Не все люди могли родиться в моей стране.

— Справедливо, поэтому-то я и родился в другом месте.

Цезарь, бежавший возле двух друзей и подбиравший крошки, которые они бросали ему, вдруг глухо заворчал.

— Что там такое, старичок? — дружески спросил Валентин, лаская собаку. — Разве ты чувствуешь что-нибудь подозрительное?

— Нет, — спокойно отвечал Трангуаль Ланек, — мы приближаемся к деревне: собака почуяла окаса.

В самом деле, едва он проговорил эти слова, как индейский всадник показался на повороте дороги. Он подскочил к двум друзьям, поклонился им и продолжал свою дорогу.

— Знаете ли, вождь, — заметил вдруг Валентин, ответив на поклон проезжего, — что мы напрасно идем так открыто, не принимая никаких предосторожностей.

— Отчего же?

— Оттого, что на свете есть немало таких людей, которые были бы рады помешать нам.

— Кто знает, куда и зачем мы идем? Кто знает, кто мы?

— Никто, это правда!

— Ну, в таком случае не лучше ли действовать открыто? Мы путешественники, вот и все; если бы мы находились в пустыне, тогда другое дело; но здесь в деревне, почти испанской, предосторожности вместо пользы могут повредить нам.

— Не обращайтесь внимания на мое замечание и поступайте как хотите; притом, вы должны знать гораздо лучше меня, что следует делать.

Между тем оба спутника продолжали подвигаться вперед тем скорым шагом, который свойственен людям, обыкновенно путешествующим пешком, и который, по многозначительному выражению солдат, *ест дорогу*. Почти незаметно дошли они до входа в деревню.

— Итак, мы в Сан-Мигуэле? — спросил Валентин.

— Да, — отвечал индеец.

— И вы думаете, что донны Розарио тут уже нет? Ульмен покачал головой и отвечал:

— Нет.

— Почему вы так думаете?

— Я не могу объяснить этого моему брату.

— Отчего?

— Оттого, что я чувствую это инстинктивно.

«Черт побери, — подумал Валентин, — если вмешается инстинкт, мы погибли».

— Но все-таки у вас есть же какая-нибудь причина? — прибавил он громко.

— Пусть брат мой смотрит.

— Ну, — отвечал молодой человек, глядя во все стороны, — я ничего не вижу.

— Вот моя причина: деревня слишком спокойна, женщины в поле, воины на охоте и только одни старики остались в жилищах.

— Это правда, — сказал Валентин, задумавшись, — мне это не пришло в голову.

— Если бы пленница была здесь, брат мой увидал бы воинов, лошадей; деревня жила бы, а теперь она мертва.

«Черт побери! — подумал Валентин. — Эти дикари удивительные люди; они видят все, угадывают все, и мы со всей нашей цивилизацией просто дети в сравнении с ними».

— Вождь, — сказал он громко, — вы мудрец; скажите мне, пожалуйста, кто научил вас всему этому?

Индеец остановился, величественным жестом указал молодому человеку на обширный горизонт и голосом, торжественное выражение которого заставило Валентина вздрогнуть, сказал ему:

— Брат, это пустыня.

— Да, — отвечал француз с убеждением, — действительно, — прибавил он про себя, — только в пустыне человек видит Бога лицом к лицу. О! Никогда не успею я приобрести познания, какими обладает этот индеец.

Они вошли в деревню. Как сказал Трангуаль Ланек, она в самом деле оказалась пустою. Так как во всех индейских деревнях двери были отперты, и путешественники, не входя в хижины, могли легко удостовериться в отсутствии жителей. В некоторых только они увидели больных, которые, лежа на бараньих кожах, жалобно стонали.

— Вы так хорошо угадали, вождь, — сказал Валентин с досадой, — что мы не находим здесь даже собак.

— Будем продолжать наш путь, — отвечал вождь, по-прежнему бесстрастный.

— Bravo, — воскликнул молодой человек, — кажется нам нечего больше и делать, потому что, как видно, мы не успеем здесь собрать какие-либо сведения.

Вдруг Цезарь бросился с бешеным воем и, пробежав до дверей одной уединенной хижины, начал царапать лапами землю.

— Может быть, в этом доме, — сказал Трангуаль Ланек, — мы узнаем что-нибудь о молодой девушке.

— Поспешим же туда! — с нетерпением вскричал Валентин.

Они бегом бросились к хижине. Цезарь все продолжал выть.

Сведения

Когда Валентин и Трангуаль Ланек подбежали к хижине, двери ее отворились, и на пороге показалась женщина. Ей казалось около сорока лет, хотя на самом деле было только двадцать пять; но жизнь, которую ведут индейские женщины, работы, которыми они принуждены заниматься, скоро старят их и лишают в несколько лет той красоты, той молодости, которые среди наших женщин сохраняются так долго.

Лицо индианки светилось выражением кротости, смешанной с грустью; она, казалось, была больна. Шерстяная одежда ее голубого цвета состояла из туники, доходившей до ног, но очень узкой, что принуждает женщин этой страны передвигаться маленькими шагами; короткий плащ покрывал ее плечи и прикреплялся серебряной пряжкой, зашпиливавшей также пояс туники.

Ее длинные волосы, черные как вороново крыло и разделенные на восемь кос, падали на плечи и были украшены поддельными изумрудами; на шее ее были надеты ожерелья, а на руках браслеты из дутого стекла; пальцы были унизаны бесчисленным множеством серебряных перстней, а в ушах блестели четырехугольные серьги из того же металла.

Все эти вещи делаются в Арокании самими индейцами. В этой стране женщины очень любят наряжаться; даже у самых бедных есть множество дорогих вещей. Говорят, что более ста тысяч серебряных марок употребляются на эти женские украшения, сумма огромная в стране, где торговля

закljučается единственно в мене одного товара на другой, а монета почти неизвестна и поэтому весьма драгоценна.

Как только индианка открыла дверь, Цезарь так стремительно бросился в хижину, что чуть было не сбил с ног ее хозяйку. Она зашаталась и принуждена была прислониться к стене. Трангуаль Ланек и Валентин любезно поклонились ей и извинились за невежливость собаки, которую молодой человек напрасно звал к себе. Цезарь никак не хотел возвращаться.

— Я знаю, что так тревожит эту собаку, — кротко сказала индианка, — братья мои путешественники; пусть они войдут в это жилище, принадлежащее им; раба их будет служить им.

— Мы принимаем доброжелательное предложение моей сестры, — сказал Трангуаль Ланек, — солнце знойно; если она позволяет, мы отдохнем у нее несколько минут.

— Братья мои дорогие гости, они могут остаться в моем доме сколько они хотят.

После этих слов, индианка посторонилась и пропустила путников в хижину. Они вошли. Цезарь лежал посреди хижины, уткнув морду в пол и царапая его с глухими стенаниями; увидев своего господина, он подбежал к нему, махая хвостом, поласкался и немедленно принял свое прежнее положение.

— Боже мой! — прошептал Валентин с беспокойством. — Что такое случилось здесь?

Не говоря ни слова, Трангуаль Ланек лег возле собаки и, устремив глаза на пол, начал рассматривать его чрезвычайно внимательно. Между тем индианка оставила своих гостей одних, отправившись приготовить им закуску.

Через минуту вождь встал и молча сел возле Валентина. Тот, видя, что спутник его упорно хранит молчание, заговорил с ним:

— Ну! Вождь, что нового?

— Ничего, — отвечал ульмен, — это следы старые; им по крайней мере четыре дня.

— О каких следах говорите вы, вождь?

— О следах крови на полу.

— Крови? — вскричал молодой человек. — Разве донна Розарио убита?

— Нет, — отвечал вождь, — если эта кровь принадлежит ей, она только была ранена.

— Почему вы так полагаете, вождь?

— Я не полагаю, я в этом уверен.

— Но почему же?

— Потому что ее перевязывали.

— Перевязывали? Это уж слишком, вождь! Позвольте мне сомневаться в вашем убеждении; как можете вы знать, что той особе, которая была здесь, перевязывали рану?

— Брат мой слишком опрометчив; он не хочет порядочно подумать...

— Если я буду думать до завтра, то все-таки недалеко уйду.

— Может быть! Пусть же мой брат посмотрит на эту вещь.

Говоря эти слова, вождь протянул Валентину свою правую руку и показал ему, что заключалось в ней.

— Черт побери! — отвечал Валентин с досадой. — Это просто сухой листок; что я могу по нему узнать?

— Все! — сказал индеец.

— Вот что! Ну, вождь, если вы можете доказать мне справедливость ваших слов, я буду считать вас самым великим колдуном во всей Арокании.

Трангуаль Ланек улыбнулся.

— Брат мой все шутит, — сказал он.

— Вы приводите меня в отчаяние, вождь, неужели вам лучше хочется, чтобы я плакал? Но что же ваше объяснение?

— Оно очень просто.

— Гм! — сказал Валентин с сомнением. — Посмотрим.

— Этот листок, — продолжал ульмен, — от растения орегано; оно драгоценно, потому что останавливает кровь и залечивает раны; брат мой это знает.

— Да, это правда; продолжайте.

— Хорошо! Вот следы крови; очевидно здесь был кто-то раненый; на этом самом месте я нахожу листок орегано, а не мог же он явиться здесь сам по себе; стало быть, раненый был перевязан?

— Вы правы, — вскричал Валентин, остолбеневший от такого логического объяснения. Встав с комическим отчаянием, он ударил себя по лбу и прибавил: — Не знаю как это делается, но этот человек имеет талант доказывать мне беспрестанно, что я дурак.

— Брат мой недостаточно размышляет.

— Вы правы, вождь, вполне правы; но будьте спокойны, способность размышлять придет ко мне со временем.

В эту минуту в хижину вошла индианка и принесла для своих гостей два бычьих рога, наполненных жареной мукой. Путешественники, утром на скорую руку завтракшие, с готовностью приняли предлагаемое, храбро съели муку и выпили хиху.

Как только они закончили, индианка подала им мате, которое они принялись всасывать с истинным удовольствием. Потом они закурили сигары.

— Братья мои желают еще чего-нибудь? — спросила индианка.

— Сестра моя добра, — отвечал Трангуаль Ланек, — она поговорит с нами?

— Я сделаю все, что угодно моим братьям.

Валентин, знавший уже ароканские нравы, встал и, вынув два пиастра из кармана, подал их индианке, говоря:

— Сестра моя позволит мне предложить ей это на сережки?

При этом великолепном подарке глаза бедной женщины заблестали от радости.

— Благодарю моего брата, — сказала она, — брат мой чужеземец; не родственник ли он бледнолицей девушке, которая была здесь? Он конечно желает знать, что с ней сделалось... я ему сообщу все...

Валентин внутренне удивился проницательности индианки, которая с первого раза угадала его мысли.

— Я ей не родственник, — сказал он, — но друг; я принимаю в ней большое участие и признаюсь, что если сестра моя может дать мне о ней какие-либо сведения, она сделает меня счастливым.

— Я это сделаю, — сказала индианка.

Она опустила голову на грудь и задумалась, она собиралась с воспоминаниями. Трангуаль Ланек и Валентин ожидали с нетерпением. Наконец индианка подняла голову и, обращаясь к Валентину, сказала:

— Несколько дней тому назад высокая бледнолицая женщина, с глазами жгучими как луч южного солнца, приехала сюда вечером с десятью воинами. Я больна и поэтому уже целый месяц не хожу в поле, а остаюсь в деревне. Бледнолицая женщина захотела провести ночь в моей хижине; в гостеприимстве отказывать не следует и я сказала ей, что она у себя дома. К полуночи приехало много всадников, которые привезли бледнолицую девушку с кроткими и печальными глазами; она была

пленницей той высокой женщины, — я это узнала после. Не знаю, как это случилось, но только молодая девушка успела убежать, пока высокая бледнолицая женщина совещалась с Антинагюэлем, который также приехал. Эта женщина и токи отправились отыскивать беглянку и скоро привезли ее сюда, привязанную к лошади и с разбитой головой; бедная девушка была без чувств; кровь текла у нее из раны, на нее было жалко смотреть. Не могу объяснить почему, но бледнолицая женщина, которая до сих пор дурно обходилась с молодой девушкой, вдруг переменила свое обращение, перевязала рану своей пленницы и начала очень заботиться о ней.

При этих последних словах Трангуаль Ланек и Валентин переглялись. Индианка продолжала:

— Потом Антинагюэль и высокая женщина уехали, оставив в моей хижине девушку и десять воинов, которые должны были караулить ее. Один из воинов сказал мне, что эта девушка принадлежит токи, который хочет взять ее себе в жены. Так как воины Антинагюэля меня не опасались, этот человек признался мне, что молодую девушку украла высокая женщина и продала ее вождю. Токи распорядился так, чтобы родные не могли найти его пленницу и приказал своим воинам, как только бедняжка оправится настолько, что будет в состоянии перенести усталость дороги, увезти ее далеко, по ту сторону гор, в страну пуэльчесов...

— Что ж далее? — с живостью спросил Валентин, видя, что индианка остановилась.

— Вчера, — продолжала она, — молодой девушке сделалось гораздо лучше; тогда воины оседлали лошадей и уехали с нею в третьем часу дня.

— А молодая девушка ничего не сказала моей сестре? — спросил Трангуаль Ланек.

— Ничего, — печально отвечала индианка, — бедная девушка плакала; она не хотела ехать, но ее насильно посадили на лошадь, угрожая привязать ее, если она будет сопротивляться. Тогда она послушалась.

— Бедное дитя, — сказал Валентин, — они дурно обращались с ней, не правда ли?

— Нет, они выказывали к ней большое уважение; притом, я сама слышала, как токи, уезжая, приказывал им кротко обращаться с нею.

— Итак, она уехала вчера? — спросил Трангуаль Ланек.

— Вчера.

— В какую сторону?

— Воины говорили между собою о племени Коршуна, но я не знаю, туда ли они поехали.

— Благодарю, — сказал ульмен, — сестра моя добра. Пиллиан наградит ее; теперь она может удалиться, мужчины будут советоваться.

Индианка встала, не позволив себе никакого замечания, и вышла из комнаты.

— Ну, — спросил вождь Валентина, — что намерен делать мой брат?

— Путь наш начертан, как мне кажется, мы должны следовать по следам похитителей до тех пор, пока не отнимем у них молодую девушку.

— Хорошо, я сам то же думаю; только двух человек мало для исполнения такого намерения.

— Это правда, но что же можем мы сделать?

— Идти не раньше вечера.

— Почему?

— Потому что к тому времени Курумилла и, может быть, еще другие друзья моего брата присоединятся к нам.

— Вы в этом уверены, вождь?

— Уверен.

— Хорошо, в таком случае подождем.

Видя, что им придется провести несколько часов в этом месте, Валентин решился употребить их с пользой: он растянулся на земле, положил под голову камень, закрыл глаза и заснул. Цезарь лег у его ног. Трангуаль Ланек не спал; подняв в углу хижины веревку, он измерял все следы, оставшиеся на земле, потом призвал индианку и, указав ей на эти следы, спросил, не может ли она сказать ему, которые из них принадлежат молодой девушке.

— Вот эти, — отвечала индианка, указывая на самые крошечные.

— Хорошо, — сказал Трангуаль Ланек, сделав на веревке знак.

Потом, заткнув старательно веревку за пояс, он тоже лег на землю возле Валентина и скоро заснул.

Засада

Курумилла и два его спутника спускались с крутой вершины Корковадо так скоро, как только это было возможно. Но если всходить было трудно, то и спускаться тоже было нелегко. На каждом шагу путешественников останавливали скалы, возвышавшиеся перед ними, или густая чаща деревьев, преграждавшая им путь.

Часто, когда они воображали, что ступают на твердую почву, ноги их вдруг вязли и они с ужасом замечали, что принятое ими за почву было не что иное как переплетенные растения, скрывавшие под собою огромные рывины. Под их ногами кишели отвратительные животные; иногда они встречали змей, развивавших свои блистающие кольца на сухих листьях или обломанных сучьях, которые со всех сторон покрывали землю.

Они должны были то ползти на коленях, то перепрыгивать с ветви на ветвь или с топором в руке прокладывать себе дорогу. Такая утомительная ходьба продолжалась около двух часов. В конце концов они дошли до грота, в котором оставили своих лошадей.

Европейцы буквально падали от усталости; в особенности граф. Воспитанный в аристократических привычках, он никогда не подвергавший своих сил такому жестокому испытанию, и чувствовал себя совершенно уничтоженным; руки его и ноги распухли, лицо было исцарапано. Одна необходимость идти еще поддерживала его до сих пор, но дойдя до платформы, он упал, задыхаясь и бросая вокруг себя бессмысленные взоры челове-

ка, побежденного слишком сильным и слишком продолжительным усилием.

Дон Тадео совсем не так утомился как его товарищ; однако его короткое дыхание, румянец, покрывавший щеки, и пот, орошавший лицо, служили ясными доказательствами его усталости.

Курумилла же был так свеж и бодр, как будто не сделал ни одного шага. Физическая усталость по-видимому не имела никакого влияния на железную организацию индейца.

— Братья мои нуждаются в отдыхе, — сказал он, — мы останемся здесь сколько будет нужно для того, чтобы они собрались с силами.

Ни дон Тадео, ни граф не отвечали; им было стыдно признаться в своей слабости. Прошло полчаса, и никто не говорил ни слова. Курумилла удалился. Воротившись, он спросил:

— Ну что?

— Ах, дайте еще несколько минут, — отвечал граф.

Индеец покачал головой и сказал:

— Время не терпит...

Говоря это, он вынул из-за пояса маленький ящичек, раскрыл его и подал дону Тадео. В этом ящичке было четыре отделения; в первом лежали сухие листья беловатого цвета, во втором негашенная известь, в третьем какие-то камешки величиною с орех, в четвертом три или четыре тонких лопаточки из железного дерева.

— О! — вскричал с радостью дон Тадео. — *Кока!*

— Да, — отвечал индеец, — отец мой может взять.

Дон Тадео не заставил просить себя; он с живостью схватил одной рукой лопаточку, а другой взял листок; на этот листок посредством лопаточки он сначала насыпал негашеной извести, потом завернул в него камешек и положил в рот.

Граф следил за движениями дона Тадео с особенным вниманием и как только тот положил камешек в рот, спросил у него с любопытством:

— Что это такое?

— Кока.

— Но это ничего мне не объясняет.

— Друг мой, — сказал дон Тадео, — Америка обещанная земля, ее счастливая почва производит все: мы имеем парагвайскую траву, заменяющую чай, мы имеем

коку, которая, уверяю вас, с выгодой заменяет бетель, советую вам попробовать.

— С вашим поручительством, дон Тадео, я попробую все что угодно; тем более я не опасаясь взять в рот этот листок, который кажется мне безвредным; но признаюсь, мне очень хотелось бы узнать достоинства этого универсального лекарства; судя по радости, которую вы выказали, когда его увидали, его достоинства должны быть очень велики.

— Судите сами, — отвечал дон Тадео, приготовляя между тем вторую пилюлю точно так же как и первую, — кока имеет способность возвращать силы, отнимать сон, голод и придавать мужество.

— И чтобы наслаждаться всеми этими драгоценными дарами, что нужно сделать?

— Нужно только жевать коку, как моряки жуют табак, а малайцы бетель.

— Черт побери, дон Тадео! Вы человек слишком серьезный для того, чтобы я мог предполагать, что вы хотите позабавиться над моим легковерием; дайте мне, пожалуйста, поскорее это драгоценное снадобье; я хочу попробовать; если оно не принесет мне пользы...

— Зато не сделает и вреда; это все-таки утешение, — улыбаясь, перебил дон Тадео, протянув графу приготовленную им пилюлю.

Луи, не колеблясь, положил ее в рот. Курумилла, старательно заткнув ящик за пояс, начал седлать лошадей.

Вдруг ружейная перестрелка и страшные крики раздались невдалеке.

— Что бы это значило? — вскричал Луи, поспешно вставая.

— Начинается битва, — холодно отвечал Курумилла.

— Что мы будем делать? — спросил дон Тадео.

— Полетим на помощь к нашим друзьям! — благородно заявил граф.

Дон Тадео устремил на улымена вопросительный взгляд.

— А молодая девушка?.. — сказал индеец.

Граф задрожал, но, тотчас оправившись, отвечал:

— Наши товарищи отыскивают ее; у нас здесь жестокие враги, которых мы обязаны поставить обезвредить.

В эту минуту крики и ружейные выстрелы усилились.

— Решимся же, — с живостью продолжил молодой человек.

— Поедем! — вскричал дон Тадео. — Один час промедления не очень повредит моей дочери.

— На лошадей, когда так! — сказал Курумилла.

Индеец и его спутники сели на лошадей. По мере того как они приближались, шум ожесточенной битвы в ущелье становился громче; они узнавали воинственные крики чилийцев, смешивавшиеся с воем ароканов; иногда пули ударялись о деревья около них. Если бы не густая завеса листьев, они могли бы увидеть сражающихся.

Не обращая никакого внимания на бесчисленные препятствия, мешавшие им ехать, всадники скакали, сломя головы и рискуя свалиться в пропасти, мимо которых проносились.

— Стой! — вдруг закричал ульмен.

Всадники удержали лошадей, обливавшихся потом. Курумилла прискакал со своими друзьями к месту, которое возвышалось над выходом из ущелья со стороны Сантьяго. Это место представляло нечто вроде природной крепости, составленной из гранитных обломков, наваленных друг на друга быть может землетрясением. Издали эти скалы имели поразительное сходство с башней, и высота их достигала десяти метров.

Ульмен и его спутники находились на крутом склоне, до вершины которого нельзя было добраться иначе как с помощью рук и ног. Словом, это была настоящая крепость, в которой можно было выдержать продолжительную осаду.

— Какая славная позиция! — заметил дон Тадео.

— Поспешим овладеть ею, — отвечал граф.

Всадники спешили. Курумилла расседлал лошадей и отпустил в лес, в уверенности, что умные животные не зайдут далеко и что в случае надобности их легко будет найти.

Луи и дон Тадео уже взбирались на скалы. Курумилла тоже хотел было последовать их примеру, как вдруг листья около него зашевелились, и появился человек. Ульмен поспешно укрылся за дерево и взвел курок.

Человек, который возник так неожиданно, держал ружье на плече, а в руке шпагу, окровавленную по самую рукоятку и ясно показывавшую, что он храбро дрался. Он бежал, осматриваясь во все стороны; но не

как человек, спасающийся бегством, а напротив отыскивающий кого-то.

Курумилла вскрикнул от удивления, оставил убежище и подошел к этому человеку. При крике вождя индеец обернулся, и радостное выражение изобразилось на лице его.

— Я искал моего отца, — сказал он с живостью.

— Хорошо, — отвечал Курумилла, — я здесь.

Шум битвы между тем увеличивался с каждой минутой и как будто все приближался.

— Пусть сын мой идет за мной, — сказал Курумилла, — мы не можем оставаться здесь.

Индийцы полезли на скалу, вершины которой дон Тадео и молодой граф уже достигли. По странной случайности на верхней оконечности этой массы скал, образовывавшей площадку шириною в двадцать квадратных футов, находилось множество огромных камней, представлявших надежное убежище, из-за которого можно было удобно стрелять под прикрытием.

Оба белых были изумлены появлением пришедшего индейца, который был не кто иной как Жоан, но минута не была благоприятна для объяснений. Собравшись таким образом вчетвером, они поспешили устроить парапеты для стрельбы.

По окончании этой работы граф предложил отдохнуть. Теперь их было четверо решительных людей, вооруженных ружьями с достаточным количеством зарядов. В провизии у них тоже не было недостатка. Все это сделало позицию их превосходной, так что они могли по крайней мере целую неделю держаться в ней против значительного числа осаждающих.

Когда все уселись на камни, Курумилла начал спрашивать Жоана, внимательно наблюдая за тем, что происходило в долине, которая была в эту минуту погружена в полное уединение, хотя крики и ружейные выстрелы еще продолжали раздаваться в ущелье. Мы не будем пересказывать того, что Жоан сообщил своим друзьям; наши читатели уже это знают, а потому мы начнем его рассказ только с той минуты, как он оставил битву.

— Когда я увидел, что пленник успел вырваться, несмотря на мужественные усилия солдат его конвоировавших, я подумал, что, может быть, вам будет интересно узнать об этом неожиданном событии и с трудом

пробившись сквозь ряды сражающихся, бросился в лес с целью отыскать вас; случай свел меня с вами, когда я уже отчаивался найти вас.

— Как! — вскричал с изумлением дон Тадео. — Этот человек успел убежать?

— Да! И вы скоро увидите его в долине.

— Слава Богу! — энергически вскричал молодой граф. — Если этот злодей проедет от меня на ружейный выстрел, клянусь, я застрелю его как хищного зверя.

— О! — сказал дон Тадео. — Если этот человек свободен, все погибло!

Крики между тем усилились, перестрелка ожесточилась, и вдруг группа индейцев выскочила с шумом из ущелья; одни бежали сломя головы по разным направлениям, другие сопротивлялись врагам, еще невидимым. Дон Тадео и его спутники, держа ружья наготове, встали на краю платформы.

Число бежавших увеличивалось с каждой минутой. Долина, еще так недавно столь спокойная и уединенная, представляла теперь самое оживленное зрелище. Одни бежали как бы преследуемые паническим страхом, другие собирались небольшими группами и возвращались к битве.

Время от времени некоторые из беглецов падали и не вставали, другие, более счастливые и раненые не смертельно, делали невероятные усилия, чтобы приподняться и бежать.

Вдруг отряд чилийских всадников прискакал галопом, тесня ароканов, которые все еще сопротивлялись. Впереди этого отряда человек на черной лошади, поперек которой лежала бесчувственная женщина, скакал с быстротою стрелы. Он значительно опережал солдат, которые наконец отказались от напрасного преследования и вернулись в ущелье.

— Это он! Это он! — закричал дон Тадео. — Это Бустаменте.

— Я сейчас выстрелю! — холодно отвечал граф, спускающая курок.

Курумилла выстрелил в одно время с ним, так что оба выстрела слились в один. Лошадь Бустаменте остановилась, вытянулась, поднялась передними ногами на воздух, потом зашаталась и упала, увлекая всадника в своем падении.

— Умер он? — спросил дон Тадео с беспокойством.

— Я думаю! — отвечал Луи.

— Лишняя пуля не повредит, — справедливо заметил Жоан и выстрелил.

Пораженные ужасом при этой неожиданной атаке, индейцы еще скорее разлетелись по долине, как стая испуганных ворон, не думая более о сражении и стараясь только сохранить свою жизнь.

Крепость

— Проворнее! Проворнее! — вскричал граф, стремительно вставая. — Воспользуемся страхом ароканов и захватим Бустаменте.

— Постойте! — флегматически остановил его Курумилла. — Партия неравная; пусть взглянет мой брат.

В самом деле, толпа индейцев выскочила из ущелья. Но эти держались храбро. Они отступали шаг за шагом, не как бегущие трусы, но как воины, гордо оставляющие поле битвы, которое отказываются оспаривать долее и отходят в строгом порядке.

В арьергарде отряд в сто человек поддерживал это храброе отступление. Два вождя на ретивых лошадях переезжали от одного к другому и не уступали по-видимому врагу, теснившему их.

Вдруг из чащи раздались со зловещим свистом ружейные выстрелы, и вслед за тем появились чилийские всадники. Индейцы, не отступая ни на шаг, встретили их копьями. Многие беглецы, рассыпавшиеся по долине, вернулись к своим товарищам и бросились на неприятеля. Несколько минут сражающиеся дрались холодным оружием.

Вдруг четыре выстрела раздались из импровизированной крепости, вершина которой увенчалась дымом. Два индейских вождя повалились на землю. Ароканы вскрикнули от ужаса и ярости и бросились вперед, чтобы не дать захватить своих вождей, которых уже окружили чилийцы.

Но с быстротою молнии Антинагюэль и Черный Олень — это были они — бросили своих лошадей и поднялись, держа наготове оружие. Оба они были ранены.

Чилийцы, имевшие намерение только изгнать неприятеля из ущелья, удалились в порядке и скоро исчезли. Ароканы продолжали отступать.

Долина, над которою возвышалась скалистая башня, вершину которой занимали дон Тадео и его товарищи, имела в ширину только одну милю, постепенно суживалась и на конце ее возвышался девственный лес, мало-помалу сливающийся с горами.

Ароканы все шли по долине и углублялись в чашу. Бустаменте давно исчез. Индейцы оставили только тела мертвых врагов и лошадей, убитых графом Луи и его товарищами, над которыми начинали кружиться коршуны с пронзительными криками. В долину возвратилась прежняя тишина.

— Теперь мы можем продолжать наш путь, — сказал, вставая, дон Тадео.

Курумилла взглянул на него с чрезвычайным удивлением, но не отвечал.

— Отчего вы удивляетесь, вождь? — спросил дон Тадео. — Видите, долина пуста, ароканы и чилийцы удалились, каждый в свою сторону; кажется, мы можем безопасно продолжать путь.

— Отвечайте, вождь, — сказал граф, — вы знаете, что время не терпит: друзья нас ждут, нам нечего здесь делать; зачем мы будем оставаться здесь?

Индеец указал на девственный лес.

— Там спрятано слишком много глаз, — сказал он.

— Вы думаете, что за нами наблюдают? — спросил Луи.

Курумилла утвердительно кивнул головой.

— Да, — сказал он.

— Вы ошибаетесь, вождь, — возразил дон Тадео, — ароканы побиты. Они успели прикрыть побег человека, которого хотели спасти, зачем же им оставаться здесь? Им нечего здесь делать.

— Отец мой худо знает воинов моего народа, — с гордостью сказал Курумилла, — они никогда не оставляют врагов позади себя, если имеют надежду уничтожить их.

— Что значат ваши слова? — перебил с нетерпением дон Тадео.

— То, что Антинагюэль был ранен пулей; выстрел последовал отсюда и токи не удалится, не отомстив.

— Я не могу этого допустить; наша позиция неприступна; разве ароканы орлы и могут прилететь сюда?

— Индейские воины благоразумны, — отвечал ульмен, — они будут ждать, чтобы провизия моих братьев истощилась и заставят их сдаться, чтобы избежать голодной смерти.

Дон Тадео был поражен справедливым рассуждением Курумиллы и не нашелся что отвечать.

— Однако мы не можем же остаться здесь, — сказал Луи, — я согласен, что вы правы, вождь, и стало быть неоспоримо, что через несколько дней мы попадемся в руки этих демонов?

— Да, — подтвердил Курумилла.

— Признаюсь, — возразил граф, — что эта перспектива не имеет для нас ничего лестного; нет такого дурного положения, из которого нельзя было бы выпутаться с помощью мужества и ловкости.

— Брат мой имеет какое-нибудь средство? — спросил ульмен.

— Может быть; не знаю, хорошо ли оно, во всяком случае вот что я придумал: через два часа настанет ночь, пусть темнота сгустится, потом, когда индейцы заснут, мы потихоньку уйдем отсюда.

— Индейцы не спят, — холодно сказал Курумилла.

— Черт возьми! — энергически вскричал граф, гордый взор которого засверкал воинственным блеском. — В таком случае, если понадобится, мы пройдем по их трупам, но убежим отсюда.

Если б Валентин мог видеть в эту минуту своего молочного брата, он обрадовался бы той энергии, которую Луи выказал в первый раз. Удивляться нечему! Луи был влюблен и хотел видеть ту, которую любил, а любовь имеет привилегию верить вчуждеса.

— Впрочем, этот план дает некоторую надежду на успех, — сказал дон Тадео, — я думаю, что к ночи мы можем попробовать исполнить его; если он и не удастся, у нас все-таки останется средство укрыться здесь.

— Хорошо, — отвечал Курумилла, — я сделаю все, чего желают мои братья.

Жоан не принимал никакого участия в разговоре; сидя на земле, прислонившись спиной к скале, он курил со всею небрежностью индейца, врожденное бесстрашие которого не возмущают никакие заботы.

Таковы вообще все ароканы; когда пройдет минута действия, они находят бесполезным тратить свои силы, предпочитая сохранить их для новых предприятий. Ароканы наслаждаются настоящим, не заботясь о будущем, если только они не вожди и ответственность в успехе или неудаче какой-нибудь экспедиции не лежит на них. В последнем случае они напротив необыкновенно бдительны и полагаются только на самих себя, стараясь все предвидеть.

После отъезда из Вальдивии, дон Тадео и его товарищи не имели времени поесть; они решили воспользоваться отдыхом и утолить голод. Приготовления были не продолжительны; они не знали наверно, известна ли индейцам их позиция; во всяком случае, они почли за лучшее оставить их в сомнении и заставить предполагать, что они удалились. Поэтому огня не разводили; обед состоял только из жареной муки, разведенной в воде, жалкой пищи, которую нужда однако заставила их найти превосходной.

Мы сказали, что у них было достаточно провизии; в самом деле при бережливости ее хватило бы на две недели, но воды у них было только шесть мехов, то есть около шестидесяти литров; поэтому они в особенности опасались жажды, если бы им пришлось выдерживать осаду.

Когда их скудный обед был окончен, они закурили сигары, устремив взгляды на долину и с нетерпением ожидая ночи.

Прошло около получаса, и ничто не возмутило спокойствия, которым наслаждались авантюристы. Солнце быстро клонилось к горизонту, небо мало-помалу принимало мрачный оттенок, отдаленные вершины гор исчезали под густыми слоями тумана; наконец все показывало, что темнота скоро покроет землю.

Вдруг коршуны, спустившиеся на трупы и клевавшие их, с шумом и с пронзительными криками поднялись в воздух.

— О! О! — сказал граф. — Что бы это значило? Коршуны всполошились даром...

— Вероятно мы скоро узнаем в чем дело. Может быть, мы действительно окружены так, как уверяет вождь, — отвечал дон Тадео.

— Брат мой увидит, — ответил улымен с коварной улыбкой.

Отряд из пятидесяти чилийских копьеносцев крупной рысью выехал из ущелья. В долине он повернул несколько налево и въехал на тропинку, которая ведет в Сантьяго. Дон Тадео и граф напрасно старались узнать людей, составлявших этот отряд, и в особенности начальника, командовавшего ими. Темнота была слишком густа.

— Это бледнолицые, — холодно сказал Курумилла, пронизательные глаза которого с первого взгляда рассмотрели проезжавших.

Между тем всадники продолжали ехать; они, казалось, не имели никакого беспокойства, это очень легко было заметить, потому что ружья у них висели за спиной, длинные копья волочились по земле; они ехали почти врассыпную. Эти всадники составляли конвой, который по приказанию дона Грегорио Перальта должен был проводить дона Рамона до Сантьяго.

Они приближались все более и более к густому кустарнику, который стоял как часовой впереди девственного леса, и скоро уже должны были углубиться в него; вдруг страшный вой, повторенный эхом, раздался возле них, и многочисленная толпа ароканов с бешенством напала на них со всех сторон.

Застигнутые врасплох и испуганные этим внезапным нападением, испанцы сопротивлялись весьма слабо и рассыпались по всем направлениям. Индейцы преследовали их с ожесточением, и несчастные скоро все были переловлены или перебиты.

Один несчастный, бежавший по направлению к скале, на которой находились авантюристы, едва переводивший дух при этой страшной резне, упал на глазах их пронзенный насквозь копьем. Потом, как бы по волшебству, индейцы и испанцы исчезли в лесу. Долина опять сделалась спокойна и пустынна.

— Ну! — спросил Курумилла дона Тадео. — Что думает отец мой, удалились ли индейцы?

— Ваши предположения были справедливы, вождь, я должен в этом признаться. Увы! — прибавил он со вздо-

хом сожаления, походившим на рыдание. — Кто спасет мою бедную дочь?

— Я! — решительно вскричал граф. — Послушайте, мы сделали невероятную глупость, забравшись в эту мышеловку; нам непременно надо выйти отсюда. Если бы Валентин был здесь, его изобретательный ум нашел бы средство к нашему освобождению, я в этом убежден; скажите мне, где он, я приведу его, и тогда мы посмотрим, остановят ли нас эти демоны.

— Благодарю вас, граф, — с жаром сказал дон Тадео, — но не вы, а я должен попытаться на это отважное предприятие.

— Полноте! — весело сказал молодой человек. — Позвольте идти мне; я уверен, что я успею.

— Да, — сказал Курумилла, — мои братья бледнолицые правы; Трангуаль Ланек и брат мой с золотистыми волосами необходимы нам; но только пусть Жоан пойдет за ними.

— Я знаю горы, — вскричал Жоан, вмешавшись тогда в разговор, — бледнолицые незнакомы с хитростью индейцев; они слепы ночью, заблудятся и попадут в засаду. Жоан ползает как уж, у него чутье хорошо обученной собаки; он найдет. Антинагуэль — Кролик, вор Черных Змей; Жоан хочет его убить.

Не прибавляя более ни слова, индеец снял свой плащ, обвязал его вокруг себя вместо пояса и приготовился идти. Курумилла вынул нож, отрезал кусок своего плаща, пальца в четыре ширины, и подал его Жоану, говоря:

— Сын мой отдаст это Трангуалю Ланеку, чтобы ульмен узнал, от кого он пришел, и расскажет ему что происходит здесь.

— Хорошо, — отвечал Жоан, заткнув за пояс кусок от плаща, — где я найду вождя?

— В деревне Сан-Мигуэль; там он ожидает нас.

— Жоан уходит, — сказал индеец с благородством, — если он не исполнит поручения, это значит, что он убит.

Курумилла и двое белых с жаром пожали ему руку. Жоан поклонился им и начал спускаться с горы; они видели, как он ползком добрался до первых деревьев горы Корковадо; там он приподнялся, сделал рукой прощальный знак и исчез посреди высокой травы.

Вдруг авантюристы вздрогнули, услышав ружейный выстрел и потом вслед за ним другой, раздавшийся по тому направлению, куда пошел их посланный.

— Он убит! — вскричал граф с отчаянием.

— Может быть и нет! — нерешительно отвечал Курумилла. — Жоан воин благоразумный! Но теперь, надеюсь, братья мои убедились, что побег невозможен и что мы окружены.

— Это правда, — прошептал дон Тадео, с унынием опустив голову.

Предложения

Темнота скоро спустилась на землю и окутала все предметы. Мрак был чрезвычайно густ. Тучи тяжело проплывали в небе и скрывали бледный лик луны. Мертвое молчание тяготело над долиной. Иногда оно прерывалось зловещими криками лютых зверей или свистом ветра между ветвями деревьев.

Напрасно дон Тадео и его товарищи, укрывшиеся на скале, утомляли глаза, стараясь различить предметы: вокруг них все было темно. Время от времени какие-то неизвестные звуки доходили до площадки, на которой они находились, и еще более увеличивали их беспокойство.

Вынужденные наблюдать внимательно, чтобы избежать от неожиданного нападения, все они ни минуты не отдохнули.

Дон Тадео заметил днем, что скалы, на вершине которых они укрывались, были высоки, но гора, находившаяся напротив них, была гораздо выше, так что, несмотря на довольно значительное расстояние, ловкие стрелки, поставленные на некоторой высоте, легко могли бы перестрелять их всех.

Он сообщил своим товарищам это наблюдение, и они признали его справедливым. Со стороны долины они были совершенно вне опасности: взобраться на скалы было невозможно; кроме того, прячась за камнями, друзья наши могли результативно стрелять в тех, которые задумали бы напасть на них. Поэтому, воспользовавшись

темнотою, они занялись укреплением противоположной стороны.

Они соорудили род стены, навалив камни один на другой высотой в восемь футов. Так как в этой стране роса чрезвычайно обильна, они устроили себе палатку, разложив свои плащи на двух копьях, воткнутых в землю.

Под этой палаткой разостлали они одеяло и попоны лошадей и таким образом не только обеспечили себя от всякого нападения со стороны горы, но и сделали себе убежище, которое было очень полезно от ночного холода и от дневного жара и в котором они могли удобно поместиться, если бы им пришлось долго оставаться на скале. В палатку положили они также провизию и боеприпасы, которые вода и солнце легко могли бы испортить.

Труды заняли большую часть ночи. К трем часам утра мрак начал рассеиваться, на краях неба появились опаловые оттенки, обыкновенно предшествующие в этой стране восходу солнца. Курумилла подошел к своим двум товарищам, которые напрасно боролись с усталостью и сном, изнурявшими их.

— Пусть мои братья заснут на два часа, — сказал он им, — Курумилла будет настороже.

— А вы, вождь... — отвечал ему дон Тадео, — приняв такое благородное участие в нашем деле, вы должны иметь такую же необходимость в отдыхе, как и мы. Спите, мы будем караулить вместо вас.

— Курумилла — вождь, — отвечал ульмен, — он не спит на тропинке войны.

Дон Тадео и Луи слишком хорошо знали своего друга, чтобы делать ему бесполезные замечания; обрадовавшись в глубине сердца этому отказу, который позволял им восстановить силы, они бросились на попоны и почти тотчас же заснули.

Когда Курумилла удостоверился, что товарищи его погружены в сон, он ползком добрался до подошвы крепости. Мы уже говорили, что гора была покрыта высокой травой и что посреди этой травы изредка возвышались группы деревьев. Курумилла спрятался в кустах и начал прислушиваться. Ничто не возмущало тишины. Все спало или казалось спящим на горе и в долине. Ульмен снял свой плащ и растянулся на земле, стараясь как можно более скрыть свое присутствие. Потом, прикрывшись

плащом, он высек огня, не опасаясь по милости своих мелочных предосторожностей, чтобы искры были применены в темноте.

Раздув огонь, он набрал сухих листьев и начал сыпать их на костер понемножку, стараясь, чтобы дым несколько сгустился. Когда огонь довольно усилился, индеец опять пополз на вершину скалы, не будучи примечен многочисленными часовыми, которые по всей вероятности тщательно наблюдали за движениями авантюристов. Товарищи его все спали.

«Теперь нам нечего бояться, — сказал сам себе Курумилла, — что стрелки могли спрятаться над нами между деревьями».

Он пристально устремил глаза на оставленное им место. Скоро красноватый свет осветил темноту; свет этот увеличивался мало-помалу и превратился наконец в столб пламени, который поднялся к небу мятежным вихрем, разбрасывая вокруг себя тысячи искр. Пламя быстро распространялось, так что вся вершина горы немедленно очутилась в огне.

Послышались неистовые крики и при блеске пожара можно было видеть индейцев, которые покидали свои наблюдательные посты; черные их силуэты мрачно отделились от яркого пламени.

Но Корковадо не весь был покрыт лесом; поэтому пожар не мог распространиться далеко. Цель Курумиллы была достигнута. Места, которые час тому назад представляли превосходные убежища, теперь были совершенно открыты.

При криках индейцев дон Тадео и граф пробудились и, думая что это атака, поспешили к Курумилле. Он радостно смотрел на пожар и с улыбкой потирал себе руки.

— Э! — сказал дон Тадео. — Кто это зажег?

— Я! — отвечал Курумилла. — посмотрите, как эти разбойники бегут полуобгоревшие.

Граф и дон Тадео искренно разделили его веселость.

— Право! — заметил Луи. — Вам пришла счастливая мысль, вождь! Теперь мы, кажется, отделались от своих неприятных соседей.

По недостатку пищи пожар угас так же быстро, как и разгорелся; авантюристы устремили взор на долину и вскрикнули от удивления.

При первых лучах восходящего солнца, смешивающегося с исчезающим блеском пожара, они увидели индейский лагерь, окруженный широким рвом и укрепленный по всем ароканским правилам. Внутри этого лагеря, который был довольно большим, возвышалось множество хижин из бычьих кож, натянутых на колья, вбитые в землю.

Очевидно было, что дону Тадео и его товарищам предстояло выдержать правильную осаду.

— Гм! — сказал граф. — Право не знаю, как мы выберемся отсюда.

— Но, — заметил дон Тадео, — они кажется хотят вести с нами переговоры?

— Да, — сказал Курумилла, взводя курок своего ружья, — выстрелить?

— Остерегитесь, вождь, — вскричал дон Тадео, — прежде узнаем, чего они хотят; может быть, их предложения будут для нас довольно выгодны...

— Сомневаюсь, — отвечал граф, — однако, как мне кажется, мы все-таки должны их выслушать.

Курумилла спокойно опустил ружье и небрежно облокотился на него.

Несколько человек вышли из лагеря. Они были безоружны. Один из них махал над головою ароканским знаменем. На двоих был чилийский костюм. Дойдя до подошвы импровизованной цитадели, они остановились. Вышина скалы была довольно значительна, и потому слова парламентаря слабо достигали ушей осажденных.

— Пусть один из вас сойдет, — закричал голос, в котором дон Тадео тотчас узнал голос Бустаменте, — чтобы мы могли предложить вам наши условия.

Дон Тадео хотел было отвечать, но граф с живостью оттолкнул его назад.

— Вы с ума сошли, любезный друг, — сказал он резко, — враги еще не знают кто здесь; к чему же вам показываться... Позвольте мне объяснить с ними.

И, наклонившись на край платформы, Луи закричал:

— Хорошо! Один из нас сойдет, но не помешаете ли вы ему вернуться к своим товарищам, если ваши предложения не будут им приняты?

— Нет! — отвечал генерал, — Даю вам честное слово солдата, что парламентарю ничего не сделают; он будет иметь право вернуться к своим товарищам, когда ему заблагорассудится.

Луи взглянул на дона Тадео.

— Ступайте, — с благородством сказал ему тот, — я враг Бустаменте, но полагаюсь на его слово.

Молодой человек снова наклонился с платформы и закричал:

— Я иду.

Оставив оружие, граф тотчас с проворством начал перепрыгивать со скалы на скалу; через пять минут он был уже лицом к лицу с неприятельскими вождями.

Их было трое: Антинагюэль, Черный Олень и Бустаменте. С ними находился также и сенатор дон Рамон Сандиас. Один сенатор не был ранен. Бустаменте же и Антинагюэль имели раны на голове и на груди; у Черного Оленя рука висела на шарфе.

Подойдя к ним, он поклонился с чрезвычайной вежливостью и, скрестив руки на груди, ждал, чтобы они заговорили.

— Кабальеро, — сказал дон Панчо с принужденной улыбкой, — здесь очень жарко, а вы видите, что я ранен; не угодно ли вам следовать за нами, в лагерь и сейчас? Вам нечего бояться.

— Милостивый государь, — надменно отвечал молодой человек, — я ничего не боюсь; мой теперешний поступок может служить вам доказательством... я пойду за вами куда Вам угодно.

Бустаменте наклонился в знак благодарности.

— Пойдемте, — сказал он.

— Идите, я следую за вами.

Луи и его спутники направились тогда к лагерю, куда их впускали одного за другим по доске, переброшенной через ров.

«Гм! — подумал француз, — у этих людей прескверные лица; мне кажется, что я добровольно влез в волчью пасть».

Бустаменте, в эту минуту смотревший на молодого человека, казалось, угадал его мысль, потому что остановился в ту минуту, как поставил ногу на доску, и сказал ему:

— Милостивый государь, если вы боитесь, вы можете вернуться назад.

Молодой человек задрожал; лоб его покрылся краской стыда и гнева.

— Генерал, — отвечал он надменно, — вы дали мне ваше слово; притом, вы верно не знаете еще одного?

— Что же это такое?

— А то, что я француз.

— Это значит?..

— Это значит, что я никогда не трушу; итак, не угодно ли вам пройти, чтобы я мог пройти после вас; или пропустите меня, если предпочитаете.

Бустаменте взглянул на Луи с удивлением, почти с восторгом, потом вдруг сказал:

— Вашу руку — вы храбрец; не я буду виноват, клянусь вам, если вы вернетесь, не будучи довольны нашим свиданием.

— Это ваше дело, — отвечал молодой человек, вкладывая свою белую, тонкую и аристократическую руку в руку Бустаменте.

Оба индейца бесстрастно ждали конца этого разговора. Ароканы хорошие судьи в мужестве; для них это качество первое из всех, поэтому они уважают его даже и у неприятеля.

Луи и его провожатые, молча, шли несколько минут по лагерю и наконец подошли к хижине, которая была значительно больше других. При входе в нее был воткнут в землю пучок длинных копий с красными значками: он показывал, что это была хижина вождя.

В ней совершенно не было никакой мебели: бычьи черепа, разбросанные там и сям, служили стульями. В углу, на груде сухих листьев, покрытых попонами и плащами, лежала женщина, голова которой была обернута компрессами.

Эта женщина была донна Мария. Она, казалось, спала. Однако ж, при шуме шагов вошедших вождей взор ее заблестел в полумраке хижины и показал, что она не спит.

Все сели. Бустаменте размышлял с минуту, потом поднял глаза на графа и сказал резким голосом:

— На каких условиях желаете вы сдаться?

— Извините, — отвечал молодой человек, — мы не соглашаемся сдаться ни на каких условиях; вы должны сделать нам благородные предложения, а это другое дело; я жду, чтобы вы изложили их.

Глубокое молчание последовало за этими словами.

Посланный

Жоан был молодой человек лет тридцати, смелый, отважный, не боявшийся никакой опасности и притом одаренный тем глубоким и холодным лукавством, которое отличает его соплеменников. До своего отъезда еще он взвесил все детали данного ему поручения. Он не скрывал от себя, что оно было очень затруднительно и что если ему удастся избежать бесчисленных засад, расставленных у него под ногами, то уже одно это можно будет назвать чудом.

Однако все затруднения, предстоящие ему, нисколько его не пугали. Он охотно взялся за дело, потому что находил таким образом возможность сыграть злую шутку с Антинагюэлем, — которого, сказать правду, терпеть не мог, сам не зная почему, — и кроме того спасти Курумиллу, которому был обязан жизнью.

Все дело заключалось в том, чтобы пробраться не будучи убитым сквозь ряд часовых, которые без сомнения окружали оставленную испанцами позицию. Он на минуту притаился в высокой траве, размышляя, какой ему употребить способ, чтобы выбраться здоровым и невредимым.

Вероятно этот способ скоро был придуман, потому что Жоан вдруг бросился бежать. Удостоверившись, что он один, он развернул свой аркан и привязал конец его к кусту. На этот куст повесил он свою шляпу, так чтобы она не упала, потом потихоньку удалился, все развертывая аркан. Дойдя до конца аркана, он начал

дергать его осторожно, заставляя таким образом куст качаться слегка.

Это движение почти тотчас же было замечено часовыми, которые бросились к кусту и, увидев верхушку шляпы, выстрелили. Жоан между тем пустился бежать с легкостью серны, смеясь, как сумасшедший, над тем, как будут досадовать часовые, когда узнают, во что стреляли. Впрочем, он принял все возможные меры предосторожности, так что был уже далеко, прежде чем ароканы поняли, что произошло.

По обыкновенной дороге от ущелья до деревни Сан-Мигуэль было далеко, так что если бы Жоан захотел идти этим путем, ему пришлось бы сделать пятнадцать миль. Но Жоан был индеец: он пошел прямо.

Молодой и одаренный железными ногами, он шел скорым шагом по горам и долам. Он оставил скалу в шесть часов вечера и пришел в Сан-Мигуэль в три часа утра. Словом, в девять часов он прошел более двенадцати миль причем по таким дорогам, по каким могут ходить только козы да индейцы.

Когда Жоан вошел в деревню, темнота и безмолвие царствовали повсюду; все жители спали, только изредка были собаки.

Жоан был в затруднении; он не знал как найти тех, которые были ему нужны. Вдруг дверь одной хижины отворилась, и два человека с огромной ньюфаундлендской собакой вышли на дорогу. Как только собака приметил индейца, она бросилась на него с ужасным лаем.

— Удержите вашу собаку! — закричал Жоан, поспешно становясь в оборонительное положение.

— Сюда, Цезарь! Сюда! — сказал голос.

Собака послушалась и, ворча, вернулась к своему господину. Эти слова были произнесены по-французски. Жоан не знал этого языка, но он вспомнил, что видел в Вальдивии у французов точно такую собаку как та, которая так грозно встретила его. Это заставило его предположить, что случай свел его именно с тем, кого он искал. Жоан был человек решительный: нимало не колеблясь, он громко закричал:

— Вы чужеземец, друг Курумиллы?

— Курумилла! — вскричал Трангуаль Ланек, подходя. — Кто произнес это имя?

— Человек, пришедший от него, — отвечал Жоан.

Трангуаль Ланек устремил на Жоана подозрительный взгляд, но темнота была так густа, что он не мог различить черты его лица.

— Подойдите, — сказал он, — если Курумилла посылает вас, стало быть вы принесли нам какое-нибудь известие?

— Те ли вы, кого я ищу? — спросил Жоан, колеблясь в свою очередь.

— Да, но в хижине при огне мы узнаем друг друга лучше, нежели здесь... ночь чернее кратера вулкана.

— Это правда, — подтвердил Валентин, смеясь, — так темно, что даже дьявол, пожалуй, наступит на свой хвост.

Все трое вошли в хижину; Цезарь составлял арьергард. Не теряя времени, Трангуаль Ланек высек огня, зажег лампу и подошел к индейцу.

— Хорошо, — сказал он, — я узнал моего друга; это его прислал Курумилла в Вальдивию.

— Да, — отвечал Жоан, указывая на собаку, которая легла возле него и начала лизать ему руки, — видите: собака узнала меня.

— Того, кого любит моя собака, люблю и я, — сказал Валентин, — вот моя рука.

Жоан дружески пожал эту благородную руку; чисто-сердечие француза расположило его к нему. Отныне эти два человека были преданы друг другу на жизнь и на смерть.

Трангуаль Ланек присел на землю и сделал знак товарищам сесть возле него. Те повиновались. После минутного молчания, во время которого улымен, казалось, собирался с мыслями, он наконец обратился к Жоану и сказал:

— Я ждал сегодня на солнечном закате Курумиллу и двух моих друзей. Курумилла вождь и слово его священо. Между тем ночь уже проходит и возвещает восход солнца своим зловещим криком; но Курумиллы нет! Какая причина могла помешать ему? Сын мой храбрый воин и пришел от моего брата; пусть же он говорит; уши мои открыты.

Жоан почтительно поклонился, вынул из-за пояса кусок от плаща Курумиллы и молча подал его улымену.

— Кусок от плаща Курумиллы! — вскричал с горячностью Трангуаль Ланек, схватив этот кусок и передавая его Валентину, столь же взволнованному, как и он. —

Говори, вестник несчастья, брат мой умер? Какое ужасное известие принес ты? Говори, именем Пиллиана! Скажи мне имена его убийц, чтобы из их костей Трангуаль Ланек сделал воинские свистки.

— Я действительно принес дурные известия; однако ж в ту минуту, когда я оставил Курумиллу и его товарищей, они были в безопасности и не ранены.

Трангуаль Ланек и Валентин перевели дух.

— Курумилла, — продолжал индеец, — отрезал этот кусок от своего плаща и отдал его мне, говоря: «Ступай к моим братьям и покажи им этот кусок; тогда они поверят тебе... перескажи им во всех подробностях, в каком положении мы находимся». Я ушел, сделал двенадцать миль не останавливаясь, и вот я здесь.

По знаку Трангуаля Ланека, Жоан сообщил ему и Валентину все, что мы уже описали. Рассказ его был продолжителен; ульмен и Валентин выслушали его с величайшим вниманием. Когда Жоан кончил, наступило молчание. Трангуаль Ланек и Валентин размышляли о том, что передал им посланный.

Известия действительно были неутешительны: осажденные очевидно находились в критическом положении. Невозможно было, чтобы трое человек, как бы ни были они мужественны, могли долго сопротивляться объединенным усилиям тысячи воинов, озлобленных поражением, которое они понесли от испанцев, и горевших желанием отомстить.

Помощь, которую они могли бы принести друзьям своим, была бы очень невелика и может быть явилась бы слишком поздно. Что делать? Об этом спрашивали себя Валентин и оба индейца и не могли дать себе удовлетворительного ответа. Они видели перед собою одну невозможность ужасную, непреодолимую! Им оставалось только оставить друзей своих в опасности, не стараясь спасти их — об этом они даже и не подумали — или умереть вместе с ними. Что более могли они сделать? Напрасно ломали они себе голову, чтобы разрешить эту неразрешимую проблему. Зло было неотвратимо. Валентин решил первым.

— Хоть бы нам пришлось только умереть с нашими друзьями, — вскричал он, вскочив, — поспешим присоединиться к ним; смерть покажется им приятнее, если мы будем возле них.

— Пойдем! — решительно ответили оба индейца, как погребальное эхо.

Они вышли из хижины. Солнце лучезарно выходило на горизонте.

— Ба! — сказал вдруг Валентин, развеселившись от свежего утреннего воздуха и ослепительных лучей солнца. — Может быть нам и удастся... Пока душа держится в теле, еще есть надежда! Не будем унывать, вождь; я уверен, что мы спасем их.

Ульмен печально покачал головой.

В эту минуту Жоан, который удалился, так что товарищи его этого не заметили, вернулся, ведя за узду трех оседланных лошадей.

— На лошадей, — сказал он, — может быть, мы приедем еще вовремя.

Трангуаль Ланек и Валентин вскрикнули от радости и, вскочив на лошадей, поскакали таким бешеным галопом, который ни с чем не может сравниться. Это продолжалось шесть часов. Было уже около полудня, когда они подъехали к Корковадо.

— Здесь мы должны сойти с лошадей, — сказал Жоан, — продолжать ехать верхом опасно: нас могут заметить лазутчики Антинагюэля.

Лошади были оставлены. Величайшее безмолвие царствовало в окрестностях. Валентин и индейцы начали взбираться на гору. Спустя некоторое время они остановились, чтобы перевести дух и посоветоваться.

— Подождите меня здесь, — сказал Жоан, — я пойду посмотреть: мы вероятно окружены шпионами.

Ульмен и Валентин легли на землю отдохнуть; Жоан удалился. Вместо того, чтобы взбираться выше, Жоан, рассчитав, что он находится почти на одной высоте со скалами, повернул в сторону и скоро исчез.

Отсутствие его продолжалось довольно долго; прошло около часа прежде чем он возвратился. Ульмен и Валентин, встревоженные продолжительным ожиданием, не знали на что решиться и что думать. Они боялись, не попал ли Жоан в плен.

Они уже приготовлялись пуститься в путь, как вдруг увидали, что он стремительно бежит к ним, не доставляя себе труда прятаться.

— Ну! — с живостью спросил его Валентин. — Что такое случилось? Отчего вы так веселы?

— Курумилла вождь благоразумный, — отвечал Жоан, — он сжег лес позади скал.

— Какую же выгоду это доставляет нам?

— Огромную. Воины Антинагюэля сидели в засаде за деревьями, а теперь они принуждены удалиться; стало быть, дорога свободна, и мы можем присоединиться к нашим друзьям, когда захотим.

— Пойдем же когда так! — закричал Валентин.

— А Курумилла? — спросил Трангуаль Ланек. — Как предупредить его о нашем прибытии?

— Я уже его предупредил, — отвечал Жоан, — он заметил мой сигнал, он нас ждет.

«Эти демоны индейцы ничего не упускают из виду, — сказал про себя Валентин, покручивая усы, — пойдем, Цезарь, пойдем, моя добрая собака! Это будет величайшее несчастье, если с помощью трех таких решительных людей я не успею спасти моего бедного Луи; горизонт однако ж помрачается страшным образом! Надо постараться не оставить здесь своей кожи».

И в сопровождении Цезаря, который смотрел на своего господина, махая хвостом и как будто понимая что огорчало его, Валентин пошел за Трангуалем Ланеком и Жоаном. Через двадцать минут они благополучно добрались до подошвы скалы. С площадки дон Тадео и Курумилла весело приветствовали их знаками.

Волчья пасть

Оставим на некоторое время Валентина и его друзей, чтобы рассказать о том, что происходило в лагере окасов после битвы с испанцами в ущелье.

Чилийцы, укрывшиеся на вершинах скал, заставили окасов понести значительные потери. Главные ароканские вожди, выйдя невредимыми из ожесточенной битвы, происходившей утром, были потом опасно ранены невидимыми стрелками.

Пуля сшибла Бустаменте с лошади, но к счастью для него, она только слегка задела кожу. Ароканцы, озлобленные неожиданным нападением, в первом пароксизме гнева поклялись отомстить. Это намерение поставило авантюристов в критическое положение.

Бустаменте унесли с поля битвы совершенно без сознания и спрятали в лесу вместе с Красавицей. Дон Панчо, немедленно перевязанный, скоро пришел в себя. Первым его движением было узнать, где он и осведомиться что случилось. Антинагюэль объяснил ему все.

— Как теперь поступит брат мой? — спросил его генерал.

— Я дал слово Великому Орлу и сдержу его, — отвечал токи, — пусть отец мой исполнит то, что обещал мне.

— У меня не двойной язык, — возразил Бустаменте, — когда я снова получу власть, я отдам ароканскому народу прежде принадлежавшие ему земли.

— Что же прикажет отец мой? Я буду повиноваться... — вскричал Антинагюэль.

Гордая и презрительная улыбка сжала губы генерала; он понял, что не все еще кончилось для него и приготовился смело сыграть последнюю партию, от которой зависело его счастье или погибель.

— Где мы? — спросил он.

— Подстерегаем бледнолицых, которые так славно приветствовали нас при въезде нашем в долину.

— Что же намерен делать брат мой?

— Захватить их, — отвечал Антинагюэль, — они должны умереть.

При этих последних словах токи поклонился Бустаменте и ушел. После его ухода дон Панчо погрузился в мрачную задумчивость. Он очень хорошо видел, что упорное желание окасов уничтожить горсть авантюристов, — сопротивление которых будет без сомнения продолжительно, — могло расстроить замышляемые им планы, дав Мрачным Сердцам время подготовиться к новой борьбе.

Для успеха его намерений скорость была необходимым условием, поэтому он проклинал гордость индейцев, которая заставляла их жертвовать такими важными вопросами для пустого предприятия, не имеющего никакой цели кроме смерти нескольких человек. Печально опустив голову, Бустаменте был погружен в эти размышления, как вдруг кто-то дернул его за платье. Он обернулся с удивлением и едва удержался, чтобы не вскрикнуть от ужаса.

Перед ним стояла донна Мария в разодранном платье, запачканном кровью и грязью, с лицом, обернутым окровавленными компрессами.

Куртизанка угадала впечатление, произведенное ею на человека, который до сих пор повиновался ее малейшим прихотям; она поняла, что вместе с красотой исчезла и любовь; горькая улыбка сжала ее губы.

— Я вас пугаю, дон Панчо! — сказала она медленно невыразимо печальным тоном.

— Сеньора! — с живостью вскричал Бустаменте.

— Не унижайтесь до лжи, недостойной вас и меня, — перебила донна Мария. — Что в этом удивительного? Всегда так бывает!

— Сеньора, поверьте...

— Вы не любите меня более, говорю я вам, дон Панчо; теперь я стала безобразна... впрочем, разве я не всем пожертвовала ради вас? У меня оставалась только моя красота, и я отдала вам ее с радостью.

— Я не буду отвечать на упреки, которые вы делаете мне; я надеюсь доказать моими поступками, что...

— Генерал! — запальчиво перебила Мария. — Оставим эти пошлости, которым не верим мы оба... Если любовь уже не может соединять нас, так пусть хоть ненависть поддержит связь между нами... у нас один общий враг.

— Дон Тадео! — вскричал Бустаменте с гневом.

— Да, дон Тадео, тот, который несколько дней тому назад осыпал нас такими унижениями.

— Но я теперь свободен! — вскричал Бустаменте страшным голосом.

— И этим обязаны мне, — сказала донна Мария значительно, — потому что все ваши подлые сообщники вас оставили.

— Да, это правда; вы одни остались мне верны.

— Таковы все женщины! Они не понимают никаких побочных чувств, стремятся ко всему прямой дорогой; они любят или ненавидят; но довольно об этом; вам надо поспешить воспользоваться вашей свободой; вы знаете искусство и холодную храбрость вашего врага. Если вы дадите ему время, он в несколько дней сделается колосом и станет на крепком гранитном пьедестале, которого вы не в состоянии будете опрокинуть.

— Да, — прошептал Бустаменте, как бы говоря сам с собой, — я это знаю, я это чувствую! Медлить — значит все потерять! Но что же я должен делать?

— Во-первых, не отчаиваться и наблюдать за всем, что будет происходить здесь. О! — прибавила донна Мария, наклонив голову вперед. — Слышите ли вы этот шум? Может быть, это помощь, которой мы ждем.

В лесу сделалось большое движение: это ароканы брали в плен конвой донна Рамона.

Явился Антиагюэль, ведя за собой человека, которого и Бустаменте, и донна Мария тотчас узнали. Этот человек был дон Рамон Сандиас. Приметив Красавицу, он вздрогнул от ужаса, и если бы Антиагюэль не удержал его, он убежал бы, рискуя быть убитым индейцами.

— Негодяй! — вскричал Бустаменте, сжимая ему горло.

— Остановитесь! — вскричала Красавица, освобождая сенатора, который был ни жив, ни мертв.

— Как? Вы защищаете этого человека? — вскричал Бустаменте вне себя от удивления. — Разве вы не знаете

кто он? Не только он недостойно изменил мне вместе со своим сообщником Корнейю, но еще нанес вам эту ужасную рану.

— Я знаю все это, — отвечала донна Мария с улыбкой, которая заставила бедного сенатора задрожать и подумать, что настал его последний час, — но вера наша повелевает забывать и прощать обиды; я забываю все и прощаю дону Рамону Сандиасу; надеюсь, что и вы, дон Панчо, поступите так же как я.

— Но...

— Вы должны сделать тоже, что и я, — перебила донна Мария настойчиво, бросив значительный взгляд на генерала.

Бустаменте понял, что Красавица имела какой-нибудь тайный умысел и поспешил сказать:

— Хорошо, если вы этого желаете, донна Мария, я прощаю как вы; вот вам моя рука, дон Рамон, — прибавил он, протягивая свою руку сенатору.

Дон Рамон решительно не знал, должен ли он верить своим ушам, но на всякий случай с поспешностью схватил протянутую ему руку и пожал ее изо всех сил. Антинагюэль презрительно улыбнулся при странной развязке этой сцены, которой он не понял, несмотря на всю свою проницательность.

— Я вижу, что дело кончилось иначе, нежели я ожидал, — сказал он, — и потому оставляю вас... кажется, бесполезно связывать этого пленника.

— Совершенно бесполезно, — подтвердил дон Панчо.

Антинагюэль ушел. Оставшись только с Красавицей и Бустаменте, дон Рамон в порыве признательности бросился к ним и вскричал с энтузиазмом:

— О! Мои спасители!

— Пойдите, кабальеро! — вскричал дон Панчо. — Теперь нам надо объясниться.

Сенатор остановился в ошеломенности.

— Неужели, дон Рамон, вы полагали, — сказала Красавица, — что такой пошлый плут как вы, может внушить нам малейшую жалость?

— Дело в том, — прибавил Бустаменте, — что нам хотелось одним распорядиться вами...

— Вы сознаетесь, не правда ли, — продолжала Красавица, — что вы в нашей власти и что если мы захотим убить вас, так это для нас очень легко?

Сенатор был раздавлен.

— Теперь, — прибавил Бустаменте, — отвечайте категорически на все вопросы, которые вам сделают; я должен предупредить вас, что ложь будет стоить вам жизни.

Новый трепет пробежал по членам сенатора. Бустаменте продолжал:

— Как вы очутились здесь?

— О! Очень просто, генерал; на меня напали индейцы.

— Куда вы ехали?

— В Сантьяго.

— Один?

— Нет, черт побери! — вскричал сенатор. — У меня был конвой в пятьдесят всадников... Но, увы! — прибавил он со вздохом. — Этого оказалось недостаточно.

При слове «конвой», Бустаменте и Красавица переглянулись. Дон Панчо продолжал допрос.

— Зачем вы ехали в Сантьяго?

— Затем, что политика мне надоела; я имел намерение удалиться на мою ферму жить в своей семье.

— У вас не было другой цели? — спросил Бустаменте.

— Нет.

— Точно?

— Точно... Ах! Постойте, вспомнил... мне было дано поручение...

— Ну, вот видите!

— О! Боже мой! Я забыл про него, уверяю вас.

— Гм! Какое же это поручение?

— Не знаю.

— Как не знаете?

— Право не знаю; мне дали депешу.

— Покажите ее мне...

— Вот она!

Бустаменте схватил депешу, сорвал печать и быстро пробежал бумагу глазами.

— Ба! — сказал он, комкая ее между сжатыми пальцами. — В этой депеше нет никакого смысла, она вроде тех, которые поручаются людям вашего сорта.

Сенатор притворился, будто принимает эту фразу за комплемент.

— Я сам тоже думал, — сказал он с улыбкой, которая имела притязание быть приятной, но страх, искрививший его черты, делал из нее отвратительную гримасу.

Услышав нелепый ответ дона Рамона, Бустаменте не мог удержаться и громко расхохотался; сенатор поспешил принять участие в смехе генерала, сам не зная почему. Донна Мария прекратила эту веселость, заговорив:

— Дон Панчо, ступайте к Антинагюэлю; необходимо, чтобы завтра на рассвете он потребовал свидания у авантюристов, которые засели как совы на вершине скалы.

— Но если он откажет? — заметил удивленный Бустаменте.

— Он должен согласиться; постарайтесь его убедить.

— Попробую.

— Надо успеть во что бы то ни стало.

— Я успею, если вы требуете.

— Во время вашего отсутствия я поговорю с этим человеком.

— Говорите, я уйду.

Трудно сказать к чему прибегнул Бустаменте для того, чтобы заставить токи повести переговоры с осужденными; но дело кончилось тем, что он успел в своем предприятии.

Когда он возвратился к донне Марии, разговор ее с сенатором уже был кончен. Генерал услышал только как она сказала сардоническим голосом:

— Устройте же все это как можете, любезный дон Рамон; если вы не сумеете, я отдам вас индейцам, и они сожгут вас живого.

— Гм! — прошептал дон Рамон с испугом. — Если они узнают, что это сделал я, что тогда будет со мной.

— Вы будете сожжены.

— Черт побери! Черт побери! Перспектива не совсем приятная; неужели вы не можете дать это поручение кому-нибудь другому?

Донна Мария лукаво улыбнулась и сказала:

— Успокойтесь, я буду вашей сообщницей; я вам помогу.

— О! Когда так, — сказал сенатор с радостью, — я заранее уверен в успехе.

Красавица сдержала слово: она помогла дону Рамону исполнить смелый план, задуманный ею. Дон Панчо остерегался расспрашивать куртизанку; он знал, что она трудится для него и потому был на этот счет совершенно спокоен. Он ожидал терпеливо, когда она сама сочтет нужным рассказать ему все.

Капитуляция

Вернемся в хижину совета, куда граф де Пребуа Крансэ был введен генералом Бустаменте. Дон Панчо имел слишком много личного мужества, чтобы не любить и не ценить это качество в другом. Гордая и надменная поза молодого человека ему понравилась. Поэтому после довольно грубого ответа Луи, дон Панчо вместо того чтобы сердиться на него сказал ему, поклонившись:

— Ваше замечание совершенно справедливо, господин...

— Граф де Пребуа Крансэ, — подсказал француз, кланяясь.

В Америке дворянства не существует, а потому титулы там неизвестны. Однако ж нет на свете другой страны, в которой это дворянство и эти титулы пользовались бы таким почетом! На графа и на маркиза там смотрят как на людей высшего сорта. То, что мы сказали, относится не к одной Южной Америке, где на основании прежних законов, утверждающих, что всякий кастеланец благороден, потомки испанцев могли бы по справедливости иметь притязание на дворянство. В Соединенных Штатах в особенности влияние титулов царствует во всей своей силе.

Бессмертный Фенимор Купер еще прежде нас сделал это замечание в одном из своих романов. Он рассказывает, какой эффект произвело одно из его действующих лиц — американец по происхождению, который, эмигрировав в Англию во время революции, вернулся оттуда с титулом *баронета*. Эффект этот был огромный, и Купер

наивно прибавляет, что достойные янки в полном смысле слова гордились своим соотечественником-баронетом.

Откуда может происходить эта аномалия у таких *свирепых* республиканцев как американцы? Мы откровенно признаемся в нашем неведении и предоставляем другим, более посвященным в таинства человеческого сердца, старание разрешить этот трудный вопрос.

Бустаменте и дон Рамон глядели на молодого человека с симпатическим любопытством. Через минуту дон Панчо сказал:

— Прежде всего другой вопрос: позвольте мне, граф, спросить вас, каким это образом вы могли очутиться между людьми, которых мы осаждаем?

— По самой простой причине, — отвечал Луи, — я путешествую с несколькими друзьями и многими слугами; вчера шум битвы долетел до нас; между тем несколько испанских солдат прибежали укрыться на ту самую скалу, где я сам искал убежища, вовсе не желая попасть в руки победителей, если бы победителями были ароканы, люди, как говорят, свирепые. Битва, начавшаяся в ущелье, продолжалась в долине; солдаты, слушаясь только своего мужества, выстрелили в неприятеля; и это-то неблагоразумие было для нас так губительно; мы были замечены.

Бустаменте и сенатор понимали как нельзя лучше, что думать о справедливости этого рассказа, но как люди светские сделали вид, будто поверили ему. Притом, Луи говорил с такой непринужденностью, с такой самоуверенностью, что они слушали его, улыбаясь. Антинагюэль и Черный Олень поверили всему буквально.

— Итак, граф, — спросил Бустаменте, — вы начальник гарнизона?

— Я, господин...

— Генерал дон Панчо Бустаменте.

— Ах! Извините, — сказал Луи с удивленным видом, хотя очень хорошо знал к кому он обращался, — я не знал, генерал.

Дон Панчо улыбнулся с гордостью.

— А велик ли ваш гарнизон? — продолжал он.

— С меня довольно, — небрежно отвечал граф.

— Человек в тридцать? — спросил Бустаменте вкрадчивым тоном.

— Да, почти, — самоуверенно отвечал граф.

Бустаменте встал.

— Как, граф? — вскричал он с притворным гневом. — С тридцатью человеками вы хотите сопротивляться пятистам ароканским воинам, окружающим вас?

— Почему бы и нет? — холодно отвечал молодой человек.

Голос француза был так тверд, взор его бросал такие молнии, что присутствующие задрожали от восторга.

— Но это безумство, — продолжал Бустаменте.

— Нет, это мужество, — отвечал граф. — Все вы, слушающие меня, люди неустрашимые; поэтому слова мои не должны удивлять вас; на моем месте, вы сами поступили бы так же!

— Да! — сказал Антинагюэль. — Брат мой говорит хорошо; это великий вождь между воинами своего народа; окасы будут гордиться победой над ним.

Бустаменте нахмурил брови; свидание принимало направление, не нравившееся ему.

— Попробуйте, вождь, — возразил молодой человек с гордостью, — но скала, укрывающая нас, высока, и мы решились скорее умереть, нежели сдаться.

— Все это одно недоразумение, граф, — сказал Бустаменте примиряющим тоном. — Франция не в войне с Чили, насколько мне известно!

— Я должен в этом признаться, — отвечал Луи.

— Стало быть, как мне кажется, нам гораздо легче условиться нежели вы предполагаете.

— Я вам скажу откровенно, что я приехал в Америку путешествовать, а не драться, и что если бы я мог избежать того, что случилось вчера, я сделал бы это охотно.

— В таком случае постараемся как-нибудь окончить нашу распрю.

— Я только этого и желаю.

— И я тоже, — отвечал Бустаменте, — а вы, вождь? — спросил он Антинагюэля.

— Что брат мой сделает, то будет хорошо.

— Тем лучше! — возразил Бустаменте. — Вотковы мои условия: вы, граф, со всеми французами, сопровождающими вас, имеете право удалиться куда заблагорассудите; но чилийцы и окасы, которые находятся между вами, немедленно должны быть нам выданы.

Граф нахмурил брови, встал и, поклонившись присутствующим с величайшей вежливостью, вышел из хижи-

ны. Бустаменте и индейцы переглянулись с удивлением, потом бросились за молодым человеком.

Луи медленными и тихими шагами шел по скале, Бустаменте догнал его неподалеку от укреплений.

— Куда идете вы, граф? — сказал он ему. — Зачем вы ушли так внезапно, не удостоив нас ответом?

Молодой человек остановился.

— Генерал, — отвечал он резким голосом, — после подобного предложения, всякий ответ бесполезен.

— Мне кажется, однако... — возразил дон Панчо.

— Фи, генерал! Не настаивайте, я вернусь к моим товарищам; знайте, что все люди, находящиеся со мной, пользуются моим покровительством; бросить их — значило бы совершить предательство; я убежден, что эти два вождя окасские, слушающие нас, понимают, что я должен прервать все переговоры.

— Брат мой говорит хорошо, — отвечал Антинагюэль, — но воины наши были убиты, пролитая кровь должна быть отомщена.

— Справедливо, — заметил молодой человек, — поэтому я и удаляюсь; честь запрещает мне оставаться здесь долее и слушать предложения, которых я не могу принять.

Говоря таким образом, граф продолжал идти; Бустаменте и индейцы следовали за ним. Они незаметно вышли из лагеря и находились уже недалеко от цитадели.

— Одноко ж, граф, — сказал Бустаменте, — вам не следовало бы отказываться так решительно; не мешало бы по крайней мере уведомить ваших товарищей.

— Вы правы, генерал, — сказал Луи с насмешливой улыбкой.

Он вынул записную книжку, написал несколько слов, вырвал листок и сложил его вчетверо.

— Вы теперь же будете удовлетворены, — продолжал он и, приложив руки к губам в виде рупора, громко закричал, — спустите аркан!

Почти немедленно длинная кожаная веревка спустилась со скалы, граф поднял камень, завернул его в листок бумаги и привязал к концу аркана, который опять поднялся кверху. Молодой человек скрестил руки на груди и сказал:

— Вы скоро получите ответ.

В эту минуту в лагере окасов произошло вдруг какое-то волнение: оттуда прибежал, запыхавшись, индеец и

шепнул Антинагюэлю несколько слов, которые очевидно сильно его расстроили. Бустаменте разменялся с доном Рамоном значительным взглядом.

Вдруг подвижные укрепления на вершине скалы раздвинулись как бы по волшебству, и платформа оказалась покрытой значительным числом чилийских солдат, вооруженных ружьями; чуть впереди стоял Валентин со своей собакой Цезарем.

Только дон Тадео и два чилийских вождя оставались невидимы. Валентин небрежно опирался на ружье. Граф не знал, верить ли ему своим глазам и тщетно спрашивал себя, где его друзья набрали столько солдат. Однако ж на лице его не обнаруживалось никаких следов удивления; он спокойно обернулся к Бустаменте и сказал ему с насмешливой улыбкой.

— Видите, генерал, что ответ не заставил ждать себя: слушайте, пожалуйста.

— Граф, — вскричал Валентин голосом, раздавшимся как гром, — от имени ваших товарищей, которые уполномочили меня отвечать вам, я говорю, что вы прекрасно поступили, отвергнув постыдные предложения, сделанные вам; нас здесь полтора человека, решившихся скорее погибнуть, нежели признать их.

Число полтора произвело большой эффект на ароканских вождей. Они уже и без того достаточно были расстроены известием о том, что чилийские пленники успели убежать из лагеря с оружием и багажом и присоединились к осажденным.

Нужно ли объяснять, что побег пленных был устроен донной Марией и сенатором. Вот какой план придумала она, чтобы принудить ароканов снять осаду; план этот, подобно многим другим, составляемым этой женщиной-демоном, должен был удасться по самой своей смелости.

Если, представляя свой жалкий гарнизон, составленный из трех человек, Луи говорил так надменно, то разумеется он не был расположен изменять свой тон теперь, когда фортуна так явно ему улыбалась.

— Вы видите, — сказал он вождям, — мои товарищи одного мнения со мной.

— Чего же хочет брат мой? — спросил Антинагюэль.

— О! Боже мой, очень немного, — отвечал молодой человек, — я просто хочу уйти; я не честолобив и притом мы все люди храбрые; зачем же нам резаться без

причины? Это было бы смешно. Вернитесь в ваши укрепления и дайте мне честное слово, что не выйдете оттуда прежде трех часов; в это время я очищу с моим отрядом занимаемый мною пост и удалюсь с оружием и багажом, не спускаясь в долину. Как только я уйду, вы снимете лагерь и отправитесь восвояси, не стараясь догнать меня. Согласны ли вы на эти условия?

Антинагюэль, Черный Олень и Бустаменте несколько секунд совещались шепотом.

— Мы согласны, — сказал наконец Антинагюэль, — мой бледнолицый брат имеет великое сердце; он и его воины могут удалиться куда хотят.

— Хорошо, — сказал граф, сжимая руку, которую протянул к нему токи, — вы храбрый воин и я благодарю вас; но я еще имею к вам одну просьбу, вождь

— Пусть брат мой объяснится, и если я могу исполнить его желание, то сделаю все... — отвечал Антинагюэль.

— Не делайте вещей вполовину, вождь, — продолжал молодой человек с чувством, — вчера вы захватили в плен нескольких испанцев; возвратите их мне.

— Эти пленники свободны, — отвечал токи с принужденной улыбкой, — они уже присоединились к своим братьям на скале.

Луи понял тогда, отчего так неожиданно увеличился его гарнизон.

— Стало быть, теперь мне остается только удалиться? — сказал Луи.

— Извините! Извините! — вскричал вдруг сенатор, желая воспользоваться случаем и убраться подальше от донны Марии и Бустаменте, общество которых не весьма ему нравилось. — Я тоже был в числе этих пленников.

— Это справедливо, — заметил дон Панчо, — что решит брат мой? — прибавил он, обращаясь к Антинагюэлю.

— Хорошо, пусть этот человек идет, — отвечал Антинагюэль, пожав плечами.

Дон Рамон не заставил ждать себя и поспешно пошел за графом. Луи, вежливо поклонившись Бустаменте и индейским вождям, возвратился в укрепление, где товарищи ожидали его с беспокойством.

Приготовления к отъезду были непродолжительны. Особенно сенатор торопился, так он боялся снова попасть в руки тех, от которых избавился почти чудом.

Если донна Мария и Бустаменте подозревали, что человек, которого они ненавидели и против которого соединились, находился в числе тех, кого они так горячо трудились спасти, какова была бы их досада.

Через несколько часов места, в которых еще так недавно раздавались крики сражающихся, снова впали в безмолвие, нарушаемое иногда только полетом коршуна или быстрым бегом серны. Чилийцы и ароканы исчезли.

Призыв

Была ночь. Валентин и его товарищи все шли.

Как только позиция, так решительно защищаемая, была оставлена, парижанин немедленно принял командование над отрядом. Эта перемена совершилась внезапно, но спокойно, без всяких требований со стороны его товарищей. Все инстинктивно признавали в нем превосходство, которого не знал только он один.

Со времени приезда своего в Америку, Валентин очутился брошенным в жизнь, диаметрально противоположную той, которую он вел до сих пор. Возможности его умножились, развился его ум. Одаренный душой энергической, сердцем горячим, молодой человек был скор на решения, тверд и властен, поэтому-то без ведома своего имел он над всеми его окружавшими то влияние, в котором они не отдавали себе ответа, но которому покорялись невольно.

Луи де Пребуа-Крансэ первый испытал это влияние; сначала он несколько раз старался противиться ему, но скоро принужден был мысленно сознаться в нравственном превосходстве своего друга и наконец уступил.

Ароканы верно исполнили условия: чилийцы спокойно удалились, не приметив ни одного неприятеля. Они шли по дороге в Вальдивию. Между тем, как мы уже сказали, настала ночь: темнота, покрывавшая землю, окутывала все, так что дороги были совершенно не видно. Утомленные лошади едва подвигались, спотыкаясь на каждом шагу.

Валентин справедливо опасался заблудиться. Добравшись кое-как до берега реки, где за несколько дней перед тем происходило возобновление договоров, он остановился на ночь. Молодой человек не хотел в такое позднее время переправляться на другой берег, тем более, что река, обыкновенно походившая скорее на чистый и прозрачный ручей, тихо протекавший по долине, в настоящую минуту, увеличившись от дождей и растаявшего горного снега, с шумом катила свои бурные и мутные воды.

Время от времени холодный ветер потрясал поблекшие листья ив, луна исчезла за облаками, и небо приняло свинцовый оттенок, зловещий и угрожающий. В воздухе пахло грозой. Благоразумие требовало остановиться и искать убежища, а не ехать впотьмах, тем более, что мрак ночи увеличивался с каждой минутой. Приказание остановиться было принято с криками радости товарищами Валентина, и каждый из них поспешил сделать все нужные приготовления, чтобы провести ночь.

Привыкнув к кочевой жизни, американцы чаще спят под открытым небом нежели под крышей и потому никогда не затрудняются, каким образом устроить себе убежище.

Прежде всего разложили огромный костер, чтобы отпугнуть диких зверей и согреться, шалаши из переплетенных ветвей появились как бы по волшебству.

Путники вынули из широких полосатых холстинных мешков шаркэ и поджаренную муку, которые должны были составлять их ужин, всегда короткий для людей, утомленных продолжительным переходом; сон их первая потребность. Через некоторое время, кроме часовых, охранявших общую безопасность, все солдаты спали. Только семь человек, сидевших вокруг огромного костра, который горел посреди лагеря, курили и разговаривали между собой. Читатель, конечно, уже узнал этих людей.

— Друзья мои, — сказал Валентин, вынимая сигару изо рта и следуя глазами за легкой струей синеватого дыма, которую он выпустил, — мы недалеко от Вальдивии.

— За десять миль, — отвечал Жоан.

— Я думаю, — продолжал Валентин, — что прежде чем мы предадимся отдыху, в котором все так нуждаемся, нам не худо было бы условиться в наших действиях.

Все наклонили головы в знак согласия. Валентин продолжал:

— Нам не нужно напоминать причину, которая заставила нас несколько дней тому назад оставить Вальдивию; эта причина становится с каждой минутой важнее и важнее; откладывать долее наши поиски — значит делать труднее нашу обязанность; условимся же хорошенько, для того, чтобы, приняв какое-либо намерение, мы могли исполнить его, не колеблясь и со всей возможной быстротой.

— К чему рассуждать, друг мой? — с живостью заметил дон Тадео. — Завтра на рассвете мы отправимся в горы, а солдат отпустим в Вальдивию под командой дона Рамона, тем более, что теперь нам нечего бояться.

— Это решено, — сказал сенатор, — мы все хорошо вооружены, и несколько миль, остающихся нам для перехода, не представляют по-видимому никакой серьезной опасности; завтра на рассвете мы расстанемся с вами и предоставим вам свободу заниматься вашими делами, поблагодарив вас за оказанную нам услугу.

— Теперь я спрошу друзей наших ароканов, — продолжал Валентин, — все ли еще намерены они следовать за нами или предпочитают возвратиться в свои селения.

— Зачем брат мой делает этот вопрос? — отвечал Трангуаль Ланек. — Разве он желает, чтобы мы уехали?

— Я был бы в отчаянии, если бы вы так растолковали мои слова, вождь; напротив, я всего более желаю, чтобы вы остались с нами.

— Пусть же брат мой объяснится, чтобы мы его поняли.

— Я сейчас это сделаю. Вот уже давно мои братья оставили свою деревню; они могут иметь желание увидеть своих жен и детей; с другой стороны, случай принуждает нас сражаться с их соотечественниками, а я очень хорошо понимаю — какое отвращение в подобных обстоятельствах должны испытывать мои братья; задавая им подобный вопрос, я только хотел снять с них всякое обязательство в отношении к нам и предоставить им свободу действовать, как велит им сердце.

— Брат мой говорит хорошо, — отвечал Трангуаль Ланек, — это душа благородная; в его речах всегда видно его великое сердце, потому голос его раздастся в ушах моих как мелодическое пение, я счастлив, когда его слышу. Трангуаль Ланек один из вождей своего народа; он благоразумен, он всегда поступает хорошо. Ан-

тинагюэль не друг его; Трангуаль Ланек последует за своим бледнолицым братом повсюду, куда он захочет; я сказал все.

— Благодарю, вождь; я ожидал вашего ответа; однако ж моя честь заставляла меня сделать вам этот вопрос.

— Хорошо, — сказал Курумилла, — брат мой более не будет говорить об этом?

— Право нет, — весело сказал Валентин, — я очень рад, что счастливо окончил это дело, которое, признаюсь, внутренне очень меня мучило; теперь, я думаю, нам было бы не худо соснуть.

Все встали. Вдруг Цезарь, спокойно лежащий у огня, начал бешено лаять.

— Что еще случилось? — сказал Валентин.

Все с беспокойством начали прислушиваться, отыскивая оружие по инстинктивному движению. Довольно сильный шум, быстро увеличивавшийся, послышался недалеко.

— К оружию! — скомандовал Валентин тихим голосом. — Здесь со всех сторон дует ветер; не знаешь, с кем можешь иметь дело; поэтому лучше остерегаться.

В несколько секунд весь лагерь пробудился; солдаты приготовились принять незваного гостя.

Шум слышался все ближе и ближе; уже черные фигуры начинали неопределенно обрисовываться в темноте.

— Кто идет? — закричал часовой.

— Чилийцы! — отвечал твердый голос.

— Какие люди? — продолжал солдат.

— Люди мирные, — опять сказал голос, немедленно прибавивший, — дон Грегорио Перальта.

При этом имени все ружья опустились.

— Милости просим! Милости просим! — закричал Валентин. — Дон Грегорио, пожалуйста к вашим друзьям.

— Как я рад, что случай свел меня с вами так скоро! — отвечал с живостью дон Грегорио, пожимая руки, которые со всех сторон протягивали к нему друзья.

За доном Грегорио человек тридцать всадников въехали в лагерь.

— Так скоро? Что значат ваши слова? — спросил дон Тадео. — Разве вы нас искали, любезный друг?

— Я нарочно для вас выехал из Вальдивии несколько часов тому назад.

— Я вас не понимаю, — отвечал дон Тадео.

Дон Грегорио сделал знак дону Тадео и двум французам следовать за ним и отошел на несколько шагов, чтобы никто, кроме его трех друзей, не мог слышать, что он скажет.

— Вы меня спрашивали зачем я вас искал, дон Тадео? — продолжал он. — Я вам скажу: меня прислали к вам наши братья Мрачные Сердца, которых вы вождь и король; они поручили мне сказать вам, когда я вас встречу: «Король Мрака, Чили в опасности! Один человек может спасти его, этот человек вы! Откажетесь ли вы принести себя в жертву для него?»

Дон Тадео не отвечал и склонил голову к земле; он, казалось, был сильно огорчен.

— Послушайте, дон Тадео, какую весть я принес вам, — с важностью продолжал дон Грегорио, — Бустаменте убежал!

— Я это знал! — слабо прошептал дон Тадео.

— Да, но вы не знаете, что этот негодяй успел привлечь на свою сторону ароканов; через неделю грозная армия этих свирепых воинов под начальством самого Антинагюэля и Бустаменте нападет на наши границы.

— Эти известия... — возразил дон Тадео.

— Верны, — с живостью перебил дон Грегорио, — верный шпион принес нам их.

— Вспомните, друг мой, что я передал всю власть в ваши руки, и уже не значу ничего.

— Когда вы отказались от власти, дон Тадео, враг был побежден, в плену; но теперь все переменилось; опасность угрожает больше прежнего, Чили зовет вас, останетесь ли вы глухи к голосу отечества?

— Друг, — отвечал дон Тадео глубоко грустным тоном, — меня зовет также другой голос, голос моей дочери... Я хочу спасти ее.

— Спасение отечества должно стоять впереди семейных привязанностей! Король Мрака, вспомните вашу клятву! — сурово сказал дон Грегорио.

— Но моя дочь! Мое бедное дитя! Единственное мое счастье! — вскричал дон Тадео голосом, полным слез.

— Вспомните ваши клятвы, Король Мрака! — повторил дон Грегорио мрачно. — Ваши братья ждут вас.

— О! — вскричал несчастный голосом, хриплым и прерывавшимся от горести. — Неужели вы не сжалитесь над отцом, умоляющим вас!

— Хорошо! — отвечал дон Грегорио с горечью, делая шаг назад. — Я удаляюсь, дон Тадео; десять лет мы сражались вместе и всем жертвовали для дела, которому вы нынче изменяете; пусть будет так... мы сумеем умереть за отечество, которое вы бросаете. Прощайте, дон Тадео, чилийский народ падет, но вы найдете вашу дочь и преклоните голову под проклятиями ваших братьев! Прощайте, не знаю вас более!

— Остановитесь! — отвечал дон Тадео. — Откажитесь от этих ужасных слов. Вы хотите? Хорошо! Я умру с вами! Поедем! Поедем!.. Дочь моя! Дочь моя! — прибавил он раздирающим душу голосом. — Прости мне!

— О! Я снова нахожу моего брата! — вскричал с радостью дон Грегорио, сжимая в объятиях дон Тадео. — Нет, с таким сподвижником Чили не может погибнуть.

— Дон Тадео! — вскричал Валентин. — Ступайте туда, куда призывает вас долг; клянусь, что мы возвратим вам дочь.

— Да, — сказал граф, пожимая руку, — хотя бы нам пришлось погибнуть!

Дон Грегорио не хотел провести ночь в лагере; каждый всадник взял к себе на лошадь пехотинца, и через час все они поскакали по дороге в Вальдивию.

— Дочь моя! Дочь моя! — закричал в последний раз дон Тадео.

— Мы ее спасем! — отвечали французы.

Скоро отряд чилийцев исчез в темноте. В лагере остались только Валентин, Луи, Курумилла, Жоан и Трангуаль Ланек.

— Бедный человек! — сказал со вздохом Валентин, смотря вслед дону Тадео. — Отдохнем несколько минут, — прибавил он, обращаясь к своим товарищам, — завтрашний день будет тяжел.

Пять авантюристов завернулись в свои плащи, легли у огня и заснули под защитой Цезаря, бдительного часового, который не даст напасть на себя врасплох.

Совет

К полуночи началась гроза. Темнота была глубокая; время от времени ослепительная молния освещала пространство тем мимолетным блеском, который придает предметам фантастический вид. Деревья, потрясаемые ветром, который ревел с бешенством, сгибались как тростинки под напором бури; глухой звук грома смешивался с рокотом реки, разливавшейся по долине.

Небо походило на гигантский лист свинца, а дождь падал так сильно, что путешественники, несмотря на все свои усилия, не могли укрыться от него; их бивуачный огонь погас, и до рассвета они зябли под ураганом соединенных стихий, которые неистовствовали вокруг них.

К утру ураган несколько утих, и с восхождением солнца все исчезло. Тогда-то пять авантюристов могли заметить опустошения, причиненные ужасным наводнением. Деревья были переломаны, некоторые из них, вырванные с корнем бурей, валялись на земле. Луг превратился в широкое болото. Река, накануне еще столь спокойная, столь светлая, столь безвредная, все поглотила, катя грозные волны, покрывая траву и вырывая глубокие овраги.

Валентин обрадовался, что вечером расположил свой лагерь по склону горы, а не спустился в долину; если бы он поступил не так, может быть, он и его товарищи были бы поглощены бешеными волнами, когда река вышла из берегов.

Первой заботой путешественников было развести огонь, чтобы высушиться и приготовить обед, но сделать

это на мокрой земле было невозможно. Поэтому Трангуаль Ланек отыскал сначала плоский и широкий камень, на который наложил сухих листьев и зажег их. Скоро столб яркого пламени поднялся к небу и оживил мужество закоченевших путешественников, которые приветствовали это пламя криком радости. Как только завтрак был окончен, они снова развеселились, забыли о страданиях ночи и вспоминали о прошлых бедствиях только затем, чтобы возбудить в себе мужество терпеливо переносить те бедствия, какие еще ожидали их.

Было семь часов утра. Присев возле костра, они курили молча; вдруг Валентин сказал:

— Напрасно мы отпустили дона Тадео.

— Почему же? — спросил Луи.

— Боже мой, мы были тогда под влиянием страшного впечатления и не подумали об одном, что мне пришлось в голову теперь.

— О чем?

— А вот о чем: как только дон Тадео исполнит обязанности доброго гражданина, он, без сомнения, немедленно откажется от власти, которую ему вручили.

— Очевидно.

— Какое будет тогда у него самое сильное желание?

— Разумеется, желание отыскивать свою дочь, — с живостью сказал Луи.

— Или присоединиться к нам.

— Это одно и то же.

— Согласен; но тут перед ним явится непреодолимое препятствие, которое остановит его.

— Какое?

— Проводник, который мог бы проводить его к нам.

— Это правда! — вскричали все четверо с ошеломлением.

— Как быть? — спросил Луи.

— К счастью, — продолжал Валентин, — еще не поздно поправить нашу забывчивость. Дону Тадео нужен человек, который был бы ему совершенно предан, знал бы вполне места, в каких мы намереваемся быть, и следовал бы за нами по следам как чуткая ищейка, не правда ли?

— Да, — сказал Трангуаль Ланек с утвердительным жестом.

— Этот человек Жоан! — продолжал Валентин.

— Это справедливо, — заметил индеец, — я буду проводником.

— Итак, Жоан оставит нас; я дам ему письмо, которое напишет Луи; в этом письме я уведомяю дону Тадео о поручении, за которое берется наш друг.

— Хорошо! — сказал Курумилла. — Наш друг думает обо всем; пусть дон Луи напишет письмо.

— Знаете ли, что мне пришло в голову? — весело вскричал Валентин. — Я рад, что не вчера, а только теперь, эта мысль мелькнула в уме моем.

— Отчего? — спросил Луи с удивлением.

— Оттого, что бедный дон Тадео очень обрадуется, получив от нас несколько слов, которые докажут ему, сколь близки нам его интересы.

— Да, конечно, — сказал граф.

— Не правда ли? Ну, пиши же, брат.

Граф не заставил его повторить и принялся за дело. Письмо, написанное на листке его записной книжки, скоро было готово. Жоан, со своей стороны, окончил приготовления к отъезду.

— Брат, — сказал Валентин, подавая ему записку, которую индеец спрятал под ленту, обвязывавшую его волосы, — мне нечего вам объяснять: вы воин опытный и человек с твердым сердцем, вы оставляете здесь друзей, в памяти которых вы всегда будете занимать достойное место.

— А я, — отвечал Жоан с улыбкой, которая осветила его воинственное лицо, — я оставляю здесь мое сердце и сумею найти его.

Храбрый индеец поклонился своим друзьям и быстро удалился. Скоро он бросился в реку и переплыл ее. На другом берегу он стряхнул с себя воду, сделал последний прощальный знак своим друзьям и исчез за пригорком.

— Славный малый! — прошептал Валентин, садясь к огню.

— Это воин, — заметил Трангуаль Ланек с гордостью.

— Теперь, вождь, — сказал солдат, — поговорим немножко, хотите?

— Я слушаю моего брата.

— Дело, предпринятое нами, трудно, я прибавлю даже, что оно было бы невозможно, если бы вас не было с нами; Луи и я, несмотря на все наше мужество, были бы принуждены отказаться от него, потому что в этой стра-

не глаза белого человека, как бы ни были они зорки, не могут руководить ими. Вы одни можете привести нас к цели; пусть один из вас сделается нашим вождем, мы будем повиноваться ему с радостью и пойдем куда он сочтет нужным вести нас; итак, вождь, между нами не должно быть ложной деликатности; вы и Курумилла по праву вожди экспедиции.

Трангуаль Ланек размышлял несколько минут, потом отвечал:

— Брат мой говорит хорошо, сердце его не имеет туч для его друзей; да, путь длинен и усыпан опасностями, но пусть наши бледнолицые братья вполне положатся на нас; мы выросли в пустыне, она не имеет для нас тайн, и мы сумеем избежать засад и сетей, которые будут расставлены нам врагами.

— Стало быть, это кончено, вождь, — сказал Валентин, — теперь нам остается только повиноваться.

— Именно, — заметил граф, — но условившись в этом к общему удовольствию, мы должны точно также подумать еще об одном предмете, не менее важном.

— О чем, брат? — спросил Валентин.

— Нам надо решить, в какую сторону мы отправимся и скоро ли?

— Немедленно, — отвечал Трангуаль Ланек, — только нам следует сначала условиться в образе действий, от которого мы уже не должны отступать во время всего путешествия.

— Вот это значит рассуждать благоразумно; объясните же нам, вождь, ваше мнение; чем больше голов, тем больше умов.

— Я думаю, — сказал Трангуаль Ланек, — что для отыскания следов бледнолицей девушки с лазоревыми глазами, мы должны возвратиться в Сан-Мигуэль и оттуда пуститься по следам воинов, которые увезли ее.

— Я сам то же думаю, — подтвердил Валентин, — я не знаю даже как мы могли бы поступить иначе.

Курумилла отрицательно покачал головой.

— Нет, — сказал он, — эти следы собьют нас и заставят потерять драгоценное время.

Оба француза взглянули на него с удивлением, между тем как Трангуаль Ланек продолжал курить с бесстрастным взором.

— Я вас не понимаю, вождь, — сказал Валентин.

Курумилла улыбнулся и отвечал:

— Пусть мои братья слушают; Антинагюэль вождь могущественный и страшный, это величайший из ароканских воинов; сердце его обширно как мир. Токи объявил войну бледнолицым; эту войну он сделает жестокой, потому что с ним мужчина и женщина испанские, которые для своих интересов побуждают его напасть на их страну. Антинагюэль соберет своих воинов, но не вернется в свою деревню; девушка с лазоревыми глазами была похищена женщиной с сердцем ехидны с целью заставить вождя решиться на эту войну, потому что Антинагюэль любит девушку с лазоревыми глазами. Я уже говорил моим братьям, что воля великого токи сжигает то, до чего он не может достигнуть; принужденный оставаться во главе воинов он прикажет, чтобы девушка была приведена к нему. Чтобы открыть следы самки, охотники идут по следам самца; чтобы найти след девушки с лазоревыми глазами, надо идти по следам Антинагюэля; тогда мы скоро узнаем, что оба следа связываются и смешиваются. Я сказал все... пусть братья мои обдумают мое предположение.

Курумилла замолчал и, опустив голову на грудь, ждал. Наступило довольно продолжительное молчание; его прервал граф.

— Право, я не знаю что думать; причины, выставленные вождем, кажутся мне до того справедливыми, что я спешу принять их.

— Да, — подтвердил Валентин, — я тоже думаю, что брат мой Курумилла прав; для нас очевидно, что Антинагюэль любит донну Розарио и что та отвратительная тварь, которую друг наш очень хорошо называет женщиной с сердцем ехидны, велела похитить несчастную девушку с целью выдать ее Антинагюэлю; что вы думаете об этом, вождь? — спросил он Трангуаль Ланека.

— Курумилла один из самых благоразумных ульменов своего народа, — отвечал Трангуаль Ланек, — он одарен мужеством ягуара и ловкостью лисицы; его мнение совершенно благоразумно; нам именно должно идти по следам Антинагюэля.

— Пойдем же по этим следам, — весело вскричал Валентин, — тем легче для нас, потому что они довольно широки...

Трангуаль Ланек покачал головой.

— Брат мой ошибается, — заметил он, — мы точно пойдем по следам Антинагюэля, но пойдем по-индейски.

— То есть?..

— По воздуху.

— Очень хорошо, — отвечал Валентин, остолбенев от этого лаконического объяснения, — я решительно ничего не понимаю.

Вождь не мог удержаться от улыбки при виде изумления, выразившегося на лице молодого человека.

— Видите, — сказал он снисходительно, — если мы будем рабски следовать позади токи, тогда как он уже опередил нас двумя днями и едет со своими воинами верхом, а мы должны идти пешком, то, несмотря на всю нашу поспешность, мы нагоним его очень не скоро и, может быть, слишком поздно.

— Это правда! — вскричал молодой человек. — Я об этом не подумал; как же бы нам достать лошадей?

— Нам их не нужно, — возразил индеец, — по горам пешком путешествовать скорее. Мы пойдем по следам Антинагюэля по прямой линии и каждый раз, как нам встретятся эти следы, мы будем идти по их направлению и не перестанем действовать таким образом до тех пор, пока не уверимся, что нашли следы бледнолицей девушки, тогда мы изменим нашу систему преследования, смотря по обстоятельствам.

— Да, — отвечал Валентин, — то, что вы говорите, кажется мне очень замысловатым; но уверены ли вы, что идя таким образом, мы не заблудимся, словом, не попадем на ложный путь.

— Пусть брат мой будет спокоен.

— О! Я совершенно спокоен, вождь; но скажите же мне в таком случае, когда вы думаете догнать того, кого мы преследуем?

— Послезавтра вечером мы будем около него.

— Как! Так скоро? Это невозможно.

— Пусть мой брат хорошенько обдумает то, что я ему скажу: между тем как наш враг, не подозревающий, что его преследуют, однакодвигающийся быстро, будет делать четыре мили по долине, мы будем делать восемь в горах.

— Вы мастер покорять пространство. Действуйте же как знаете, вождь, я вижу, что мы не можем иметь лучших проводников чем вы оба.

Трангуаль Ланек улыбнулся.

— Отправляемся же... — вскричал Валентин.

— Нет еще, — отвечал ульмен, указывая на своего товарища, который приготавливал индейскую обувь, — в пустыне все служит признаком... если случится, что те, кого мы преследуем, вздумают в свою очередь преследовать нас, ваши сапоги выдадут нас. Вы должны снять их; тогда ароканские вожди будут слепы, потому что как только увидят следы индейских воинов, они не догадаются.

Валентин, ничего не отвечая, сел на траву и снял сапоги; граф сделал то же самое.

— Теперь, — сказал, смеясь, парижанин, — как мне кажется их надо бросить в реку, чтобы враги не могли найти их.

— Пусть брат мой остережется, — серьезно отвечал Трангуаль Ланек, — сапоги надо спрятать; почему знать? Может быть после они пригодятся.

У молодых людей было по кожаной сумке, похожей на солдатскую, которую они носили на плечах. В этих сумках находились самые необходимые вещи — их плащи и одеяла. Не делая никакого замечания, они привязали сапоги к сумкам и повесили их на плечо.

Курумилла скоро окончил свою работу; он дал обоим французам обувь, похожую на его собственную. Они надели ее. Окончив все эти приготовления, авантюристы большими шагами отправились в горы в сопровождении Цезаря, составлявшего арьергард.

Хитрец против хитреца

Как только чилийцы очистили скалу, Антинагюэль, с сожалением выпустивший их, обернулся с досадой к Бустаменте и сказал:

— Я сделал все, чего желал брат мой; чего он хочет еще?

— Теперь ничего, вождь, кроме разве только того, что и нам тоже не мешало бы ехать отсюда; это кажется было бы лучше.

— Брат мой прав, мы бездействуем здесь.

— Это правда; но послушайте, так как теперь мы свободны в наших поступках, то я полагаю, мы можем отправиться в хижину совета, чтобы составить план кампании, если брат мой этого желает.

— Хорошо, — машинально отвечал токи, следуя взором, исполненным ненависти, за последними рядами чилийских солдат, которые в эту минуту исчезли за пригорком.

Бустаменте с решительностью положил руку на плечо Антинагюэля. Тот стремительно обернулся.

— Чего хочет бледнолицый отец мой? — сказал он сухо.

— Сказать вам вот что, вождь, — отвечал Бустаменте, — что значит отпустить тридцать человек, когда вы можете истребить тысячи? То, что вы сделали нынче — верх искусства; отослав этих солдат, вы как будто отказываетесь, чувствуя себя слишком слабым, от всякой надежды на мщение. Враги ваши не будут остерегаться и если

вы поступите благоразумно, вы сможете напасть на них прежде, чем они соберутся с силами сопротивляться вам.

Лоб Антинагюэля разгладил; его взор сделался менее свиреп.

— Да, — прошептал он, как бы говоря сам с собой, — слова моего брата справедливы; на войне часто надо бросать курицу, чтобы после взять лошадь; совет брата моего хорош, пойдем в хижину совета.

Антинагюэль и Бустаменте в сопровождении Черного Оленя вошли в хижину, где их ждала донна Мария.

— У того молодого человека, который приходил сюда от своих друзей, сердце великое, — сказал Антинагюэль, глядя на дону Панчо, когда они сели, — брат мой, конечно, знает его?

— Нет, — беззаботно ответил Бустаменте, — я видел его сегодня в первый раз; это один из тех иноземных бродяг, которые наводняют наши берега затем, чтобы грабить наши сокровища.

— Нет, этот молодой человек вождь; у него орлиный взор.

— Вы им интересуетесь?

— Да, как интересуешься храбрым человеком, когда видишь его в деле; я был бы рад встретить его еще раз.

— К несчастью, — сказал генерал с иронической улыбкой, — это невероятно; я думаю, бедняжка так перепугался, что поспешит оставить нашу страну.

— Кто знает? — сказал токи с задумчивым видом. — Пусть мой брат слушает; токи будет говорить, и пусть его слова запечатлеются в памяти моего брата.

— Я слушаю, — отвечал Бустаменте, удерживая движение нетерпения.

Антинагюэль продолжал бесстрастно:

— Пока тот молодой человек был здесь, пока он говорил, я рассматривал его; когда он думал, что брат мой его не видит, он бросал на него страшные взгляды: этот человек неумолимый враг.

Бустаменте пожал плечами и отвечал:

— Я его не знаю, говорю вам; вождь, да хотя бы даже он и был мой враг, что для меня значит этот бродяга? Он никогда не может сделать ничего против меня.

— Врага никогда не должно презирать, — нравоучительно заметил Антинагюэль, — ничтожные люди часто бывают опаснее других по причине самого их ничтоже-

ства. Но вернемся к предмету нашего собрания. Каковы теперь намерения моего брата?

— Выслушайте меня в свою очередь, вождь, — сказал Бустаменте, — мы связаны друг с другом общим интересом; без меня вы не можете сделать ничего, или почти ничего; сознаюсь, что и мне без вас невозможно действовать; но я убежден, что если мы будем взаимно помогать друг другу и помогать искренно, мы в несколько дней достигнем многого.

— Хорошо! Пусть брат мой объяснит свою мысль, — сказал Антинагюэль.

— Я не буду торговаться с вами, вождь; вот какое условие я предлагаю вам: помогите мне захватить власть, ускользнувшую от меня, дайте мне средства отомстить моим врагам, и я предоставляю вам навсегда в полное владение не только всю провинцию Вальдивию, но еще и Кончепчон до Талки, то есть я перережу Чили надвое и дам вам половину.

При этом великолепном предложении лицо Антинагюэля не обнаружило никакого волнения.

— Брат мой щедр, — сказал он, — он дает то, чего уже у него нет.

— Это правда, — отвечал Бустаменте с досадой, — но я снова завладею всем, если вы мне поможете, а без меня вы никогда не сможете иметь ничего.

Токи неприметно нахмурил брови; Бустаменте притворился, что не заметил этого, и продолжал:

— Вам остается согласиться или отказаться, вождь; время дорого, отвечайте же откровенно — соглашаетесь вы помочь мне или нет?

Вынужденный отвечать решительно Антинагюэль подумал с минуту, потом сказал, глядя в лицо Бустаменте:

— А кто поручится мне за исполнение обещания моего брата?

Бустаменте смутился, закусил губы, но тотчас оправился:

— Пусть брат мой скажет, какого поручительства он требует?

Улыбка неопisanного выражения сжала губы Антинагюэля. Он сделал знак Черному Оленю. Тот встал и вышел из хижины.

— Пусть брат мой подождет с минуту, — бесстрастно сказал токи.

Бустаменте поклонился молча. Минут через десять вошел Черный Олень. За ним шел окасский воин, который нес стол, наскоро сделанный из кусков дерева. На этот стол старый токи молча положил бумагу, перья и чернила. Увидев все эти принадлежности письма, Бустаменте задрожал; он был пойман.

Как и когда окасы успели достать эти различные предметы? Этого Бустаменте не мог угадать. Антинагюэль взял перо и, играя им, сказал:

— Бледнолицые очень учены, они знают более нас бедных несведущих индейцев; брату моему вероятно неизвестно, что я посещал белых и потому знаком со многими их обычаями, они обладают искусством излагать свои мысли на бумагу; пусть брат мой возьмет это перо и повторит мне тут, — прибавил он, указывая пальцем на белый лист, — то, что он сказал мне; тогда я сохраню его слова; ветер не унесет их, и если память изменит ему когда-нибудь, их будет легко найти; впрочем, то, о чем я прошу моего брата, не должно оскорблять его; бледнолицые всегда так действуют между собой.

Бустаменте схватил перо и обмакнул его в чернила.

— Если брат мой не доверяет моему слову, — сказал он обиженным тоном, — я готов сделать то, чего он желает.

— Брат мой дурно понял меня, — отвечали Антинагюэль, — я имею к нему величайшее доверие и вовсе не намерен оскорблять его; но я представитель моего народа... если когда-нибудь ульмены и апо-ульмены уталяманусов потребуют у меня отчета в крови их воинов, которая польется как вода в этой войне, то они одобряют мое поведение, когда я им покажу это письмо, на котором будет отмечено имя моего брата.

Дон Панчо увидал, что ему не остается никакой отговорки и понял, что теперь лучше мужественно покориться необходимости, тем более, что со временем, когда настанет минута сдержать данное обещание, ему конечно удастся найти предлог, чтобы уклониться от него. Поэтому, обратившись к Антинагюэлю, он сказал ему с улыбкой:

— Хорошо! Брат мой прав, я сделаю то, чего он желает.

Тот величаво поклонился. Бустаменте положил перед собой бумагу, быстро написал несколько строчек и подписал.

— Вот, вождь, — сказал он, подавая бумагу Антинагюэлю, — вот то, чего вы от меня хотели.

— Хорошо! — отвечал тот, взяв от него бумагу.

Он вертел и перевертывал ее во все стороны, как бы желая разгадать написанное; но все его усилия, разумеется, остались без успеха.

Дон Панчо и донна Мария внимательно следовали за ним глазами. Через минуту вождь сделал знак Черному Оленю. Тот вышел и почти тотчас же возвратился с двумя воинами, которые вели чилийского солдата. Бедняга не мог последовать за своими товарищами, когда те убежали, по причине довольно опасной раны на ноге; он был бледен и бросал вокруг себя испуганные взоры. Антинагюэль улыбнулся, увидев его.

— Умеешь ли ты объяснить то, что есть на этой бумаге? — сказал он суровым голосом.

— Что? — отвечал солдат, не понимавший этого вопроса, которого он совсем не ожидал.

Тогда Бустаменте заговорил:

— Вождь тебя спрашивает, умеешь ли ты читать?

— Умею, — пролепетал раненый.

— Хорошо, — сказал Антинагюэль, — возьми и объясни.

Он подал солдату бумагу. Тот взял ее машинально и долго вертел в руках. Было очевидно, что несчастный, обезумев от страха, не знал чего хотят от него. Бустаменте остановил жестом вождя, который приходил в нетерпение, и, снова обратившись к солдату, сказал ему:

— Друг мой, так как ты умеешь читать, пожалуйста, объясни нам что написано на этой бумаге. Не этого ли вы желаете, вождь? — прибавил он, обращаясь к токи.

Тот утвердительно кивнул головой. Солдат, страх которого несколько успокоился при дружеском тоне, каким Бустаменте говорил с ним, понял наконец чего ждали от него; он бросил глаза на бумагу и прочел — голосом трепещущим и прерывавшимся от остатка волнения — следующее:

«Я, нижеподписавшийся, дон Бустаменте, дивизионный генерал, бывший военный министр Чилийской республики, обязуюсь перед Антинагюэлем, великим токи ароканов, передать ему и его народу отныне навсегда, так чтобы никогда не мог оспаривать у них законного владения: 1) провинцию Вальдивию; 2) провинцию Кончепч-

он до города Талко. Эта земля будет принадлежать во всю длину и во всю ширину ароканскому народу, если токи Антинагюэль с помощью своих воинов возвратит мне власть, которой я лишился, и даст мне средства удержать ее в моих руках. Если же Антинагюэль не исполнит этого условия в продолжение одного месяца, начиная с настоящего числа, оно будет считаться уничтоженным.

В силу чего я подписываю мое имя и звание, дон Панчо Бустаменте, дивизионный генерал, бывший военный министр Чилийской республики».

Пока солдат читал, Антинагюэль, наклонившись над плечом его, следил за его глазами; когда солдат кончил, токи одной рукой вырвал у него бумагу, а другой быстро вонзил в сердце его кинжал.

Несчастный сделал два шага вперед, протянув руки и неизмеримо широко раскрыв глаза, потом зашатался как пьяный и упал с глубоким вздохом.

— Что вы сделали? — вскричал Бустаменте, вскочив.

— Этот человек мог бы впоследствии проболтаться, — небрежно отвечал вождь, сложив бумагу и спрятав ее на своей груди.

— Это справедливо, — сказал дон Панчо.

Окасский воин взял тело убитого, взвалил его на плечи и вышел. Между двумя вождями осталась широкая лужа крови; но ни тот ни другой очевидно не думали о том. Какое было дело этим двум честолюбцам до жизни человека!

— Ну так как же? — спросил Бустаменте.

— Брат мой может положиться на мое содействие, — отвечал Антинагюэль, — но я должен прежде возвратиться в мою деревню.

— Нет, вождь, — возразил Бустаменте, — это значит терять драгоценное время.

— Интересы самой высокой важности принуждают меня вернуться домой.

Донна Мария, до сих пор остававшаяся безмолвной и по наружности равнодушной зрительницей всего того, что происходило, медленно встала и, подойдя к токи, сказала холодно:

— Это бесполезно.

— Что хочет сказать моя сестра? — спросил Антинагюэль с удивлением.

— Я поняла нетерпение, пожиравшее сердце моего брата, когда он находился вдали от той, которую любит; поэтому сегодня утром я послала к воинам, которые везли бледную девушку к пуэльчесам, приказание возвратиться и привезти пленницу к моему брату.

Лицо вождя просияло.

— Сестра моя добра, — вскричал он, дружески пожимая донне Марии руки, — Антинагюэль не неблагодарный; он будет помнить ее поступок.

— Пусть только брат мой согласится делать то, чего желает великий воин бледнолицых и я буду довольна, — заметила донна Мария вкрадчивым голосом.

— Пусть брат мой говорит, — с важностью сказал Антинагюэль.

— Для достижения полного успеха нам надо действовать с быстротою молнии, — вскричал дон Панчо, — еще раз повторяю вам, вождь, чтобы вы хорошенько убедились... соберите всех ваших воинов и назначьте им свидание на *Биобио*. Мы захватим неожиданно Кончепчон, а оттуда пойдем на Талку, так как это город беззащитный. Если наши движения будут быстры, мы завладеем Сантьяго, столицей, прежде чем враги наши успеют собрать необходимое войско, чтобы воспротивиться нашему приходу.

— Хорошо, — отвечал, улыбаясь, Антинагюэль, — брат мой вождь искусный; он может надеяться на успех.

— Да, но только надо поспешить.

— Отец мой сейчас увидит, — лаконически отвечал токи и, обратившись к Черному Оленю, продолжал, — пусть брат мой пошлет огненное копье; через десять солнц тридцать тысяч воинов соберутся в долине Кондорканки: воины будут идти день и ночь к назначенному месту; ульмен, который не приведет своих воинов, будет лишен власти и отослан в свою деревню в женском платье. Я сказал все; ступайте.

Черный Олень поклонился и вышел, не отвечая ни слова. Через двадцать минут посланные поскакали по всем направлениям.

— Доволен ли брат мой? — спросил Антинагюэль.

— Да, — отвечал Бустаменте. — Скоро я докажу вождю, что и я также умею держать мои обещания.

Токи отдал приказание сниматься с лагеря. Через час длинный ряд всадников исчезал в глубинах девственного

леса. Это Антинагюэль и его воины отправлялись в долину Кондорканки.

Один из окасов остался в покинутом лагере. Ему дано было приказание подождать воинов, которые везли донну Розарио, чтобы проводить их к месту, где токи предполагал остановиться, прежде чем нападет на Чили.

Донна Мария и Бустаменте были счастливы. Они достигали наконец цели. Они видели, что осуществляется надежда, которую они питали так давно — надежда достигнуть власти и отомстить их врагам.

Антинагюэль думал только о любви своей к донне Розарио.

Бред

Дон Тадео против воли согласился снова принять власть, всегда столь тягостную при политических переворотах, власть, которую он поспешил сложить с себя тотчас как только возымел надежду, что спокойствие в Чили восстановилось.

Угрюмый и задумчивый следовал он за отрядом чилийцев, который, казалось, скорее провожал государственного пленника нежели человека, который один мог спасти республику от опасности ей угрожающей. В самом деле опасность была неизбежна, и только дон Тадео всемогуществом своего гения и воли мог удержать Чили над бездной, в которую она готова была обрушиться.

Несколько времени уже буря с неистовством преследовала всадников, которые молча скакали в темноте, как мрачные привидения в немецкой балладе. Каждый из них, завернувшись в свой плащ и надвинув шляпу на глаза, старался укрыться от урагана.

Дон Тадео при яростном порыве бури как будто возродился; он сбросил с себя шляпу, чтобы дождь смочил его пылающий лоб; волосы его развевались по ветру, взор его блистал вдохновенным огнем. Он вонзил шпоры в бока своей лошади, которая заржала от боли, и поскакал вперед, крича громким голосом:

— Ура! Мои верные товарищи! Ура! Вперед для спасения Чили! Вперед! Вперед!

При блеске молнии чилийцы заметили величественный силуэт дон Тадео, который быстро скакал перед

ними, заставляя свою лошадь перепрыгивать через всевозможные преграды. Внезапно наэлектризованные этим странным видением, они мужественно бросились за ним с криками энтузиазма.

Тогда-то начался в затопленной долине среди деревьев, изгибавшихся под могучей рукой урагана, неистово ревавшего, тот безумный бег, о котором ничто не может дать понятия, который невозможно описать.

Дон Тадео, с сердцем раздираемым горечью, находился как бы в бреду, который угрожал превратиться в безумие, если б продолжился. Чем стремительнее становился бег, чем сильнее свирепствовала гроза, тем более дон Тадео увлекался. Глаза его пылали, кровь прилиwała к его голове, которая горела, как будто сжатая в тисках.

Иногда он поворачивал лошадь, невнятно вскрикивал, а потом вдруг вонзал в нее шпоры и летел во всю прыть, как бы преследуя мнимого врага.

Солдаты были испуганы ужасным припадком дона Тадео, не зная чему приписать его; исполненные горести при виде того, что вождь их находился таком несчастном состоянии, они скакали позади него, не зная каким образом возвратить ему рассудок, все более и более оставлявший его. Но топот их лошадей и их зловещий вид, казалось, еще более увеличивал безумие, которое овладевало несчастным доном Тадео.

Между тем отряд приближался к Вальдивии; уже в некотором расстоянии, несмотря на позднее время, сверкали бесчисленные огни по направлению к городу, который начинал выходить из мрака; мрачные контуры его довольно ясно обрисовывались на горизонте.

Дон Грегорио, самый верный друг дона Тадео, был убит, видя его в таком положении; он напрасно отыскивал средства заставить его опомниться и возвратить ему рассудок, который, может быть, мог бы угаснуть навсегда.

Время уходило, город был близко, что делать? Вдруг счастливая мысль промелькнула в голове дона Грегорио, как молния. Он пустил свою лошадь во всю прыть, уколол ее кинжалом, чтобы еще более увеличить быстроту ее бега. Благородное животное потупило голову и полетело как стрела.

Через несколько минут неистового бега дон Грегорио повернул свою лошадь, почти приподняв ее на задние

ноги, и тотчас же поскакал назад как вихрь. Он и дон Тадео непременно должны были столкнуться.

Дон Грегорио на скаку схватил поводья лошади своего друга и вдруг остановил ее. Король Мрака вздрогнул и устремил пылающие глаза на человека, который так внезапно преградил ему дорогу. Все зрители этой сцены остановились с беспокойством и едва дыша.

— Дон Тадео, — сказал ему дон Грегорио торжественным тоном с упреком, — разве вы забыли донну Розарио, вашу дочь?

Когда дон Тадео услышал имя своей дочери, судорожный трепет пробежал по всем его членам; он провел рукой по пылающему лбу и, устремив безумный взор на того, кто говорил с ним, вскричал раздирающим душу голосом:

— Дочь моя! О! Возвратите мне мою дочь!

Вдруг смертельная бледность покрыла его лицо, глаза его закрылись, он опустил поводья и упал бы на землю, если б друг его быстрее мысли не соскочил с лошади и не принял его на руки. Дон Тадео был без чувств. Дон Грегорио посмотрел на него с нежностью, взял его на руки как ребенка и положил на плащи, которые солдаты поспешили снять с себя, чтобы сделать из них ему постель.

— Он спасен! — сказал дон Грегорио.

Все эти грубые солдаты, которых никакая опасность не могла удивить или взволновать, вздохнули с облегчением, услышав слово надежды, которой они однако не смели еще верить. Они повесили несколько одеял и плащей на ветви дерева, под которым лежал дон Тадео, чтобы укрыть его.

Безмолвные, неподвижные, стояли они, почтительно наклонившись, несмотря на дождь и ветер, и с беспокойством ожидали, чтобы тот, кого они любили как отца, возвратился к жизни.

Таким образом прошел целый час — век, в продолжение которого неслышно было ни ропота, ни жалобы. Дон Грегорио, наклонившись над своим другом, внимательно наблюдал за ним при свете факела, дребезжащий свет которого придавал этой сцене фантастический вид.

Мало-помалу судорожный трепет, потрясавший тело больного, утих; дон Тадео лежал совершенно неподвижно. Тогда дон Грегорио обнажил его правую руку, вынул кинжал и прорезал жилу. Сначала кровь не брызнула.

Однако ж через несколько секунд, черная капля, величиной с булавочную головку, показалась у отверстия раны; она постепенно увеличивалась и наконец упала вытесненная второй каплей и через две минуты кровь потекла из раны.

Присутствующие, наклонив головы вперед, внимательно следили за успехами кровопускания. Прошло довольно долгое время; кровь все текла сильнее и сильнее. Дон Тадео не подавал еще признаков жизни.

Наконец он сделал движение; зубы его, до сих пор остававшиеся сжатыми, пропустили вздох. Кровь потеряла свой черный цвет и сделалась красной. Дон Тадео раскрыл глаза и обвел вокруг спокойным и удивленным взором.

— Где я? — пошептал он слабо. — Что случилось?

— Слава Богу, теперь все кончилось, любезный друг, — отвечал дон Грегорио, приложив палец к ране и потом завязав ее куском своего носового платка, разодранного на бинты, — как вы нас напугали!

Дон Тадео сел и провел рукой по лбу, влажному от пота.

— Но что это значит? — продолжал он более твердым голосом. — Скажите мне, дон Грегорио, что случилось?

— Во всем виноват я, — отвечал тот, — хорошо еще, что мы отделались только страхом; по крайней мере, вперед я уже сам буду выбирать лошадей, а не поручу слуге.

— Объяснитесь, друг мой, я вас не понимаю... разве я упал?

— Еще бы! Да и как упали-то...

— А! — сказал дон Тадео, стараясь собраться с мыслями. — Вы думаете?

— Как думаю! Спросите этих кабальеро; мы думали, что вы умерли! Вас спасло одно чудо; очевидно, Господь хотел сохранить того, от кого зависит спасение Чили!

— Странно! Я не помню ничего... мне кажется, что когда мы оставили наших друзей, мы ехали спокойно; вдруг разразилась гроза...

— Так, видите ли, вы прекрасно все помните: ваша лошадь, ослепленная молнией, испугалась и взбесилась; мы поскакали за вами, но напрасно; когда мы нагнали вас, вы же без чувств лежали в овраге, в который упали вместе с лошадей.

— Должно быть, это справедливо, потому что я, кажется, разбит; я чувствую ужасное утомление во всем теле.

— Повторяю вам, вы упали, но к счастью не ушиблись. Однако ж так как вы долго не приходили в себя, я счел нужным пустить вам кровь кинжалом.

— Благодарю вас, — отвечал дон Тадео, — кровопускание очевидно облегчило меня; теперь голова не так горит, мысли стали спокойнее. Благодарю, друг мой, — прибавил он, взяв дону Грегорио за руку и смотря на него с признательностью, — теперь мне совсем хорошо; если вы считаете нужным, мы можем продолжать наш путь.

Дон Грегорио увидел, что друг его не совсем был обманут придуманной им ложью, но он как будто не понял этого.

— Но может быть вы еще не довольно оправились, чтобы держаться на лошади? — сказал он.

— Уверяю вас, что мои силы вернулись вполне; при том время дорого, мы должны поскорее приехать в Вальдивию.

Говоря эти слова, дон Тадео встал и спросил свою лошадь. Один солдат держал ее за узду. Дон Тадео внимательно на нее посмотрел. Бедное животное было отвратительно; оно было все запачкано грязью. Дон Тадео нахмурил брови; он уже не понимал ничего.

Дон Грегорио смеялся исподтишка: это по его приказанию — для того, чтобы обмануть дону Тадео, — бедная лошадь была приведена в такое жалкое состояние. Дон Грегорио не хотел, чтобы друг его мог подозревать, что в продолжение двух часов он находился в состоянии безумия. Ему удалось это как нельзя лучше. Дон Тадео, принужденный поверить очевидности, печально покачал головой и сел на седло.

— Смотря на это бедное животное, — сказал он, — я спрашиваю себя, как это мы не убили оба.

— Не правда ли, это странно? — отвечал дон Грегорио тоном убеждения, очень хорошо разыгранного. — Никто из нас не мог отдать себе отчета в этом.

— Мы далеко от города?

— Не более как за милю.

— Поспешим же.

Всадники поскакали галопом. На этот раз дон Тадео и друг его ехали рядом и говорили между собою шепотом.

том о том, какие предпринять средства для того, чтобы разрушить покушения Бустаменте, который, без сомнения, попытается с помощью ароканов опять захватить власть.

К дону Тадео возвратилось все его хладнокровие. Его мысли опять сделались ясны; словом, он вступил в полное обладание своим разумом.

Один только человек оставался чужд рассказанным нами происшествиям и почти не заметил того, что случилось, так что конечно не мог бы даже дать ни в чем отчета. Этот человек был дон Рамон Сандиас.

Бедный сенатор, промокший от дождя, напуганный грозою и закутанный до глаз в свой плащ, ехал, отпустив поводья. Он стремился только к одному: поскорее добраться до какого-нибудь жилища и укрыться там от непогоды. Поэтому он продолжал свой путь, сам не зная, что делает и не думая о том, следуют за ним или нет.

Таким образом доехал он до ворот Вальдивии и уже хотел было въехать в них, как вдруг какой-то человек остановил его лошадь, схватив ее за узду.

— Эй, кабальеро! Вы, кажется, спите? — закричал грубый голос как раз над ухом сенатора.

Тот вздрогнул от испуга, решился раскрыть глаза и увидал, что въезжает в город.

— Нет, — сказал он хриплым голосом, — напротив, я совсем не сплю.

— Откуда же это вы приехали один и так поздно? — продолжал спрашивавший незнакомец, вокруг которого собралось уже несколько человек.

— Как один? — вскричал дон Рамон. — За кого же вы принимаете моих спутников?

— О каких спутниках вы говорите? — закричало несколько голосов всеми тонами хроматической гаммы.

Дон Рамон осмотрелся кругом с испуганным видом.

— Это правда, — сказал он через минуту, — я один! Куда ж, черт побери, девались все другие?

— Кто другие? — продолжал спрашивавший. — Мы не видим никого.

— Э! — отвечал сенатор с нетерпением. — Я говорю о доне Грегорио и о его солдатах!

— Как, вы принадлежите к отряду дона Грегорио? — вскричали со всех сторон.

— Без сомнения! — отвечал сенатор. — Но дайте мне, пожалуйста, добраться до убежища; дождь льет ужасно сильно.

— Не бойтесь ничего, — смеясь, заметил один спутник, — вы уже не промокнете более, чем теперь.

— Это правда, — сказал сенатор жалобно, бросая отчаянный взор на свою одежду, с которой так и лилась вода.

— Вы знаете, встретил ли дон Грегорио дона Тадео? — спросили его со всех сторон.

— Да, они едут вместе.

— Далеко?

— Право не знаю, но не думаю, чтобы они были далеко, потому что я ехал с ними и вот уже я здесь.

Тут люди, остановившие дона Сандиаса, разбежались по всем направлениям, не занимаясь более им. Несчастный сенатор как ни просил, как ни умолял, чтобы ему указали убежище, никто не слушал его. Все зажигали факелы, будили жителей, стучась в двери домов, называя обитателей по именам. Вооруженные люди являлись полусонные и наскоро становились по обеим сторонам городских ворот.

— Это сумасшедшие, — шептал сенатор в отчаянии, — бегают по улице в такую погоду! Неужели я увижу еще новую революцию! Сохрани меня Бог!

Печально покачав головой, дон Рамон прищипорил свою лошадь, которая еле держалась на ногах; он спешил отыскать хоть какое-нибудь убежище, где ему можно было бы переменить одежду и отдохнуть несколько часов, что было для него необходимо.

План кампании

Въезд дона Тадео в Вальдивию был решительно триумфальный. Несмотря на сильный дождь, его встретил весь народ с факелами, пламя которых, колеблемое ветром, бросало синеватый блеск, смешивающийся с сиянием молний. Радостные крики жителей и барабанный бой смешивались с громом и свистом бури.

Этот народ представлял великолепное зрелище; несмотря на то, что буря с каждой минутой делалась все неистовее, вальдивийцы оставили свои жилища в половине ночи и прибежали по грязи приветствовать криком надежды человека, пользовавшегося их доверием.

В первом ряду находились Мрачные сердца, спокойные, решительные, сжимавшие в руках оружие, которое уже одержало победу.

Дон Тадео был растроган таким неопровержимым доказательством народной любви. Он понял, что как бы ни были велики частные интересы, они все-таки слишком ничтожны в сравнении с интересами целого народа; что прекрасно ими жертвовать, и что тот, кто умеет мужественно умереть для спасения своих сограждан, выполняет святое и благородное призвание!

Он тотчас решил победить сначала общего врага и оправдать надежду, которую все так простодушно возлагали на него, и потом уже — когда гидра междоусобной войны будет уничтожена — подумать о своей дочери, которая, впрочем, не была оставлена без защитников, потому что два благородных сердца решились спасти ее.

Он глубоко вздохнул и провел рукою по лбу, как бы желая прогнать мысль о своей дочери, беспрестанно преследовавшую его. Этот знак слабости был последним. Он гордо поднял голову и с улыбкой поклонился веселым группам, которые толпились на пути его, рукоплескали ему и кричали:

— Да здравствует Чили!

С этой многолюдной свитой дон Тадео приехал к дворцу. Сойдя с лошади, он поднялся на лестницу и на последней ее ступени остановился, обернувшись к толпе.

Огромная площадь была вся усыпана народом. Из каждого окна выглядывали десятки любопытных; многие влезли даже на крыши, и вся эта толпа испускала оглушительные крики радости.

Дон Тадео понял, что народ ждал от него нескольких слов. Он сделал жест, и в толпе немедленно водворилось глубокое безмолвие.

— Любезные сограждане! — сказал Король Мрака громким ясным и звучным голосом, который был слышен всем. — Сердце мое растрогано более, нежели я сумею выразить, необыкновенным знаком сочувствия, которое вы захотели оказать мне. Я не обману доверия, которое вы возлагаете на меня в первых рядах тех, которые сражаются за вас. Соединимся же все для спасения Чили, и тиран не успеет победить нас!

Эта пылкая речь была сопровождается аплодисментами и криками:

«Да здравствует Чили!»

Дон Тадео вошел во дворец. Там собрались начальники войск, Мрачные Сердца и алькады. Все они встали, когда вошел дон Тадео, и поклонились ему.

С тех пор, как Король Мрака увидел и понял народный энтузиазм, возбужденный его появлением, он как будто преобразился. Дух его восторжествовал над слабым телом: он не чувствовал уже никакого утомления, мысли его были так ясны, как будто час тому назад он не испытал ужасного припадка. Он вошел в круг, составленный присутствующими, и движением руки пригласил их садиться.

— Кабальеро! — сказал он. — Я рад, что вы собрались во дворец. Минуты драгоценны. Я имею доказательства, что Бустаменте заключил договор с Антинагюэлем, великим токи ароканов, чтобы легче достигнуть власти. Осво-

божденный ароканами, он укрылся между ними. Скоро мы его увидим во главе этих свирепых воинов; они нападут на наши границы и станут опустошать наши богатые провинции. Повторяю вам, минуты драгоценны! Одна смелость может спасти нас. Но для того, чтобы я отважился на что-либо, так как вы сделали меня вашим вождем, мне необходимо законное полномочие, дарованное сенатом. Без этого полномочия я буду мятежником и сам зажгу ту междоусобную войну, которую хочу остановить и против которой хочу сражаться во главе всех добрых граждан.

Эти слова, справедливость которых признавали все, произвели глубокое впечатление. На серьезное препятствие, представленное доном Тадео, трудно было дать ответ. Никто, казалось, не смел взять на себя опасной ответственности; но вдруг дон Грегорио приблизился к Королю Мрака, держа в руке бумагу.

— Вот, — сказал он, подавая бумагу дону Тадео, — ответ сената Сантьяго на донесение, которое вы послали ему после победы над Бустаменте: сенат предоставляет вам верховную власть. Так как после победы вы передали начальство мне, я сохранил в тайне это повеление; но теперь настала минута обнародовать его. Дон Тадео де Леон! Вы наш вождь; не толпа простых граждан назначает вас, а избранные народом!

При этом неожиданном известии все присутствующие с радостью встали и закричали с энтузиазмом:

— Да здравствует дон Тадео де Леон!

Тот взял бумагу и пробежал ее глазами.

— Очень хорошо, — сказал он, возвращая ее дону Грегорио с улыбкой, — теперь я считаю себя вправе действовать как сочту нужным для спасения моего отечества.

Члены собрания заняли свои места и возобновилось глубокое безмолвие.

— Кабальеро! — продолжал дон Тадео. — Я уже вам сказал, что нас может спасти только одна смелость. Мы должны предупредить нашего противника; вы его знаете, знаете, что он обладает всеми качествами, необходимыми для хорошего полководца; он не заснет в ложном спокойствии; союзник его, Антинагюэль, вождь неустрашимый, одаренный безмерным честолюбием; эти два человека, соединенные одними и теми же интересами, могут, если мы не остережемся, нанести нам поражение; поэтому мы должны напасть на них обоих вдруг. Послушайте, так как

все мы собрались сюда для совета, то вы должны обсудить план, который я вам представляю; конечно, он может показаться вам ошибочным, поэтому в случае разногласия мнений дело будет решено большинством голосов.

При этих словах внимание присутствующих удвоилось. Дон Тадео продолжал:

— Мы разделим наши силы на две армии: первая должна сделать нападение на *Ароко*, главное местопребывание наших врагов; цель этой экспедиции — разделить силы наших противников; нам необходимо принудить их послать туда значительное подкрепление. Вторая армия, составленная из всех жителей провинции, которые в состоянии носить оружие, отправится на Биобио, чтобы подать руку помощи войскам провинции Кончепчйон и таким образом поставить ароканов между двух огней.

— Извините, дон Тадео, — заметил один из генералов, — мне кажется, что в вашем плане, впрочем весьма хорошем, забыто одно обстоятельство, по-моему очень важное.

— Что такое?

— А провинцию Вальдивию? Не подвержена ли она более всякой другой нападению?

— Вы ошибаетесь, генерал, и вот почему: вы связываете происшествия, которые будут происходить в ней, с теми, которые уже происходили.

— Без сомнения.

— В этом то и ошибка: когда дон Панчо Бустаменте провозгласил себя диктатором именно в Вальдивии, а не в другом месте, он имел для этого важную причину. Вальдивия — провинция отдаленная, Бустаменте надеялся сделать из нее свою военную базу, прочно утвердиться в ней с помощью своих союзников — индейцев, и потом выйти из этого города, чтобы завоевать мало-помалу остальные области; план этот был прекрасно задуман и представлял большую возможность на успех, но теперь ситуация совершенно изменилась: Бустаменте уже не опирается на жителей страны, и регулярная война для него невозможна; он должен сделать замышляемый им переворот непременно в столице. Поэтому я нахожу необходимым преградить ему путь в столицу и принудить его к битве на ароканской земле. Провинции Вальдивии ничто не угрожает; но так как в подобных обстоятельствах все-таки потребна большая осторожность, мы оставим

в ней милицию из граждан, которые будут защищать свои дома; вот план, который я вам предлагаю.

Во всем собрании раздался один общий крик одобрения: все нашли мнение своего вождя совершенно обоснованным.

— Итак, господа, — продолжал дон Тадео через минуту, — вы одобряете этот план?

— Да, да, — вскричали со всех сторон.

— Хорошо! Теперь перейдем к вопросу о том, как нам привести его в исполнение; дон Григорио Перальта, вы примете начальство над армией, назначенной действовать против Ароко; я дам вам письменные инструкции.

Дон Григорио поклонился.

— Я оставляю для себя, — продолжал дон Тадео, — руководство армией, которая пойдет в Биобио. Сеньор алькад сегодня утром, с рассветом, обнародуйте по всем городским улицам, что мы принимаем волонтеров с платою по полпиастра в день, и устройте во всех кварталах конторы для приема рекрутов; это следует сделать во всей провинции. Полковник Гульерец, я назначаю вас губернатором провинции; вы должны прежде всего позаботиться о том, чтобы организовать гражданскую милицию; особенно прошу вас быть благоразумным и осторожным в исполнении поручения, которое я на вас возлагаю.

— Положитесь на меня, ваше превосходительство, — отвечал полковник, — я понимаю важность обязанности, которую я должен исполнить.

— Я давно знаю вас, полковник; знаю, что вполне могу положиться на вас, — сказал дон Тадео с улыбкой, — теперь, господа, к делу! — прибавил он. — Через два дня, никак не позже, войска должны перейти за ароканскую границу; надеюсь на ваше содействие; от вас зависит спасение Чили. Прощайте, господа; примите мою признательность за доказательство любви к нашей стране.

Члены собрания удалились, еще раз уверив дона Тадео в своей преданности. Король Мрака и дон Григорио остались одни. Первый как будто преобразился. Воинственный пыл сиял в его взорах. Дон Григорио смотрел на него с удивлением и уважением. Наконец, дон Тадео остановился перед ним и сказал:

— Брат, на этот раз надо победить или умереть; ты будешь возле меня в час битвы, приказание, которое я дал тебе, недостойно тебя; поэтому ты оставишь армию

в нескольких милях отсюда; ты должен сражаться возле меня.

— Благодарю, — отвечал дон Грегорио с волнением, — благодарю!

— Тиран, против которого мы будем бороться еще раз, должен умереть.

— Он умрет!

— Выбери между Мрачными Сердцами десять решительных человек и вели им особенно преследовать Бустаменте... и ты и я будем руководить ими; пока Бустаменте жив, Чили будет в опасности, надо кончить.

— Положитесь на меня; но зачем вы подвергаете себя опасности, когда ваша жизнь так для нас драгоценна?

— О! — отвечал дон Тадео с энтузиазмом. — Что значит моя жизнь; дай только Бог, чтобы восторжествовала справедливость и пал человек, который хочет выдать нас варварам. Надо дать одно решительное сражение. Если мы будем принуждены вести партизанскую войну, мы погибли.

— Это правда.

— Чили узкая полоса земли, сжатая между морем и горами, что делает невозможную продолжительную партизанскую войну; поэтому нам надо победить с первого раза; иначе наш враг войдет в Сантьяго, который растворит ему свои ворота.

— Да, — заметил дон Грегорио, — вы хорошо видите суть дела.

— Я не поколеблюсь, если нужно, пожертвовать моею жизнью, чтобы остановить такое великое несчастье.

— Мы все имеем то же намерение.

— Знаю: ах, и забыл еще об одном... пошлите сейчас нарочного к губернатору провинции Кончепчйон, чтобы он был настороже.

— Я сейчас это сделаю.

— Постойте, у нас есть под рукою человек, который может выполнить такое поручение.

— О ком вы говорите?

— О доне Рамоне Сандиасе.

— Гм! — сказал дон Грегорио, качая головой. — Это довольно жалкий человек... и я боюсь...

— Вы ошибаетесь; самая его ничтожность обеспечивает успех; никогда Бустаменте не подумает, чтобы мы дали такое серьезное поручение такому ничтожному че-

ловеку; он свободно проедет везде, где человек, известный своей энергией, может быть остановлен.

— Справедливо; этот план, по самой своей смелости, представляет большую возможность на успех.

— Итак, решено; вы пошлете сенатора.

— Признаюсь, я не знаю, где найти его.

— Ба! Ба! Такая важная особа не может потеряться.

Дон Грегорио поклонился, улыбаясь, и молча вышел.

Неприятное поручение

Вместо того, чтобы отдохнуть, как это было для него необходимо после таких передряг, дон Тадео, оставшись один, сел за стол и написал несколько приказов, которые немедленно разослал с эстафетами. Таковы души энергические; труд служит для них отдохновением.

Дон Тадео инстинктивно чувствовал, что если он предастся своим мыслям, они скоро поглотят его совсем и отнимут у него энергию, необходимую для того, чтобы поддерживать предпринятую им борьбу; поэтому он искал в неблагодарном труде средство избавиться от самого себя и быть готовым в назначенный час выйти на бой с ясным умом и твердым сердцем.

Несколько часов прошло таким образом. Дон Тадео отправил всех своих курьеров. Он встал и начал ходить большими шагами по комнате. Вдруг дверь растворилась, и вошел дон Рамон Сандиас. Сенатор походил на привидение, до того лицо его было бледно, а все черты вытянулись.

Достойный человек, вся жизнь которого прошла в непрерывном наслаждении, и который до сих пор был осыпаям всеми дарами фортуны и никогда не чувствовал острого жала честолюбия, был обманут Бустаменте. В последний месяц жизнь его превратилась в ад; лицо, некогда румяное и полное, похудело и побледнело, а фигура начала принимать угловатые контуры скелета, так что когда сенатор нечаянно смотрел на себя в зеркало, ему становилось страшно: он спрашивал себя — узнают ли его родные и друзья в этом привидении того беззаботного

жителя деревни, который оставил их месяц тому назад, будучи таким справным и румяным, чтобы гнаться.

Дон Тадео бросил пристальный взгляд на пришедшего и не мог удержаться от жеста сострадания при виде перемен, которые горе произвело в наружности сенатора. Дон Рамон смиренно поклонился ему. Дон Тадео отвечал на его поклон и указал ему на стул.

— Ну, дон Рамон! — сказал он ему дружеским голосом. — Вы еще наш?

— К несчастью так, ваше превосходительство, — отвечал сенатор глухим голосом.

— Что это значит, дон Рамон? — спросил Король Мрака, улыбаясь. — Разве вы сожалеете, что приехали в Вальдивию?

— О! Нет, — с живостью отвечал сенатор, — напротив; но с некоторого времени я сделался игрушкой таких ужасных обстоятельств, что постоянно опасаясь, не случилось бы со мною еще какого-нибудь несчастья; невольно я все боюсь чего-то...

— Успокойтесь, дон Рамон, вы в безопасности, по крайней мере, теперь, — значительно прибавил он.

Это заставило сенатора призадуматься.

— Э? — сказал он задрожав. — Что вы хотите сказать, дон Тадео?

— Ничего страшного для вас; но вы знаете, случайности войны довольно опасны.

— Да, слишком опасны, я это знаю! Поэтому у меня только одно желание.

— Какое?

— Возвратиться к своему семейству. О! Если Господь изволит, чтобы я увидел еще раз мою очаровательную ферму в окрестностях Сантьяго, клянусь всем святым на свете, что я подам в отставку и вдали от дел и их обманчивых надежд, буду жить счастливо в своем семействе, предоставляя людям, более достойным, заботу спасти Чили.

— В этом желании нет ничего предосудительного, дон Рамон, — отвечал дон Тадео серьезным тоном, который заставил сенатора невольно затрепетать, — и если это зависит от меня, оно скоро исполнится, вы довольно потрудились в это последнее время, чтобы иметь право отдохнуть.

— Я не создан участвовать в междоусобных войнах; я из таких людей, которые годятся только для уедине-

ния; поэтому я охотно предоставляю другим бурную политическую жизнь, которая явно не по мне.

— Однако ж вы не всегда так думали.

— Увы, в этом-то и заключается причина всех моих бедствий; я плачу кровавыми слезами, когда думаю, что увлекся безумным честолюбием...

— Вы правы, — перебил дон Тадео, — однако ж я могу вам возратить то, чего вы лишились, если вы хотите.

— О! Говорите! Говорите! И что бы ни пришлось мне сделать для этого...

— Хоть бы даже воротиться к окасам? — спросил лукаво дон Тадео.

Сенатор задрожал, лицо его помертвело еще более и он вскричал трепещущим голосом:

— О! Скорее умереть тысячу раз, нежели попасть в руки этих варваров!

— Но вы не можете на них очень пожаловаться, насколько мне известно.

— На них лично нет, но...

— Оставим это, — перебил дон Тадео, — вот чего я хочу от вас; слушайте внимательно.

— Я слушаю, ваше превосходительство, — отвечал сенатор, смиренно потупив голову.

Вошел дон Грегорио.

— Что случилось? — спросил дон Тадео.

— Пришел индеец, которого зовут Жоаном и который служил уже вам проводником; он говорит, что должен сообщить вам нечто важное.

— Пусть он войдет! Пусть он войдет! — вскричал дон Тадео, вставая и не занимаясь более сенатором.

Тот вздохнул свободно; он счел себя забытым и потихоньку хотел выскользнуть в дверь, в которую вышел дон Грегорио. Дон Тадео заметил это.

— Сенатор, — сказал он ему, — останьтесь, прошу вас; мы еще не кончили нашего разговора.

Дон Рамон, застигнутый на месте, напрасно искал извинения; он что-то бессвязно пролепетал и упал на стул с глубоким вздохом. В ту минуту отворилась дверь, и вошел Жоан. Дон Тадео подошел к нему.

— Что вас привело сюда? — спросил он с волнением. — Разве случилось что-нибудь новое? Говорите, говорите, друг мой.

— Когда я оставил белых, они готовились отправиться по следам Антиагюэля.

— Да благословит Бог эти благородные сердца! — вскричал дон Тадео, подняв глаза к небу и набожно сложив руки.

— Отец мой был печален в ту ночь, когда расстался с нами; сердце его разрывалось, он ужасно страдал.

— О! Да! — прошептал Король Мрака.

— Перед отправлением дон Валентин, с волосами золотистыми, как зрелые колосья, почувствовал, что его сердце растрогалось при мысли о беспокойстве, которое вы, без сомнения, чувствовали; тогда он велел написать это письмо своему брату с глазами горлицы, а я взялся доставить его вам.

Говоря эти слова, Жоан вынул письмо, старательно спрятанное под перевязью на лбу, и подал его дону Тадео. Тот с живостью взял письмо и пробежал глазами.

— Благодарю, — сказал он, спрятав драгоценную бумагу на груди и ласково протянув руку воину, — благодарю, брат, вы человек с сердцем, ваша преданность возвратила мне все мое мужество; вы останетесь со мною и, когда настанет минута, проводите меня к моей дочери.

— Я это сделаю, отец мой может положиться на меня, — благородно отвечал индеец.

— Я вполне полагаюсь на вас, Жоан; не сегодня оценил я ваш благородный и прекрасный характер; останьтесь здесь, мы поговорим о наших друзьях; разговаривая о них, мы постараемся забыть горечь отсутствия.

— Я предан моему отцу как лошадь воину, — почтительно отвечал Жоан и, поклонившись дону Тадео, хотел уйти.

— Пойдите на минуту, — сказал тот, хлопнув в ладоши.

Вошел слуга.

— Приказываю всем, — сказал дон Тадео повелительным тоном, — иметь величайшее внимание к этому воину, он друг мой, он свободен делать что хочет; не отказывайте ему ни в чем, чего бы он ни спросил... Теперь ступайте, друг мой, — прибавил он, обращаясь к Жоану.

Индийский воин вышел со слугой.

— Избранная натура! — сказал сам себе дон Тадео, задумавшись.

— О, да, — отвечал дон Рамон лицемерным голосом, — это очень достойный человек для дикаря!

Король Мрака опомнился при звуках этого голоса, который вывел его из задумчивости. Взгляд его упал на сенатора, о котором он забыл и который глядел на него с умилением.

— Ах! — сказал он. — Я было забыл о вас, дон Рамон.

Тот прикусил себе язык и раскаялся, но слишком поздно, в своем неуместном восклицании.

— Вы мне говорили, — продолжал дон Тадео, — что дорого заплатили бы за возможность быть на вашей ферме?

Сенатор утвердительно кивнул головой; он боялся скомпрометировать себя, выразив яснее свою мысль.

— Я намерен, — продолжал дон Тадео, — возвернуть вам счастье, к которому вы стремились и которого отчаиваетесь достигнуть. Вы сейчас поедете в Кончепчйон.

— Я?

— Да, вы. Приехав в Кончепчйон, вы отдадите эту бумагу генералу Фуэнтесу, который командует войсками этой провинции; исполнив это поручение, вы будете свободны и можете отправиться куда хотите; только обратите внимание, что за вами будут следить и что если я не получу ответа от генерала Фуэнтеса, я легко вас найду и тогда потребую от вас серьезного отчета.

Во время этого разговора сенатор показывал знаки величайшего волнения: он краснел, бледнел, вертелся во все стороны, не зная, какой принять ему вид.

— Э, прости Господи, — сказал дон Тадео, — можно подумать, что вы неохотно принимаете возлагаемое на вас поручение?

— Извините, ваше превосходительство, извините, — пролепетал сенатор, — но поручения весьма плохо мне удаются и, право, я думаю, что вы лучше сделаете, если возложите его на другого.

— Вы думаете?..

— Я в этом убежден. Видите ли, ваше превосходительство, я так несчастлив.

— Очень жаль.

— Не правда ли, ваше превосходительство?

— Да, тем более, что никому кроме вас не будет дано это поручение.

— Однако...

— Молчите! — сказал дон Тадео сухим тоном, вставая и подавая ему бумагу. — Устраивайте свои дела как хотите, но вы должны ехать через полчаса или быть расстрелянным через три четверти часа... выберите.

— Я уже выбрал.

— Что же.

— Я еду.

— Счастливый путь!

— Но если ароканы нападут на меня и отнимут эту бумагу?

— Вы будете расстреляны, — холодно сказал дон Тадео.

Сенатор подпрыгнул от испуга.

— В таком случае я погиб! — вскричал он с ужасом. — Я никогда не выпутаюсь из такой беды!

— Это ваше дело.

— Но...

— Я должен предупредить вас, — сказал ему Король Мрака, — что вам осталось только двадцать минут, чтобы подготовиться к отъезду.

Сенатор поспешно схватил письмо и, не отвечая, бросился как сумасшедший из залы, натыкаясь на мебель. Дон Тадео не мог удержаться от улыбки при виде испуга дона Рамона и сказал сам себе:

— Бедняжка! Он и не подозревает, что я желаю именно того, чтобы у него отняли эту бумагу.

Вошел дон Грегорио.

— Все готово, — сказал он.

— Хорошо! Пусть войска разделятся на два корпуса за городом. Где Жоан?

— Я здесь, — отвечал индеец, подходя.

— Брат мой может ли дойти до Кончепчйона, не попав в руки лазутчиков и не будучи остановлен?

— Непременно.

— Я хочу дать моему брату поручение, в котором дело идет о жизни и смерти.

— Я его исполню или умру.

— У брата моего хорошая лошадь?

— У меня нет никакой — ни плохой, ни хорошей.

— Брату моему дадут лошадь быструю как стрела.

— Хорошо! Что я должен делать?

— Жоан отдаст эту бумагу испанскому генералу Фуэнтесу, командующему войсками в провинции Кончепчйон.

— Я отдам.

Дон Тадео вынул из-за пазухи кинжал странной формы, бронзовый эфес которого служил печатью.

— Пусть брат мой возьмет этот кинжал; увидев его, генерал узнает, что Жоан приехал от меня.

— Хорошо! — сказал воин, взяв оружие и заткнув его за пояс.

— Пусть брат мой остерегается; это оружие отравлено, так что малейшая царапина может вызвать смерть.

— О, о! — сказал индеец со зловещей улыбкой. — Это оружие хорошее; когда должен я ехать?

— Брат мой отдохнул?

— Я отдохнул.

— Брату моему сейчас дадут лошадь.

— Хорошо, прощайте!

— Еще одно слово.

— Я слушаю.

— Пусть брат мой не даст себя убить; я хочу, чтобы он возвратился ко мне.

— Я возвращусь, — сказал индеец с уверенностью.

— Прощайте!

— Прощайте!

Жоан вышел. Через десять минут он скакал во весь опор по дороге в Кончепчйон и опередил дона Рамона Сандиаса, который неохотно тащился по той же самой дороге.

Дон Тадео и дон Грегорио выехали из дворца. Приказания Короля Мрака были исполнены с точностью замечательной. Гражданская милиция, уже очень многочисленная, была почти организована и если бы случилась надобность, могла защищать город.

Два корпуса войск выстроились в ряд. Одному в девятьсот человек было поручено сделать нападение на Ароко; другой, в две тысячи, под непосредственной командой дона Тадео, должен был отправиться отыскивать ароканскую армию и дать ей сражение.

Дон Тадео осмотрел свою маленькую армию. Ему оставалось только хвалить ее хорошее устройство и энтузиазм солдат. Сказав последнюю речь жителям Вальдивии, Король Мрака отдал приказание к выступлению.

Кроме довольно многочисленной кавалерии, чилийская армия имела десять пушек. Войска прошли скорым шагом мимо жителей, которые провожали их единодушным «ура».

В минуту расставания дон Тадео отвел в сторону своего друга.

— Сегодня вечером, дон Грегорио, — сказал он, — когда вы расположитесь лагерем на ночь, передайте начальство вашему полковнику и воротитесь ко мне.

— Хорошо; благодарю вас за милость, которую вы оказываете мне.

— Брат, — отвечал ему дон Тадео печальным голосом, — разве мы не должны жить и умереть вместе?

— О, не говорите этого, — возразил дон Грегорио. — Будьте так добры, скажите мне прежде, чем я расстанусь с вами, что значит это поручение, которое вы дали Жоану? — прибавил он, чтобы дать другой оборот разговору и переменить направление мыслей своего друга.

— О! — отвечал дон Тадео с тонкой улыбкой. — Это поручение военная хитрость, успех которой, я надеюсь, вы скоро увидите.

Пожав в последний раз друг другу руки, два вождя расстались, чтобы стать во главе своих войск, которые быстро отправились по долине.

Коршун и горлица

Бустаменте воспользовался внезапной готовностью Антинагюэля быть ему полезным. Через два дня после рассказанных нами происшествий, ароканская армия укрепилась на Биобио. Антинагюэль, как опытный вождь, расположился лагерем на вершине лесистого пригорка, который возвышался над рекой. Древесный занавес скрывал присутствие армии, так что без определенных сведений никто не догадался бы, что она находится в этом месте.

Войска из различных уталь-манусов каждую минуту прибывали на место сборища, назначенного токи. Вся сила ароканской армии состояла в эту минуту из девяти тысяч.

Черный Олень с отрядом избранных воинов разъезжал по всем направлениям, чтобы захватить неприятельских разведчиков. Ароканы во время войны обыкновенно делают неожиданные нападения; поэтому осторожность вождей в этих экспедициях неимоверна.

Ничто не выдавало индейцам, чтобы белые сколько-нибудь подозревали замышляемое ими нападение. Они видели на противоположном берегу Биобио стада, пасшиеся на свободе, и крестьян, спокойно занимавшихся своими делами, как ни в чем не бывало.

Бустаменте рассматривал горизонт в подзорную трубу. Антинагюэль удалился в свою палатку с Красавицей и донной Розарио.

Молодая девушка приехала в лагерь час тому назад. На ее побледневшем лице виднелись следы утомления;

мрачная грусть одолевала ее. Она стояла, потупив глаза, перед токи, пылкий взор которого не оставлял ее ни на секунду.

— Брат мой видит, что я сдержала мое обещание, — сказала Красавица, со злобной улыбкой смотря на молодую девушку.

— Да, — отвечал токи, — благодарю мою сестру, но и я тоже сдержал мое обещание.

— Брат мой великий воин, он верен своему слову; прежде чем он вступил в область инков, ему следовало бы определить участь его пленницы.

— Эта молодая девушка не пленница моя, — отвечал Антинагюэль, и взгляд его сверкнул, — она будет женой великого токи окасов.

— Хорошо! — сказала Красавица, пожимая плечами. — Антинагюэль может располагать ею.

Вождь встал и подошел к молодой девушке.

— Сестра моя печальна, — сказал он ей с кротостью, — продолжительный путь, без сомнения, утомил ее; мое жилище приготовлено для сестры моей; она отдохнет несколько часов, а потом Антинагюэль объявит ей о своих намерениях.

— Вождь, — грустно отвечала молодая девушка, — я не устала, ваши воины были добры ко мне, они сжалились над моей молодостью и кротко обращались со мной.

— Вождь так приказал, — сказал ласково Антинагюэль.

— Благодарю вас за это приказание; это мне доказывает, что вы не злы.

— Нет, — отвечал Антинагюэль, — я люблю мою сестру.

Молодая девушка не поняла этого объяснения в любви и растолковала иначе смысл слов индейца.

— О? Вы меня любите, — сказала она наивно, — стало быть, вы сжалитесь надо мной, не захотите видеть моих страданий!

— Нет, я позабочусь, чтобы моя сестра была счастлива!

— О! Это будет очень легко, если вы действительно захотите! — вскричала она, бросая на него умоляющий взгляд и сложив руки.

— Что нужно сделать для этого? Я готов повиноваться моей сестре.

— Точно?

— Пусть моя сестра говорит! — сказал вождь.

— Слезы бедной девушки могут только огорчить такого великого воина, как вы!

— Это правда, — отвечал он кротко.

— Возвратите меня моим друзьям, моим родным! — вскричала донна Розарио с извинением. — О! Если вы это сделаете, вождь, я буду вас благословлять! Я буду сохранять к вам вечную признательность, потому что я буду очень счастлива!

Антинагюэль отступил, кусая с гневом губы. Красавица расхохоталась.

— Вы видите, — сказала она, — вам очень легко сделать ее счастливой!

Вождь нахмурил брови с раздраженным видом.

— Брат! — сказала Красавица. — Не сердитесь, пожалуйста; дайте мне поговорить с этой испуганной горлицей.

— Зачем? — возразил токи с нетерпением.

— Чтобы объяснить ей ясно ваши намерения; таким образом, как вы взялись за дело, вы никогда не кончите.

— Хорошо!

— Только обратите внимание на то, что я нисколько не берусь расположить ее к вам.

— А! — сказал Антинагюэль с досадой.

— Но однако ж ручаюсь вам, что после нашего разговора, она будет знать, в чем состоят ваши намерения; хотите вы этого?

— Да, у сестры моей золотой язык, она усыпит ее.

— Гм! Не думаю; однако постараюсь сделать вам приятное, — сказала Красавица с иронической улыбкой.

— Хорошо, пока сестра моя будет разговаривать с пленницей, я осмотрю лагерь.

— И прекрасно, таким образом вы не потеряет даром времени.

Антинагюэль вышел, бросив на молодую девушку взор, заставивший ее стыдливо потупить глаза.

Оставшись одна с донной Розарио, Красавица рассматривала ее с минуту с таким выражением злости и ненависти, что молодая девушка невольно задрожала. Вид этой женщины производил на нее такое действие, какое приписывают взгляду змеи; ее притягивал этот холодный взгляд, который устремлялся на нее с невыносимой пристальностью.

После нескольких минут, которые показались веком бедной девушке, Красавица встала, медленно подошла к ней и, грубо положив руку на плечо ее, сказала резко:

— Бедная девушка! Вот уже месяц как ты пленница, неужели ты не догадалась, для чего я велела похитить тебя?

— Я не понимаю, — кротко отвечала молодая девушка, — ваши слова для меня загадка, смысл которой напрасно я отыскиваю.

— Невинная овечка! — возразила куртизанка с насмешливым хохотом. — А мне так кажется, что в ту ночь, когда мы сошлись лицом к лицу в деревне Сан-Мигуэль, я говорила с тобой довольно откровенно.

— Я только поняла, что вы меня ненавидите по причине, неизвестной для меня.

— Какое тебе дело до причины, когда ненависть существует! Да, я тебя ненавижу, презренная тварь! Я мщу на тебе за мучения, которые заставил меня вытерпеть другой человек. Какое мне дело, что ты мне ничего не сделала! Я тебя не знаю! Мстя тебе, я ненавижу не тебя, а тебя, а того, кого ты любишь! Которому каждая твоя слеза раздирает сердце. Но мне недовольно мучений, которые я назначаю тебе, если он не знает их; я хочу, чтобы он был их свидетелем; я хочу, чтобы он умер от отчаяния, узнав, что я сделала с тобой, до какого унижения и презрения я довела тебя.

— Господь справедлив, — с твердостью отвечала молодая девушка, — я не знаю, какие злодеяния замысляете вы, но Он сохранит меня и не позволит исполниться тому гнусному мщению, которым вы мне угрожаете. Берегитесь, чтобы впоследствии вам самой не пришлось склониться под могущественной рукой Создателя... может быть вы сами тщетно будете умолять о милосердии, когда Его позднее, но неумолимое правосудие, постигнет вас.

— Твои угрозы вызывают во мне только презрение.

— Я не угрожаю; я несчастная девушка, которую рок бросил беззащитной в ваши руки; я стараюсь только растрогать вас.

— Напрасные просьбы! — воскликнула донна Мария. — Ну что ж! — прибавила она, оживляясь гневом, кипевшим в ней. — Когда настанет мой час, я тоже не буду просить тебя пожалеть обо мне!

— Да простит вам Господь зло, которое вы хотите мне сделать!

Во второй раз невольно донна Мария почувствовала неизъяснимое волнение, причину которого напрасно старалась объяснить себе; но она старалась не обращать внимания на тайное предчувствие, которое как будто говорило ей, что мщение ослепляло ее и что, желая поразить слишком сильно, она ошиблась.

— Послушай, — сказала она прерывистым голосом, — это я велела похитить тебя, ты это знаешь, но тебе не известно, с какой целью ты похищена, не так ли? Ну, я объясню тебе эту цель: человек, который вышел отсюда, Антинагюэль, вождь ароканов, злодей! Он питает к тебе страсть, чудовищную, к какой способна одна его свирепая натура; послушай, мать хотела отговорить его от этой страсти, он убил свою мать!

— О! — с ужасом вскричала молодая девушка.

— Ты дрожишь? — продолжала донна Мария. — В самом деле, этот человек гнусное существо! Он способен только на преступления, он признает законы только своих страстей и пороков! Знай же, что это отвратительное существо, этот гнусный злодей, любит тебя; он влюблен в тебя, понимаешь ли ты? Я не знаю, чего не дал бы он, чтобы обладать тобой, чтобы сделать тебя своей любовницей; я продала тебя этому человеку, ты принадлежишь ему, ты его невольница, он имеет право сделать с тобой все, что хочет, и воспользуется этим, будь уверена!

— О! Вы не сделали такого гнусного поступка! — вскричала молодая девушка.

— Сделала, — отвечала донна Мария, заскрежетав зубами, — ты не знаешь, какое счастье испытываю я, видя тебя, белую горлицу, непорочную девушку, запачканною грязью; каждая из твоих слез искупит одну из моих горестей!

— Но разве у вас нет сердца?

— Теперь нет, давно уже оно разбито отчаянием... теперь я мщу.

У молодой девушки закружилась голова; она залилась слезами и упала к ногам своей преследовательницы с раздиравшими душу рыданиями.

— Сжальтесь! — кричала она. — О! Вы сами сказали, что у вас было сердце! Вы любили! Именем того,

кого вы любили, сжальтесь, сжальтесь надо мной, бедной сиротой, которая никогда не делала вам зла!

— Нет, нет, не сжалюсь! Ко мне не имели жалости! — вскричала донна Мария.

И она грубо оттолкнула молодую девушку, но донна Розарио, уцепившись за ее платье, ползала за нею на коленях.

— Умоляю вас именем того, кого вы любили на земле, сжальтесь, сжальтесь!

— Я не люблю никого и ничего кроме мщения! — сказала куртизанка с отвратительной улыбкой. — О! Как сладостно ненавидеть; забываешь свою горесть! Слезы этой нечастной доставляют мне наслаждение!

Донна Розарио не слышала этих ужасных слов; она в сильном отчаянии продолжала плакать и умолять.

— О! — вскричала она после нескольких минут молчания. — У вас верно были дети! Вы их любили, очень любили, я в этом уверена!

— Молчи, несчастная! — закричала донна Мария. — Молчи! Не говори мне о моей дочери!

— Да! — продолжала донна Розарио. — У вас была дочь, кроткое и очаровательное существо! Вы обожали ее?

— Обожала ли я мою дочь!.. — закричала Красавица.

— Умоляю вас именем этой обожаемой дочери, сжальтесь! Сжальтесь надо мной!

Донна Мария вдруг захохотала неистовым смехом и, наклонившись к молодой девушке, устремила на нее пылающие глаза.

— Несчастная! — закричала она голосом, прерывавшимся от ярости. — Какое воспоминание вызвала ты? Ты не знаешь, что именно затем, чтобы отомстить за мою дочь, гнусно похищенную у меня, я хочу сделать из тебя самое несчастное из всех существ на земле... затем, чтобы отомстить за нее, я продала тебя Антинагюэлю!

Донна Розарио была поражена как громом, однако мало-помалу пришла в себя, медленно приподнялась и, взглянув прямо в лицо торжествовавшей куртизанке, сказала:

— У вас нет сердца, будьте же прокляты!.. Господь жестоко накажет вас... а я сумею избавиться от оскорблений, которыми вы напрасно угрожаете мне.

И движением быстрее мысли она вырвала из-за пояса донны Марии острый кинжал, который та носила посто-

янно с тех пор, как жила между индейцами. Красавица бросилась на нее.

— Остановитесь, — с решительностью сказала ей молодая девушка, — еще шаг и я убью себя. О! Теперь уже я вас не боюсь, я властна над своей жизнью! Я вам сказала, что Господь не оставит меня!

Взор молодой девушки был так тверд, лицо ее так решительно, что Красавица невольно остановилась.

— Вы не торжествуете теперь, — продолжала донна Розарио, — вы уже не уверены в своем мщении! Пусть этот человек, которым вы мне угрожаете, осмелится подойти ко мне, я вонжу себе в сердце этот кинжал! Благодарю вас; вам я обязана этим средством избавиться от бесчестия.

Красавица с яростью взглянула на молодую девушку, но не сказала ничего; она была побеждена.

В эту минуту в лагере послышался большой шум: кто-то торопливо приближался к палатке, в которой находились обе женщины. Донна Мария села, скрыв свое смущение, чтобы не дать заметить посторонним чувства, волновавшие ее. Донна Розарио с радостной улыбкой спрятала кинжал на груди.

Конец путешествия дона Рамона

Между тем дон Рамон Сандиас оставил Вальдивию. На этот раз сенатор был один, на своей лошади, жалкой тощей кляче, которая тащилась, потупив голову и опустив уши, и как будто во всех отношениях сообразовалась с печальным расположением духа своего господина.

Подобно рыцарям, героям старинных романов, служившим игрушкой злого волшебника и вертевшимся годами на одном месте без возможности достигнуть какой-нибудь цели, сенатор выехал из города с твердым убеждением, что он не достигнет цели своего путешествия.

Будущее вовсе не казалось ему розовым; он уехал из Вальдивии под тяжестью страшной угрозы; и потому на каждом шагу ожидал, что в него прицелится невидимое ружье из-за кустов, тянувшихся вдоль дороги.

Не будучи в силах устрашить врагов, без сомнения рассыпавшихся по дороге, своей силой, он решился подействовать на них своей слабостью, то есть снял с себя все оружие, не оставив при себе даже ножа.

В нескольких милях от Вальдивии его перегнал Жоан, который проезжая иронически поздоровался с ним, потом пришпорил лошадь и скоро исчез в облаке пыли.

Дон Рамон долго следил за ним глазами с завистью.

— Как эти индейцы счастливы! — пробормотал он сквозь зубы. — Они храбры; вся пустыня принадлежит им. Ах! — воскликнул он со вздохом. — Если бы я был на своей ферме, я также был бы счастлив!

Как он сожалел об этой ферме с белыми стенами, с зелеными ставнями и с густыми боскетами. Он оставил ее в минуту безумного честолюбия и не надеялся уже увидеть еще раз.

Странное дело! Чем более сенатор подвигался вперед, тем менее он надеялся благополучно кончить свое путешествие. Ему чудилось, что он не выйдет никогда из рокового круга, в котором он воображал себя заключенным. Когда ему приходилось ехать мимо леса или по узкой дороге между двух гор, он бросал вокруг себя испуганные взоры и шептал:

— Здесь они ждут меня!

Потом проехав лес или опасную тропинку без происшествий, вместо того чтобы радоваться, что он остался цел и невредим, он говорил, качая головой:

— Гм! Они знают, что я не могу от них ускользнуть и играют со мной как кошка с мышкой.

Между тем прошли два дня благополучно, и ничто не подтверждало подозрений и беспокойств сенатора. Дон Рамон утром проехал вброд Карампанию и быстро приближался к Биобио, надеясь достигнуть этой реки на закате солнца.

Биобио составляет границу ароканскую: эта река довольно узкая, но очень быстрая, которая спускается с гор, протекает через Кончепчон и впадает в море, несколько на юг от Талькоуено.

Переехав Биобио, сенатор конечно был бы в безопасности, потому что очутился бы тогда на чилийской земле. Но надо было переехать Биобио. В этом-то и состояло главнейшее затруднение. На реке был один только брод, и он находился несколько выше Кончепчона.

Сенатор знал это как нельзя лучше, но тайное предчувствие не допускало его приблизиться туда; оно говорило ему, что там-то его и ждали все бедствия, угрожавшие ему с начала его путешествия. К несчастью, дону Рамону не предстояло выбора — другой дороги не было; он непременно должен был решиться переехать Биобио вброд или отказаться попасть в Кончепчон.

Сенатор долго не решался, как Цезарь у знаменитого перехода через Рубикон, но, без сомнения, по другим причинам; наконец, так как не было средств поступить иначе, дон Рамон волей или неволей прищипорил лошадь и подъехал к броду, поручая свою душу всем святым Испании, а Богу известно — какая это богатая коллекция!

Лошадь устала; между тем запах воды возвратил ей силы она довольно скоро побежала к броду, который почуяла с неизменным инстинктом этих благородных животных, не затрудняясь бесчисленными извилинами, которые скрещивались в высокой траве и были проложены копытами лошадей, мулов и ногами индейских охотников.

Хотя реки еще не было видно, но дон Рамон уже слышал глухое журчание воды. В эту минуту он ехал по мрачному пригорку, покрытому лесом, из которого иногда слышался странный шум. Лошадь, испуганная точно так же, как и господин ее, поднимала уши и ускоряла скорость бега.

Дон Рамон едва осмеливался дышать и боязливо осматривался кругом. Он приближался к броду, как вдруг грубый голос заставил его оцепенеть.

Его окружили со всех сторон человек десять индейских воинов. Этими воинами командовал Черный Олень, вице-токи окасов.

Странное дело! Когда прошла первая минута испуга, сенатор почти совершенно успокоился. Теперь он знал в чем дело; опасность, которой он так долго боялся, вдруг явилась ему наконец, но не такая страшная, как он воображал.

Как только сенатор увидел себя окруженным индейцами, он приготовился сыграть свою роль как можно искуснее, чтобы не возбудить подозрения о том, какое поручение везет он. Однако он не мог удержаться, чтобы не вздохнуть с сожалением, смотря на брод, находившийся в двадцати шагах от него. Это была поистине жестокая неудача: до сих пор он успешно преодолевал все препятствия, чтобы потерпеть крушение у самой гавани.

Черный Олень внимательно рассматривал дону Сандиаса, наконец схватил за поводья его лошадь и, как бы стараясь что-то вспомнить, сказал:

— Мне кажется, что я уже видел этого бледнолицего?

— Действительно, вождь — отвечал сенатор, стараясь улыбаться, — мы старые друзья.

— Я не друг инков, — грубо отвечал индеец.

— Я хотел сказать, — возразил дон Рамон, — что мы старые знакомые.

— Хорошо! Что здесь делает бледнолицый?

— Гм! — сказал сенатор со вздохом. — Я ничего не делаю и хотел бы быть в другом месте.

— Пусть бледнолицый отвечает ясно: его спрашивает вождь, — заметил Черный Олень, нахмутив брови.

— Я сам этого желаю, — отвечал дон Рамон примирительным тоном, — расспрашивайте меня.

— Куда едет бледнолицый?

— Куда я еду? Право я сам не знаю; я ведь у вас в плену и вы решите куда мне деваться; только тогда, как вы меня остановили, я приготовлялся переехать через Биобио.

— Хорошо! А потом?

— О! Тогда я поторопился бы на мою ферму, которую я никогда не должен был оставлять.

— Конечно, бледнолицему дано какое-нибудь поручение от воинов его народа?

— Мне? — отвечал сенатор самым развязным тоном, какой только он мог принять, но невольно краснея. — Кто мог дать мне поручение; я бедный, ничтожный человек.

— Хорошо, — сказал Черный Олень, — брат мой защищается искусно... он очень хитер.

— Уверяю вас, вождь, — отвечал сенатор скромно.

— Где письмо?

— О каком письме говорите вы?

— О том, которое вы должны передать вождю Кончепчона.

— Я?

— Да.

— У меня нет письма.

— Брат мой говорит хорошо; воины окасские не женщины; они умеют открывать то, что хотят от них скрыть; пусть брат мой сойдет с лошади.

Дон Рамон повиновался. Всякое сопротивление было невозможно; впрочем, он ни в каком случае не осмелился бы защищаться. Едва дон Сандиас сошел с лошади, ее увели, и несчастный вздохнул, расставаясь с нею.

— Пусть бледнолицый следует за мной, — сказал Черный Олень.

— Гм! — спросил дон Рамон. — Куда же идем мы таким образом?

— К токи и к Великому Орлу белых.

«Э! — подумал дон Рамон, — дело портится; едва ли мне удастся легко выпутаться».

Воины углубились со своим пленником в кустарник, покрывавший подошву холма. Через четверть часа до-

вольно трудной ходьбы они пришли в лагерь. Бустаменте и Антинагюэль прогуливались и разговаривали.

— Это кто такой? — спросил Бустаменте.

— Пленник, — отвечал Черный Олень.

— Э! Да это мой почтенный друг дон Рамон! — сказал Бустаменте, узнав сенатора. — По какому счастливому случаю вы попали в эти места?

— Действительно счастливый случай, потому что я встретил вас, генерал, — отвечал сенатор с принужденной улыбкой, — однако, признаюсь, я этого не ожидал.

— Как же так! Разве вы не меня искали здесь? — спросил генерал насмешливым тоном.

— Сохрани меня Бог! — вскричал сенатор. — То есть, — спохватился он, — я не надеялся иметь счастья встретить вас.

— Скажите же, пожалуйста, куда же это вы ехали?

— Я возвращался домой.

Бустаменте и Антинагюэль обменялись шепотом несколькими словами.

— Пойдемте с нами, дон Рамон, — продолжал Бустаменте, — токи желает говорить с вами.

Это приглашение было приказанием; дон Рамон это понял и отвечал:

— С удовольствием.

Проклиная свою несчастную звезду, он пошел за Бустаменте и Антинагюэлем в палатку, где уже находились Красавица и донна Розарио. Воины, которые привели сенатора, остались за палаткой, готовые исполнить приказания, которые им дадут.

— Итак, вы говорили, что едете домой? — начал Бустаменте, когда они вошли в палатку.

— Да, генерал.

— Очень хорошо; вы ехали на свою ферму?

— Увы! Точно так, генерал.

— Отчего же вы вздыхаете? Кажется, никто не мешает вам продолжать ваше путешествие.

— Вы думаете? — с живостью спросил сенатор.

— Это зависит единственно от вас.

— Как это?

— Отдайте только нам приказ, который дон Тадео поручил вам отвезти Фуэнтесу.

— О каком приказе говорите вы, генерал?

— О том, который находится у вас.

— У меня?

— У вас.

— Вы ошибаетесь, генерал; мне не дано никакого поручения к Фуэнтесу.

— Вы думаете?

— Я знаю наверно.

— Однако ж токи утверждает противное. Что вы скажете на это, вождь?

— Этот человек лжет; у него должно быть письмо, — сказал Антинагюэль.

— В этом легко удостовериться, — холодно сказал Бустаменте. — Черный Олень, друг мой, пожалуйста, повесьте этого кабальеро за ноги на первом дереве, и пусть он висит до тех пор, пока не согласится отдать ту бумагу, которая поручена ему.

Сенатор задрожал.

— Я должен заметить вам, — продолжал Бустаменте, — что мы не будем нескромны и не станем обыскивать вас.

— Но уверяю вас, что у меня нет приказа.

— Ба! Я уверен, что вы его найдете; ничто так не располагает к откровенности как виселица, вы увидите.

— Пойдемте, — сказал Черный Олень, ударив сенатора по плечу.

Дон Рамон задрожал от страха; все мужество оставило его.

— Я теперь припоминаю... — пролепетал он.

— Что?

— Что везу письмо...

— Я ведь вам говорил...

— Но, право, я не знаю, что в нем заключается.

— Еще бы! К кому оно?

— Кажется, к генералу Фуэнтесу.

— Ну, вот видите...

— Но если я отдам вам эту бумагу, буду ли я свободен? — спросил дон Рамон нерешительно.

— А! Положение теперь переменилось. Если бы вы отдали письмо охотно, я мог бы поручиться вам за вашу свободу, но теперь вы понимаете...

— Однако...

— Дайте, дайте письмо...

— Вот оно, — сказал сенатор, вынимая бумагу из-за пазухи.

Бустаменте взял приказ дона Тадео, быстро прочитал его, потом отвел Антинагюэля на другой конец палатки, и оба разговаривали несколько минут шепотом. Наконец Бустаменте воротился к сенатору, брови его были нахмурены, физиономия строгая. Дон Рамон испугался, сам не зная почему.

— Несчастный, — грубо сказал ему Бустаменте, — так-то вы мне изменяете после доказательств дружбы, которые я дал вам, и доверия, которое я вам оказывал!

— Уверяю вас, генерал... — пролепетал несчастный сенатор, помертвев.

— Молчи, презренный шпион, — продолжал Бустаменте громовым голосом, — ты хотел продать меня моим врагам, но Господь не допустил, чтобы такой черный план исполнился! Час наказания пробил для тебя! Поручи свою душу Богу!

Сенатор был уничтожен; он вовсе не ожидал такой развязки и не имел даже силы отвечать.

— Уведите этого человека! — сказал Антинагюэль.

Бедный сенатор напрасно вырывался из рук индейских воинов, которые грубо схватили его и потащили из палатки, несмотря на его крики и просьбы.

Черный Олень отвел его к огромному дереву, густые ветви которого далеко бросали тень. Там дон Рамон сделал последнее усилие, вырвался из рук его остолбеневших стражей и бросился как сумасшедший с крутого ската горы. Куда он бежал? Он сам не знал. Он бежал, не отдавая себе отчета, подгоняемый страхом смерти.

Но этот безумный бег продолжался только несколько минут и истощил его силы. Когда индейские воины успели схватить его, а это было для них нетрудно, он почти был уже мертв. Вытаращив глаза, смотрел он и ничего не видел, не понимая что происходит вокруг него; только один нервный трепет показывал, что он еще жив.

Воины набросили на шею несчастного аркан и вздернули его на дерево. Он не делал ни малейшего сопротивления. Он был уже мертв, когда его повесили. Его убил испуг.

Судьбе было угодно, чтобы бедный дон Рамон Сандиас, жертва безумного честолюбия, никогда не увидел своей фермы!

Совет

Трагический конец сенатора был следствием его известного малодушия. Если бы Бустаменте мог положиться на его слово, он немедленно освободил бы его. Но прежде всего потребовано было, чтобы тайна экспедиции была сохранена, потому что от этого зависел успех предприятия, а если бы дону Рамону возвратили свободу, он непременно при угрозах открыл бы при первом случае все, что знал.

С другой стороны, армия в походе, принужденная быстро переноситься с места на место, не могла взять на себя стеснительного пленника, который каждую минуту мог убежать. Наконец Бустаменте рад был бросить несчастного в жертву своим свирепым союзникам, чтобы обеспечить себе подобным доказательством уступчивости их преданное содействие.

В силу всех этих причин дон Рамон был повешен.

Тотчас после казни сенатора, созвали вождей на совет, который должен был происходить в центре лагеря перед палаткой токи.

Скоро человек тридцать ульменов и апо-ульменов собрались в назначенное место. Они с важностью уселись на бычьих черепах, которые заменяли стулья, и бесстрастно ждали, чтобы токи явился на совет.

Антинагюэль не замедлил прийти вместе с Бустаменте. При виде токи вожди встали, почтительно поклонились ему и сели на свои места. Антинагюэль держал в руке письмо, взятое у дона Рамона. Он церемонно отвечал на поклон вождей и сказал:

— Ульмены, апо-ульмены и вожди четырех уальмапусов ароканской конфедерации, я созвал вас затем, чтобы сообщить вам содержание письма, отнятого у шпиона, который по моему приказанию казнен. Это письмо должно изменить, как мне кажется, распоряжения, сделанные нами для набега. Наш союзник Великий Орел белых прочтет вам это письмо; пусть брат мой читает, — прибавил он, обращаясь к Бустаменте и подавая ему письмо.

Бустаменте, неподвижно стоявший возле Антинагюэля, взял письмо и прочел его громко. Вот что в нем заключалось:

«Любезный генерал!

Я представлял совету, собравшемуся в Вальдивии, возражения, которые вы сочли долгом сделать мне на счет плана кампании, сначала принятого мной; эти возражения найдены справедливыми и потому первоначальный план был изменен, то есть, соединение наших двух армий найдено бесполезным. Продолжайте же защищать провинцию Кончепчон, не переходя за Биобио, до нового распоряжения; я же со своей стороны с семью тысячами, собранными мной, пойду на Ароко, овладею им и уничтожу его, точно так как и все другие ароканские города на моем пути. Этот план представляет нам тем более возможности на успех, что по донесению верных шпионов, неприятель находится в обманчивой беспечности насчет наших передвижений; вместо того, чтобы защищаться, враги убеждены, что могут безопасно напасть на нас. Человек, который привезет к вам этот приказ, хорошо известен вам; самая его ничтожность доставит ему средства пробраться сквозь неприятельские ряды. Невозможно, чтобы ароканы стали подозревать, чтобы такой неспособный человек вез такой важный приказ. Освободитесь от этого человека, отослав его домой с приказанием не выезжать из его фермы без позволения подписанного мной.

Молю Бога, генерал, чтобы он сохранил вас для спасения Чили.

Дон Тадео де Леон,

диктатор, главнокомандующий чилийской армией».

Чтение этого документа было выслушано вождями с глубоким вниманием. Когда Бустаменте кончил, Антинагюэль заговорил:

— Письмо написано особенными знаками, которые бледнолицый брат наш может разобрать; что думают ульмены об этом приказе? Я готов выслушать их замечания.

Один из старых токи, старик почтенный, одаренный большой проницательностью и пользовавшийся репутацией человека мудрого и опытного, встал посреди всеобщего безмолвия.

— Бледнолицые очень хитры, — сказал он, — это лисицы по хитрости и ягуары по свирепости. Этот приказ не что иное, как сети, расставленные окасам для того, чтобы они оставили грозную позицию, занимаемую ими; но воины окаские мудры: они посмеются над хитростями инков и будут стеречь Биобию; от взятия этого поста зависит успех войны. Сообщения белых перерезаны, так как змея, тело которой было разрублено топором; они напрасно стараются соединить различные куски своей армии; они этого не достигнут. Окасы должны сохранить занимаемую ими позицию. Я сказал. Хорошо ли я говорил, могущественные люди?

Эта речь, произнесенная твердым голосом одним из вождей самых уважаемых, произвела некоторый эффект на членов собрания.

— Вождь хорошо говорил, — подтвердил Бустаменте, желавший прежде всего, чтобы его план вторжения был исполнен, — я совершенно согласен с его мнением.

Другой вождь встал и заговорил в свою очередь:

— Белые очень хитры, так, как сказал отец мой; это лисицы, но без всякого мужества, они только умеют убивать женщин и детей и бегут при виде воина окаского; однако ж это письмо говорит правду и в точности передает их мысль; и выражения этого письма, и человек, выбранный для того, чтобы отвезти его, все убеждает меня в том мнении, что это письмо справедливо. Токи вероятно разослал шпионов во все стороны, чтобы разузнать передвижения бледнолицых; подождем же их возвращения; известия, которые они принесут нам, покажут — справедливо или ложно это письмо. Вожди, у всех нас есть жены и дети; прежде всего мы должны позаботиться об их безопасности; мы не можем предпринять набег на неприятельскую землю, оставив позади себя беззащитных родственников и друзей; притом вы видите, тайна нашего предприятия известна; инки осте-

регаются; будем и мы осторожны, вожди, не бросимся в сети, воображая, что расставляем их для наших врагов. Я сказал; пусть братья мои размышляют. Хорошо ли я говорил, могущественные люди?

Вождь сел. За речью его последовало величайшее волнение. Часть членов совета соглашалась с его мнением, тем более, что ароканы питают к своим семействам глубокую привязанность. Мысль оставить своих родных и друзей, подверженных бедствиям войны, погружала их в чрезвычайное беспокойство.

Бустаменте жадно следовал за различными мнениями совета: он понимал, что если вместо назначенного вторжения вожди решатся отступить назад, на успех их предприятия не будет никакой надежды; поэтому он заговорил:

— Брат мой говорил справедливо, но его мнение основывается на одном предположении; белые не располагают такими значительными силами, чтобы предпринять нападение на ароканскую землю; они только пройдут ее, чтобы лететь на помощь самым богатым своим провинциям, которым угрожает опасность. Пусть мои братья оставят в лагере тысячу решительных воинов, чтобы преградить им путь, а по наступлении ночи пусть смело перейдут через Биобио; я ручаюсь за успех; они придут в Сантьяго, разогнав перед собой испуганный народ. Я уверен, что приказ, отнятый у шпиона, ложный и что генерал Фуэнтес не знает, как близко находимся мы от него; наш успех зависит от быстроты наших движений: колебаться — значит все подвергнуть опасности; отступить — значит все потерять; идти вперед, напротив, значит обеспечить победу! Я сказал. Хорошо ли я говорил, могущественные люди?

— Брат мой воин искусный, — сказал Антинагюэль, — план, предлагаемый им, показывает его опытность. Так же как и он, я думаю что, то письмо ложное и что не занимаясь неприятелем, слишком отдаленным и слишком слабым, чтобы вредить нам, мы должны в эту же ночь напасть на область белых.

Бустаменте вздохнул свободно; дело его было выиграно. Все вожди разделили мнение Антинагюэля.

Вдруг Черный Олень, вице-токи, явился в собрание и, казалось, с трудом обуздывал сильное волнение.

— Что случилось? — спросил его токи.

— Несколько шпионов воротились, — отвечал Черный Олень.

— Ну! — спросил токи резким голосом. — Какое известие принесли они?

— Все говорят, что значительные силы с пушками напали на Ароко.

При этих словах все собрание остолбенело.

— Это еще не все, — продолжал Черный Олень.

— Пусть брат мой говорит, — сказал Антинагюэль, движением руки заставив замолчать вождей.

— Послушайте, — начал Черный Олень мрачным голосом, — Илликура, Короа, Пагтольтен были преданы пламени, а жители изрублены; другой корпус, еще значительнее первого, действует в низменной области точно таким же образом, как первый в приморской; вот какие известия привезли шпионы. Я сказал.

Чрезвычайное волнение овладело ульменами, раздались крики бешенства и отчаяния.

Антинагюэль напрасно старался восстановить порядок в совете; наконец тишина и безмолвие снова воцарились. Тогда вождь, уже раз советовавший отступление, заговорил:

— Чего вы ждете, вожди? — вскричал он с горячностью. — Разве вы не слышите криков ваших жен и детей, умоляющих о помощи? Разве вы не видите пламени, пожирающего ваши жилища и истребляющего ваши жертвы? К оружию! Воины, к оружию! Не на неприятельскую землю надо нападать, а свою землю надо защищать! Нерешимость — преступление; кровь ароканская, пролитая потоками, вопиет о мщении! К оружию! К оружию!

— К оружию! — заревели воины, вскакивая все вдруг.

Наступила суматоха, которую невозможно описать: это был невыразимый хаос. Бустаменте ушел в палатку, страшно огорченный.

— Ну! — спросила его Красавица, когда он вошел. — Что случилось? Что значат эти крики, этот ужасный шум? Не возмутились ли индейцы против своих вождей?

— Нет, — отвечал Бустаменте с отчаянием, — дон Тадео, этот демон, ожесточенно ищущий моей гибели, расстроил все мои планы, я погиб; индейская армия отступает.

— Отступает? — вскричала Красавица, с бешенством бросившись к Антинагюэлю, который входил в эту минуту в палатку, она сказала ему запальчиво. — Как? Вы! Вы! Вы бежите! Вы признаете себя побежденным! Дон Тадео, палач вашего семейства идет против вас, а вы испугались! Трус! Трус! Наденьте юбку! Вы не воин! Вы не мужчина! Вы старая баба!

Токи оттолкнул ее с движением крайнего презрения.

— Женщина, ты с ума сошла! — сказал он ей. — Что может один человек против рока? Я не бегу от моего врага, а иду к нему навстречу; на этот раз, если бы мне даже пришлось одному напасть на него, мы встретимся лицом к лицу! Моя сестра не может оставаться здесь, — сказал он донне Розарио кротким голосом, — лагерь снимается; она и донна Мария поедут с воинами, которым будет поручено защищать их обеих.

Молодая девушка пошла за ним, ничего не отвечая. Через несколько минут лагерь был снят и окасы оставили неприступную позицию, столь искусно выбранную их вождем.

По настоятельной просьбе Бустаменте Антинагюэль согласился оставить Черного Оленя с восемьюстами избранных воинов, чтобы защищать проход через Биобио на тот случай, если бы чилийцы вздумали перейти через реку.

При последних лучах заходящего солнца ароканская армия исчезла в долине, поднимая облака пыли, летевшие к небесам. Антинагюэль шел к долине Кондорканки, которой надеялся достигнуть прежде чилийцев и изрубить их, не давая им времени выстроиться в ряды.

Черный Олень был благоразумный вождь и понимал всю важность вверенного ему поста. Как только настала ночь, он разослал по всем направлениям лазутчиков, чтобы следить за движениями неприятеля по берегам реки. Подчиняясь невольно влиянию донесения шпионов, он в первую минуту советовал отступление, но по некотором размышлении начал подозревать военную хитрость. Поэтому он удваивал бдительность, чтобы избежать нечаянного нападения.

Подозрения не обманули его: в двенадцатом часу ночи лазутчики наскоро явились с уведомлением, что длинный ряд всадников с чилийского берега тянется к броду как огромная змея. Луна, взошедшая в эту мину-

ту, рассеяла все сомнения, сверкнув своими серебристыми лучами на чилийских копьях.

У Черного Оленя было только двести пятьдесят воинов, вооруженных ружьями. Он поставил их в первом ряду на берегу и велел поддерживать их копьяносцам. Но если ослепительный свет луны позволит ему легко различить движения неприятеля, зато он точно так же доставлял неприятелю возможность видеть его движения.

Когда неприятель начал переправляться через реку, воины окаские выстрелили в него залпом. Несколько человек упало. Но в ту же минуту четыре пушки с другого берега, заряженные картечью, посеяли смерть и испуг между индейцами. Окасы, убиваемые градом картечи, напрасно старались снова выстроиться. Новый залп еще более расстроил их ряды.

В это время многочисленный чилийский отряд, переправившись вброд, бросился на индейцев с невероятным бешенством. Борьба была неравная. Окасы, несмотря на свое мужество, были принуждены отступить, оставив на берегу около двухсот трупов.

Напрасно старались они встать в оборонительное положение: преследуемые отовсюду, они должны были вместо правильного отступления обратиться в бегство и, несмотря на усилия Черного Оленя, который дрался как лев, разбежались по всем направлениям, оставив неприятелю поле битвы.

План, задуманный доном Тадео, совершенно удался. Армия генерала Фуэнтеса перешла за Биобио и напала на ароканскую область. Благодаря хитрости, употребленной диктатором, чилийцы овладели крепкой позицией, на которой должен был решиться вопрос о победе, и окасы вместо того, чтобы внести войну в Чили, как намеревались, были принуждены защищаться на своей территории. Теперь кампания могла кончиться одним сражением.

Человеческое жертвоприношение

Армия под командой генерала Фуэнтеса состояла из двух тысяч человек пехоты, восьмисот кавалеристов и шести пушек. Это была сила страшная в той стране, где народонаселение весьма немногочисленно и где часто с величайшим трудом собирают армии вполосину меньшие по численности.

Освободив берег от беглецов, Фуэнтес расположился лагерем, решившись дать своему войску отдохнуть несколько часов, прежде чем оно должно было соединиться с доном Тадео.

В ту минуту, когда, сделав последние распоряжения, генерал входил в свою походную палатку, к нему подошел индеец.

— Чего вы хотите, Жоан? — спросил он.

— Великому вождю Жоан уже не нужен; он хочет воротиться к тому, кто послал его.

— Вы свободны, друг мой; однако ж я думаю, что вам лучше следовать за армией.

Индеец покачал головой.

— Я обещал моему отцу немедленно воротиться, — сказал он.

— В таком случае, поезжайте; я не могу и не хочу вас удерживать; вы перескажете все, что видели; письмо может повредить вам в случае неожиданного нападения.

— Я сделаю все, что мне приказывает великий вождь.

— Счастливого пути, только берегитесь попасть в руки неприятеля.

— Жоан осторожен...

— Прощайте же, друг мой, — сказал Фуэнтес, делая прощальный знак индейцу и входя в свою палатку.

Жоан воспользовался данным ему позволением и немедленно оставил лагерь. Ночь была темная, луна была закрыта густыми тучами. Индеец с трудом шел в темноте. Часто он был вынужден возвращаться назад и делать большие обходы, чтобы избегнуть мест, которые считал опасными. Он шел, так сказать, ощупью до самого рассвета. При первых лучах дневного светила, он проскользнул как змея в высокой траве, поднял голову и невольно задрожал. Впотьмах он прямо попал в ароканский лагерь, в отряд Черного Оленя, который наконец успел собрать своих воинов и в эту минуту составлял арьергард ароканской армии, бивуачные огни которой дымились на горизонте мили за две.

Но Жоан нелегко приходил в отчаяние. Он увидел, что часовые еще его не заметили и надеялся выйти цел и невредим из беды, в которую попал. Он не обманывал себя насчет своего критического положения; но оценив его хладнокровно, решился выпутаться из беды и тотчас же принял для того все необходимые меры.

После нескольких минут размышления, он пополз в противоположную сторону, останавливаясь иногда затем, чтобы прислушаться. Все шло хорошо несколько минут. Ничто не шевелилось. Глубокая тишина продолжала господствовать в долине. Жоан вздохнул свободно. Еще несколько минут и он был спасен.

К несчастью, в эту минуту случай свел его лицом к лицу с Черным Оленем, который как бдительный вождь, осматривал посты. Вице-токи повернул к нему свою лошадь.

— Брат мой устал; он уже давно скользит в траве как ехидна, — сказал он Жоану ироническим голосом, — пора ему переменить положение.

— Я это и сделаю, — отвечал Жоан без малейшего смущения.

И прыгнув как пантера, он вскочил на лошадь Черного Оленя и схватил его поперек тела, прежде чем тот успел догадаться о его намерении.

— Ко мне! Ко мне! — вскричал Черный Олень громким голосом.

— Еще слово и ты умрешь! — сказал ему Жоан тоном угрозы.

Но было поздно. Крик вождя был услышан, толпа воинов спешила к нему на помощь.

— Трусливая собака! — вскричал Жоан, увидев себя погибшим, но еще не отчаиваясь. — Умри же!

Он воткнул свой отравленный кинжал между плеч Черного Оленя и бросил его с лошади на землю; изгибаясь в конвульсиях агонии, Черный Олень умер, как бы пораженный громом.

Жоан приподнял коленами свою лошадь и пустил ее во весь опор на тех, которые преграждали ему путь. Эта попытка была безумна. Один из окасских воинов прицелился в него из ружья, и лошадь повалилась на землю с разбитым черепом, увлекая в своем падении и всадника. Двадцать окасов бросились на Жоана и связали его, прежде чем он успел сделать какое-либо движение в свою защиту.

Однако Жоан спрятал кинжал, которого индейцы даже не искали, в том убеждении, что пленник бросил свое оружие.

Смерть Черного Оленя, одного из самых уважаемых воинов, произвела величайшее смятение между ароканами. Один ульмен немедленно принял начальство вместо него. Жоана и одного чилийского солдата, захваченного в плен в предыдущей битве, отослали в лагерь Антинагюэля.

Токи очень был огорчен, получив известие о смерти Черного Оленя; он потерял не только друга, он лишился помощника.

Происшествия этой ночи распространили испуг в рядах индейцев. Чтобы подкрепить мужество своих воинов, Антинагюэль решился сделать пример и принести в жертву пленных Гекубу, духу зла. Эти жертвоприношения, мы должны признаться, ныне становятся все реже и реже между окасами, но они должны иногда прибегать к ним, когда хотят поразить ужасом своих врагов и доказать им, что решились вести с ними беспощадную войну.

Время уходило; армия должна была идти вперед, и потому Антинагюэль приказал, чтобы жертвоприношение было совершено без всякого отлагательства.

На некотором расстоянии от лагеря главные ульмены и воины составили круг, в центре которого был воткнут предводительский топор токи. Пленники были привезены

из презрения на лошадях без хвоста и без ушей. Жоан, как самый виновный, должен был подвергнуться смерти последний, для того, чтобы он мог быть свидетелем казни своего товарища и таким образом заранее предвкусить ожидавшую его участь. Однако ж, несмотря на то, что в эту роковую минуту все как будто оставили мужественного индейца, он не оставлял надежды на спасение.

Пленный чилиец был храбрый солдат, хорошо знавший ароканские нравы, а следовательно и участь, ему назначенную, и при всем том решившийся умереть мужественно.

Несчастливого сняли с лошади и поставили возле топора, повернув лицом к чилийским границам, чтобы он почувствовал более сожаления, переносясь мыслью в свое отечество, которого не должен был увидеть никогда. Ему дали в руку связку маленьких палочек и одну большую острую палку, которой он должен был рыть яму и втыкать в нее одну за другой маленькие палочки, произнося имена ароканских воинов, убитых им во время его жизни.

На каждое слово, которое произносил солдат, прибавляя к нему эпиграмму на своих врагов, окасы отвечали страшными проклятиями. Когда все палочки были воткнуты, Антинагюэль подошел к своей жертве и сказал:

— Инок храбрый воин; пусть он засыплет эту яму землей, чтобы слова и мужество, которые он выказывал во время своей жизни, остались погребены на этом месте.

— Хорошо, — отвечал солдат, — но скоро вы узнаете, что чилийцы имеют еще более храбрых солдат нежели я!

И он беззаботно засыпал яму землей. Токи сделал ему знак стать возле топора. Солдат повиновался. Антинагюэль поднял свою палицу и разбил ему череп. Несчастный упал, но еще не умер и судорожно изгибался. Тогда два колдуна бросились на него, разрезали ему грудь и вырвали сердце, которое подали, еще трепещущее, токи. Антинагюэль высосал из него кровь, потом передал ульменам; они по очереди последовали его примеру.

В это время воины бросились на труп и изрубили его в несколько минут; сделав дудки из костей убитого, они взялись за руки и, воткнув его голову на пику, начали плясать, распевая страшную песню, которой аккомпанировали этими ужасными дудками.

Последние сцены этой варварской драмы упоили окасов свирепой радостью; они вертелись и ревели как безумные, забыв второго пленника, которому предстояла такая же участь.

Но Жоан не дремал, несмотря на свою бесстрастную наружность; в то время, когда страшная сатурналия достигла высшей степени восторга, он счел минуту благоприятной, кольнул свою лошадь и ускакал во весь опор по долине.

Несколько минут в стане ароканов происходил неописанный беспорядок, которым Жоан искусно воспользовался, чтобы еще более увеличить быстроту бега своей лошади. Наконец окасы опомнились от изумления, которое причинила им его отчаянная решимость спасти свою жизнь, и бросились за ним в погоню.

Жоан все скакал. Он скоро приметил с испугом, что расстояние между ним и догонявшими все уменьшалось ужасным образом. Ему попалась жалкая кляча, которая едва дышала, между тем как окасские воины были на быстрых скакунах. Он понял, что если будет продолжать скакать на лошади, то неминуемо погибнет.

Проезжая мимо пригорка, который был так крут, что лошади не могли ехать по нему, Жоан с быстротой соображения храбрых людей угадал, что это место представляло единственную возможность на спасение и приготовился к последнему усилию. Он направил свою лошадь как можно ближе к пригорку и приподнялся на ней стоя.

Окасы между тем догоняли беглеца с громкими криками. Еще несколько минут и он попал бы в их руки. Вдруг, схватив толстую ветвь дерева, наклонившуюся над долиной, он вскарабкался на нее с ловкостью и проворством кошки, оставив лошадь одну продолжать свой бег.

Воины вскрикнули от восторга и досады при виде такой штуки. Лошадей своих, скакавших во всю прыть, они не успели остановить, и это дало неустрашимому индейцу время углубиться в кустарник и взобраться на вершину горы.

Однако ж окасы не отказались от надежды захватить своего пленника. Они бросили лошадей у подошвы горы, и человек десять из них самых проворных и бойких пустились по следам Жоана. Но перед ним теперь было свободное пространство. Он продолжал бежать на гору, цепляясь руками и ногами и останавливаясь только на

самое необходимое время, чтобы перевести дух. Трепет ужаса пробегал по его членам; он видел, что эта сверхъестественная борьба, которую он поддерживал так энергически, окончится его пленом.

Преследователи скоро переменили тактику; вместо того, чтобы бежать всем по его следам, они рассеялись и составили широкий круг в виде веера. Жоан составлял центр круга, который все более и более суживался около него. Все было кончено; несчастный непременно должен был попасть в руки врагов как муха в паутину. Он понял, что более продолжительная борьба была бесполезна, что на этот раз он действительно погиб. Намерение его было принято тотчас. Он прислонился к дереву, вынул из-за пазухи кинжал и решился убить как можно более врагов и наконец умертвить самого себя, когда многочисленность их одолеет его.

Окасы прибежали, запыхавшись, махая копьями и палицами с криками торжества. Приметив Жоана, который устремил на них сверкающие глаза, воины остановились на секунду, как бы совещаясь между собой, потом бросились на него все вдруг. Они уже были от него шагах в пятидесяти.

В эту минуту Жоан вдруг услышал голос, тихий как дыхание, который произнес ему на ухо.

— Опустите голову.

Он повиновался, не давая себе отчета в том, что происходит вокруг него и кто ему шепнул эти слова. Раздались четыре выстрела, и четыре индейских воина покатались мертвые на землю.

Опомнившись от этой неожиданной помощи, Жоан прыгнул вперед и заколол одного противника, между тем как четыре новых выстрела положили еще четверых окасов на землю. Остальные из преследователей, испугавшись, в беспорядке бросились с горы и исчезли с криками ужаса.

Жоан был спасен. Он осмотрелся вокруг, чтобы узнать, кому обязан был своей жизнью. Валентин, Луи и два индейских вождя были возле него. Цезарь душил окаса, извивавшегося в последних конвульсиях агонии.

Четверо друзей издали наблюдали за лагерем ароканов, были свидетелями отчаянного побега Жоана и храбро подоспели к нему на помощь, когда он уже думал, что ему осталось только умереть.

— Э! Друг, — смеясь, сказал ему Валентин, — удачно отделались вы! Еще немножко и вы попались бы опять!

— Благодарю, — сказал Жоан с волнением, — я уже не считаю с вами!

— Я думаю, что мы хорошо сделаем, если укроемся в безопасное место, — заметил Луи, — ароканы не такие люди, чтобы не постарались отомстить.

— Дон Луи прав, — подтвердил Трангуаль Ланек, — надо уйти немедленно.

Все пятеро углубились в горы; но напрасно опасались они нападения. По преувеличенному донесению о числе врагов, которое воины, избежавшие пуль французов, сделали Антинагюэлю, он вообразил, что эта позиция занята сильным отрядом чилийской армии, и вследствие того рассудив, что занимаемый им пост был неблагоприятен для сражения, велел снять лагерь и удалился в противоположную сторону от авантюристов.

Курумилла, оставшись в арьергарде, уведомил своих друзей о том, что происходило. Те воротились назад и, стараясь быть незаметными, издали следовали за индейской армией.

Как только друзья расположились бивуаком на ночь, Валентин спросил Жоана, по какому стечению необыкновенных обстоятельств они могли оказать ему такую важную услугу. Жоан рассказал им по порядку происшествия, случившиеся после того как он их оставил, чтобы отправиться в Вальдивию к дону Тадео.

На рассвете, с письмом от Луи к Королю Мрака, он оставил друзей своих, чтобы как можно скорее соединиться с чилийской армией и сообщить дону Тадео известия, которых тот ожидал, чтобы согласовать свои движения с движениями Фуэнтеса.

Король Мрака

Дон Тадео действовал искусно и с величайшей быстротой. Распространив левый фланг к морю и направляясь на Ароко, столицу конфедерации, он растянул правый фланг вдоль гор, чтобы перерезать сообщение неприятелю, который таким образом вследствие соединения дона Тадео с Фуэнтесом, находился между двух огней.

Сначала в план его входило фальшивое нападение на Ароко, который, как он предполагал, вероятно был снабжен войском для безопасности. Но отряд, посланный к этому городу, нашел его беззащитным, почти оставленным жителями, и овладел им без сопротивления.

Дон Тадео велел сделать в этом городе несколько укреплений и, оставив в нем гарнизон в триста человек, продолжал идти вперед, распространяя свою линию от моря до гор, разрушая и сжигая деревни, которые встречал на пути, и гоня перед собой испуганный народ.

Это быстрое шествие навело страх на всю страну; Антинагюэль, обманутый ложным письмом, отнятым у дона Рамона, сделал непростительную ошибку, оставив свою позицию у Биобио и таким образом предоставив Фуэнтесу свободный проход и полную возможность напасть на Ароканию.

Бустаменте с отчаянием видел ошибки токи, которые тот понял тогда уже, когда было слишком поздно поправить их. Бустаменте не обманывал себя относительно безнадежности своего положения. Он понимал, что ему остается только храбро умереть с оружием в

руках и что всякая надежда захватить опять власть исчезла навсегда.

Донна Мария, эта женщина, которая была его злым гением, которая повергла его в бездну, первая раздвиг в нем честолюбие, которого он прежде не знал, бросила его теперь и даже не думала говорить ему тех пошлых утешений, которые, если и не достигают предположенной цели, по крайней мере доказывают тем, кто служит их адресатом, что ими занимаются и принимают участие в их горестях.

Куртизанка, отдавшись всецело своей ненависти, думала только об одном — как еще более усилить мучения донны Розарио, которую Антинагюэль, поглощенный непрерывными заботами войны, поручил ей.

Несчастливая молодая девушка, преданная неограниченной власти этой мегеры, терпела ужасную муку каждую минуту, каждую секунду, не находя возле себя никого, кто заступился бы за нее или только бы принял бы участие в ее страданиях.

Между тем события следовали одно за другим, катастрофа была неизбежна. Мы уже говорили прежде, что Чили страна неблагоприятная для междоусобной войны: на этой плоской и узкой земле две армии, маневрирующие одна против другой, непременно скоро должны были встретиться, и потому первое же столкновение могло быть решающим.

И на этот раз должно было случиться то же самое. Антинагюэль хотел уйти в горы, но все его усилия были напрасны; он попал именно в то положение, которого хотел избежать, то есть очутился между тремя корпусами чилийской армии, которые мало-помалу окружали его и наконец поставили в неприятную необходимость сражаться не на своей земле, но на той, какую заблагорассудит выбрать неприятель.

Дон Грегорио Перальта закрывал ему путь с моря, дон Тадео со стороны Ароко, а Фуэнтес защищал горы и Биобио.

Марши и контр-марши, посредством которых дон Тадео достиг этого результата, продолжались недели две, но во все это время происходили только легкие стычки на аванпостах, а серьезной битвы не было. Дон Тадео хотел нанести сильный удар и кончить войну одним сражением.

Наконец в один день ароканы и чилийцы сошлись так, что воины обеих армий находились друг от друга на ружейный выстрел. Сражение должно было непременно произойти на другой же день.

Дон Тадео заперся в своей палатке с доном Грегорио Перальта, Фуэнтесом и другими генералами своего штаба и отдавал им последние приказания, как вдруг послышался звук труб. Чилийцы тотчас отвечали; в палатку вошел адъютант и доложил, что великий токи ароканов просит свидания с главнокомандующим чилийской армии.

— Не соглашайтесь, дон Тадео, — сказал генерал Фуэнтес, старый солдат в войне за независимость, который терпеть не мог индейцев, — эти демоны наверно придумали какую-нибудь хитрость.

— Я не разделяю вашего мнения, генерал, — отвечал диктатор, — как вождь, я должен стараться насколько возможно, не допустить пролития крови; это мой долг и я его не нарушу; впрочем, так как человеколюбие не исключает осторожности, я не мешаю вам принять меры, которые вам покажутся необходимыми, чтобы обеспечить нашу безопасность.

— Если бы вы и захотели нам помешать, мы все-таки приняли бы предосторожности, даже против вашей воли, — сказал дон Грегорио угрюмым тоном.

И он вышел, пожимая плечами.

Место, выбранное для совещания, была небольшая возвышенность, как раз между двумя лагерями. Чилийские и ароканские знамена были воткнуты в двадцати шагах одно от другого; с одной стороны этих знамен встали сорок окасских копыеносцев, а с другой такое же число чилийских солдат, вооруженных ружьями.

Когда были приняты различные предосторожности, дон Тадео с двумя адъютантами подошел к Антинагюэлю, который шел к нему навстречу с двумя ульменами.

Дойдя до знамен, оба вождя приказали офицерам остановиться и сошлись на некотором расстоянии от своих солдат. Оба они рассматривали друг друга с минуту, не говоря ни слова. Антинагюэль первый прервал молчание:

— Окасы знают и уважают моего отца, — сказал он, вежливо кланяясь, — им известно, что он добр и любит своих индейских детей; между ним и его сыновьями поднялась туча; неужели невозможно разогнать ее, неужели

непременно нужно, чтобы кровь двух великих народов потекла как вода из-за одного недоразумения? Пусть отвечает мой отец.

— Вождь, — сказал дон Тадео, — белые всегда покровительствовали индейцам; часто они давали им оружие для защиты, хлеб для пищи и теплую одежду для зимы, когда снег, падающий с неба хлопьями, мешает солнцу нагревать землю; но ароканы неблагодарны; когда пройдет несчастье, они забывают оказанную услугу: зачем теперь они подняли оружие против белых? Разве белые их оскорбили, отняли от них скот и вытоптали их поля? Нет! Ароканы обманщики. Месяц тому назад в окрестностях Вальдивии токи, с которым я говорю теперь, торжественно возобновил мирный договор, который в тот же день нарушил изменой. Пусть вождь отвечает; я готов выслушать что он мне скажет в свою защиту.

— Вождь не будет защищаться, — почтительно сказал Антинагюэль, — он сознает все свои вины, он готов принять условия, какие его бледнолицему отцу угодно будет предложить ему, если только эти условия не помрачат его чести.

— Скажите мне сначала, какие условия вы предлагаете мне, вождь, я посмотрю — справедливы ли они, и должен ли я принять их, или моя обязанность принудит меня предложить вам другие.

Антинагюэль колебался.

— Отец мой, — сказал он вкрадчивым голосом, — знает, что его индейские сыновья несведущи и легковеры; к ним явился великий вождь белых и предложил им огромные области, большой грабеж и белых женщин в жены, если ароканы согласятся защищать его интересы и возвратить ему власть, которую он потерял. Индейцы — дети; они поддались прельщениям этого человека, который их обманывал, и восстали, чтобы поддерживать не-правое дело.

— Что же далее? — спросил дон Тадео.

— Индейцы, — продолжал Антинагюэль. — готовы, если отец мой желает, выдать ему этого человека, который употребил во зло их легковерие и увлек их на край пропасти; пусть говорит отец мой.

Дон Тадео с трудом удержался от движения отвращения при этом гнусном предложении.

— Вождь, — отвечал он с дурно обуздываемым негодованием, — разве такие предложения должны вы делать мне? Как! Вы хотите загладить вашу измену еще другой, более ужасной? Этот человек злодей, заслуживающий смерти, и если он попадется в наши руки, его немедленно расстреляют, но этот человек искал убежища под вашей кровлей, а права гостеприимства священны даже у окасов; выдать вашего гостя, человека, который спал в вашем доме, — как бы ни был он виновен — значит сделать низость, которую ваш народ не загладит ничем. Ароканы народ благородный, незнающий измены: никто из ваших соотечественников не мог внушить вам подобной гнусности; вы, вождь, вы один задумали это.

Антинагюэль нахмурил брови и бросил свирепый взгляд на дона Тадео, который гордо и спокойно стоял перед ним, но тотчас же, возвратив индейское бесстрашие, сказал сладкоречивым тоном:

— Я виноват, пусть отец мой простит мне; я жду условий, которые он заблагорассудит предложить мне.

— Вот эти условия: ароканская армия положит оружие; две женщины, находящиеся в вашем лагере, будут мне выданы сегодня же, а в залог прочного мира великий токи и двенадцать главных апо-ульменов, выбранных в четырех уталь-мапусах, останутся аманатами в Сантьяго до тех пор, пока я сочту нужным отпустить их.

Презрительная улыбка сжала тонкие губы Антинагюэля.

— Отец мой не хочет предложить нам менее жестоких условий? — спросил он.

— Нет, — с твердостью отвечал дон Тадео, — это единственное условие, которое вы получите от меня.

Токи выпрямился.

— Нас десять тысяч человек, решившихся умереть; отец мой не должен доводить нас до отчаяния, — сказал он мрачным голосом.

— Завтра эта армия падет под ударами моих солдат, как колос под серпом жнеца; она рассеется как сухие листья, уносимые осенним ветром.

— Послушай же, ты, предлагающий мне такие высокомерные условия, — вскричал Антинагюэль, засунув правую руку за пазуху, — знаешь ли ты кто я, который дозволил себе на миг унизиться перед тобой и которого

ты в твоей безумной гордости затоптал ногами, как ползающую собаку?

— Какое мне дело! Я удаляюсь; я не должен вас слушать.

— Слушай же... я правнук токи Кадегуаля, нас разделяет наследственная ненависть; я поклялся, что убью тебя, собака, кролик, вор!

И с движением быстрее мысли, Антинагюэль вынул спрятанную руку и поразил дона Тадео ударом кинжала прямо в грудь.

Но рука убийцы была сжата железными мускулами Короля Мрака, и оружие разбилось как стекло о кирасу, которую дон Тадео, боясь измены, надел под свою одежду. Рука токи опустилась без сил. Солдаты, бывшие свидетелями гибели, которой подвергался диктатор, поспешно подбежали. Дон Тадео остановил их знаком.

— Не стреляйте, — сказал он, — этот негодяй довольно наказан тем, что его гнусное намерение не удалось и что он наконец снял с себя личину передо мною. Ступай, убийца, — прибавил он с презрением, — воротись скрыть твой стыд среди твоих воинов, твои предки ненавидели моих предков, но это были храбрые солдаты, а ты их выродившийся сын. Я не удостаиваю тебя моей боязнью; ты слишком низок в моих глазах; оставляя тебе бесславную жизнь, я мщу сильнее, нежели мстил бы тогда, когда удостоил бы наказать тебя за твое вероломство. Удались, гадкая собака!

Не говоря ни слова более, дон Тадео повернулся к токи спиной и воротился со своей свитой в лагерь.

— О! — вскричал Антинагюэль, с бешенством топая ногами. — Не все еще кончено; завтра придет моя очередь!

И он воротился в свой лагерь в сильном гневе.

— Ну! Чего вы добились? — спросил у него дон Панчо.

Антинагюэль бросил на него иронический взгляд.

— Чего я добился? — отвечал он глухим голосом, показывая Бустаменте свою обессиленную руку. — Этот человек расстроил мои планы; кинжал мой сломался о его грудь, он раздавил мне руку как ребенку... вот чего я добился!

— Завтра мы будем сражаться, — сказал генерал, — почем знать! Не все еще потеряно... может быть, час мщения готов пробить для вас и для меня.

— Да! — вскричал Антинагюэль запальчиво. — Хотя бы мне пришлось пожертвовать завтра всеми воинами, этот человек будет в моей власти.

Не желая объясняться более, токи заперся в своей палатке с теми из вождей, на которых он более мог положиться.

Со своей стороны, дон Тадео также вошел в свою палатку.

— Я вам говорил, — вскричал генерал Фуэнтес, — что вам надо опасаться измены.

— Вы были правы, генерал, — отвечал диктатор, улыбаясь, — но Господь защитил меня: злодей был наказан как заслуживал.

— Нет, — отвечал старый солдат с досадой, — когда найдешь ехидну на дороге, надо безжалостно раздавить ее под ногами, а то она приподнимется и укусит неосторожного, который пощадит ее или оставит с пренебрежением. Вы могли защищаться законным образом и ваше прощение было безумством; индейцы злопамятны, и Антинагюэль убьет вас не сегодня так завтра, если вы не примете против него необходимых предосторожностей.

— Полноте, полноте, генерал, — весело сказал дон Тадео, — вы зловещая птица; перестанем лучше думать об этом злодее; нас призывают другие заботы, подумаем какие надо употребить средства, чтобы разбить его завтра наголову... тогда вопрос будет окончательно решен.

Фуэнтес покачал головой в знак сомнения и вышел осмотреть аванпосты.

Скоро стемнело; долина осветилась, как бы по волшебству, бесчисленными бивуачными огнями. Величественное молчание царило над нею: несколько тысяч человек, ожидавших первых лучей дневного светила, чтобы перерезать друг друга, теперь спали мирным сном.

Битва при Кондорканки*

Это было 10 октября. Солнце взошло в полном блеске, и едва его первые лучи начали позлащать вершины высоких гор, звук труб и барабанов разбудил эхо долин и заставил задрожать лютых зверей в их логовищах.

В эту минуту произошло странное обстоятельство, за которое однако ж мы можем поручиться, потому что, живши в Америке, сами не раз бывали свидетелями того же во многих подобных случаях: огромные стаи коршунов, кондоров, предуведомленные своим кровожадным инстинктом о наступающей резне и богатом пиршестве, которое готовяляли для них люди, слетались со всех сторон горизонта, носились несколько минут над полем сражения, еще пустым, испуская пронзительные крики, и потом быстро улетали и, усевшись на скалах, ожидали с полужакрытыми глазами, точка свои клювы и острые когти, того часа, в который могли насытить свою ненасытный голод.

Ароканские воины гордо вышли из своих укреплений и стали в ряды при звуках военных инструментов.

Ароканы имеют свою особенную систему вступать в сражение, от которой не отступают никогда. Вот в чем состоит этот неизменный порядок.

* Долина Канки была названа таким образом по обширным владениям, некогда принадлежавшим в этой стране потомкам Тупак-Амару, последнего из перуанских инков. Тупак-Амару прибавил к названию Канки слово Кондор, так как кондор был священной птицей у инков.

Перед битвой кавалерия у них разделяется на два крыла, а пехота помещается в центре, разделенная на батальоны. Ряды этих батальонов составлены из воинов, вооруженных пиками, и из воинов, вооруженных палицами. Вице-токи начальствовал над правым крылом, один из апо-ульменов над левым. Токи же был повсюду и призывал воинов мужественно сражаться за свободу.

Мы должны прибавить здесь, чтобы отдать справедливость этому воинственному народу, что ароканские вожди вообще имеют более труда сдерживать горячность своих воинов, нежели возбуждать ее. Всякий арокан думает, что ничего не может быть почетнее как умереть в сражении.

Черный Олень, бывший вице-токи, умер и потому Антинагюэль поручил командование правым крылом одному из апо-ульменов, а командование левым возложил на дона Панчо Бустаменте. Он оставил в лагере только пятьдесят воинов, которым приказал охранять Красавицу и донну Розарио и в случае, если б сражение было проиграно, пробиться сквозь неприятельские ряды и спасти обеих женщин во что бы то ни стало.

Ароканская армия, расставленная в прекрасном порядке, описанном нами, имела величественный и грозный вид, на который приятно было смотреть. Все эти воины знали, что шли почти на верную смерть, и однако ожидали бесстрастно с глазами сверкающими мужеством сигнала к битве.

Антинагюэль явился на великолепном вороном коне, держа в левой руке тяжелую палицу. Он проехал по рядам своих воинов, которых называл по большей части по именам, напоминая им прошедшие подвиги и уговаривая исполнить свой долг.

Отправляясь принять командование над левым крылом, Бустаменте разменялся несколькими прощальными словами с Красавицей. Короткий разговор их окончился словами, которые произвели довольно сильное впечатление на ледяное сердце этой женщины.

— Прощайте, — сказал он ей печальным голосом, — я иду на смерть по милости рокового влияния, которое вы имели надо мной; в рядах тех, с которыми моя обязанность повелевала мне сражаться, я умру смертью изменников, ненавидимый и презираемый всеми! Я прощаю сделанное мне вами зло! Еще есть время, рас-

кайтесь; берегитесь, чтобы Господь, утомленный вашими преступлениями, не уронил одну за другой на ваше сердце слезы, которые вы беспрестанно заставляете проливать несчастную молодую девушку, выбранную вами в жертву. Прощайте!

Он холодно поклонился куртизанке и пошел к войску, над которым токи поручил ему командование.

Чилийская армия построилась в каре.

В ту минуту, когда дон Тадео выходил из своей палатки, он вскрикнул от радости при виде двух человек, присутствия которых вовсе не ожидал в эту минуту.

— Дон Луи! Дон Валентин! — закричал он, пожимая молодым людям руки. — Вы здесь? Какое счастье.

— Да, мы здесь, — смеясь, отвечал Валентин, — и с Цезарем, которому также хочется попробовать ароканов... не так ли, старая собака? — прибавил он, лаская ньюфаундленда, который махал хвостом, устремив на господина свои умные глаза.

— Мы подумали, — сказал граф, — что в такой день вам понадобятся все ваши друзья; оставив двух индейских вождей в некотором расстоянии отсюда, где они засели в кустарнике, мы пришли сюда.

— Благодарю вас; надеюсь, что вы не расстанетесь со мной?

— Еще бы! Мы так и намеревались, — сказал Валентин.

Дон Тадео велел привести для молодых людей превосходных лошадей, и тогда втроем они поскакали в галоп к центру первого каре в сопровождении Цезаря.

Долина Кондорканки, в которую дон Тадео успел наконец оттеснить индейцев, имеет форму огромного треугольника и почти совершенно лишена растительности. Ароканы занимали вершину этого треугольника и находились между морем и горами — положение невыгодное, в котором они не могли легко маневрировать, потому что в узком пространстве их многочисленная кавалерия почти не имела возможности действовать массами.

Мы сказали, что чилийская армия образовала каре эшелонами, то есть, что каждый из трех корпусов, находившихся под командой дона Тадео, дона Грегорио и Фуэнтеса, представлял четыре каре, которые поддерживали взаимно друг друга, а позади их находилась в резерве многочисленная кавалерия. Стало быть, арока-

нам приходилось сражаться против двенадцати пехотных каре, которые окружали их со всех сторон.

— Ну? — спросил Валентин дона Тадео, когда они доехали до своих постов. — Сражение скоро начнется?

— Скоро, — отвечал тот, — и поверьте мне, будет жарко.

Диктатор поднял тогда свою шпагу. Зазвучали барабаны и трубы, и чилийская армия двинулась вперед ускоренным шагом.

Антинагюэль со своей стороны подал знак к битве, и ароканы бросились с ужасными криками. Как только неприятель приблизился, чилийцы раздвинулись, и залп картечи повалил первые ряды окасов; потом каре снова сомкнулись, и солдаты ждали, скрестив штыки, натиска своих врагов.

Этот натиск был ужасен. Несмотря на то, что число окасов быстро уменьшалось от залпов артиллерии, которая опустошала их ряды спереди, с боков и сзади, они сражались со всех сторон и с бешенством бросались на чилийские штыки, делая сверхъестественные усилия, чтобы расстроить неприятельские каре и пробиться в них. Хотя они знали, что занимавшие первый ряд их армии подвергались верной смерти, но старались наперыв занять в нем место. Как только первый ряд падал под чилийскими пулями, второй и третий отважно спешили заменить его, и все подвигались вперед, стараясь скорее приступить к холодному оружию.

Однако эти дикие воины умели сдерживать свою запальчивость; быстро и верно и вместе с тем с величайшей правильностью исполняли они различные эволюции, которые были им предписаны ульменами. Таким образом они наконец достигли каре чилийцев под непрерывным огнем артиллерии, которой никак не удалось заставить их поколебаться. Несмотря на залпы картечи, истреблявшие их, они с бешенством бросились на первые ряды чилийцев, прибегнув к холодному оружию.

Ароканы предпочитают этот способ сражения; воины их, вооруженные железными палицами, производят между неприятелями страшное опустошение быстротой своих движений, тяжестью и верностью наносимых ими ударов.

Чилийская кавалерия, заметив расстройство пехотных каре, бросилась им на помощь и напала на окасов сбоку. Генерал Бустаменте угадал это движение и со своей сто-

роны исполнил тот же маневр; обе кавалерии столкнулись с шумом, подобным громовому. Спокойный и холодный во главе своего эскадрона, Бустаменте сражался как человек, пожертвовавший своей жизнью и нисколько не заботившийся даже о том, чтобы защитить ее.

Между тем, как дон Тадео говорил за несколько минут перед этим Валентину, сражение жарко завязалось по всей линии. Ароканы с упорством, которого ничто не могло преодолеть, и с презрением к смерти умирали под чилийскими штыками, не отступая ни на шаг.

Антинагюэль, вооруженный своей палицей, которой он управлял с неслыханной легкостью и проворством, носился впереди своих воинов и оживлял их жестами и голосом. Окасы отвечали ему криками ярости, удваивая усилия, чтобы разорвать эти проклятые ряды, против которых они истощали свои силы.

— Какие люди! — не мог удержаться, чтобы не сказать, граф. — Какая безумная смелость!

— Неправда ли? — отвечал дон Тадео. — Настоящие демоны! Но подождите, это еще ничего; сражение только началось и вы скоро узнаете, что это мужественные бойцы.

— Отважные солдаты! — вскричал Валентин. — Они все лягут на месте!

— Да! — отвечал дон Тадео. — Скорее, нежели сдадутся!

Между тем окасы с ожесточением нападали на то каре, посреди которого находился главнокомандующий, окруженный главным штабом. Там битва превратилась в бойню; огнестрельное оружие сделалось бесполезно, штыки, топоры, сабли и палицы пронзали груди и разбивали черепа. Антинагюэль осмотрелся вокруг. Воины его падали как зрелые колосья под ударами чилийцев; надо было кончить с этим лесом штыков, который преграждал им дорогу.

— Окасы! — закричал Антинагюэль громовым голосом. — Вперед за свободу!

Движением, быстрым как мысль, он пришпорил лошадь, заставил ее приподняться на дыбы и бросился на неприятельские отряды, сопровождаемый своими воинами. От этого смелого натиска чилийцы раздвинулись.

Началась страшная резня и суматоха, которую невозможно описать. Каждый удар убивал человека. Крики

бешенства сражающихся смешивались со столами раненых, с частыми залпами ружей и пушек. Окасы острым углом вломились в каре и расстроили его.

С этой минуты битва сделалась одной из тех страшных рукопашных схваток, которые перо бессильно передать; это была борьба тела против тела, груди против груди; тому, который падал на землю, облитую кровью, оставалось только умереть, растоптанному под ногами сражающихся, но между тем он старался еще кинжалом или шпагой ранить врага, прежде чем испускал последний вздох.

— Ну! Что вы думаете о таких противниках? — спросил дон Тадео Валентина.

— Они выше людей, — отвечал тот.

— Вперед! Вперед! Чили! Чили! — кричал дон Тадео, пришпоривая свою лошадь.

В сопровождении пятидесяти человек, в числе которых находились и оба француза, он вломился в самую середину неприятельских рядов.

Дон Грегорио и Фуэнтес, судя по ожесточению, с каким ароканы ринулись на большое каре, угадали, что они хотели захватить главнокомандующего. Продолжая громить чилийскую армию огнем артиллерии, они сомкнули ряды своих солдат и окружили окасский отряд, нападавший на дона Тадео, железным кругом, из которого окасам почти невозможно было выйти.

Одним взглядом Антинагюэль заметил критическое положение, в котором он находился. Он призвал Бустаменте страшным криком. Тот также понял, что смелый отряд должен был неминуемо погибнуть. Он собрал всю ароканскую кавалерию, составил из нее сплошную массу и стал во главе ее.

— Спасем наших воинов, — вскричал он.

— Спасем их! — заревели индейцы, опустив свои длинные копья.

Эта страшная фаланга ринулась как вихрь на сомкнутые ряды чилийцев, преграждавшие ей путь. Ничто не могло остановить ее непреодолимого порыва. Окасы сделали широкий пролом в чилийской армии и присоединились к своим товарищам, которые приняли их с криками радости.

Бустаменте со сверкающим взором, с бледным челом и презрительной улыбкой, напрасно искал смерти, которая точно избегала от него. Три раза дон Панчо производил эту смелую атаку, три раза пробивался сквозь

неприятельские ряды, сея на пути своем ужас и смерть; но партия была слишком неравная. Индейцы, беспрерывно поражаемые чилийской артиллерией, видели, не смотря на чудеса храбрости, что ряды их редели все более и более.

Вдруг Бустаменте очутился перед эскадроном, находившимся под командой дона Тадео; его лютый взор сверкнул молнией.

— О! На этот раз я наконец умру! — закричал он.

И он бросился вперед. С начала действия Жоан сражался возле дона Тадео, который, будучи занят своей начальнической обязанностью, часто не думал отражать наносимые ему удары, но храбрый индеец отражал их за него; он бросался во все стороны, чтобы защищать того, кого он поклялся спасти! Жоан инстинктивно угадал намерение Бустаменте. Он пришпорил лошадь и смело бросился к нему навстречу.

— О! — закричал Бустаменте с радостью. — Благодарю тебя, мой Боже! Я умру от руки брата!

Жоан грудью своей лошади ударился о грудь лошади Бустаменте.

— А! А! — прошептал дон Панчо. — Ты также изменник своей страны! Ты также сражаешься против твоих братьев! Умри же, злодей!

И он нанес индейцу удар саблей; но Жоан уклонился и схватил Бустаменте поперек тела. Обе лошади, предоставленные сами себе, взбесившись от шума битвы, понесли через долину своих всадников, свившихся друг с другом подобно двум змеям. Этот неистовый бег не мог долго продолжаться. Оба человека повалились на землю. Они освободились от стремян и очутились почти тотчас же лицом к лицу. Бустаменте, после нескольких секунд борьбы без результата, успел наконец поднять свою саблю и раздвоил череп индейцу.

Жоан однако ж не упал; он собрал все свои силы, с яростью бросился на дона Панчо, изумленного этим неожиданным нападением, и воткнул ему отравленный кинжал в грудь. Оба врага шатались с минуту и повалились друг возле друга. Они умерли!

Победитель и пленник

Увидев как упал Бустаменте, чилийцы испустили крик радости, на который ароканы отвечали криком отчаяния.

— Бедный Жоан! — воскликнул Валентин, рассекая ударом сабли череп одному индейцу, который хотел заколоть его кинжалом. — Какая превосходная это была натура.

— Его смерть прекрасна! — отвечал Луи, употреблявший свое ружье как палицу и добросовестно убивавший тех из окасов, которые приближались к нему.

— Подвергнувшись такой мужественной смерти, — заметил дон Тадео, — Жоан оказал нам последнюю услугу и избавил палача от работы.

— Ба! — возразил Валентин. — Он счастлив; ведь надо же умереть когда-нибудь! Друг мой, вы слишком любопытны; мой разговор вас не касается, — прибавил он, обращаясь к индейцу, который бросился на него, и ударом ноги отбросил несчастного на десять шагов. — Возьми, Цезарь! Возьми! — закричал он своей собаке.

Цезарь загрыз упавшего окаса в одну секунду. Валентин был в восхищении, никогда не находилась он на подобном празднике; он сражался как демон с чрезвычайным удовольствием.

— Боже мой, как мы хорошо сделали, что оставили Францию! — повторял он каждую минуту. — Ничто не может доставить столько удовольствия как путешествие.

Луи помирал со смеху, слыша эти слова.

— Ты кажется очень забавляешься, брат? — сказал он ему.

— Чрезвычайно, любезный друг, — отвечал Валентин.

Смелость его была так велика, отважность так непритворна и наивна, что индейцы смотрели на него с восторгом и чувствовали себя как бы наэлектризованными его примером. Цезарь, на которого господин его надел кожаную кирасу и огромный ошейник с железными остриями, внушал индейцам неописанный страх; они в ужасе бежали от него. В своем простодушном и суеверном легковерии, они воображали, что это страшное животное неуязвимо, что это злой гений, сражавшийся за их врагов.

Между тем битва становилась все ожесточеннее. Чилийцы и ароканы сражались на груде трупов. Индейцы не надеялись уже победить, но не пытались бежать; решившись пасть все, они хотели продать свою жизнь как можно дороже и дрались с ужасным отчаянием мужественных людей, которые не ждут и не требуют пощады.

Чилийская армия все более и более сосредоточивалась вокруг ароканской. Еще несколько минут и конец последней был неизбежен; никто в этом не сомневался: вопрос мог быть только о времени! Никогда, с самых отдаленных времен завоевания, не погибало в одном сражении такого множества индейцев!

Антинагюэль проливал слезы бешенства и, видя как падают вокруг него самые дорогие его товарищи, чувствовал как сердце его разрывалось от горести. Все эти люди, жертвы честолюбия их вождя, падали, не произнося ни одной жалобы, ни одного упрека. Твердый как скала среди картечи, сыпавшейся градом вокруг него, токи с нахмуренными бровями, сжатыми губами, непрерывно взмахивал своей палицей, покрасневшей до рукоятки от пролитой им крови.

Вдруг страшная улыбка сжала тонкие губы Антинагюэля. Движением руки он позвал ульменов, еще сражавшихся, и разменялся с ними несколькими словами тихим голосом.

Сделав знак согласия на полученное ими приказание, ульмены немедленно возвратились на свои места, и несколько минут битва продолжалась с прежним бешенством.

Вдруг масса в полторы тысячи индейцев ринулась с невыразимым бешенством на эскадрон, в центре которого сражался дон Тадео, и окружил его со всех сторон. Эта смелая атака привела чилийцев в замешательство. Ароканы сражались с удвоенным ожесточением и все более и более теснили этот слабый эскадрон, состоявший только из пятидесяти человек.

— Мы окружены! — заревел Валентин. — Поскорее выберемся, а то эти воплощенные демоны изрубят нас всех до одного.

Он бросился, очертя голову, в середину сражающихся. Все последовали за ним. После горячей схватки, продолжавшейся три или четыре минуты, чилийцы очутились здоровы и невредимы вне гибельного круга, в котором враги хотели их заключить.

— Гм! — сказал Валентин. — Жаркое было дело! Но слава Богу, наконец мы выбрались!

— Да, — отвечал граф, — чуть-чуть было мы не попались! Но где же дон Тадео?

— Это правда! — заметил Валентин, окидывая взор окружавших его. — О! Я теперь понимаю все! — прибавил он с гневом, ударив себя по лбу. — Скорее! Скорее! Поспешим на помощь к дону Тадео!

Молодые люди стали во главе сопровождавших их кавалеристов и с бешенством бросились на индейцев. Они скоро заметили того, кого искали. Дон Тадео, поддерживаемый только четырьмя или пятью человеками, бился как безунный среди толпы окружавших его врагов.

— Держитесь! Держитесь! — кричал Валентин.

— Мы здесь! Мужайтесь, мы здесь! — повторял граф.

Голоса их достигли до дона Тадео; он улыбнулся им и отвечал с грустью:

— Благодарю вас, но все бесполезно; я погиб!

— Черт побери! — сказал Валентин, с бешенством кусая усы. — Я спасу его или погибну с ним вместе.

Он удвоил усилия. Напрасно воины окасские хотели воспрепятствовать ему подвигаться; каждый удар его сабли убивал человека. Наконец горячность французов превозмогла мужество индейцев; они пробились в круг, но дон Тадео исчез...

Луи и Валентин в сопровождении всадников, которых вдохновляло их мужество, осмотрели все ряды окасов, но

все было бесполезно. Вдруг индейская армия, признав, без сомнения, невозможность продолжать борьбу с превосходящими силами, которые грозили уничтожить ее, рассеялась. Бегство было полное. Чилийская кавалерия, пустившись в погоню за беглецами, преследовала их на расстоянии двух миль и рубила без жалости. Только отряд из пятисот всадников, по-видимому составленный из избранных воинов, во главе которых находился Антинагюэль, отступал в массе, отражая по временам нападения тех, которые преследовали их слишком близко.

Этот отряд удалялся так быстро, что его никак нельзя было догнать, и скоро исчез за изгибами высоких пригорков, которые оканчивают долину Кондорканки и служат контрфорсом Кордильерам.

Победа чилийцев была блистательна, и вероятно ароканам долго не могла прийти мысль возобновить борьбу; они получили урок, который должен был принести им пользу и оставить между ними продолжительное воспоминание. Из десяти тысяч воинов, вступивших в сражение, индейцы оставили семь тысяч на поле битвы; кроме того, значительное число их пало во время бегства. Бустаменте, главный виновник этой войны, был убит. Тело его было найдено с воткнутым в грудь кинжалом, который нанес ему смерть. И странная случайность, на рукоятке этого кинжала находился отличительный знак Мрачных Сердец!

Это сражение достоиславно окончил одним ударом междоусобную войну! Результаты, полученные победителями, были огромны. К несчастью, эти результаты уменьшились несчастьем чрезвычайно важным, исчезновением, а может быть и смертью дона Тадео, единственного человека, энергия и строгость правил которого могли спасти страну.

Армия чилийская посреди своего торжества была погружена в горесть. Дон Грегорио Перальта с отчаянием ломал себе руки. Потеря человека, которому он был предан телом и душой, сводила его с ума! Он ничего не хотел слышать. Фуэнтес был принужден принять начальство над войском. Пятьсот ароканских воинов, по большей части раненых, попались в руки победителей. Дон Грегорио Перальта приказал расстрелять их. Напрасно старались отговорить его от этого жестокого приговора, который мог иметь в будущем чрезвычайно пагубные последствия.

— Нет, — отвечал дон Грегорио сурово, — человек, которого все мы обожаем, должен быть отомщен!

И он хладнокровно приказал расстрелять несчастных. Армия раскинула лагерь на поле битвы.

Валентин и друг его в сопровождении дона Грегорио целую ночь пробегали огромное поле битвы, на которое коршуны уже опустились с отвратительными криками радости. Эти трое человек имели мужество приподнимать груды трупов. Однако ж поиски их были безуспешны: они не могли найти тела их друга.

На другой день на рассвете армия пустилась в путь по направлению к Биобио, чтобы воротиться в Чили. Она вела с собою аманатами тридцать ульменов, захваченных в городах, которые были преданы грабежу.

— Поедемте с нами, — печально сказал дон Грегорио, — наш несчастный друг умер; теперь вам нечего более делать в этой ужасной стране.

— Я не разделяю вашего мнения, — возразил Валентин, — я думаю, что дон Тадео не умер, а только попал в плен.

— Отчего вы это предполагаете? — вскричал дон Грегорио, и взор его сверкнул. — Имеете вы какое-нибудь доказательство в том, что вы говорите?

— К несчастью, никакого.

— Однако вы имеете же какую-нибудь причину?

— Конечно, имею.

— Скажите же мне, друг мой.

— Она покажется вам так ничтожна.

— Все-таки скажите.

— Ну! Если вы хотите непременно, я признаюсь вам, что имею тайное предчувствие, которое говорит мне, что друг наш не умер, но находится в руках Антинагюэля.

— На чем вы основываете это предположение? Вы человек слишком умный, сердце у вас слишком преданное для того, чтобы вы старались шутить о подобном предмете.

— Вы отдаете мне справедливость; поэтому я скажу вам, на чем я основываю мое мнение... видите ли, когда я вышел из круга врагов, окружавших нас, я тотчас заметил отсутствие дона Тадео...

— Ну, что же вы сделали тогда?

— Я воротился назад! Дон Тадео мужественно сражался; я закричал ему, чтобы он держался твердо.

— Он вас услышал?

— Конечно, потому что он отвечал мне. Я удвоил усилия, словом, я достиг почти тотчас же того места, где его видел; но он уже исчез, не оставив следов.

— Что же вы заключили из этого?

— Я заключил, что многочисленные враги захватили его и увели, потому что, несмотря на все наши поиски, мы не нашли его тела.

— А кто же вам сказал, что они не унесли его тела, убив его?

— Зачем? Умерший дон Тадео мог только стеснить их; тогда как, овладев им живым, они могут надеяться, что, возвратив ему свободу, или, может быть, грозясь убить его, добьются, чтобы их заложники были им возвращены. Впрочем, зная хорошо страну и нравы этих свирепых людей, вы можете разрешить этот вопрос скорее нежели я, иностранец.

Дон Грегорио был поражен справедливостью этого рассуждения.

— Это весьма возможно, — отвечал он, — в словах ваших много правды; может быть, вы и не ошибаетесь; но вы мне не объяснили что вы намерены делать?

— Очень простую вещь, друг мой; здесь в окрестностях укрылись два индейских вождя, которых вы знаете.

— Да.

— Эти люди преданы Луи и мне; они будут служить нам проводниками, и если, как я думаю, дон Тадео жив, клянусь вам, что я найду его.

Дон Грегорио с минуту глядел на Валентина с чрезвычайным волнением; две слезы засверкали в глазах его; он взял за руку молодого человека, крепко пожал ее и сказал голосом, дрожавшим от умиления:

— Дон Валентин, простите меня, я вас еще не знал; я не умел ценить вашего сердца по его достоинству; я американец, полудикарь, люблю и ненавижу с одинаковой силой; дон Валентин, позвольте мне обнять вас?

— От всего сердца, мой добрый друг, — отвечал молодой человек, напрасно стараясь скрыть под улыбкой свое волнение.

— Итак, вы едете? — продолжал дон Грегорио.

— Сейчас.

— О! Вы найдете дона Тадео; теперь я в этом уверен.

— И я также.

— Прощайте, дон Валентин! Прощайте, дои Луи!

— Прощайте! — отвечали молодые люди.

Валентин свистнул Цезарю и прищипорил свою лошадь.

— Поедем, — сказал он своему молочному брату.

— Поедем, — отвечал тот.

Они поехали, но едва сделали несколько шагов как услышали позади себя быстрый галоп лошади и обернулись: дон Грегорио догонял их, делая им знак подождать его. Они остановились.

— Извините, господа, — сказал он им как только очутился возле них, — я забыл сказать вам одно; мы еще не знаем, что Господь готовит нам; может быть, сегодня мы расстаемся навсегда.

— Никто этого не знает, — заметил Луи, качая головой.

— Послушайте же, господа, — продолжал испанец, — в каких бы обстоятельствах вы ни находились, помните, что, пока жив Грегорио Перальта, у вас есть друг, который по одному вашему слову охотно прольет за вас свою кровь... поверьте мне, что с моей стороны подобное предложение вполне обосновано.

И не ожидая ответа молодых людей, дон Грегорио пожал им руки и ускакал во всю прыть. Французы следовали за ним глазами с задумчивым видом, потом продолжали путь, не обменявшись ни одним словом.

После битвы

Несколько времени молодые люди следовали издали за чилийской армией, которая, будучи замедляема в своем пути многочисленными ранеными, медленно, но в порядке подвигалась к Биобио. Они шагом проехали долину, где накануне происходила ожесточенная битва между индейцами и чилийцами.

Ничто не может быть печальнее и зловещее поля битвы! Ничто не доказывает так, как оно, ничтожества человеческой жизни! Долина была усыпана трупами, которые уже начали гнить под лучами солнца и были уже наполовину расклеваны коршунами. В тех местах, где битва происходила ожесточеннее, к трупам примешивались мертвые лошади, остатки оружия и метательные снаряды.

Индейцы и чилийцы лежали друг возле друга как застигла их смерть; все пораженные спереди, они еще сжимали в своих окостенелых руках оружие, хотя отныне оно и сделалось уже для них бесполезным. Вдали смутно обрисовывались силуэты волков, которые с глухим воем шли участвовать в пире. Молодые люди бросали вокруг печальные взоры.

— Зачем не поторопиться нам оставить это проклятое место? — спросил Валентин своего молочного брата. — Мне тошно смотреть на это страшное зрелище.

— Мы должны исполнить долг, — глухо отвечал граф.

— Исполнить долг? — с удивлением сказал Валентин.

— Да, — отвечал молодой человек, — разве ты хочешь, чтобы и наш бедный Жоан был оставлен без погребения и сделался добычей этих животных?

— Благодарю, что ты заставил меня подумать об этом; о, ты лучше меня! Ты ничего не забываешь!

— Не клевети на себя; эта мысль пришла бы и к тебе через минуту.

Молодые люди скоро подъехали к тому месту, где упали Жоан и Бустаменте. Они лежали рядом, заснув вечным сном. Французы сошли на землю.

По странной случайности эти оба трупа еще не были осквернены хищными птицами, которые уже кружились над ними, но при приближении молодых людей разлетелись. Молочные братья оставались в задумчивости с минуту, потом они обнажили свои сабли и вырыли глубокую могилу, в которую зарыли обоих врагов. Валентин взял отравленный кинжал дона Тадео и заткнул его за пояс, прошептав:

— Это оружие хорошее; кто знает, может быть, оно послужит мне в пользу когда-нибудь!

Когда оба тела были положены в могилу, братья засыпали ее и положили на нее самые большие камни, какие только могли найти, чтобы лютые звери после их отъезда не откопали трупов своими когтями.

Потом Валентин отрезал два древка от копий и сделал крест, который поставил на могилу. Исполнив эту обязанность, молодые люди стали на колена и прошептали краткую молитву за спасение душ этих людей, которых они оставляли навсегда и из которых один был их преданным другом.

— Прощай! — сказал Валентин, вставая. — Прощай, Жоан! Покойся в мире в этом месте, где ты доблестно сражался; воспоминание о тебе не изгладится из моего сердца.

— Прощай, Жоан! — сказал граф в свою очередь. — Покойся в мире, друг наш; твоя смерть была отомщена.

Цезарь следовал со вниманием за движениями своих господ; в эту минуту он поставил передние лапы на могилу, обнюхал землю, только что взрытую, и два раза плачевно завыл.

У молодых людей сердца разрывались от горести; они молча сели на лошадей и, бросив последний прощальный взгляд на то место, в котором покоился храбрый арокан,

удалились. Позади них коршуны опять принялись за свой пир, на минуту прерванный.

Происходит ли это от влияния обстоятельств, наших собственных мыслей или наконец от какой-нибудь другой неизвестной причины, ускользающей от анализа, но в жизни нашей бывают часы, когда какая-то необъяснимая грусть внезапно овладевает нами, как будто бы мы вдохнули ее в воздухе. Оставив поле битвы, молодые люди находились именно в этом странном расположении духа. Они ехали угрюмые и озабоченные друг возле друга, не смея сообщить один другому мыслей, омрачавших их душу.

Солнце быстро склонялось к горизонту; вдали чилийская армия исчезала в пыли дороги. Молодые люди мало-помалу повернули направо, чтобы приблизиться к горам и ехали по узкой тропинке, проложенной на довольно крутой покатости лесистого холма.

Цезарь, который большую часть дороги по своей привычке составлял арьергард, вдруг наострил уши и бросился вперед, махая хвостом.

— Мы приближаемся, — сказал Луи.

— Да, — лаконически отвечал Валентин.

Они скоро доехали до места, где тропинка составляла угол, за которым исчезла ньюфаундлендская собака. Объехав этот угол, французы вдруг очутились перед костром, на котором жарился огромный кусок дичи; два человека, лежа на траве, беззаботно курили, а Цезарь, важно усевшись на задних лапах, не сводил завистливых взоров с жаркого. Эти два человека были Трангуаль Ланек и Курумилла.

При виде друзей французы сошли с лошадей и пошли к индейцам; те со своей стороны встали и поспешили к ним навстречу.

Валентин отвел лошадей к лошадям своих товарищей, надел на них путы, расседлал, дал корма, потом занял место у огня. Эти четыре человека не обменялись ни одним словом.

Через несколько минут Курумилла снял дичь, положил ее на деревянное блюдо возле маисовых лепешек, и каждый своим ножом отрезал себе кусок аппетитной пищи, которая находилась перед ним.

Время от времени, кость или кусок мяса доставался Цезарю, который, сидя сзади как учтивая собака, также

обедал. Когда голод был удовлетворен, собеседники закурили трубки и сигары, и Курумилла подбросил новый пук ветвей в огонь, чтобы он не погас.

Настала ночь, но ночь звездная теплых южных стран, исполненная неопределенной мечтательности и неизъяснимого очарования.

Торжественное безмолвие царило над природой, приятный ветерок колебал вершины высоких деревьев с таинственным шелестом. Вдали слышался время от времени хриплый вой волков и шакалов, а тихое журчание невидимого источника дополняло своими величественными звуками грандиозный гимн, который воспевают Богу пустыни тропических стран.

— Ну что? — наконец спросил Трангуаль Ланек.

— Жестокое было сражение, — отвечал Валентин.

— Знаю, — сказал индеец, качая головой, — ароканы побеждены; я видел как они бежали подобно стае испуганных лис в горы.

— Они сражались за неправое дело, — заметил Курумилла.

— Это наши братья, — с важностью произнес Трангуаль Ланек.

Курумилла склонил голову при этом упреке.

— Тот, кто заставил их вооружиться, умер, — сказал Валентин.

— Хорошо, а брат мой знает ли имя воина, который убил его? — спросил ульмен.

— Знаю, — печально отвечал Валентин.

— Пусть брат мой скажет мне это имя, чтобы я запечатлел его в моем воспоминании.

— Жоан, друг наш, убил этого человека, который не заслуживал пасть под ударами такого храброго воина.

— Это правда! — сказал Курумилла. — Но зачем нашего брата Жоана нет здесь?

— Мои братья не увидят более Жоана, — сказал Валентин прерывающимся голосом, — он остался мертв возле своей жертвы.

Оба вождя обменялись горестными взглядами.

— Это было благородное сердце, — прошептали они тихим и печальным голосом.

— Да, — возразил Валентин, — и верный друг.

Наступило молчание. Вдруг оба вождя встали и подошли к своим лошадям, не говоря ни слова.

— Куда идут наши братья? — спросил граф.

— Похоронить храброго воина; тело Жоана не должно быть добычей коршунов, — с важностью отвечал Трангуаль Ланек.

— Пусть мои братья сядут на свои места, — сказал молодой человек тоном кроткого упрека.

Вожди молча сели.

— Неужели Трангуаль Ланек и Курумилла так дурно знают своих бледнолицых братьев, — продолжал Луи, — что оскорбляют их предположением, будто бы они могли оставить без погребения тело друга? Мы похоронили Жоана, прежде чем приехать к нашим братьям.

— Этот долг, который мы хотели исполнить немедленно, помешал нам ранее приехать сюда, — прибавил Валентин.

— Хорошо! — сказал Трангуаль Ланек. — Наши сердца исполнены радости, наши братья истинные друзья.

— Французы не испанцы, — заметил Курумилла с молнией ненависти во взоре.

— Но нас поразило несчастье, — продолжал Луи с горестью, — дон Тадео, наш самый дорогой друг, тот, которого окасы называют Великим Орлом бледнолицых...

— Ну что с ним? — перебил Курумилла.

— Он умер! — сказал Валентин. — Вчера он был убит в сражении.

— Брат мой уверен в этом? — спросил Трангуаль Ланек.

— По крайней мере я так предполагаю, хотя тело его не было найдено.

Ульмен кротко улыбнулся.

— Пусть братья мои утешатся, — сказал он, — Великий Орел белых не умер.

— Вождь это знает? — вскричали с радостью молодые люди.

— Знаю, — отвечал Трангуаль Ланек, — пусть слушают мои братья: Курумилла и я — вожди нашего племени; если наши мнения запрещают нам сражаться за Антинагюэля, то они запрещали нам также поднимать оружие и против нашего народа; друзья наши захотели соединиться с Великим Орлом, и мы предоставили им свободу действовать как они хотят; они хотели защищать друга и были правы; мы позволили им уехать, но после их отъезда мы подумали о молодой бледнолицей девушке

и рассудили, что если окасы проиграют сражение, то молодая девушка, по приказанию токи, будет первая отправлена в безопасное место; поэтому мы спрятались в кустарнике на дороге, по которой, по всей вероятности, должны были уехать воины, убегая со своей пленницей. Мы не видали сражения, но шум его достиг нас; очень часто мы готовы были броситься, чтобы умереть с нашими белыми друзьями; сражение продолжалось долго... по своему обыкновению окасы дорого продавали свою жизнь.

— Вы можете по справедливости этим гордиться, вождь, — вскричал Валентин с энтузиазмом, — ваши братья выносили град картечи с героическим мужеством.

— Поэтому их и называют окасами — людьми свободными, — отвечал Трангуаль Ланек. — Вдруг шум, подобный барабанному бою, поразил слух наш и двадцать или тридцать воинов пролетели быстро как ветер перед нами; они везли с собой двух женщин; одна имела вид ехидны, другая была девушка с лазоревыми глазами.

— О! — воскликнул граф с горестью.

— Через несколько минут —, продолжал Трангуаль Ланек, — другой отряд воинов, гораздо многочисленнее первого подъехал с равномерной быстротой; им предводительствовал сам Антинагюэль; токи был бледен, покрыт кровью, вероятно, ранен.

— Он точно ранен, — заметил Валентин, — правая рука его разбита; я не знаю, получил ли он другие раны.

— Возле него скакал Великий Орел белых, с обнаженной головой и без оружия.

— Он был ранен? — с живостью спросил Луи.

— Нет, чело его было поднято высоко, лицо его было бледно, но гордо.

— О! Если он не умер, мы его спасем, не правда ли, вожди? — вскричал Валентин.

— Да, брат, мы его спасем.

— Когда же поедem мы по его следам?

— На рассвете... судя по дороге, по которой они ехали, я знаю куда они отправились. Мы хотели спасти дочь, но мы освободим в то же время и отца, — с важностью сказал Трангуаль Ланек.

— Хорошо, вождь, — отвечал Валентин с волнением, — я рад, что вы говорите таким образом; стало быть, не все еще потеряно...

— Далеко не все! — сказал ульмен.

— Теперь, братья, когда мы успокоились, — заметил Луи, — нам не мешает отдохнуть несколько часов, чтобы отправиться в дорогу как можно скорее.

Никто не возразил Луи, и эти железные люди, несмотря на пожиравшее их горе и беспокойство, терзавшее их мысли, завернулись в свои плащи, растянулись на голой земле и через несколько минут спокойно заснули. Один Цезарь охранял безопасность всех.

Первые часы плена

Трангуаль Ланек не ошибся: он точно приметил дона Тадео, скакавшего возле токи. Король Мрака не умер, он даже и не был ранен, но сделался пленником Антинагюэля, то есть самого ожесточенного врага, человека, которому за несколько часов перед этим он нанес одно из тех оскорблений, которых ароканы не прощают никогда.

Вот как было дело: когда токи увидал, что сражение окончательно проиграно, что более продолжительная борьба будет иметь результатом только смерть остальных его храбрых воинов, он возымел только одно желание захватить во что бы то ни стало своего смертельного врага, для того чтобы насытить свою ненависть, если не честолюбие, и сдержать клятву, которую он дал своему умирающему отцу.

Одним жестом собрал он ульменов, в нескольких словах объяснил им свои намерения и в то же время отправил нарочного в свой лагерь с приказанием увезти с поля битвы донну Розарио.

Мы рассказали выше что случилось. Ульмены исполнили план своего вождя с удивительным искусством. Дон Тадео, разлученный со своими, видя вокруг себя только трех или четырех чилийских всадников, понял, что он погиб. Теснимый со всех сторон, дон Тадео защищался как лев, поражая сабельными ударами всех тех, которые отваживались слишком близко приближаться к нему.

Страшное зрелище представляли эти четверо или пятеро людей, которые, зная, что они обречены на смерть,

поддерживали битву Титанов против более пятисот противников, с ожесточением нападавших на них.

Антинагюэль приказал, чтобы его врага захватили живого, поэтому окасы только отражали удары, наносимые доном Тадео.

Между тем, Король Мрака видел, как его верные товарищи падали возле него один за другим. Он уже оставался один, но все еще сражался, желая более всего не попасть живым в руки ароканов.

Тогда-то услышал он крики поощрения Валентина и графа; печальная улыбка промелькнула на его губах, он простился с ними в своем сердце; потому что не надеялся более увидеть их.

Антинагюэль также слышал крики французов; при виде их невероятных усилий спасти друга, токи понял, что если он опоздает, эта драгоценная добыча ускользнет от него. Он быстро снял с себя свой плащ и ловко опутал им голову дона Тадео. Ослепленный и запутанный складками широкой шерстяной одежды, дон Тадео был обезоружен. Человек десять индейцев бросились к нему и, рискуя задушить, крепко связали его, завернутого в плащ, чтобы не допустить сделать малейшее движение.

Антинагюэль бросил своего пленника поперек седла и поскакал с ним по долине в сопровождении своих воинов с продолжительным воем торжества. Вот почему французы, успев наконец разрушить живую стену, вставшую перед ними, не могли уже отыскать своего друга, который исчез, не оставив никаких следов.

Убегая с быстротою лани, Антинагюэль собрал однако ж вокруг себя порядочное количество всадников, так что минут через двадцать он уже находился во главе пятисот воинов прекрасно вооруженных, ехавших на прекрасных лошадях и решившихся под его командой продать дорого свою жизнь.

Токи сделал из этих воинов сплошной эскадрон и, обращаясь по временам как тигр, преследуемый охотниками, давал сильные залпы в чилийских всадников, которые иногда слишком близко нагоняли его. Отъехав на некоторое расстояние, Антинагюэль заметил, что победители отказались преследовать его далее и остановился, чтобы заняться пленником и дать время своим воинам перевести дух.

Дон Тадео не подавал признаков жизни. Антинагюэль обосновано боялся, что лишенный воздуха, разбитый

быстротой скачки, пленник его находился в опасном состоянии. Он поспешил развязать аркан, скрутивший несчастного, потом снял покрывавший его плащ. Дон Тадео был без чувств.

Антинагюэль положил его на песок и с настойчивостью, которую только глубокая дружба или закоренелая ненависть могут доводить так далеко, старался вернуть его к жизни. Сначала он расстегнул ему платье, чтобы облегчить дыхание, потом водой, смешанной с ромом, натер ему виски, живот и ладони.

Только недостаток воздуха был причиной обморока дона Тадео, и потому, получив возможность дышать свободно, он скоро раскрыл глаза. При этом счастливом результате улыбка неизъяснимого выражения промелькнула на минуту на губах токи. Дон Тадео обвел удивленным взором присутствующих и казалось впал в глубокие размышления; мало-помалу память его прояснилась; он припомнил случившиеся происшествия и то, каким образом он очутился во власти вождя окасов. Тогда он встал, скрестил руки на груди и, пристально взглянув на великого вождя, ждал. Антинагюэль подошел к нему и спросил:

— Лучше ли отцу моему?

— Да, — лаконически отвечал дон Тадео.

— Итак, мы можем ехать?

— Разве я должен давать вам приказания?

— Нет. Однако ж, если отец мой недовольно еще оправился и не может сесть на лошадь, мы подождем несколько минут.

— О! О! — сказал дон Тадео. — Вы что-то слишком стали заботиться о моем здоровье.

— Да, — отвечал Антинагюэль, — я был бы в отчаянии, если бы случилось несчастье с моим отцом.

Дон Тадео презрительно пожал плечами, Антинагюэль продолжал:

— Мы поедem; хочет ли отец мой дать мне честное слово, что не будет стараться убежать? Я оставлю его свободным между нами.

— Будете ли вы верить моему слову, когда постоянно изменяете вашему?

— Я, — отвечал вождь, — более ничего как бедный индеец, между тем как отец мой кабальеро, как говорят люди его народа.

— Прежде чем я буду вам отвечать, скажите мне, куда вы меня везете?

— Я везу отца моего к пуэльчесам, моим братьям, среди которых укроюсь с несколькими воинами, оставшимися у меня.

Сердце пленника встрепенулось от радости; он почувствовал, что скоро увидит свою дочь.

— Сколько времени должно продолжиться это путешествие? — спросил он.

— Только три дня.

— Даю вам честное слово, что в эти три дня я не буду стараться спастись бегством.

— Хорошо, — отвечал вождь торжественным тоном, — я спрячу слово моего отца в моем сердце и возвращу ему его через три дня.

Дон Тадео поклонился и ничего не отвечал. Антинауэль указал ему на лошадь и сказал:

— Когда отец мой будет готов, мы поедем.

Дон Тадео сел в седло, токи последовал его примеру, и отряд двинулся в путь.

На этот раз дон Тадео был свободен; он дышал всей грудью, он ехал во главе отряда, возле вождя. Эта искусственная свобода, которой он мог наслаждаться после жестокого стеснения, испытанного им за несколько минут перед этим, совершенно успокоила его мысли и позволила взглянуть на его положение с менее мрачной точки зрения.

Человек создан таким образом, что для него от самого глубокого отчаяния до самой безумной надежды — один почти неприметный шаг. Если он имеет перед собой несколько дней или только несколько часов жизни, он составляет самые безумные планы и скоро убеждает себя наконец, что осуществление их возможно и даже легко. В глубине сердца он в особенности рассчитывает на благоприятные обстоятельства, которые могут представить ему случай или Провидение. Эти два слова — синонимы в уме несчастных; с тех пор как существует свет, они остановили на краю бездны большее число страдальцев, нежели все пошлые утешения, которыми осыпали их. Человек чрезвычайно мечтателен: пока он жив, пока его воображение может предаваться своему полету, он не теряет надежды.

Поэтому и дон Тадео, хотя и наделенный высоким умом и глубокой опытностью, невольно начал составлять

самые странные планы побега. Находясь во власти самого неумолимого своего врага, один и без оружия, в неизвестной стране, он не терял надежды не только найти свою дочь, но и вырвать ее из рук ее гонителей и убежать вместе с ней.

Эти планы и эти мечты по крайней мере тем хороши, что возвращают человеку мужество и позволяют ему хладнокровно смотреть на печальное положение, в котором он находится.

Между тем индейцы мало-помалу приблизились к горам; теперь они взбирались по первым ступеням Кордильер.

Солнце, уже опускалось за горизонт, когда Антинагюэль скомандовал остановиться. Место было выбрано очень хорошо. Это была узкая долина на невысокой вершине одного холма, положение которого делало неожиданное нападение почти невозможным.

Антинагюэль велел раскинуть лагерь и отправил нескольких человек — одних для рекогносцировки, а других настрелять дичи. В быстроте своего отступления ароканы не подумали захватить провизию. Токи велел срубить несколько деревьев для костров. Через час охотники воротились с дичью. Лазутчики не открыли ничего опасного. Ужин был весело приготовлен, и каждый делал ему честь.

Антинагюэль, казалось, забыл свою ненависть к дону Тадео; он говорил с ним с величайшим уважением и оказывал ему чрезвычайное внимание. Полагаясь совершенно на его слово, он оставлял его совершенно свободным в его поступках, не обнаруживая ни малейшего беспокойства.

Как только ужин был окончен, расставили часовых, и все заснуло. Один дон Тадео напрасно искал сна; слишком мучительное беспокойство пожирало его, и он не мог сомкнуть глаз. Сидя под деревом, склонив голову на грудь, он провел целую ночь в глубоких размышлениях о страшных событиях, которые нарушали его спокойствие. Мысль о дочери довершала его горечь; несмотря на надежду, которой он старался прельстить себя, положение его было так отчаянно, что ему едва ли предстояла какая-либо возможность выйти из него.

Иногда воспоминание о двух французах, которые уже дали ему столько доказательств преданности, пробегало

в его мыслях; но предположив даже, что эти смелые люди успели бы найти его следы, что они могли сделать, несмотря на все свое мужество? Безумна была бы борьба их против такого множества врагов; очевидно, они должны были бы пасть, не спася его.

Восход солнца застал дона Тадео погруженным в эти печальные мысли; сон ни на секунду не смыкал его утомленных век. Между тем все зашевелилось в лагере; лошади были оседланы, и индейцы, наскоро позавтракав, отправились в путь.

Этот день прошел без всякого происшествия, достойного упоминания. Вечером раскинули лагерь так же как и накануне, на вершине холма; но на этот раз ароканы, зная, что неожиданное нападение невозможно, не принимали таких предосторожностей как прежде.

Дон Тадео, побежденный наконец усталостью, погрузился в тяжелый сон и проснулся перед самым отъездом. Антинагюэль вечером отправил нарочного вперед; этот человек воротился в лагерь в ту самую минуту, когда отряд отправлялся в путь. Вероятно он привез хорошее известие, потому что, слушая его донесение, вождь улыбнулся несколько раз. Потом, по знаку Антинагюэля, весь отряд поскакал галопом, все более и более углубляясь в горы.

Ультиматум

Антинагюэль уже успел нагнать воинов, которым поручил охранять донну Розарио. Оба отряда соединились в один. Токи имел сначала намерение переехать Анды и удалиться к пуэльчесам; но проигранное им сражение имело для ароканов ужасные последствия.

Их главные селения были сожжены испанцами и разграблены, а жители перебиты или взяты в плен. Те, которые могли бежать, сначала без цели бродили по лесам; но потом узнав, что Токи успел спастись, они соединились и отправили к нему послов просить помощи и принудить его стать во главе войска, назначенного охранять границы.

Антинагюэль, радуясь реакции своих соотечественников, воспользовался ею, чтобы утвердить свою колеблющуюся власть после испытанного им поражения. Он переменял план своего пути и во главе только ста человек приблизился к Биобио, между тем как по его приказанию другие воины рассыпались по всей области, чтобы призвать народ к оружию.

Токи не имел уже притязания как прежде распространить ароканское владычество; теперь его единственным желанием было добиться с оружием в руках мира, который не был бы слишком невыгоден для его соотечественников. Словом, он хотел загладить насколько возможно несчастья, причиненные его безумным честолюбием.

По причине, известной одному Антинагюэлю, дон Тадео и донна Розарио совсем не знали, что находятся так близко друг к другу; Красавица оставалась невиди-

мой, и дон Тадео думал, что большое расстояние еще разделяет его от дочери.

Антинагюэль раскинул лагерь на вершине горы, где несколько дней перед этим он находился со всей индейской армией в той сильной позиции, которая возвышалась над бродом Биобио. Только вид чилийской границы переменился. Батарея из восьми пушек возвышалась на склоне для защиты прохода; ясно виднелись патрули копыеносцев, объезжавших берег и внимательно наблюдавших за движениями индейцев.

Было около двух часов пополудни. Кроме нескольких ароканских часовых, неподвижно опиравшихся на свои длинные копья, ароканский лагерь, казалось, был пуст; глубокое безмолвие царствовало повсюду. Воины, изнуряемые зноем, удалились отдыхать под тень деревьев и кустов.

Вдруг барабанный бой раздался на противоположном берегу реки. Ульмен, начальствовавший на аванпостах, велел отвечать таким же барабанным боем и вышел узнать причину этой тревоги. Три чилийских всадника в богатых мундирах стояли на берегу; возле них развевался парламентерский флаг. Ульмен выкинул такой же флаг и въехал в воду навстречу всадникам, которые со своей стороны тоже отправились вброд. Доехав до половины реки, четыре всадника остановились как бы по взаимному согласию и вежливо поклонились друг другу.

— Чего хотят вожди бледнолицых? — спросил надменно ульмен.

Один из всадников тотчас отвечал:

— Скажи тому, кого ты называешь великим токи окасов, что один из высших офицеров чилийской армии имеет сообщить ему важное известие.

Глаза индейца сверкнули при этом оскорблении; но тотчас возвратив бесстрастный вид, он сказал презрительно:

— Я осведомлюсь, расположен ли великий токи принять вас; я очень сомневаюсь, чтобы он удостоил выслушать презренных инков.

— Негодяй! — продолжал чилиец с гневом. — Спешь повиноваться, а не то...

— Будьте терпеливы, дон Грегорио, ради Бога! — вмешался другой офицер.

Ульмен удалился. Через несколько минут он сделал с берега знак чилийцам, что они могут подъехать. Антинагюэль, сидя в тени великолепного дерева, ждал парламентариев, окруженный пятью или шестью самыми преданными ульменами. Три офицера остановились перед ним неподвижно, не сходя с лошадей.

— Чего вы хотите? — сказал токи грубым голосом.

— Выслушайте мои слова и запомните их хорошенько, — возразил дон Грегорио.

— Говорите и будьте кратки, — сказал Антинагюэль.

Дон Грегорио презрительно пожал плечами.

— Дон Тадео де Леон в ваших руках, — сказал он.

— Да, человек, которого вы так называете, мой пленник.

— Очень хорошо; если завтра в третьем часу дня он не будет возвращен нам здоров и невредим, аманаты, взятые нами, и более восьмидесяти пленных, находящихся в нашей власти, будут расстреляны в виду обоих лагерей, на самом берегу реки.

— Делайте что хотите; этот человек умрет, — холодно отвечал вождь. — У Антинагюэля только одно слово: он поклялся убить своего врага и убьет его.

— А! Так-то! Ну, я, дон Грегорио Перальта, клянусь вам, что со своей стороны держу строго обещание, которое сделал вам.

И резко повернув лошадь, он удалился с двумя своими товарищами. В угрозе Антинагюэля заключалось более хвастовства, нежели чего другого; если бы гордость не удержала его, он возобновил бы разговор, зная, что дон Грегорио не поколеблется исполнить то, чем ему угрожал.

Токи задумчиво воротился в лагерь и вошел в свою палатку. Красавица, сидя в углу, размышляла; донна Розарио спала. При виде молодой девушки, Антинагюэль испытал страшное волнение, кровь сильно прилила к его сердцу и, бросившись к ней, он запечатлел горячий поцелуй на ее полуоткрытых губах. Донна Розарио проснулась, бросилась на другой конец палатки с криком испуга, обвела вокруг смутным взором, как бы умоляя о помощи, на которую, к несчастью, не могла надеяться.

— Что это значит? — вскричал вождь с гневом. — Откуда происходит этот ужас, который я внушаю тебе, молодая девушка?

И он сделал несколько шагов, чтобы приблизиться к ней.

— Не подходите! Не подходите, ради Бога! — вскричала донна Розарио.

— К чему эти гримасы? Ты моя, говорю я тебе... волей или неволей, ты должна уступить моим желаниям!

— Никогда! — возразила молодая девушка с тоскою.

— Полно, — сказал токи, — я не бледнолицый: слезы женщины для меня ничего не значат; я хочу, чтобы ты была моею!

И он решительно подошел к ней. Красавица, все погруженная в свои размышления, как будто не примечала что происходит вокруг нее.

— Сеньора! Сеньора! — вскричала молодая девушка, укрываясь около нее. — Умоляю вас именем всего святого на земле, защитите меня!

Красавица подняла голову, холодно взглянула на донну Розарио и вдруг захохотала сухим, прерывистым хохотом, который поверг в ужас бедную девушку.

— Разве я тебя не предупредила, что ждало тебя здесь? — сказала донна Мария, грубо отталкивая несчастную. — Пусть свершится твоя участь!

Донна Розарио сделала несколько шагов назад, шатаясь; взор ее был дик и все тело судорожно подергивалось.

— О! — вскричала она раздирающим голосом. — Будь же ты проклята, бездушная женщина!

— Замолчи, — возразил Антинагюэль с бешенством, — пора кончить!

И он снова бросился к молодой девушке. Несчастная опять ускользнула от него.

Страшное зрелище представляла сцена, происходившая в палатке: молодая девушка бросалась во все стороны, едва переводя дух и обезумев от ужаса, свирепый индеец преследовал ее, и донна Мария спокойно сидела перед дверью, преграждая выход и ободряя усилия злодея.

— Собака! — вскричал вдруг Антинагюэль, обращаясь к Красавице. — По крайней мере помощи мне схватить ее.

— Нет! — смеясь, отвечала куртизанка. — Эта охота коршуна за горлицей так меня забавляет, что я не хочу вмешиваться в нее.

При этом ироническом ответе бешенство вождя перешло за все границы, ударом ноги отбросил он Красавицу

за десять шагов и прыгнул как ягуар на свою жертву, которую схватил за платье.

Донна Розарио, казалось, погибла; но вдруг она выпрямилась: молния сверкнула в ее глазах, и пристально взглянув на своего смущенного палача, она вскричала, выдернув из-за пояса кинжал:

— Назад! Назад, или я убью себя!

Злодей невольно остановился, как бы пригвожденный к полу. Он понял, что молодая девушка делает ему не напрасную угрозу. В эту минуту чья-то рука ударила его по плечу. Он обернулся. Отвратительное и кривляющееся лицо донны Марии склонилось к его уху:

— Притворись, будто уступаешь, — прошептала она, — я обещаю выдать тебе ее беззащитной в эту ночь.

Антинагюэль взглянул на нее подозрительно. Куртизанка улыбалась.

— Ты мне обещаешь? — сказал он хриплым голосом.

— Клянусь моим вечным спасением! — отвечала она.

Между тем донна Розарио, подняв высоко кинжал и наклонившись вперед, ждала развязки этой ужасной сцены. С легкостью, которой обладают одни индейцы, Антинагюэль совершенно изменил выражение своей физиономии. Он выпустил край одежды, которую держал до сих пор, и сделал несколько шагов назад.

— Пусть сестра моя простит мне, — сказал он кротким голосом, — я безумствовал; от женщин ничего не должно требовать силой. Рассудок воротился ко мне; пусть сестра моя успокоится, она теперь в безопасности; я удаляюсь и явлюсь к ней не иначе, как по ее приказанию.

Поклонившись молодой девушке, которая не знала чем объяснить свое спасение, токи вышел из палатки. Оставшись одна, донна Розарио в изнеможении опустилась на землю и залилась слезами.

Между тем Антинагюэль решил сняться с лагеря и удалиться, в уверенности, что если чилийцы потеряют его след, то не осмелятся убить аманатов и пленников из опасения за жизнь дона Тадео. План этот был хорош; вождь тотчас его выполнил и так искусно, что чилийцы не подозревали отъезда ароканов.

Красавица и донна Розарио ехали впереди под прищотром нескольких воинов. Молодая девушка, разбитая ужасным волнением, с трудом держалась на лошади;

сильная лихорадка овладела ею, зубы ее стучали, и она бросала вокруг себя взоры, исполненные безумия.

— Мне хочется пить! — прошептала она почти невнятным голосом.

По знаку Красавицы приблизился один из воинов и, сняв тыквенную бутылку, которая висела у него на плече, сказал:

— Пусть сестра моя пьет.

Девушка схватила бутылку, поднесла ее к губам и выпила. Красавица глядела на нее со странным выражением.

— Хорошо, — сказала она глухо.

— Благодарю, — прошептала донна Розарио, возвращая бутылку почти пустой.

Мало-помалу глаза ее отяжелели, оцепенение овладело ею, и она опрокинулась назад, прошептав угасающим голосом:

— Боже мой, что происходит со мной? Мне кажется, я умираю.

Один воин подхватил ее и положил на седло. Вдруг молодая девушка вскочила, как бы пораженная электрическим потрясением, раскрыла глаза и закричала раздирающим голосом:

— Помогите! Помогите! — и упала.

При этом крике молодой девушки, сердце Красавицы невольно сжалось; с ней сделалось головокружение; но она оправилась почти тотчас же.

— Я сошла с ума! — сказала она с улыбкой и, сделав знак воину, который держал донну Розарио, чтобы тот приблизился, внимательно осмотрела ее.

— Спит, — прошептала она с выражением удовлетворенной ненависти, — а когда проснется, я буду ото-мщена.

В эту минуту положение Антинагюэля было довольно критическое: слишком слабый, чтобы предпринять что-нибудь против чилийцев, которых хотел принудить заключить с ним мир, выгодный для его страны, он старался выиграть время и старался объехать границу таким образом, чтобы враги не знали, где найти его и не могли предложить ему условий, которых он не хотел принять. Хотя окасы отвечали на призыв посланных токи и усиленно собирались в его ряды, но надо было дать племенам по большей части очень отдаленным время сосредоточиться в пункте, который он указал им.

Со своей стороны испанцы, внутреннее спокойствие которых было отныне упрочено по милости смерти Бустаменте, не очень желали продолжать войну, которая не имела уже для них никакого интереса. Им нужен был мир, чтобы исправить бедствия, нанесенные междоусобной войной; поэтому они ограничивались тем, что охраняли свои границы и старались всеми средствами заставить главных ароканских вождей решиться на серьезные переговоры.

Дону Грегорио Перальта сделали выговор за его угрозу Антинагюэлю, и он сам сознался в безумстве своего поведения, узнав об отъезде токи с его пленником. Тогда чилийцы приняли другую систему: они оставили аманатами только десять главных вождей, а других одарили подарками и возвратили им свободу.

Все заставляло думать, что эти вожди, воротившись в свои селения, употребят все свое влияние, чтобы заключить мир и раскрыть перед советом действия Антинагюэля, которые поставили народ на край гибели. Ароканы страстно любят свободу, поэтому легко было предвидеть, что окасы, несмотря на глубокое уважение к своему токи, не поколеблются лишить его власти, когда их вожди с одной стороны и дружественные чилийцы с другой растолкуют им, что эта свобода находится в опасности и что они подвергаются лишиться ее навсегда и попасть под иго испанцев, если будут продолжать свою прежнюю политику.

Фурия

Пройдя миль пять или шесть, Антинагюэль велел остановиться. Воины, сопровождавшие его, почти все принадлежали к его племени и потому были преданы ему до фанатизма. Как только зажгли огни, Красавица подошла к вождю и сказала:

— Я сдержала мое обещание...

Глаза токи сверкнули.

— Итак, молодая девушка?.. — спросил он глухим голосом.

— Спит, — отвечала куртизанка с отвратительной улыбкой, — теперь можешь делать с ней все, что хочешь.

— Хорошо, — прошептал злодей с радостью.

Он сделал несколько шагов к палатке, которая была построена наскоро и в которую его жертва была перенесена, но вдруг, остановившись, сказал:

— Нет... после. На сколько времени сестра моя усыпила молодую девушку? — прибавил он, обращаясь к своей сообщнице.

— Она проснется только на рассвете, — отвечала донна Мария.

Улыбка удовольствия осветила черты вождя.

— Хорошо, сестра моя искусна; я теперь вижу, что она умеет сдерживать свои обещания. Я принужден удалиться на несколько часов с половиной моих воинов; воротившись, я посетую мою пленницу.

Эти последние слова были произнесены тоном, который не оставлял никакого сомнения насчет смысла, заключавшегося в них.

— Я хочу доказать моей сестре, — продолжал токи, — что я не неблагодарный и также умею верно держать свое слово.

Красавица задрожала, устремив на него вопросительный взгляд.

— О каком слове говорит брат мой? — спросила она. Антинагюэль улыбнулся.

— Сестра моя имеет врага, которого преследует давно и не может настигнуть.

— Дона Тадео!

— Да, враг ее также и мой враг...

— Ну?

— Он в моей власти!

— Дон Тадео пленник моего брата?

— Он здесь!

Глаза Красавицы сверкнули молнией, зрачки ее расширились как у гиены.

— Наконец-то! — закричала она с радостью. — Теперь я заплачу этому человеку за все мучения, которые он нанес мне!

— Да, я выдам его моей сестре; она свободна делать с ним все, что хочет.

— О! — вскричала куртизанка голосом, который оледенил ужасом самого Антинагюэля. — Я наложу на него только одну муку, но она будет ужасна.

— Берегись, женщина, — отвечал Антинагюэль, крепко сжимая ее руку своей железной рукой и глядя ей в лицо, — берегись, чтобы ненависть не сбила тебя с толку: жизнь этого человека принадлежит мне, я хочу сам вырвать ее у него.

— О! — отвечала донна Мария с насмешкой. — Не бойся ничего, токи ароканов, я возвращу тебе твою жертву здоровой и невредимой; я намерена наложить на нее только нравственные мучения; я не мужчина... мое единственное оружие — язык!

— Да, но это оружие имеет два острия; часто оно убивает.

— Я тебе отдам его, говорю я. Где он?

— Там, — отвечал вождь, указывая на хижину, сплетенную из ветвей. — Но не забудь моих поручений.

— Не забуду, — ответила куртизанка с диким хохотом.

И она бросилась к хижине.

— Только женщины умеют ненавидеть, — прошептал Антинагюэль, следуя за ней глазами.

Человек двадцать воинов ожидали вождя у входа в лагерь. Он вскочил в седло и удалился с ними, бросив последний взгляд на Красавицу, которая в ту минуту исчезла в хижине. Хотя из гордости Антинагюэль не подавал вида, но угрозы доня Грегорио произвели на него сильное впечатление. Он действительно боялся, чтобы главнокомандующий чилийцев не предал смерти пленников, Последствия этого поступка конечно были бы страшны для токи и заставили бы его безвозвратно потерять влияние, которым он еще пользовался у своих соотечественников. Принужденный в первый раз в жизни уступить, он решился воротиться назад и вступить в переговоры с доном Грегорио, которого он знал слишком хорошо и потому был уверен, что суровый чилиец, не колеблясь, исполнит свою угрозу.

Одаренный большой хитростью, Антинагюэль тешил себя надеждой, что добьется от доня Грегорио отсрочки, которая позволит ему принести в жертву его пленника и безнаказанно. Но время уходило и нельзя было терять ни минуты; как только лагерь был раскинут, Антинагюэль поручил охранять его одному преданному ульмену и пустился во весь опор со своими воинами по направлению к броду Биобио, чтобы доехать до чилийских аванпостов ранее часа, назначенного доном Грегорио для своего страшного возмездия.

Было восемь часов вечера. Антинагюэлю надо было сделать только шесть миль; он надеялся приехать прежде назначенного времени и даже возвратиться ночью к своим. Он уехал, с радостью думая о том, что его ожидает в лагере после его экспедиции.

Мы сказали, что Красавица вошла в хижину, служившую убежищем дону Тадео. Король Мрака сидел на груде сухих листьев в углу этой хижины, прислонившись спиной к дереву, скрестив руки на груди и потупив голову. Погруженный в горькие мысли, он не заметил присутствия Красавицы, которая, остановившись неподвижно в двух шагах от него, рассматривала его с выражением ярости и удовлетворенной ненависти.

Несколько дней он уже был пленником Антинагюэля; но токи, озабоченный трудностями своего критического положения, и не помышлял об удовлетворении своей ненависти. Однако дон Тадео слишком хорошо знал характер индейцев, чтобы видеть в этом что-нибудь другое кроме отсрочки, которая должна была сделать еще более ужасной ожидавшую его муку.

Хотя он чрезвычайно беспокоился о своей дочери, но не смел, боясь сделать неосторожность, осведомиться о ней или хотя только произнести ее имя перед вождем. Принужденный старательно заключать в глубине сердца раздиравшую его горечь, этот человек, великий, твердый и энергический, чувствовал, что мужество его истощилось, воля разбита и что отныне он остается без сил, не имея возможности поддерживать эту лютую борьбу, эту ежесекундную мучительную агонию. Он горячо желал окончить свое существование, исполненное постоянных страданий. Если бы мысль о дочери не наполняла всей души его, конечно он убил бы себя, чтобы прекратить свои страдания; но образ невинного и кроткого создания, которое составляло его единственную радость, защищал его против него самого и прогонял мысль о самоубийстве.

— Ну? — сказал мрачный голос. — О чем ты думаешь, дон Тадео?

Король Мрака вздрогнул при этом знакомом голосе, поднял голову и, устремив глаза на Красавицу, отвечал горьким тоном:

— А! Это вы? А я удивлялся, что не вижу вас.

— Да, не правда ли? — возразила Красавица с насмешкой. — Ты меня ждал; ну, я здесь, мы опять очутились лицом к лицу.

— Тебя привлекает запах крови, как гиену; ты бежишь схватить свою долю в пиршестве, которое приготовляет тебе твой достойный сообщник.

— Я? Полно, дон Тадео, ты страшно ошибаешься насчет моего характера; разве я не жена твоя, которая некогда обожала тебя! О! Нет!.. Я прихожу как покорная и нежная супруга утешать тебя в последние минуты, чтобы смерть была для тебя приятнее.

Дон Тадео с отвращением пожал плечами.

— Ты должен быть мне признателен за то, что я делаю, — продолжала донна Мария.

Дон Тадео взглянул на нее с выражением крайнего сострадания.

— Послушайте, — сказал он, — ваши оскорбления никогда не сравнятся с моим презрением: вы недостойны моего гнева. В эту самую минуту, когда вы так неосторожно насмехаетесь надо мной, я мог бы раздавить вас как гнусное пресмыкающееся; но я презираю мстить вам; рука моя осквернилась бы, дотронувшись до вас; таких врагов, как вы, не наказывают. Делайте, действуйте, говорите, оскорбляйте меня, изобретайте самые гнусные клеветы, какие только может вам внушить ваш адский гений, я не буду вам отвечать! Я сосредоточил все в себе самом, и ваши оскорбления — пустой звук.

И он повернулся спиной к своей неприятельнице.

Красавица захохотала.

— О! — вскричала она. — Я сумею принудить вас выслушать меня, мой милый муженек; все вы, мужчины, одинаковы; вы присваиваете себе права и все добродетели! Мы существа презренные, бездушные, осужденные быть вашими нижайшими рабами и выносить с улыбкой на губах оскорбления, которыми вам вздумается осыпать нас; да, я была для вас недостойной женщиной, неверной женой, а вы всегда оставались образцовым мужем, не правда ли? Никогда под супружеской кровлей не подавали вы повода к подозрениям и к клевете? Я одна была виновата во всем; вы правы! Это я украла у вас ребенка, не так ли?

Красавица остановилась. Дон Тадео даже и не пошевелился. Через минуту она продолжала:

— Бросим притворство; будем говорить откровенно в последний раз; будем искренни; к чему употреблять гнусные увертки? Вы пленник самого неумолимого вашего врага, вас ожидают самые ужасные мучения; может быть через несколько минут угрожающая вам пытка разразится над вашей надменной головой с той ужасной утонченностью, которую индейцы, эти опытные палачи, умеют изобретать, чтобы отнимать у своей жертвы жизнь малопомалу; а я могу избавить вас от этой пытки; жизнь, которую вы считаете секундами, я могу возвратить вам прекрасной, продолжительной, славной; я могу одним словом, одним движением, одним знаком сделать вас свободным немедленно... Это для меня легко! Антинагюэль в отсутствии... я прошу вас только сказать мне одно слово, дон Тадео, где моя дочь?

Она остановилась, задыхаясь. Дон Тадео пожал плечами, но не отвечал. Красавица яростно заскрежетала зубами, черты ее искривились; лицо сделалось отвратительным.

— О! — вскричала она с движением ярости. — Это человек железный! Его ничто не может поколебать: нет таких сильных слов, которые могли бы растрогать его! Демон! Демон! О, с каким счастьем я разорву тебя! Но нет, — продолжала она через минуту, — я виновата, простите меня, дон Тадео, я не знаю что я говорю; горесть сводит меня с ума, сжальтесь надо мной, я женщина, я мать, я обожаю мое дитя, мою бедную девочку, которую я не видала так давно, которая всегда была лишена моих поцелуев и моих ласк; возвратите ее мне, дон Тадео, я буду молиться за вас! О вы мужчина, вы мужественны, смерть вас не пугает, напрасно я угрожала вам, я должна была обратиться к вашему сердцу, которое благородно, которое великодушно; вы скорее поняли бы меня, вы сжалились бы надо мной; вы так добры! О! Если бы вы знали, как ужасно страдает мать, лишившись своего ребенка! Ребенок — это ее кровь, плоть, жизнь! О! Похитить дочь у матери, это преступление!.. Дон Тадео, умоляю вас, возвратите мне моего ребенка!.. Видите ли, я у ваших ног, я вас умоляю, я плачу, дон Тадео, возвратите мне мое дитя!..

Красавица, рыдая, бросилась к ногам дона Тадео и ухватила за его плащ. Он холодно обернулся, отдернул свой плащ, оттолкнул ее жестом, исполненным крайнего презрения, и сказал мрачным голосом:

— Отойдите, сеньора!

— А! Так-то! — закричала куртизанка прерывающимся голосом. — Я умоляю вас, я ползаю, задыхаясь от горести у колен ваших, а вы насмехаетесь надо мной! Просьбы и угрозы равно бессильны над вами! Ничто не может тронуть вашего гранитного сердца! Демон с человеческим лицом, вы насмехаетесь над горестью матери! Неужели вы думаете, что вы неуязвимы и что я не сумею найти места, не защищенного вашей кирасой? Берегись, дон Тадео, я готовлю для тебя пытку во сто раз ужаснее тех, которые ты налагаешь на меня! О, мое мщение готово! Если я захочу через минуту ты, гордый, надменный, в свою очередь упадешь к моим ногам, умоляя меня о сострадании! Берегись, дон Тадео, берегись!

Король Мрака улыбнулся с презрением.

— Какую пытку вы наложите на меня ужаснее вашего присутствия? — сказал он.

— Безумец! — возразила Красавица. — Он играет со мной как ягуар с зайцем! Сумасшедший! Он думает, что я не могу поразить его! Ты воображаешь, будто ты один в моих руках!

— Что вы хотите сказать? — вскричал дон Тадео, вставая с живостью.

— А! — вскричала Красавица со свирепой радостью. — На этот раз я попала метко!

— Говорите! Говорите! — вскричал дон Тадео с волнением.

— А если я не хочу... — возразила Куртизанка с иронией, — если мне нравится хранить молчание! Ха! Ха! Ха!

И она захохотала хриплым смехом.

— Нет, — возразила она с сарказмом, — я не зла, дон Тадео, я покажу тебе ту, которую ты напрасно ищешь так давно и которую без меня ты не увидел бы никогда! И я великодушна, — прибавила она насмешливым голосом, — я избавляю тебя даже от признательности за огромную услугу, которую хочу оказать тебе! Пойдем!

И Красавица поспешно вышла из хижины. Дон Тадео бросился за ней; сердце его сжималось от горестного предчувствия.

Громовой удар

Ароканы, рассыпавшиеся по лагерю, с удивлением увидели этих двух существ, бегущих в сильном волнении; но с беззаботностью и с бесстрашием, отличавшими их, они сочли за благо не вмешиваться. Красавица бросилась в палатку; дон Тадео устремился за ней. Донна Розарио спала на сухих листьях, покрытых бараньей кожей. Руки ее были скрещены на груди, лицо бледно, черты заострены; она походила на мертвую. Дону Тадео это и показалось.

— Боже мой! — вскричал он с отчаянием. — Она умерла!

И он бросился к ней вне себя. Красавица его удержала, сказав:

— Нет, она спит.

— Но, — возразил бедный отец недоверчиво, — этот сон не может быть естественным; наш приход разбудил бы ее.

— Этот сон действительно не естественный, она обязана им мне.

Дон Тадео бросил на Красавицу пытливый взгляд.

— О! Успокойся, — сказала она с иронией, — эта женщина жива, только он должна была заснуть.

Дон Тадео оставался безмолвен.

— Ты меня не понимаешь, — возразила куртизанка, — я объяснюсь: эта молодая женщина, которую ты так любишь...

— О! Да, я люблю ее, — перебил Король Мрака, — бедное дитя, в таком ли положении должен был я найти ее!

Красавица улыбнулась с горечью.

— Я похитила ее у тебя.

— Несчастливая!

— Я тебя ненавижу и мщу! Я знаю глубокую любовь твою к этой твари: похитить ее у тебя значило поразить тебя в самое сердце, и я ее похитила...

— Злодейка! — закричал дон Тадео с глухим гневом.

— Но это еще не все! — продолжала Красавица, не обращая внимания на восклицания своего врага. — Я изобрела средство расплатиться с тобою сполна.

— Какую еще ужасную гнусность придумало это чудовище? — прошептал дон Тадео, с беспокойством смотря на спящую девушку.

— Антинагюэль, враг твоего рода и твой, влюблен в эту женщину.

— О! — вскричал дон Тадео с ужасом.

— Да, он любит ее, — бесстрастно продолжала Красавица, — и я решилась отдать ее ему; но тогда как вождь захотел воспользоваться правами, которые я дала ему над его пленницей, она вооружилась вдруг кинжалом и угрожала убить себя.

— Благородное дитя! — прошептал дон Тадео с умилением.

— Не правда ли? — сказала Красавица с иронией. — Я сжалилась над ней и так как я хотела не смерти ее, а только бесславия, сегодня вечером я налила ей опиума, который предаст ей беззащитной ласкам Антинагюэля: через час все будет кончено; она сделается любовницей великого токи ароканов. Как ты находишь мое мщение? Достигла ли я моей цели на этот раз? Дон Тадео не отвечал; этот ужасный цинизм в женщине пугал его.

— Ну! — продолжала Красавица насмешливым голосом. — Ты ничего не говоришь?

Король Мрака смотрел на нее с минуту блуждающим взором, потом вдруг захохотал хриплым и судорожным смехом.

— Безумная! Безумная! — вскричал он звучным голосом. — А! Ты отмстила, говоришь ты! Безумная! Ты мать, ты обожаешь свою дочь и холодно, обдуманно замышляешь подобные преступления! Но, стало быть, ты не веришь в Бога? Стало быть, ты не боишься, что Его правосудие поразит тебя? Безумная! Знаешь ли ты, что ты сделала?

— Моя дочь! Ты говорил о моей дочери! Возврати ее мне! Скажи мне где она, и клянусь, я спасу эту женщину! Дочь моя! О, если бы я видела ее!

— Твоя дочь, несчастная! Змея, наполненная ядом, можешь ли ты еще думать о ней после преступлений, которые ты совершила!

— О! Если я отыщу ее, я так буду любить ее, что она простит меня!

— Ты думаешь? — сказал дон Тадео с ужасающей иронией.

— О! Да, дочь не может ненавидеть свою мать!

Дон Тадео схватил Красавицу за руку и грубо толкнул ее к груди листьев, на которых спала донна Розарио.

— Спроси у нее сама! — вскричал он громким голосом.

— Ах! — сказала донна Мария с отчаянием. — Что ты говоришь? Что ты говоришь, Тадео?

— Я говорю, несчастная, что это невинное существо, которое ты преследовала как гиена, это бедное дитя, которое ты заставила терпеть невыразимую муку, твоя дочь!.. Твоя дочь, слышишь ли ты?.. Та, которую ты так любишь и которую требуешь от меня так настойчиво!..

Красавица оставалась с минуту неподвижна как бы пораженная громом. Вдруг она захохотала демонским смехом и вскричала:

— Прекрасно сыграно, прекрасно сыграно, дон Тадео! Ей Богу! С секунду я думала, что ты говоришь правду, что эта тварь действительно моя дочь!

— О! — прошептал дон Тадео. — Эта кровожадная женщина не узнает свое дитя, у нее нет сердца, если ничто не говорит ей, что эта несчастная, которую она приносит в жертву своему постыдному мщению, ее дитя!

— Нет, я тебе не верю, это невозможно! Господь не допустил бы такого великого преступления!.. Что-нибудь предупредило бы меня, что это моя дочь.

Красавица бегала взад и вред как хищный зверь, произнося невнятные крики и беспрестанно повторяя глупым голосом:

— Нет! Нет! Это не моя дочь! Бог не допустил бы меня до этого...

Сильное чувство ненависти невольно овладело доном Тадео при виде этой неизмеримой горести; он также хотел мстить.

— Безумная, — сказал он. — Это дитя, которое я похитил у тебя, не имело ли каких-нибудь примет, по которым тебе возможно было бы узнать ее; ты, ее мать, должна это знать.

— Да! Да! — сказала донна Мария тихим и прерывистым голосом. — Сейчас, сейчас...

И, бросившись на колени, она наклонилась к спящей донне Розарио и с живостью сбросила мантилью, покрывавшую ее шею и плечи. Вдруг она испустила отчаянный крик:

— Дитя мое! Это она! Это мое дитя!

Она заметила три черные родинки на правом плече молодой девушки. Вдруг все члены ее задрожали, лицо странно вытянулось, глаза неизмеримо раскрылись и как будто хотели выскочить из своих орбит; она крепко прижала обе руки к груди, испустила глухое хрипение, походившее не рев, и грохнулась на землю с отчаянием, которого невозможно передать.

— Дочь моя! Дочь моя! О, я спасу ее! — восклицала она.

Она ползала у ног бесчувственной девушки, и с неистовством целовала ей ноги.

— Розарио! Дочь моя! — кричала она голосом, прерывавшимся от рыданий. — Это я, мать твоя! Узнай меня! Боже мой! Она меня не слышит, она мне не отвечает! Розарио! Розарио!

— Это ты ее убила, — бесстрастно сказал ей дон Тадео, — бесчеловечная мать, холодно подготовившая бесчестье своего ребенка. Лучше пусть она не пробуждается никогда! Лучше пусть она умрет прежде чем ее осквернят нечистые поцелуи человека, которому ты предала ее!

— Ах! Не говори таким образом! — вскричала донна Мария, с отчаянием ломая себе руки. — Она не умрет! Я этого не хочу! Она должна жить! Что буду я делать без моего ребенка? Я спасу ее, говорю я тебе!

— Слишком поздно!

Донна Мария вскочила и пристально взглянула на дона Тадео.

— Я говорю тебе, что спасу ее! — повторила она глухим голосом.

В эту минуту раздался лошадиный топот.

— Вот Антинагюэль! — сказал с ужасом дон Тадео.

— Да, — отвечала она голосом резким и решительным, — но какое мне дело до приезда этого человека! Горе ему, если он дотронется до моего ребенка...

Занавес палатки вдруг приподнялся. Явился Антинагюэль. За ним следовал воин с факелом в руке.

— Э! Э! — сказал вождь с иронической улыбкой. — Кажется я пришел кстати.

С легкостью, которой удивился даже дон Тадео, Красавица так изменила свое лицо, что Антинагюэль не возымел ни малейшего подозрения об ужасной сцене, которая только то происходила.

— Да, — отвечала она улыбаясь, — брат мой пришел кстати.

— Сестра моя имела со своим супругом удовлетворительный разговор?

— Да, — отвечала она.

— Хорошо; Великий Орел белых — воин неустрашимый; крики женщины не могут его тронуть; скоро окасские воины испытают его мужество.

Этот грубый намек на участь, которая для него готовилась, был понят доном Тадео.

— Люди моего характера не пугаются напрасных угроз, — отвечал он с презрительной улыбкой.

Красавица отвела вождя в сторону.

— Антинагюэль, брат мой, — сказала она тихо, — мы были воспитаны вместе.

— Сестра моя хочет просить меня о чем-нибудь?

— Да, и для собственной своей пользы, брат мой хорошо сделает, если согласится на мою просьбу.

Антинагюэль взглянул на нее.

— Говорите, — сказал он холодно.

— Я сделала все, чего желал мой брат.

Вождь утвердительно наклонил голову.

— Эту женщину, которая ему сопротивлялась, — продолжила она с неприметным трепетом в голосе, — я выдала ему беззащитной.

— Хорошо.

— Брату моему известно, что бледнолицые знают разные секреты?

— Да...

— Если брат мой хочет, я выдам ему эту женщину не такую холодную и неподвижную...

Глаза индейца сверкнули странным блеском.

— Я не понимаю моей сестры, — сказал он ей.

— Я могу, — отвечала Красавица с намерением, — в три дня так изменить эту женщину, что она будет так

же любезна и так же предана моему брату, как до сих пор он видел ее непослушной, злой и упорной.

— Сестра моя сделает это? — сказал он недоверчиво.

— Сделаю, — отвечала донна Мария решительно.

Антинагюэль размышлял несколько минут; Красавица внимательно рассматривала его.

— Зачем сестра моя ждала так долго? — возразил он наконец.

— Затем, что я не думала, чтобы необходимость могла заставить меня прибегнуть к этому.

Индеец задумался.

— Впрочем, — прибавила Красавица равнодушно, — я говорю таким образом из дружбы к моему брату; если мое предложение ему не нравится, он вправе отказаться от него.

Когда она произносила эти слова, внутренний трепет пробегал по всему ее телу.

— И ты говоришь, что нужно три дня для совершения этой перемены?

— Три дня.

— Это очень долго.

— Стало быть, брат мой не хочет ждать?

— Я этого не говорю.

— Как же поступит брат мой?

— Антинагюэль вождь мудрый, он будет ждать.

Красавица восторгалась от радости; если бы вождь отказал, она решилась заколоть его кинжалом, рискуя быть убитой сама.

— Хорошо, — сказала она, — брат мой может положиться на мое обещание.

— Да, — отвечал вождь, — молодая девушка больна; лучше пусть она выздоровеет... она будет женой вождя.

Красавица улыбнулась с неописанным выражением. Дон Тадео, услышавший эти слова, нахмурил брови.

— Пусть Великий Орел белых следует за мной, — продолжал Антинагюэль, — чтобы я вверил его надзору моих воинов, если он не предпочтет дать мне свое слово, как уже сделал однажды...

— Нет, — лаконически отвечал дон Тадео.

Оба вышли из палатки. Антинагюэль приказал своим воинам караулить пленника и сел перед огнем.

Мы уже имели случай заметить, что ароканы чрезвычайно суеверны, так же как и все другие индейцы; они

верят с величайшей легкостью чудесам, которые обещают им совершить белые, это объясняет легкость, с какою Антинагюэль согласился на трехдневную отсрочку, которой потребовала Красавица.

С другой стороны индейцы, хотя имеют решительную склонность к испанским женщинам, не сладострастны по природе; привыкнув обращаться с женщинами как с существами низшего разряда, они считают их рабынями и в своей слепой гордости предполагают, будто они должны быть слишком счастливы, пользуясь их добрым расположением. Антинагюэль любил дону Розарио и, по причине этой самой любви, не прочь был добиться взаимности, это льстило его гордости и возвышало его в собственных глазах.

Еще одно обстоятельство было в пользу молодой девушки: токи вернулся в лагерь в лучшем расположении духа, потому что его экспедиция имела благоприятные результаты, которых он не смел ожидать. Приехав в лагерь чилийцев, он нашел генерала Фуэнтеса, который командовал войсками вместо дона Грегорио, уехавшего в Сантьяго, куда народ призвал его принять временно сан президента республики в отсутствие дона Тадео.

Фуэнтес был человек характера кроткого и благоклонного; он принял токи почетным образом; оба долго разговаривали. Разговор их кончился тем, что все окасские пленные, кроме заложников, взятых доном Грегорио, были освобождены чилийцами; со своей стороны, Антинагюэль обязался освободить через неделю дона Тадео, уверяя, что он находится под караулом далеко в Кордильерах.

У Антинагюэля был тайный умысел, вот какой: с первого взгляда он угадал, что чилийскому генералу надоела война; тогда он постарался выиграть время, чтобы набрать довольно людей и попытаться сделать набег; это было тем легче, что большая часть чилийской армии направилась во внутренние земли и у генерала Фуэнтесса было только около двух тысяч человек кавалерии и пехоты.

Освобождать же дона Тадео Антинагюэль вовсе не был намерен. Но ему не хотелось казнить его прежде чем обстоятельства сделаются так благоприятны, что он мог бы в безопасности удовлетворить свою жажду. В эту неделю, которую он выговорил себе, он хотел разослать повсюду гонцов, чтобы собрать воинов как можно более.

На восходе солнца лагерь был снят. Окасы шли целый день по горам без определенной цели. Вечером они остановились по обыкновению. Антинагюэль, прежде чем идти отдыхать, зашел к Красавице и сказал ей только:

— Сестра моя начала?

— Начала, — отвечала дона Мария.

Целый день напрасно старалась она заставить молодую девушку разговориться с нею; та упорно молчала, но Красавица была не такая женщина, чтобы легко отказаться от своей цели. Как только вождь оставил ее, она подошла к доне Розарио и, склонив голову, сказала ей тихим и печальным голосом:

— Сеньорина, простите мне все зло, которое я вам сделала; я не знала с кем я имела дело; ради Бога, сжальтесь надо мной, я ваша мать!

При этом признании молодая девушка зашаталась, как громом пораженная, она ужасно побледнела и протянула руки, как бы отыскивая опоры. Красавица бросилась поддержать ее. Дона Розарио оттолкнула ее с криком ужаса и убежала в свою палатку.

— О! — вскричала несчастная мать со слезами в голосе. — Я буду так любить ее, что она непременно простит меня.

И она легла у входа в палатку, чтобы никто не мог войти туда без ее ведома.

По следам

Вечером через неделю после происшествий, рассказанных нами в предыдущей главе, в двадцати милях от Ароко, в девственном лесу, состоящим из миртов и кипарисов, который покрывает своим зеленым ковром подножия Кордильерских гор, четыре человека сидели вокруг костра, на котором жарилась дичь; двое из них были индейцы, другие двое европейцы. Читатель, без сомнения, уже узнал в них двух французов и друзей их Трангуаля Ланека и Курумиллу.

Граф, оперев голову на правую руку, размышлял. Валентин, сидя на некотором расстоянии, прислонившись спиной к огромному мирту, метров в тридцать вышины, курил индейскую трубку, лаская одной рукою собаку, лежавшую у его ног, а другой чертя шомполом на земле геометрические фигуры, которые тотчас же машинально стирал.

Место, на котором остановились наши путешественники, было одной из тех прогалин, которыми наполнены американские леса. Эта прогалина была велика и усыпана деревьями, засохшими от старости или разбитыми молнией; она углубилась между двух холмов и составляла тупой треугольник, у одного угла которого журчал один из безымянных ручейков, льющихся с Кордильер и через несколько миль теряющихся в больших реках.

Место прекрасно было выбрано для остановки на несколько часов днем, чтобы отдохнуть в тени, пока спадет солнечный зной; но для ночлега это была самая худшая

из возможных стоянок, по причине соседства источника, к которому приходили пить хищные звери, как ясно показывали их многочисленные следы в тине обоих берегов. Индейцы были слишком опыты для того, чтобы добровольно остановиться в этом месте; они согласились провести тут ночь только из-за невозможности ехать далее.

Индейцы надели на лошадей путы и пустили их неподалеку от огня; туша великолепного кабана, который был убит Курумиллой и которому недоставало одной ноги, жарившейся для ужина, висела на одной из главных ветвей большого дерева.

День был ненастный, но к ночи буря начала утихать. Путешественники храбро принялись за ужин, чтобы раньше отойти ко сну, в котором очень нуждались. Четверо собеседников не обменялись ни одним словом во время ужина.

Окончив его, индейцы бросили в огонь несколько сухих ветвей и, завернувшись в свои плащи и одеяла, заснули; этому примеру немедленно последовал граф, валившийся от усталости.

Валентин и Цезарь остались одни охранять общую безопасность. Конечно, никто не узнал бы в этом человеке, суровом и задумчивом, того насмешливого и беззаботного француза, который восемь месяцев тому назад вышел на берег в Вальпараисо, гордо подбоченившись и покручивая усы.

Случившиеся события мало-помалу изменили этот характер, порою сбивавшийся с прямого пути. Благородные задатки, дремавшие в сердце молодого человека, пробудились от соприкосновения с величественной, грандиозной и могучей природой Южной Америки. Тесная связь с Луи де Пребуа Крансэ, у которого была душа любящая, ум здравый, обращение деликатное, со своей так же оказывало благотворное влияние на Валентина.

Эта перемена, произведенная его дружбой с человеком, которого он спас от самоубийства, безмолвием пустыни и таинственным присутствием божества, которое сердце человека созерцает под сводами девственных лесов, была еще только внутренняя. Для поверхностного наблюдателя он показался бы почти тем же самым человеком; однако ж глубокая бездна разделяла его прошлое и настоящее.

Между тем ночь близилась к концу, луна достигла двух третей своего бега. Валентин разбудил Луи, чтобы он сменил его, пока он насладится несколько часов необходимым отдыхом. Граф встал; он также очень изменился; это не был уже изящный и блистательный дворянин, который готов был почти упасть в обморок от сильного запаха; он тоже переродился в пустыне; лоб его загорел под американским солнцем, руки загрубели, суждения стали более зрелыми, словом, он совершенно преобразился: это был теперь человек закаленный физически и морально.

Уже около часа прошло с тех пор, как он сменил Валентина, как вдруг Цезарь, до сих пор лениво и беззаботно гревшийся у огня, приподнял голову, понюхал воздух и глухо заворчал.

— Ну! Цезарь, — сказал шепотом молодой человек, лаская животное, — что с тобою, моя добрая собака?

Водолаз устремил свои умные глаза на графа, завертел хвостом и заворчал во второй раз еще сильнее прежнего.

— Очень хорошо, — возразил Луи, — бесполезно нарушать покой наших друзей прежде чем мы не узнаем в чем дело; мы оба пойдем разузнавать, не так ли, Цезарь?

Граф осмотрел свои пистолеты и винтовку и сделал знак собаке, которая подстерегала все его движения.

— Ну! Цезарь, — сказал он, — ищи, мой милый, ищи!

Собака, как будто только ожидавшая этого приказа, бросилась вперед; за нею последовал ее хозяин, который осматривал кусты и останавливался время от времени, чтобы бросить вокруг внимательный взгляд. Цезарь, предоставленный самому себе, побежал прямо через ручей и углубился в лес, обнюхивая землю и весело вертя хвостом, как обыкновенно делают ньюфаундлендские собаки, когда нападут на знакомый след.

Человек и собака шли таким образом около трех четвертей часа, останавливаясь иногда затем, чтобы прислушаться к звукам, которые без всякой причины возмущают ночью тишину пустыни и которые есть не что иное, как могучее дыхание спящей природы. Наконец, после многочисленных поворотов собака присела, повернула голову к молодому человеку и жалобно завывала. Граф задрожал; с предосторожностью раздвинул ветви и взглянул.

Он с трудом удержался от крика горестного изумления при страшном зрелище, представившемся его взо-

рам. В десяти шагах от того места, где он находился, посреди обширной прогалины, человек пятьдесят индейцев лежали как попало вокруг потухающего огня, погруженные в пьяный сон, что легко можно было угадать по мехам из козлиной кожи, разбросанным без всякого порядка по песку. Но внимание Луи было особенно привлечено видом двух человек — мужчины и женщины, крепко привязанных к деревьям и, казалось, находившихся в сильном отчаянии.

Мужчина склонил голову на грудь, из его больших глаз лились слезы, глубокие вздохи вырывались из груди его, когда взгляд его обращался на молодую девушку, привязанную напротив него.

— О! — прошептал граф с тоскою. — Дон Тадео де Леон! Боже мой! Даруй, чтобы эта женщина была не его дочь!

Увы! Это была она. У ног их валялась Красавица, привязанная к огромному бревну. Тело молодой девушки трепетало время от времени, и ее крошечные ручки с розовыми и тонкими пальчиками судорожно прижимались к груди. Молодой человек почувствовал, как кровь вдруг прилила к сердцу; забыв о своей собственной безопасности, он схватил по пистолету в каждую руку и хотел лететь на помощь к той, которую любил.

В эту минуту чья-то рука дотронулась до плеча его, и тихий голос прошептал ему на ухо два слова:

— Будьте осторожны!

Граф обернулся. Трангуаль Ланек был возле него.

— Вы говорите, чтобы я был осторожен... — повторил молодой человек тоном горестного упрека, — посмотрите!..

— Я все видел, — отвечал вождь, — но пусть брат мой посмотрит в свою очередь, — прибавил он, — он поймет, что уже слишком поздно.

И Трангуаль Ланек указал на восемь или десять индейцев, которые, пробудившись от ночного холода, а может быть, и от невольного шума, который производили эти два человека, вставали, бросая вокруг настороженные взгляды.

— Это правда! — прошептал Луи с унынием. — Боже мой! Боже мой! Неужели Ты не придешь к нам на помощь!

Вождь воспользовался унынием, своего друга, чтобы отвести его на несколько шагов назад и не возбудить

более подозрений индейцев, слух которых так тонок, что малейшей неосторожности достаточно для того, чтобы заставить их остерегаться.

— Но, — возразил молодой человек через несколько секунд, остановившись перед Трангуалем Ланekom, — мы их спасем, не правда ли, вождь?

Индеец покачал головой.

— Это невозможно, по крайней мере в настоящую минуту, — сказал он.

— Брат, так как теперь мы напали на их след, мы должны спасти их немедленно; вы видите, время уходит, они в опасности.

Улыбка мелькнула на губах индейского воина.

— Мы попробуем, — сказал он.

— Благодарю, вождь! — с жаром вскричал молодой человек.

— Но прежде вернемся к нашим, — продолжал Трангуаль Ланек. — Терпение, брат мой, — прибавил он торжественным голосом, — не к чему торопиться; прежде чем мы приступим к действию, надо держать совет вчетвером, чтобы хорошенько условиться на счет того, что мы должны делать.

— Это справедливо, — отвечал граф, потупив голову с покорным видом.

Оба друга возвратились к своей стоянке, где нашли Валентина и Курумиллу глубоко спящими.

Рысь

В течение нескольких дней в Арокании случились происшествия, о которых мы должны рассказать читателю.

Политика Фуэнтеса имела превосходные результаты. Вожди, которым возвращена была свобода, приехав в свои селения, сильно уговаривали своих воинов заключить окончательный мир с Чили. Эти убеждения повсюду были приняты с поспешностью и вот почему.

В приморской области живут гуйличесы, племена, возделывающие землю, разводящие скот и ведущие большую меновую торговлю со своими соседями, чилийскими фермерами. Война происходила на морском берегу и во всех долинах, до первых склонов Кордильерских гор. Гуйличесы видели с отчаянием, что посевы их уничтожены, селения сожжены, а скот перебит или уведен. Словом, война совершенно их разорила; они боялись, что и остатки их собственности, которые с огромными затруднениями успели они спасти, будут уничтожены, если они не поторопятся заключить мир.

Эти важные причины заставили гуйличесов призадуматься, а они составляют большинство ароканского народа. Вожди дружественных племен и ульмены, которых чилийцы привлекли на свою сторону, искусно воспользовавшись этим расположением, чтобы показать им в самых мрачных красках неисчислимы бедствия, которые непременно должны их постигнуть, если они захотят продолжать войну. Гуйличесы, желая кончить войну и приняться опять за свои мирные труды, легко приняли

эти доводы и поспешно согласились на условия, предложенные им ульменами.

Великий совет был торжественно созван на берегах Карампаньи, и вследствие этого совета шесть депутатов, выбранных между самыми мудрыми и самыми уважаемыми вождями, которыми предводительствовал апо-ульмен, прозванный Рысью, в сопровождении тысячи всадников, хорошо вооруженных, были отправлены к Антинагюэлю затем, чтобы сообщить ему решение совета и просить его согласия.

Посланные скоро приехали в лагерь Антинагюэля, который беспрестанно переменил место своего лагеря, не очень однако ж удаляясь от того места, где он назначил собраться разным ароканским племенам, чтобы с новыми силами возобновить войну. Когда он увидел вдали это многочисленное войско, поднимавшее на пути своем вихри пыли, он вздохнул с облегчением, думая, что к нему едет подкрепление для набега, который он хотел предпринять на чилийскую землю.

Мы должны объяснить одно обстоятельство относительно этого набега.

Антинагюэль поклялся умертвить дона Тадео на том самом месте, где его первый предок, токи Кадегуаль, был изувечен испанцами; а это место находилось в окрестностях Талки, то есть в Чилийской провинции. Вот по какой причине до сих пор токи как будто позабыл о своей ненависти к своему пленнику: он дожидался, пока у него соберется довольно войска, чтобы обеспечить его мщение и принести в жертву последнего потомка рода, которого он ненавидел, на том самом месте, где пал его предок.

Индейцы очень любят утончать свое мщение; для них дело состоит не только в том, чтобы враг их был умерщвлен, но чтобы казнь его могла произвести сильное впечатление на тех, которые присутствуют на ней.

Между тем войско, замеченное Антинагюэлем, приближалось. Скоро токи узнал с тайным неудовольствием, что им предводительствует Рысь, один из апо-ульменов, имевших наиболее влияния на народ и всегда тайно ему сопротивлявшийся. На расстоянии нескольких шагов от лагеря Рысь знаком велел своим всадникам остановиться. К Антинагюэлю и к его ульменам, которые соединились в группу, чтобы принять его, подъехал герольд. Он остановился перед вождями и почтительно им поклонился.

— Токи четырех уталь-мапусов, — сказал он громким голосом, — и вы, ульмены, слушающие меня! Рысь, уважаемый апо-ульмен Ароко в сопровождении шести ульменов, не менее его знаменитых, присланы к вам с приказанием повиноваться повелениям великого совета, собравшегося два дня тому назад на берегах Карампаньи возле того места, где в него впадает Красная река, перед лицом солнца. Огонь совета будет зажжен вне вашего лагеря, совет повелевает вам отправиться туда.

Говоря таким образом, герольд сделал почтительный поклон и удалился. Антинагюэль и его ульмены переглянулись с удивлением; они ничего не понимали. Один токи внутренне подозревал измену, замышляемую против него; но лицо его оставалось бесстрастно, и он уговорил ульменов сопровождать его к огню совета, который действительно был зажжен вне лагеря по распоряжению Рыси.

Способ приглашения на совет как будто показывал враждебные намерения, но для токи не осталось никакого сомнения относительно намерений приехавших, когда он увидел, что семь депутатов одни сошли на землю, а воины остались на лошадях. Вожди церемонно поклонились друг другу и заняли места вокруг огня. Через минуту Рысь встал, сделал два шага вперед и заговорил таким образом:

— Великий ароканский совет именем народа посылает поклон всем, кто находится во главе воинов. В уверенности, что все наши соотечественники сохраняют веру Пиллиана, мы желаем им мира, так как в нем одном заключается истинное благо и святое спокойствие. Вот что решил совет: война неожиданно разразилась над нашими богатыми полями и превратила их в пустыни; посевы наши растоптали лошади, скот наш перебит или уведен неприятелем; урожай погиб, жилища наши сожжены, жены и дети исчезли в буре. Мы не хотим более войны, мир должен быть немедленно заключен с бледнолицыми. Рысь и шесть ульменов сообщат нашу волю великому токи. Я сказал. Хорошо ли я говорил, могущественные люди?

Глубокое безмолвие последовало за этой речью; ульмены Антинагюэля с беспокойством глядели на своего вождя. На губах токи блуждала сардоническая улыбка.

— А на каких условиях великий совет решил заключить мир? — спросил он сухим тоном.

— Условия вот какие, — бесстрастно отвечал Рысь, — Антинагюэль тотчас возвратит белых пленных, которые находятся в его руках; он распустит войско, которое вернется в свои селения; ароканы пригонят бледнолицым две тысячи баранов, пятьсот вигоней и восемьсот быков, и топор войны будет зарыт под крестом Бога инков.

— О! О! — сказал токи с горькой улыбкой. — Эти условия жестоки; верно братья мои очень испугались, когда решились принять их! А что будет, если я откажусь заключить этот постыдный мир?

— Отец мой наверно не откажется, — отвечал Рысь сладким голосом.

— А если откажусь? — возразил Антинагюэль с твердостью.

— В таком случае пусть отец мой обдумает то, что говорит... невозможно, чтобы это было его последнее слово.

Антинагюэль, выведенный из себя этой притворной кротостью, как ни был хитер, не догадался о расставленных ему сетях и попал в них.

— Повторяю вам, Рысь, — сказал он громким голосом, дрожащим от бешенства, — и всем вождям, окружающим меня, что я отказываюсь от этих бесславных условий! Я никогда не соглашусь подкрепить моим именем позор моей страны! Итак теперь, когда вы получили мой ответ, вы можете удалиться.

— Нет еще, — воскликнул Рысь в свою очередь резким голосом, — я не кончил...

— Что вы имеете еще сказать мне?

— Совет, составленный из мудрых людей всех племен, предвидел отказ моего отца.

— А! — вскричал Антинагюэль с иронией. — В самом деле? Его члены исполнены прозорливости! Что же они решили?

— Вот что: топор токи отнимается у моего отца; все ароканские воины освобождаются от клятвы в верности, он объявлен изменником отечеству, так же как и те, которые не будут повиноваться и останутся с ним. Ароканская нация не хочет более служить игрушкой и быть жертвой необузданного честолюбия человека недостойного повелевать ею; я сказал.

Во время этой страшной речи Антинагюэль оставался неподвижен, скрестив руки на груди, высоко подняв голову и с насмешливой улыбкой на губах.

— Кончили вы наконец? — спросил он.

— Кончил, — отвечал Рысь, — теперь герольд провозгласит в вашем лагере то, что я сказал вам в совете.

— Хорошо, пусть он идет, — отвечал Антинагюэль, пожимая плечами. — А! Вы можете отнять у меня топор токи; какое мне дело до этого пустого звания! Вы можете объявить меня изменником отечеству; за меня моя совесть; но вы не получите того, чего вам хочется; отнять у меня это не в вашей власти: это мои пленники, я оставлю их у себя и замучу самой ужасной пыткой! Прощайте!

И такими твердыми шагами, что как будто ничего с ним не случилось, Антинагюэль возвратился в лагерь; там ожидало его большое горе. По зову герольда все воины оставляли его, одни с радостью, другие с печалью; тот, кто пять минут назад насчитывал под своей командой более восьмисот воинов, видел как число их уменьшалось так быстро, что скоро у него осталось не более тридцати человек. Те, которые остались ему верны, были или его родственники, или воины, издавна служившие его семье.

Рысь бросил ему издали ироническое прощание и удалился галопом со всем своим войском. Тогда Антинагюэль пересчитал как мало друзей осталось у него, и неизмеримое горе сжало его сердце; он упал у подножия дерева, закрыл лицо полою своего плаща и заплакал.

Между тем, благодаря способам, которые Красавица доставила дону Тадео, он мог сблизиться с донной Розарио. Присутствие человека, воспитавшего ее, служило великим утешением для молодой девушки; а когда дон Тадео, который, не имея уже причины хранить тайну, признался ей, что он ее отец, неизъяснимая радость овладела ею. Она думала, что теперь ей уже нечего опасаться и что если отец с нею, ей будет легко избавиться от ненавистой любви Антинагюэля.

Красавица, которой дон Тадео из сострадания позволял оставаться возле него, с детской радостью смотрела как отец и дочь разговаривали между собою, держась за руки и расточая друг другу ласки, которых она была лишена, но которые однако ж делали ее счастливою. Донна Мария была в полном смысле любящая мать, обладавшая всею преданностью, всем самоотвержением, которые свойственны женщине. Она жила только для дочери, и если та улыбалась, луч счастья входил в ее увядающую душу.

Пока происходили события, описанные нами выше, дон Тадео и донна Розарио сидели под деревом, погруженные в приятный разговор, и ничего не видели и не слышали. Поодаль Красавица любовалась ими с наслаждением, не смея вмешаться в их беседу. Когда утихла первая горечь Антинагюэля, он встал, гордый и неумолимый как прежде. Он поднял глаза, и взор его машинально упал на его пленников, радость которых как будто дразнила его. Вдруг безумная ярость овладела им. Уже несколько дней он подозревал, что Красавица ему изменяет.

Несмотря на предосторожности, которыми донна Мария окружила себя, она не могла скрыть в глубине сердца тайну перемены своего обращения с донной Розарио до такой степени, чтобы ее движения или слова ни в чем не изменяли ей. Антинагюэль, внимание которого возбудилось, начал старательно наблюдать за ними и скоро приобрел нравственное доказательство заговора, затеянного против него бывшей сообщницей. Индеец был слишком хитер для того, чтобы позволить угадать что происходило в нем; он только начал остерегаться, обещая себе при первом удобном случае удостовериться в своих подозрениях.

Теперь он только приказал своим воинам крепко привязать каждого пленника к дереву. Это приказание было немедленно выполнено. При этом зрелище Красавица забыла всякую осторожность; она бросилась с поднятым кинжалом на вождя, упрекала его в низости его недостойного поведения и хотела воспротивиться всеми силами варварскому обращению с ее мужем и дочерью.

Антинагюэль не удостоил отвечать на ее упреки, вырвал у нее кинжал, поверг ее на землю и велел привязать к огромному бревну, лицом к солнцу.

— Если сестра моя так любит пленников, — сказал он ей с насмешкой, — справедливость требует, чтобы она разделила их участь.

— Подлец! — отвечала Мария, изгибаясь в веревках, которые врезались в ее тело.

Вождь презрительно повернулся к ней спиной. Потом он понял, что ему надо вознаградить верность воинов, не оставивших его, и дал им несколько мехов с напитками, которые те поспешили опорожнить.

После этой-то оргии нашел их граф, благодаря чутью своей собаки.

Черные Змеи

Как только Курумилла и Валентин проснулись, путники оседлали лошадей, потом индейцы сели возле огня, сделав знак французам, чтобы они последовали их примеру.

Граф был в отчаянии от медлительности своих друзей; если бы он послушался своего собственного сердца, он тотчас погнался бы за похитителями. Но он понял, как ему была необходима в решительной борьбе, которую он готовился начать, помощь ульменов и для нападения, и для обороны, или наконец хоть бы для того, чтобы идти по следам окасов; поэтому, заключив внутри себя свои чувства, он сел по наружности бесстрастно между обоими вождами, и так же как они закурил молча сигару.

После довольно продолжительного молчания, во время которого наши четыре действующих лица добросовестно докурили сигары и трубки, Трангуаль Ланек обратился к присутствующим и сказал громким голосом:

— Воины Антинагюэля многочисленны; мы можем надеяться победить их только хитростью; с тех пор, как мы напали на их след, случилось много происшествий, которые мы должны узнать; мы должны также осведомиться и о том, что Антинагюэль намерен делать со своими пленниками и действительно ли они в опасности; чтобы получить эти сведения, я пойду в их лагерь. Антинагюэлю неизвестны узы, связывающие меня с теми, которые находятся в его власти; он не будет остерегаться меня; братья последуют за мною издали. На следующую ночь я принесу им желаемые известия.

— Хорошо, — отвечал Курумилла, — брат мой благодарен; он будет иметь успех, но я должен предупредить его, что воины, среди которых он будет находиться, Черные Змеи — самые низкие и самые вероломные из всех племен ароканских; пусть он старательно обдумывает свои поступки и свои слова, пока будет у них.

Валентин взглянул с удивлением на своего молочного брата.

— Это что значит? — спросил он. — О каких индейцах говорят они? Разве след Антинагюэля найден?

— Да, брат, — печально отвечал граф, — донна Розарио и ее отец находятся в полумиле от нас, в смертельной опасности.

— А мы здесь рассуждаем, вместо того, чтобы лететь к ним на помощь? — вскричал Валентин, вскочив и схватив свою винтовку.

— Увы! — сказал со вздохом Луи. — Что могут сделать четверо против пятидесяти?

— Это правда! — согласился Валентин с унынием, опускаясь на свое место. — Трангуаль Ланек говорит правду: надо не драться, а хитрить.

— Вождь, — заметил Луи, — мне кажется, что ваш план очень хорош; только нужно сделать два важных дополнения.

— Пусть говорит брат мой, он мудр, совет его будет исполнен, — отвечал Трангуаль Ланек, вежливо кланяясь.

— Мы должны все предвидеть, чтобы не потерпеть неудачи. Ступайте в лагерь, а мы пойдем за вами; только если вам не удастся возвратиться к нам так скоро, как мы желаем, условимся о сигнале, который нас уведомит о невозможности встречи; условимся также в другом сигнале на тот случай, если ваша жизнь будет в опасности, чтобы мы могли помочь вам.

— Очень хорошо, — подтвердил Курумилла, — если вождю понадобится наше присутствие, он будет подражать крику баклана; если он будет принужден остаться у окасов, пусть он уведомит нас о том, подражая пению щегленка, повторенному три раза.

— Это условлено, — отвечал Трангуаль Ланек, — какое же второе замечание моего брата?

Граф порывлся в своем мешке, вынул оттуда бумагу, написал несколько слов на листке, который сложил вчетверо, и отдал его вождю, говоря:

— Особенно важно, чтобы те, которого мы хотим освободить, не мешали нашим планам; может быть, дон Тадео не узнает моего брата. Чтобы избежать недоразумения, вождь сунет эту записку в руки молодой бледнолицей девушки... она уведомит ее о нашем присутствии.

— Это будет сделано; девушка с лазоревыми глазами получит вашу записку, — отвечал вождь.

— Теперь, — сказал Курумилла, — пойдем по следу наших врагов, чтобы не потерять его во второй раз.

— Да, потому что время не терпит, — прошептал Валентин, с досадой стиснув зубы и садясь в седло.

Европейцы с трудом могут представить себе, с каким терпением индейцы идут по чьим-либо следам. Постоянно согнув спину и устремив глаза в землю, они не пропускают ни листка, ни травинки. Они отводят течение ручьев, чтобы найти на песке следы шагов, и часто возвращаются на несколько миль назад, когда попадут на ложный след, потому что индейцы, преследуют их или нет, непременно скрывают свои следы насколько возможно.

На этот раз ароканы, интерес которых требовал, чтобы за ними не было погони, выказали величайшую хитрость, стараясь скрыть свои следы. Как ни были опытни Трангуаль Ланек и Курумилла, след часто ускользал от них. Только посредством прозорливости и какого-то инстинкта, после неслыханных поисков и сверхестественных усилий успели они связать нить, которая на каждом шагу обрывалась в их руках.

К вечеру второго дня Трангуаль Ланек, оставив своих спутников на склоне холма у входа в природный грот, какие часто встречаются в этих областях, вонзил шпоры в бока своей лошади и скоро исчез из виду. Он направлялся к тому месту, где Черные Змеи остановились на ночь; это место обозначалось для прозорливых глаз индейца тонкой струей белого дыма, которая, как легкий пар, поднималась к небу.

Доехав почти до лагеря, Трангуаль Ланек вдруг увидел перед собой двух индейцев Черных Змей, в их военном костюме из невыделанной кожи, которую окасы носят, чтобы защитить себя от ран. Эти индейцы сделали ему знак остановиться. Вождь исполнил это немедленно.

— Куда едет брат мой? — спросил один из Черных Змей, подъезжая к Тангуалью Ланеку, между тем как

другой, укрывшись за дерево, готов был прийти на помощь, если бы это оказалось необходимо.

— Трангуаль Ланек узнал след своих братьев Черных Змей, — отвечал вождь, вскидывая на плечо свое ружье, которое он держал в левой руке, — он хочет покурить у их огня прежде чем будет продолжать свое путешествие.

— Пусть брат мой следует за мной, — лаконически отвечал индеец.

Он сделал неприметный знак своему товарищу, который вышел из своей засады, и оба проводили вождя в лагерь. Трангуаль Ланек последовал за ними, бросая вокруг взгляд, внешне беззаботный, но от которого ничто не укрывалось.

Через несколько минут они приехали. Место было искусно выбрано. Это была вершина пригорка, с которой прекрасно видны были окрестности, что делало неожиданное нападение невозможным. Зажжено было несколько костров; пленники, в числе которых находилась и Красавица, были по-видимому свободны и сидели под деревом. Индейцы, казалось, не занимались ими.

Приезд пуэльчесского воина вызвал сильное волнение, скоро однако прикрытое индейским бесстрашием.

Трангуаля Ланека отвели к токи. Так как высокая репутация пуэльчесского ульмена была известна между его соотечественниками, Антинагюэль, чтобы встретить его с почетом, дожидался на самом возвышенном месте лагеря, стоя и скрестив руки на груди.

Оба вождя поклонились друг другу с обычным приветствием, обнялись, положив друг другу правую руку на левое плечо и, взявшись за мизинцы, подошли к огню, от которого все удалились, они сели друг подле друга и молча начали курить. Окончив эту важную часть церемониала, Трангуаль Ланек, давно знавший хитрый и лукавый характер своего собрата, заговорил первый.

— Брат мой Антинагюэль охотится со своими молодыми людьми? — сказал он.

— Да, — лаконично отвечал токи.

— И охота моего брата была счастлива?

— Очень счастлива, — сказал Антинагюэль со злобешей улыбкой, указывая пальцем на пленных, — пусть брат мой раскроет глаза и смотрит.

— Бледнолицые! — сказал Трангуаль Ланек, притворившись будто приметил испанцев в первый раз. — У

брата моего точно была хорошая охота, он получит большой выкуп за своих пленных.

— Жилище Антинагюэля одиноко; он ищет жену, которая жила бы в нем; он не возвратит своих пленных.

— Хорошо, я понимаю: брат мой возьмет одну из бледнолицых женщин?

— Девушка с лазуревыми глазами будет женою вождя.

— Зачем брат мой оставил Великого Орла? Этот человек стесняет его в лагере.

Антинагюэль отвечал улыбкой, в выражении которой Трангуаль Ланек не мог ошибиться.

— Хорошо, — продолжал он, — брат мой великий вождь; кто может изведать его мысль?

Воин пуэльчесский встал. Он оставил Антинагюэля и несколько минут прохаживался по лагерю, притворно любуясь порядком, но на самом деле он приблизился мало-помалу, почти неприметным образом к тому месту, где сидели пленники. Антинагюэль, которому было лестно одобрение человека, пользовавшегося справедливой известностью и уважением, подошел к нему и сам подвел его к трем несчастным испанцам.

— Пусть смотрит брат мой, — сказал он, указывая на молодую девушку, — не заслуживает ли эта женщина быть женой вождя?

— Она хороша, — холодно отвечал Трангуаль Ланек, — но я отдал бы всех бледнолицых женщин за мех огненной воды, как те три меха, которые привязаны к седлу моей лошади.

— У брата моего есть огненная вода? — спросил Антинагюэль, и глаза его сверкнули жадностью.

— Да, — отвечал вождь, — посмотрите...

Токи обернулся. Трангуаль Ланек воспользовался этим движением и ловко уронил на колени донны Розарио записку, которую отдал ему граф и которую он держал в левой руке.

— Солнце спускается к горизонту, — сказал он, чтобы отдалить внимание Антинагюэля, — перепелка поет первую вечернюю песнь; пусть брат мой следует за мною, мы осушим с его воинами эти меха; я рад, что имею их, потому что они помогут мне отблагодарить его за дружеское гостеприимство.

Оба вождя удалились. Через несколько минут индейцы распивали водку, привезенную ульменом. Опыание уже начало овладевать ими.

Донна Розарио сначала не знала, что значит это послание, которое явилось к ней таким неожиданным образом; она взглянула на отца, как бы спрашивая у него совета.

— Читай, моя Розарита, — кротко сказал дон Тадео, — в нашем положении что можем мы узнать, кроме приятного известия?

Молодая девушка с трепетом развернула записку и прочла ее с тайной радостью; сердце уже открыло ей имя ее анонимного корреспондента. В ней заключались только слова довольно лаконические, но вызвавшие однако ж улыбку на губах бедного ребенка. В шестнадцать лет надежда легко входит в сердце!

«Ободритесь, мы все приготавливаем, чтобы спасти вас».

Прочтя эти слова, молодая девушка отдала записку своему отцу, говоря ему своим мелодическим голосом:

— Кто такой этот друг, бодрствующий над нами? Что может он сделать? Увы! Только одно чудо может спасти нас!

Дон Тадео в свою очередь внимательно прочел записку, потом отвечал дочери голосом нежным, но несколько строгим:

— Зачем сомневаться в бесконечном милосердии Бога, дочь моя? Разве наша участь не в Его руках? Неблагодарное дитя, разве ты забыла наших двух добрых французов?

Молодая девушка улыбнулась сквозь слезы и, грациозно наклонившись к отцу, запечатлела горячий поцелуй на челе его. Красавица не могла удержать ревнивого движения при этой ласке, в которой она не имела своей доли, но надежда на то, что дочь ее скоро будет свободна, сделала ее счастливой и заставила забыть еще раз равнодушие и отвращение, которые невольно выказывала ей донна Розарио; бедная девушка не могла забыть, что ей она была обязана всеми своими несчастиями.

Между тем индейцы все пили. Меха быстро опорожнялись. Многие из окасов уже спали, совершенно опьяневшие. Трангуаль Ланек и Антинагюэль одни еще пили. Наконец глаза токи закрылись против его воли; он уронил свою роговую чашку, прошептал несколько прерывистых слов и опрокинулся назад. Он уснул.

Трангуаль Ланек подождал несколько минут и внимательно осмотрел лагерь, в котором не спали только пленники и он; потом, убедившись, что Черные Змеи действительно попались в сети, которые он расставил им, он встал с осторожностью, сделал знак ободрения пленникам, которые устремили на него вопросительные взоры, и с быстротой оленя, преследуемого охотниками, исчез в лесу.

— Враг это или друг? — с беспокойством прошептала Красавица.

— О! Я давно знаю этого человека, — отвечал дон Тадео, бросив взгляд на дочь, — у него благородное сердце! Он предан друзьям нашим и телом и душой.

Улыбка счастья скользнула по губам донны Розарио.

Ураган

Луи не мог удержать себя. Вместо того, чтобы ждать, он уговорил Валентина и Курумиллу следовать за ним. Все трое подползли через кустарник и тростник на двадцать шагов от лагеря индейцев, так что Трангуаль Ланек почти немедленно встретился с ними.

— Ну? — спросил с беспокойством граф.

— Все хорошо, пойдемте.

Вождь тотчас проводил своих друзей к пленникам. При виде этих четырех человек улыбка невыразимо-приятная осветила очаровательное личико донны Розарио. Она готова была вскрикнуть от радости, но удержалась из осторожности. Дон Тадео встал и, твердыми шагами подойдя к своим избавителям, с жаром поблагодарил их.

— Кабальеро, — сказал граф, который был как на горячих углях, — поспешим; эти люди скоро проснутся; постараемся как можно далее удалиться от них.

— Да, — прибавил Валентин, — если они нас застигнут здесь, придется драться, а нас немного.

Дон Тадсо понял справедливость этого замечания. Трангуаль Ланек и Курумилла отвязали лошадей пленников, которые паслись вместе с лошадьми окасов. Дон Тадео и молодая девушка сели в седла. Красавица, которой никто не занимался, вскочила на лошадь и приготовилась ехать позади дочери с кинжалом в руке. Если бы Валентин не опасался доноса со стороны этой женщины, он заставил бы ее остаться; он не знал, что случилось и какая перемена совершилась в ней в несколько дней.

Маленькая кавалькада удалилась без всякой помехи и направилась к гроту, в котором были оставлены лошади французов и их двух товарищей. Как только приехали, Валентин сделал знак своим друзьям остановиться.

— Вы можете отдохнуть здесь недолго, — сказал он, — ночь темна, а через несколько часов мы опять пустимся в путь. Вы найдете в этом гроте две постели из листьев, на которых я убеждаю вас отдохнуть, потому что вам предстоит тяжелый путь.

Эти слова, сказанные с бесцеремонностью, свойственной парижанину, вызвали веселую улыбку у чилийцев. Когда они бросились на листья, наваленные в углу грота, граф позвал собаку, которая тотчас подбежала к нему.

— Слушай, что я прикажу тебе; Цезарь, — сказал он ему, — ты видишь эту молодую девушку, не так ли, моя добрая собака? Ну! Я поручаю ее тебе, слышишь, Цезарь? Ты должен беречь ее и отвечать мне за нее.

Цезарь выслушал своего господина, смотря на него своими умными глазами и тихо вертя хвостом, потом лег у ног молодой девушки и начал лизать ей руки. Донна Розарио обняла огромную голову водолаза и поцеловала ее несколько раз, улыбаясь графу. Тот покраснел до ушей и вышел из грота, шатаясь, как пьяный. Счастье сводило его с ума.

Он бросился на землю, чтобы на свободе насладиться радостью, которая овладела его сердцем. Он не заметил Валентина, который, прислонившись к дереву, следил за ним печальным взором. Валентин также любил донну Розарио!

Внезапный переворот совершился в его мыслях; случай в одну минуту перевернул его жизнь, до сих пор столь беззаботную, открыв ему вдруг силу чувства, которое по его прежнему мнению можно было легко обуздать. С самого рождения занятый тяжелым трудом, принужденный зарабатывать каждый день насущный кусок хлеба, Валентин достиг двадцати пяти лет, а сердце его ни разу не трепетало при мысли о любви, и душа еще не раскрылась для тех сладостных ощущений, которые занимают столько места в жизни мужчины.

Он был вечно в борьбе с нищетой, вечно подчинялся требованиям своего положения и жил с людьми, столь же несведущими как и он в жизни сердца; единственным лучом, осветившим душу его блестящими отблесками,

была его дружба к Луи, дружба, принявшая у него грандиозные размеры страсти. Его любящее сердце чувствовало потребность в самоотвержении; потому он предался дружбе с каким-то неистовством. С наивностью девственных натур, он убедил себя, что Господь поручил ему сделать счастливым его друга, и что если Он позволит ему спасти его жизнь, то вероятно затем, чтобы потом постоянно заботиться о его счастье; словом, Луи принадлежал ему, составлял часть его существа.

Увидев донну Розарио, Валентин впервые узнал любовь, он понял, что кроме живого и сильного чувства дружбы в его сердце было место для другого чувства, не менее живого и не менее сильного. Это совершенное неведение страстей должно было предать его беззащитным первому удару любви; так и случилось. Валентин был уже без ума от молодой девушки, но все еще старался прочесть в своем сердце и отдать себе отчет в странном волнении, которое он испытывал при одном взгляде на донну Розарио.

Прислонившись к дереву, устремив глаза на грот, порывисто дыша, он припоминал малейшие обстоятельства своей встречи с молодой девушкой; их поездку через лес, слова, которые она ему говорила, и улыбался при воспоминании об этих восхитительных часах, не подозревая опасности подобных воспоминаний и нового чувства, родившегося в его душе, потому что ему все более и более нравилась мысль, что донна Розарио когда-нибудь делается женою его молочного брата.

Два часа протекло таким образом; но погруженный в свои мысли, Валентин не замечал этого; ему казалось, что он стоит тут несколько минут, как вдруг Трангуаль Ланек и Курумилла явились перед ним.

— Верно брат наш спит очень глубоко, если не видит нас? — сказал Курумилла.

— Нет, — отвечал Валентин, проводя рукой по своему пылающему лбу, — я не спал, но думал.

— Брат мой находился с гением сновидений. Он был счастлив, — сказал с улыбкой Трангуаль Ланек.

— Чего вы хотите от меня?

— Пока брат мой размышлял, мы вернулись в лагерь Черных Змей, взяли их лошадей, отвели их далеко и отпустили; теперь врагам нашим нелегко будет их найти.

— Итак, мы можем быть спокойны на несколько часов? — спросил Валентин.

— Надеюсь, — отвечал Трангуаль Ланек, — но не будем полагаться на это; Черные Змеи хитры; у них чутье собаки и ловкость обезьян; они сумеют найти след врага; но на этот раз окасы будут действовать против окасов... увидим, кто будет искуснее.

— Что должны мы делать?

— Нам надо обмануть наших врагов, оставить за собою ложный след. Я поеду с тремя лошадьми бледнолицых, а брат мой, друг его и Курумилла спустятся по ложу ручья до островка Ганакко, где будут меня ждать.

— Мы едем сейчас?

— Сию минуту.

Трангуаль Ланек срезал палочку тростника в полтора фута длины, привязал концы его к удилам лошадей, чтобы они не могли слишком приблизиться одна к другой и пустил их в долину, где скоро исчез вместе с ними.

Валентин вошел в грот. Красавица сидела возле дочери и мужа, охраняя их сон. Когда молодой человек сказал ей, что час отъезда наступил, она разбудила спящих. Луи все уже приготовил. Он посадил дона Тадео на лошадь Валентина, а Красавицу и донну Розарио на свою лошадь, велел им въехать в ручей, старательно смел следы лошадей на песке. Курумилла шел впереди, Валентин прикрывал отступление.

Была одна из тех великолепных ночей, которыми славится Южная Америка. Темно-голубое небо было усыпано бесчисленными звездами, которые блистали в эфире как бриллианты; луна, достигнувшая половины своего течения, проливала лучи серебристого сияния, придавая предметам фантастический вид.

Душистая атмосфера была так чиста и прозрачна, что позволяла видеть на большом расстоянии; легкий ветерок, таинственное дыхание Творца, шелест вершинами высоких деревьев; в глубине лесов раздавался иногда рев хищных зверей, которые, утолив свою жажду у источников, известных им одним, возвращались в свои логовища.

Маленький караван продвигался безмолвно и осторожно, прислушиваясь к шуму леса, наблюдая за движением кустов и опасаясь каждую минуту, чтобы во мраке не засверкали свирепые глаза Черных Змей. Часто Курумилла останавливался, хватался за оружие, наклоняя

тело вперед, уловив своим тонким слухом какой-нибудь подозрительный шум, ускользавший от менее чутких ушей белых. Тогда каждый останавливался неподвижно, с трепещущим сердцем, с нахмуренными бровями, готовый отстаивать свою жизнь. Потом, когда тревога проходила, путники по безмолвному знаку своего проводника пускались вновь в путь, чтобы снова остановиться через несколько шагов.

Европейцы, привыкнув к скучному однообразию своих больших дорог, усыпанных по всем направлениям жандармами и другими агентами правительства, специальная обязанность которых состоит в том, чтобы охранять путешественников и удалять от них всякую опасность или затруднения, не могут представить себе как велико наслаждение ночной поездки в пустыне, под охраной одного Бога. Душа путника возвеличивается, когда он дышит жизнью пустыни, которая обольщает и увлекает его своим удивительным великолепием.

К четырем часам утра, в ту минуту как солнце готовилось появиться на горизонте, островок Ганакко начал мало-помалу выходить из тумана, который в этих теплых странах поднимается с земли на рассвете, и явился наконец восхищенным глазам путешественников как пристань спасения после утомительного плавания.

На самом мысу островка стоял неподвижно всадник: это был Трангуаль Ланек. Возле него в высокой траве паслись лошади испанцев. Путешественники нашли разведенный огонь, над которым жарилась лань, а возле лежали маисовые лепешки, словом, прекрасный завтрак ожидал их.

— Закусите, — лаконически сказал Трангуаль Ланек, — только поскорее... нам надо сейчас ехать.

Не спрашивая у вождя объяснения этих слов, голодные путешественники сели в кружок и весело принялись за лакомую дичь, находившуюся перед ними. В эту минуту солнце в полном блеске появилось на горизонте и осветило небо своими великолепными лучами.

— Ба! — весело сказал Валентин. — Чему быть, того не миновать... будем есть! Вот жаркое, которое, как кажется, славно приготовлено.

При этих словах бывшего спага, донна Розарио сделала движение. Молодой человек замолчал, краснея за свою неловкость, и начал есть, не смея сказать ни слова более.

Первый раз в жизни Валентин подумал о том, на что до сих пор не обращал ни малейшего внимания, то есть о триальности своего обращения и языка.

Странное дело! Этот человек, у которого случай был единственным учителем, который в своем желании научиться чему-нибудь без разбора поглощал все — и хорошие, и плохие книги, попадавшие ему под руку, вдруг как будто был освещен лучом божественной благодати при виде мрачного величия первозданной американской природы. Он понял, как были пусты, нелепы и безнравственны мнимые этические правила, как они ограничивают ум и сбивают его с толку. В течение нескольких месяцев он преобразился и физически, и нравственно.

Кто же был виновником этого чуда? Шестнадцатилетний ребенок, простая, невинная, чистосердечная и неопытная девушка, неопытная по преимуществу, потому что она даже и не подозревала своей неодолимой власти над сильной и энергической организацией молодого человека; но эта девушка обладала инстинктом к добру, к прекрасному и к великому, тактом и в особенности чувством приличия, которые не приобретаются, если не вложены самой природой.

Валентин инстинктивно понял как он оскорбил невольно эту чистосердечную душу; но однако ж почувствовал, так сказать, болезненную радость при этом открытии.

Как только кончился завтрак, а он был недолгий по причине небезопасного положения путешественников и беспокойства, пожиравшего их, Трангуаль Ланек с помощью Курумиллы смастерил пирогу. Спустив ее на воду, вождь пригласил трех испанцев сесть в нее. Индейцы управляли лодкой, а французы шли по ручью, ведя лошадей за поводья. Впрочем переезд был непродолжителен. Через час путешественники высадились, лодку сложили, и дорога продолжалась посуху.

Теперь караван находился на чилийской земле. В несколько часов, как это часто случается в горах, погода совершенно изменилась: солнце мало-помалу приняло красноватый оттенок; оно как будто плавало в океане тумана, который закрывал его горячие лучи. Небо медного цвета постепенно омрачалось синеватыми тучами.

Слышались глухие раскаты отдаленного грома. От земли шел едкий запах. Атмосфера была тяжелая. Капли дождя, крупные как пиастры, начинали падать. Ветер дул

порывами, поднимая вихри пыли и испуская те почти человеческие стоны, которые слышатся только на возвышенных местах, подверженных каждую минуту великим переворотам природы. Птицы беспокойно кружились в пространстве, бросая время от времени жалобные и отрывистые крики; лошади сильно вдыхали воздух ноздрями, обнаруживая тревогу и страх. Словом, все предвещало один из тех ураганов, которые так обыкновенны в Кордильерских горах и которые иногда в несколько часов совершенно изменяют поверхность земли.

Хотя был полдень, но туман до того сгустился, что мрачная темнота окружала путешественников. Они двигались почти наощупь, со всеми предосторожностями.

— Что вы думаете об этой погоде, вождь, — спросил граф с беспокойством у Трангуаля Ланека.

— Дурная, очень дурная, — отвечал тот, качая головой, — хорошо, если бы нам удалось проехать *Скачок Колдуна*, прежде чем разразится гроза.

— Разве мы в опасности?

— Мы погибли! — отвечал лаконически индеец.

— Гм! Ваши слова не очень успокоительны. Вождь, — сказал Валентин, — неужели вы думаете, что опасность так велика?

— Она гораздо больше нежели я говорю моему брату. Неужели вы думаете, что возможно устоять против урагана в том месте, где мы находимся теперь?

Молодые люди осмотрелись вокруг.

— Это правда, — прошептал Валентин, с унынием потупив голову, — да спасет нас Господь.

В самом деле положение путешественников было по-видимому безвыходно. Они ехали по одной из тех дорог, которые проложены в скале и огибают Анды; дорога эта едва имела четыре фута ширины; с одной стороны она была обрамлена гранитной стеной в тысячу метров, а с другой пропастями неизмеримой глубины, внизу которых журчали глухо и таинственно невидимые воды. В таком месте всякая надежда на спасение могла бы показаться безумием.

Между тем путешественники все продвигались вперед, один за другим, безмолвно и угрюмо. Каждый внутренне сознавал близкую опасность, но не смел, как это всегда случается в подобных обстоятельствах, сообщить свои опасения товарищам.

— Мы еще далеко от Скачка Колдуна? — спросил Валентин после довольно продолжительного молчания.

— Мы приближаемся и скоро доедем, — отвечал Трангуаль Ланек, — если только...

Вдруг туман, скрывший горизонт, внезапно расторгся, молния осветила небо, и страшный порыв ветра ворвался в ущелье.

— Сойдите на землю! — вскричал Трангуаль Ланек громовым голосом. — Сойдите на землю, если дорожите жизнью! Лягте и ухватитесь за скалы.

Все последовали совету вождя. Лошади, предоставленные самим себе, инстинктивно понимали опасность и немедленно тоже легли на землю, чтобы ветер не сдул их.

Вдруг грянул гром, и полился проливной дождь. Перо не в состоянии описать страшного урагана, который разразился над горами с невыразимым бешенством. Куски огромных скал, подмытые водой, уступая силе ветра, катились сверху вниз с ужасным грохотом; столетние деревья вырывались с корнем и взлетали на воздух как соломинки. Свист ветра, удары грома, смешивавшиеся с ревом бури, хрипение изнемогавшей природы, которая билась под могучею рукою Бога, составляли самую страшную симфонию, какую только можно вообразить.

Вдруг крик горести и агонии пролетел по воздуху и на минуту заглушил все звуки урагана. С выражением крайнего отчаяния дон Тадео вскричал:

— Дочь моя! Спасите мою дочь!

Король Мрака, презирая опасность, которой подвергался, встал на ноги, протянув руки к небу; волосы его развевались по ветру, лицо было освещено светом молнии. Донна Розарио, слишком слабая и слишком хрупкая, чтобы удержаться за острые уступы скал, была схвачена ураганом и брошена в пропасть. Красавица, не говоря ни слова, бросилась в бездну, чтобы спасти свою дочь или умереть вместе с нею.

— О! — вскричал граф с лихорадочной энергией. — Я спасу донну Розарио!

И он хотел уже исполнить свое намерение, но железная рука удержала его.

— Останься, брат, — сказал ему Валентин печальным и тихим голосом, — предоставь мне подвергнуться этой опасности.

— Но...

— Я так хочу!.. Какая нужда, если я умру? — перебил Валентин с горечью. — Меня не любят! Мужайтесь, друг, — прибавил он, обращаясь к дону Тадео, — я возвращу вам вашу дочь или погибну вместе с нею.

Он позвал свою собаку, дал ей понюхать шарф молодой девушки, прицепившийся к кусту, и сказал:

— Ищи, Цезарь, ищи!

Благородное животное жалобно завывало, обнюхало воздух по всем направлениям, потом после минутной нерешимости замахало хвостом, обернулось к своему господину и бросилось по крутому, почти отвесному скату пропасти.

Валентин сделал Луи прощальный знак и, принудив своего друга предоставить ему одному всю заботу, начал спускаться, держась за кустарник. Ураган как будто удвоил ярость: небо, непрерывно прорезываемое молниями, превратилось в огненную скатерть; дождь полился еще сильнее. Дон Тадео, несмотря на всю свою энергию, был поражен этим ужасным ударом. Лишенный мужества, он упал на колени на мокрую землю и начал истово молиться, чтобы Тот, для кого все возможно, возвратил ему дочь.

Валентин исчез.

Пропась

Когда Валентин бросился в пропасть, он повиновался первому движению сердца, которое заставляет человека подвергаться величайшим опасностям и пренебрегать жизнью, чтобы помочь тем, кого они любят. Любовь молодого человека к донне Розарио была достаточно сильна для того, чтобы побудить его к этому поступку, однако на этот раз случае он был побуждаем только преданностью к своему молочному брату и желанием возратить несчастному отцу дочь.

Как только он повис на отвесной стене скалы, вынужденный ощупывать место прежде чем поставить ногу или схватиться за кустарник, его возбуждение исчезло, уступив место той холодной и ясной решимости храброго человека, который рассчитывает каждое свое движение.

Предпринятый им спуск был чрезвычайно труден; он мог действовать только ощупью. Часто он чувствовал, как из-под его ноги выскакивал камень, на котором он думал утвердиться, или как в руке его отрывалась ветвь, за которую он хватался. Он слышал, как на дне бездны редела вода, и хотя вокруг него все было темно, он чувствовал головокружение при мысли о глубине бездны, над которой он висел. Однако непоколебимый в своей решимости, он все спускался, следуя насколько это было для него возможно, по следам своей собаки, которая шла впереди него и останавливалась время от времени, показывая ему дорогу своим тихим лаем.

Он уже спустился очень глубоко, потому что, нечаянно подняв голову, не заметил над собою неба: все слилось с мраком пропасти. Он остановился на минуту, чтобы перевести дух, и потом снова закричал своей собаке:

— Ищи, Цезарь, ищи!

Собака оставалась нема. Встревоженный Валентин повторил зов и наклонился вперед по инстинктивному движению. Вдруг ему показалось, что в нескольких футах от того места, где он находился, лежит какая-то фигура в белом платье, очертания которой были однако так неопределенны, что он наклонился еще более вперед, чтобы удостовериться, не ошибается ли он.

Он устремил глаза на этот предмет с таким пристальным вниманием, с таким упорством, что почувствовал начало сильнейшего головокружения; в висках его застучало, в ушах сделался шум. Хотя он и мог еще отдать себе отчет в странной перемене, происходившей в нем, и понимал опасность, угрожавшую ему, но не имел силы отвести глаз от предмета, привлечшего его внимание, а напротив смотрел на него еще пристальнее, с тем необъяснимым наслаждением, смешанным с ужасом и страданием, которые человек испытывает в подобных обстоятельствах.

В ту минуту, когда он без сопротивления предавался этому роковому влечению, его вдруг сильно дернули назад. Иллюзия тотчас рассеялась. Как человек, освободившийся от кошмара, он бросил вокруг себя смутный взор. Цезарь, упершись всеми лапами о скалу, держал в зубах полу его плаща. Валентин обязан был жизнью чудному инстинкту ньюфаундлендской собаки. Возле Цезаря была Красавица.

— Можете ли вы отвечать мне теперь? — сказала она отрывистым голосом.

— Как нельзя лучше, сеньора, — отвечал Валентин.

— Вы поможете мне спасти мою дочь, не правда ли?

— Я спустился в эту бездну именно затем, чтобы отыскать ее.

— Благодарю, кабальеро, — сказала донна Мария с признательностью, — она недалеко отсюда. Господь позволил, чтобы я успела вовремя предохранить ее от ужасного падения; с помощью вашей драгоценной собаки, которая прибежала ко мне, я удержала мою дочь в ту самую минуту, когда она чуть было не исчезла в

глубине бездны; я уложила ее в кустарник. Бедняжка теперь лежит без чувств и не сознает, что случилось с нею; пойдите, ради Бога! Пойдемте, прошу вас.

И Красавица потащила Валентина за собой. Она, казалось, преобразилась; уверенность, что она спасла свою дочь от смерти осветила ее лицо безумной радостью. Она быстро бежала по склону пропасти с совершенным презрением к опасности, от которой по жилам Валентина пробегал трепет.

Донна Розарио лежала без чувств посреди густой чащи свившихся лиан, составлявших самые необыкновенные параболы вокруг пяти или шести огромных миртов; она тихо качалась в этом импровизированном гамаке, над бездной в несколько тысяч футов.

Заметив молодую девушку, Валентин затрепетал от ужаса при мысли об отчаянном положении, в котором она находилась. Но как только прошла первая минута страха, как только он успокоился, он понял, что донна Розарио была в совершенной безопасности посреди этого кустарника, который легко мог поддержать тяжесть в десять раз большую этого слабого ребенка.

Между тем гроза мало-помалу начала утихать, туман рассеялся, и показалось солнце, хотя оно время от времени еще и омрачалось тучами, уносимыми последним дуновением ветра.

Валентин понял тогда весь ужас своего положения, которое до тех пор скрывал от него мрак. Осматриваясь вокруг, он не мог отдать себе отчета, каким образом, спускаясь со скалы, он не разбился тысячу раз. Вернуться по той же дороге было невозможно, а еще менее того спуститься вниз. От того куста мирта, возле которого он остановился, стены пропасти шли прямой линией без всякого выступа, на который можно было бы ступить ногой. Еще один шаг вперед и он был бы мертв. Невольный трепет пробежал по всем его членам, холодный пот выступил на лбу; как ни был он храбр, он испугался.

Красавица ничего не видела, ни о чем не думала; она смотрела на свою дочь. Валентин напрасно старался найти средство выпутаться из беды. Один он, может быть, успел бы еще с неслыханными затруднениями подняться наверх, но с двумя женщинами, из которых одна была без чувств, подобная попытка была невозможна. Лай Цезаря заставил его с живостью поднять голову.

Луи придумал средство, которое Валентин отчаялся найти. Собрав все арканы, постоянно висающие у седел чилийских всадников, граф связал их и таким образом составил две веревки, которые спустил в пропасть с помощью донна Тадео и индейцев. Валентин вскрикнул от радости: донна Розарио была спасена.

Как только арканы были спущены, молодой человек схватил их и, удостоверившись в том, что они были достаточно крепки, связал концы их так, чтобы можно было сидеть. Но явилось новое затруднение: как вытащить из оплетения лиан бесчувственную девушку? Красавица улыбнулась его замешательству и сказала:

— Подождите...

Прыгнув как пантера в середину кустов, которые согнулись под ее тяжестью, она приподняла дочь на руки и прыжком, таким же верным и быстрым как первый, соскочила на небольшой выступ скалы. Валентин не мог удержаться от крика восторга при этом подвиге неслыханной смелости, которую могла внушить только одна материнская любовь. Молодой человек привязал донну Розарио к устроенному им сидению и, дернув за аркан, уведомил Луи, что можно было поднимать.

Тогда пуэльчесские воины и граф осторожно потянули к себе аркан, а Валентин и Красавица, цепляясь кое-как за скалы и кустарники и рискуя оступиться на каждом шагу и упасть в пропасть, поддерживали молодую девушку и охраняли ее хрупкое тело от соприкосновения с острыми камнями, которые могли ранить ее.

Наконец после неслыханных усилий и затруднений они взобрались наверх. Как только дон Тадео увидел дочь, он бросился к ней с хриплым и невнятным криком и, прижав ее к своей задыхающейся груди, громко зарыдал и залился слезами. Под горячими поцелуями отца, молодая девушка скоро пришла в себя; щеки ее покрылись румянцем, вздох вырвался из груди, она раскрыла глаза.

— О! — вскричала она, с ребяческим ужасом прижимаясь к отцу и обвиняя руками его шею. — Батюшка, я думала, что я умираю; какое ужасное падение!

— Дочь моя, — сказал ей дон Тадео с жестом высокого благородства, — твоя мать первая бросилась к тебе на помощь!

Красавица покраснела от смущения и с умоляющим видом протянула руки к дочери. Та взглянула на нее со

смесью страха и нежности, сделала движение, чтобы броситься в объятия, раскрытые для нее, но вдруг затрепетала и бросилась на шею к отцу, прошептав:

— О! Я не могу! Я не могу!

Красавица глубоко вздохнула, отерла слезы, бежавшие по ее лицу, и отошла в сторону, говоря с безропотной покорностью:

— Это справедливо! Что я сделала для того, чтобы она меня простила?.. Разве я не палач ее?

Оба француза внутренне наслаждались счастьем дона Тадео, которым он отчасти был обязан им. Чилиец приблизился к ним, горячо пожал им руки и, обернувшись к донне Розарио, сказал ей:

— Дочь моя, люби этих двух людей, люби их хорошенько, потому что ты никогда не будешь в состоянии расплатиться с ними.

Молодые люди покраснели.

— Полноте, полноте, дон Тадео, — вскричал Валентин, — мы и то потеряли уже слишком много времени; вспомните, что Черные Змеи нас преследуют; поскорее на лошадей и поедем.

Несмотря на наружную резкость этого ответа, донна Розарио поняла чрезвычайную деликатность, которая внушила его, и бросила на молодого человека взор невыносимо-кроткий, сопровождая его улыбкой, вполне вознаградившей Валентина за все опасности, которым он подвергался из-за нее.

Караван отправился в путь.

До сих пор присутствие донны Марии было неприятно для ее спутников, но теперь все они начали обращаться с нею с уважением; прощение дона Тадео, столь благородно дарованное, восстановило ее честь в глазах всех. Даже донна Розарио иногда ей улыбалась, хотя и не имела еще мужества отвечать на ее ласки. Бедная женщина, раскаяние которой было искренно, была счастлива безмолвным прощением своей дочери, потому что не смела надеяться, чтобы молодая девушка совершенно забыла о том, какие мучения она перенесла от нее.

Через час доехали до Скачка Колдуна. В этом месте гора разделялась надвое пропастью неизмеримой глубины и футов в двадцать пять ширины. Дорога вдруг прекращалась; но несколько огромных и толстых дубовых досок, переброшенных с одного края пропасти на другой,

составляли нечто вроде моста, по которому путешественники должны были перейти, рискуя сломать себе шею на каждом шагу.

К счастью, в этой стране лошади и мулы так привыкли к самым трудным дорогам, что никогда не спотыкаются и без всякого страха проходят не только по таким местам, но даже и по другим еще более опасным. Этот переход был назван Скачком Колдуна, потому что, если верить преданию, в ту эпоху, когда было предпринято завоевание Арокании, один колдун, пользовавшийся репутацией мудреца в своем племени, преследуемый кастильскими солдатами, не колеблясь перепрыгнул через пропасть, поддерживаемый в этом опасном скачке воздушными гениями, посланными для спасения его Пиллианом, к великому изумлению испанцев, прекративших погоню. Мы не знаем, справедливо или нет это предание, но мост все-таки существует именно в таком виде, как мы его описали, и путешественники прошли по нему, не останавливаясь, но не без трепета.

— А! — вскричал Трангуаль Ланек, указывая молодым людям на широкую дорогу, открывавшуюся перед ними на несколько миль. — Теперь, когда мы имеем возможность идти без препятствий, мы спасены!

— Нет еще! — отвечал Курумилла, указывая пальцем на столб синеватого дыма, спиралью поднимавшийся к небу.

— Неужели это опять Черные Змеи? Стало быть, они опередили, а не преследовали нас? Каким образом отважились они ступить на чилийскую землю? Удалимся на ночь в лесок направо отсюда и будем осторожно наблюдать за нашими врагами, чтобы снова не попасться к ним в плен, потому что на этот раз я уже не знаю, удастся ли нам благополучно вырваться из их рук.

Скоро путники спрятались в непроходимой чаще, где было невозможно подозревать об их присутствии. Для большей предосторожности, они говорили мало и то шепотом.

Кипос

После умеренного обеда путешественники приготовлялись предаться отдыху, как вдруг Цезарь бросился вперед с яростным ревом. Все схватились за оружие. Настала минута страшного ожидания. Наконец послышался шум шагов, раздвинулись кусты, и явился индеец.

Это был Антинагюэль, Тигр-Солнце. При виде этого человека донна Розарио не могла удержаться от крика ужаса. Мать заслонила ее собой, чтобы защитить ее.

Антинагюэль как будто не примечал присутствия молодой девушки и донны Марии; он ни на минуту не терял того холодного бесстрастия, которое скрывает чувства индейцев; он продолжал продвигаться медленными шагами, и ни один мускул на лице его не шевелился. Приблизившись к Трангуалью Ланеку, он остановился и поклонился ему, приложив ладонь правой руки к груди.

— Я пришел в гости к моему брату, — сказал он глухим и горловым голосом.

— Милости просим, — отвечал вождь, — мы разведем огонь, чтобы принять моего брата.

— Нет, я хочу только покурить с моим братом, чтобы сообщить ему важное известие, которое без сомнения ему неизвестно и которое герольд четырех уталь-мапусов возвестил мне сегодня.

— Будет исполнено по желанию моего брата, — отвечал Трангуаль Ланек, приглашая движением руки Курмиллу сесть возле него.

Трое индейцев уселись со всем церемониалом, принятым в подобных обстоятельствах. Они зажгли свои трубки и молча курили, рассматривая друг друга украдкой.

Наконец, после довольно продолжительного времени, употребленного на то, чтобы добросовестно посылать своим собеседникам клубы дыма в лицо, Антинагюэль заговорил:

— Вот, — сказал он, — *кипос*, который герольд вручил мне, Антинагюэлю, сыну Черного Шакала, самому могущественному из апо-ульменов пуэльчесских.

Он вынул из-под своего плаща легкую деревянную дощечку, длиною в десять дюймов, очень толстую и надколотую. В середине этой дощечки заключался человеческий палец. Она была обернута ниткой и на одном из ее концов была прибита разноцветная шерстяная бахрома — голубая, красная, черная и белая.

— Брат мой видит, — продолжал Антинагюэль, — что на черной шерсти сделаны четыре узла, чтобы показать, что герольд выехал через четыре дня после луны; на белой завязано десять узлов, означающих, что через десять дней после того четыре уталь-мапуса возьмутся за оружие, так как это было решено на великом совете, созванном всеми токи; на красной сделал узел я. Это значит, что воины, находящиеся под моим предводительством, присоединятся к экспедиции и что вожди могут рассчитывать на мое содействие. Братья мои последуют ли моему примеру?

— Брат мой забыл сказать мне одно, что, по-моему, очень важно, — отвечал Трангуаль Ланек.

— Пусть брат мой объяснится.

— Против кого поднимают уталь-мапусы оружие?

Антинагюэль бросил взгляд на белых, которые наблюдали с беспокойством за этой сценой.

— Против бледнолицых, — сказал он тоном смертельной ненависти, — против этих инков, которые хотят нас поработить.

Трангуаль Ланек выпрямился и, взглянув в лицо своему собеседнику, сказал:

— Очень хорошо, брат мой могущественный вождь, пусть он отдаст мне кипос.

Антинагюэль отдал ему. Пуэльчесский воин взял кипос, смотрел на него с минуту, потом, сделав узел на красной и голубой бахrome, передал деревянную дощечку Курумилле, который последовал его примеру. При этом поступке Антинагюэль остался спокоен и холоден.

— Итак, — сказал он, — мои братья отказывают в содействии своим вождям?

— Вожди четырех наций могут обойтись без нас, брат мой это знает, — сказал Трангуаль Ланек, — потому что война кончилась, и этот кипос фальшивый.

Токи сделал движение гнева, которое тотчас обуздал. Трангуаль Ланек продолжал ироническим голосом:

— Зачем вместо того, чтобы отдавать нам этот кипос, Антинагюэль не сказал нам откровенно, что он пришел к нам за своими белыми пленниками, которые от него убежали? Мы отвечали бы ему, что его пленники находятся под нашим покровительством, что мы не отдадим ему их и что он никогда не успеет своими ложными словами заставить нас выдать их.

— Очень хорошо, — сказал Антинагюэль, сжав губы, — таково решение моих братьев?

— Да, и брат мой знает хорошо, что мы не позволим обмануть себя.

Токи встал с бешенством в сердце, но с лицом попрежнему бесстрастным.

— Вы собаки и бабы, — сказал он, — завтра я приду с моими воинами взять моих пленников и отдать ваши трупы в добычу коршунам.

Оба индейца улыбнулись презрительно и с важностью поклонились уходящему врагу. Токи не удостоил отвечать на эту ироническую вежливость; он повернулся спиной и вошел в лес теми же медленными и торжественными шагами, какими пришел, как будто вызывая своих противников напасть на него.

Как только он скрылся из вида, Трангуаль Ланек бросился по его следам. Индейский воин не ошибся. Проснувшись и увидав, что пленники его убежали, взбешенный Антинагюэль подозревал, что Трангуаль Ланек способствовал их побегу. Несмотря на все предосторожности, принятые ульменом, токи открыл его следы, и его единственная цель, когда он явился к Трангуалю Ланеку, состояла в том, чтобы разузнать о числе врагов, с которыми ему приходилось сражаться, и о том — возможно ли ему будет опять захватить тех, которые уже считали себя почти безопасными от его мщения. Он знал, что не подвергался никакому риску, явившись таким образом.

Отсутствие Трангуаля Ланека продолжалось недолго. Он воротился через час. Товарищи ульмена, встревожив-

шись этим происшествием, встретили его с величайшей радостью.

— Пусть мои братья откроют свои уши, — сказал он.

— Мы слушаем, — отвечал Валентин.

— Лагерь Антинагюэля находится недалеко отсюда; он теперь знает, что мы недостаточно сильны для того, чтобы бороться с ним. Он и приходил сюда только затем, чтобы посчитать нас; он готовится к нападению... Что хотят делать мои братья? Наше положение очень опасно.

— Зачем вы не убили этого злодея, — запальчиво вскричала Красавица.

Ульмен покачал головой.

— Нет, — отвечал он, — я не мог этого сделать; он явился ко мне как друг; гость священное лицо, это известно моей сестре.

— Что сделано, того не воротить, — сказал Валентин. — Теперь нам надобно найти средство выйти во что бы то ни стало из ужасного положения, в котором мы находимся.

— Мы умрем прежде нежели допустим этого злодея захватить пленных, — решительно сказал граф.

— Конечно! Но прежде чем мы употребим это крайнее средство, мне кажется, мы могли бы придумать другое, — возразил Валентин.

— Я не вижу другого средства, — печально отвечал Трангуаль Ланек, — мы уже не в Арокании, я очень мало знаю места, в которых мы находимся; голая равнина не даст нам никакого убежища; Антинагюэль легко нас уничтожит.

— Может быть, не следовало бы предаваться таким образом отчаянию, недостойному нас, — энергически возразил Валентин, — нас четверо отважных мужчин, и мы не должны отчаиваться; дон Тадео, какое ваше мнение?

С тех пор как Вождь Мрачных Сердец отыскал свою дочь, он был уже не тот; он только жил для нее и ею; ничто из происходившего вокруг него не могло его заинтересовать. В эту минуту, сидя под деревом, он держал на коленях донну Розарио и с кроткой улыбкой убаюкивал ее как ребенка. Однако при вопросе Валентина он вдруг поднял голову.

— Я не хочу, чтобы моя дочь опять попалась к Антинагюэлю, — с сказал он с жаром, прижимая молодую

девушку к своей груди, — что бы ни случилось, я хочу ее спасти!

— И мы также этого желаем, только индейские вожди не знают здешней местности, вы чилиец, а потому, может быть, дадите нам какие-нибудь полезные сведения; мы не знаем какое употребить средство для избежания неминуемой гибели, угрожающей нам.

Дон Тадео подумал с минуту, окинул взором горы и отвечал Валентину, который с беспокойством ожидал его ответа:

— Я доставлю вам это средство, если Господь не откажет нам в своем всемогущем покровительстве; мы находимся только в десяти милях от одной из моих ферм.

— Вы это знаете наверно?

— Да, слава Богу!

— В самом деле, — вскричала Красавица с радостью, — ферма Паломы должна быть недалеко.

— И вы думаете, что если мы успеем доехать до этой фермы...

— Мы будем спасены, — перебил дон Тадео, — у меня там пятьсот преданных работников, с которыми я не побоюсь нападения целой индейской армии.

— О! — сказала Красавица. — Не будем же терять ни минуты; дон Тадео, напишите слово вашему управляющему; скажите ему, в каком отчаянном положении вы находитесь и прикажите ему поспешить к вам на помощь со всеми людьми, скольких он может собрать.

— Небо внушило вам эту мысль, сеньора! — вскричал дон Тадео с радостью.

— О! — отвечала Красавица с выражением, которое невозможно передать. — Я тоже хочу спасти мою дочь!

Донна Розарио устремила на нее взгляд, влажный от слез, тихо приблизилась к ней и сказала голосом, исполненным нежности:

— Благодарю, матушка!

Дочь простила ее!.. Бедная женщина упала на колени и, сложив руки, возблагодарила небо за такое великое счастье. Между тем дон Тадео написал наскоро несколько слов на бумаге, которую подал ему граф.

— Вот что я пишу, — сказал он.

— Мы не имеем времени читать этой записки; ее надо отправить сейчас же, — с живостью отвечал

граф, — я берусь отнести ее; укажите мне только, по какой дороге должен я идти на ферму.

— Я знаю дорогу, — флегматически сказал Курумилла.

— Вы, вождь?

— Да.

— Очень хорошо; в таком случае поезжайте со мной; если один из нас останется на дороге, другой сменит его.

— Я знаю дорогу, по которой мы приедем через два часа.

— Поедьте же. Береги ее! — сказал Луи, пожимая руку своему другу.

— Постарайся скорее вернуться с помощью, — прошептал тот, отвечая на его пожатие.

— Я доеду или буду убит, — вскричал молодой человек с жаром.

И, вонзив шпоры в бока своих лошадей, Луи и Курумилла быстро исчезли в облаках пыли. Валентин провожал своего молочного брата взглядом до тех пор, пока тот не скрылся из вида, потом повернулся к Трангуалю Ланеку.

— Пора и нам отправиться в путь! — сказал он.

— Все готово, — отвечал вождь.

— Теперь, — продолжал Валентин, обращаясь к дону Тадео, — наша участь в руках Бога, мы сделали все, что могут сделать люди для того, чтобы избежать рабства или смерти... от Его одной воли зависит наше спасение.

— Валентин, Валентин! — вскричал дон Тадео с чувством. — Вы столько же умны, сколько преданны; Господь не оставит нас.

— Да услышит Он вашу молитву! — сказал грустно молодой человек.

— Мужайся, дочь моя! — сказала Красавица с выражением бесконечной нежности.

— О! Я не боюсь ничего теперь, — отвечала молодая девушка с улыбкой счастья, — разве со мною нет отца моего и... *моей матери!* — прибавила она с намерением.

Красавица подняла глаза к небу с признательностью. Через десять минут путники выехали из леса и крупной рысью поехали по той же самой дороге, по которой граф и Курумилла скакали во весь опор впереди них.

Скала

Отправляясь в путь, Валентин заботился только о том, как бы избавиться от угрожавшей опасности и вовсе не думал, в состоянии ли будут лошади везти их. Бедные животные, утомленные до крайней степени двухдневной поездкой и ураганом, едва двигались; только посредством шпор можно было заставить их сделать несколько шагов и то они беспрестанно спотыкались.

Наконец после часа безуспешных усилий дон Тадео, лошадь которого, благородное чистокровное животное, исполненное огня и силы, дважды упала, первый заметил Валентину, что невозможно ехать далее.

— Знаю, — отвечал молодой человек, вздыхая, — у бедных животных разбиты ноги, но что делать? Пожертвуем ими, если нужно: дело идет о жизни или о смерти; остановиться — значит погибнуть.

— Поедем же, что бы ни случилось! — отвечал с покорностью дон Тадео.

— Притом, — продолжал молодой человек, — теперь каждая выигранная минута дорога для нас; Луи может на рассвете воротиться с помощью, которой мы ожидаем; если бы наши лошади отдохнули, мы приехали бы в эту же ночь на ферму; но при их настоящем положении нечего об этом и думать; все-таки чем более мы будем продвигаться вперед, тем более будем иметь возможности избежать преследования и встречи с нашим врагом. Но извините, дон Тадео, индейский вождь делает мне знак; вероятно, он хочет сообщить мне нечто важное.

Молодой человек оставил дона Тадео и приблизился к ульмену.

— Что вы имеете сказать мне, вождь? — вскричал он.

— Брат мой намерен еще долго ехать?

— Боже мой, вождь, вы делаете мне именно тот же самый вопрос, как и дон Тадео, вопрос, на который я не знаю как отвечать.

— Что думает Великий Вождь?

— Он мне сказал то, что я знаю так же хорошо как и он, то есть, что наши лошади не в силах ехать далее.

— Что же сделает мой брат с золотистыми волосами?

— Почему я знаю? Пусть Трангуаль Ланек посоветует мне; это воин знаменитый в своем племени, он, вероятно, найдет способ выпутаться.

— Кажется, мне пришла хорошая мысль.

— Говорите, вождь, ваши идеи всегда превосходны; а в эту минуту я убежден, они будут лучше нежели когда-нибудь.

Индеец скромно потупил глаза; улыбка удовольствия осветила на секунду его умное лицо.

— Пусть брат мой слушает, — сказал он, — может быть, Антинагюэль уже гонится по нашим следам; а если еще нет, то не замедлит погнаться; если он настигнет нас во время пути, мы будем убиты: что могут сделать в открытой местности трое человек против шестидесяти? Но неподалеку отсюда есть место, где мы легко можем защищаться. Несколько месяцев тому назад десять воинов из моего племени и я сопротивлялись в этом месте целых две недели сотне бледнолицых, которые наконец принуждены были отступить; брат мой понимает меня?

— Как нельзя лучше, вождь, как нельзя лучше; проводите же нас к этому месту, и если Господь позволит нам добраться до него, клянусь вам, что воины Антинагюэля найдут с кем говорить, когда осмелятся явиться к нам.

Трангуаль Ланек немедленно поехал впереди своих спутников, своротив несколько в сторону.

В глубине Южной Америки не существует того, что мы называем обыкновенно дорогами, но встречается бесчисленное множество проложенных хищными зверями тропинок, которые пересекают одна другую по всем направлениям и после бесчисленных извилин непременно кончаются у ручьев или рек, потому что уже несколько

столетий по этим тропинкам дикие животные ходят на водопой. Одни индейцы могут находить дорогу в этих непроходимых лабиринтах.

После нескольких минут езды путешественники вдруг очутились, сами не зная каким образом на берегу очаровательной речки, посреди которой возвышалась, как одинокий часовой, высокая гранитная скала.

Валентин вскрикнул от восторга при виде этой неожиданной крепости. Лошади как будто поняли, что наконец добрались до надежного места, весело вошли в воду, несмотря на усталость, и поплыли к скале. Эта гранитная скала, издали казавшаяся неприступной, была внутри пуста; по небольшому склону легко было взобраться на ее вершину, которая составляла платформу в десять квадратных метров в окружности.

Лошадей спрятали в углу гота, где они легли в истощении, и Валентин загородил вход в крепость всем, что попало ему под руку, так что можно было эффективно защищаться, оставаясь под прикрытием. Устроившись, путники развели огонь и ждали что будет. Цезарь лег на платформе как бдительный часовой, чтобы не допустить неприятеля неожиданно напасть на гарнизон.

Несколько раз молодой француз, который не мог заснуть от беспокойства, между тем как его товарищи, изнемогая от усталости, предавались отдыху, всходил на платформу поласкать свою собаку и удостовериться, все ли спокойно. Ничего не возмущало мрачной и таинственной ночной тишины; только время от времени обрисовывались издали, при серебристых лучах луны, неопределенные формы какого-нибудь животного, тихо подходившего утолить жажду к реке, или слышался жалобный и отрывистый вой мексиканских волков, к которому примешивалось пение какой-нибудь птички, спрятавшейся под листьями.

Ночь приближалась к концу; рассвет окрашивал горизонт своими перламутровыми оттенками, звезды угасали одна за другой в мрачной глубине неба, и красноватый отблеск показывал, что скоро покажется солнце.

Надо находиться одному в пустыне, чтобы понять сколько ужасного и грозного скрывает ночь — эта великая зиждительница призраков — под своим густым туманным покрывалом; с какою радостью и с какою

признательностью приветствуешь восход солнца, этого царя мироздания, этого могущественного покровителя, который возвращает человеку мужество, отогревая его сердце, оцепенелое и облитое холодом от бессонницы и зловещих призраков мрака.

— Я отдохну несколько минут, — сказал Валентин Трангуалью Ланеку, который проснулся, бросая вокруг тревожный взор, — ночь кончилась, кажется, теперь нам нечего опасаться.

— Молчите, — прошептал индеец, крепко сжимая его руку.

Оба начали прислушиваться, заглушаемый стон пролетел по воздуху.

— Это моя собака! Вероятно Цезарь увидел что-нибудь... — вскричал молодой человек. — Что случилось, Боже мой!

Он бросился на платформу, куда скоро пришел к нему и Трангуаль Ланек. Напрасно осматривался молодой человек во все стороны: он не замечал ничего; прежнее спокойствие, казалось, царствовало вокруг них; только высокая трава на берегах реки тихо склонялась как бы от ветра.

Валентин подумал, что собака его ошиблась... и уже приготовлялся уйти, как вдруг вождь схватил его поперек тела и уложил на платформу. В ту же минуту раздалось несколько выстрелов; десять пуль, свистя, ударились о скалу, и несколько стрел перелетело через платформу. Еще секунда и Валентин был бы убит. Потом раздался страшный вой, повторенный эхом на обоих берегах. Это был боевой клич окасов, которые в числе сорока человек показались на берегу.

Валентин и вождь выстрелили почти наудачу в середину толпы, и двое из неприятелей упали. Индейцы внезапно исчезли в кустах и в высокой траве. Тишина, на минуту возмущенная, восстановилась с такой быстротой, что если бы трупы убитых индейцев не остались на песке, эта сцена могла бы быть сочтена за сновидение.

Молодой человек воспользовался минутой отдыха, которую неприятель дал ему, и спустился в грот. При шуме ружейных выстрелов и криков окасов, донна Розарио проснулась. Видя, что отец ее схватил ружье и выходит на платформу, она бросилась к нему на шею, умоляя не оставлять ее.

— Батюшка, — сказала она ему, — пожалуйста, не оставляйте меня одну или позвольте мне пойти за вами; здесь я сойду с ума от страха.

— Дочь моя, — отвечал дон Тадео, — твоя мать остается с тобою, а я должен идти к нашим друзьям; неужели ты хочешь, чтобы я оставил их в таких затруднительных обстоятельствах! Они защищают меня, стало быть, мое место возле них!.. Мужайся, возлюбленная Розарита, время драгоценно!

Молодая девушка упала отступила.

— Это правда! — сказала она. — Простите меня, батюшка, но я женщина и боюсь!..

Не произнося ни слова, Красавица вынула свой кинжал и встала у входа в грот. В эту минуту явился Валентин.

— Благодарю, дон Тадео, — сказал он ему, — там мы можем обойтись и без вас, а здесь, напротив, вы можете быть нам очень полезны. Черные Змеи, без сомнения, захотят переплыть реку и забраться в этот грот, который наверно им известен, между тем как часть их товарищей займет нас фальшивой атакой; останьтесь же здесь и наблюдайте внимательно за их движениями; от вашей бдительности зависит успех нашей защиты.

Мнение Валентина оказалось совершенно справедливым. Индейцы, сознавая бесполезность ружейных выстрелов в гранитную скалу, о которую ударялись пули, не причиняя ни малейшего вреда их противникам, переменили тактику. Они разделились на два отряда, из которых один стрелял, чтобы привлечь внимание гарнизона, находившегося на скале, а другой под начальством Антинагюэля отошел на сто шагов по течению реки. Там индейцы построили наскоро несколько плотов и пустились на них по течению прямо к скале.

Валентин и его товарищ, зная, что им нечего опасаться тех, которые стреляли с берега, спустились в грот, где должна была сосредоточиться вся оборона. Молодой человек прежде всего позаботился укрыть донну Розарию от пуль в щели, которая образовалась в скале и была довольно глубока для того, чтобы один человек мог стоять в ней совершенно свободно. Исполнив эту обязанность, он занял свой пост возле товарищей, впереди баррикады.

Плот с семьей или восьмью индейцами быстро несся по течению и вдруг ударился о скалу. Индейцы испусти-

ли свой боевой клич и бросились, махая оружием, на троих мужчин, к которым непременно хотела присоединиться и Красавица. Но прежде чем они могли совершенно оправиться от толчка о скалу, их ударили ружейными прикладами и бросили тела их в реку. Цезарь прыгнул на горло одному колоссального роста индейцу, который уже поднимал свой топор на дон Тадео, и задушил его.

Но едва дон Тадео и его товарищи успели покончить со своими врагами, подплыли два других плота, а вслед за ними почти тотчас же появились еще два, на которых было по крайней мере человек тридцать индейцев на них четверых. С минуту схватка была ужасная; противники сражались грудь с грудью. Красавица, дрожа за свою дочь, с распущенными волосами, со сверкающими глазами, защищалась как львица; ей помогали ее три товарища, проявлявшие чудеса храбрости. Но подавляемые числом, осаждаемые наконец принуждены были отступить и искать убежища за баррикадой.

Наступила минута отдыха, во время которой окасы пересчитали своих убитых и раненых. Шестеро лежали мертвы, многие получили опасные раны.

Один из индейцев нанес Валентину удар топором в голову, но рана была не глубока, потому что молодой человек успел ловко увернуться. Трангуаль Ланек был ранен в левую руку; только дон Тадео и Красавица остались невредимы. Валентин бросил взор, исполненный горести, к тому месту в гроте, которое служило убежищем молодой девушке и думал только о том, чтобы благородно пожертвовать своей жизнью. Он первый начал опять борьбу. Вдруг сильная ружейная перестрелка раздалась с берега, и несколько индейцев упало.

— Ободритесь! — вскричал Валентин. — Ободритесь, вот наши друзья!

Вместе со своими товарищами во второй раз перелез он через баррикаду и бросился в середину неприятелей.

Вдруг раздирающий сердце крик раздался в гроте. Красавица обернулась и с ревом лютого зверя бросилась на Антиагюэля, из рук которого тщетно старалась вырваться донна Розарио. Озадаченный этим неожиданным нападением, Антиагюэль выпустил молодую девушку и обернулся к противнику, который осмелился преграждать ему путь. Он колебался с минуту, узнав Красавицу.

— Прочь! — сказал он глухим голосом.

Но донна Мария, не говоря ни слова, безумно бросилась на него и вонзила ему в грудь кинжал.

— Умри же, собака, — заревел токи, поднимая топор.

Красавица упала.

— Матушка! Матушка! — закричала молодая девушка с отчаянием, падая на колени возле донны Марии и покрывая ее поцелуями.

Вождь наклонился, чтобы схватить донну Розарио, но тогда новый противник явился перед ним. Этот противник был Валентин. Токи увидал с бешенством в сердце, что добыча, в которой он был уверен, ускользала от него безвозвратно; он бросился на француза, но молодой человек успел отразить удар своей винтовкой.

Тогда оба врага схватились не на жизнь, а на смерть; они перевилились как две змеи и повалились на землю, стараясь заколоть друг друга. Эта борьба, происходившая возле умиравшей женщины и другой, обезумевшей от горя и страха, представляла нечто ужасное. Валентин был ловок и силен, но он имел дело с человеком, которому не мог бы сопротивляться, если бы тот не ослабел от раны, нанесенной ему Красавицей.

Французу неловко было ухватиться за скользкое тело индейца, между тем как Антинагюэль, напротив, мог удобно схватить его за галстук и сдавить ему горло, стараясь другою рукой вонзить кинжал в бок.

Ни Трангуаль Ланек, ни дон Тадео не могли помочь своему товарищу; они сами защищались против окасов, которые теснили их. Валентин должен был погибнуть. Уже мысли его теряли свою ясность, он сопротивлялся машинально, но вдруг почувствовал, что пальцы, сжимавшие его шею, постепенно начали ослабевать; тогда он собрал все свои силы и успел освободиться и привстать на колени.

Но враг его и не думал ни нападать на него, ни защищаться: он глубоко вздохнул и опрокинулся навзничь.

Антинагюэль умер.

— А! — вскричала Красавица с выражением, которое невозможно передать. — Дочь моя спасена!..

И она без чувств упала на руки донны Розарио, еще сжимая в своих руках кинжал, которым поразила индейца.

Все столпились вокруг несчастной женщины, которая, убив самого ожесточенного врага своей дочери, так благородно загладила свои вины, принеся себя в жертву.

Долго были бесполезны усилия привести ее в сознание. Наконец она слабо вздохнула, раскрыла глаза и, устремив затуманенный взор на окружавших ее, судорожно схватила за руку дочь и донна Тадео, притянула их к себе и смотрела на них с выражением бесконечной нежности, между тем как слезы текли по лицу ее, уже покрытому мраком смерти. Губы ее зашевелились, кровавая пена показалась у рта, и голосом тихим и прерывистым она прошептала:

— О! Я была слишком счастлива!.. Вы оба простили мне!.. Но Богу было не угодно пощадить меня! Эта ужасная смерть обезоружит ли Его правосудие!.. Молитесь... Молитесь за меня!.. Чтобы со временем мы могли увидеться на небе!.. Я умираю... Прощайте!.. Прощайте!..

Судорожный трепет пробежал по всему телу донны Марии, она приподнялась почти прямо и вдруг упала, как бы пораженная громом. Она умерла.

— Боже мой, — вскричал дон Тадео, поднимая глаза к небу, — умиلسердись, умиلسердись над нею!

И он стал на колени возле покойницы. Все присутствующие благочестиво последовали его примеру и молились за несчастную, которую Всемогущий так внезапно призвал к себе.

Индейцы исчезли тотчас, как только пал их вождь.

Через два часа, благодаря людям, приведенным графом и Курумиллой, путешественники благополучно приехали на ферму Палома, привезя с собою тело донны Марии.

Цезарь

Через месяц после происшествий, рассказанных нами, на ферме Палома два человека сидели рядом в боскете из смоковниц и разговаривали, любуясь великолепным восходом солнца. Эти два человека были Валентин Гиллуа и граф де Пребуа-Крансэ.

Французы с меланхолической задумчивостью присутствовали при пробуждении природы; небо было безоблачно; легкий душистый ветерок тихо шелестел листьями деревьев и цветами, росшими по берегам большого озера, на котором спокойно плавали бесчисленные стаи грациозных лебедей; лучи восходящего солнца уже начинали позлащать вершины высоких деревьев, а птицы, спрятавшись под листьями, приветствовали гармоническим пением рождение дня.

Граф де Пребуа-Крансэ, встревоженный упорным молчанием Валентина, наконец заговорил:

— Когда ты увлек меня сюда час тому назад, чтобы поговорить со мной на свободе, как ты сказал мне, я пошел за тобой, не сказав ни слова, но вот уже двадцать минут сидим мы в этом боскете, а ты все еще не решился объясниться; твое молчание тревожит меня, брат, я не знаю, чему приписать его; не имеешь ли ты сообщить мне что-нибудь неприятное?

Валентин вдруг приподнял голову.

— Прости меня, Луи, — отвечал он, — я не знаю ничего неприятного, но настал час для важного объяснения между нами.

— Что ты хочешь сказать?

— Ты меня поймешь... Когда год тому назад, доведенный до отчаяния и решившись искать прибежища в смерти, ты призвал меня к себе, я принял на себя обязательство — возратить тебе то, что ты потерял не по вине твоей, но по неопытности; ты поверил мне, не колеблясь, оставил Францию, распростился навсегда с жизнью дворянина и поехал со мной в Америку; теперь пришла моя очередь исполнить обещание, которое я тебе дал.

— Валентин!

— Выслушай меня. Ты любишь дону Розарио... я уверен, что и она со своей стороны тоже чувствует к тебе истинную и глубокую любовь; услуги, которые мы оказали ее отцу, дают нам право сделать ему предложение, которого, как мне кажется, он ожидает; последствия этого предложения должны наконец сделать тебя счастливым навсегда. Я сегодня же объяснюсь откровенно с доном Тадео.

Печальная улыбка сжала губы молодого графа; он ничего не отвечал и опустил голову на грудь.

— Что с тобой, — вскричал с беспокойством Валентин, — мое намерение должно увенчать твои желания, а между тем оно погружает тебя в горесть? Объяснись, Луи?

— К чему мне объясняться? Зачем говорить сегодня с доном Тадео? Зачем торопиться? — отвечал уклончиво молодой человек.

Валентин взглянул на него с удивлением, качая головой; он не понимал поведения своего друга, но во что бы то ни стало решил узнать тайну его печали.

— Послушай, — сказал он, — я хочу обеспечить твоё счастье как можно скорее, потому что жизнь на этой ферме тяготит меня; с приезда моего в Америку характер мой изменился; вид больших лесов, высоких гор, всего этого величественного великолепия, которое Господь пригоршнями рассыпал в пустыне, развил во мне страсть к путешествиям, которую я носил в зародыше в глубине моего сердца; вечное разнообразие странствующей жизни, которую я веду с некоторого времени, доставляет мне безграничные наслаждения; словом, я сделался страстным любителем лесов и с нетерпением ожидаю той минуты, когда снова буду иметь возможность отправиться в путешествие.

Наступило молчание.

— Да, — прошептал граф, — эта жизнь полна очарования.

— Поэтому-то мне и хотелось бы поскорее пуститься в путь.

— Кто нам мешает?

— Тебе!

— Ты ошибаешься, брат; мне так же как и тебе надоела жизнь, которую мы ведем; мы поедем, когда ты захочешь.

— Будь откровенен со мной: невозможно, чтобы пламенная любовь твоя к донне Розарио вдруг исчезла?

— Почему же ты думаешь, что я не люблю ее?

— А если ты любишь, то зачем же хочешь ехать и отказываешься жениться на ней?

— Не я отказываюсь! — прошептал молодой человек со вздохом. — А она.

— Она! О! Это невозможно.

— Брат, уже давно, на другой день той ночи, когда в Сантьяго мы освободили донну Розарио из рук похищавших ее разбойников, она сама сказала мне, что мы никогда не соединимся; она приказала мне избегать ее присутствия, потребовала с меня слова никогда не стараться ее видеть! Зачем же убаюкивать себя безумною химерой! Ты видишь, брат, мне не остается никакой надежды.

— Может быть! Но после того произошло столько разных разностей, что намерения донны Розарио, конечно, изменились.

— Нет, — печально отвечал граф.

— Почему ты так думаешь?

— Ее холодность, ее равнодушие ко мне, старание, с каким она меня избегает, все наконец доказывает мне, что я слишком долго оставался здесь и должен удалиться.

— Зачем ты не объяснился с нею?

— Я дал ей слово молчать и, чего бы мне это не стоило, сдержу мою клятву.

Валентин потупил голову и не отвечал.

— Умоляю тебя, — продолжал граф, — оставим эти места, присутствие той, которую я люблю, еще более увеличивает мою горечь.

— Хорошо ли ты обдумал свое намерение?

— Да! — решительно отвечал молодой человек.

Валентин печально покачал головой.

— Да исполнится же твое желание, — сказал он, — мы поедем!

— Да, и как можно скорее, не правда ли? — сказал Луи с невольным вздохом.

— Сегодня же; я жду Курумиллу, которого я послал за лошадьми. Как только он воротится, мы пустимся в путь.

— И воротимся в селение племени *Большого Зайца*, где можем еще жить счастливо.

— Хорошо придумано; таким образом жизнь наша не будет бесполезна, потому что мы будем способствовать счастью окружающих нас.

— И как знать, — улыбаясь, сказал Валентин, — может быть мы сделаемся знаменитыми воинами в Арокании.

Луи отвечал на эту шутку вздохом, который не укрывался от его друга.

— О! — прошептал Валентин. — Он должен быть счастлив против воли!

Курумилла и Трангуаль Ланек показались издали в облаке пыли; они скакали к ферме с множеством лошадей. Друзья встали и пошли к ним навстречу.

Едва вышли они из боскета и отошли на несколько шагов, как ветви раздвинулись, и показалась донна Розарио. Молодая девушка задумчиво остановилась на минуту, следуя взором за обоими французами, которые шли печально и угрюмо. Вдруг она приподняла голову с лукавым видом, голубые глаза ее сверкнули, улыбка сжала ее розовые губки, и она прошептала:

— Увидим.

Она вернулась на ферму с быстротою лани.

В испанской Америке каждое утро в восемь часов звонит колокол, призывающий к завтраку жителей фермы, начиная с хозяина, который садится посередине, до последнего работника, который скромно помещается на нижнем конце. Завтрак — это час, избранный для того, чтобы видаться, желать друг другу доброго здоровья, прежде чем начнутся тяжелые дневные труды.

При первом ударе колокола дон Тадео вышел в залу и встал у стола; дочь стояла по правую его руку. Он приветствовал улыбкой или дружеским словом каждого из работников по мере того, как они входили. Последние пришли французы; дон Тадео пожал им руки, удостове-

рился взором, что собрались все, снял шляпу, чему подражали все присутствующие, и медленно прочитал молитву; потом по его знаку каждый занял свое место.

Завтрак был непродолжителен. Он длился не более четверти часа. Работники вернулись к своим обязанностям. Дон Тадео приказал подать матэ. В зале остались только дон Тадео, его дочь, два индейских вождя и Цезарь — если можно причислить собаку к обществу людей; благородное животное лежало у ног донны Розарио. Через несколько минут матэ обошел всю компанию.

Без всякой видимой причины тягостное молчание господствовало в собрании. Дон Тадео размышлял, донна Розарио рассеянно гладила собаку, которая положила свою огромную голову на ее колени и пристально смотрела на нее своими умными глазами. Граф и его молочный брат не знали, как начать разговор. Наконец Валентин, стараясь выйти из этого затруднения, решился заговорить.

— Ну! Какой ответ намерены вы дать дону Грегорио Перальта, дон Тадео?

— Вы знаете, друг мой, — отвечал дон Тадео, обернувшись к Валентину, — что Чили, освободившись от человека, который увлекал ее к гибели, не имеет более нужды во мне; я не намерен более заниматься политикой; довольно долго тратил я жизнь на неблагодарный труд, который предпринял, чтобы упрочить независимость моего отечества и освободить его от власти честолюбца. Я исполнил мою обязанность; час отдыха пробил для меня; я отказываюсь от президентства, которое предлагает мне дон Грегорио от имени народа, и хочу посвятить себя единственно счастью моей дочери.

— Не могу не поддержать вашего намерения; оно благородно и прекрасно, дон Тадео; оно достойно вас, — отвечал граф.

— А вы скоро намерены отправить этот ответ? — спросил Валентин.

— Через несколько минут; но к чему этот вопрос? — позвольте спросить.

— Дело в том, — отвечал Валентин, — что друг мой и я возьмемся доставить его, если вы хотите.

Дон Тадео удивленно вскинул брови.

— Как это? — вскричал он. — Что вы хотите сказать? Неужели вы думаете оставить нас?

Печальная улыбка мелькнула на губах молодого человека; надо было храбро приступить к делу, и он не колебался.

— Бог мне свидетель, — сказал он, качая головой, — что самое пламенное мое желание было бы остаться здесь.

— Да, — перебил граф, украдкой бросая невольный взгляд на донну Розарио, которую казалось несколько не занимал происходивший разговор, — да, мы и то уже слишком долго оставались в вашем очаровательном убежище; эта восхитительная жизнь расслабляет нас; если мы не поторопимся вырваться отсюда теперь же, то никогда не покинем вас...

— Вы должны ехать? — повторил дон Тадео, лицо которого омрачилось, а брови нахмурились. — К чему это?

— Разве вы не знаете, — отвечал Луи, который ободрился при виде беззаботного вида молодой девушки, — что когда мы в первый раз имели счастье встретиться с вами...

— Счастье было для меня, — с живостью перебил дон Тадео.

— Пусть так... мы гонялись тогда за фортуной, — поспешил досказать Валентин, — слава Богу, — прибавил он весело, — слава Богу, теперь наша помощь вам уже не нужна; мы не хотим далее употреблять во зло ваше любезное гостеприимство...

— Это что значит? — вскричал дон Тадео, вставая. — Что вы называете употреблять во зло мое гостеприимство?

— Мы должны ехать, — холодно отвечал Луи.

— О! Я не поверю, чтобы жажда золота побуждала вас оставить меня. Ваши сердца так возвышенны, что эта гнусная страсть никак не могла овладеть ими. А если и так, зачем вы не говорили об этом мне? Слава Богу, я довольно богат и могу дать вам этого презренного металла больше нежели вы могли бы приобрести его в своих безумных поисках.

— Дон Тадео, — отвечал благородно граф, — не жажда золота побуждает нас; расставшись с вами, мы намерены удалиться к пуэльчесам.

Дон Тадео сделал движение удивления.

— Не имейте дурного мнения о нас, — продолжал с жаром молодой человек, — верьте, что если бы важные

причины не принуждали нас удалиться, я по крайней мере был бы счастлив остаться с вами; я вас люблю и уважаю как отца.

Дон Тадео с волнением ходил по зале; через несколько минут он остановился перед графом.

— Можете вы объяснить мне эти причины? — спросил он дружелюбно.

Молодая девушка с любопытством приподняла голову.

— Не могу, — отвечал Луи, потупив глаза.

Донна Розарио с досадой пожала плечами. Ни один из этих почти незаметных оттенков не ускользал от пытливого взора Валентина.

— Очень хорошо, кабальеро, — возразил дон Тадео с холодным достоинством и оскорбленным тоном, — вы и ваш друг можете поступать, как вам заблагорассудится. Простите мне мои вопросы, но ваше намерение, которое я напрасно стараюсь объяснить себе, разрушает безвозвратно одну драгоценную надежду, осуществление которой составило бы мое счастье; я ошибся, не будем более говорить об этом; не сказал ли Господь: «Раствори настежь дверь твоего дома гостю, который хочет войти, и тому, кто хочет выйти!» Вот мое письмо к дону Грегорио Перальта; когда вы желаете ехать?

— Сию же минуту, — отвечал граф, взяв письмо дрожащей рукой, — друг мой и я, мы имели намерение проститься с вами немедленно после завтрака.

— Да, — подхватил Валентин, который заметил, что его молочный брат, побежденный волнением, не мог продолжать, — мы хотели просить вас принять нашу признательность за дружбу, которую вы удостаивали показывать нам, и уверить вас, что воспоминание о вас всегда будет жить в глубине наших сердец.

— Прощайте же! — сказал с волнением дон Тадео. — Дай Бог, чтобы вы нашли в другом месте то счастье, которое ждало вас здесь!

Валентин поклонился, но ничего не отвечал; слезы душили его, он боялся, что не будет иметь силы исполнить свою последнюю жертву. Граф обернулся к донне Розарио:

— Прощайте, сеньорита! — прошептал он прерывающимся голосом. — Будьте счастливы!

Молодая девушка не отвечала. Он вдруг отвернулся и большими шагами пошел к двери.

Несмотря на всю свою решительность, молодые люди не могли не оглянуться, выходя из дверей, как бы желая приветствовать в последний раз тех, кто был им дорог и кого они оставляли навсегда.

Дон Тадео стоял неподвижно на том же месте. Донна Розарио, потупив взор, продолжала машинально играть ушами собаки. При виде этого жестокого равнодушия безумный гнев уязвил сердце графа.

— Цезарь! — закричал он.

Услышав голос своего господина, собака вырвалась из рук молодой девушки и одним скачком очутилась возле него.

— Цезарь! — слабо прошептала донна Розарио своим мелодическим голосом.

Собака обернулась к ней.

— Цезарь! — повторила она еще нежнее.

Тогда, несмотря на знаки и приказания своего господина, собака легла у ног молодой девушки. Граф, с разбитою душою, сделал последнее усилие и бросился к двери.

— Луи! — вскричала вдруг донна Розарио, поднимая к нему свое лицо, блестящее от слез, и глядя умоляющими глазами. — Луи, вы поклялись никогда не расставаться с Цезарем; зачем же теперь бросаете его?

Луи зашатался, как бы пораженный громом; выражение неизъяснимой радости осветило его лицо, он выронил из рук письмо и упал к ногам восхищенной девушки.

— Батюшка! — вскричала донна Розарио, бросившись к нему на шею. — Я знала, что он меня любит! Батюшка, благословите ваших детей!

И грустно и весело было Валентину при виде этой сцены. Он заключил в глубине души волновавшие его чувства и, взяв письмо, сказал с кроткою улыбкой:

— Я отвезу ответ дону Грегорио.

— О нет! — возразила молодая девушка, очаровательно надув губки и протягивая ему руку. — Вы нас не оставите, друг мой, разве вы не возлюбленный брат Луи? О! Мы не отпустим вас!.. Мы не можем быть счастливы без вас, мы вам обязаны нашим счастьем.

Валентин поцеловал руку, протянутую к нему молодой девушкой, украдкой отирая слезу, но ничего не отвечал.

Этот день прошел быстро и счастливо для всех. Когда наступил вечер, Валентин, входя в спальную, сказал с волнением:

— Прощай, брат! Слава Богу, ты теперь счастлив! Я исполнил свой долг!

Граф взглянул на него с беспокойством.

— Брат, — сказал он ему, — отчего ты так грустен и страдаешь?

— Я, — отвечал Валентин, стараясь улыбнуться, — я никогда не был так счастлив!

Поцеловав графа, удивлявшегося этой внезапной гостри, странной в таком человеке, он удалился большими шагами, произнеся опять тихим голосом:

— Прощай!

Луи несколько минут следовал за ним глазами, между тем как сердце его сжималось.

— Что с ним? — прошептал он. — О! Завтра он должен объясниться!

Назавтра Валентин исчез. Бывший спаг вместе с двумя индейцами, которые не хотели его оставить, углубился в неизмеримые пустыни, разделяющие Чили от Буэнос-Айреса.

Несмотря на все поиски, Луи не мог узнать, что сделалось с его молочным братом.

Зачем Валентин бросил своего друга и убежал с фермы? Бедный солдат не имел духу быть свидетелем счастья того, для кого он пожертвовал всем!.. Он также любил донну Розарио!..

Молодые люди долго его ждали. Наконец через три месяца после отъезда Валентина, когда надежда на его возвращение совершенно исчезла, граф де Пребуа Крансэ женился на донне Розарио.

Счастье Луи было не полно. Ему всегда недоставало Валентина.

Может быть, когда-нибудь мы вновь встретимся с бедным солдатом посреди обширных пустынь, куда он отправился.

Дикая кошка





ГЛАВА I

Гоянакское льяно

28 октября 1854 года, месяца, который индейцы называют на своем языке Бинихамоквизис, то есть месяцем перелетной дичи, около 6 часов вечера небольшая кавалькада ехала по песчаному берегу большой реки, называемой *rio Vermejo**, которая, прорезавши льяно во всю его длину, впадает в *Maranhao***.

Эта кавалькада состояла только из трех всадников.

Тот, который ехал впереди, посматривая внимательно во все стороны, был не кто другой, как индейский проводник, которого можно легко узнать по цвету кожи и по покрою одежды.

Это был высокий, еще молодой мужчина с выразительными чертами лица; глаза его, глубоко запавшие, хищно сверкали и выражали лукавство, хитрость и фальшь, которые не располагали к нему; но индеец, который наверное знал это свойство своего взгляда, старался умерить блеск и скрыть его выражение притворным добродушием и напускной глуповатостью.

Этот человек был вооружен для войны; на луке его седла, рядом с мешком с медикаментами, висело его лассо; с другой стороны увязаны были свернутая цыновка, мешок со съестною провизией и длинный карабин; его нож и топор были заткнуты за пояс, легкий щит из лозы, обтянутый кожей ориньяла, висел на левой руке

* Красная река.

** Амазонская река.

его, а в правой руке своей он держал длинное копье, оканчивающееся острием из рыбьей кости, пропитанной соком упаса.

Грива его лошади и круг его щита были разукрашены множеством волос, оскальпированных с людских голов, отвратительными трофеями, которые он с гордостью демонстрировал и по которым можно было узнать, что он был одним из славнейших воинов своего племени.

Сидя небрежно на своей лошади и полузакрывши свои глаза, качая головою, он притворился дремлющим.

Остальные два всадника ехали за ним на некотором расстоянии.

Из них младший был в мундире штаб-офицера английской армии и казалось был начальником второго; в них легко можно было узнать испанских американцев.

И действительно первый был полковник дон Дьего де Лара, адъютант президента Чилийской республики, имевший очень важное поручение к Техуельским индейцам.

Ему было не более 26 лет, он был высок и строен; у него была аристократическая внешность, которая внушала доверие; блестящий лазоревый оттенок его больших гордых и отважных глаз при пепельном цвете его длинных вьющихся волос, которые в беспорядке ниспадали на плечи, придавал выразительность этому столь редкому в Америке типу блондина.

Он был одарен светлым умом, чрезвычайной нежностью чувств и добрым сердцем; он привлекал своей красотой всех, с кем сводил его случай.

Что же касается старого слуги, который ехал за полковником, то ему было около 50 лет. Он был высок и худощав, у него было отважное лицо; проницательный взор и хитрая улыбка. Это был настоящий тип тех драчливых, задиристых кутил и бреттеров креолов, которые всегда готовы вынуть свою шпагу, ухаживать за хорошенькими женщинами или выпить, не заплативши в пульперии*, но которые между тем имеют прекрасный характер.

Этого человека звали Перрико; он привязался к семье Лара и в особенности к полковнику, который родился на его глазах и был предан этой семье всей душой; наконец дон Дьего весьма уважал его, потому что он

* Pulperia, лавочка, в которой продают все, кроме материй.

открыл под грубоватой внешностью своего слуги самые добрые качества.

Этот человек был чрезвычайно веселого характера; он всегда готов был смеяться в самых серьезных и самых отчаянных случаях; часто он ободрял своего барина или шуткой, или каким-нибудь коленцем («lazzi»).

Между двумя этими людьми, поставленными судьбой в два столь различные общественных положения, непостижимым образом существовала неразрывная связь.

Отправившись в три часа ночи из Санта Роза де Лас Андес, наши путешественники остановились и ожидали, пока не спадет невыносимый полдневный зной, и в то время, когда мы встречаем их едущими вдоль берегов Рио Вермейо, прошло не более двух часов, как они продолжили путь.

В этих местах не бывает сумерек; ночь наступает почти внезапно; так по мере того, как солнце склонялось к горизонту, небо равномерно покрывалось тенью и в то время, как дневное светило скрылось, наступила темная ночь.

Безмолвное до этого льяно, как будто бы пробудилось вдруг: задыхавшиеся от зноя птицы устроили громадный концерт, к которому по временам примешивались долетавшие из глубины непроходимых лесов кваканье каркажу и вой диких зверей, которые выходили из своих логовищ и сходились на берегу реки для утоления жажды.

На пути ли от Тихого океана в восточную степь или же на пути из Сан-Луи де Мендоса в Чили, перевалив за первые гряды Кордильер и оставив за собою далеко Templados с его умеренным климатом, его апельсиновые, лимонные, тамариндовые деревья в цвету и двигаясь по бесплодным и каменистым тропинкам, которые извиваются вокруг вечных снегов, вы прибудете после восьмидневного тяжелого и чрезвычайно опасного перехода на окраину тех громадных верхних площадок, которые называют обыкновенно льяно, то есть долинами или луговинами.

Андские Кордильеры имеют наружность, которая не имеет никакого сходства с Пиренеями, Альпами, Апеннинскими и всеми этими великолепными цепями гор, которые природа воздвигла в Старом Свете.

На высоте более двух тысяч метров над уровнем моря, то есть там, где в Европе прекращается всякая рас-

тельность, после бесчисленных подъемов и спусков в обход глубоких ручьев (*barrancas*), по тропинкам, которые едва обозначены над безднами, которые глухо ревут на неизмеримой глубине квебрадо (*quebrados*)*, внезапно встречается в льяно, — окруженных со всех сторон громадными разветвлениями Кордильер, которые образуют, так сказать, их ложе, — та могущественная, капризная, богатая и невыразимо буйно растущая флора, с которой могут соперничать только индийские джунгли.

Эти долины, льяно или луговины простираются на огромные расстояния; они защищены, как мы сказали, снежными вершинами Кордильер, которые видны вдалеке и составляют поразительный контраст с этой богатой природой.

Бесчисленное множество всех видов животных укрывается вместе с племенами *d'Indios bravos***, которые владеют этими пустынями в зеленеющих рощах лугов; последние разъезжают по ним во всех направлениях на конях, столь же диких и неукротимых как и сами они.

На расстоянии не более трех километров от Санта Роза де лас Андес, прелестного города Аконхагвайской провинции, ранчо (*ranchos*)*** которого и дома, выглядывающие из-за рощ апельсиновых деревьев, белеют вдали и народонаселение которого, не превышающее более двух тысяч душ большею частью состоит из *arrieros*****, охотников и лесничих, далеко тянется Гоянакское льяно, величайшее, красивейшее и богатейшее в здешних тропических местах.

Подобно всем долинам Серрании, Гоянакское льяно с первого на него взгляда представляется путешественнику как огромный ковер зелени, испещренный цветами и перерезанный большими реками.

Это обширное пространство земли сверху кажется однородным и сливается на горизонте с лазурью неба и только мало-помалу, когда глаза по привычке к ней, становятся заметны здесь и там довольно высокие холмы; крутые берега рек, наконец множество предметов приятно разнообразят эту монотонность, которая сначала про-

* Бреша Кордильер.

** Свободные Индейцы.

*** Хижины.

**** Погонщики мулов.

изводит печальное впечатление и которую совершенно скрывают высокие травы и гигантские продукты флоры.

Можно ли сосчитать разновидности этой первородной природы, которые возвышаются, сталкиваются, перекрещиваются и спутываются, описывают величественные параболы, образуют грандиозные аркады, создавая величественнейшее зрелище, каким только может наслаждаться человек.

Над гигантскими вересками, кактусами, алоэ, обремененными плодами, возвышается акажу с косыми листьями, морише или хлебное дерево, абанийо, широкие листья которого развиваются веером, пириайо, на котором висят громадные кисти золотистых плодов, королевская пальма, на стволе которой нет листьев и которая при малейшем дуновении покачивает своей величественной головой. Индейский тростник, лимонное, банановое дерево, ширимойя с опьяняющими плодами, восковая пальма, из которой сочится смолистое гумми; потом виднеются цветы белее снегов Чимборазо или же краснее крови, громадные манье, обвивающиеся вокруг стволов деревьев, виноградники с вкусным соком и в этой сумятице, в этом всеобщем хаосе летают, бегают, ползают везде и по всем направлениям всех родов и всех видов животные, птицы, четвероногие, пресмыкающиеся, амфибии — поющие, кричащие, воющие, воркующие и свистящие на все тона то насмешливо и грозно, то кротко и меланхолично.

Олени, лани, ламы, вигоньи прыгали в испуге, напряжались уши и зорко наблюдая глазами; длиннорог перепрыгивал со скалы на скалу и неподвижно останавливался над пропастью, кайман весь в иле дремал на солнышке, отвратительная игуана небрежно ползла за деревом, безгривый лев — пума, черный медведь, любящий мед; ядовитый котейо, хамелеон, кожа которого отражает все цвета, зеленая ящерица, василиск; наконец лежащие в куче и потихоньку ползущие под деревьями и листьями чудовищная боа констриктор, коралловые змеи, столь малые и столь ужасные, каскабель, макорель и большая тигровая змея.

На верху древесных ветвей спрятавшись в густой листве, поет и щебечет пернатое население: танагры, кюрасо, болтливые лоросы, птицы-мухи, тулканы с громадными клювами, голуби, трогоны, лебеди с черной головой, покачивающиеся и порхающие над реками с льяны на льяну.

Высоко-высоко в воздухе описывали огромные круги над лугом андский орел с громадными крыльями и коршун с лысой головой, высматривая добычу. Потом вдруг, несясь по песку и золотистым камням, блестящим на солнце, как будто чудом появился краснокожий индеец, блестящий как медь, сильный, грациозный и величественный, с повелительным взглядом. Индейцы яоса, мо-мохо, техюэля или пуэлыша, которые набрасывают свои лассо или лякки на испуганных буйволов, или диких лошадей, или тигра, пантеру, ягуара, которые убегают вприпрыжку с глухим воем испуга и бешенства.

Этот сын пустыни, такой великий, такой благородный и столь пренебрегающий опасностью, пробегающий льяно с невероятной быстротой, который знает все тропинки и для которого прерия не имеет таинств — он действительно царь этой удивительной страны, по которой он один может пройти и днем и ночью, не страшась бесчисленных опасностей, которые он устранил своей дикой энергией и своей безмерной гордостью; он ведет упорную борьбу с европейской цивилизацией, которая окружила со всех сторон.

И поэтому горе отважному испанцу, который рискнул бы пройти через льяно один: его кости будут белеть на лугу и его волосы будут украшать щит индейца или гриву его лошади.

Таково еще и ныне Гоянакское льяно.

А между тем небольшая кавалькада продолжала безмолвно продвигаться вперед, внимательно наблюдая за тем, что происходило вокруг нее, для того чтобы не подвергнуться внезапному нападению какого-нибудь невидимого врага, который мог ждать их в лесной чаще.

Наконец Перикко, утомленный молчанием, на которое так долго он был осужден против его воли, громко откашлялся и сказал своему барину с той грубой откровенностью, которая его характеризовала, и фамильярностью, на которую ему дала право его продолжительная служба.

— Знаете ли вы, ми амо, что наше путешествие совершенно неприятно? Я припоминаю, что когда я участвовал с вашим батюшкой генералом в войне за независимость, мы имели по крайней мере дело с людьми цивилизованными и следовали по прекрасным дорогам, а не то что теперь вслед за дикарем по тропинкам,

на которых на каждом шагу можно сломать шею. Это проклятая страна!

— Ну, мой бедный мой Перикко, мужайся!.. Я не узнаю тебя!

— Гм! Дон Дьего, — возразил старый слуга, покачивая головой, — не мужества мне недостает, хотя поистине тут есть чего бояться; но...

— Но, объяснись, что печалит тебя?

— Право, я не вижу основания для того, чтобы не высказаться вам откровенно. С самого отъезда нашего из Санта Роза, я тщательно наблюдал за нашим проводником.

— Ну и что же?

— Ну, он вовсе не нравится мне; поверьте, полковник, не стоит доверять ему.

— Ты сошел с ума; этот человек походит на всех людей его народа, и я не вижу в нем ничего, за что бы можно заподозрить его.

— Может быть, сеньор, — сказал Перикко с видом сомнения, — но это все равно; поверьте мне, вы знаете, что меня нелегко испугать; я изучал лицо этого человека настолько, насколько это возможно сквозь слои белил, синьки и желтой краски, которые покрывали его, и по моему это отъявленный мошенник.

— Ба! Ба! Я повторяю, что ты сошел с ума; к тому же он не знает, ни кто мы, ни зачем мы едем в льяно. Он предложил нам быть нашим проводником до селения племени Большого Зайца, потому что узнал о том, что мы отправляемся туда, и он пожелал получить обещанную сумму; вот и все; к тому же ты знаешь, что мы священны для него и если бы он действительно был обижен нами, чего еще не было, он успеет отомстить нам пока мы будем находиться под его охраной. Во всяком случае потерпи еще; через час мы будем на том месте, где находится кочевье племени и мы представимся Дикой Кошке; этот знаменитый вождь сумеет защитить нас, если бы, чего я не думаю, нам угрожала какая-нибудь опасность.

— Живой живое и гадает! — проворчал недовольным голосом Перикко.

Потом, вероятно для того, чтобы рассеять свое беспокойство, почтенный слуга начал громко насвистывать самбукка.

Разговор, который мы только что передали, велся шепотом; но несмотря и на эту предосторожность, проводник несколько поворачивал с неудовольствием голову; но при странном свисте Перикко он с гневом воскликнул и, быстро поворотивши лошадь галопом, приблизился к слуге и без церемонии зажал ему рукой рот.

— Ох! Брат мой сошел с ума; не хочет ли он наклепать на свои следы проклятых пуэльчесов?

— Долой лапы, красный человек! — крикнул Перикко, внезапно освободившись от руки, зажавшей его рот. — Ах! В ваших льяно нельзя даже и свистнуть, да будут они прокляты.

— Индейцы видят везде, даже в такой чаще, — сказал тот поучительно, указывая на лес.

— Гм! — проворчал Перикко. — Я слышал пословицу, что даже и стены имеют уши, но не слышал, чтобы деревья имели глаза!

— Седина в голову, а бес в ребро, — проворчал индеец, отправляясь обратно на свой пост впереди путешественников.

— Может быть, мой милый, — сказал старый слуга про себя, — будь покоен, я не спущу с тебя глаз!

— Ну, ну, Перикко, — шепнул молодой человек, — замолчи; тебе известно, что данное мне поручение требует величайшей осторожности, не ссорь меня с этим индейцем: это было бы дурное начало перед его соотечественниками, которых напротив я обязан всеми средствами расположить в нашу пользу.

На эти примирительные слова своего барина Перикко ответил только покачиванием головой и неодобрительным мычанием, и три путешественника продолжали безмолвно продвигаться вперед, все более и более углубляясь по извилистой тропинке, которая пролежала по берегу Рио-Вермейо.

Луна совершила уже четверть своего пути, и голубая чайка уже в третий раз жалобно прокричала, когда два испанца в сопровождении своего мрачного проводника вошли в широкую прогалину, расположенную на вершине этих бесчисленных гор, рассеянных по прерии, с которых путешественник, благодаря прозрачности воздуха, мог обозревать на много миль пространства льяно.

Торжественная тишина, по временам нарушаемая глухим ревом диких зверей, казалось, тяготела над этой

дикой и первородной природой; по временам зеленые верхушки деревьев медленно наклонялись, как будто бы таинственное дуновение заставляло их; было что-то поразительное и ужасное в величественном виде, который представляла прерия ночью под этим небом, усеянным звездами, которые сияли как изумруды в этой высокой и страшной беспредельности, где слышен один только глас Божий!

Полковник дон Дьего де Лара, молодой и энергичный энтузиаст, чувствовал, как по его телу пробегала дрожь; он испытывал невыразимое умиротворение, осматривая эту пустыню, неизведанная глубина которой скрывала от него столько необъяснимых тайн и открывала ему во всем его значении и всемогуществе величие Божие.

Невольно он аогрузился в какой-то созерцательный экстаз, из которого его только с большим трудом мог извлечь хриплый и гортанный голос проводника.

— Оях!... — сказал индеец, хватаясь за узду его лошади. — Мой бледнолицый брат спит или же ему явился вдруг Арескуи*, что он ничего не видит и не слышит?

— Чего хочет мой брат? — ответил молодой человек, сделав над собою усилие и очнувшись. — Уши мои открыты!

— Мы на охотничьей территории техуэлей, сюда брат мой приказал привести себя.

— Онондюре воин, — ответил индеец с торжественной улыбкой, — все тропинки прерии ему известны.

— Но мы здесь одни, и брат мой краснокожий обаялся представить меня великому техюэльскому предводителю апо-ульменов из племени Большого Зайца, именно того самого, которого молюхосы называют Овициата.

— Сказал ли я это? — ответил индеец, бросивши вокруг себя удивленный взгляд. — Кто может знать, где теперь находится великий техюэльский вождь? Мой брат ошибается, я не мог этого сказать ему!..

— С вашего позволения, господин полковник, — перебил его Перрико, — этот дикарь мне кажется плутом, будем осторожнее.

— С какой целью изменяет он нам? — ответил дон Дьего.

* Бог.

— Эх! Кто же может угадать мысли этих дикарей? — сказал старый слуга, покачивая головой.

— Как бы там ни было, мы оба отважны и хорошо вооружены; нам легко будет отделаться от этого индейца, если его намерения враждебны.

— Наконец-то, слава Богу, вы поверили мне.

В то время как оба испанца обменивались этими несколькими словами, туземец сошел с лошади, разнуздал свою лошадь и беспечно улегся на земле.

— Эх! — шепнул Перрико. — Этот человек притворяется слишком спокойным и вероятно для того, чтобы провести нас; поверьте, полковник, что с него не следует спускать глаз.

— Хорошо, — ответил дон Дьего, — но во всяком случае мне кажется, что мы поступим хорошо, если последуем его примеру и отдохнем несколько часов.

Сказавши это, он легко соскочил на землю; Перрико последовал его примеру.

Тотчас же они расседлали своих лошадей и разостлали свои чилийские седла на земле.

Онондюре смотрел, устремив на них свои рыжие глаза, которые сверкали во мраке как глаза дикого зверя.

— Так как мой брат не знает, где отыскать альпуммена де техуаль, — сказал дон Дьего, — и так как в настоящее время ночь темна, то мы останемся здесь и быть может, когда солнце осветит прерию, мой брат будет счастливее и будет в состоянии отыскать следы, которых он не может видеть.

— Хорошо! — ответил индеец, — на рассвете мы пойдем по охотничьей тропе.

— Пусть будет так, — сказал испанец, — и да нищошлет моему брату Святой Дух спокойный сон.

— Прекрасно, — прошептал индеец с иронической улыбкой, скользнувшей во второй раз по тонким губам, — все зависит от Бога.

И не говоря ничего более, краснокожий повернулся и закрыл глаза, с притворным или действительным намерением заснуть.

Посмотревши на него с негодованием, полковник, вероятно отчаявшись прочесть на невозмутимом лице дикаря злое намерение его, тихими шагами возвратился и подошел к тому месту, на котором Перрико разостлал бараньи кожи и ponchos, род одеял, пред-

назначенных для постели, решившись в душе тщательно наблюдать за всеми движениями и малейшими жестами своего проводника; потому что необыкновенное поведение этого человека, его двусмысленные ответы в высшей степени пробудили его недоверие, а ему не хотелось, чтобы важные интересы, которые были ему поручены, не удались по его вине.

Дон Дьего сел близ Перикко, прислонился к дереву и, скрестивши на груди свои руки, принялся глубоко обдумывать опасное положение, в котором он находился один среди пустыни. Вдали от помощи людей и беззащитный, он находился в руках дикого и алчного дикаря, многочисленные сообщники которого, вероятно укрывшись в окрестностях, быть может, ожидали только сигнала для того, чтобы броситься на него.

— Ба! — сказал он вдруг и как будто бы разговаривая с самим собой, — завтра рассветет и может быть не все потеряно, как я себе вообразил.

— Да, — ответил Перикко, выслушав речь своего господина, — вот характер генерала вашего батюшки, такой же беспечный в опасности.

— Что же мне делать, мой бедный Перикко? — спросил дон Дьего, улыбаясь. — Я боюсь, что попался как мышь в мышеловку, и поэтому я бодрюсь. К чему послужило бы мое отчаяние? Мои жалобы изменят положение дел?

— Я этого не говорю, полковник; не менее вас я нахожу чрезвычайно смешным обычай пенять и плакать подобно женщинам; к тому же и не время. Но ведь говорят же, надейся на Бога, а сам не плошай!

— Эх! Карамба! — крикнул молодой человек с нетерпением, — хорош же ты со своими пословицами, и время ты избрал такое благоприятное для того, чтобы их применять! А я обдумываю давно и не могу придумать средств выйти из этого критического положения, в которое мы так глупо поставили себя!

— Эх! Полковник, не в обиду вам будь сказано, вы знаете, что ваш батюшка всегда имел некоторое доверие к моему уму, и как знать, это средство, которого вы не можете придумать, быть может, я мог бы доставить его вам!

— В таком случае объяснись, мучитель, и не томи меня более.

— О, Боже мой, это очень просто; теперь вы видите также ясно как и я, не правда ли, что этот дикарь хочет обмануть нас и ввести нас в засаду!

— К несчастью.

— В таком случае на одного плута полтора плута; в то время как этот краснокожий черт спит в ожидании времени предать нас в руки своих сообщников, что мешает нам потихоньку подойти к нему, схватить его, крепко связать и тогда в свою очередь сделать ему предложения, на которые он должен будет согласиться?

— Но если мы ошиблись? Если он не изменял нам?

— Если мы пустимся в область предположений, то она обширна и мы зайдем с вами далеко. Полковник, я ограничусь только тем, что задам вам один вопрос: неужели вы полагаете, чтобы дикарь, вся жизнь которого прошла в пустыне, который днем и ночью изъездил ее во всех направлениях, мог бы заблудиться в местности, все деревья и все скалы которой ему знакомы?

— Это правда, ты прав.

— Неужели вы считаете возможным, чтобы этот человек потерял следы своего племени и не мог бы найти его в определенный день и условленный час, когда ему захочется? Нет, не правда ли? Итак, этот человек обманывает нас; он увлек нас за собою по причинам, которых мы не можем угадать, с очевидным намерением погубить нас; нам следует лишить его возможности привести в исполнение свои проекты, захватив его.

— Да, все что ты говоришь, верно; колебаться долее было бы непростительной ошибкой. Как знать, не поздно ли уже?

— Нет. Взгляните на него, — ответил Перикко, указывая рукой место, на котором лежал индеец на расстоянии не более двадцати шагов от того места, где потихоньку разговаривали испанцы, и на темную тень, прекрасно обрисовывавшуюся в лежащем положении на земле и облитую серебристыми лучами луны.

— Будем осторожнее, — сказал дон Дьего, вставая и делая знак Перикко, чтобы он сделал тоже самое; тебе известно, как хитры индейцы; одного неосторожного жеста, шелеста листьев под нашими ногами достаточно будет для предупреждения его о том, что он должен остерегаться. Притворимся, что мы прогуливаемся и незаметно подойдем к тому месту, на котором он лежит;

подошедши к нему, мы бросимся на него и свяжем его, пока он не успеет опомниться.

Не сводя глаз с того места, на котором, казалось, спал, погрузившись в глубокий сон, проводник, оба путешественника зашли с обеих сторон для того, чтобы отрезать ему отступление; они шли с величайшими предосторожностями, задерживая дыхание и прислушиваясь на каждом шагу.

Вскоре они подошли на близкое расстояние к тому, на которого они хотели напасть; тогда они остановились, посоветовались взглядами и после минутного колебания бросились на него. Но Онондюре исчез!..

На том месте, на котором лежал проводник, остались только две или три свернутые и уложенные бараньи кожи.

Оба испанца переглянулись с изумлением.

Вдруг около них раздался ужасный рев более пятидесяти дикарей, отвратительные лица которых показались из-за кустов не более как в двадцати шагах от путешественников.

Перикко, схватив своего господина, увлек его за громадный обломок скалы, который находился вблизи.

И вовремя: раздалась выстрелы, и пули, просвистев, расплющились о камни, служившие временным укреплением для обоих путешественников.

Кочевье техюэлей

Посреди просеки, расположенной между двумя долинами, окруженными двумя взгорьями, были рассеяны в нескольких группах, которые грелись и разговаривали, сидя вокруг пылавших костров, или лежали и спали под деревьями семьсот или восемьсот индейцев, лучших воинов племени Большого Зайца, страшнейшего из этих бесчисленных племен, которые составляют Техюэльскую национальную силу, обширные охотничьи территории которой покрывают все пампасы за Кордильерами.

Вид этого привала индейцев при лунном свете представлял нечто грандиозное; луна, пробежав три четверти своего пути, бросала на описываемую нами сцену только слабые и бледные лучи, которые сливались с красноватым и фантастическим заревом, которое придавало зловещий пурпуровый цвет раскрашенным и странно татуированным лицам и телам дикарей.

Посреди кочевья возвышалась коническая палатка из кож ламы, сшитых вместе, на вершине которой вместо флага находился длинный шест с привязанным к нему пучком волос с человеческой головы, развевающихся на ветру.

Перед этой палаткой стояли два воина, опершись на свои ружья.

Вправо от просеки паслись оседланные и стреноженные кони племени.

На ветвях деревьев висели привязанные за задние ноги лани, медведи, буйволы и другие животные, убитые

днем; одни из них были еще не тронуты; но большая часть была разрублена, очищена и употреблена на ужин.

При этом расставленные вокруг лагеря и стоявшие на вершинах скал как статуи часовые зоркоо смотрели вокруг, охраняя безопасность остальных. Они стояли тихо и неподвижно, готовые поднять тревогу при малейшем подозрительном шуме.

Вокруг лагеря во мраке бродили и подбирали остатки ужина громадные собаки с жесткою и взъерошенною шерстью, со впалыми и кровавыми глазами, с белыми и огромными зубами; потомки тех злых собак, которых первые завоеватели Америки привезли с собой для охоты за индейцами, прирученные последними.

Но странное обстоятельство доказывало, что племя это вышло не на охоту, а на войну, потому что не было видно ни одной женщины и была поставлена только одна единственная палатка; все индейцы спали под открытым небом.

В лагере царствовала полнейшая тишина; огни, не поддерживаемые более — все индейцы один за другим засыпали — начинали потухать, и мертвая тишина, прерываемая только отдаленным ревом диких зверей, воцарилась в просеке.

Но вдруг занавес палатки приподнялся, и из нее вышли два человека; оба эти человека требуют особенного описания.

Первый из них был лет двадцати пяти-двадцати восьми; он был высок и прекрасно сложен; черты его лица, насколько можно было судить об этом при обезображивающих, странных рисунках, которые придавали им страшное и дикое выражение, были прекрасны, благородны и умны; открытое лицо его дышало отвагой, и по временам, когда он сбрасывал с себя маску полнейшего бесстрастия, которое индейцы стараются сохранять при всех обстоятельствах, его большие черные и блестящие глаза принимали выражение удивительно доброе, и он чрезвычайно приятно улыбался; его жесты, как и жесты всех воинов, были преисполнены той грацией и тем величием, которые так свойственны этим необразованным племенам.

Это был Овициата, великий вождь техюэлей.

Его черные густые волосы, приподнятые к макушке головы и перевязанные кожей змеи, ниспадали назад подобно гриве с каски и рассыпались по плечам; испещ-

ренное блестящими цветами длинное пончо было небрежно привязано; шея и грудь его были обнажены и покрыта многочисленными турбосами или колье из раковин, обвешанных амулетами и золотыми или серебряными вещицами грубого изделия.

У его пояса с одной стороны висел калюмет (трубка мира); с другой — топор, кистень, нож, пороховница, мешок с пулями; легкий круглый щит, обтянутый кожей игуана, непроницаемый для пуль, был покрыт изображениями странных символических фигур и украшен волосами людей; он висел на ремешке близ его калюмета и ужасного лассо, с которым индейцы никогда не расстаются; он держал в руке длиннотвольный карабин, покрытый медными насечками, красивый резной приклад которого был покрыт множеством зарубок в память убитых им воинов.

По цвету лица и по костюму легко можно было узнать, что второй человек был испанец.

Это был невысокий человек с большим животом, жирненький и кругленький как волчок; у него было широкое ничем не примечательное лицо; его седеющие волосы торчали длинными клочками из-под большой соломенной шляпы, покрывавшей его голову; его приплюснутый лоб, маленькие желтые косые и пронизательные глаза, узко поставленные, орлиный нос, его большой рот, с тонкими губами, его отвислые щеки придавали ему некоторое сходство с совой; он никогда не смотрел как только украдкой и поэтому в его глазах отражалась низкая злоба и холодная жестокость, от которой по телу продирало морозом.

Этот человек был в костюме путешествующих испанских креолов; то есть на его плечи было наброшено пончо, которое ниспадало ниже пояса, холщевые брюки, войлочные сапоги, подвязанные под коленями, а к каблукам этой обуви были привязаны ремнями тяжелые серебристые шпоры с огромными остроконечными колесцами; кавалерийская сабля висела у его левого бедра и подобно индейскому вождю, он держал в руке длинный карабин. Отошедши несколько шагов от палатки, они остановились и стали внимательно прислушиваться.

— Я не слышу еще ничего, — сказал наконец колон.

— Тише, — ответил вождь на чистейшем испанском языке, — вот воины.

И действительно через несколько минут в просеку вошло двадцать человек индейцев.

Чилиец хотел броситься вперед; но вождь остановил его и сказал ему с иронической улыбкой:

— Неужели вы хотите, чтобы вас узнали?

— Караи! Это верно, — ответил другой, внезапно остановившись, — но что же делать? Они же сейчас придут сюда.

Овициата с презрением взглянул на своего товарища и указал ему палатку:

— Войди туда! — сказал он ему.

Толстяк повиновался, не замечая насмешливого тона вождя.

И едва за чилийцем закрылся занавес палатки, как вновь прибывшие подошли к техюэльскому вождю.

Эти индейцы были вооружены вполне по-военному; у них были прекрасные лошади, которые казались такими же дикими и неукротимыми, как и их хозяева.

Они окружали двенадцать пленных испанцев, которые были связаны на их лошадях; двух женщин, также на лошадях, но по-видимому они были свободны и с ними обращались чрезвычайно почтительно. Они ехали во главе пленных.

Опершись на свой карабин, поникнув головой и нахмутив брови и погрузившись в глубокие размышления, Овициата казалось не замечал прибытия воинов, которые стояли перед ним полукругом и безмолвно ожидали, пока он не обратится к ним с речью.

Спустя довольно продолжительное время, младшая из двух пленниц, вероятно утомленная этим продолжительным безмолвием, подняла голову и обратилась к индейскому вождю серьезным и кротким голосом, мелодические звуки которого заставили его вдруг вздрогнуть, как от электрического тока.

Это была молодая девушка, почти ребенок: ей едва ли исполнилось шестнадцать лет; ничего нет милее, грациознее и невиннее этого прелестного создания, правильные, подвижные и полные гармонии черты лица которого оживлялись двумя большими черными и блестящими глазами, увенчанными безукоризненной дугой бровей; ее густые волосы в беспорядке ниспадали на ее белые плечи длинными шелковистыми прядями, образуя своим черным как вороново крыло цветом великолепнейший контраст.

Подобно всем испанским великосветским дамам она точно купалась в волнах кисеи; на плечи ее была наброшена мантилья из индийского кашемира, которая не вполне закрывала их, на ее шее и на руках блистали чрезвычайно дорогие брильянты.

— Овициата, — сказала она, — для чего ты приказал этим воинам арестовать меня, тогда как я с твоего позволения мирно охотилась в этой пампа?

— Выслушай меня, Мерседес, — ответил вождь кротко и покорно.

— Разве я не пленница твоя? — ответила она гордо.

— Ты!.. Моя пленница?.. — произнес вождь, качая отрицательно головою.

— В таком случае, что же я такое?

Индеец наклонил голову молча.

Молодая девушка продолжала:

— Разве я добровольно явилась сюда? Пригласил ли ты меня? Нет, воин, прославленный в твоем племени, гроза испанцев, ты употребил против меня, женщины, насилие; ты поступил неблагородно и подло.

— Подло! — воскликнул индеец, и глаза сверкнули; он конвульсивно схватил свой кистень.

— О!.. — грустно произнесла молодая девушка. — Благородный и храбрый Овициата, апо-ульмен техюэлей, окончи начатое тобой, убей меня!

Вождь с бешенством ударил прикладом своего карабина об землю и окинул бешеным взором всех:

— Уйдите все, — сказал он, — я хочу говорить с одной этой женщиной.

Воины безмолвно поклонились и удалились, уводя с собою пленных.

Молодая испанка легко соскочила со своей лошади; встав против индейца, она сложила руки на груди и, окинув его презрительным взглядом, надменно сказала ему с улыбкой:

— Радуйся, Овициата, я в твоей власти; благодаря твоей бесчестной измене, я твоя невольница и ожидаю приказаний от моего милостивого властелина.

— Мерседес! Мерседес! — ответил вождь с болезненным нетерпением. — Для чего ты так говоришь и с удовольствием терзаешь меня? Я не горожанин, я индеец, дикарь, — добавил он горестною улыбкою, — мне вовсе не знакомы ваши утонченные манеры; мне хотелось ви-

деть тебя, поговорить с тобой; если бы я не овладел тобой, а попросил бы у тебя свидания, согласилась ли бы ты?

— Может быть!

— Это ложь, Мерседес; потому что тебе известно, что десять человек из моих воинов побывали поочередно в Санта Роза, в которой ты живешь, с тем, чтобы передать тебе мои подарки; но ты всегда отсылала их обратно, не читая моих писем и разрывая их.

— Выслушай же и меня, Овициата; десять лет тому назад, когда моя тетка нашла тебя опасно раненым, когда ты валялся на камне, она приказала своим слугам поднять тебя и отвести в свой дом и там она как мать охраняла тебя, сидя у твоего изголовья, как у смертельно больного ребенка; она расточала тебе самые трогательные и полезные заботы; ты был еще молод в то время, тебе едва исполнилось 15 лет; ты был признателен и продолжал жить с той, которая спасла твою жизнь, делая все возможное для того, чтобы угождать ей во всем, забыв действительно или притворно свою дикую и свободную жизнь в прерии, и принял обычаи цивилизованного человека; меня, когда я была маленькой девочкой, ты по целым дням носил на своих сильных руках, повиновался моим малейшим капризам избалованного ребенка, называя меня своей сестрой, а я называла тебя своим братом, не правда ли, Овициата?

— Все это правда, Мерседес, — ответил индеец слабым голосом и потупив глаза.

— Однажды, — продолжала молодая девушка, — года четыре назад, мне тогда было 12 лет, но я помню как будто бы это происходило вчера, мой отец дон Эстиван де Надилас, которого я не видела со дня смерти моей матушки, прибыл в Санта Роза. С ним был молодой человек.

— Да, — шепнул индеец глухим голосом, — дон Дьего де Лара. Иксуэнс! (я ненавижу его), — добавил он по-индейски.

— Ты прав, — ответила с улыбкой молодая девушка, которая не слыхала последнего восклицания вождя. — Дон Дьего де Лара. В тот вечер, в который он прибыл, мой отец вложил мою руку в руку дона Дьего и сказал мне:

— Дочь моя, этот молодой человек сын моего лучшего друга. Да сохранит меня Бог от того, чтобы я вздумал когда-нибудь принуждать тебя к замужеству, но мне бы-

ло бы очень приятно, ежели бы ты согласилась выйти за него.

— И ты ответила? — воскликнул вождь сердито.

— А я ответила, — продолжала Мерседес, — батюшка, я исполню вашу волю. Клянусь вам, что я не выйду ни за кого кроме дона Дьего де Лара.

Мой отец пробыл в Санта Роза пятнадцать дней у моей тетки. Он, обняв меня с нежностью, заставил меня повторить мое обещание и возвратился в Тальку, где он живет. За ним последовал и сын его друга, мой жених дон Дьего. Спустя два дня после их отъезда, мы возвращались в сопровождении наших слуг; когда мы подъезжали к городу, ты остановил свою лошадь и, положив руку на гриву моей лошади, сказал:

— Мерседес, мой отец знаменитый вождь; он страшный воин; он могущественнейший ульмен техюэлей. По-едем в мое племя! Ты будешь моей женой и мои воины будут почитать тебя как царицу!

— Да, да, я сказал это тебе, Мерседес, — шепнул молодой вождь.

— А я ответила тебе: «Я не могу быть твоей женой; мой отец обручил меня с молодым человеком, я исполню волю моего отца.» Ты просил, умолял меня, все было тщетно. Наконец в отчаянии от того, что я не приняла твоих предложений, ты сказал мне: «Мерседес, я люблю тебя! Будь счастлива; что бы ни случилось, я всегда буду любить тебя!» и, пришпорив свою лошадь, ты исчез. С этого времени мы встречаемся в первый раз, Овициата, и как?.. Спрашиваю я у тебя... благодаря измене, с какой ты овладел мной!..

— Мерседес, я слушал тебя терпеливо, — ответил индейский вождь, — выслушай же и меня.

— Говори, — сказала молодая девушка.

— Со времени внезапной нашей разлуки мы не видались более; это правда, но я издали охранял тебя, дочь бледнолицых родителей, и все твои поступки мне известны.

— Какое мне дело до этого? — сказала надменно испанка.

— Ежегодно дон Дьего приезжал к тебе на несколько дней, что он исполнял вначале только из повиновения твоему отцу, но потом дружба превратилась в любовь.

— Да, ты имеешь верные сведения, — перебила страстно молодая девушка.

— Не говори об этом, — воскликнул вождь, сердито топнув ногой.

— А почему же не должна я об этом говорить? Почему не сознаться мне в любви, которой я горжусь и которую дон Дьего разделяет?

— Дон Дьего прибыл уже дня два назад в Санта Роза, — продолжал Овициата, — он прибудет ко мне с поручениями от чилийского правительства.

— Каким образом узнал ты это? — спросила молодая девушка с удивлением.

— Я знаю все, — сказал надменно вождь. — Я знаю также, — продолжал он, — я знаю, что возвратившись в Санта Роза, он должен жениться на тебе и все уже приготовлено к вашему бракосочетанию.

— Это правда, — с энергией произнесла Мерседес.

— Но ты, молодая девушка, пренебрегшая моею любовью, которая подобно ребенку играла с тигром и рискнула пройти в его логово, не знаешь того, что в одно время с тобой дон Дьего схвачен моими воинами и находится в моих руках и что через час он умрет!

— Ты не посмеешь!

— Дитя, я смею все; что значат для меня права людей, что значит для меня его качество посланника? Я не испанец, я дикий и свирепый индеец. Я овладел моим врагом, и он умрет. Взгляни, — добавил он, заставляя молодую девушку, которую эти последние слова ужаснули и которая, зарывав, закрыла свое лицо руками, повернуть голову в ту сторону, в которую он указывал, — взгляни, вот идет твой жених!

И действительно посреди толпы индейцев шли обезоруженные Дьего де Лара и Перикко; они появились в просеке.

— Ах! — воскликнул Овициата с торжеством, которого невозможно передать. — Наконец-то я могу отомстить!

Потом, возвысив голос:

— Затрубите в раковину, — сказал он, — для того, чтобы собрать воинов, и приведите пленников.

Через несколько минут все индейцы были вооружены и окружали вождя.

Утренняя заря начинала позлащать верхушки деревьев красноватым светом, который появился на горизонте как предвестник солнечного восхода.

Когда дон Дьего был приведен индейцами, захватившими его, и подошел к великому техюэльскому вождю, он оглянулся кругом гордо и спокойно; но вдруг его лицо побледнело; дрожь ужаса пробежала по его членам, и он с отчаянием закричал:

— Мерседес! Мерседес! Моя возлюбленная, ты также попала в руки этих негодяев!

И сделав необыкновенное усилие для того, чтобы разорвать веревки, которыми он был связан, он хотел броситься к своей невесте; но после непродолжительной борьбы дикари, окружавшие его, овладели им и лишили его возможности двигаться:

— Мужайся, Дьего! — воскликнула Мерседес с кроткой улыбкой. — Мужайся, мой жених, мы умрем вместе.

Онондюре, вероломный вождь, заманивший молодого полковника в засаду, сделанную для него, подошел к Овициате и что-то шептал ему.

Атакованный толпою неприятелей дон Дьего пал только после продолжительной и опасной борьбы. Сильно поддерживаемый Перикко он более двух часов сдерживал напор индейцев и сдался только тогда, когда его окружили со всех сторон, боеприпасы были на исходе, и он осознал, что дальнейшая борьба невозможна.

Но во время атаки было убито несколько индейцев; между другими проводник был в числе раненых и если бы техюэльские воины не получили приказа своего главного вождя захватить испанцев живьем, они немилосердно были бы убиты своими победителями, приведенными в ярость их геройским сопротивлением. Дон Дьего понял, что проводник отдавал своему вождю отчет и что он настаивал на том, чтобы тот приказал их казнить.

Зная индейцев, их свирепые нравы и неумолимый характер, полковник решился умереть, не запятнав своего имени, что заставило бы их отдать справедливость его храбрости и терпению в мучениях, которые наверное предстояло ему перенести; но ужасное зрелище казни той, которую он любил и которую он не мог защищать, доводило его до отчаяния и терзало его сильнее всех казней, готовившихся для него.

— Да, испанец, — ответил вождь, — я знаю, что ты и подобные тебе не боитесь скорой смерти; поэтому я готовлю для тебя не такую смерть. Я хочу видеть, какую

гримасу сделаешь ты у столба, когда ты увидишь индейскую смерть, которая томит, но не убивает!

— Я не женщина, не ребенок, которых можно напугать словами; приготовь ужаснейшие пытки, мерзавец, и ты увидишь, что я перенесу их, не дрогнув.

— А твоя невеста, неужели ты думаешь, что и она перенесет их с такой же твердостью? — сказал индеец захотав, — взгляни на нее, смотри как она хороша, как она молода. Не правда ли, как ужасно умереть в эти лета?

— Демон! — воскликнул дон Дьего с бешенством. — Не говори мне о ней!

— Напротив, — продолжал вождь, — если ты только пожелаешь, ты можешь спасти ее и спасти самого себя с твоим товарищем.

— Ты насмехаешься надо мною; я знаю людей, подобных тебе, и не позволю грубо провести себя, как ты желаешь это сделать; подобные тебе не способны на доброе дело; оставь же меня.

— Ты напрасно не хочешь выслушать меня, потому что я говорю тебе откровенно и без задней мысли; повторяю тебе, что если ты захочешь, ты можешь спасти ее.

Наступило минутное молчание; индеец с тоской следил по лицу своего пленника за впечатлением, какое на него производили его слова, словно желая проникнуть в свои мысли.

Через минуту дон Дьего возобновил этот странный разговор.

— Говори, — сказал он глухим голосом, — и если это не индейская проделка, скажи, какие ты хочешь сделать мне предложения; я слушаю тебя!

— Я, как тебе известно, был почти воспитан испанцами и поэтому знаю их нравы, и я привык к обрядам ваших священников, ваших архиереев, которые во имя Распятого обручили тебя освященными кольцами с Мерседес.

— Да, — отвечал молодой человек, не понимая, что хотел сказать дикарь.

— Итак, — продолжал Овициата с торжеством, — отдай мне твое кольцо, уступи мне твои права на твою невесту и вы будете все свободны.

— О! Какое бесчестье и позор! — воскликнул дон Дьего с бешенством. — Ты делаешь мне подобное предложение!

— Что значит это для тебя! Все равно она не может принадлежать тебе?

— Отойди мерзавец! — крикнула Мерседес. — Я скорее соглашусь сделаться жертвой отвратительнейшего бандита племени, чем принять позорный торг и сделаться женой подобного тебе чудовища.

Произнося эти слова, сверкая глазами, молодая девушка смотрела с таким презрением и гневом, что индейский вождь не мог вынести этого взгляда и опустил голову.

— Проклятье! — воскликнул он с бешенством, — приготовьтесь быть привязаны к столбу пыток.

ОНОНТХИО

Через несколько часов после описанных нами происшествий в предыдущей главе, лагерь техюэлей представлял необыкновенное зрелище.

Это был странный беспорядок: крик, смех, песни бегущей толпы, которая везде расхаживала, бегала; одни несли громадные пучки зеленых ветвей, другие складывали громадные костры, другие срезали своими мачете ясеновые прутья, которые они обстругивали и делали вроде небольших вертелов 20-25 сантиметров длиной; третьи спешили вкапывать огромные столбы из деревьев, срубленных утром, тщательно очищенных от ветвей и коры; некоторые чистили и заряжали свои ружья или точили об камни свои ножи.

Посередине лагеря отряд воинов окружал лежавших на траве испанских пленников, связанных подобно животным, предназначенным на убой.

Мерседес и сопровождавшая ее женщина, бывшая ее кормилица, сидели под деревом и обе были погружены в грустное раздумье.

— Гм! — сказал Перикко, силясь привстать, но безуспешно, потому что был связан. — Мне кажется, что они скоро примутся за нас. Караи! Какие гадкие минуты; ну, эти проклятые краснокожие превосходные палачи.

Увидев, что полковник задумался и не слышал его или по крайней мере не обращал внимания на то, что сказал, он невозмутимо продолжал свой монолог:

— Да, да, мои молодцы, я вижу вас, вы добросовестно готовите все орудия нашей казни: столбы, к которым мы будем привязаны, зеленые ветви, предназначенные для того, чтобы окоптить нас как окороки; вы готовите вертелы, чтобы забивать нам под ногти. Поспешите, Мушахосы! Как знать? Ежели вы не поспешите, быть может, нас спасут. Ох! Какое торжество для вас! Ну порадитесь: у вас дюжина испанцев, с которыми вы поступите как вам захочется! И черт знает, какие странные идеи могут залезть в ваши индейские мозги.

— Перикко, — сказал дон Дьего, поднимая голову, — к чему ты произносишь подобные слова, готовясь к смерти?

— Ба! Полковник, смерть всегда близка к нам и к тому же неизвестно, кому суждено жить, а кому умереть. А между тем мы еще живы.

— Да, но мы умрем.

— Может быть! И в таком случае после нас кончится свет; но мы не высказали еще нашего последнего слова.

— Какая может оставаться еще для нас надежда?

— Не знаю! Это не в первый раз я попадаю в подобное отчаянное положение, и я всегда спасался!.. Караи! Нет основания к тому, чтобы я теперь был несчастнее! Спросите у вашего отца, сколько раз мы были привязаны вместе к столбу, а между тем я еще жив!

— Здесь, в этой пустыне, вдали ото всех, можем ли мы избежать угрожающей нам участи? Мой друг, не питай себя химерическими надеждами, подготовимся умереть истинными христианами!

— Это ничего не значит, полковник, мы действительно можем, когда придет время, умереть истинными христианами, а между тем мы можем еще надеяться! Ба!.. Эти демоны лукавы; но Бог спасет нас! Кто может знать что случится!

— Клянусь тебе Богом, что если я желаю сохранить жизнь, то не для меня, но для этой невинной девушки, которую я веду за собой в могилу! Бедная Мерседес! — произнес дон Дьего раздирающим душу голосом.

— Это правда, — мрачно согласился Перикко. — Она была такой счастливой, милая девушка, как она хороша и добра! О! — добавил он с бешенством. — Эти индейцы бездушны. Этот ребенок, что он сделал им?..

Миль демониос!.. Быть связанными как телята, которых зарежут и не иметь возможности отомстить за себя!

— Бедная, бедная Мерседес! — произнес со вздохом дон Дьего.

— Это все равно, — продолжал Перикко, покачивая головой с насмешливой улыбкой, — если я уцелею, я напомню о себе моему куму Онондюре, когда возьму сго себе в проводники в следующий раз, ну и спляшет же он у меня!

— Увы! — сказал молодой человек. — Нас поставила в это положение моя глупая доверчивость к этому негодяю, и если бы я послушался тебя, мой старинный друг...

— Ба! Что сделано, того не изменишь, нечего об этом и вспоминать. Знаете ли, полковник, что это послужит вам уроком и в другой раз вы не выберете в проводники первого встречного, не правда ли?

— Говори, что хочешь, — ответил молодой человек, невольно улыбнувшись, выслушав речь своего старого слуги.

— Что делать, полковник, уж я так создан, и я привык верить только тому, что вижу.

— Ну, взгляни и ты поверишь, — продолжал дон Дьего.

— Эх! — сказал Перикко, пожимая плечами. — И что же этим доказывается?

В этот момент Овициата вышел из своей палатки; раздался адский шум варварских инструментов.

— Караи! — воскликнул старый слуга. — Представление начинается.

И действительно по жесту вождя трубы, конхи и шишикуе заиграли к великому удовольствию индейцев. Между тем после нескольких минут этой дикой музыки, которая не имела другой цели, как только призвать всех индейцев к палатке, вождь сделал знак, шум прекратился, и Овициата направился к пленникам. Окинув их глазами с выражением, которое мы отказываемся передать, он приказал развязать им руки и ноги.

Потом, когда это приказание было исполнено, он сказал им:

— Собаки, так как вам необходимы силы для перенесения пытки, и солнце давно уже взошло, то вам дадут поесть.

— Благодарю вас, мой милый, — ответил Перикко. Потом проворчал сквозь зубы:

— Этот дикарь невежлив; но надо согласиться, что он добр!

Тогда Онондюре подошел и дал каждому пленному по куску тассоманони, по полной кружке смилакской воды и несколько майских яблок.

— Ах! Ах! — сказал Перикко, с аппетитом принимаясь за свою порцию и обращаясь к Онондюре. — Итак, мой милый, ты переменял свое ремесло; поздравляю тебя с этим, потому что я должен тебе сказать, что ты исполняешь ремесло как настоящий никаро!

— Жри, собака! — ответил дикарь, ударив его ногой. — Сейчас ты завоюешь!..

— Я не боюсь ни твоих пыток, ни тебя; но будь покоен, я отплачу за все это тебе после.

Индеец засмеялся и ушел, пожимая плечами.

За исключением Перикко, которого, казалось, ничто не могло тронуть и который съел свою порцию до последней крошки, насмехаясь над своими сторожами, которые удивлялись его хладнокровию и веселому расположению духа в такой момент, другие пленники не дотрагивались до своих порций и оставили почти нетронутые съестные припасы, которые по обычаю, принятому в подобном случае, им раздали.

Когда это печальное угощение окончилось, Овициата приказал начать пытки, и толпа зашевелилась.

Воины, которым был поручен надзор за пленными, освободили их от ремней, которыми они были связаны для того, чтобы они могли дойти до места, предназначенного для казни.

Меры предосторожности были приняты таким образом, что бежать было невозможно.

А между тем один из пленников, почувствовав себя свободным и воспользовавшись беспорядком, произведенным приготовлениями к печальной церемонии, сделал такой сильный прыжок, что опрокинул трех или четырех дикарей, которые стояли перед ним, и принялся бежать с невероятной быстротой, стараясь добежать до первых деревьев леса.

Эта отважная попытка привела индейцев в изумление; но когда они пришли в себя, двадцать воинов бросились за ним в погоню, предшествуемые их громадными

собаками, которых они подстрекали в этой охоте на человека.

Но вскоре бедняга, выбившийся из сил, был завален собаками, которые схватили его за горло и, после короткой борьбы загрызли прежде, чем подоспели их хозяева.

Несчастный испанец по крайней мере избежал ужасных пыток, которые ему были уготованы.

Индейцы оскальпировали его труп и надругались над ним, называя его трусом и подлецом, беснуясь от того, что ожидание их не исполнилось и что одна из жертв избавилась таким образом от них; в своем бессильном гневе они до того изрубили его своими мачете, что его тело, ужасно изувеченное, превратилось в бесформенную массу костей и мяса.

В то время когда кортеж двинулся, дон Дьего сделал необыкновенное усилие и оттолкнув окружавших его воинов, бросился к Мерседес, которая со своей стороны бросилась к нему. В миг они оказались в объятиях друг друга.

— О! Мерседес! — страстно воскликнул молодой человек. — Прости меня, мой обожаемый ангел, что я сделался невольной причиной твоей смерти! Увы! Богу известно, что я с радостью пожертвовал бы своей жизнью для того, чтобы доставить тебе счастье и свободу, даже если бы ты должна была выйти за другого.

— Не говори так, мой возлюбленный, — ответила Мерседес с лихорадочной экзальтацией. — Мы счастливы, потому что мы вместе умрем!

Они не могли ничего более сказать; воины растащили их. Влюбленные вскоре прибыли на место, предназначенное для их казни.

Овициата спешил покончить с испанцами.

Власть вождя, как ни была бы она велика, имеет однако же определенные границы, которые всегда неблагоприятно преступать, и каково бы ни было повиновение и преданность воинов его племени к нему, апо-ульмен однако же опасался за своих пленных.

И действительно в лагере началось глухое волнение; большая часть ульменов выражала отвращение к аресту полковника, который прибыл в качестве посланника и неприкосновенность которого была священна для них. Кроме того они испытывали живейшее желание узнать предложения, которые должны были быть переданы с молодым офицером.

Поэтому Овициата приказал начинать пытки немедленно.

Из числа пленников, как это обыкновенно водится, вначале взяли менее значительных, предназначенных для потехи толпы, сохраняя к концу торжества людей, мужество которых должно было вызвать дьявольскую свирепость палачей.

Двое слуг, обнаженные до пояса, были привязаны к столбу, и воины, встав в двадцати шагах от них с ножами в руках, принялись с громким криком, насмешками и оскорбительным смехом готовиться к начатию казни.

Пытка ножом одна из любимейших пыток индейцев, также как и пытка топором. Вот в чем заключаются эти различные пытки.

Самые лучшие воины племени, схватив за лезвие своего ножа большим и указательным пальцем, раскачивают его два или три раза в руках и бросают его в пленника, таким образом, чтобы он пролетел как можно ближе к нему, но не задевая его или так, чтобы нанес ему только легкую рану.

За этой пыткой следует пытка топором, который бросается таким же манером; пытка ружьем разрешается только воинам, меткость которых общеизвестна, потому что пуля, уклонившись на одну линию от избранной цели, могла бы разом покончить страдания и лишить индейцев зрелища казни.

Но после того как они привязали двух пеонов к столбам, дон Дьего обратился к толпе, которая теснилась вокруг него.

— Выслушайте меня в последний раз, ульмены и техюэльские воины, — сказал он твердым и звонким голосом, — говорю вам, что не намерен хитростью, недостойной человека, избежать смерти; я не хочу вашего сострадания; но так как ваш главный вождь решился принести меня в жертву своему низкому мщению и ревности, то я желаю перед смертью исполнить то поручение, которое мне дано к вам и которое я принял, доверяясь священному слову и обещаниям ваших вождей. Хотите ли вы выслушать меня; да или нет?

— Говори! Говори! — закричали дикари.

— Не надо, не надо, — отвечали другие, во главе которых находился Онондюре. — К столбу его! Молодой белый вождь похож на птицу-насмешника; он болтлив,

но не храбр; мы увидим, что у столба он заплачет как женщина.

Дьего, сложив руки на груди и нахмутив брови, бесстрастно ожидал, чтобы утихло волнение, вызванное его речью.

— Трус! — повторил Онондюре, подходя к молодому испанцу и плюнув в лицо. — Ты еще не привязан к столбу, а уже трепещешь!

При этом последнем и страшном оскорблении, лицо полковника побагровело и, вырвавшись из рук окружавших его индейцев, он бросился на проводника и, вырвав у него из-за пояса топор, он взмахнул им и раскроил ему череп.

Онондюре упал, вскрикнув от боли, и, корчась в ужасных конвульсиях, он испустил дух.

После такого блистательного мщения, дон Дьего, отступив шаг назад, бросил топор на землю; потом, вынув из кармана колье из раковин и прекрасного жемчуга, он с презрением бросил его Овициате, который с трудом сдерживал свое бешенство и сказал ему:

— Смотри, вот паспорт, который мне дал для прохода посланник великого токи (генералисимус) пяти соединенных наций. Теперь, — добавил он, с надменностью озираясь вокруг, — палачи, делайте со мной что хотите!

При виде колье между техюэлями как будто бы по мановению волшебного жезла произошла непонятная для людей, не знающих индейских нравов, перемена. Крики и брань стихли, и они почтительно удалились от того, которого они прежде хотели лишить жизни для того, чтобы отомстить за Онондюре, и стали смотреть на него с суеверным страхом и даже ужасом.

Сам Овициата, подчиняясь влиянию чувства, которое так сильно смутило его товарищей, почтительно поднял колье и, вежливо поклонившись дон Дьего, сказал ему с притворной улыбкой:

— Брат мой, возьми обратно это тюрбо; ты священен для нас.

— Да, да, — закричали индейцы, — у него есть тюрбо Такиука, страшного Токи пяти наций.

— Почему ты не показал раньше этого колье? — продолжал вождь. — Ничего происшедшего не случилось бы. Но ты добр, ты простишь нас; мы бедные индейские

невежи; мы постараемся исправить сделанное нами тебе зло.

Потом он продолжал, обращаясь к воинам и толкнувши ногой труп Онондюре:

— Уберите этого человека, главную причину недоразумения, и бросьте его на съедение коршунам и хищным птицам.

Дон Дьего не верил своим глазам; все следы казни исчезли; отвязали от столбов обоих испанцев, обезумевших уже от ужаса; теперь с ними обращались с почтением, они свободно могли рассказывать по лагерю и еще более: по приказу вождя им возвратили оружие, их лошадей и все вещи, которые были у них отобраны.

— Эх! — сказал Перикко, захохотав. — Я знал, что мы не погибнем еще сегодня.

Овициата обратился с речью к дону Дьего:

— Пусть мой брат подождет, — сказал он, — когда зажгут огонь совета, он отдаст нам отчет перед ульменами в поручении, которое он получил от главного вождя бледнолицых.

— Я подожду, — сказал полковник.

Индеец ушел; но по жесту его несколько воинов увели Мерседес и ее кормилицу, так что молодому человеку не удалось ободрить ее и словом надежды. Он сделал движение, как будто желая не допустить этой разлуки; по Перикко поспешил удержать его за руку и наклонившись к его уху, сказал ему:

— Потерпите, полковник, все окончится благополучно.

— Да, — сказал молодой человек, — я удержусь, это необходимо. Но я спасу ее.

— Пардье, — продолжал Перикко с убеждением... — но все равно, — добавил он подумав, — я очень рад тому, что мы отделались от этого мерзавца Онондюре. Какая каналья!

И усевшись под деревом, он вынул из кармана табак и бумагу и, тщательно сделав папироску, зажег ее и принялся с наслаждением курить, окружая себя облаками голубоватого дыма, которым вскоре он был совершенно окружен.

Едва прошло полчаса со времени этого происшествия, как воин подошел к дону Дьего и попросил его последовать за ним.

Он ввел его в палатку.

Там вокруг огня совета сидели и важно курили свой калюмет главные ульмены племени.

Вправо от Овициаты, на резном треножнике из опалового дерева, сидел вождь, которого молодой человек ещё не видел.

Это был старец по крайней мере восьмидесяти лет: его белые как снег волосы ниспадали в беспорядке на его плечи и грудь и смешивались с бородой; его почтенное лицо сияло величием. Закутавшись в пестрое пончо, он безмолвно курил свой калюмет, по-видимому погружившись в ту созерцательную дремоту, которая так свойственна жителям Востока и туземцам Америки. Этот вождь, к которому индейцы питали глубокое уважение, назывался Ононтхио, или Большая Гора. Это был отец Овициата.

Прежде он был славнейшим воином в своем племени; но с того времени, как лета заставили его оставить дело войны, он прославился мудростью в советах, и индейцы слушали его как оракула; но подобно всем старикам он говорил весьма мало; иногда он не произносил ни одного слова по целым неделям, что еще более придавало авторитета его словам, когда он удаивал высказать свое мнение или отдать приказ.

Когда приготовительные церемонии окончились, и калюмет обошел вокруг огня совета и возвратился к Овициате, он встал и, обратившись к дону Дьего, сказал:

— Пусть мой брат говорит, наши уши открыты; великие техюэльские вожди слушают его и Шемеин (священная черепаха) желал бы, чтобы его предложения соответствовали нашим ожиданиям, для того, чтобы мы могли благородно исправить ту ошибку, в которую нас невольно ввел один негодяй.

При этом оправдании, несколько наглom, молодой посланник не мог удержать презрительной улыбки; но тотчас же овладев собою, он хладнокровно и с необходимой важностью произнес:

— Техюэльские ульмены, — сказал он, — вот колье — письмо главного вождя бледнолицых живущих на берегах безбрежного озера. В этом колье он предлагает вам продолжение своей дружбы и просит у вас вашей. Кроме того он желает заключить с вами прочный союз, обязуясь помогать вам в ваших войнах, уважать вашу

охотничью территорию и поступать везде, где бы он не встретился с воинами пяти наций, как со своими братьями и детьми.

Если вы примете то, что мне поручено предложить вам от его имени, то для вас будут приготовлены в Санта Роза-де лас-Андес богатейшие подарки, куда явится за получением их один из Ульменов в сопровождении своих воинов.

Эти подарки будут состоять из множества ружей, ножей, пятидесяти бочонков пороха, двадцати бочонков пуль, ста бочонков водки и пятисот шерстяных одеял. Вождь, который отправится в Санта Роза, приведет к великому вождю бледнолицых отряд из четырех тысяч лучших из пяти наций воинов, которые помогут нам в войне, которую мы объявили вероломным малюкосам.

Между нами и могущественной техюэльской нацией топор будет зарыт на такой глубине, что дети наших детей не найдут его в продолжение тысячи лунных годов. Пусть мои братья ульмены обдумают мои предложения. Я все сказал.

После этой речи последовало продолжительное молчание, во время которого индеец, введший посланника, вывел его. Через час дон Дьего был введен в собрание вождей.

— Брат мой, — сказал Овициата, — ульмены техюэльской нации принимают предложение их белого отца: прочный мир да будет между нами. Малюкосы бабы, которых техюэли принудят одеться в юбки; вот мой тюрбо в знак мира. Завтра один из главных ульменов отправится в Санта Роза за получением подарков, а другой отправится с тобой для того, чтобы условиться с токи бледнолицых о числе воинов, которых они от нас требуют. Пусть брат мой займет место у огня совета: он молод; но мудрость его велика. Хорошо ли я сказал, могущественные люди? — добавил он, обращаясь к воинам.

Они молча поклонились.

— Я благодарю, — ответил дон Дьего, — моих краснокожих братьев за то, что они приняли предложения, которые мне поручили им сделать; мне очень жаль, что я не могу остаться долее с вами; меня заставляет мой долг немедленно возвратиться в Санта Роза вместе с испанцами, которые находятся здесь, а также вместе с донной Мерседес, — добавил он, ударяя на последние слова.

— Мерседес остается, — с вызовом сказал Овициата, — она моя.

— Донна Мерседес — моя невеста, — продолжал молодой человек с гневом, — она почти моя жена; я не уеду без нее.

— Собака! — крикнул вождь, вставая с бешенством и ухватившись за топор; но старый вождь, который до этого времени, казалось, не принимал большого участия в том, что происходило перед ним, встал вдруг и заставил Овициата замолчать:

— Замолчи, сын мой, — сказал он дребезжащим голосом, — этот человек свят, как и все то, что принадлежит ему: его жена должна следовать за ним.

— Но эта девушка еще свободна.

— Правда ли это? — спросил старик.

— Нет, — ответил полковник, — она дала мне слово.

— Пусть она едет, — решил Ононтхио, — и да покровительствуют вам обоим Шемиин и Мишабу. Я сказал все.

Сказав эти слова, старик опустился на свое место и, казалось, снова погрузился в свои размышления.

Овициата не смел открыто сопротивляться своему отцу, он знал его влияние на ульменов; с силой притворства, свойственного индейцам, он успел подавить бешенство, кипевшее в его сердце, и спокойным голосом, с бесстрастным лицом и улыбкой на губах он приказал возвратить молодому человеку донну Мерседес и ее кормилицу.

— Хорошо, — сказал Ононтхио, — мой сын справедлив и мудр, он будет великим вождем.

Индейский вождь задрожал от радости при этой незаслуженной похвале; но овладевши собой, сказал:

— Мой брат, дон Дьего, получи обратно твою жену и позабудь о том, что между нами произошло; ты должен извинить меня, потому что я люблю ее.

— Мой брат, извини меня, а ты Мерседес, — добавил он, обратившись к молодой девушке, которую привели, — прости меня, я буду молиться о твоём счастье, сохрани доброе воспоминание о товарище твоего детства; прощай, и как сказал мой отец, да хранят вас Шемиин и Мишабу.

Молодые люди, успокоенные этими словами и по честности своей поверившие, удалились, от души поблагодарив старика и его сына.

Спустя два часа, дон Дьего де Лара, Перикко и прочие испанцы, находившиеся с ними в плену у индейцев, поспешно направились к Санта Роза де лас Андес.

Спустя несколько минут после их отъезда, из кочевья вышел толстяк, которого мы уже видели мельком, и направился по тому же пути.

Его сопровождал Овициата.

Дойдя до границы просеки, они остановились в таком месте, где их никто не мог ни видеть, ни слышать.

— Отправляйся, — сказал Овициата, — то что нам не удалось сегодня, то удастся завтра.

И положив на руку испанца тяжелый замшевый кошелек, наполненный золотым песком, спросил его:

— Могу ли я полагаться на тебя?

— Можешь, — ответил тот, пряча кошелек в свое пончо.

— Будь верен мне, — продолжал вождь. — Если изменишь мне, я жестоко отомщу.

Толстяк кивнул головой и, переговорив между собою шепотом, оба злодея расстались, по-видимому, довольные друг другом. Овициата возвратился в лагерь, а испанец продолжал свой путь к лесу.

Это был человек, по имени дон Жозуе Малягрида. Пятнадцать лет управлял он огромными поместьями тетки донны Мерседес. Подлый скряга, злобный до низости и завистливый, легко сделался слепым орудием в руках Овициата и его шпионом.

Дон Жозуе Малягрида

Наступили первые дни ноября, которые индейцы называют такиука-они (луна козленка).

Стоял один из тех золотых и ясных дней, каких не бывает в нашем холодном климате. Солнце сильно жгло и освещало камешки и песок сада прекрасного дома в городе Санта Роза де лас Андес.

В роще апельсиновых и лимонных деревьев, покрытых цветами, приятное благоухание которых наполняло воздух, в чаще кактусов и алоэ спала молодая женщина, небрежно разметавшись в гамаке из волокон формиума, подвешенном между двумя апельсиновыми деревьями.

Откинутая назад голова, развязанные и в беспорядке рассыпавшиеся по ее груди длинные волосы, слегка полукоралловые губки, сквозь которые была видна ослепительная эмаль ее зубов, Мерседес — потому что это она, спала таким безмятежным сном, была прекрасна; в чертах ее отражалось счастье, слегка нарушаемое страданиями и болями вследствие беременности, близкой уже к разрешению. Она около года была уже замужем и во все это время ни одно облачко не омрачало ясного горизонта ее тихой и спокойной жизни.

Дон Дьего был произведен в генералы и получил высокий пост в чилийской армии. Его уже около двух месяцев не было дома; но в то время, с которого мы начинаем вновь наш рассказ, он уведомил о своем возвращении, и жена с нетерпением ожидала его.

Было уже около полудня; ветер не шелестел даже листьями; солнечные лучи, падая отвесно, до того невыносимо жгли, что все удалившись в сады или в отдаленнейшие покои своих домов, предавались сну. Было время сиесты.

Между тем недалеко оттуда, где, улыбаясь, спала донна Мерседес, раздался шум шагов, сначала чуть заметный, но затем все более и более отчетливый; раздвинулась листва, и сквозь нее показалось толстое лицо и толстейшее тело дона Жозуе Малягрида.

Почтенный управляющий был в широких панталонах из белого холста, в камзоле из той же материи, в соломенной шляпе с широкими полями; лицо его было красное как игония; он сильно потел и дышал как бык.

— Уф! — сказал он, останавливаясь для того, чтобы перевести дыхание, в нескольких шагах от койки донны Мерседес. — Она спит, прелестная сеньора.

И со злобной улыбкой добавил:

— Как жалко будить ее!

Потом, обтерев тонким батистовым платком пот, который лился по его лицу, он продолжал сердито:

— Черт возьми это животное, которое осмелилось назначить мне в подобное время свидание вместо того, чтобы позволить мне спокойно наслаждаться сиестой, как это делает в настоящее время всякий честный человек; я прекрасно знаю, что таким образом мы не рискуем, чтобы нас обеспокоили, потому что все спят теперь, даже и сторожевые собаки; но, несмотря на это — это неприятно. Идем! — сказал он, вздохнувши с сожалением.

И он вышел из беседки, бросив на молодую женщину последний взгляд ненависти и зависти.

Он шел некоторое время осторожно, с трудом пробираясь между деревьями и кустарниками, которые делались все гуще и гуще по мере того, как он подвигался в чаше.

Наконец, дойдя до места настолько отдаленного от дома, что его невозможно было увидеть, он с величайшим вниманием осмотрел все вокруг, но успокоившись тишиной и полнейшим уединением, в котором он очутился, он снял свою шляпу, обтер своим платком лицо; подышав немного, он два или три раза глухо произнес:

«Гм», потом наклонился и удивительно непохоже крикнул пронзительным и диким голосом водяного кобчика.

Подобный же крик отвечал ему тотчас. Легкий шум раздался среди листьев, и ветви кустарника тихонько раздвинулись; сначала показалась голова, потом плечи и наконец все тело индейца, который одним прыжком очутился около толстого управляющего.

— Эх! Мой друг, — сказал Малягрида, — вы скоро ответили на сигнал.

— С самого утра я лежал в высоких травах, — лаконически ответил дикарь, в котором легко можно было узнать техюэля по орлиному перу, которое он носил на своей военной туфе.

— Я не мог прийти раньше, — возразил мажордом, — никто не спал в доме, я ожидал, пока они не заснут.

— Оах! Мой брат благоразумен.

— Благоразумие есть мать безопасности, как говорят; но прежде всего, скажите мне, почему Овициата не явился сам на указанное им место?

— Овициата вождь, его избрали в великие токи техюэлей, с тех пор как отец его Ононтхио отправился на охоту в луга блаженных Эскеннане (индейский рай) с Мишабу (Богом) и праведными воинами.

— Я догадываюсь о том, что вы хотите сказать, но...

— Я брат его! Шунка-Эти (Скачущий Олень), — сказал индеец с гордостью, бесцеремонно перебивая Малягрида, — и чего не может сделать вождь, то сделаю я вместо него.

— Ну, это касается его; итак, чего он желает от меня?

— Овициата спрашивает, почему его белый друг не исполняет своего обещания?

— Карамба! — воскликнул Малягрида. — Потому что мой друг краснокожий не исполняет своего обещания.

— Что обещал мой брат токи великий вождь, чего он не отдал тебе?

— Мешок золотого песка, пардье! Он это знает!

— Вот он!

И индеец, отвязав довольно тяжелый мешок от пояса, бросил его под ноги управляющего. Тот с жадностью схватил его и не мог удержать восклицания радости.

— Наконец-то! — сказал он.

Но индеец, быстро положив руку на мешок, остановил Малягриду в то время, когда тот хотел опустить его в широкий свой карман; мажордом взглянул на техюэльского воина с удивлением.

— Получая, отдают, — сказал Шунка-Эти с иронической улыбкой.

— Это правда, — ответил испанец.

И вынув ключ из своего кармана, он передал его индейцу.

— Оах, — воскликнул тот, — мой брат будет доволен!

В это время смешанные голоса, между которыми слышалось несколько раз повторенное имя Малягриды, раздались у дома и перебили разговор двух злодеев.

Индеец пополз, как змея, и исчез в чаще в то время, как мажордом, встав, направился большими шагами.

Едва оба эти типа, разговор которых мы передали читателю, исчезли, как вдруг между листьями кустарника соседнего от того, в котором они назначили друг другу свидание, показалось лицо Перикко.

— Ох, ох! — сказал он, выпрямляясь и потираясь на разные манеры для восстановления циркуляции крови в утомленных его членах от долгой неподвижности. — Я не в накладе! Эх! Мне пришла прекрасная мысль подстеречь нашего почтенного мажордома; но какие дела могут быть у него с индейцами? Гм! Все это не ясно!.. Ба! Надо потерпеть; но посмотрим, что это за суматоха в доме.

И сказав это, он направился к дому, откуда доносились крики.

Эта суматоха, как назвал ее Перикко, была произведена вследствие непредвиденного прибытия генерала дона Дьего де Лара, который, как только сошел с лошади, бросился в сад на поиски своей жены, а за ним следовали его слуги.

— Сеньора отдыхает в беседке из попалов, — ответил управляющий. — Если ваше превосходительство позволите, я доложу ей о вашем приезде; она будет очень рада!

Но молодой человек не слышал его, он был уже далеко.

Когда он вошел в беседку, жена бросилась в его объятия.

— Мерседес!

— Дьего!

Эти два имени были произнесены разом мужем и женой, и они слились в продолжительном и горячем поцелуе; потом молодой человек, обняв за талию Мерседес, которая нежно склонила голову на его плечо, лаская его взором, с кротостью увел ее в беседку, где они наговорили друг другу множество приятных и нежных слов, которые на всех языках резюмируются и переводятся так: «Я люблю тебя!»

После этого продолжительного излияния чувств, которые уже год были женаты и обожали друг друга также как и в первый день, дон Дьего возвратился в свои покои для того, чтобы переодеться и отдохнуть.

— Ну! Мой добрый Перикко, — сказал молодой человек, входя в спальню, — я очень рад, что вижу тебя.

И он от души пожал руку старого слуги, который со свойственной ему флегмой и ворча, приготавливал необходимые для туалета своего господина принадлежности.

— Право, и я также рад! — ответил Перикко.

— Это правда! — продолжал дон Дьего, бросаясь в кресло. — Мне весьма приятно видеть вас всех, с которыми я так долго не виделся; я привык к вашим добрым лицам, я скучал по вас. Даже и по управляющему, который надоедал мне!

— Неужели вы так дорожите им... вашим управляющим, генерал?

— Что? — спросил тот, оборачиваясь с живостью.

— Я спрашиваю у вас, сильно ли вы дорожите вашим управляющим?

— Я прекрасно слышал твой вопрос, но зачем ты мне задаешь его?

— Ну! Конечно для того, чтобы узнать это.

— По какой же причине я стал бы дорожить им более чем другим?

— В таком случае, слава Богу, потому что вы не затруднитесь прогнать его, не правда ли?

— Ты хочешь, чтобы я прогнал Малягрида?

— Выслушайте меня, ваше превосходительство; мне не хотелось бы, чтобы прогнали его.

— В таком случае, чего же тебе хочется?

— Мне ничего; но только я советую вам прогнать его самим, вот и все.

— Ты сошел с ума, Перикко; это человек, который прослужил семейству моей жены около двадцати лет.

— Это правда; но это несчастье.

— Ты понимаешь, что я не могу прогнать без всякого основания этого честного человека, только потому, что он не нравится тебе.

— Но, — сказал Перикко, захохотав, — это уже основание.

Потом он продолжал серьезно:

— Слушайте ваше превосходительство, поверьте мне, удалите этого человека как можно скорее.

— Но скажи же, за что?

— Я еще не знаю ничего определенного о нем; но только он подозрителен!.. Давно уже я наблюдаю за ним; но сегодня утром, за несколько минут до вашего приезда, я подслушал разговор между ним и индейцем. Я не мог расслышать их разговора, но имя Овициата было произнесено несколько раз.

— Не испугало ли тебя совершенно настоящее обстоятельство? Что же в этом необыкновенного, что мой управляющий разговаривает с индейцем?

— В лесу, в то время когда все спали и с величайшими предосторожностями, опасаясь чтобы их не заметили? Гм! Этого я не понимаю, сознаюсь вам. Делайте, что хотите, ваше превосходительство; но на вашем месте я бы не задумываясь выгнал из дома этого молодца; управляющих можно всегда найти, и вы скоро найдете на его место другого!

— Какой ты подозрительный человек! Если бы я не знал тебя, я счел бы тебя трусом.

— Что делать? Я уже таким родился, и к тому же вы всегда находитесь в отсутствии; сеньора остается здесь одна с несколькими слугами в этом уединенном доме, расположенном почти за городом; на него так легко напасть, и индейцам не привыкать...

— Опять индейцы! — крикнул дон Дьего, вставая и расхаживая по комнате. — Между тем, — продолжал он, помолчав, — ты прав, я обязан обеспечить безопасность моей жены. Сходи за Малягридом; завтра он будет отпущен из дома.

— Почему же не сегодня вечером?

— Успеет и завтра.

— Как знать? — проворчал Перикко, покачивая головой, отправляясь исполнить полученное им приказание.

Несмотря на просьбы и уверения в преданности, Малягрида был уволен и получил приказание на другой же день утром уехать из дома.

Он удалялся задумчиво, не зная, чему приписать это внезапное решение своего господина, как вдруг в коридоре встретился лицом к лицу с Перикко.

— Скажите же, дорогой мой, — сказал тот, положив руку на плечо и смотря ему в глаза, — когда вы увидите великого токи тегюэлей Овициата, поклонитесь ему от меня.

Толстяк подпрыгнул, как будто наступил на змею; лицо его побагровело, и он пролепетал в ответ:

— Я не понимаю вас; что это значит?

— Хорошо! Хорошо! — сказал Перикко.

И он ушел, оставив его растерянного и испуганного.

Наконец, через несколько минут, Малягрида успел овладеть собой и утирая холодный пот, который струился по его лицу, сказал:

— Ночь принадлежит мне!

Дьявольская улыбка скользнула на его тонких губах.

День прошел без происшествий.

Около одиннадцати часов ночи Мерседес и дон Дьего ушли спать.

Перикко же решил, не говоря никому ничего для того, чтобы не беспокоить, не ложиться до тех пор, пока не обойдет усадьбу и не убедится, что все в порядке и что можно спокойно спать.

Взяв свою саблю, пистолеты, ружье и фонарь, он отправился в дозор с двумя громадными ньюфаундлендскими собаками, которые были необыкновенно злобны и которые охраняли ночью дом.

Он тщательно обошел все места, которые показались ему подозрительными. Повсюду царствовало совершеннейшее спокойствие. Тогда он вышел в сад, где осмотрел все закоулки; но ничего не оправдывало его подозрений, и потому он решил вернуться домой с уверенностью, что по крайней мере в эту ночь ничего не случится.

Он шел вдоль каменной стены довольно высокой ограды и подошел уже к квартирам слуг, как вдруг, проходя мимо калитки, которой никогда не отпирали, заметил, что собаки выражали беспокойство, глухо рычали и обнюхивали землю.

— Что это значит? — подумал он.

И затушив свой фонарь, который поставил близ себя, он с трудом усмирив собак, взял по пистолету в обе руки, прислонился к стене и стал ждать.

Через несколько минут, он услышал легкий шум; ключ заскрипел, и дверь отворилась потихоньку.

— А! — шепнул Перикко. — Так вот что этот мерзавец Малягрида продал своему сообщнику.

В это время индеец показал свою отвратительную голову и вышел, с осторожностью озираясь кругом. Не колеблясь, Перикко разmozжил ему череп выстрелом и бросился с собаками на осаждавших.

Произошло страшное смятение; раздались крики, выстрелы и рычание.

Старый слуга, размахивая своим ружьем как кистенем, храбро защищался, подстрекая ньюфаундлендских собак, и немилосердно убивая индейцев, которые напали на него.

Но несмотря на храбрость, Перикко чувствовал, что его оставляют силы; он понимал, что такая неравная борьба не могла продлиться долго и что наконец он погибнет; кровь текла уже из нескольких ран, как вдруг прибыл дон Дьего во главе отряда слуг, которые, подобно ему, были разбужены криками и выстрелами; они поспешно вооружились и бежали со всех сторон на шум.

Это подкрепление спасло Перикко и восстановило равенство в борьбе.

Но индейцев было вчетверо больше испанцев, и несмотря на храбрость, более чем отчаянную, и необыкновенное остервенение, с какими они защищались, казалось, что наконец они погибнут все до одного, как вдруг раздался крик женщины. Перикко, с трудом отбившись от осаждавших его неприятелей, оглянулся вокруг и увидел индейца, который нес на руках бесчувственную женщину, с которой хотел прорваться сквозь толпу и убежать из дома.

Быстрее мысли бросился он на этого человека и, схватив свое ружье за ствол, прикладом раздробил ему череп.

Дикарь упал вместе с женщиной.

В это самое время раздался свисток, и дикари, как бы чудом, удалились с диким воем.

Генерал поспешил немедленно завалить дверь для того, чтобы предупредить новую атаку; зажжены были огни и осмотрено место побоища.

Двадцать трупов валялось на дворе; между ними лежал Овициата с раздробленной головой; но он сохранил еще в чертах своего лица надменное выражение и улыбку беспощадного мщения, которая замерла на губах во время агонии. Дон Дьего, найдя труп ужасного индейца, понял причину, по которой его товарищи трусили в минуту победы и убежали, бросив в испуге своего великого вождя. Погибло также пять испанцев, а Перикко буквально был покрыт ранами; он старался привести в чувство донну Мерседес, которой две ньюфаундлендские собаки лизали лицо.

Дон Дьего, получивший также две легкие раны, бросился к своей жене и с помощью Перикко перенес ее в свои покои.

Долгое время все заботы оставались тщетными, но наконец она тяжело вздохнула, глаза ее полураскрылись, и зашевелились губы, как будто бы она хотела что-то сказать.

Потом она вдруг резко приподнялась, страшно крикнула и, с ужасом смотря на окружавших ее, воскликнула с отчаянием, которого невозможно передать:

— Мой ребенок! Мой ребенок! Отдайте мне моего ребенка!

И упала на свою кровать в страшных конвульсиях.

Мы сказали уже, что донна Мерседес была близка уже к разрешению от бремени; от испуга, охватившего ее при нападении на дом дикарей и борьбы с теми, которые хотели овладеть ей, ускорились роды, и несчастная молодая женщина разрешилась от бремени ребенком, которого она не могла видеть.

Ребенок исчез.

Дон Дьего в отчаянии ломал себе руки, смотря на свою жену, которую боялся потерять, как вдруг раздирающий душу крик заставил вздрогнуть от ужаса тех, которые окружали несчастную мать. Потайная дверь, выходящая на лестницу, с шумом отворилась, и Малягрида — бледный, окровавленный и едва держась на ногах, но крепко прижав к груди ребенка донны Мерседес, преследуемый двумя ньюфаундлендскими собаками, которые бросились на него и начали грызть со страшным воем, скорее скатился, чем упал к кровати, на которой умирала бедная мать.

Воодушевленная этим счастливым появлением, Мерседес бросилась со своей кровати и, быстро подойдя к

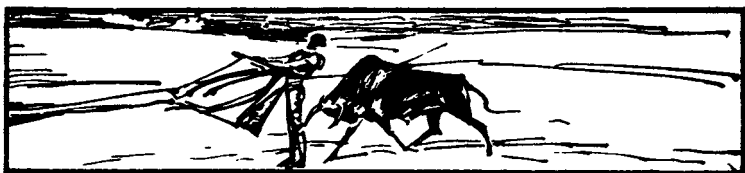
негодяю, который конвульсивно боролся с агонией, с невероятной силой для такого слабого тела она схватила ребенка и, задыхаясь, пала на колени, воскликнув:

— Благодарю тебя, Боже мой! Мой ребенок спасен! Она была спасена.

Когда Перикко и дон Дьего успели после неслыханных усилий освободить управляющего от собак, тело его представляло бесформенную массу сломанных костей и мяса.

Периколя





Воспоминание из путешествия

Во время моего двадцатилетнего путешествия по Америке (хотя некоторые из моих собратьев уверяют, что мои странствования не простирались из Парижа далее Сен-Клу, с одной стороны, и Вири-Шатильон, с другой), я почти постоянно жил с индейцами, пуэльчесами, команчами, сиу и апачами, которые, должен признаться, пренебрегают всем, что относится к искусству.

В связи с этим я вспомнил одно происшествие, о котором расскажу здесь.

Я был в Лиме, столице Перу, в 1840 году.

Лима де лас Рейес была основана конкистадором Пизаром в 1535 году в двух лье от моря, на великолепной равнине. Подобно всем испанским городам, она прекрасно отстроена, улицы широки, правильно проведены, город разделен Римаком на две части. Через эту реку переброшен мост, архитектура которого напоминает архитектуру моста Понт-Неф.

Жители Лимы чрезвычайно добры; ее женщины красивее всех женщин Нового Света. Они прославились этим.

Итак, в ту эпоху, в которую я находился в этом городе, занятия мои были немногосложны. Я вел праздный образ жизни, проводя время в поисках новых приключений.

Однажды я осматривал античный дом, выстроенный из одного только камня, в разрез с перуанскими обычаями, гранитный фундамент которого омывался Римаком.

— Что это за дом? — спросил я у проходившего мимо меня человека.

— Эх! Сеньор, разве вы его не знаете? Это Периколя.

Я не мог ничего более добиться от него. В другой раз я проходил по площади Ачо во время боя быков, на котором особенно отличался один матадор.

К ногам его со всех сторон посыпались букеты, энтузиазм зрителей дошел до крайних пределов. Вдруг одна из зрительниц сняла с себя жемчужное кольцо и бросила его на арену.

— Браво! — неистово закричала публика, аплодируя, не щадя рук. — Браво! Это Периколя.

В один вечер в театре прекрасная и милая, как все андалузки, актриса, пропев великолепную агвидилью с брио и упоительным напевом, исполнила *jota aragonesa* с салеро до того сладострастным голосом, что все зрители пришли в восторг, и оглушительные крики раздались со всех сторон.

— Браво! Она поет и танцует как Периколя.

Это таинственное имя или слово повсюду преследовало меня, упрямо я пытался разузнать что-нибудь о нем, но тщетно.

Прошло несколько месяцев; но я не мог добиться решения этой загадки и начинал уже приходить в отчаяние, но случай или удача помогли мне в этом тогда, когда я этого нисколько не ожидал, оправдав мою настойчивость и удовлетворив мое любопытство.

Вот как это случилось.

Однажды я прогуливался утром под порталами площади Майор, куря превосходное пюро, как вдруг меня отвлек от этого важного занятия многократный звук колокольчика и голоса окружавших меня:

— Ах! Вот Периколя.

— Пардье, — подумал я, — так она здесь, поэтому я увижу ее. В этот раз я успокою себя и узнаю, что это за неуловимая Периколя, которая имеет право более шести месяцев так сильно занимать меня.

Сказано, сделано; схватив свою шляпу, я подошел к старику приятной наружности, который стоял в нескольких шагах от меня, опершись плечом о портал и, поклонившись ему церемонно для того, чтобы снискать его расположение, сказал ему ласково:

— Извините, сеньор, сделайте одолжение, покажите мне Периколя!

— Вот она, сеньор, — сказал он, указав мне пальцем на тяжелую карету XVIII века, покрытую позолотою, ко-

торую везли два белых мула и которая выехала в это время из Саграрио; ее окружали духовенство, певчие и солдаты.

— Как! — воскликнул я с изумлением. — Это карета — Периколя?

— Да, сеньор, — ответил мне старик с плоской улыбкой, — эту карету называют ее именем.

При этом я совершенно растерялся. Загадка эта принимала в моих глазах размеры непроницаемой тайны.

А между тем физиономия старика, которого я расспрашивал, была такая обаятельная, голос так мягок, манеры так вежливы, что я почувствовал себя ободренным к тому, чтобы сделать новое усилие, и после минутного колебания, я снова спросил его:

— Ну странно же называют эту карету! Что заключается драгоценного в ней, что ее везут так торжественно и с конвоем?

— В ней, сеньор, везутся к умирающему Дары.

— Как! — воскликнул я. — Святые Дары в Лиме возят в карете?

— Да, сеньор, — ответил, поклонившись, старик, — так пожелала Периколя.

— Ну хорошо же! — проворчал я про себя. — Опять это же имя.

Через минуту я вновь обратился к старику:

— Я прошу вас извинить мою настойчивость, сеньор, я француз, только что прибывший в этот город, и поэтому не знаю, кто эта Периколя, имя которой произносится повсюду, которая, как кажется, оставила в сердцах жителей Лимы неизгладимое воспоминание.

— Да, действительно неизгладимое, сеньор, потому что она при жизни своей была Провидением для несчастных, и даже после своей смерти она не перестает благодетельствовать. Я с удовольствием расскажу вам о ней.

В нескольких шагах от нас было кафе; мы вошли. Усевшись за столом и приказав подать себе мороженого, я попросил старика исполнить его обещание; он улыбнулся и начал так свой рассказ:

— Сеньор, история, которую вы услышите, весьма обыкновенная; она может иметь только некоторый интерес для моих соотечественников. Но так как вы желаете знать ее, я передам вам ее в нескольких словах.

Около середины XVIII века, то есть в 1740 году, наверное, точнее не вспомню, вице-королем Перу был на-

значен дон Андрес де Рибера. Он прибыл в Перу, не так как его предшественники, для приобретения состояния, потому что сам был очень богат; но из желания пробудить в американских племенах любовь к метрополии или, по крайней мере, предупредить ненависть к ней.

Миссия дона Андреса заключалась в примирении; никто лучше его не мог выполнить ее, потому что он был кастильянец, старинного дворянского рода, отважный, благородный и чрезвычайно умный; у него правосудие было равно для всех, и благодеяния его расточались безразлично испанцам, креолам и индейцам.

Все любили дона Андреса де Рибера; высшие сановники, духовенство упрекали его только в одном; но это обвинение было, как вы увидите, весьма важно.

Дон Андрес был уже в преклонных годах, ему было около шестидесяти пяти лет. Вследствие разных болезней он часто не мог по целым месяцам выходить из своего дворца. Несмотря на это, а быть может и вследствие этого, вице-короля втихомолку обвиняли в безумной страсти к девушке низшего сословия, в том что он совершенно подчинялся ей и исполнял все ее капризы; была ли эта страсть действительною? В этом невозможно было усомниться: эта женщина имела громадное влияние на вице-короля и хотя это влияние проявлялось только в благодеяниях, но зависть дворянства до того была возбуждена, что вице-королю и мнимой фаворитке ставили его в преступление; все приближенные вице-короля боялись и ненавидели ее.

Эта женщина была Периколя.

— Ах! Вот что это значит, — сказал я с радостью.

— Камилия Периколя, — продолжал с улыбкой старик, — была просто актрисой; я не стану описывать вам ее; я этого не могу; гибкая, маленькая, нежная как все девушки Лимы, она имела обворожительную талию. Легкая и живая как птичка, она едва прикасалась земли своей микроскопической ножкой; ее походка, страстно небрежная, имела змеиные изгибы, полная невыразимого очарования, которое свойственно креолкам; несмотря на то, что ей было двадцать лет, она выглядела всего на пятнадцать. Ее большие голубые и задумчивые глаза, обрамленные черными ресницами, бросавшими тень на ее бархатистые и алые как персик щеки; ее маленький ротик с двумя розовыми губками; ее черные как вороново крыло волосы,

все это, вместе взятое, делало ее похожей на ангела, женщину и демона одновременно.

— Одним словом, — воскликнул я с энтузиазмом, — это было идеальное создание.

— Да, — лукаво продолжал старик. — Периколя, была действительно идеальным созданием; истинная крепка, она обладала всеми качествами и пороками ее племени; то вспыльчивая и страстная, как будто в ее жилах текла огненная лава; то скромная и застенчивая, то веселая и бешеная как гитана, она доходила до самых безумных капризов и самых кротких чувств.

Пусть кто хочет объяснит этот, полный неразгаданной таинственности, характер.

Как актриса она обладала необыкновенным талантом; как только она появлялась на сцене, электрическая дрожь пробегала по всем рядам зрителей, которые только и видели ее одну; она исполняла свои роли до того увлекательно, что даже самые пресыщенные люди проливали слезы. В ее ролях субреток веселость ее удваивала, так сказать, смех на губах тех, которых за минуту она доводила до слез.

Когда она пела, ее звучный и мелодический голос производил такие модуляции, что и соловей умер бы от зависти.

Когда она плясала, всеми овладевал энтузиазм, и восторг зрителей был огромен.

Вот какова была Периколя которую все обожали, потому что имея три-четыре миллиона, она употребляла свое богатство для того только, чтобы помогать бедным, которых она умела отыскивать с тактом везде, где бы они ни были.

— Итак, сеньор, — перебил я, — повторяю, что Периколя была ангелом.

— Нет, сеньор, это была женщина и женщина американка, родившаяся на знойной почве, в ее жилах клотала лава вулканов.

Вы, французы, родившиеся в холодной стране, под туманным небом, вы знаете только бледнолицых женщин, и никогда не поймете, что такое женщина юга и насколько упоительны эти внешне столь слабые, а в действительности столь сильные существа.

Я покачивал головой, будучи недовольным столь не лестным для моих соотечественниц сравнением, сделанным стариком; но не желая возбуждать бесполезного

спора, я молчал. Старик продолжал, поглядывая на меня с легкой насмешкой:

— В это время в Лиме, — сказал он, — жил молодой человек двадцати-двадцати пяти лет, мужественной и гордой красоты; он был чрезвычайно богат — это был дон Луи дель Валле. Этот молодой человек любил Периколя; он везде выражал свою страсть самым странным манером и делал невероятные усилия для того, чтобы обратить на себя внимание актрисы.

Она не обращала внимания, отвернулась от него и забыла о нем; но дон Луи не испугался презрения артистки, настаивал с упорством, которое можно было сравнить только с тем упорством, с каким его отталкивала молодая девушка; так что во всем городе дон Луи дель Валле называли влюбленным в Периколя, от чего жестокая комедиантка хохотала до слез.

Молодой человек сходил с ума от горя и, не зная что ему делать, дерзнул однажды остановить Периколя у входа в театр и сказать ей:

— Сеньора, мое сердце сокрушено, я не могу более жить без вашей любви; почему вы, такая добрая ко всем, так жестоки ко мне? Не желаете ли вы моей смерти? Я исполню ваше желание; через три дня вы будете освобождены от докучливости несчастного, который надоедает вам, потому что через три дня меня не станет.

Потом он холодно и почтительно поклонился молодой девушке и быстро удалился.

Периколя побледнела и растерялась при этой непонятной выходке; но вскоре улыбка появилась вновь на ее устах, и легко, подобно птичке, она впорхнула в театральные коридоры.

Она ежедневно видела молодых людей, цветущих здоровьем, которые грозили ей тем, что они лишат себя жизни из-за нее; но веселая девушка не верила тому, чтобы хотя бы один из ее поклонников мог представить ей столь безумное доказательство своей любви. В следующий четверг, то есть спустя два дня после этого, в Лимском соборе должна была происходить большая церемония, к которой был приглашен архиерей всем высшим обществом города и должен был присутствовать вице-король.

Назначено было торжественное крещение Тюпак-Амарю, последнего перуанского инка, столь подло умерщвленного испанцами.

Это крещение было для духовенства величайшим торжеством, которое оно одержало над индейским племенем; поэтому следовало показать при этом всю святость христианской религии.

Объявление об этой церемонии подняло на ноги весь город, пробудило тщеславие и ревность всех; потому что дворянство желало при этом случае ослепить всех блеском своих богатств; креолы желали не отстать от них.

В настоящее время в Лиме весьма мало экипажей; потому что единственная система передвижения, принятая ее жителями — верховая езда; но в то время в ней были только четыре кареты, которыми однако же восхищались изумленные индейцы; эти кареты принадлежали вице-королю, архиерею, президенту аудиенции и наконец старой маркизе, ненавидящей Периколя, донне Антонио де Скаброза; я должен добавить, что последняя карета была так же стара как и ее благородная владетельница; она полуразрушилась от времени и поддерживалась только искусством ремонтников, по это не препятствовало маркизе чрезвычайно гордиться ею и с гордостью кататься в ней почаше.

В самый день этой церемонии, в то время когда вице-король надевал свой парадный мундир для того, чтобы отправиться в собор, он так сильно заболел подагрой, что несмотря на все свое желание присутствовать при церемонии крещения, вынужден был усестись в кресло и сидеть неподвижно.

В это время вошла Периколя; она смеялась и хохотала по привычке.

— О! Ваша светлость, — воскликнула она, — чья это великолепная карета, запряженная двумя белыми мулами, которую я заметила на дворе вашего дворца? Не принадлежит ли она вашей светлости?

— Увы! Да, моя милая, — ответил дон Андрес болезненным голосом.

— Я не знала, что у вас такой прекрасный экипаж.

— Я это знаю, — продолжал он, — его привезли из Испании только третьего дня; вчера его доставили сюда, и я приказал тайно ночью перевезти его сюда в Калао.

— Ну хороши же ваши сюрпризы, других вы не делаете; но теперь, ваша светлость, вы только напрасно выбросили за нее деньги, потому что в таком состоянии, в каком находится ваша светлость, вы не можете сегодня обновить этого великолепного экипажа.

— К несчастью, это совершенная правда, моя милая; но если я не могу обновить этого блестящего экипажа, то это исполнит за меня кто-нибудь другой.

— Ах! — произнесла она, с гневом закусывая губы. — Мне хотелось бы узнать имя той особы, которая имеет счастье пользоваться милостями вашего иятельства?

— Ничего нет легче, моя милая, — ответил вице-король, позвонив.

Появился швейцар.

— Запряжена ли моя новая карета?

— Да, запряжена, ваше сиятельство! — почтительно ответил швейцар.

— Прекрасно, — продолжал вице-король, — скажите кучеру, что он, мулы и карета с этой минуты принадлежат сеньоре Камилии Периколя, которая теперь может располагать ими по своему усмотрению. Ступайте!

— Ах, ваша светлость, — воскликнула актриса, хлопнув весело в ладоши, — неужели действительно вы дадите мне эту великолепную карету?

— Да, моя милая, — ласково ответил дон Андрес, — я очень рад, что вам понравился мой подарок.

— Ваша светлость, вы слишком меня балуете.

— Прекрасно, прекрасно, это не стоит благодарности; напротив, поспешите ехать, потому что скоро начнется церемония, а я желаю, чтобы вы явились на нее как можно приличнее.

Молодая девушка поклонилась вице-королю, который поцеловал ее в лоб, и выбежала из зала.

— В особенности, моя милая, советую тебе вести себя благоразумно, — кричал ей дон Андрес.

— О! Не беспокойтесь, — сказала она исчезая.

Ее выезд из дворца произвел всеобщее волнение, и вскоре собралась толпа посмотреть на нее и весело прокричать ей:

— Браво! Периколя, да здравствует Периколя!

Молодая девушка, упоенная радостью, грациозно раскланивалась налево и направо, как вдруг она увидела тяжелую карету маркизы, в которой величественно восседали ее хозяйка и несколько ее друзей. В голове актрисы тотчас же мелькнула сумасшедшая идея, и она, забыв совет вице-короля, наклонилась к кучеру и шепнула ему несколько слов.

Почтенный автомедон стегнул своих мулов, которые поскакали галопом и понесли так несчастливо, что случайно карета актрисы наскочила на карету маркизы и опрокинула ее вверх колесами.

Через пять минут Периколя вошла в собор и, преклонивши колени, с сокрушением стояла перед балюстрадой хора.

Я не стану рассказывать вам о церемонии. Когда она окончилась, Периколя вышла из церкви и, садясь в экипаж, со злорадством увидела бедную маркизу, которую только теперь слуги успели, с большим трудом освободить из-под обломков ее экипажа.

В то самое время, когда она поворачивала в Каль Меркадерес, большая толпа преградила ей путь, и вскоре послышался колокольчик, впереди появился со Святыми Дарами священник.

Толпа расступилась перед священником и стала на колени по правую и по левую сторону дороги. Актриса также вышла и также преклонила колени со всеми.

Вдруг внезапно отворились двери дома, и из него выбежал бледный и окровавленный человек, который бросился к Периколя и остановился перед нею, размахивая кинжалом.

Молодая девушка вскрикнула от испуга, узнав дону Луи.

— Сеньорита, — воскликнул он слабым и дрожащим голосом, — я сказал вам что через три дня я прекращу свою жизнь, я исполняю мою клятву и умираю; да простит вам Бог!

И не успели удержать его, как он поразил себя кинжалом в сердце и замертво упал к ногам молодой девушки, обагрив кровью ее одежду.

Периколя упала в обморок.

Когда она пришла в себя, благодаря оказанным ей заботам, труп дона Луи лежал в двух шагах от нее.

Она с ужасом вскрикнула и закрыла лицо свое дрожавшими руками.

— Плачьте, дочь моя, — сказал ей чей-то кроткий голос, — милосердие Божие велико. Увы! Вы были невольной причиной смерти этого несчастного молодого человека.

Актриса подняла голову и узнала старого священника, который нес Святые Дары.

— О! Отец мой, — воскликнула она зарыдав, — я виновна; простит ли Бог этого несчастного за самоубийство?

— Я надеюсь, дочь моя; но увы, я стар и несмотря на все мои усилия, я не успел примирить его с Богом.

— Хорошо, батюшка, — ответила актриса со странной решимостью, — подобного случая более не повторится. Сядьте со мной в эту карету и отвезите меня в монастырь кающихся грешниц.

— Прекрасно, дочь моя, я исполню ваше желание; устами вашими говорит сам Бог.

На другой день все жители Лимы узнали с горестным изумлением о том, что их любимая актриса поступила в монастырь, раздав все свое значительное состояние бедным и пожертвовав на богоугодные заведения, в пользу несчастных и завещала, чтобы Святые Дары возились умирающим в ее карете.

Несмотря на все просьбы, которые были сделаны ей, актриса не оставила избранный ею монастырь, в котором она умерла спустя пятьдесят лет.

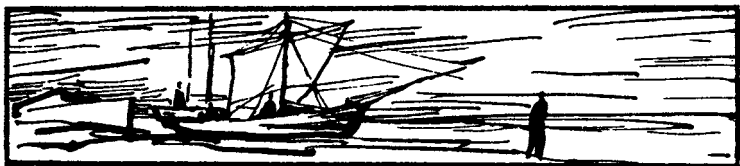
— Вот, сеньор, все то, что я могу рассказать вам о Периколя; я слышал об этом от моего отца, который знал ее в молодости и сохранил о ней самое трогательное воспоминание.

Я поблагодарил старика за его снисходительность, с какой он рассказал мне эту историю, и, заплатив за две порции мороженого, вышел из кафе.

Потом я часто искал его; но уже никогда более не встречал.

Профиль перуанского бандита





ГЛАВА I

Попутчик

В мае месяце 1840 года дела мои вынудили меня немедленно выехать из Вальпараисо, где я прожил уже несколько месяцев, и поспешить в Лиму:

Так как дела эти не терпели отлагательства и я не мог ждать английского парохода, который в это время делал рейсы между Вальпараисо и Мазаланом и заходил во все главные порты берега, я отправился на мексиканской шхуне, которая теперь же отправлялась в Калао. Случай мне благоприятствовал, переезд был непродолжительный, и через несколько дней шхуна бросила якорь на Калаоском рейде.

Я прибыл в порт через столько времени, сколько его потребовалось для того, чтобы добыть лошадь и условиться с арьеро о перевозке моего багажа, которого хотя было и немного; но им нагрузили двух мулов.

От Лимы до Калао около трех лье; это расстояние можно было проехать на лошадях в один час. Теперь там проведена железная дорога.

Я мог бы взять место в дилижансе, который в то время ходил два раза в день; но эти экипажи были неудобны, дурно устроены, ходили весьма медленно и по непонятной причине путешественники, которые в них ездили, всегда теряли дорогой половину своего багажа.

Поэтому я решился, как уже сказал выше, отправиться верхом.

Мне чрезвычайно трудно было найти арьеро; не потому, чтобы их не было в Калао; их в нем было свободных до двадцати пяти или тридцати.

Но в народе распространились зловещие слухи.

На дороге, говорили они, орудовала шайка отважных сальтеадоров, которые грабили и беспощадно убивали всех неосторожных путешественников, которые отваживались одиноко ехать в Лиму. Ежедневно совершались убийства. Дилижансы отправлялись только с конвоем двадцати пяти солдат; часто этот конвой уничтожался бандитами. Самое ужасное в этом деле было то, что в продолжение шести месяцев несмотря на тщательнейшие розыски, полиция не могла схватить ни одного из них, и она выбивалась из сил.

У меня есть та дурная или хорошая сторона, что раз задумав что-либо, я никогда не отступаю; то что я задумал, должно исполниться, каковы бы не были последствия.

Я не испугался рассказов, более или менее преувеличенных страхом, которые мне надоели, и продолжал упорно искать арьеро.

Наконец я нашел его. Правда, я очень дорого заплатил ему, и этот честный человек, как он пренаивно признался мне, не зная, не буду ли я убит или ограблен в пути, потребовал, чтобы я заплатил ему вперед; для того, разумеется, чтобы не потерять заработка за такую отважную экспедицию.

Это замечание было весьма справедливо, и я заплатил.

Он переменял своих мулов, я сел на свою лошадь, и через десять минут мы были уже в дороге.

Я был вооружен с ног до головы и решился силой пробиться сквозь разбойников, если бы они заградили мне путь.

Я хотел дать саблю и ружье моему арьеро; но он отказался и ответил мне насмешливо, подобно всем индейцам:

— Нет, нет, сеньор, пусть защищаются богатые люди; но я беден и на меня не нападут.

Я был спокоен; я знал насколько в случае нападения я мог полагаться на моего попутчика. Я захохотал и не обращал более на это внимания.

Едва мы миновали последние дома Калао, как вдруг за нами послышался громкий крик; я обернулся и увидел

всадника, который мчался к нам во весь опор, делая нам знак, чтобы мы остановились.

— Поедем скорее, сеньор, — крикнул мой арьеро, подходя ко мне.

— Глупый! — ответил я ему. — Разве ты не видишь, что этот всадник один? Осмелятся ли они напасть на нас вблизи порта?

— Квиен сабе? Как знать? — шепнул он, покачивая головой.

— Ну, остановись, и спросим, чего хочет от нас этот кабальеро.

Я остановил лошадь, и арьеро сделал то же, ворча себе под нос.

Я рассматривал всадника, который мчался к нам, это был молодой человек лет не более двадцати пяти; черты его лица были красивы и выразительны; большой нос, широкий лоб, пронизательный взор и насмешливая улыбка составляли физиономию, в который ничего не было вульгарного; он был высок и строен, жесты его были изящны; на нем был богатый и со вкусом сшитый костюм. Он хорошо сидел в седле и чрезвычайно грациозно управлял великолепной лошадью, черной как вороново крыло, которая по-видимому была очень высокой цены.

Я припомнил, что я видел эту личность два или три раза в фонде, в которой я останавливался и даже разговаривал с ним.

— Извините меня, кабальеро, — сказал он мне, весело поклонившись и останавливая свою лошадь, поравнявшись со мною, — за то, что я позволяю себе остановить вас в пути; не более четверти часа, как я узнал о вашем намерении отправиться в Лиму и так как чрезвычайно важные дела вызывают меня в город сегодня, я вам откровенно предлагаю принять меня своим попутчиком.

— Я принимаю ваше предложение также откровенно, как откровенно вы делаете его мне, сеньор, — ответил я, — и мне будет очень приятно проехать этот путь в вашем обществе.

— Ну, так это дело кончено, мы можем отправиться в путь.

И мы пустили лошадей вскачь, и наше путешествие продолжалось.

Путешествие

Знакомство быстро завязывается между мужчинами ровесниками; моему новому товарищу и мне, нам обоим не было и пятидесяти лет.

Между нами завязалась живая беседа и не проехали мы и десяти минут вместе, как уже мы знали один о другом все, что мы могли знать.

Дон Дьего Рамирез, так назывался молодой человек, был сын богатого гачиандеро в окрестностях Лимы. Как единственный сын он был воспитан своим отцом, который обожал его. Год или два он служил офицером в Перуанской армии; но строгая дисциплина скоро надоела ему; он вышел в отставку для того, чтобы заняться оптовой торговлей.

В то время он ухаживал за прелестной молодой девушкой в Лиме, по имени донна Круз де Табоада, на которой хотел жениться. И теперь, с целью ускорить приготовления к свадьбе, он, несмотря на предупреждения, что дороги были не безопасны, решился присоединиться ко мне, чтобы скорее прибыть в Лиму.

— Ах!.. — сказал я ему, заметив только тогда, что он не был вооружен. — Чем станете вы защищаться в случае, ежели нас атакуют?

— Ба! — ответил он мне, улыбаясь. — Разве здесь есть разбойники? Неужели вы боитесь их, дон Густаво?

— Конечно, я боюсь их, — ответил я, — но видите ли вы, когда понадобится, — добавил я, показывая свое оружие, — я могу им ответить.

— Как, вы станете защищаться?

— Я думаю, — возразил я.

— А если они убьют вас?

— Не думаю! — сказал я. — Ваши перуанские разбойники, я убежден в этом, не так жестоки, как хотят казаться. Я видел и не таких; но я еще жив.

Дон Дьего бросил на меня странный взор и промолчал.

Спустя пять минут, мы прибыли в довольно бедную корчму, которую туземцы называют Легуа, то есть место, потому что она находится на полпути из Калао в Лиму.

Эта корчма пользовалась здесь, справедливо или нет, пресквернейшей репутацией, которую ее положение близ густого леса несколько оправдывало.

На опушке этого пресловутого леса, служившего неприступным убежищем для бандитов, по рассказам, останавливали и убивали путешественников.

Очевидно было, что хозяин этой корчмы был в сговоре с сальтеадорами. Этот человек был хитрый и пронырливый индеец, который до сих пор умел так хорошо принимать все меры предосторожности, что несмотря на то, что полиция знала об этом сговоре, ей никогда не удавалось уличить его, и она поневоле должна была оставлять его на свободе.

Подъехав к корчме, дон Дьего, остановив свою лошадь, соскочил с нее и весело сказал мне:

— В ожидании, пока нас не зарежут, недурно было бы выпить чего-нибудь, как вы думаете?

С этим я не мог не согласиться. Я также сошел с лошади и вошел в корчму с притворным спокойствием, в сущности же, сознаюсь, я сильно трусил.

— Держи лошадей, плут, — грубо сказал дон Дьего арьеро, который подошел ко мне и хотел что-то сказать.

Бедняга потупил голову с испугом и остался на дворе.

Внутренность трактира отвечала внешности и действительно походила на притон.

В темной и низкой зале, за хромыми столами, сидело семь или восемь человек подозрительной наружности, попивая водку, они ругались как язычники и играли в монте; но на столе перед ними ничего не лежало.

Когда мы вошли, они украдкой оглядели нас, что мне показалось очень дурным предзнаменованием.

Я должен сознаться, что тогда горько раскаивался в своей неосторожности, с какой бросился один в этот притон.

Но отступать уже было невозможно; надо было взять смелостью; я так и поступил.

В то время, как дон Дьего приказывал трактирщику подать нам два стакана водки, я свернул сигаретку и подошел к игроку, у которого попросил огня.

Этот человек поднял голову с удивлением и некоторое время всматривался в меня, как будто не понял моей просьбы. Наконец он решился вынуть из своего рта сигару и подать ее мне.

Я спокойно закурил свою сигаретку и возвратился к моему попутчику.

— Ну! — сказал я дон Дьего, остановив его в то время, когда он хотел выпить. — У нас во Франции так водится, что когда мы пьем с человеком, которого мы уважаем, то мы чокаемся своим стаканом об его стакан и пьем за его здоровье; это вроде освящения дружбы, которую мы питаем к нему.

— Не хотите ли вы, любезный дон Дьего, — продолжал я, протягивая свой кубок, — выполнить этот обычай моей родины?

Молодой перуанец слегка покраснел; но тотчас же опомнился.

— Хорошо, — сказал он, чокнувшись своим стаканом об мой, — за ваше здоровье, дон Густаво.

— За ваше здоровье, дон Дьего! — ответил я.

И я опорожнил свой стакан.

Когда я оборотился, игроки исчезли; они вышли так тихо, что я не заметил.

— Теперь, — сказал молодой человек, — мы можем, мне кажется, продолжать наш путь.

— Как вам угодно, — ответил я, бросив два реала на стойку.

Несмотря на все уверения и насмешки дона Дьего, я проехал через лес, держа в руках пистолеты на всякий случай.

Между тем, несмотря на то, что я слышал в чаще таинственный шорох, ничто не подтверждало моих опасений, и это весьма подозрительное место я проехал беспрепятственно.

Через четверть часа мы подъехали к триумфальным воротам города Лимы.

— Тут мы расстанемся, — сказал мне дон Дьего, — благодарю вас кабальеро за вашу приятную компанию во время этого короткого переезда.

Потом он добавил с насмешливой улыбкой.

— Я теперь надеюсь, что вы не верите этой нелепой сказке о разбойниках, которой вам забили голову в Калао.

— Правда, что я не видал их; но из этого еще не следует, чтобы почтенных бандитов, о которых мне так много рассказывали, не было, — ответил я, засмеявшись. — Как знать, не были ли они заняты где-нибудь в другом месте?

— Может быть.

— Я надеюсь, — сказал он, — что я буду иметь удовольствие видеть вас скоро у дона Антонио де Табоада, на которого, как мне известно, у вас есть векселя. Вы увидите его дочь донну Круз, это ангел!

И не дожидаясь моего ответа, он поклонился мне, пришпорил свою лошадь, пустился рысью и вскоре исчез в городе.

ГЛАВА III

Лима

Последние слова моего попутчика сильно заинтересовали меня; я рассказывал ему только поверхностно о моих делах и прекрасно помнил, что не сказал ни слова о векселях на большие суммы, которые были у меня на банкира Табоада. Откуда узнал он об этом?

Его внезапный отъезд и почти угрожающий взгляд, который он бросил на моего арьеро при расставании со мной, сильно пробудили мое любопытство.

Тщетно расспрашивал я своего арьеро; этот честный человек со времени нашей встречи с доном Дьего по выезде из Калао буквально сделался глухим и немым. На все мои вопросы он только покачивал головой, с испугом осматриваясь вокруг и дрожа всем телом; я не мог ничего добиться от него.

Потеряв надежду получить от него желаемые сведения, я поспешил отпустить его по прибытии в Колле Меркадес в фонду Копулы, где я обыкновенно останавливался во время моих поездок в Лиму.

Дела, призывавшие меня в древнюю резиденцию Пизарро, были, повторяю, очень важны; они заняли меня в продолжение нескольких дней.

Я часто бывал у дона Антонио де Табоада и был счастлив видеть дочь его донну Круз.

Портрет ее, сделанный мне доном Дьего, был гораздо хуже оригинала. Это действительно была красавица — девушка, не более пятнадцати лет; я вполне понимал, что она должна была внушить столь же

сильную страсть, какую этот молодой человек питал к ней.

Торговые отношения, поддерживаемые в продолжение многих лет, упрочили между мной и доном Антонио де Табоада откровенную и неразрывную дружбу; я бывал у него почти ежедневно, часто он оставлял меня завтракать или обедать у себя; наконец я был принят у него как свой.

Мое положение в этом доме позволяло мне узнать характер молодой девушки; я часто разговаривал с нею.

Характер ее был ангельской кротости; она более походила на ребенка, чем на молодую девушку. А между тем я легко мог заметить сильную любовь, которую она питала к дону Дьего Рамирезу.

Эта целомудренная любовь была также чиста как любовь ангела; она была полна самоотвержения и преданности молодой девушки. Любил ли ее так же молодой человек? Не знаю; во когда донна Круз говорила о нем, то чувствовалось по вибрациям ее голоса, по блеску ее прекрасных глаз и румянцу ее щек, что в этой любви она видела все свои радости и надежды жизни.

Я рассказал донне Круз о странной своей встрече с ее женихом, о том как мы ехали вместе из Калао в Лиму и нашей внезапной разлуке у городских ворот.

Молодая девушка слушала меня с величайшим вниманием; потом она ответила мне дрожащим от волнения голосом:

— Ох! Это истинный кабальеро; любите ли вы его, дон Густаво?

Как я узнал, дон Дьего весьма часто теперь приезжал к своей невесте, потому что их свадьба приближалась.

Странно, но мы никогда не встречались у дона Антонио де Табоада; он всегда уходил, как только я приходил или возвращался через несколько минут после меня.

Это заинтриговало меня и еще более усилило мое любопытство.

К тому же, хотя я и имел в Лиме обширные знакомства, но слышал о доне Дьего только от одной донны Круз.

Он казалось обладал шапкой-невидимкой; никто не мог ничего сказать мне о нем.

А между тем бандиты продолжали свои операции с энергией, которая ежедневно усиливалась; не довольствуясь уже разбоями на большой дороге, они начали делать набеги в город.

Каждое утро извещали о новых убийствах, производившихся с беспримерной дерзостью и варварскими утонченными жестокостями, почти у дверей дворца президента и на глазах полиции.

Все народонаселение было приведено в ужас. Никто не осмеливался выходить без оружия как ночью, так и днем.

Сильные патрули расхаживали по улицам от восхода солнца, и, несмотря на эти предосторожности, каждую ночь находили два или три трупа.

Дела дошли до того, что город стал походить на осажденную крепость.

Коммерческие дела почти совершенно прекратились. Лавки и магазины опустели.

Правительство, желая сохранить лицо, приказало произвести несколько ужасных казней; но ничего не помогало: грабежи и убийства продолжались.

Уже около месяца я находился в Лиме; дела мои были почти окончены; но не желая глупо погибнуть в пути, я не решался ехать один и выжидал благоприятного случая для того, чтобы возвратиться в Калао.

Однажды утром, в то время как я одиноко завтракал в зале фонда Копула, читая рассказ о новом преступлении, вошел слуга и подал мне письмо.

Это письмо было от дона Антонио де Табоада, он уведомлял меня о своем возвращении в тот же вечер из шакры, которая у него была в окрестностях Лимы, и в которой он находился уже несколько дней; он приглашал меня на следующий день к себе к десяти часам дня для того, чтобы присутствовать при венчании его дочери.

— Каково, — воскликнул я, прочитав письмо, — в этот раз я увижу наконец этого невидимку дона Дьего Рамирез. Будет же он наконец под венцом, — думал я, — или нет?

Но мне было суждено встретиться с ним раньше, как это увидит читатель.

Прогулка

Перуанские шакры — фермы, на которых разводят скот, по своей величине не имеют ничего подобного себе в Европе.

На обширных прилегающих к ним полях они возделывают маис, канноты, уку, картофель, альфальфу, наконец все хлебные растения, которые в великолепном климате Перу родятся без обработки.

Огромные стада овец, быков и коз смиренно пасутся на обширных лугах.

Шакра дона Антонио де Табоада называлась Буэна Виста; она находилась от Лимы только в трех-четыре часа по дороге в Хуачо.

Несколько раз приглашал меня дон Антонио посетить его шакру и провести в ней дня два, и я дал ему обещание; к несчастью, занятия мои не дали мне осуществить этот проект.

По прочтении письма дона Антонио, мне пришла в голову странная фантазия: я решился сделать ему сюрприз, отправившись в его шакру с тем, чтобы возвратиться с ним в город. Я знал, что этим я доставлю ему удовольствие; никакое серьезное занятие не удерживало меня в Лиме, потому что дела мои почти все были окончены, я решился выполнить этот проект и заранее наслаждался тем удивлением, какое произведет на дону Антонио и его дочь мой неожиданный приезд.

Мои приготовления скоро были окончены. Я оседлал сам свою лошадь; но так как мне вовсе не хотелось быть

убитым во время моей поездки бандитами, занявшими все дороги, я захватил с собой пару пистолетов и вложил их в чушки моего седла; вторую пару я привязал к поясу, прикрыв их своим пончо; я взял еще с собой длинный прямой нож, двустволку и, вооружившись таким образом, сел на лошадь и пустился в путь.

Было уже около полудня; я рассчитал, что мог, не торопясь, приехать к трем часам в Буэна Виста. Это была прекрасная прогулка.

У моста на Римаке я встретил всадника, который подъехал ко мне, хохоча.

Этот всадник был француз, с которым я давно уже был знаком; это был молодец геркулесовского роста и силы; он прежде служил в карабинерах. Подобно всем, он отправился в Америку искать счастья и открыл кузницу на углу улиц Кале Плятерос и Кале Сан-Августин.

— Эй, дружище! — сказал он мне, хохоча. — Не отправляетесь ли вы на войну?

— Почему это? — ответил я ему.

— Ну потому, не в обиду будь вам сказано, вы везете с собой целый арсенал.

— Я еду не на войну, это правда, — ответил я, — я еду в деревню и сознаюсь вам откровенно, что мне не было бы приятно, если бы меня зарезали эти мошенники, которые заняли теперь все дороги.

— Черт возьми! Я это знаю; а далеко ли вы держите путь?

— Недалеко: я еду в шакру Антонио де Табоада.

— Ах! — воскликнул он весело. — Вот так прекрасная мысль.

— Почему же?

— Потому что, если вы согласитесь, я отправлюсь с вами.

— Ба!..

— Действительно, у меня давно уже есть расчет с управляющим дона Антонио и так как вы едете в Буэна Виста, я воспользуюсь этим обстоятельством и отправлюсь туда с вами для окончания дела.

— Хорошо! Но я уже в дороге.

— Я прошу у вас только десять минут для того, чтобы переменить мою лошадь и захватить с собой мое оружие.

— Э! — сказал я, засмеявшись, — кажется, что и вы не желаете быть зарезанным.

— Пардье! — сказал он тем же тоном. — Это дело решенное?

— Совершенно!

При этом Петр Дюран, так звали карабинера, пустился галопом к plaza Major и вскоре исчез.

Я поехал шагом и покорно сознаюсь, что обрадовался случаю, доставившему мне попутчика.

Петр Дюран был храбр и силен как атлет; он мог, при случае, справиться с тремя.

Он сдержал данное мне слово и догнал меня в то время, когда я был у заставы.

Не знаю, не испугались ли бандиты его воинственного вида; но во время нашего двухчасового переезда в Буэна Виста все люди, которые попадались нам по пути, чрезвычайно вежливо кланялись нам и не обнаруживали нам ничего враждебного.

— Ну, — сказал я своему попутчику в то время, когда строения шакры были у нас перед носом, — мне не везет, я много слышу о разбойниках, но не вижу их.

— Ба! — ответил он мне, смеясь. — Не увидим ли мы их здесь!

Перст Божий

Вероятно управляющий обходил окрестности шакры, потому что мы увидали его издалека. Он поспешил к нам навстречу и с горячностью, свойственной южным народам, приветствовал нас, изъявляя свою радость. Он закончил тем, что спросил нас о цели нашего приезда и не желаем ли мы отдохнуть в Буэна Виста. Я ответил ему от имени моего спутника и от моего собственного, что я тем более рассчитывал отдохнуть в Буэна Виста, что нарочно приехал в эту шакру.

При этом известии лицо почтенного управляющего приняло выражение крайнего недоумения.

— Неужели это вам неприятно? — спросил я у него.

— Мне!.. — ответил он мне. — Почему же?

— Но в таком случае, — сказал я ему, — почему вы так изумились, узнав, что мы хотим остаться здесь?

— Потому, — ответил он мне, — что вы никого не найдете в шакре.

— Как, разве в шакре никого нет? — спросил я с изумлением. — Я получил сегодня письмо от дона Антонио!

— Я верю вам; но вчера вечером дон Антонио был еще здесь.

— А где же он теперь?

— Моему госпону захотелось до возвращения в город посетить сеньора дона Ремиго де Тальвез, и сегодня утром дон Антонио с дочерью уехали завтракать в шакру дель Пало-Верде, где они намерены пробыть весь день, а может быть и ночь.

— Каково! — воскликнул я. — Я вынужден сознаться, что мне не везет и что этот визит дона Антонио расстроил все мои планы.

— Несмотря на это, войдите в шакру отдохнуть, — вежливо сказал мне управляющий. — Вы сделали длинный переезд, ваши лошади утомились, и сами вы нуждаетесь в отдыхе; войдите же.

Я недолго заставлял просить себя и вошел в шакру, следуя за Петром Дюраном, который во время всего этого разговора делал ужасные гримасы, не произнося ни одного слова.

Пообедав с волчьим аппетитом, я расспросил управляющего, где находится Пало-Верде и далеко ли оно от шакры Буэна Виста.

— Дорогу отыскать нетрудно, — ответил он мне, — и на хороших лошадях можно доехать за три часа.

Этот ответ заставил меня призадуматься. Отправившись из Лимы с единственной целью сделать сюрприз дону Антонио, я не знаю почему, хотя мне нечего было сообщать ему, сильно захотел увидаться с ним. Это желание было так сильно, что я тотчас же решился и, обратившись к управляющему, я попросил у него, чтобы он провел нас до Пало-Верде.

— А ты поедешь с нами, Петр? — спросил я у карабинера.

— Охотно! — ответил он мне. — Об этом нечего и спрашивать! Неужели вы думаете, что я останусь здесь один?

— Теперь половина пятого, — продолжал я, — мы приедем в Пало-Верде к ужину. Я хорошо знаю дона Ремиго де Тальвез и мы можем приехать к нему просто; к тому же, — добавил я, засмеявшись, — ежели нас примут дурно, мы уедем, вот и все.

Управляющий не сделал ни малейшего возражения и совершенно мне подчинился, он был любезен до того, что приказал нам оседлать свежих лошадей.

Пробило пять часов, когда мы выехали из Буэна Виста.

Управляющий, провожавший нас, походил на Геркулеса; ему было около 40 лет и он сильно был предан своему господину, в доме которого родился.

Мы ехали крупной рысью, весело разговаривая между собой и останавливались иногда у кабаков, которые попадались нам на дороге, будто бы для того, чтобы

закурить сигары, но в сущности для того, чтобы выпить или куи де шика*, или траго д'агвардиенте де писко.

Нас захватила ночь на половине дороги от шакры; но это не тревожило нас; погода была великолепная, проводник наш знал прекрасно дорогу, в сущности это была прекрасная прогулка.

А между тем, чем более мы продвигались вперед, тем более я чувствовал грусть, какое-то предчувствие сжимало мое сердце, моя сильная веселость при отъезде превратилась в печаль.

Несколько времени мы ехали молча, погоняя наших лошадей без всякой надобности.

Вдруг я остановился; странный шум долетел до нас.

— Что с вами? — спросил меня Петр.

— Разве вы не слышали? — ответил я ему.

Мои попутчики стали прислушиваться; шум повторился опять.

— Ну что же? — воскликнул я.

— Там что-то происходит, — воскликнул управляющий, сойдя с лошади, — и что бы там ни было, мы отправимся туда!

Он лег на землю и пролежал неподвижно минуты две.

Вдруг он поднялся и, вскочив в седло, воскликнул:

— Скорее! Скорее! Шакру атакуют.

— Что вы слышали? — спросил я у него.

— Атакуют шакру, говорю вам. Теперь все ясно для меня. Дом окружен многочисленным отрядом кавалеристов, как это доказывает долетевший до меня топот.

— Что делать? — шепнул я. — Нас всего трое.

— Да, — воскликнул Петр, — но мы люди храбрые и мы не позволим перерезать наших друзей и поможем им.

— Ну, так вперед же и да хранит нас Бог! — ответил я. — Потому что я надеюсь, что нам придется сразиться!

Мы понеслись во весь опор к шакре.

По мере того, как мы приближались, шум становился яснее. Он вскоре принял размеры истинной битвы; злобный свет постоянно рассекал мрак. слышалась сильная перестрелка, бешеные крики и стоны.

Когда повернули по тропинке, ведущей к шакре, нас вдруг остановило ужасное зрелище.

* Пиво из майса.

Шакра де Пало-Верде окружена была со всех сторон пламенем; зловещие фигуры бегали вокруг здания, обжигая пламенем, и старались проникнуть в дом, который хозяин со слугами храбро защищали.

Но приближалось уже время, когда всякое сопротивление становилось невозможным и несмотря на их героическую защиту, жители шакры принуждены будут сдаться.

Нельзя было тратить более ни одной минуты, а следовало скорее помочь осажденным.

Не разговаривая, мои спутники и я, мы поняли друг друга.

Каждый из нас подтянул узду, взял ее в зубы, взял по пистолету в каждую руку и бросился на бандитов.

Эта непредвиденная атака произвела истинную панику среди ослабевших уже от упорного сопротивления бандитов, которое они встретили со стороны дона Ремиго и его людей, так как мы узнали позже, что налетчики полагали, что дон Ремиго не было дома; они вообразили, что справятся с его слугами, но их расчет вдвойне не удался: не только дон Ремиго был дома; но еще в этот день к нему приехал дон Антонио де Табоада и не только он оказал ему помощь; но еще и слуги, сопровождавшие его, много помогли ему.

Бандитам показалось, что их атаковала превосходящая сила; они начали действовать слабее и наконец все разбежались и так быстро, что мы не успели захватить ни одного из них. К тому же они вычернили себе лицо, вероятно для того, чтобы их не узнали в чем они имели полный успех.

Вдруг в отдаленном покое раздался крик и за ним немедленно последовал выстрел.

— Боже мой! — воскликнул дон Ремиго. — Что там еще случилось?

— Это здесь, в покоях моей дочери, — воскликнул дон Антонио, бросаясь по направлению, куда ему указывали.

За ним последовали все.

Дверь комнаты отворилась, мы вошли, и ужасное зрелище представилось нашим глазам.

Донна Круз держала в руке еще дымившийся пистолет и стояла на коленях у трупа человека, лежавшего на земле и которому она что-то быстро говорила.

Когда она увидела нас, она обратилась к нам и захохотала как сумасшедшая.

— Войдите сеньоры, — сказала она, — бандиты побеждены; они хотели похитить меня; но мой жених защитит меня; смотрите на него, он спит... не разбудите его.

По инстинктивному движению я невольно бросился к трупу и сдернул с него черный креп, закрывавший его лицо.

Тогда я отступил, вскрикнув от ужаса... я узнал дон Дьего Рамиреза.

Донна Круз сошла с ума!.. И никогда более она не выздоравливала.

Спустя три месяца после этого ужасного события, молодая девушка умерла в объятиях своего безутешного отца.

Но никто не мог узнать, каким образом дон Дьего пробрался в спальню молодой девушки, потому что на-верное не знал о ее приезде в шакру и убил ли он сам себя от отчаяния или убила его сама молодая девушка в первом движении ужаса.

Позже выяснилось, что дон Дьего Рамирез был атаманом шайки неуловимых бандитов, которые долго хозяйничали в окрестностях Лимы и в самом городе.

Я не удивлялся более удачливости, с какой я совершил мое первое путешествие из Калао в Лиму в сопровождении этого почтенного кабальеро и понял, почему мой арьеро, вероятно более меня знавший тайную историю моего попутчика, так сильно испугался при виде его.

Жизнь и книги Гюстава Эмара

«Свобода необходима мне, как воздух необходим для людей», — писал Гюстав Эмар уже на склоне лет в своих очерках «Новая Бразилия». Он был, кажется, счастливым человеком, этот «вольный стрелок» моря и прерии. Он знал, что такое свобода. «Простор, беспредельная ширь и даль синего океана, пустыня и яркое солнце...» Та самая свобода открытых пространств, что вызывает в иных душах боязнь. Свобода путешествовать и заражать этой страстью других. «Назад к природе» — лозунг, сорвавшийся с губ измученного Руссо, был претворен Эмаром в плоть и кровь странствований. И еще свобода — бесшабашное творчество, простирающееся до откровенных заимствований и автоплагиата.

Свобода в кавычках, сморщенная беспринципностью? Да нет, пожалуй. Ибо читая романы Эмара, вдруг испытываешь особенное чувство, которое лишь иногда, изредка гостит в сердце. Как будто глядишь на синеющий лес и слышишь тишину, которая горит над ним. И это чувство внутреннего покоя, разъятое от края и до края горизонта, способен внушить только автор, чье существо действительно свободно. Боже мой, как просто обрести свободу. Достаточно не думать о ней, но жить, действовать, любить... Эмар учит этому. Да простит нам досужий читатель лиризм вступления нашего.

Приключенческий роман — жанр, в котором подвизался Гюстав Эмар, системно складывается к середине 19-го века. Мотив приключения приобретает здесь доми-

нирующий характер; все остальные мотивации периферийны и заняты лишь как художественная декорация сюжета. Становление жанра было вызвано, по крайней мере, тремя причинами. Во-первых, ускоренным развитием в девятнадцатом веке исторических, гео- и этнографических и уже с ними исследований и их широкая популяризация. Во-вторых, интенсивные колониальные войны, которые вели государства Европы, в особенности Англия и Франция, сформировали в читающей публике стремление узнать, где и с кем сражаются их соотечественники; приключенческая литература в данном случае обеспечивала необходимый информационный фон злободневности. Третья причина — переходящая во внутреннюю, укорененную в психике, обретающая имманентный характер в историческом совершении человека. Девятнадцатый век принес с собой урбанизацию с ее изматывающе-интенсивным темпом жизни, — явление, входящее как часть в другой, более тотальный процесс. Мы имеем в виду все возрастающий уровень технотронной цивилизованности, специфически запечатлевающий себя в жизни каждого. Человек все более обременен напряженной работой, множеством социальных функций и почти ритуальных долженствований. Необходимость переходить на зеленый свет — условность, сохраняющая тебе жизнь. Необходимость жить — тоже условность, перст, указующий в направлении смерти. Мир «мелочей, прекрасных и воздушных», мир барокко, рококо и просветленного классицизма распался в девятнадцатом веке на ряд условностей, жестких и будничных, как земля, по которой мы ползаем. И этот круг бытия, длящийся до сих пор, серый, как чистилища «Розы мира», рано или поздно наскучивает каждому, даже самому преуспевающему в нем. И каждый ищет вырваться из него, медленно исчезая в скучевающем пространстве. Поиск субъективной реальности, совлекающей человека — хотя бы временно, отчасти, — с колеса материального мира, превратился в своеобразную пандемию человечества. И приключенческая литература, среди прочих развлекательных литератур, дает возможность обретения этой тонкой реальности. Здесь, на наш взгляд, существеннейшая причина ее стабильного, почти двухвекового успеха у читателя.

Кроме того, у приключенческой литературы есть еще одно объективное достоинство: никогда не знаешь, что

там, впереди, за следующим поворотом действия. Познавательный интерес — пчела, сосущая сердце человека, основной инстинкт ума его, таким образом раздражается, стимулируется и восполняется. И Гюставу Эмару зачастую удавалось построить сюжет динамичный, взрывной, непредсказуемый, т.е. такой сюжет, который приключенческая литература полагает для себя, как цель.

Могучие тигреро, идеально-благородные (или идеально-злые — *ad hoc*) индейские вожди, негры, стремящиеся к свободе, кроткие и воинственные европейцы-путешественники — все эти герои Эмара оживают в нас, когда мы читаем о них. Но и мы, читая о них, оживаем ими. И здесь, в противодвижении, рождается тонкая, подвижная, фосфоресцирующая связь — между читателем, парящим над радужной тканью текста, и героями, просвечивающими сквозь эту ткань. Эта связь, едва уловимая словесно, увлекает нас в иной, очарованный приключением мир. И для достижения такой связи нет необходимости в интеллектуальном или духовном усилии; она возникает сама собой, при чтении. Достаточно открыть любой роман Эмара, коснуться взглядом поверхности текста, ощутить внутренним зрением его многокрасочный движущийся рельеф — и попадаешь в другой мир, в другое измерение. Еще один плюс приключенческой литературы — субъективная реальность, свернутая в ней, общедоступна, так сказать, удобоварима.

И чем выше мастерство автора, тем сильнее и изысканнее ощущения инобытия, предлагаемые им читателю. Возможно, в плане художественном, Эмар уступал его более одаренным предшественникам. Но все же свой мир путешествий и приключений он создавать умел и мог.

Гюстав Эмар (1818—1883) прожил жизнь, биографическая канва которой могла бы послужить сюжетом одного, самого обширного из его романов. По натуре своей пассионарный, впечатлительный и легкий на подъем, он стал поистине свидетелем своего века с его полными энтузиазма исследовательскими экспедициями, колонизаторскими рейдами с их «веселой жестокостью» в духе Жоржа Дюруа, чехардой монархий и республик и внутриевропейскими военными авантюрами. В возрасте девяти (первая глава очерков «Новая Бразилия», написанная в автобиографической манере) или двенадцати лет (Энциклопедия «Britanica») он нанимается юнгой — понача-

лу на каботажное судно, а через некоторое время — на оснащенный для дальнего плавания корабль.

Противоречие в датах объясняется, вероятно тем, что сам Гюстав Эмар никогда не был пристрастным фактологом, и, живописуя жизнь своих героев, вряд ли избежал соблазна несколько приукрасить собственную. Достоверно, впрочем, известно, что за время морской службы Эмар побывал в Испании, Турции, на Кавказе, в Африке, в Северной и наконец, в Южной Америке (Мексика), где и остался надолго. По его словам, участвовал в Кавказской войне, но в этом нельзя не усомниться. В русской Армии осуществлялся принцип регулярного набора; добровольцев в ней не было. Тем более не могло быть случайных волонтеров в горских войсках — по существу родоплеменных формированиях, сплоченных идеей джихада. Возможно, речь идет о каком-то косвенном, эпизодическом участии. Или Гюстав Эмар имел в виду русско-турецкую войну 1828—29 годов, свидетелем которой был? Или это все же мистификация, еще одна в длинном ряду мистификаций Эмара? Романтик душой, он был врагом некоторых условностей. Есть люди, для которых фактическая правда и правдоподобие вымысла суть одно и то же. Эмар принадлежал к их числу. Пространствовав четыре с лишним года, Эмар впервые ступил на землю Южной Америки. «Какое-то инстинктивное, непреодолимое чувство влекло меня к этой стране», — напишет он позднее. Судьба забросила его в самое сердце мексиканских прерий — к индейцам Большой Саванны. Среди них он прожил почти пятнадцать лет. У будущего романиста было достаточно времени, чтобы детально изучить уклад жизни и нравы «своих краснокожих приятелей», освоить во многих степени их язык, одновременно полный метафор и лаконичный, язык своеобразной, изумляюще-первородной лексики и синтаксиса. Фотографическая — вплоть до мелочей точность в описании индейского костюма, военного и охотничьего снаряжения, манеры говорить, двигаться, ездить верхом, воевать и etc. — все это почерпнуто Эмаром не из книг, но из собственного жизненного опыта. Но со знанием языка приходит опыт менталитета его носителей. Европейский ум Эмара за пятнадцать лет, конечно, включил, имплантировал в себя более или менее обширный сколок индейского мышления; его мировосприятие

стало в чем-то очень созвучным мировосприятию тех, кто жил рядом с ним. «Мне душно в городах, и та цивилизация, какой нас потчуют, страшит и пугает меня» (очерки «Новая Бразилия»). И далее еще более замечательное признание: «Умаление личности ради каких-то общих интересов и общего блага — всегда возмущало меня, как вопиющая несправедливость, и я всегда, где только мог, протестовал против такого, по-моему мнению насилия». Вот он, символ веры человека, ежемгновенно обретающего свободу. Конечно же, любая общественная система, выражаемая и отправляемая государством, так или иначе нивелирует личность во имя общественного блага, этого абстрактного монстра. Это данность, но такую данность Эмар авантюрист, путешественник, «вольный стрелок» — не принимает безоговорочно, по крайней мере, на словах. «Я могу смело сказать, — заявляет он, — что всей душой сочувствую своим краснокожим приятелям, которые упорно отказываются от нашей цивилизации». Эмар не был по складу ума своего тайнозрителем, пророком, визионером, но угрожающее, античеловеческое начало, томящееся в глубине цивилизованности, он чувствовал верно.

Гюстав Эмар полюбил Мексику и ее коренных жителей, людей «мужественных, бесхитростных и радушных». Отсюда та неизменная благожелательность к индейцам, проникающая весь южноамериканский цикл его романов, благожелательность, предопределенная как душевными склонностями, так и обстоятельствами жизни автора. Вообще индейский (или южноамериканский) цикл, состоящий из почти 30-ти романов, занимает самое значительное место в творчестве Гюстава Эмара.

Итак, проведя почти пятнадцать лет среди тропических лесов и бесконечных, розовеющих на закате растительных пустынь, с душой, наполненной ветром, солнцем, дымом походных костров и ароматом цветущих прерий, Эмар в конце 1847 года возвращается во Францию. К тому времени он уже «почти совершенно забыл свой родной язык»...

Надо сказать, Эмар поспел на родину вовремя: страсти в Париже накалились до предела. Движение республиканцев и социалистов, оппозиционное пресловутому кабинету Гизо, обрело к тому времени реальную силу и вылилось в форму банкетной кампании, «стремившейся

к реформе для избежания революции» (Барро, идеологический вождь реформаторов). Однако революция все же состоялась: 23 февраля партия реформы восстала, 24 Париж был превращен в арену военных действий между инсургентами и правительственными войсками. Это было время Эмара — он сражался на баррикадах вместе с республиканцами. Но после июньского, 1848 года, кровавого поражения рабочих и закрытия национальных мастерских, революция, не поддержанная французской провинцией, пошла на спад. Первая республика с ее вдохновенным порывом к социальной справедливости просуществовала очень недолго. Большая Франция, Франция буржуазии и крестьянства, филистерское сознание которой не имело ничего общего с идеальной устремленностью одиночек, подобных Луи Блану или Гюставу Эмару, устала от революций. Имущественные и избирательные претензии буржуа были удовлетворены; пролетариат, тот самый мальчик, таскавший из огня каштаны, вновь робко дожидался в прихожей. Начался «бархатный сезон» реакции, приведший к воцарению Луи Наполеона в декабре 1851 года и провозглашению Второй Империи. Рутинная, жестко законопослушная атмосфера той эпохи угнетала Эмара, кроме того, долгая жизнь «на природе» сказалась непрактичностью в чисто житейских и денежных делах. У Эмара не было средств расплатиться с долгами, не было средств выехать, а между тем, как он пишет о том времени «...тоска по моей второй родине снедала меня и даже мешала жить. Я не хотел никого видеть, нервы мои расшатались до такой степени, что я уже не мог с ними сладить и делался в тягость себе и другим.» Но выход, благодаря счастливому стечению обстоятельств, был найден, и Эмар в начале 1852 года вновь отправляется путешествовать — на этот раз с экспедицией в малоисследованные области Южной Америки. Перу, Эквадор, Венесуэла, Бразилия — вот далеко не полный перечень тех стран, в которых он побывал. Новые впечатления еще более усложняют и обогащают его жизненный опыт, приближая его объем к той критической отметке, за которой зрелый человек испытывает настойчивую потребность высказаться. Память все равно найдет себе зеркало, отразится в мире, пусть даже безразличном к ней. Опыт всегда отыщет себе экспрессивную форму, как вода, проточит себе рус-

ло. Большинству людей, чтобы открыться, достаточно устной речи; меньшинство предпочитает изъясняться на бумаге. Разумеется, что между природной одаренностью и многоопытностью, выражающей себя — дистанция в десятки лет пути.

Вернувшись во Францию в середине пятидесятых годов, Эмар принимается писать. Уже одно то, что человек впервые берется за перо в возрасте сорока лет, заслуживает внимания.

Гюстав Эмар не получил систематического образования, не знал до тонкости французский язык, не был наделен той особенной гуманитарной эрудицией, которая со временем выкристаллизовывается в неповторимый авторский стиль; более того, многие годы он был лишен роскоши культурной жизни Франции, среды, воспитавшей великую литературу. Но Эмар был работоспособен, уверен в себе и вдобавок планка авторской требовательности (по вышеизложенным причинам) была у него существенно занижена; все это, вместе взятое, обусловило его потрясающую плодовитость. Один за другим выпускал Эмар в свет романы, быстро снискавшие себе популярность у читательской аудитории, уже подготовленной к восприятию такого рода чтива сочинениями Эжена Сю, Дюма, Феваля, Монтепена и др. С 1857 по 1870 год Эмар написал 32 романа, среди которых наиболее известны «Арканзасские трапперы», «Вождь окасов», «Искатели следов», «Закон Линча», «Курумилла», «Приключения Валентина Гиллуа» и т.д. Неудивительно, что герои романов порой как две капли воды похожи друг на друга, а сюжетно-образительная драматургия разнится лишь историческим временем и местом ее воплощения. Зачастую Эмар публиковал главы одного и того же произведения одновременно в разных газетах, меняя только имена и несколько варьируя характеры. В 1864 году он был уличен в автоплагиате: некоторые эпизоды «Араукана» и «Охотников за пчелами» различались только именами собственными. От себя можно добавить, что вторая часть трилогии «Красный кедр» и роман «Лев пустыни» удивительным образом напоминают друг друга, разве только редакция «Льва...» имеет больший объем за счет ее словесного разжижения. Двенадцатилетняя «болдинская осень» Эмара существенно прерывалась лишь в 1865 году, когда он принимает кратковременное участие в так называемой Мек-

сиканской военной экспедиции французов в Сонору (1861—1867 гг.), в целом оказавшейся безуспешной.

Творчество Эмара самой историей было поделено на два хронологически почти равных периода, условно говоря, до — и послевоенный. Дело в том, что Эмар активно участвовал в франко-прусской войне 1870—1871 годов. В это время он, человек уже немолодой, организует писательский отряд «Вольных стрелков», который вел партизанскую войну с пруссаками в Эльзасе и отличился в сражении при Бурже. Роман «Приключения Мишеля Гартмана» и «Черная собака», повествующие об этой военной драме, написанные Эмаром по «свежим следам» событий, представляют немалую историческую ценность как свидетельство очевидца и участника событий. После подписания тяжелого для Франции мира Эмар вновь возвращается на писательскую стезю и остается на ней до самой своей кончины. Наиболее значительные из его романов послевоенного периода — «Приключения Мишеля Гартмана», «Черная собака», «Титаны моря», «Форт Дюкен», «Атласная Змея», повесть «Мексиканская месть», как и самые интересные периоды предвоенного, представлены в настоящем собрании сочинений. Умер Гюстав Эмар 20 июня 1883 года, окруженный достатком, слегка увядшей славой и скорбящими почитателями.

Романы «приключений на суше и на море» Эмара обладают практически полным комплексом черт, характерных для литературы такого рода. Сюжеты их насыщены погонями, похищениями, вооруженными стычками, внезапными катастрофами и чудесными избавлениями. Развязки их обыкновенно счастливые, впрочем, с обязательной долей бульварного трагизма. Действие, как правило, развивается на экзотическом фоне тропического леса или мексиканской прерии. Экзотичность — непременный атрибут приключенческого романа; это придает повествованию традиционно-необходимый пряный вкус. Главные герои романов — всегда личности выдающиеся необыкновенной физической и духовной силой, подчас трагикомичные в своем тяжеловесном благородстве или низменной свирепости. К слову сказать, когда оглядываешь мысленно всю эту нескончаемую парадигму эмаровских образов «сильных людей», само собой вспоминается знаменитый постулат романтизма Виктора Гюго в его предисловии к драме «Оливер Кромвель»: «исключитель-

ный герой в исключительных обстоятельствах». Влияние эстетики романтизма на творчество Эмара ощутимо в плане героизации персонажей сильнее всего, но эмаровский романтизм, сравнительно хотя бы с романтизмом Гюго, снижен, опрошен, как бы прорежен сквозь ситечко бульварной образности.

Характеры этих «богатырей» в амплуа авантюристов представляют собой эклектическую смесь либо самых положительных, либо самых отрицательных качеств. Выбор знака в каждом конкретном случае диктуется чисто конструктивной необходимостью «делать» сюжет вражды доброго и злого начала. Самоценной этической осмысленности при создании образа героя у Эмара не прослеживается.

Стиль Эмара не знает игры света и тени. Рисунок его художествования геометричен; это контур, четко очерченный на плоскости. Палитра Эмара не знает полутонов, оттенков. Изображение таким образом доводится до плотности жеста, рывка, удара, интенсивного действия, но теряет объемность, схематизируется. Резкая психологическая контрастность, характерная для приключенческой литературы, у Эмара особенно акцентирована. Психологизм в этом случае существует в тексте лишь как риторическая фигура, формальная дань идее психологического изображения героев. Вообще, жертвование психологизмом — в угоду грациозно прыгающему вперед сюжету — ведет в конечном счете к иконичности образов, являющейся по сравнению с лучшей прозой 19-го века шагом назад. Если волк, то обязательно серый, если отрицательный герой, то обязательно грубый, громкоголосый и кровожадный. Проза Эмара в этом смысле архаична, стиль — претенциозно-многокрасочный оставляет ощущение черно-белости. Но вероятно, недостатки стиля, по аналогии с недостатками человека, — продолжение его достоинств. И если все так плохо, то почему же тогда до сих пор читают Эмара, почему же он был одним из популярнейших писателей Франции, а в России его сравнивали даже с Фенимором Купером и Майн Ридом?

И вот что удивительно: фальшь, однообразие непрочисанности, сквозящее поначалу всюду — и в поведении, и в речи, и в описании внешности героев — по мере чтения как бы отходит на второй план, а затем и вовсе исчезает, затмеваемая драматической напряженностью рассказа, занимательной точностью исторических и этно-

графических сведений, колоритностью речи охотников, флибустьеров, кортесов, воссоздаваемой Эмаром одинаково мастерски. Яркий мелодраматический привкус постепенно перестаешь ощущать, увлекаясь самим событием приключения.

Гюстав Эмар был в своем творчестве неукоснительно привержен одной теме — теме приключения. Но творчество, выдавленное типографским шрифтом на страницах книг — еще не все творчество, а лишь его текстуальный субстрат, несущая плоть. И от этой плоти — столпообразно, вверх восходит энергия мыслей и чувств писателя, цветная аура, в которой претворена посмертно его душа. И в этой ауре всегда различимо, как стержень, коренное жизненное умонастроение автора, главенствующая идея жизни его, свет которой проникает все написанные им книги. Эту идею можно условно назвать метатемой творчества. Такая метатема присутствует и у Гюстава Эмара. Жизнь, полнокровно изливающаяся в преодолении страха, усталости, нужды, страстей, смерти. Вот то, о чем писал Эмар там, в светоносной области идей, находясь еще здесь, в мире. И герои его, изнутри подсвеченные метатемой, учат нас не бояться жить. Они понуждают нас мыслить о чистоте сердца, они напоминают нам о благородстве и порядочности, о преданной любви и бескорыстной дружбе — ценностях, затаенный блеск которых едва достигает нас из глубины нашего сумеречного времени. И не важно, как об этом написано, важно то, что написанное Гюставом Эмаром — не эзотерично, и, в отличие от мифологии Ивана Карамазова или Андриана Леверкюна, заставляет прожить, прочувствовать себя многих и многих. В этом, на наш взгляд, и секрет успеха, и подлинно-благотворное, непреходящее значение романистики Гюстава Эмара.

Д. Глазков

УКАЗАТЕЛЬ

	Том
Авантюристы	7
Арканзасские трапперы	1
Атласная змея	15
Валентин Гиллуа	23
Вождь окасов	25
Вождь Сожженных Лесов	24
Вольные стрелки	3
Гамбусино	16
Дикая кошка	25
Заживо погребенная	23
Закон Линча	2
Золотая Кастилия	8
Золотая лихорадка	5
Искатель следов	1
Каменное сердце	13
Король золотых приисков	18
Курумилла	5
Лесник	9
Масорка	12
Медвежонок Железная Голова	8
Мексиканская месть	17
Мексиканские ночи	18
Меткая пуля	19
Миссурийские разбойники	19
Морские титаны	9
Морские цыгане	7

Новая Бразилия	20
Охотники за пчелами	13
Периколя	25
Перст Божий	10
Пограничные бродяги	3
Приключения Мишеля Гартмана	21
Профиль перуанского бандита	25
Ранчо у моста Лиан	6
Рассказы из жизни в бразильских степях	24
Росас	12
Сакраменты	16
Следопыт	10
Сожженные Леса	24
Степные разбойники	2
Сурикэ	14
Тайные чары великой Индии	24
Твердая рука	17
Текучая Вода	6
Тунеядцы Нового моста	11
Фланкер	20
Флибустьеры	4
Форт Дюкен	15
Черная собака	22
Чистое сердце	4

СОДЕРЖАНИЕ

ВОЖДЬ ОКАСОВ

ГЛАВА I	
Просека	7
ГЛАВА II	
Молочные братья	13
ГЛАВА III	
Решимость	19
ГЛАВА IV	
Казнь	26
ГЛАВА V	
Переезд	30
ГЛАВА VI	
Красавица	35
ГЛАВА VII	
Муж и жена	40
ГЛАВА VIII	
Мрачные Сердца	46
ГЛАВА IX	
На улице	51
ГЛАВА X	
Битва	57
ГЛАВА XI	
Дон Панчо Бустаменте	63
ГЛАВА XII	
Шпион	70
ГЛАВА XIII	
Любовь	77

ГЛАВА XIV	
Quinta Verde	83
ГЛАВА XV	
Отъезд	91
ГЛАВА XVI	
Встреча	97
ГЛАВА XVII	
Пуэльчесы	102
ГЛАВА XVIII	
Черный Шакал	108
ГЛАВА XIX	
Два старых друга, умеющие понимать один другого	114
ГЛАВА XX	
Колдун	121
ГЛАВА XXI	
Похороны апо-ульмена	130
ГЛАВА XXII	
Объяснения	136
ГЛАВА XXIII	
Чингана	141
ГЛАВА XXIV	
Два ульмена	148
ГЛАВА XXV	
Антинагюэль — Тигр-Солнце	155
ГЛАВА XXVI	
Матереубийство	161
ГЛАВА XXVII	
Правосудис Мрачных Сердец	167
ГЛАВА XXVIII	
Мирный договор	172
ГЛАВА XXIX	
Похищение	178

ГЛАВА XXX	
Протестация	185
ГЛАВА XXXI	
Испанец и индеец	191
ГЛАВА XXXII	
На горе	197
ГЛАВА XXXIII	
Настороже	201
ГЛАВА XXXIV	
Лицом к лицу	207
ГЛАВА XXXV	
Битва	212
ГЛАВА XXXVI	
Лев при последнем издыхании	217
ГЛАВА XXXVII	
Парламентер	222
ГЛАВА XXXVIII	
Два мошенника	227
ГЛАВА XXXIX	
Раненый	234
ГЛАВА XL	
Ароканская дипломатия	240
ГЛАВА XLI	
Ночная поездка	250
ГЛАВА XLII	
Две ненависти	255
ГЛАВА XLIII	
Возвращение в Вальдивию	261
ГЛАВА XLIV	
Отец	267
ГЛАВА XLV	
Курумилла	273

ГЛАВА XLVI	
Во дворце	278
ГЛАВА XLVII	
Жоан	283
ГЛАВА XLVIII	
Дупло	288
ГЛАВА XLIX	
Змея и ехидна	293
ГЛАВА L	
Любовь индейца	298
ГЛАВА LI	
Приготовления к освобождению	305
ГЛАВА LII	
Подкоп	312
ГЛАВА LIII	
Ущелье	318
ГЛАВА LIV	
Перед битвой	324
ГЛАВА LV	
Проход через ущелье	331
ГЛАВА LVI	
Путешествие	338
ГЛАВА LVII	
Сведения	345
ГЛАВА LVIII	
Засада	351
ГЛАВА LIX	
Крепость	358
ГЛАВА LX	
Предложения	365
ГЛАВА LXI	
Посланный	371

ГЛАВА LXII	
Волчья пасть	377
ГЛАВА LXIII	
Капитуляция	383
ГЛАВА LXIV	
Призыв	390
ГЛАВА LXV	
Совет	396
ГЛАВА LXVI	
Хитрец против хитреца	403
ГЛАВА LXVII	
Бред	411
ГЛАВА LXVIII	
План кампании	418
ГЛАВА LXIX	
Неприятное поручение	425
ГЛАВА LXX	
Коршун и горлица	433
ГЛАВА LXXI	
Конец путешествия дона Рамона	440
ГЛАВА LXXII	
Совет	447
ГЛАВА LXXIII	
Человеческое жертвоприношение	454
ГЛАВА LXXIV	
Король Мрака	461
ГЛАВА LXXV	
Битва при Кондорканки	468
ГЛАВА LXXVI	
Победитель и пленник	475
ГЛАВА LXXVII	
После битвы	482

ГЛАВА LXXVIII	
Первые часы плена	489
ГЛАВА LXXIX	
Ультиматум	502
ГЛАВА LXXX	
Фурия	495
ГЛАВА LXXXI	
Громовой удар	509
ГЛАВА LXXXII	
По следам	517
ГЛАВА LXXXIII	
Рысь	522
ГЛАВА LXXXIV	
Черные Змеи	528
ГЛАВА LXXXV	
Ураган	535
ГЛАВА LXXXVI	
Пропась	544
ГЛАВА LXXXVII	
Кипос	550
ГЛАВА LXXXVIII	
Скала	556
ГЛАВА LXXXIX	
Цезарь	564

ДИКАЯ КОШКА

ГЛАВА I	
Гоянакское льяно	575
ГЛАВА II	
Кочевье техюэлей	588
ГЛАВА III	
Ононтхио	599
ГЛАВА IV	
Дон Жозуе Малягрида	611

ПЕРИКОЛЯ	621
--------------------	-----

ПРОФИЛЬ ПЕРУАНСКОГО БАНДИТА

ГЛАВА I	
Попутчик	635

ГЛАВА II	
Путешествие	638

ГЛАВА III	
Лима	642

ГЛАВА IV	
Прогулка	645

ГЛАВА V	
Перст Божий	648

Послесловие	653
-----------------------	-----

Указатель	663
---------------------	-----

Г. Эмар
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Том 25

Редактор *И. Шурьгина*
Художественный редактор *И. Лопатина*
Технический редактор *Н. Привезенцева*
Корректоры *В. Антонова, М. Александрова,*
В. Рейбекель

ЛР № 030129 от 02.10.91 г.
Подписано в печать 22.06.95. Уч.-изд. л. 37,45.

Издательский центр «ТЕРРА». 109280,
Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Оригинал-макет и диапозитивы подготовлены
ТОО «Макет».
141700, Московская обл., г.Долгопрудный,
ул.Первомайская, 21.

Scan Kreyder - 05.03.2018 - STERLITAMAK

